



Иду
на грозу
Эта
странная
жизнь
Одно-
фамилец
Выбор
цели

ДАНИИЛ ГРАНИН

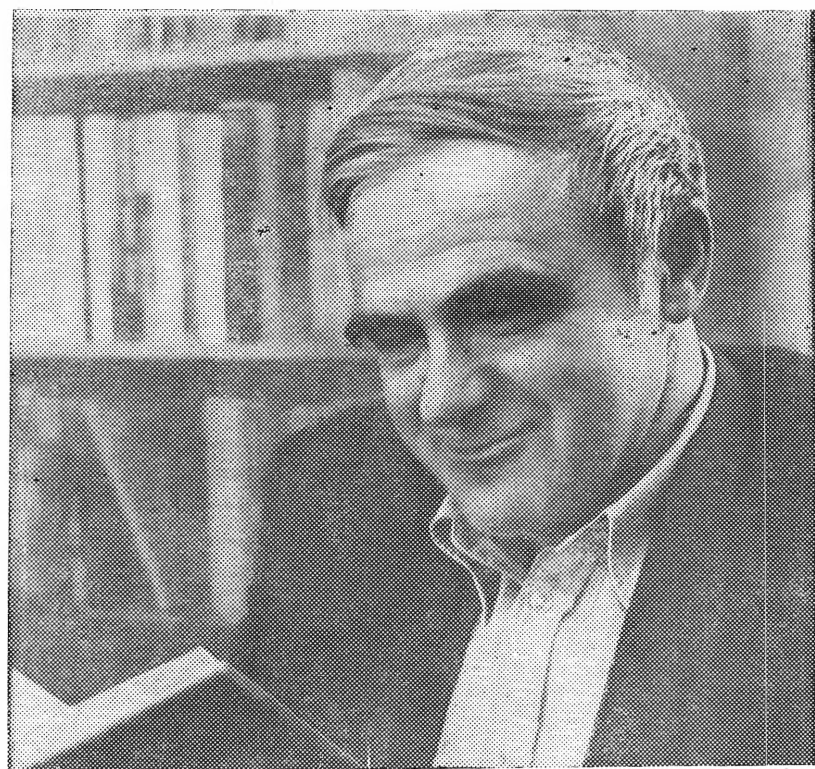
Даниель

Иду
на грозу

Эта
странная
жизнь

Одно-
фамилец
Выбор
цели

©



ДАНИИЛ ГРАНИН

Иду
на грозу

Эта
странная
жизнь

Однофамилец

Выбор
цели



В произведениях, объединенных общей темой: современная наука, ответственность ученого перед своим временем, человечеством и самим собой, — писатель Даниил Гранин ставит современные моральные проблемы во всей их сложности и глубине.

© Издательство «Советский писатель», 1976 г.

Иду на грозу

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Волшебник прилетел в Москву шестого мая в восемь часов утра. Он первым сбежал по качающемуся трапу на бетонные плиты аэродрома. Взгляды встречающих устремлялись к нему и соскальзывали: никто не находил ничего особенного в этом стройном загорелом парне в модном ворсистом пиджаке.

Он прошел сквозь толпу, оставляя позади поцелуи, смех, цветы, неестественно громкие голоса, какие бывают в первые минуты после приземления, когда еще длится легкая глухота.

Весь его багаж составляла кожаная папка, где между бумаг брэнчали мыльница и зубная щетка.

Через тридцать минут такси подвезло его к центру. Утренний людской поток втянул его, понес, крутя у дверей метро, у подземных переходов, у газетных ларьков. Москва спешила на работу, заставляя ускорить шаг.

Над сверкающей стремниной машин плыли высокие, обтянутые голубым стеклом троллейбусы, похожие на аквариумы. На перекрестках бойко торговали цветами. В зеленых бачках вскипала черемуха. Сквозь нарастающий шум остро, по-детски процокал ослик с рекламой цирка. Было без десяти девять, кругом уже не шли, а бежали.

За зеркальным стеклом витрины стояла девушка, держа рулон пестрого ситца.

Казалось, что это манекен, но вдруг девушка наклонилась, и волшебник, улыбаясь, задержался перед витри-

ной и приказал, чтобы она посмотрела на него. Девушка послушно обернулась и, оглядев его, что-то сказала. Губы ее беззвучно зашевелились, а потом она рассмеялась, рот открылся широко, как будто она хотела показать все свои зубы — и не могла: так много их было, маленьких, розоватых, похожих на бусы.

Он пошел дальше, двигаясь странными зигзагами, то замедляя, то убыстряя шаг, сворачивая в солнечные тихие переулки и вновь возвращаясь на центральные бульвары.

У Пушкинской площади он задержался перед газетным щитом.

Москва торжественно встречала победителей олимпиады.

В Кремле состоялся прием участников астрономического конгресса.

Открылась выставка строителей.

Наградили орденом академика Лихова.

Он читал газету с особым аппетитом приезжего, которому все происходящее в Москве вдруг стало доступно: можно было побывать и на выставке и на конгрессе.

В этот раз его прибытие в Москву пройдет незамеченным. На завтрашние газеты вряд ли стоило рассчитывать. Никто из репортеров не справлялся о нем, а ведь не так уж много волшебников приезжает в Москву. И все же где-то в будущем уже существовал номер газеты с его фотографией: среди букетов цветов он, улыбающийся, или нет — лучше усталый, чуть смущенный. А внизу интервью: сегодня Москва встречала Олега Тулина; «в беседе с нашим корреспондентом Олег Николаевич рассказал...».

Человеку никогда не будет дано прочесть послезавтрашний номер газеты. Но на то и существуют волшебники — совершенно явственно он видел этот влажный от непросохшего клея газетный лист со своей фотографией на последней странице.

С Каменного моста открывались золоченые купола соборов Кремля. А справа в солнечном дыму стоял высотный дом, чванливый и плоский, красный прибор крыш бился о его подножие. Повсюду, как мачты огромного флота, двигались башенные краны.

Подобно полководцу, он изучающе разглядывал город, который ему предстояло завоевать, который должен будет признать его и который еще не подозревал этого.

Грандиозность желания вызвала у него ироническую улыбку, за ней скрывалось уважение к самому себе.

Он задержался на перекрестке, выбирая направление. Нерешительность не была ему свойственна, скорее то было состояние неустойчивого равновесия, когда достаточно малейшего повода, чтобы сделать выбор.

Ветер толкнул его в бок, и он охотно последовал за ветром. Улица упиралась в парк. По аллеям шествовали процессии детских колясок. В парке еще хранилась утренняя тишина. Кое-где на скамейках сидели студенты. Они зачарованно покачивались над конспектами. У них были отрешенные лица сомнамбул. Неужели и он когда-то всерьез переживал экзамены?

Под полосатым тентом официантка расставляла стулья. Он выбрал столик у перил, над прудом. Официантка протянула ему меню.

— Несите все подряд, — сказал он. — Начинайте с первой строчки. Я скажу, когда хватит.

Официантка улыбнулась. У нее были милые ямочки на щеках.

Ветер трепал ему волосы. Светлые, чуть вьющиеся, они разлохматились, и он не стал приглаживать их. По глазам официантки он видел, что ей так тоже нравится. Среди бледных москвичей его темный, южный загар бросался в глаза. Тулин снял пиджак, повесил на спинку стула, засучил рукава модной грубошерстной рубашки и принялся за салат, кефир, яичницу, сосиски, выпил стакан кофе, съел бутерброды с сыром, с ветчиной, с колбасой и почувствовал себя снова волшебником.

— А хвастались, — сказала официантка. — Я думала, вы только начинаете.

Он смотрел ей в глаза.

— Мужчина всегда обещает больше, чем может.

— Это верно. — Она засмеялась, не отводя взгляда.

— Я не хочу показаться обжорой, а то вы измените мнение обо мне.

— Будто вы знаете, какого я мнения о вас?

— Я все знаю. Я знаю: вам противны жующие мужчины. Целый день вы видите жующих мужчин. Вам может понравиться только мужчина, который ничего не ест.

Неутолимое желание очаровывать всех, первого встречного, словно и эту официантку необходимо было завоевать,

Взглянув поверх ее головы, он сказал:

— Уберите салфетки, будет дождь.

— Прямо-таки! С чего вы взяли?

— Я же вам сказал, что знаю все.

Он шел вдоль пруда, наблюдая, как в вышине быстро вспухает сизое облако. Официантка смотрела ему вслед. Это была милая девушка, с ней приятно было бы погулять вечером в парке, но завтра он уедет, и поэтому он ничего не мог обещать ей. Он почувствовал ее огорчение и подумал о том, как трудно доставлять окружающим одну только радость, чистую радость, без привкуса сожаления.

У лодочной станции он поднялся на ступеньки беседки, обвитой плющом. Облако растекалось по голубому небу густым чернильным пятном.

В этом еще солнечном беззаботном парке он был единственным, кого всерьез занимало то, что творится в вышине. Он знал, что небо испорчено.

Темная середина облака провисала все ниже. Серебристые края его зловеще дымились. Наползали тени, ветер укрылся в деревьях, по-кошачьи перебирая мягкие листья.

Потемнело. Вместе с душной темнотой опускалась тишина, ясно слышная сквозь шум города.

Несколько тяжелых капель звучно ударили о землю. Первая пристрелка, сигнал тревоги. Лебеди на пруду быстро плыли к дощатой будке.

Тулин поднял руку.

— Давай! — негромко скомандовал он, взмахнул, и тотчас, включая грозу, вспыхнула молния. Еще. Еще, и крупный, сильный дождь наполнил парк плещущим шумом.

В беседку отовсюду сбегались люди. Отряхивались, смеялись, любуясь первой грозой. С карниза полилась, набухая, толстая, чуть поблескивающая струя. Ветвистый лиловый зигзаг молнии прорезал небо наискосок, упал где-то рядом, и холодный металлический свет проблеснул на тысячах мокрых листьев.

— Хорошо! — одобрил Тулин.

Гром взорвался над головами, сотрясая воздух. В беседке ахнули. Тулин поднял мокрое лицо навстречу грохочущим обвалам. Стихи пришли сами собой, старинный торжественный ямб свободно ложился на могучий акком-

панемент грозы. Он читал громко, не слыша себя среди нарастающей канонады:

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучу облака
И на краю небес ненастье зародила?

Внезапно сверху из беседки насмешливо спросили:

— Ну и как, удалось вам узнать?

— Представьте, удалось, — резко ответил он не оборачиваясь.

Больше всего он боялся показаться смешным.

— Что значит поэты! Вы поэт?

Голос был женский, низкий, шершавый от сдержанного смеха.

— А почему бы нет! — сказал он.

— Как интересно! Прочтите, пожалуйста. Что у вас там дальше про грозу выясняется?

— Перестань, — остановил второй женский голос и что-то еще добавил тихо. Обе прыснули, а потом та, первая, смешливая, сказала:

— Никогда не видала живого поэта. Да еще мокрого. А как вы пишете стихи?

— При помощи всяких катушечек, конденсаторов.

— Скажите, пожалуйста, и что ж это за приборы? — Его спрашивали поощрительно, как мальчика, который заврался, и тогда он ответил тем же тоном, пытаясь взять верх в этой игре:

— Как бы вам объяснить доступнее? Ну, нечто среднее между пылесосом и велосипедом.

— Ай-я-яй, как сложно!

— Нет, он пользуется пишущей машинкой!

— Холодильником!

— Или штопором. С конденсатором!

Смеясь, оба голоса перебивали друг друга.

— К вашему сведению... — запальчиво начал Тулин, но орудийный залп грома заставил его вздрогнуть. Потом он долго не мог простить себе этого.

Наверху расхохотались.

— Не бойтесь, поэт. Молния ударяет только в выдающиеся предметы.

Тогда он обернулся. В пятнистой тени беседки неразлично белели два лица. Он поднялся на верхнюю ступеньку, перегнулся через перила.

— Какие славные эрудиточки, — сказал он. — Вы верите в чудеса?

— А вы кто — маг-волшебник?

— Смеетесь? — сказал Тулин. — Смеяться — самое немудреное занятие. Ведь эту грозу я вызвал. И все молнии мне подчиняются.

— А вы можете прекратить грозу?

— Сейчас еще трудно, — внушительно сказал он. — Через годик — пожалуйста. Приходите сюда, и я вам сделаю. . .

Он услышал, как та, что посерьезней, сказала: «Они все немного психи».

— Как же вы это сделаете?

— Подлечу к грозе и уничтожу. Не верите? Давайте сюда вашу руку.

К нему смело протянулась рука. Маленькая ладонь, сложенная лодочкой, была холодной и мокрой.

— Вы собираетесь гадать?

— Смотрите наверх, — приказал он.

Под сизой тяжестью низких облаков расплывались еще более тяжелые, почти черные клочья, они сталкивались, крутились, куда-то неслись.

— Пройдет год или около того, — медленно и торжественно говорил он, — и вот такая рука, как ваша, свободно станет управлять всей этой грозной стихией. Я не прошу вас верить мне, я лишь хочу, чтобы вы запомнили сегодняшнюю грозу и наш разговор.

Дождь редел. Гроза, громыхая, удалялась на запад вместе с лиловой тьмой, прохлестнутой белесыми молниями.

Раздвинув плющ, на него смотрели две девушки — одна высокая, черноволосая, с лицом строгим, диковатым, вторая — в прозрачном капюшоне, ярко-коричневые глаза ее глядели удивленно и запоминающе.

— А кто из нас давал вам руку? — внезапно спросила она.

— Вы, — сказал Тулин. — Вы, Женечка. Женя.

— Так нечестно, вы подслушали!

— Четвертый курс. Скорей бы на практику. Евтушенко — сила. Замуж и не думаю. . .

Под деревьями продолжало дождить, парк еще был ошеломлен, но уже остро запахло травой, и на песке робко проступали солнце и тени.

Тулин ступил в желтую пенистую лужу. Девушки засмеялись и ускорили шаг. Они торопились на лекцию.

— Я знаю, о чем вы думаете, — сказал Тулин. — Я знаю ваше желание и готов выполнить его.

— Попробуйте.

— Вы не хотите идти на лекцию, вы хотите познакомиться со мной, хотите остаться гулять в этом парке.

— Глупости, — строго сказала высокая девушка. Ее звали Катя. — Вы слишком самоуверенны.

Тулин посмотрел на Женю и быстро сказал:

— В таких случаях самое оригинальное — быть честным. Будьте оригинальны. Уступите себе, ведь потом будете жалеть, что не решились.

Женя засмеялась. Ярко-белые зубы осветили ее лицо.

Но он не улыбался, и весь этот треп обретал странную многозначительность. Большие коричневые глаза Жени смотрели серьезно.

— Ничего, мы же договорились встретиться здесь через год.

Тулин сжал ее пальцы.

— Мне почему-то кажется, что это произойдет раньше.

— Мы опаздываем, — сказала Катя.

До остановки было далеко. Тулин вышел на мостовую навстречу несущемуся троллейбусу, поднял руку. Он слегка прищурился, наслаждаясь своей щедростью чародея. Троллейбус, скрипнув тормозами, остановился перед его грудью. Водитель погрозил кулаком, но вдруг усмехнулся и открыл двери. Девушки вскочили. Тулин помаhal им.

Он взглянул на часы. Оставшиеся полтора часа показали ему обременительно ненужными. Следует что-то придумать, чтобы люди могли сдавать на сохранение лишнее время, размышлял он, сдавать, как в сберкассе, а потом брать по мере надобности.

Он отряхнул пиджак и направился в институт, зная почти наверняка, что именно там ему сейчас не следовало бы появляться.

Глава 2

Утро этого дня в лаборатории № 2 ничем не отличалось от обычного. Было душно, мужчины работали в рубашках. Бочкарев принес букетик ландышей и поставил в колбочку старшей лаборантке Зиночке.

Пеленгаторы атмосфериков отметили грозу, идущую с северо-востока со скоростью двадцать километров в час. Матвеев включил регистраторы.

Утро двигалось деловито и размеренно, не готовое ни к каким происшествиям.

В половине одиннадцатого в лаборатории неожиданно появился Голицын. Опережая его, из комнаты в комнату понеслась суматоха приготовлений. Мужчины надевали пиджаки. Зиночка сунула ландыши в шкаф. Ричард записывал под стол мотки проводов, панели, старые схемы — весь хлам, который с непостижимой быстротой скапливался вокруг него.

Голицын надвигался, размахивая огромным портфелем, полы распахнутого плаща разлетались крыльями. Не отвечая на приветствия, он отрывисто выпаливал:

— Болтология!.. Дичь!.. Совещания!.. Заседания!

Швырнув на стол Крылову портфель, он принялся яростно обмахиваться шляпой. Крылов встал, освобождая стул, но Голицын крикнул ему:

— Кто-нибудь подсчитал, сколько я просидел часов на заседаниях? Всего за последние десять лет? Хотя бы примерно?

Крылов опустил длинные руки, неловко и угрюмо задумавшись.

— ...Представляете, на этой идиотской летучке я подсчитал. Три тысячи триста часов. Из них три тысячи бесполезных. Вам-то что, вам никто не мешает.

Агатов издали осторожно улыбнулся.

— ...А кто вам мешает? Строите себе кривые, а вот мне осталось работать каких-нибудь шесть тысяч часов. С моим здоровьем? Не больше. Не спорьте.

Редкие седые волосы Голицына растрепались, обнажив беззащитно розовую лысину. Он свирепо оглядел стоящих вокруг него сотрудников, остановился на Крылове.

— Вас это, конечно, мало заботит, — ядовито обрадо-

вался Голицын. — Вообще непонятно, что вас занимает. Где вы витаете?

Сонные глаза Крылова смотрели отсутствующе, безразлично.

Голицын неожиданно обернулся к Матвееву.

— Плохо! Переделать! Разве это результаты?

В такие минуты с Голицыным старались не спорить. Он мог обрушиться любой несправедливостью, капризом. Матвеев, что-то беззвучно шепча, отступил.

— А чем плохо, — вдруг медленно сказал Крылов с тем же отрешенным видом. — На таких флюксметрах большей точности не выжать.

Маленькое скомканное лицо Матвеева расправилось, он благодарно кивнул Крылову.

Голицын запыхтел.

— Кто говорит, что плохо? Вы слова не даете сказать. Вы бы лучше свои работы форсировали.

— Флюксметры я устрою, — сказал Агатов.

Таблицы, рулоны лент, фотографии, наваленные на столе, замелькали под руками Голицына. Нырнув в эту бумажную груды, он, клюнув своим острым, с породистой горбинкой носом, безошибочно извлек тот самый график, который Крылов прятал от себя. Прищурясь, повертел его в вытянутой руке.

— Сколько вы еще намерены мыкаться? ..

Агатов откашлялся за спиной.

— Аркадий Борисович, я торопил Крылова, предупреждал: мы план сорвем. — Вся его костистая фигура, белое лицо с крепкой челюстью выражали сдержанное огорчение. — А насчет летучки, Аркадий Борисович, послали бы меня, я бы отсидел. Вы сами не цените своего времени.

Голицын раздраженно отмахнулся от него графиком. Крылов смотрел на галстук Голицына. . .

«Конечно, она отлично понимала, что, чем быстрее мы оба работаем, тем скорее расстанемся, — думал Крылов. — Просто мы старались об этом не говорить. Два идиота. Два иступленно честных идиота. У нее было сколько угодно предлогов, чтобы задержать работы. Интересно, думала ли она об этом? Какого числа сняли последний график? Лед на озере трещал и гнулся под нога-

ми. Что она сказала про лед? Приборы уже стояли в воде. И она здорово выдала про лед...»

— Разрешите, — сказал Крылов и, перегнувшись через стол, потянул к себе график. Получилось неловко, почти грубо.

— Однако... — Голицын величественно выпрямился, и всем стала видна невоспитанность Крылова. Дав это почувствовать, Голицын сгорбился и превратился во вздорного, ехидного старика. — Полюбуйтесь на него. Анахорет. Одичали вы. Так и свихнуться недолго... Нет, нет, вас силой надо оторвать от вашей фантастики.

Бочкарев и Ричард переглянулись.

— Старик хочет на нем выпасться, — шепнул Ричард. Бочкарев покачал своим огромным черепом гнома.

— Тут что-то... подожди...

Но Ричард уже выскочил перед Голицыным.

— Почему у вас осталось шесть тысяч часов работы, Аркадий Борисович, из чего вы исходите? — Храбрая улыбка заплясала на его бледном подвижном лице. — Тогда есть смысл работать не больше часа в сутки.

— Что вы суетесь? — сказал Голицын. — Что вы знаете о старости? Стареть — это скучное занятие.

— Но пока это единственное средство долго жить, — сказал Ричард.

Бочкарев протянул Голицыну письмо какого-то изобретателя, предлагающего использовать свойства ревматических суставов для прогноза погоды. Раздался преувеличенно громкий смех. Заслоняя Крылова, Бочкарев ласково взял Голицына под руку, повел показывать новую аппаратуру.

— Чего хлопочете? — сердито буркнул Голицын. — Вызволители.

Почтительная процессия проследовала за Голицыным в соседнюю комнату, к стендам.

Крылов расправил измятый график. Там стояла дата: «12 марта». Две цифры и несколько слов, написанных легким косым почерком. Он попытался вспомнить, что это был за день. Снимали счетчики на озере? Или заканчивали обходы в лесу?

Иногда Наташа задерживалась, и они работали до поздней ночи. На этот раз она тоже задержалась. Насту-

пили сумерки, но почему-то никто из них не поднялся включить свет. Наконец совсем стемнело, так что уже нельзя было писать. Они перестали писать. Наташа сидела в кресле не шевелясь. Антоновы куда-то уехали, и они были одни в доме. Он подумал об этом, да, он совершенно ясно помнит, что подумал об этом. Он встал, подошел, и она вдруг прижалась к нему. Он даже не ожидал, что все получится так просто и хорошо. На рассвете он проснулся с тем же чувством удивления. Наташа еще спала. Она улыбалась во сне. Совершенно доверчиво. Так, как будто она уже ни в чем не сомневалась. У нее были пухлые губы и брови длинные, наведенные... Вдруг, не открывая глаз, она сказала:

— Не смотри на меня.

Когда они вышли на крыльцо, снег, румяный от восхода, казался теплым, а дом оброс длинными ледяными сосульками. Дом весь сверкал, звенел и таял, Крылов провожал ее к автобусу. Она по-прежнему смотрела на него с доверчивым восхищением, и он встревожился. Ему хотелось, чтобы все оставалось приятным случаем, и ничего серьезного. Он не был готов к серьезному, и не нужно, чтобы она придавала этому такое значение, ни ей, ни ему это не нужно.

Стоило подвернуться таблице, заполненной Наташиной рукой, как мысли его сбивались. Иногда подолгу сидел, уставясь в одну точку, вспоминая и вспоминая. Никто не подозревал, какими усилиями он заставлял себя вернуться к работе. Бывали часы, когда люди двигались вокруг него плоские, бесшумные, как в немом кино.

Голицын возвращался, сопровождаемый Ричардом и Агатовым, сзади теснились остальные.

— ...И все же философы утверждали, что теория сера, а вечно зелено дерево жизни, — говорил Ричард. Он был, пожалуй, единственным в институте, кто осмеливался спорить с Голицыным.

— Знаток, — сказал Голицын. — Между прочим, какой это философ утверждал?

— Из древних.

— Из древних! Ну да, все, что до революции, у него из древних. К вашему сведению, это Гёте. Был такой древний поэт. Была у него такая пьеса — «Фауст», и

произносит эти слова Мефистофель, желая вызвать сомнения у Фауста. — Голицын оглядел Ричарда. — А Фауст был ученый, а не аспирант. Можно сказать, академик. А у вас, Ричард, еще конь не валялся. Всё рассуждаете. Так вы и останетесь вечнозеленым деревом.

Агатов засмеялся, хлопнул Ричарда по плечу.

— Точно сказано...

Он смеялся четко и внушительно, так же, как говорил. Наклоняясь к Голицыну, он начал докладывать о сдаче отчетов. Озабоченная морщинка прорезала его гладкий лоб с белесыми бровями над стальными шариками глаз. Как-то само собой получилось, что после ухода начальника лаборатории все организационные дела повел Агатов, и считалось, что ему и предстоит занять это место.

Голицын досадливо поморщился. Он не любил заниматься канцелярщиной — отчетами, планами, заявками. У Агатова, разумеется, было положение нелегкое: Бочкарев требовал включить тему, которую не утверждали. Крылов тянул с отчетом, из-за него откладывался семинар.

— Анархия! — закричал Голицын. — Так дальше нельзя.

Крылов улыбнулся.

«Лед сам недавно был волной, — сказала Наташа, — а теперь он душит ее».

А может, она сказала не «душит», а «гасит», нет, она сказала как-то иначе, точнее. Как быстро все забывается! Желтое плюшевое кресло, в котором она любила работать, поджав ноги. Прикосновение ее плеча, всякий раз ошеломляющее, как будто ничего не было и все только начинается. А на перроне она стояла в красном пальто и красных рукавичках, и мы говорили про крокодилов, а потом про лыжную мазь — ни о чем другом, только про лыжную мазь.

— Что тут смешного! — сказал Голицын. — Ошибаетесь, на этот раз не удастся, я вас заставлю заниматься делом.

«Хорошо бы сейчас превратиться в крокодила, — думал Крылов, — огромным крокодилом выползти из-под стола. Представляю их физиономии! Зиночка бы закры-

чала, а старик возмутился бы: «Прекратите свои выходки, как вам не стыдно!»

Голицын взял портфель, шляпу и без всякого перехода, тем же ворчливым голосом сказал:

— Сергей Ильич, подавайте заявление на конкурс.

Крылов тупо застыл, раскрыв рот.

— Ну, что вы уставились? — рассердился Голицын. — Подавайте заявление на должность начальника лаборатории.

Воцарилась оглушительная тишина. Все посмотрели на Агатова. Губы его сжались, почти исчезли. Какое-то мгновение казалось, что и сам Агатов исчез, остался только строгий темно-серый костюм.

Только Голицын делал вид, что ничего не замечает. Старчески семеня ногами, он подошел к Ричарду.

— Чтобы к понедельнику прочитали «Фауста». Небось всякими Хемингуэями упиваетесь.

— Я этого «Фауста»... я его наизусть выучу! — восторженно сказал Ричард.

— Чего радуетесь, чего радуетесь! — фыркнул Голицын. Не оборачиваясь, ткнул пальцем в сторону Крылова: — У него тоже сумбур в голове, но хоть какие-то идеи копошатся. — Он закрыл один глаз, покосился на Агатова. — Хоть и завиральные... Планы составлять научится. Бумажки, промокашки, кнопки, скрепки... А нам идеи нужны. Дефицит. Профессор Оболенский покойный на папиросных коробках всю бухгалтерию вел...

Так всегда в трудные минуты — напускал на себя стариковскую чудаковатость. Подслеповато шурился, кричал отрывисто, громко, как глухой. Поди подступись! Шестьдесят пять лет, склероз.

Самое удобное было считать, что Крылов ошалел от счастья и поэтому не в силах ничего ответить. Глаза его оставались дремотно-далекими. Все видели это, и всем было стыдно перед Голицыным.

Бочкарев пихнул Крылова локтем, прошипел, как маленькому:

— Скажи спасибо.

— Ну да, — сказал Крылов, — спасибо.

Теперь, когда он вспомнил слова Наташи про лед, он понял, что ему хотелось вспомнить что-то другое, но что — он не знал. Он смотрел, как шевелились морщинистые губы Голицына, и блестела во рту золотая коронка, и ше-

велились толстые, сочные губы Ричарда, и покрашенные губы Зиночки, и прикрытые усиками губы Матвеева. Все шевелили губами и стояли на месте. Им можно было, как в дублированном фильме, подгонять совсем другие слова.

Голицын повел плечом, и все отошли, оставили их вдвоем.

— Что с вами, Сергей Ильич? — спросил Голицын.

«Зачем мы расстаемся? — сказала Наташа. — Я все понимаю, но что мы делаем?»

— Да, да, вы не волнуйтесь, — сказал Голицын, — все будет хорошо, все образуется.

Наивысшее удовольствие, какое мог бы Крылов себе доставить, — это собрать из всех бумаг здоровенный кляп и засунуть в рот старику.

Глава 3

Клубом служила верхняя площадка запасной лестницы. Здесь пахло табаком, стояли ведра уборщиц, щетка, старые урны — всего этого было достаточно для уюта. Ни одна лаборатория не имела такого милого местечка. В главном здании коридоры были слишком чистые и светлые, там приходилось маяться в просторной гостиной, обставленной новенькими креслами.

Они сидели на перилах, курили, и Бочкарев пытался выяснить, какая муха укусила старика, откуда это неожиданное предложение. В последнее время Голицын наконец решил выступить против академика Денисова, и тут Крылов и Бочкарев были целиком на стороне своего шефа, и, может быть, зная это, он хотел укрепить тылы. А может, он просто задумался о наследнике.

— Ты вполне подходишь для наследного принца, — говорил Бочкарев. — Кандидат, физик, подаешь надежды, молод. Чего мы будем гадать, бери и властвуй.

— А зачем мне это нужно? — спрашивал Крылов.

— Вот тебе и на. Приехали! Лабораторией должен руководить ученый. А нашей — физик. Старик чувствует.

— Ох, этот старик!

Несмотря на все слабости Голицына, они почитали его. Что бы там ни говорилось, шеф по праву слыл одним из

основоположников науки об атмосферном электричестве. Последний зубр, старая школа, он, как никто, знал проблему в целом, правда, скорее как метеоролог, а не как физик. Он обладал широтой, но ему не хватало глубины, которая требует узости.

— Кое-чем тебе придется пожертвовать, не без этого, — говорил Бочкарев, — но важен общий выигрыш.

Крылов сплюнул в пролет.

— Иначе что ж, иначе Агатов, — сказал Бочкарев. — Ты откроешь дорогу Агатову.

— А что страшного? Он хороший организатор.

— Да-да, многие так считают. Но ты! Он же не творческий человек. Он бесталанен. Это опасно, как гангрена. Недаром он рвется к этой должности. Еще до Пархоменки был у нас такой завлаб Сирота, дурак дураком. Агатов спихнул его, все были рады, но я тогда уже почувствовал, что Агатов для себя старался. А прислали Пархоменко. Ну, Пархоменко — доктор, талантище, Агатову не по зубам. Вы небось полагали, что Агатов в восторге от Пархоменки. Как бы не так! Он его тоже выпихивал, только на сей раз наверх выдвигал. Бог ты мой, какие вы все слепцы!

— Любим мы преувеличивать, — сказал Крылов. — Ну, хочет быть начальником, значит, будет хорошо работать. А я не хочу. Мне со своей темой не разобраться. Чего ради я буду еще с вами возиться. Да я и не умею.

— Учись. Еще Офелия говорила: все мы знаем, кто мы такие, но мы не знаем, кем мы можем быть.

— Офелия для меня не авторитет. Ей не предлагали быть начальником лаборатории. Мне надо добивать свою тему. Не нужен мне берег турецкий.

— А всякая шушера в лаборатории тебе нужна? — рассердился Бочкарев. — Вот увидишь, что получится.

Склонный к анализу, он неумолимо выводил печальные последствия отказа Крылова.

— А почему бы тебе не пойти на эту должность? — спросил Крылов. — Ты так хорошо понимаешь необходимость самопожертвования.

Бочкарев считался лучшим специалистом по измерительной технике. Ему несколько раз предлагали защищать докторскую, он только пожимал плечами: зачем, разве он станет больше знать оттого, что получит степень доктора? Он несколько не рисовался, этот маленький

горбун с большой яйцевидной лысой головой. Временами, наблюдая, как он, бормоча и пришептывая, колдует над схемой, Крылов понимал, что ничего более приятного для Бочкарева не существует.

«Его величество эксперимент, — поддразнивал Голицын, — нет, отклонение стрелки — это еще не наука». Бочкарев мягко соглашался, но иначе он работать не мог. Конечно, из муки можно сделать многое, оправдывался он, но в любом случае для этого надо смолотить зерно.

Бочкарев заходил по площадке, отшвыривая ногами ведра.

— Где уж мне с такой рожей. Может, это глупо... Я однажды замещал Голицына... Пришлось заседание вести, так мне все время казалось, что все смотрят на меня и смеются. Мне на людях всегда мучительно. Я себе Квзимодой кажусь.

Большие грустные глаза его влажно блестели. Крылов давно свыкся с внешностью Бочкарева, не замечал ее, но сейчас вдруг вспомнил, что на собраниях Бочкарев забивался в дальний угол, никогда его не заставишь выступить, и на институтских вечерах он не показывался. Он воображал себя уродом, и спорить с ним было бесполезно.

— Наплюй, — сказал Крылов. — И не замыкайся. Чуть что, бей по морде интеллектом. Талант — это ж самая редкая красота. Она у тебя на физиономии написана.

Бочкарев вяло покачал головой.

— Когда-то в детстве мне сказали, что все горбуны злые. С тех пор я на всю жизнь боюсь стать злым. Мне очень легко озлиться.

В дверях показался Ричард.

— Я-то вас ищу! — обрадовался он. — Сергей Ильич, поздравляю. Каков фитиль Агатову! Ну и спектакль выдал старик! Теперь держись!

Он оглушил их проектами реконструкции лаборатории, новыми темами. Фантазия его разыгралась: он запускал спутники с телевизионными установками, управлял погодой. Он не желал и думать, что Крылова может не устраивать должность начальника лаборатории. Не умолкая ни на минуту, он приседал, разминался, подтягивался на стремянке, корчил рожи, изображая то Агатова, то Голицына. Жажда деятельности переполняла его.

— Ну вот, эгоист, слышал глас народа? — сказал Бочкарев.

— Сами вы эгоисты, — ответил Крылов. — Только вас много, поэтому вы называете себя коллективом.

Ричард поразился:

— Вы не хотите? Сергей Ильич! — Глаза, руки, брови, все тело его выражало удивление, даже выцветшая клетчатая ковбойка удивленно уставилась беленькими пуговичками.

— Я работать хочу, — сказал Крылов. — Идите вы все!.. У меня только-только проклевывается.

— Сами требуем дорогу молодым, обновить руководство.

— А когда предлагают, то в кусты!

Наперебой они наседали на него. . .

А на озере прозрачный лед прогибался под ногами, и видно было, как белые пузыри воздуха сплющивались там, над водой. Ветер сбивал с ног. Несколько раз они проваливались, хорошо, что было мелко и счетчики не упали в воду. Мокрые, застуженные, они еле добрались до рыбацкого поселка и долго грелись в буфете. Они ели винегрет, пили водку. Из-за стойки вышел тяжелый, старый кот. Он лизнул мокрые Наташины брюки и закричал басом.

— Кот заколдован, — сказала Наташа. — Не верите? Хотите, он съест соленый огурец?

— Чепуха, — сказал Крылов, — коты не едят огурцов.

Наташа бросила на пол желтый кружок огурца. Кот понюхал и захрустел. . .

— . . . Начальник, он всегда умнее, — сказал Ричард. — Стать начальником — верный способ поумнеть.

— Агатов собирался расширять лабораторию. А мне кажется, надо ее уменьшать. Сократить договорные темы, — сказал Бочкарев.

Поставив руки на бедра, Ричард наклонялся вправо, влево, приговаривая:

— К — вопросу — о — некоторых — данных — наблюдения — гроз — Тульской — области — во — второй — половине — девятнадцатого — века. . .

— Агатова надо как-то нейтрализовать, он опасен.

— Заарканим, — сказал Ричард. — Неужели вы его боитесь, Сергей Ильич?

— Никого я не боюсь. Братцы, — Крылов виновато положил им руки на плечи, — отступитесь вы от меня. — И ушел.

— Что с ним творится? — спросил Ричард.

— Это с тех пор, как он вернулся с Озерной, — сказал Бочкарев.

Ушел и Ричард, стало тихо. Бочкарев походил, посмотрелся в блестящий наконечник пожарного шланга. Кривое зеркало делало его лицо почти нормальным.

Крылов шагал из комнаты в комнату, разглядывая привычные стенды, аппаратуру, своих товарищей. Внезапно он услышал тикающие, щелкающие, жужжащие звуки включенных приборов. Перья самописцев неумолимо рисовали невидимые бури, происходящие где-то в черной дали вселенной, взрывы на Солнце, ливни космических частиц. На тонких дрожащих линиях отражалась жизнь мельчайших частиц, дыхание земного шара, его дожди, грозы — все, что творилось в этом чистом голубом небе и в этом весеннем воздухе. По мерцающему экрану атмосферика проносились зеленые разряды гроз, идущих над Африкой.

Его подозвал Матвеев показать монтаж следящей системы. Судя по всему, получалось надежно и просто. Матвеев всегда показывал свои работы Крылову, хотя Крылов разбирался в этих вещах хуже него. У Матвеева не было диплома, и он робел перед каждым инженером.

Матвеев поворачивал диск. Обшлага его сатиновой спецовки лохматились. Крылов вспомнил, что никогда не видел на Матвееве приличного костюма. Из-за проклятого диплома Матвеев до сих пор числился старшим лаборантом. А между тем он был отличным, самостоятельным ученым, и следовало давно уже выхлопотать ему персональный оклад, доказать начальству, что о таком человеке надо судить не по диплому, а по тому, что он есть и что он может дать.

Крылов собрался было сказать ему об этом, но вдруг сообразил, что теперь сочувствовать и возмущаться он уже не может. Наверное, надо что-то обещать. Или он

должен вообще промолчать. И это непривычное чувство связанности удивило и не понравилось. Подбежала Зина, разложила осциллограмму, попросила отметить нужные пики. Она прижалась к нему грудью, шепнула:

— Смотаемся позагорать на вышку? Мы все идем в обеденный.

Крылов почесал затылок.

— Ну вот, уже заважничали, — сказала Зина.

Он не нашелся, что ответить. И это было глупо, еще вчера вместе со всеми он валялся на вышке, и играл в дурака, и посматривал, не идет ли пожарник, потому что на старую вышку было строго-настрого запрещено забираться.

Миновав аккумуляторную, Крылов свернул к вычислителям, но, не дойдя до них, остановился и пошел назад. В коридоре он встретил Песецкого.

— Сережа, — сказал Песецкий, — эн равно минус два.

Из кармана его пиджака торчала «Юманите».

— Чего пишут? — спросил Крылов.

— Ужасы капитализма. Девушка отравила одиннадцать родственников, — сказал Песецкий. — Эн равно минус два, — убежденно повторил он и помахал перед Крыловым исписанными листками.

— Неохота мне браться за лабораторию, — сказал Крылов. — Загремит наша тема.

— Наверное, — сказал Песецкий. — А знаешь, как я вычислил?

— Не гожусь я для этого дела. Не справлюсь.

— Ничего, массы поддержат. Так вот, я вычислил подкорковыми центрами. Включил подсознание!

— Я как представил себе, — сказал Крылов, — так сразу почувствовал, что не могу быть самим собою. Боюсь не то сделать, не так сказать.

— Тогда откажись, делов палата.

Они зашли в комнату, где работали студенты. Песецкий упоенно расписывал свой метод: если какая-нибудь задача не получается, надо заняться другим и включить моторы подсознания. Так поступал великий математик Пуанкаре. Моторы срабатывают, и в один прекрасный миг решение придет само, выскочит на поверхность из темных подкорковых глубин.

— Важно дать задание своему подсознанию, — ораторствовал он, — и дальше можно не беспокоиться.

— А спинной мозг годится? — совершенно серьезно спросил Алеша Микулин.

Крылов стоял у окна, полузакрыв глаза. Потом он сердито сказал:

— Эн должно быть больше нуля. Иначе молнии будут бить с земли в облака.

— Это их дело, — сказал Песецкий, — мое дело — составить уравнение.

— Но оно лишено физического смысла.

— А какой смысл в молнии? — спросил Песецкий. — Ты можешь объяснить? Я полгода бьюсь над расчетом атмосферных помех. Какой в них смысл? Никакого смысла.

Он обнял Крылова и сказал на ухо:

— Брось ты мучиться. Все решится само собой. Всегда все решается независимо от нас.

Утешив таким образом Крылова, он с еще большим воодушевлением принялся излагать всем встречным способы эксплуатации подсознательного мира.

Глава 4

Он поднялся по витой железной лестнице на радиолокационную башню. Радисты уехали в поле, и в аппаратной было темно. Сквозь щель жалюзи пробивался солнечный луч, круглый, золотистый, как бамбук. Крылов протянул руку, луч уткнулся в ладонь, и ладонь прозрачно засветилась.

Казалось, этот луч пронзил его насквозь легким теплом, и от этой непривычной ласки Крылову стало жаль себя.

Все эти месяцы после возвращения из командировки он жил в оцепенении, поглощенный тупой, возрастающей тоской. И вот сейчас, когда что-то должно было круто измениться в его жизни, его охватило беспокойство. Он чувствовал, что дело здесь не в предложении Голицына, скорее всего тут была досада на то, что ему самому предстоит как-то определить себя, видеть себя, действовать. Но и это было не главное, главное же заключалось в тревожном предчувствии и ожидании — чего? Странно, что именно об этом он и не желал думать.

Он осторожно трогал кончиками пальцев осязаемую пыльную поверхность луча. Отломать кусочек и послать вместо письма. Обломок луча в длинной коробочке. Почему она не отвечает? Он знал почему, но придумывал другие объяснения.

Он подставил лицо под луч и зажмурился.

— Эх, Натаха ты, Натаха! — сказал он.

В дальнем конце аппаратной послышался смешок. Крылов вздрогнул, пошарил на стене, повернул выключатель.

— Эй! — раздался предостерегающий крик. На ящике сидел Агатов. Руки его шевелились в черном мешке для зарядки кассет. — Чуть не засветили мне пленку. Ну, да теперь можно не гасить.

— Простите, — пробормотал Крылов.

Агатов довольно разглядывал его пылающую физиономию. Крылов понимал, что Агатов давно из темноты наблюдал за ним. Лучше всего было немедленно извиниться и уйти, но Крылов продолжал стоять, все более смущаясь, и чем дольше он стоял, тем невозможнее становилось уйти.

— Забыл вас поздравить. — Агатов помолчал, наслаждаясь его беспомощностью. — Как это вам удалось обработать старика?

— Понятия не имею... уверяю вас... — пробормотал Крылов, еще сильнее смущаясь.

— Ну, ну, будете утверждать, что вы ни при чем, — снисходительно сказал Агатов. — Я тут наблюдал, какие вы манипуляции от восторга выделявали.

Крылов тоскливо переступил с ноги на ногу.

— Вот так тихоня! — Агатов покачал головой. — Ловко вы всех здесь обвели. Отдаю должное. А я-то документы приготовил, копии у нотариуса снял. Смешно, верно?

— Ну что вы, что вы, — утешающе повторял Крылов. И вдруг сказал: — Я еще не решил.

Но Агатов не слушал его. Задумчиво и размеренно он продолжал:

— Заметили, как Аркадий Борисович оценил меня? Аккуратен. Исполнителен. Бумажки составляет. А своих, мол, идей Агатов не выдвигает. Вот в чем беда, оказывается. А то, что я его идеи проводил, так это ничто? Если я их полностью разделяю?

Застылая усмешка прочно держалась на его лице, сбивая Крылова с толку. Он не знал, как держать себя.

Ему страсть как хотелось выпалить: «Чего вы ко мне прицепились, ступайте к старику и выясняйте свои отношения», но стыд еще не прошел и, кроме того, было совестно бить лежачего. Он чувствовал, что Агатов обижен, убит.

— В науке никому нельзя верить, — сказал Крылов. — Старик нас пытается лепить по своему подобию. Это у него произвольно. Нам нельзя поддаваться. Ради него же. Тут такая антимония получается. Каждый должен отстаивать свои взгляды. . .

Агатов прервал его:

— Свою тактику принципами заслоняете? Я вас понял. Думаете, я не знаю, как вы все меня расцениваете?

Его непримиримый смешок сделал излияния Крылова нелепыми. «Какого черта я чувствую себя виноватым?» — возмутился Крылов. Из всех возможных положений он всегда умудрялся выбрать самое невыгодное. Безошибочно. Никто не умел так ловко и быстро попадать впросак, как он. Привыкнуть к этому было невозможно. Но смеяться над этим он научился.

— Голицын обманул меня. Я знаю, ему наговорили, — сказал Агатов. — Но я это так не оставляю.

Крылов посмотрел на него с любопытством.

— Неужели вы всерьез огорчены? Ведь это всего лишь должность.

— Должность. . . Нет, Сергей Ильич, для меня это больше должности, — с внезапной резкостью сказал Агатов. Рука его в черном мешке перестала двигаться. — Мне важно признание. Зачем притворяться? Мы же без свидетелей. Конфиденциально. Аркадий Борисович, тот сегодня при всех проговорился. И вы это прекрасно знаете. Хотите, я могу раскрыть скобки? Хотите? — Он наклонился вперед, серые шарики его глаз твердо нацелились на Крылова. — Кое-кто считает, что я не обладаю научными способностями. Вы, например, талант, а я нет. Что, не так? Да вы не бойтесь. Я лично к вам ничего не имею. — Выдернув руки из мешка, он помахал растопыренными пальцами. — Представьте, что я согласился бы с такой характеристикой. — Он поднялся. Губы его задергались, точно сбрасывая эту любезную усмешку. — Что ж

мне тогда? Чем я виноват? Не досталось соответствующих генов от родителей, так куда ж мне прикажете? А?

Слегка прерывающийся голос его звучал просто и деловито, глаза смотрели с горечью, но ясно, как будто что-то обнажилось в этом человеке. Крылов никогда не видел такого Агатова, сейчас ему казалось, что этот Агатов и есть настоящий.

— Нет, Сергей Ильич, слишком легко вы разложили... А что, как у меня другой талант? Каждому свое... — Агатов вдруг остановился, пристально глядя на Крылова. — Послушайте, вы действительно еще не решили? Зачем вам эта должность? Все равно ничего не выйдет у вас с Голицыным. Он по-своему станет гнуть, вы же сами признаете. А у вас характер, вы маневрировать не умеете. Что ж получится? И дело будет страдать, и себе голову сломаете, и никакой славы. Да, отговариваю ради вас же. Откажитесь, пока не поздно. — Он пытался сдержать свой голос и не мог. — Какой вам интерес? Научное руководство — так тут и без нас обходятся, мы-то с вами знаем. Голицын еще не понимает, ему куда легче со мной будет. И вам легче, всем легче. Он сам скоро жалеть станет.

Крылов доверчиво улыбнулся.

— Так и мне во как неохота! — Он провел рукой по горлу.

Агатов заходил вокруг него большими шагами.

— Нет, я все понимаю. Начальник лаборатории — сам себе хозяин. Уходит когда хочет. Не надо ни у кого проситься. Свобода — это существенно. Но я вам гарантирую. За моей спиной вам еще свободней будет. Как мне Голицын стал поручения давать, так меня талантов лишили. Всех начальников всегда бездарными считают. Вас тоже сразу в бесталанные определяют.

Крылов устал стоять посреди комнаты и осторожно, боком отошел к зашторенному окну.

— Мне кажется, тут другие интересы, Яков Иванович, — деликатно сказал он. — Согласитесь, что необходимо менять тематику. — Агатов энергично закивал. — Нас заедают ненужные мелочи. Старик напирает главным образом на статистику. Вот посадит он вас замерять заряды капель. Пожалуйста, не обижайтесь, Яков Иванович, но боюсь, в наших лабораторных условиях

ничего нового тут не выяснить. А с другой стороны, такой проблемы, как активные воздействия, мы сторонимся.

— Точно! — воскликнул Агатов. — Даже... — на мгновение он запнулся, настороженно взглянул на Крылова, — даже отмахиваемся!

— Старик избегает современной физики. Ну, как вы сладите с ним?

— Постепенно, постепенно. Думаете, на него узды не найдется? — К Агатову быстро возвращалась внушительность. — Вам тут нечего беспокоиться. Можно спокойно работать. У вас будет полная самостоятельность, я обеспечу. Насчет тематики — не спорю, но все зависит, как преподнести. Подать мы себя не умеем, вот в чем беда, Сергей Ильич. Те же самые работы так можно обставить, что нас завалят средствами, оборудованием, чем хотите. Поверьте мне, коллективу куда выгоднее, если у начальника никаких своих интересов научных нет. — Он предостерегающе поднял руку. — Знаю, знаю. Знаю, что вам советуют и Бочкарев и вся его компания. А вы не слушайте. Все они эгоисты. И, между прочим, я не осуждаю. Настоящий ученый должен быть эгоистом, иначе он ничего не успеет.

Плоское лицо его влажно блестело. Он работал. Он разворачивал перед Крыловым свои планы, один заманчивей другого. У него все было давно продумано.

Он знал все, что можно было знать о дирекции, о работниках главка, хитрости их взаимоотношений, списки трудов академиков, кто чем увлекается, знал, что с Лиховым проще всего встретиться на концерте в консерватории, что дочь секретарши Денисова работает в пятой лаборатории.

Крылов стеснялся прервать его. Незаметно отодвинув шторм, он смотрел вниз на залитую солнцем метеостанцию.

Студенты работали у белых будочек с приборами. Матвеев и Зиночка готовили радиозонд.

«Как бы все могло славно устроиться, — с тоской подумал Крылов. — И можно пойти с ними загорать».

Он вздохнул, откашлялся раз-другой, прежде чем Агатов обратил на него внимание.

— Простите, Яков Иванович, но как-то это все на то, — сказал он.

— То есть как? — оторопел Агатов. — Пожалуйста... У вас условия? Предлагайте...

Крылов поежился, в таких случаях он ничего не мог поделать с собой.

— Не нравится мне, что вы тут наговорили.

— Но ведь всегда можно поладить. Выкладывайте ваши наметки. Я с удовольствием...

Он стал ниже ростом, смотрел на Крылова с робкой готовностью откуда-то снизу.

— Ничего у меня нет, никаких наметок, — признался Крылов.

Агатов вопросительно смотрел на него.

— Матвееву надо бы оклад выхлопотать, — добавил Крылов.

— Я это могу в два счета... — заторопился Агатов. — Нет, вы объясните, что вас держит? Вы против меня имеете что? Я вам никогда ничего плохого не сделал. Чем я не подхожу, чем?

Крылов виновато развел руками.

— Небось сами хотите, — вдруг сказал Агатов, убежденный смущенной улыбкой Крылова и все более уверяясь от его неловкого молчания. — Понятно, зачем же власть упускать! А я-то душу вам открывал...

Крылов опомнился.

— Поверьте, Яков Иванович, вы это с обиды. Я вам благодарен, что вы так откровенно... Мне подумать надо...

Сгорбившись, Агатов вернулся к ящику, взял мешок с кассетами и долго там возился к стене лицом, потом пошел к двери. Обойдя Крылова, он остановился. Лицо его обрело обычную бесстрастную любезность. Опять он был собранный, подтянутый, и отглаженный костюмчик сидел без малейшей морщинки.

— Я хочу как лучше, — сказал Агатов. — Сконтактироваться. — Он сделал все, чтобы любезно улыбнуться. Железная лестница отзвенела под его шагами.

— Вот и разберись, — озадаченно сказал Крылов, как будто кто-то мог услышать его. Он печально посмотрел на свои недавно отпаренные брюки — на коленях уже вздулись пузыри... Погасив свет, он уселся на приступку и стал ждать. Но солнечный луч исчез, и прежнее настроение не возвращалось. Необходимость что-то решать злила его. Он не желал ничего решать.

В любом случае, соглашаясь или отказываясь, он что-то терял. Но в том-то и дело, что, решая, всегда что-то теряешь.

Не хотелось спускаться вниз и сидеть сейчас рядом с Агатовым. Он словно обжегся, прикоснувшись к обнаженной душе этого человека. На какой-то миг приоткрылось самое сокровенное, в глубине расщелины Крылов увидел трепещущее, еще расплавленное, готовое отлиться в любую форму... Кто знает, где и когда совершается поворот человеческой души? Что-то бурлит, соединяется у вас на глазах, достаточно одного слова, и оно вдруг застывает судьбой: Крылов думал о том, что мы сами делаем людей плохими и хорошими.

Разумеется, Бочкарев, и Ричард, и Голицын — они руководствуются самыми высокими принципами, а вот Агатову все это предстает, наоборот, величайшей несправедливостью. Природа обделила его талантом, отсюда обиды, ущемленность, зависть — все, что уродует человека. И как помочь ему? Неужели неизбежна такая несправедливость? Но и ребята правы: к руководству нельзя подпускать бездарных. Но и бездарные никогда не чувствуют себя бездарными. Они не мучаются, они завидуют и злят-ся. А ведь каждый в чем-то бездарен...

Глава 5

Стеллажи сверху донизу были плотно заставлены пыльными томами — научные отчеты со дня основания лаборатории.

Под самым потолком стояли тома в старинных переплетах, обклеенных мраморной бумагой с красноватыми прожилками, с тисненными золотом корешками. Затем шли переплеты из дешевого синего картона, из рыжеватых канцелярских папок — переплеты военных лет с выцветшими чернильными надписями, и последних лет — в толстом коричневом дерматине.

Вид этих стеллажей настроил Тулина иронически:

«Урны с прахом обманутых надежд давно ушедших поколений... Кладбище несбывшихся мечтаний... Сколько никчемной добросовестности!»

И все эти бумаги на столе Крылова будут так же погребены в очередном томе.

Тулин придвинул к себе график суммарной напряженности поля. Через месяц-другой этот лист отпечатают, подклеят в отчет, который перелистает кто-нибудь из начальников, и папка навечно займет свое место на стеллаже.

Он ждал Крылова уже минут пятнадцать. Прищурясь, размашисто нарисовал на кривой танцующие скелеты и подписал:

Карфаген будет разрушен!

Ричард остановился за его спиной.

— Лихо! Несколько в духе Гойи. Вы художник?

Тулин осмотрел свою работу.

— Тот, кто рисует, уже художник. Искусство — это не профессия, а талант.

— Ну, знаете, талант — понятие расплывчатое, — возразил Ричард. Он обожал споры на подобные темы. — Необходимо еще образование.

— А что такое образование? — спросил Тулин и, не дожидаясь ответа, провозгласил меланхолично: — Образование есть то, что остается, когда все выученное забыто.

— Неплохо. Но вы испортили Крылову график.

— Не беда. Если он даже подклеит в таком виде, это обнаружат не раньше, чем в следующем столетии.

Ричард попробовал было вступить за работу Крылова — Тулин пренебрежительно отмахнулся. Покачиваясь на стуле, он рассуждал, не интересуясь возражениями:

— Поставщики архива, работаете на это кладбище во имя грызущей критики мышей.

— Сила! — восхитился Ричард.

— Это не я, это Маркс.

К ним прислушивались. Тулин повысил голос. Сохраняя мину беспечного шалопая, он с удовольствием ворошил этот муравейник. Забавно было наблюдать, как оторопели, а потом заволновались они от неслыханной в этих стенах дерзости.

Первым не выдержал Матвеев. Избегая обращаться к Тулину, он попробовал пристыдить восхищенного Ричарда: неужели ему не дорога честь коллектива?

— Фраза... — заявил Ричард. — Терпеть не могу фраз. Что такое коллектив? Что такое его честь?

— Ну, знаешь, — сказал Матвеев, — у нас большинство честных, добросовестных людей, они работают, не щадя себя. Этим нельзя бросаться.

— Науку двигают не честностью! — запальчиво сказал Ричард, но Тулин неожиданно осадил его:

— Честность тоже на земле не валяется. Я уверен, что здесь большинство честных, беда в том, что вы честно хотите одного, но так же честно делаете совсем другое, а получается третье. Везде кипение, перемены, а у вас как в зачарованном королевстве.

Теперь Матвеев уже решился возразить самому Тулину.

— К вашему сведению, лаборатория на хорошем счету: в прошлом году мы перевыполнили показатели.

Всепонимающая улыбка, и Тулин стал усталым циником.

— О да, благодаря вашему энтузиазму отчет поставили на эту полку недели на две раньше срока. Освоены отпущенные средства.

Матвеев ужаснулся.

— Вам известно, что наш отдел возглавляет член-корреспондент Голицын?

— Как же, как же! — сказал Тулин. — Любимый ученик Ломоносова. А вы все еще верите в авторитеты? Увы, люди не могут без авторитетов... Нет, я о вас лучшего мнения, вы просто боитесь говорить то, что думаете. А я не боюсь. — Он подмигнул им всем разом. — Я из другого министерства.

— Вы что, академик, — сказала Зиночка, — или новатор?

Тулин оценивающе скользнул глазами по ее фигуре и сказал загадочно:

— Иных можно понять, рассматривая вблизи, другие понятны лишь издали. — Он взглянул на часы. — Время, пространство, движение... Свидание не состоялось. Я оставляю вас, мученики науки.

Ричард отправился его провожать.

— Вам нравится Гойя? А неореализм? А как вы оцениваете астроботанику? — Он забрасывал незнакомца вопросами, восхищался его пренебрежительными афоризмами. — А кто вы по профессии? Давайте познакомимся, — предложил он.

— Почему у вас такое имя? — спросил Тулин.

Ричард с готовностью рассказал про отца-моряка, который побратался с английским боцманом, коммунистом Ричардом Клебом.

На повороте коридора они столкнулись с Крыловым. — Сережа! — крикнул Тулин, расставляя руки.

Рассеянно кивнув, Крылов прошел мимо. Загорелое лицо Тулина вспыхнуло, Ричард опустил глаза.

Пройдя несколько шагов, Крылов обернулся, ахнул, подбежал к Тулину, схватил за плечи:

— Олечка!

Ахали, колотили друг друга по плечам, выяснили, что Аллочка Кривцова вторично вышла замуж, что до сих пор неизвестно, кто на последней вечеринке прибил галоши к полу, что Аникеева переводят в Москву...

Тулин отметил у Крылова модные туфли, интересную бледность, совершенно несвойственную его примитивной курносой физиономии. Крылов нашел, что Тулин похож на преуспевающего футболиста из класса «Б». Неужели сотрудники могут принимать всерьез такого руководителя — стилиягу и тунеядца?

Он очнулся, засиял, глаза его прояснились, он был растроган тем, что Тулин специально заехал проведать его, он не ожидал такого внимания к себе. Со студенческих лет он поклонялся Тулину, хотел быть таким, как Тулин, — веселым, общительным, талантливым. Куда б Тулин ни шел, ветер всегда дул ему в спину, такси светили зелеными огнями, девушки улыбались ему, а мужчины завидовали. Но Крылов не завидовал — он любовался и гордился им и сейчас, восхищаясь, слушал рассказ Тулина о новых работах и о том, зачем Тулин приехал в Москву.

Разумеется, Крылов читал в апрельском номере его статью. Шик! Последние исследования Тулина открывают черт те знает какие возможности. Правда, строгих доказательств еще не хватает, и Крылов заикнулся было об этом, но Тулин высмеял его:

— Академический сухарь. Разве в этом суть?

И несколькими фразами разбил все его опасения. Замысел был, конечно, грандиозен, и Крылову казалось, что сам он давно уже думал о том же и так же.

— А я, пожалуй, побоялся бы выступить вот так, — простодушно признался он, и глаза его погрустнели. —

Страшно представить! Но постой, полеты в грозу — ведь это опасно?

— А ты как думал! — Тулин рассмеялся. — Но я изобрел средство избежать опасности: не бояться ее.

— Ты уверен, что тебе разрешат?

Тулин выразительно присвистнул:

— Добьюсь! Другого-то выхода у меня нет.

Он было нахмурился, но тут же подмигнул Крылову:

— Образуется. Ну, как дела?

Хорошо, что Тулин напомнил, и вообще ему просто повезло с приездом Тулина. Тулин посоветует, как быть насчет предложения Голицына, взвесит все «за» и «против», и все станет ясно.

— Значит, заведовать этим саркофагом? — сказал Тулин.

Он разочарованно оглядел Крылова: «Доволен, сияет, выбрался на поверхность! Еще немного — и его сделают благоразумным и благополучным деятелем в стиле этого заведения, где ничто не меняется».

— Старик все так же воюет за каждую цифирь и думает, что двигает науку?

— Ты зря, — сказал Крылов. — Он все же прогрессивное начало.

— Это по нынешним-то временам? Разве что он тебя выдвинул, но это еще не прогресс. Его идеи на уровне... Он за отмену крепостного права, вот он где находится, болтается где-то между Аристотелем и Ломоносовым. — Тулин был в курсе всех публикаций лаборатории. Кроме некоторых работ Бочкарева и Песецкого, все остальное — схоластика, ковыряние в мелочах. — Бродят сонные кастраты и подсчитывают... — Он не стеснялся в выражениях.

Они шли по лаборатории, и Тулин высмеивал их порядки, и продукцию, и глубокомысленный вид всех этих ихтиозавров. Когда Крылов попробовал возражать, Тулин вздохнул:

— Вот мы уже и становимся противниками!

Агатов работал у своего аппарата.

— Все капаете, — приветствовал его Тулин. — Помнишь, Сережа, мы еще студентами капали на этом же приборе. Господи, сколько уже диссертаций тут накопано! — Не переставая говорить, он легонько отстранил Агатова, наклонился к объективу, повертел регулировоч-

ный винт. — Пластины-то выгоднее поставить круглые. Легче скомпенсировать. А еще лучше эллиптические, тогда наверняка можно присобачить регистратор.

Он и понятия не имел, что мимоходом выдал Агатову идею, над которой тот бился больше месяца.

Агатов любезно улыбался.

— Не благодарите, не стоит, — сказал Тулин. — А вось еще на десятитысячную уточните! — И бесцеремонно расхохотался и уже оказался в другом месте, он даже не шел, он словно вертел перед собою лабораторию, как крутят детский диафильм. В дверях Крылов обернулся и увидел нацеленные им в спину глаза Агатова. Хорошо, что Тулин не видал их.

На лестнице рабочие перетаскивали ящики с приборами. Один из ящиков стоял в проходе. Тулин перепрыгнул без разбега, легко, Крылов подумал, что если бы Тулин был начальником лаборатории, то все равно бы он прыгал через ящики, носил стилижный пиджак, бегал бы с Зиной и ребятами загорать на вышку, и всем бы это казалось нормальным, и лаборатория бы работала весело, по-новому.

Потоптавшись, он сдвинул ящик, догнал Тулина.

— Как же мне быть, Олежка? — спросил он.

Тулин помахал папкой.

— Не управлюсь, переночую у тебя. — Тулин смотрел на Крылова. — Ах ты бедолага... Значит, хотят тебя сделать свежей струей. Молодые силы. К руководству подходит ученый, еще сам способный работать. Невиданно... Не злись. Для меня это... Ты — и вдруг начальник!

И Крылов тоже невесело ухмыльнулся.

— А впрочем, — сказал Тулин, — чем ты хуже других? Кому-то надо руководить, лучше ты, чем какой-нибудь бурбон. Попробуй рвануть по лестнице славы, может, понравится. — Подмигнул, и все стало озорно и просто. Подумаешь, страсти!

Тулин погрозил пальцем.

— Учти — человек, который не хочет быть начальством, против начальства.

Откуда-то вынырнул Ричард.

— Так вы, оказывается, Тулин! Вот здорово. Я читал вас и полностью согласен. Вы уже уходите? А с Агатовым у вас здорово получилось. Капает, капает... — Он засмеялся от удовольствия. — Слезы, а не работа!

Крылов нахмурился.

— Что ты знаешь... Так нельзя.

— Ничего подобного. Так ему и надо. Принципиально! — закипятился Ричард. — Без пощады! Железно!

— Ага, у меня тут не только противники, — сказал Тулин. — Ричард, двигайте к нам. Будете бороться с настоящей грозой, а не с Агатовым.

Стоя в вестибюле, они смотрели сквозь распахнутые двери, как Тулин пересекал сквер, полный солнца и яростного гомона воробьев.

— Да-а!.. — протянул Ричард, и в этом возгласе Крылов почувствовал восторг и грусть, обращенную к тому, что осталось здесь, в институте, поблекшем и скучном после ухода Тулина.

— Хорошо, если б ему удалось добиться... — сказал Крылов.

Ричард пожал плечами, хмыкнул, показывая, как глупо сомневаться в том, что Тулину может что-либо не удалиться.

Глава 6

Фамилия генерала была Южин, знал о нем Тулин мало, поэтому плана разговора не составлял, целиком пожившись на свою фортуна.

В большой приемной быстро сменялись летчики, инженеры, и Тулин, присматриваясь к ним, решил, что держать себя надо как-то по-особому, непохоже на обычных просителей, которые одолевали Южина с утра до вечера.

Кабинет оказался огромный, казенно-безликий. Пустой стол, коммутатор, микрофоны, по стенам завешенные черными шторами карты.

Генерал достал из ящика докладную Тулина и начал перечитывать, шевеля губами.

Тулин вглядывался в его лицо, убеждаясь в полной беспомощности физиономистики. Мясистый нос, грубые, навсегда обветренные щеки могли принадлежать и добряку и черствому служаке. Что означали ежик седых волос, татуировка на руке? Приветливые манеры, может, они от интеллигентности, от уважения к Тулину, а может быть, это привычка, выработанная для всех просителей.

Вспыхнул глазок коммутатора. Генерал взял трубку.

— Я занят... Минут через десять.

Он положил бумагу и придавил сверху куском оплавленного металла.

Тулин заговорил первым, опередив генерала на какую-нибудь секунду. Он вовремя почувствовал, что необходимо перехватить инициативу, всегда легче убеждать чем разубеждать. Стоит человеку произнести «нет», все его самолюбие будет направлено к тому, чтобы держать за это «нет».

— Вы летали и знаете, что такое гроза.

Южин кивнул.

— Там, наверху, не станешь сочинять «Люблю грозу в начале мая».

Он улыбнулся, и Южин тоже улыбнулся и сказал «да»: пусть привыкает говорить «да».

Всякую аппаратуру и научную суть проблемы Тулин не стал описывать. По своему опыту он знал, какое тягостное впечатление на неспециалиста производят цифры, схемы, в которых невозможно разобраться на ходу. Автор шпарит, уверенный, что все ясно, радуясь, что ему кивают, кивают, хотя слушатель тем временем редактирует уже приготовленную формулу отказа. Тулину тоже приходилось принимать разных изобретателей, они, как глухари на току, увлекаясь, ничего не слышали, кроме себя, им казалось, что достаточно поводить пальцем в воздухе, и схема станет понятной.

Южин был человек новый в управлении, и Тулину пришлось затронуть историю вопроса. Исследования над грозой велись уже несколько лет, бывший шеф Тулина профессор Чистяков пользовался поддержкой бывшего начальника управления. Группе давали исследовательские самолеты в составе какой-нибудь экспедиции. Пристраивались, подлаживались под общую программу. Но сейчас работа подошла к такому этапу, когда группе нужны свои самолеты, специальные режимы, полная самостоятельность. Теперь изучается наиболее важное — условия управления грозой, условия разрушения грозы. Тулин произнес это без всякого нажима, словно бы между прочим, и тут же рассказал, как пришлось красть ночью баллоны со склада промартели, и еще несколько забавных эпизодов. Пока генерал смеялся, Тулин снова вернулся к проблеме: необходимо научиться находить центры грозы, с тем чтобы воздействовать на них. Рано или поздно от мышей или собак переходят к человеку.

Он заговорил медленней, давая время Южину привыкнуть к мысли о неизбежности полетов в грозе.

С честностью победителя он упомянул и горькие неудачи некоторых опытов, конфуз с первым указателем грозы. Он сам удивился, как много сделано за эти полтора года: приборы готовы, методика разработана, программа составлена, обоснована.

Ни разу он не сбился на тон просителя. Развалясь в кожаном кресле, он с милой беззаботностью переключал на Южина тяжесть предстоящего решения. Вот вам, товарищ начальник, наши результаты, наши приборы, вот будущий успех, перспектива, остальное зависит от вас, наше дело теперь сторона.

— Молодцы, молодцы, но... — Южин озадаченно погладил ежик, — вы же знаете, в грозу летать нельзя. Чертовски опасная штука. Вы когда-нибудь залезали в желудок этой самой грозы? А я так вляпался. Бр-р-р! — Его передернуло от воспоминания, какого страху он натерпелся. Не знал, где небо, где земля, швыряло, как щепку, еле-еле дотянул до посадки.

Получилось, что он пытается отговорить Тулина, напугать его всевозможными страхами. В сущности, Южин оборонялся. Это был первый выигрыш. Инициатива была в руках Тулина, и важно было ее умело использовать.

— Честное слово, зенитки приятней, — говорил Южин. — Хоть рассчитать можно, что к чему.

Тулин сочувственно улыбнулся.

— Но зенитки вас не останавливали. Вы выполняли свои задания, несмотря ни на что.

— Вы мне базу не подводите. Война — это несчастье.

— Гроза тоже, — сказал Тулин. — Для авиации гроза — несчастье. Верно?

Южин спокойно согласился, вспомнив несколько аварий, и сделал неожиданный вывод: видите, перед грозой пасуют даже опытные летчики; как же можно разрешить идти на такое, да еще в самый центр грозы, да еще с группой научных работников, на транспортном самолете?

Он оказывался не так прост, этот генерал: одну за другой он раскритиковал схемы полета, предложенные в записке. Теперь он наступал, и Тулин понимал: стоит начать защищаться, как все пойдет прахом.

— Как же, по-вашему, бороться с грозой, если убегать от нее? — И подождал ровно столько, чтобы показать,

что ответ на такой вопрос получить невозможно. — Есть только один способ узнать вкус арбуза. — Тулин сделал паузу. — Съесть его.

Южин хохотнул.

— А у нас в Сибири говорят, что если надо узнать, не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком. Это так, поговорка. Окорока у нас мировые, год-два висят — не портятся. — Он обрадовался передышке, со вкусом принялся описывать, как коптят окорок.

«Тянет время, — сообразил Тулин, — через несколько минут посмотрит на часы, разведет руками...»

— Что ж вы предлагаете? — резко спросил Тулин. — Заняться хранением окороков?

Южин размашисто очертил на схемах зоны возможных полетов. Голос его звучал сухо. Другие экспедиции довольствуются меньшим, работают в мощных кучевых облаках при их формировании.

На это Тулин, сдерживая раздражение, заметил, что никто не ставит себе задач по управлению грозой.

— Так уж и никто? — И Южин с удовольствием сослался на опыты Денисова с зенитками и на работы других институтов, не связанные ни с каким риском, спокойные наземные работы.

«Начинается, — подумал Тулин, — лишь бы спихнуть с себя, гони зайца дальше. Зенитные снаряды — это отлично, это устраивает, неважно, что результаты сомнительные, что принципы, методы иные, зато все спокойно и никаких осложнений». С каким удовольствием он выложил бы все это Южину, но он тоже не хотел рисковать. Самое лучшее — разъяснить преимущества своего направления. Прежние методы пока что не дают никаких гарантий.

— Во всех этих методах действуют вслепую: неясно, то ли мы разрушаем грозу, то ли ускоряем ее, спускаем с цепи. Неустойчивый процесс может развиваться в любую сторону...

Здесь преимущества были на стороне Тулина, и он мог обрушить на Южина все сложности непрестанно меняющегося механизма грозы.

Однако Южин уклонился от спора. Он простодушно посмеивался.

— Видите, все вам известно, неужто с такой головой нельзя придумать что-нибудь такое, чтобы не переться

в самое пекло? — И он неопределенно покрутил пальцами, расплываясь ничёго не значащей улыбкой, но сквозь прищуренные веки глаза его смотрели внимательно.

Чего он добивался? Почему не сворачивал разговор к категорическому отказу? Может, ему хотелось, чтобы Тулин сам пошел на уступки, изменил характер работ, сам отказался... Значит, что-то мешает ему просто запретить...

— Вот, полюбуйте́сь, — Южин подкинул на ладони оплавленный кусок металла, — что осталось от самолета, попавшего в грозу. — Он вытащил пачку фотографий, разложил их перед Тулиным.

Искореженные останки самолетов. Сломанные, поваленные деревья. Обезображенные трупы. Из глянцеви́той глубины снимков тянуло гарью еще дымящихся обломков.

Тулин почувствовал на своем лице взгляд Южина.

— Вас это останавливает, а меня воодушевляет, — сказал Тулин, принимая вызов. — Я не хочу, чтобы самолеты разбивались. Я не хочу, чтобы летчики боялись грозы. Я хочу, чтобы вы были хозяевами неба. Ради такого стоит рискнуть, не считаясь с опасностью.

— Ага, рискнуть, — воскликнул Южин, — значит, вы не уверены! Вы не гарантируете!

— Новое — это всегда риск. Кто отвергает риск, тот отвергает новое.

— Слышали. Сейчас вы мне припишете перестраховку и всякое такое. А почему я должен вам верить? Три года вы возитесь. А где результаты? Точного прогноза грозы не можете составить! Разрушать ее беретесь, а хоть бы предсказывать научились. Сколько экспедиций. Миллионы рублей государство бухает вам. Понавертели дырок в самолетах...

Прогнозы были его больным местом, и Тулин никак не мог втолковать, что их работа никакого отношения к прогнозам не имеет. Южин не хотел ничего слушать. Ему осточертели какие-то там деятели: взялись за одну работу для авиации, охмуряли его всякими мудренными терминами, получили большие деньги и в результате разродились еще одной монографией.

Он вытащил из ящика и потряс перед Тулиным затрепанной книжкой правил эксплуатации.

— Читайте! Я не имею права нарушать. Вы же сами не можете поручиться.

— При чем тут прогнозы? — твердил Тулин.

— Вы хотите взвалить на меня ответственность.

— Ага, боитесь ответственности!..

— За ваши жизни? Да, не желаю отвечать. Чем я могу ответить за них? Чем? Выговором?

— Потому что вы не желаете разобраться в существе!

Южин, не глядя на Тулина, вытер платком лоб. Оба разом замолчали. Южин аккуратно сложил платок.

— Хорошо покричали, — миролюбиво сказал он. — Редко у нас, чтобы двое кричали. Обычно кричит один, другой слушает. А вдвоем это хорошо. Голос проверяешь. Так вот, не за что меня упрекать. Я не специалист по вашей науке. А принимать на веру — извините.

Тулин промолчал.

— Что же остается? — сказал Южин. — Запросить мнение специалистов. Согласны?

— Кого? Того, кто вас поддержит?

— Ну зачем вы так? — добродушно сказал Южин. — Кого вы считаете авторитетом? Допустим, академик Денисов?

— Денисов носится со своими генераторами и зенитками, — сказал Тулин. — Ничего другого он не признает. Он нетерпим, он монополист.

— Так. А Жильцов?

Тулин пожал плечами.

— Жильцов — скептик. Он противник всего нового. Он специалист по выступлениям «против».

— Другие предложения есть? — терпеливо спросил Южин. — Подскажите. Может, Лагунов?

— Вы же знаете... Лагунов — ставленник Денисова. Какой он ученый?

— Всюду противники. Кто же сторонники?

«Странно, почему он не предлагает Голицына? — подумал Тулин. — Может, не надеется, что старик поддержит его?»

— Поймите меня, товарищ генерал, — сказал он, — каждая новая теория союзников завоевывает. Вначале перед ней только противники. Борьба с ними — значит убеждать их фактами. А факты там, в грозе. Я могу достать их только оттуда.

— Сложное ваше положение. Что ж вы от меня требуете? Я должен нарушить инструкции, пойти против специалистов ради дела, в котором не шибко разбираюсь, да и не очень-то верю в него. Слишком многого вы от меня хотите. Небось думаете: вот сидит солдафон, и от такого зависит прогресс. Но солдафону легче всего сослаться на параграф и отказаться. Я этого не делал, хотя вы меня толкаете на это.

Логика его была безупречна, молчать дальше не имело смысла, и все же Тулин медлил.

— Кто ж остается? — спросил Южин. — Может, рассчитываете на Голицына?

Тулин обрадовался: получалось, что Южин его выручил, сам назвал Голицына, что Тулина ни к чему не обязывало, да и в конце концов, выхода нет, он ничем не выдал себя. Тулин иронически улыбнулся. Страховка прежде всего.

— Ну что ж, Голицын — специалист, от него это не отнимешь. Стародум, конечно.

— Как хотите, — сказал Южин.

— А сколько времени надо ждать его заключения? — капризно спросил Тулин. «Крылов, — подумал он, — пожалуй, вывернемся!»

Южин посмотрел на часы.

— Минут сорок придется подождать.

— Как?

— Я неделю назад, как получил ваши бумаги, заказал Голицыну отзыв. — Южин заговорщицки улыбнулся, и Тулин понял, что его провели как мальчишку. Этот генерал знает свое дело.

Теперь остается одно — не сорваться. Вспылить — значит окончательно расписаться в своей глупости. Нет, такого удовольствия он не доставит. Совершенно спокойно, как бы любопытствуя, он спросил, почему Южин обратился именно к Голицыну, а не к кому другому.

— Я давно знаю Аркадия Борисовича, уважаю его. В какой-то мере наши мнения совпали? — не без лукавства осведомился Южин.

Не имело никакого смысла томиться в приемной, куда как красивей будет зайти за ответом завтра, а пока что отправиться в Госплан, в редакцию. Но он знал, что не

сможет ничем заниматься, пока не получит ответа. До сих пор ему ни разу не приходило в голову: а что будет, если им откажут? И никому в группе он не позволял заикаться об этом. Улетая в Москву, он знал, что добьется своего. Как это произойдет, он понятия не имел, но иначе быть не могло. И сейчас, сидя в приемной, он не желал думать о поражении. Голицын должен поддержать его хоть частично. Нужно совсем немного: чтобы заключение было уклончиво, — остальное можно будет выжать из Южина; беседа даром не прошла, в чем-то удалось Южина поколебать.

Вдруг он сообразил, что в институт он заезжал не даром. Все время он чувствовал, подозревал, что Голицына не миновать. Стоило предупредить Крылова, и тот помог бы. Вместо этого он гусарил, выламывался, издевался над их порядками.

А что, если сейчас позвонить Крылову? Поздно. Да и все равно он не сделает этого. Кого угодно просить, только не Серегу. Самолюбие? Пусть самолюбие, гордость, глупая гордость. Он не мог признаться, что нуждается в его помощи. Ни за что! Это не суеверие, но все же это значило бы, что их роли переменялись.

Глава 7

Он увидел привычные комнаты лаборатории глазами Тулина. Действительно, зрелище унылое. А что, если попробовать? И он представил себя начальником лаборатории.

Стены податливо раздвинулись. Он поднял потолки, снес перегородки, сменил освещение, убрал надоевшую рухлядь. В светлых залах стало просторно и безлюдно. Остались наиболее способные сотрудники. Конечно, увольнять непросто: начнется морока — на каком основании, местком и всякие комиссии. Найти способных ребят трудно, но еще труднее избавиться от слабых работников. Но ведь стоит того. А чего ему бояться? Что он теряет? И вовсе это не саркофаг. Тут можно так развернуться — будь здоров! Общими усилиями с разных сторон взяться за механизм грозы, составить единый план работ вместе с институтом высоких напряжений и с лабораториями активных воздействий, с академическими институтами.

Распределить силы. Придется быть в курсе каждой работы, начальнику надо уметь вникать с ходу, находить ошибки, раздавать идеи, предвидеть трудности. Важно найти свой стиль. Не обязательно быть таким, как Тулин. Каждому свое. Ему больше подойдет неторопливая вескость, ни одного лишнего слова, но уж если сказано, то намертво. При этом оставаться веселым и доступным. Мужественное и доброе лицо типа Хемингуэя и Фиделя Кастро. И потом, как все крупные ученые, не стесняться говорить: «Не знаю».

Хотелось немедленно действовать, совершить что-то решительное. Он велел перенести контрольные счетчики на площадку — второй месяц, как он собирался это сделать, и все было недосуг. Потом он подошел к Агатову.

— Пора бы нам наладить генератор, — сказал он. — Разве это мощность?

— У нас есть запасной, можно запараллелить, — сказал Агатов.

— Оба они барахло. Нечего с ними возиться.

Агатов быстро взглянул ему в глаза.

— Да, пожалуй, что так.

— И ртутник — тоже барахло, — сказал Крылов.

— Да, вы правы, — сказал Агатов.

— Вот что, Яков Иванович, сейчас научная сторона важнее: тематику придется пересмотреть. И вообще... Так что я думаю согласиться на предложение старика.

Кто-то невидимый словно резинкой стирал черты с плоского лица Агатова. И постепенно оставалась гладкая белая поверхность. Может быть, это делал сам Крылов своими словами.

— Понятно, — сказал Агатов без всякого выражения. — Это, что же, Тулин вас воодушевил?

— И он, он тоже, — обрадовался Крылов. — Я надеюсь, мы вместе с вами... В деловых вопросах у вас опыт, вы, конечно, можете оказать...

Он пытался как-то смягчить, чем-то утешить Агатова. «На кой я поторопился? — подумал он. — Как будто нельзя было выбрать более удобный момент!»

— Мне жаль, что так получилось.

«Чего ради я оправдываюсь? А бог с ним! Может быть, так ему будет легче».

Агатов выключил схему, встал.

— Я всегда делал то, что мог, — сказал он. — Тулину, конечно, легко критиковать со стороны.

— Нет, нет, он во многом прав, — горячо заговорил Крылов, радуясь, что с этим покончено и можно начать о другом.

Агатов слушал внимательно, согласно кивал, но Крылов понимал, что Агатову сейчас не до него и не до его откровенных излияний. Новая должность начиналась тяжело. «Неужто и дальше придется вот так же ломать чужие надежды, — думал Крылов, — перешагивать через какие-то, решать чьи-то судьбы? Неужели без этого не обойтись? И всякий раз стараться не замечать, не думать об этом, поскольку, мол, иначе поступить нельзя».

Перед кабинетом Голицына Крылов посмотрелся в оконное стекло, почесал подбородок. Придется бриться ежедневно.

— Чего вызывает? Что за срочность? — спросил он у Ксюши.

— Вас можно поздравить? — сказала она. — Ваша жизнь вступила в новую фазу.

У нее все было крашеное: волосы, ногти, губы, ресницы, брови. На лимонно-желтой кофточке блестели большие бусы.

— А вам идет желтый цвет. — Крылов улыбнулся, довольный своей развязностью.

Ксюша подняла трубку.

— Позвоните позже, он занят. — И глазами показала Крылову на дверь кабинета.

Читая бумагу, которую ему протянул Голицын, Крылов подумал, что он был свиньей и надо как следует поблагодарить старика.

«Осуществление гипотезы, высказываемой неоднократно в последние годы, нуждается в огромном экспериментальном материале. Такой материал требует широкой, многолетней программы лабораторных исследований...»

Как бы там ни было, старик помог ему в самое трудное время, старик заставил его защитить диссертацию. Ну и времечко было!..

— Ясно? — спросил Голицын.

Крылов заставил себя сосредоточиться:

«Идея остается очередным прожектом». Какая идея?

«...Безответственная, ничем не обоснованная программа Тулина...»

При чем тут Тулин?

Голицын нетерпеливо постукивал ногтем по стеклу, на пальце у него блестело серебряное кольцо с печаткой.

Крылов вернулся к началу, перечел заново всю бумагу.

— Ознакомились? Прошу вас, поезжайте с нашим заключением в управление к генералу Южину, он ждет, — сказал Голицын. — Может, у него возникнут вопросы, ну, вы растолкуете.

— Подождите, как же так? — сказал Крылов.

— Привыкайте, дорогой! Ничего страшного, вам полезно поворачаться.

— Да нет, не в этом же дело, — сказал Крылов. — Я про заключение. Вы ж фактически закрываете работу Тулина.

— Вот и хорошо, делом займемся. Как вернетесь, заходите, мы планы обговорим.

Голицын надел очки и развернул английский журнал. Крылов вышел к секретарше.

— Все в порядке? — спросила она. — Я всегда верила в вашу звезду.

Крылов постоял перед ее столом.

— Ксюша, это невозможно, — сказал он и вернулся в кабинет Голицына.

— Я не могу, — сказал он с порога. — Это ж бездоказательно.

Голицын удивленно вскинулся.

— Вы еще здесь? — Он отшвырнул журнал. — Как вы сказали?

— Бездоказательно, — повторил Крылов. — Простите меня, Аркадий Борисович, но я не вижу, в чем Тулин ошибается...

— Заключение и не требует подробного разбора. Вы, дорогой мой, читали статьи Тулина?

— Читал.

— Как, по-вашему, у него достаточно обоснованы выводы? А? То-то!

— У него есть вещи спорные, но...

— Послушайте. — Голицын нахмурился. — Вы никак собрались меня поучать. Вы, что же, хотите, чтобы я благословил Тулина на его авантюру? Не ожидал от вас.

— Это не авантюра. Пусть местами его выводы не вполне корректны, но тем более он имеет право удивляться...

— Не имеет! — закричал Голицын. — Настоящий ученый не имеет права на такую торопливость. Накопит материал, тогда посмотрим. Пока у него одна самоуверенность.

— Сколько можно копить факты, когда-нибудь надо...

— Сто лет, тысячу лет — сколько потребуется!.. Зеленые яблоки рвать ума не надо. — Он успокоился. — Вы же знаете, Сергей Ильич, я не против любого метода активных воздействий. И его метод тоже во своевремении. Рано еще, миленький вы мой. Слишком мало мы знаем. В данном случае нужна обстоятельная подготовка, чтобы не скомпрометировать... — Собственная терпеливость настраивала его на отеческий лад. Ведь все это когда-то было и с ним самим. Упрямо сведенные брови, опущенная голова, старый осторожничающий профессор — как смешно повторяется жизнь!

— Я тоже начинал с этого, — сказал он. — И мы требовали действий, мы твердо были уверены, что именно нам удастся покорить небеса. Мы надеялись стать громовержцами. — Он прикрыл глаза, вглядываясь в прошлое. — Строптивая юность... милая, строптивая, мечтательная юность. Им все кажется просто, легко, они парят над землей, не желая задумываться над мелочами. Но это пройдет, они поймут.

«Посыпалось! Сейчас заведет про Гриднева», — подумал Крылов.

— Тем более, — начал он, — вы можете меня...

— Старики вроде Гриднева или Оболенского казались нам... Любопытно, кем я кажусь вам сейчас? Окурок? Старая песочница?

— Почему ж окурок? — Крылов покраснел, и Голицын вдруг пронизательно усмехнулся.

— Понимаю и ни в чем не виню. И даже Тулина готов понять. А знаете: понять — значит наполовину оправдать. Терпеть не могу ученых, которые никогда не ошибаются. Завиральные идеи полезны, но... — он наставительно поднял палец, — до той поры, пока они не мешают главному направлению.

Дверь приоткрылась, показалась голова Агатова.

Голицын кивнул, и Агатов осторожно протиснулся, скользнул вдоль стены, прислонился к шкафу, стараясь не мешать Голицыну, который, заложив руки за спину, ходил, как на кафедре во время лекции.

— В одна тысяча сотом году Альхазен открыл рефракцию, вычислил высоту атмосферы. Увы, науке это понадобилось лишь пять столетий спустя, и тогда Торричелли пришлось открыть все заново. Научные идеи должны идти в ногу со своим временем. — История науки была его коньком, тут он мог говорить часами.

Крылов протянул заключение Агатову.

— Вы читали?

— А что ж Альхазен, — громко спросил Агатов, — так и пропали его труды?

— Вот именно, — сказал Голицын. — Их обнаружили совсем недавно.

Крылов посмотрел на Агатова, потом на Голицына.

— Аркадий Борисович, неужели вы сами составляли это заключение? — внезапно спросил он.

Голицын остановился обеспокоенный.

— А что?

— Не похоже. Тут не ваши выражения: «авантюризм» или вот «псевдонаучная аргументация».

— А-а, как бы ни браниться, лишь бы добиться, — несколько смущенно запетушился Голицын.

— В научной полемике ни к чему дипломатничать, — сказал Агатов.

Голицын обернулся к нему.

— Но, Яков Иванович, мы тут посылаем это в несколько иные сферы.

Агатов твердо сказал:

— Как раз военным нужны четкие определения.

— Возможно, возможно. Нам тут соперничать с Яковом Ивановичем не резон, да и я не вижу нужды, была бы суть... Так на чем я остановился? Ах, да, вот, представьте, лет через сто отыщут идею Тулина, и какой-нибудь историк напишет про смелый, непонятный современникам проект. Жил-де некий Голицын, называл Тулина фантазером, не понял, не оценил. Заклеймит этот историк всех нас. Пригвоздит к столбу, — проговорил он с восторгом. — Видите, насколько я беспристрастен.

— Да, вы беспристрастны, — медленно сказал Крылов, — но к кому вы беспристрастны?

— Однако!

Голицын умел отвечать на дерзости уничижительным достоинством. В такие минуты он становился недосягаемым, под стать портретам Франклина и Ломоносова, старинному кабинету черного резного дуба, где все стояло незыблемо с тех пор, как Голицын пришел сюда.

— К вашему сведению, Сергей Ильич, у меня с Тулиным никаких личных взаимоотношений нет. И он мне не конкурент. — Крылья его носа высокомерно дернулись. — Надеюсь, это ясно? Делить мне с ним нечего. Мне пора, как говорится, о боге думать.

— Скорее вы, Сергей Ильич, не беспристрастны, — сказал Агатов, отделяясь от шкафа.

— Я?

— Вы ж друзья с Тулиным. Он ведь вас просил хлопотать.

— Что за чепуха? — изумился Крылов.

Агатов укоризненно покачал головой.

— Ну зачем же вы так, Сергей Ильич? Тулин специально за этим приезжал к вам сегодня.

— Как? — поразился Голицын. — Тулин сегодня был здесь? — И, не слушая Крылова, покрасневшего, желая чего-то объяснить, сказал: — Так, так, за моей спиной... После этого вы еще требуете беспристрастности. А я-то, старый дурак, считал вас...

— Но Тулин про это не говорил ни слова! — в отчаянии воскликнул Крылов, понимая, что сейчас не удастся ничего объяснить старику.

— Вы чего, собственно, добиваетесь, Сергей Ильич? — спросил Агатов многозначительно и уличающе.

— То есть как?..

— Сознаете ли вы, на что вы толкаете Аркадия Борисовича? Вы требуете другого заключения. Но заключение-то будет его, не ваше. В случае чего Аркадий Борисович понесет всю ответственность. Вы этого добиваетесь?

— Не говорите глупостей, — сказал Крылов. Вдруг он вспомнил и поразился: — Погодите, Яков Иванович, но вы же сами были за подобные исследования. Только сегодня мы с вами говорили.

Агатов нисколько не смешался, он словно ждал этого.

— Лучше не стоит касаться нашего разговора, Сергей Ильич, — сказал он.

— Почему же, я не вижу тут...

— Значит, сами настаиваете? Ну что ж. Аркадий Борисович, я бы никогда не стал огорчать вас, — торжественно начал Агатов, — но мои слова искажаются, я должен...

Голицын замахал рукой.

— Пожалуйста, избавьте меня.

— Нет, разрешите. Сегодня мы с Крыловым обсуждали планы лаборатории. Сергей Ильич заявил, что мы занимаемся никому не нужной тематикой. Не буду приводить неподобающих выражений. Руководство плохое, подавляет инициативу. Правильно я излагаю, Сергей Ильич? А ваши слова были, что Аркадий Борисович избегает современной физики? Отстал, неспособен и прочее. Ну, а что касается этой записки, то как я могу утверждать обратное, если я сам ее готовил по просьбе Аркадия Борисовича?

— Да, да, — упавшим голосом подтвердил Голицын.

— Не мое дело судить вас, Сергей Ильич, но некрасиво все это, некрасиво.

Крылов ошеломленно молчал. С тупым любопытством отметил, что голос Агатова срывается от совершенно искреннего волнения и на бледном лице проступили большие печальные глаза.

— Лучше горькая правда, Аркадий Борисович, чем сладкая ложь. Мне противны интриги. Если бы Сергей Ильич прямо, по-честному... Я знаю, конечно, он ваш протеже и я пострадаю на этом, зато совесть моя будет чиста.

Агатов повернулся к Голицыну.

— Разрешите, Аркадий Борисович, я сам отвезу Южину наше заключение.

— Да, пожалуйста, спасибо, — сказал Голицын. — Позжайте.

Когда дверь за Агатовым прикрылась, Крылов опомнился.

— Аркадий Борисович, все это не так...

Голицын молчал, брезгливо оттопырив губу.

— Черт с ним, с Агатовым... — сказал Крылов. — Тут в другом дело.

— После всего того, что я для вас...

— Вы, по сути, прикрыли целое перспективное направление. Разве так решают научные споры?..

— Поделом мне, поделом. Боже мой, так ошибиться!
Они говорили, не слушая друг друга; Крылов раздраженно повысил голос:

— Пусть даже Тулин в чем-то спешит, но запрещать... Я не могу с этим смириться, я не понимаю.

— Кроме Тулина, я вижу, мы еще во многом не сходимся, — сказал Голицын. — У нас, очевидно, разные понятия порядочности.

— Ах-р-р... — Крылов задохнулся.

— Ну-с, продолжайте.

Крылов сцепил руки за спиной.

— Мне будет трудно при такой нетерпимости, — медленно подбирая слова, сказал он, стараясь говорить сдержанно и четко. — Если я предположу, что вы всегда правы, мне не остается ничего другого, как превратиться в Агатова и постоянно поддакивать вам. Пропадет всякое удовольствие от работы.

— Научная работа не всегда удовольствие, — язвительно сказал Голицын.

— Возможно, я неудачно выразился, — согласился Крылов. — Пропадет моя ценность как научного работника.

— Она пропадет, если вы будете разделять бредовые идеи Тулина. Впрочем, где уж мне указывать вам! Когда-то вы считали меня своим учителем, теперь я отсталый, торможу, избегаю, даю неверное направление...

— Я всегда уважал вас за то, что вы разрешали спорить с вами.

— Спорят, чтобы выяснить истину. А вы, Сергей Ильич, вы не спорили, а интриговали. Да! Это вы, вы показали свою нетерпимость. За моей спиной наговаривали Агатову, только он честнее оказался... Как не стыдно!

— Вы не имеете права...

— Молчать! Мальчишка! А я еще тащил вас. Уходите! Невозможно! — Голицын кричал, руки его тряслись, и Крылов тоже заорал в бешенстве, стараясь перекричать его:

— Не нужен мне ваш конкурс! Не рассчитывайте! Я отказываюсь от лаборатории, имейте в виду!

— Угрожаете? Мне? Вы что ж думали, после этого... — Вдруг Голицын вцепился в ручки кресла и, погруженный, опустился на сиденье. Крылов испуганно рванулся к нему, но Голицын с отвращением отстранил его,

открыл ящик, достал патрон валидола, бросил в рот таблетку, закрыл глаза и, передохнув, засмеялся тоненько, победно.

— Ай-яй-яй, за что же вы лишили нас своей милости? На кого же вы нас покидаете, горемычных? — Потом он перестал смеяться и сказал сладко-издевательски: — На вашем месте я бы не стал иметь дело с такими тиранами, как я. Принципы надо доводить до конца.

— И чудесно, и чудесно, — подхватил Крылов. — Я уйду.

— Ради бога. Не задерживаю. Хоть сегодня же.

В несколько шагов Крылов очутился у двери, с силой распахнул ее.

— Одну минуту! — крикнул Голицын так, что в приемной было слышно и секретарша встревоженно привстала. — Не вы уходите, а я вас увольняю. И запомните: вы уходите не от меня, а от науки.

У Песецкого был свой уголок, огороженный книжным шкафом, набитым справочниками и детективными романами.

— Я не помешаю? — спросил Крылов.

Песецкий не шевельнулся, проговорил осторожно, стараясь не слушать себя:

— Прощу, в смысле умоляю, катись отсюда.

Крылов уселся на табурет. Песецкий механически черкал бумагу. У него было злое и умное лицо человека, недовольного собою. Наконец он отбросил карандаш, потянулся.

— Ты еще здесь? Как, по-твоему, может ли паралитик убить шестнадцать человек? Если да, то каким образом? Почему ты не читаешь детективов? Великолепный тренаж! Хочешь, дам? «Смерть в клетке». Блеск! Ты чего куксишься? Слава угнетает?

— Точно, — сказал Крылов.

— Кстати, как мне ни противно, но я вынужден сообщить: эн равно плюс три и три десятых.

— Вот видишь!

— Не можешь удержаться? Пошляк!

Они обсудили данные, полученные в свое время Федоровым и станцией на Эльбрусе. Уравнение получалось длинное, на полстраницы, но Песецкий восхищался им, называл его «цыпочкой» и утверждал, что теперь его может решить вахтер.

Уравнение действительно было изящным, и Крылов чувствовал, что оно абсолютно верное. Они любовались им, как красиво сработанной вещью.

— Математика! Царица наук! — хвастливо сказал Песецкий. Он презирал экспериментаторов: они, как кро-ты, рылись в своих схемах, считая показания стрелки высшим судьей всех споров. — Если бы у меня был такой зад, как у Агатова, сколько бы я сделал! Моя беда, что я не умею ничего доводить до конца. Вернее, не хочу. И с женщинами у меня такая же петрушка. Слишком быстро их разгадываю, становится скучно. Сила логики заедает. Но тут, боюсь, ты меня доведешь до финиша. Тяжелый ты человек.

— Я ухожу из института, — сказал Крылов.

Песецкий присвистнул.

— Шутишь?

Выслушав рассказ Крылова, он погрустнел:

— Ты единственный в отделе, кто смыслит в математике. А может, передумашь? Пренебреги, а? Все это суета сует и томление духа.

— Не могу, — сказал Крылов.

— Принцип?

— Нет, просто надоело.

— Жаль... Хорошо, что мы составили с тобой уравнение.

— Да, — сказал Крылов. — Уравнение отличное.

Они снова просмотрели записи на исчерканной вкривь и вкось бумаге.

— Придется тебе самому кончать статью, — сказал Крылов.

— И не подумаю.

Они помолчали.

— Что ты думаешь обо всей этой истории? — спросил Крылов.

— Ничего, — сердито сказал Песецкий. — Ничего не думаю. Не желаю вмешиваться. Старик бежит от правды, ты — от старика. Все это не имеет никакого отношения к физике.

У Песецкого все были виноваты, и вместе с тем для каждого он находил оправдание, даже для Агатова. Может быть, в этом тоже была логика, но Крылова она не устраивала. Спорить с Песецким у него не хватало сил.

— Главное, загружай подкорку, — посоветовал на прощание Песецкий. — Вот ты сейчас ходишь с незагруженной подкоркой, только зря время теряешь.

Бочкарев, конечно, пришел в ужас, хотел бежать к Голицыну объясняться, но Крылов запретил. Примирение возможно, если Голицын извинится и переделает заключение о Тулине. Бочкарев назвал его зарвавшимся сопляком, не думающим об интересах своих товарищей. Они поссорились, и Крылов вволю мог наслаждаться жалостью к себе и презрением к этому пошлому миру, где не ценят благородства.

Солнце подобралось к стеклянному кубу чернильницы, вспыхнуло радужным блеском. Голицын зажмурился. В чернильнице давно хранились скрепки. Несколько раз завхоз предлагал убрать и эту чернильницу, и весь громоздкий бронзовый прибор с подсвечниками, и заодно сменить мебель, но Голицын не разрешал. В кабинете все должно было оставаться таким же, как двадцать пять лет назад, когда он сел за этот стол после смерти своего учителя.

Не часто за двадцать пять лет он сидел за этим столом без дела, нарушая привычный распорядок. Прошло полтора часа, как он надписал на заявлении Крылова «уволить».

Он ждал, что Крылов вернется. Крылов не мог не вернуться. Что бы там ни было, этот малый больше всего любил науку, и деваться ему было некуда. На место начальника лаборатории пусть теперь не рассчитывает, во всяком случае в ближайшие месяцы. Придется его прочить.

В первое время после прихода Крылова в лабораторию Голицын испытывал разочарование: было непонятно, что находили в этом медлительном тугодуме Данкевич и Аникеев, люди, с которыми Голицын привык считаться. Постепенно Голицын начал замечать в действиях Крылова какую-то подспудную систему. А чем дальше, тем сильнее ощущался пусть часто беспомощный, зато совершенно своеобразный ход его мысли, стремление нащупать связь в хаосе фактов, сомкнуть воедино, казалось бы, противоречивые явления атмосферного электричества.

Когда-то Голицын пробовал то же самое. Сейчас созданная им теория грозы устарела, не в силах объяснить многих несоответствий. Ее еще приводили в учебниках, на нее ссылались, потому что не было ничего другого. Не Крылов, так другой свергнул бы ее, сделал частным случаем; вечных теорий нет, и надо иметь мужество уступить при жизни, чтобы хотя бы увидеть, что там такое садится на трон. Все же была тайная надежда: пока Крылов основывался на идеях Данкевича, казалось, что голицынская теория грозы впадет, как приток, в общую концепцию Данкевича. Очевидно, так же предполагал и сам Данкевич. Но Крылов действовал как птенец кукушки: он выталкивал из гнезда все, что ему мешало, он ни с кем не стал уживаться, он поглотил одну за другой старые теории грозы, и ни о каком притоке не могло быть и речи.

Можно было работать вместе с Крыловым. Сперва Голицын так и предполагал. Но время шло, а он все откладывал, избегал вмешиваться, придумывал себе новые отговорки и ревниво следил, какими неожиданными ходами движется поиск Крылова. Уклоняясь от, казалось бы, очевидных приемов, Крылов безрассудно сталкивал несовместимые понятия, нахально залезая в какую-нибудь теорию вероятностей, отшвыривал истины, на которые Голицын никогда бы не осмелился посягнуть.

В последние годы Голицын все болезненнее ощущал робость собственной мысли. Дело тут было не в старости. Перемены, происходившие в стране, коснулись и института: можно было расширить тематику, привлечь новые силы, свободно обсуждать смежные работы. А Голицын все еще не мог распрямиться. Странно, что теперь, когда ничего ему не мешало, он начал ощущать в себе какую-то скованность. Молодежь вроде Крылова, Песецкого, Ричарда не могла понять этого чувства: им неведомы были его страхи, никто из них не работал в те времена, когда приходилось помалкивать, когда часто невозможно было сказать то, что думаешь, когда исход научных дискуссий был предрешен неким указанием, когда он, Голицын, опасался отвечать на письма своих зарубежных коллег, когда могли усмотреть идеализм в какой-нибудь формуле. Сейчас Крылову все это кажется смешным, а Голицын испытывал все это на своей шкуре. Такое не проходит бесследно. Страх въелся в него, пропитал его

мозг. Появилась некоторая робость мысли, опасливость перед обобщениями, неожиданными ассоциациями. Такие, как Крылов, были свободны от всего этого. Они размышляли — широко, без оглядки, и он завидовал им, нет, не их молодости, а тому, что нынешнее время пришло слишком поздно для него.

Крылов не возвращался. Голицын чувствовал тайное облегчение, и было совестно за это чувство, и, оправдывая себя, он вспоминал, как два года назад разыскал в Ленинграде Крылова, затюканного, отчаявшегося, взял к себе, выхлопотал ему комнату, дал полную свободу в работе, вспоминал все сделанное для Крылова. Трудно привыкнуть к человеческой неблагодарности, но и жаловаться на нее глупо, это все равно что хвастать своими благодеяниями. Обидно другое — как он обманулся. Ему всегда казалось, что стиль ученого и человеческие его качества связаны между собой, и если Крылов не подгоняет точки на кривых, докапывается до первопричин, не робеет перед авторитетами, то, значит, и человек он честный, прямой, целеустремленный, неспособный лицемерить. На старости лет непростительно так ошибаться в людях.

Глава 8

Появление Агатова уничтожило последнюю надежду. Надо же, чтоб именно Агатов приехал к Южину! В этом было что-то роковое.

Южин читал заключение Голицына вслух. Круглое белое лицо Агатова набухало еле сдерживаемым торжеством. Каждая фраза вдавливала Тулина в кресло.

«...Полеты непосредственно в грозových облаках, — Южин сделал паузу, — не обеспечены, преждевременны и бесплодны».

Руки Агатова сложены почти молитвенно. Кончики ногтей выскоблены добела.

— Ваши обоснования, Олег Николаевич, недостаточны, — произнес Агатов. — Вековые проблемы науки так не решают.

И Агатов и Южин со своим столом, телефонами быстро отдалялись от Тулина, куда-то уплывали.

— А как их решают? — точно издали спросил он.

— По капельке, — ласково сказал Агатов. — В лабо-

ратории измеряют капельку за капелькой, годами. Не гнушаются черновой работой. Скромненько.

Южин задумчиво разглядывал подпись Голицына.

— Значит, несвоевременно. — Теперь он не скрывал сожаления. — Годы и годы. Этак при жизни мне, пожалуй, не успеть рассчитаться, а у меня с ней старые сче-ты, с грозой-голубушкой.

— Что поделаешь, товарищ генерал! — Агатов сочувственно развел руками. — При такой диссипации энергии нет процесса регенерирующего...

Тулин скривился.

— Что вы несете? За этой абракадаброй никакой мысли. Товарищ генерал, им нужно только, чтобы их не беспокоили и чтобы они не рисковали. Есть деятели, которым невыгодно вылезать из лаборатории.

Чем яростней он нападал, тем благодущнее улыбался Агатов. Потом он отдельно улыбнулся Южину улыбкой единомышленника.

— Слыхали? Чего только не приходится выслушивать, когда защищаешь государственный интерес! Другой на месте Аркадия Борисовича отделался бы уклончивым ответом, но мы люди прямые...

На задубелой огненной физиономии Южина невозможно было ничего прочесть. Глаза его уставились на Агатова.

— Игра на новаторстве — модный прием. — Агатов предостерегающе поднял палец. — Товарищ генерал, вы учтите, Тулину-то что? Они разобьются, а отвечать будете вы.

Цинизм этой фразы не мог серьезно задеть Южина — он давно привык подшучивать над смертью и делал это еще грубее и хлестче, — его покорило другое, неискоренимое в каждом фронтовике: наземная служба, тыловик судит тех, кто сражается в воздухе.

Он поднялся, одернул мундир.

— Все ясно, вы свободны. И вы тоже, — сказал он Тулину чуть мягче.

— Так я передам Аркадию Борисовичу, что все в порядке, — сказал Агатов.

Дверь плавно закрылась. Тулин продолжал сидеть.

— М-да, — промычал Южин. — Все в порядке... — Он выразительно посмотрел на часы. — В институт мы сообщим. Больше помочь ничем не могу.

Тулин заторопился, привстал, держась за подлокотник.

— Мне нельзя так вернуться... ни с чем... Выходит, опять делать то, что мы уже знаем. Поймите, мы знаем, что надо...

— Больше ничем помочь не могу.

Тулин встал, но вдруг сел уже совершенно иначе, откинул голову на спинку кресла, устраиваясь поудобнее.

— Я отсюда не уйду.

— То есть как?

— Буду сидеть, пока не получу разрешения.

— Вы ж слышали. Чего еще толковать!

Тулин закинул голову и стал смотреть на лепной карниз. Южин вышел из-за стола, оглядел Тулина со всех сторон, словно примериваясь.

— Не валяйте ваньку, со мной эти фокусы не пройдут. — Он подождал, потом нажал кнопку звонка. В кабинет влетел молодой адъютант, вытянулся, щелкнув каблучками с удовольствием мальчишки, играющего в солдатики.

— Проводите товарища Тулина вниз, посадите в машину, пусть его доставят домой.

— Слушаюсь! — Адъютант выжидательно посмотрел на Тулина.

— Отменяется, — сказал Тулин, — я останусь.

Адъютант перевел глаза на генерала.

— Выполняйте! — скомандовал Южин. — Чего стоите? Помогите ему встать. Он себя плохо чувствует, видите, какой бледный.

Адъютант неуверенно шагнул к Тулину.

— Я себя чувствую прекрасно. — Тулин закинул ногу на ногу. — Так хорошо, что придется вам вызывать трех человек, не меньше. Плюс носилки. А презабавная картина получится, товарищ генерал: научного работника связывают и выносят из кабинета — новый метод окончания дискуссии.

Адъютант неудержимо улыбнулся. Искоса бросив взгляд на генерала, спохватился, преувеличенно нахмурился, но было уже поздно.

— Что смешного? Чего скалитесь? Вы где, на посылках?

Развалился, нога на ногу — и хоть бы хны. Среди военных такое нахальство невозможно. Военному скомандовал — и конец. Субординация, дисциплина. А с этими деятелями никакого порядка, для них нет ни генералов, ни старших, ни младших. Пользуется тем, что его не разжалуешь. Ишь, как носком болтает! Уверен, что настоит на своем. Пожалуй, это с отчаяния. Можно представить, как ему обидно: ведь не для себя же старается, он не просит ни денег, ни должности. . .

Две стены пересекались с потолком. Пространственный угол. Когда-то на экзаменах ему досталась такая задача. Что бы ни было, он должен остаться. Стоит уйти отсюда — все будет кончено. Лучше об этом не думать. Пока он здесь, кажется, что еще где-то что-то решается или может решиться. То, что спрашивали на экзаменах, почему-то запоминается лучше всего. «Хулиганство!» — это сказал генерал. Тулин смотрел в угол на потолок. Он уткнулся лицом в этот пространственный угол. Вцепиться в кресло — и никуда. Изогнуть губы, вот так, понаглее, прищуриться, хорошо бы закурить, нахально попыхивать папиросой, только чтобы лицо не двигалось. Держаться, держаться. . . Единственное, что оставалось у него, — это упрямство, безрассудное упрямство, лишенное надежды, сидеть, сидеть в этом кресле.

Наступившая тишина заставила его взглянуть на Южина. Что-то переменялось. Адьютанта уже не было. В глазах Южина светилось нечто вроде сочувствия.

Он положил руку на плечо Тулину.

— Вам сколько лет?

Тулин попробовал криво усмехнуться, но побоялся разжать губы: они могли задрожать, они могли выкинуть черт знает что, и голос мог вырваться оттуда всхлипывающий. От этой большой, тяжелой руки, лежащей на плече, что-то надломилось в нем, и он со страхом почувствовал, как душно перехватывает горло.

Южин налил стакан воды.

— Выпейте.

Вода была теплая. Тулин пил маленькими глотками, не поднимая глаз. По голосу Южина он понимал, как

жалко выглядел сейчас, и это было самое невыносимое.

Он поставил стакан и пошел к дверям.

— Погодите, — сказал Южин.

Тулин остановился, не оборачиваясь. Южин зашел сбоку.

— Попробуйте сами с Голицыным... — буркнул он.

Внезапно Тулин успокоился, все было кончено, и он вдруг почувствовал ту последнюю свободу, когда уже все равно и остается лишь одно наслаждение — выложить правду.

— Поздравляю вас, товарищ генерал. Отпихнулись. Теперь можно стать добрым и чутким. Советовать можно. Вам ведь уже ничего не грозит. Все параграфы соблюдены. А к Голицыну я не пойду. Не нужно мне их милости. Да и с какой стати им в дураках оказываться? Когда-нибудь вы убедитесь, что я был прав. Пока что мы обогнали границу, но теперь у них будет время. Они нащупают наш метод. Вот тогда вы сами разыщете меня: пожалуйста, товарищ Тулин, вот вам, товарищ Тулин, берите самолеты сколько хотите, торопитесь, наверстывайте, опережайте. Вы станете смелым, ужасно смелым, щедрым... Нет, я вас не пугаю, — за то, что вы задержите наши работы на несколько лет, вы не получите никаких взысканий, за перестраховку вас не накажут...

Эти безрассудные упреки Южин готов был простить: нервы, запал. Кто-кто, а Южин знал, какие огромные средства стало давать государство на изучение физики атмосферы, группа Тулина составляла лишь крохотный участок большого фронта исследований, ведущихся институтами страны. Южина занимало другое: среди запальчивых выкриков Тулина он различал страстную уверенность в своей правоте. На чем она покоилась? Почему она для Тулина сильнее всяких формул, и расчетов, и заключений? А что, если это не только убежденность?..

Он вглядывался в глаза Тулину, пытаясь через них проникнуть в его душу, — мучительное извечное усилие одного человека постичь до конца то затаенное, что скрывается в душе другого. А вдруг то, что защищает Тулин, и есть истина? Как будто в глазах Тулина он мог увидеть не убежденность, а саму истину.

— Цирк... Колизей... — И вдруг отчаянно махнул

кулаком: — Э, была не была, вали на мою голову! Разрешаю. Но не все, конечно. В радиолокационное ядро заходить и не думай...

Тулин глубоко вздохнул, прикрыл глаза. Почему-то не было ничего, кроме усыпляющей усталости. Наконец Южин кончил говорить, и тогда Тулин опомнился, схватил Южина за руку, потом за плечи, поцеловал в одну в другую щеку. Южин сконфузился, но Тулин чувствовал, что получилось мило и непосредственно, и к нему сразу вернулась уверенность в неизбежности случившегося. С самого начала он знал, что добьется своего, что иначе и быть не могло.

Они сели за схемы полетов. Южин жестко отчеркивал зоны.

— Голицына теперь обойти нельзя, — предупредил он. — Придется идти на компромисс. Он будет курировать ваши полеты. Не сам — через своих, я с ним договарюсь.

Тулин беспечно отмахнулся. Он был слишком рад, чтобы задумываться о таких пустяках, тем более что там Крылов. Серега постарается.

— А если мы встретим грозу? Забредем туда случайно и заблудимся, а? — И он подмигнул Южину.

— Я тебе встречу, я тебе встречу!

— Ну, а если?

— Если грозу встречают, ее обходят. Если в грозу попадают, то... — Южин усмехнулся, — то отремонтировать самолет не всегда удается.

Тулин от души смеялся. Шутка казалась ему очаровательной. Он спешил успокоить Южина, он готов был обещать все, что угодно, любые гарантии. Если что-нибудь случится, он клянется больше не летать, не просить самолетов. Он снова был победителем, а победителю можно быть щедрым и обещать, обещать.

Он покинул Управление вечером. Вместе с начальниками отделов он отработал схемы полетов; запретные зоны были велики, слишком велики, но все же летать разрешалось в таких близостях от грозы, о которых раньше и помыслить нельзя было.

Это первая ступень, первый прорыв, дальше пойдет, в конце концов тут важнее всего принципиальное согласие, а там все зависит от локатора, можно будет отрегулировать усиление, формально требование Южина будет

выполнено, лишь бы все обошлось благополучно, победителей не судят, победители сами судят.

На улицах горели фонари, от яркого света витрин и реклам в небе исчезли звезды.

В «Гастрономе» он купил бутылку коньяку «Двин», своего любимого сыру, ветчины.

Нагруженный свертками, он не торопясь шел по улице, разглядывая встречных женщин.

Полные и стройные, в узеньких брюках, — это было красиво, в легких плащах и коротких пальто — и это тоже было красиво, девчонки в курточках, с медными волосами и с волосами пышно взбитыми, девочки с модными раскосыми глазами, большеротые, хохочущие, курносые, надменные, милые скромницы и развязные пигалицы в пышных шуршащих юбках, а руки голые, кожа в пупырышках — прохладно, но держи фасон, — откуда их столько, хороших, даже красивых, появляется вместе с весной?

Ему захотелось заговорить с одной из них. Хотя бы с этой длинноногой в сером, туго облегающем свитере, что стояла у театральных афиш. Он спросил ее, куда она хочет пойти. На «Голого короля»? Вот так-так, и он тоже собирался. Пошли вместе. Ничего тут страшного нет, у него сегодня счастливый вечер, пользуйтесь, берите, раздаю счастье... Он знал, что в таких случаях нельзя спрашивать, мяться, надо говорить самому, смешить и смешить и рассказывать о себе. Ему не надо было притворяться, он просто делился радостью своей удачи. Недоумение и настороженность девушки сменилисьнисходительной насмешкой: оказывается, перед нею безобидный чудака, даже забавный чудака, нет, не чудака, а симпатичный общительный парень. Она согласилась пройти с ним до театра, только это все зря: билетов давно нет, не достать ни за какие коврижки.

— Пустяки, — сказал он и взял ее под руку.

Театр был рядом. Они прошли сквозь толпы спрашивающих лишние билетки, пробились к окошечку администратора. Тулин всунул голову, увидел замороженного, потного толстячка и сказал:

— У вас астма, вам нужно лечиться, вам нужна тихая работа, а не этот бедлам, но что поделаешь, если вы любите театр и никто, кроме вас, не смыслит в организационных делах, они тут пропадут без вас, только кре-

тины считают, что администратор — это тот, кто сидит в этом курятнике и распределяет пропуска.

Пустые, нетерпеливые глаза очнулись, уставились на него сперва как на идиота, потом, что-то поняв, засмеялись с дружеской завистью.

Два желтеньких билета в третий ряд сделали его кудесником.

У нее была отличная фигурка и приятный низкий голос, и она сияла от удовольствия, а на него опять навалилась усталость.

— Вот вам билеты, и простите меня, — сказал он. — Этого «Голого короля» я уже видел и, кроме того, совсем забыл: я обещал зайти к приятелю.

И это не было отговоркой, он вдруг вспомнил о Крылове, и ему захотелось растянуться на кушетке и рассказать Сереге все, что произошло, потому что только Крылов мог оценить это.

Глава 9

Ключ лежал, как и прежде, справа за наличником.

Большая пустоватая комната показалась неудобной, хотя все стояло на прежних местах. Тулин упал на кушетку, вытянул ноги. Секрет быстрого отдыха состоял в том, чтобы расслабить все мышцы и ни о чем не думать.

Тикали часы. Включался холодильник, бормотал взахлеб, словно торопясь выговориться.

Томный женский голос пел по радио итальянскую песенку: «...В благородном сердце всегда появляется любовь». Точно. Он вскочил, взял бутылку коньяку, скрутил сургуч, ладонью вышиб пробку. Достал из шкафчика стакан. Выпил, морщась, без удовольствия, как пьют лекарство. Чтобы отогнать сон. Бездарно было бы проспать первый вечер в Москве, да еще после пережитого. Транслировали какой-то концерт, слышно было, как в глубине зала вздыхали, покашливали.

Он вынул записную книжку, выбирая, кому бы позвонить. Отсутствие Крылова путало все карты.

Телефон стоял между книгами, на столе. Тулин подошел и увидел под стеклом фотографию: девушка в лыжной шапочке с помпоном на фоне заснеженного леса.

Снег лежал на шапке, на кудряшках. У нее были твердые круглые щеки и робкая улыбка.

Тулин подозрительно осмотрел комнату. В углу гантели. Книг прибавилось. На шкафу лыжи, одна пара. Открыл шкаф — ничто не говорило о присутствии женщины. Комната хранила хорошо знакомую Тулину безразличную чистоту, когда убирают чужие руки.

Он успокоился. Было бы грустно, если б Крылов женился. Что-то нарушилось бы.

Перелистывая имена, прежние привязанности и случайные знакомства, те, что не следует ворошить, полузабытые лица, и те, с кем приятно было бы сходить в ресторан, но и они обязательно начнут с упреков: почему не писал, не звонил и прошлый раз не зашел, — надо будет оправдываться и что-то выдумывать. Не могут женщины просто обрадоваться, как радуются, встречаясь, мужчины. Есть, конечно, Зочка, но Тулин представил всю запутанную историю их отношений, — нет, пожалуй, сейчас не стоит осложнять себе жизнь. Софа — слова не даст сказать. Галочка — это для домашнего потребления. Ему вдруг вспомнилась Женя, эта утренняя глазастая девочка из парка, почему-то он был уверен, что ей было бы интересно узнать про его удачу, она снова бы слушала его, блестя своими коричневыми глазами, где отражались молнии и мокрые листья. Он уже забыл про свое намерение дожидаться Крылова и посидеть с ним вдвоем. Быстро побрился; вылил на себя остатки крыловского одеколона. Записная книжка лежала раскрытая на букве «Г». Он хотел было захлопнуть ее и сунуть в карман, но тут взгляд его упал на фамилию Голицына. Тулин усмехнулся...

— Попросите к телефону Аркадия Борисовича. — Пока в трубке шипела тишина, он свободной рукой налил себе коньяку. — Здравствуйте, Аркадий Борисович! Вас беспокоит Тулин. Читал сегодня ваше заключение. Благодарю за вашу заботу о моем здоровье. Вы сделали все, что могли. Однако, как говорят, и бог подчиняется правилам грамматики. А грамматика наша такова, что все новое находит себе дорогу. Я не ради того, чтобы вас посердить. — Он не давал Голицыну вставить слова. — Мне надо, чтобы вы были здоровы, очень здоровы, потому что через год надеюсь увидеть вас на докладе об итогах наших работ. Может быть, вы согласитесь при-

существовать и на испытаниях? А чего доброго, решитесь подняться в грозу? Столько лет вы посвятили ей, и ни разу не забраться в нее — обидно! Постараюсь кончить за год, это с запасом, учитывая вашу непримиримость, авторитет и заботу о нас. Ваше здоровье, Аркадий Борисович!

Он чокнулся с трубкой, где яростно пиликали короткие гудки.

Вошел Крылов.

— Ты где шатаешься? Одевайся, поехали в ресторан.

— Как твои дела?

— Крутим! Переодежь рубаху. Нас ждут. Все доложу.

Крылов вяло помотал головой.

— У меня нет настроения. Ты двигай сам.

— Не дури, — рассердился Тулин. — Знать ничего не желаю. Сегодня существует мое настроение. А раз у тебя нет настроения, значит оно тебе не может мешать.

Спорить с ним было бесполезно. Он выругал Крылова за рубашки — модные, но безвкусные, перевернул весь шкаф, пока не остановился на коричневой, с отложным воротником.

— Погоди, а девушка у тебя есть? — спохватился он.

— Не хочу я никаких девиц.

— Стой! А эта? — Он кивнул на фотографию.

— Она не здесь.

— А где?

— Далеко.

Тулин еще раз наклонился над портретом.

— Миленькая. Ну ладно, не пыхти, у тебя это, как всегда, серьезно.

— Как же тебе удалось с Агатовым?

Тулин аппетитно улыбнулся.

— Погоди, все по порядку. Что ж, вы переписываетесь?

— Нет.

— Скрытный ты человек.

В Доме ученых был вечер отдыха. Тулин долго, со вкусом выбирал в ресторане столик, согласовывал меню, распоряжался насчет шашлыков и салатов. Крылов подумал: сколько живу в столице, а бирюк бирюком, официанта подозвать не умею.

Откуда-то появился Возницын, заместитель директора тулинского института, маленький, умилительно громко хохочущий по любому поводу. Он был с женой, приятной, пухлой брюнеткой, которую Тулин через несколько минут стал звать Симочкой, хотя она была много старше его.

У Тулина было много знакомых, он здоровался, куда-то уходил, узнал, что здесь Ада — она вчера приехала в Москву, в командировку, — и, несмотря на протесты Крылова, отправился за ней и привел, вырвав из компании старых профессоров, рассуждавших о преимуществах постоянного тока.

Последний раз Крылов видел Аду год назад. Она почти не изменилась: была так же ослепляюще красива, надменна, только зачем-то стала носить яркие бусы, а на руке широкий металлический браслет. Выпили за женщин, потом за Южина; когда подняли за Крылова, Ада ровным голосом спросила, что ему пожелать, как бы предлагая заключить мир на сегодняшний вечер. Тулин хлопнул себя по лбу.

— Перед нами же именинник! Новенький начальник лаборатории! Я-то расхвастался, а вот он, подлинный герой, как водится, незаметный... В его лице мы приветствуем...

Крылов торопливо выпил до дна и долго смеялся: он ни за что не хотел испортить Тулину сегодняшний вечер.

Стоило ему представить, как они начнут его расспрашивать, утешать, и его охватывал стыд. Ада сразу же торжественно скажет: «Вот видишь!» А так она сказала: «Ты добился своего, правда, я остаюсь при прежнем мнении: твое место на заводе».

Крылов начал было возражать, но его уже никто не слушал.

Тулин рассказывал с подробностями историю своих переговоров с Южиным.

— Молодец! Ах, какой психолог! — вскрикивал Возницын и всплескивал маленькими руками. Тулин разошелся и приглашал всех через год на банкет.

Заиграли липси. Тулин пошел танцевать с Адой, а Симочка пригласила Крылова. Со всех столиков смотрели на Тулина и Аду: они были самой красивой парой.

— Они составляют полный гарнитур, — сказала Симочка. — Я бы все отдала, чтобы иметь такую фотогеничность.

Крылов промолчал. Он не знал, что надо говорить в таких случаях. Тулин терпеть не мог Ады, называл ее мороженой щукой и пригласил, наверное, потому, что на Аду все оглядывались — такая она была красивая.

После танца Тулин подошел к соседнему столику.

— Здравствуй, Петруша, — громко сказал он. — Поздравь меня. А тебе, слышать, подраскрыли скобки.

В нежно-розовом толстячке, похожем на облупленную сардельку, Крылов с трудом узнал Петрушу Фоминых, с которым они когда-то учились в институте. Петруша восседал во главе шумной компании пестрых пижонов.

Тулин бесцеремонно налил себе в чью-то рюмку, поставил ее на вытянутую ладонь.

— На одной ложной информации нынче не выедешь. Выпьем за нашу передовую эпоху!

Не успел он кончить, как Петруша с неожиданной для его комплекции ловкостью подхватил с ладони Тулина рюмку, выпил и победно поиграл ею между пальцев. Пижоны засмеялись. Тулин побледнел. Он бледнел сразу всем лицом, и глаза его тоже становились белыми.

Ада стиснула Крылову руку.

— Не вмешивайся, без тебя разберутся.

— Они давно ссорятся, — сказал Крылов. — Сперва из-за одной... Потом Петруша прижал его у Денисова. Но Олегу сейчас нельзя влипнуть ни в какую историю.

— А тебе?

— Я теперь люмпен, — сказал он, вставая. — Мне что...

Он подошел к Тулину и взял его за локоть.

— Ах, и ты тут, — сказал Петруша. — Забирай своего дружка, пока я его не отправил в другое место.

— До чего ты стал жирный! — сказал Крылов. — Так и хочется тебя помазать горчицей.

Он увел Тулина и заставил его пойти танцевать с женой Возницына.

Ада рассказывала Возницыну про трудности с выключателями постоянного тока, но едва только Крылов вернулся, она спросила, почему люмпен.

— Ничего, чепуха, — сказал Крылов. — А как с этой аппаратурой за границей?

— В том-то и дело, — сказала Ада.

Возницын захохотал.

— Пусть, пусть Америка торопится, мы все равно их обгоним.

В это время к ним подошел Петруша. Осторожно подтянув брюки, он опустился на стул.

— Я на Олега не обижаюсь, — сообщил он. — Нет смысла обижаться, он все еще мыслит в коротких штанишках. Жизни не знает. Сейчас все перестраиваются. — Он поправил очки, у него были великолепные очки с золотыми дужками. — Эх, Сережа, быт — проклятая штука. Вот я и считаю, что его надо устраивать, поскольку он определяет... — И он улыбнулся Аде.

— Где ты теперь? — поинтересовался Крылов.

— Внедряю автоматику.

Крылов удивился.

— Но это ж не по твоей специальности?

— Моя специальность... — Петруша снял очки, глаза у него стали светлые, грустные.

Возницын всплеснул руками.

— Что может быть лучше автоматики! Автоматизация облегчает труд. Возьмите, к примеру, метеослужбу, передачу и обработку сведений...

Вернулся Олег и, к удивлению Крылова, спокойно пошел к Петруше, налил ему вина.

— Но откуда ты знаешь автоматику? — спросил Крылов.

Петруша отпил вина, по-кошачьи зажмурился.

— Чудак, зачем мне ее знать, я ее внедряю. А известно, что внедрять можно годами. — Он смотрел на Крылова, но Крылов чувствовал, что говорится это не для него. — Специальность — средство существования материи.

— Существуете на кости, — сказал Тулин. — Новый тип паразита. Ну и как, увлекательная работа?

Петруша обрадовался.

— А я увлекаюсь другими вещами. Муки научного творчества — это для избранных, вроде тебя. Куда уж нам!.. У меня теперь интерес материальный. Принцип материальной заинтересованности. Слыхал? Сокращенно «примазин». Отличное средство, действует на любой организм. Ты принимаешь?

— Вроде бы рановато, — сказал Тулин. — А ты без этого неспособен?

Петруша хихикнул. Насмешки Тулина соскальзывали с него, но он не прощал ни одной, подзуживая Тулина своим цинизмом.

— И не боишься ты влипнуть? — любопытствовал Тулин.

Петруша посмотрел на него как на ребенка.

— Ошибается тот, кто экспериментирует. А я никогда себе этого не позволю. Невыгодно.

— Бизнесмен, — сказал Тулин.

Петруша взял двумя пальцами ломтик лимона.

— Вы оторвались от жизни. Нехорошо. Деньги есть деньги, они определяют заслуги человека в нашем обществе. — Он разговаривал тоном, не требующим ответа, так говорят с кошками или собаками. — Каждому по труду, от каждого как?

— По способностям, — обрадованно подсказала Симочка.

— Именно.

— Ты все переворачиваешь. Деньги, деньги... У тебя как на Западе, — сказал Крылов.

Петруша посмотрел на него серьезно, и Крылову опять показалось, что за толстыми стеклами очков мелькнуло что-то грустное и тотчас растаяло в поддразнивающей ухмылке.

— Зачем Запад? С деньгами и у нас можно не хуже, чем на Западе. Производство товаров возрастает.

— Да, да, жить становится все лучше, — обрадовался Возницын, — не сравнить...

— Счастье — это не деньги, это трудности борьбы за светлое будущее, — сказал Петруша. — Берите мои трудности, дайте мне вашу зарплату.

— Перестань пылить, — сказал Крылов. — Неужели ты стал таким?

— Он всегда был таким, — сказал Тулин. — Он всегда был пижоном. У него ничего не остается в жизни, как жрать, покушать и халтурить.

Петруша сосал лимон.

— Фу, как грубо! За что вы на меня злитесь? За откровенность? Подводите идеологическую базу? Ты, Олег, всегда был бдителен. Это ведь ты прорабатывал меня за джаз, за то, что мы не занимались наукой.

— Да, ведь ты играл на трубе! — вспомнил Крылов.

— ...Ты, Олег, конечно, личность исключительная, тебе не нужны деньги, тебе нужна слава. А к славе приложится и остальное. Тебе не нужна своя машина, тебе достаточно казенной. А я больше не играю на трубе. Ты перевоспитал меня. Я стал как все, рядовой работяга. Между прочим, у тебя какая зарплата? В три раза больше моей? Поэтому твоя действительность в три раза прекрасней, чем моя. — Он подмигнул Аде: — И соответственно раза в четыре приятней, чем ваша. Поэтому идеалы Олег может иметь более высокие, его муки творчества — это не для нас, нам бы десятку-другую наишачить.

— Ах ты поросеночек, — сказал Тулин. — Как ты вырос! Ты стал философом.

Давно уже с какой-то мыслью Крылов следил за Петрушей. И вдруг сказал:

— Жалеешь, что бросил играть на трубе? Может, это и было твое призвание.

Петруша живо повернулся к нему, хотел что-то ответить, но махнул рукой и зло рассмеялся:

— Ужас, какие вы все положительные! Особенно ты, Серега. Как был карась-идеалист, так и остался. Никакого прогресса. Удивляюсь, как это тебя еще терпят в институте! Когда тебя выставят, двигай ко мне, так и быть, устрою.

Ада неумело закурила сигарету и сразу же притушила.

— Ну, а теперь катись, — сказал Тулин.

Петруша положил обсосанный лимон.

— Диспута не получилось. Извините за компанию. — Он встал. — Принимайте «примазин» — поможет, особенно в семейном положении. — Сунул руки в карманы и, позвякивая мелочью, удалился к своему столику.

Первой прыснула Симочка, за ней остальные. Крылов тоже смеялся, не зная чему. Они почувствовали себя вдруг очень молодыми, очень голодными и накинулись на остывшие шашлыки. «Экземпляр! Ну и экземпляр!» — повторял Возницын. Его все приводило в восторг. На него было приятно смотреть. Шашлык, который он ел, был самый лучший, тулинская тема — самая перспектив-

ная, Петруша — диковинное явление, нетипичное, отныне разоблаченное и обреченное. . .

— Сережа, — сказала Ада, — что у тебя все же случилось?

— У меня? Ничего!

Тулин внимательно посмотрел на него.

— Вытри нос, у тебя нос потеет, когда врешь.

— Отцепитесь вы, — сказал Крылов. — Ну, поругался с Голицыным, что особенного?

— Ага, поругался! — сказал Тулин. — Твой Голицын — скелет, хватающий за горло молодые таланты, старый колпак, наследие прошлого.

— Хуже всего, он несправедливый человек, — свирепо добавил Крылов, и все рассмеялись, как будто он сказал глупость.

— Давай, давай! Мне, брат, мало, чтобы меня хвалили друзья, мне надо, чтобы ругали моих врагов. Но. . . — Тулин поднял шампур. — Но ты, Сереженька, должен быть с Голицыным кроток и ласков, ибо он будет курировать наши полеты, и надо, чтобы он перепоручил это тебе.

По мере того как Тулин разворачивал свои хитрые планы, Крылов мрачнел. Наконец он решился:

— Это невозможно. Дело в том. . . — Во рту у него вдруг пересохло, он жадно хлебнул вина. — В общем, я ушел из института.

— Я чувствовала, — сказала Ада.

Они заставили его рассказать все. Поощренный их вниманием, он приободрился. Почему бы ему не рассказать? Чего ему стесняться? Ничего страшного. По отношению к Тулину его поведение было подвигом. Он заслуживал похвалы, утешения, благодарности. Он пал жертвой, защищая правое дело, и мог требовать почестей.

Тулин молча ел шашлык. Крылов кончил рассказы, а Тулин продолжал есть шашлык, густо мазал горчицей каждый кусочек, жевал его так, как будто истреблял что-то живое. На него было страшно смотреть. Ада и Симочка притихли. Наконец Тулин вытер губы, скомкал салфетку и принялся обозревать физиономию Крылова.

Он приглашал всех полюбоваться на этого цветущего, упоенного жалостью к себе идиота. Он водил их, как

экскурсовод, обращая внимание на достопримечательности этого редчайшего образца человеческой тупости.

— Заметьте, он ждет, что мы кинемся ему на шею, женщины будут всхлипывать, а мужчины прочувствованно трясти руку. Так вот почему приехал Агатов! Кто тебя просил соваться со своими принципами! — зарычал он. — Надо было ехать, а не корчить из себя... Ох, и нагадил же ты! — Тулин схватился за голову. — Мы бы Южина повернули совсем по-другому. Я-то надеялся, что из вашего курятника ты сумеешь страховать меня... Все испортил... Услужливый дурак, юродивый. — Лишь присутствие женщин как-то сдерживало его.

Ада попробовала вступиться — раз Крылов не разделяет взглядов Голицына, то, естественно, он обязан... Как же иначе... Каждый человек...

Может, она и добралась бы до самого важного для Крылова, но Тулин не дал договорить, он высмеял ее, под его ударами все превращалось в труху.

— Что за лепет, какие у него принципы! Принципы оцениваются по результатам, а не по намерениям. Нагадить может и кошка, а человек должен уметь больше! Этот лунатик всегда так. Вечно ему надо быть правильной всех. Вы-то, Ада, знаете это лучше нас. Ах, какой рыцарь, он шел на все ради меня! А мне не нужно. Не нужна мне твоя жертва, твои услуги.

— Я это сделал не ради тебя, — сказал Крылов.

«Не ради тебя», — сказал он, и Тулин ударился о что-то неподатливо твердое, как кость. Это случилось не впервые, но всякий раз приводило его в ярость.

— Значит, для себя? Все для себя. Жизнь ничему не научила тебя. От Дана ты тоже уходил, задрав нос. — Он выбирал самые большие места. — Кому помогает твое донкихотство? Ты всем только мешаешь и портишь.

Он лупил его без пощады, издевался, высмеивал.

— Не расстраивайтесь, не надо, — услышал Крылов голос Симочки. Он вздрогнул от этой нежданной нежности, поднял глаза и увидел, что она гладит руку Тулина.

— Вот видишь? — сказала Ада. — Ты меня не слушался. Куда ж ты теперь?

Белая, матовая кожа делала ее лицо мраморно-холодным, как у статуи в Эрмитаже. Куда ж он теперь? Не все ли равно, какое это имеет значение, почему ее интересуют такие пустяки? Он подумал, что завтра можно не

ехать в институт. И удивился. И послезавтра тоже, и флюксометры так и будут стоять демонтированные.

— Вот что, ты должен помириться с Голицыным, — сказал Тулин тоном, не допускающим возражений.

— Ради интересов дела, — подхватил Возницын. — Зачем осложнять себе жизнь?

— Нет, — сказал Крылов. — Не могу.

— Отрекись от меня, обругай перед Голицыным, разрешаю, — сказал Тулин. — Агатов — подлец, и нечего нам строить из себя...

— Голицын вас обожает, — сказал Возницын. — Какие в наше время конфликты? Мы все делаем одно дело. — На него было приятно смотреть, так легко у него все разрешалось.

Крылов тоже попробовал улыбнуться.

— Нет, не могу.

— Ну и скотина ты! — сказал Тулин. — Какой же ты друг после этого?

Крылов виновато улыбался. Он и не пробовал защищаться, он покорно принимал удары Тулина, но всякий раз, как ванька-встанька, поднимался — с виноватой улыбкой, словно извиняясь за то, что Тулину приходится снова бить его, и это еще более ожесточало Тулина, хотя в глубине души он отдавал должное стойкости Крылова. Тут никто не мог оценить это мужество, которое всячески прятало себя. И прежде в глубине крыловского характера был налит свинец, но теперь Тулин чувствовал, что свинца этого прибавилось.

— Чего ты достигнешь своим уходом? — сказал Тулин. — Эгоист. Ты открываешь дорогу подонкам, вроде Агатова. Господи, как ты подвел меня!

«А если и в самом деле это свинство, — подумал Крылов, — и по отношению к Тулину, и к Бочкареву, и ко всем ребятам? Чего проще, вернуться к Голицыну, старик обрадуется, ну, оба погорячились и всем будет хорошо, и, оказывается, Тулину тоже будет хорошо».

— Нет, — сказал он, — нет, я не упрямлюсь. Как же мне идти к Голицыну, если я несогласен с ним и ты, Олег, с ним несогласен? От тебя отказаться? Но тут не только ты, тут мне и от самого себя надо отказаться. Раз у меня есть убеждения, я должен отстаивать их, а если я не сумел, то уж тогда лучше уйти, чем в сделку

вступать. Мне ведь уйти тоже нелегко, у меня своя работа, там самый разгар... — Он вспомнил о Песецком, об уравнении, о заказанном радиоспектрометре, о том, ради чего он перешел к Голицыну и к чему приступил, потому что наконец-то приблизилась наиболее важная часть его работы, над которой он бился два года. — Но я уйду, иначе нельзя, ведь только через себя мы можем для всех... — Он запутался; впрочем, теперь ему уже было безразлично.

Наступило молчание, длинное, тягостное. Он сконфуженно улыбнулся, никто не ответил на его улыбку.

Принесли мороженое.

Возницын рассказывал о тайфуне на Каспии. Ада возмущалась, почему о таких вещах не пишут в газетах. Возницын объяснял, что не стоит волновать народ.

Крылов послушно ел мороженое. Он терпеть не мог мороженого. Зачем он здесь? Зачем ему это мороженое и эта болтовня? Он чувствовал, как тяготит всех своей мрачностью, у него всегда получалось излишне серьезно и слишком надолго. Он думал о том, что никогда ни в чем не мог отказать Тулину, а тут отказал, хотя виноват перед ним, и неизвестно, чем это кончится. И никак не мог понять, почему ж нет в нем раскаяния, а есть лишь стыд оттого, что портит настроение людям, которых любит.

Над улицами пылали неоны реклам с просьбой есть мороженое Главхладпрома, и хранить свои деньги в сберкассе, и вызывать пожарных.

— Почему бы тебе не вернуться в Ленинград, на наш завод? — спросила Ада.

«Действительно, почему бы? — подумал он. — Или определиться к Петруше, или вернуться к Аникееву».

— Сережа, — сказала Ада, и он приготовился выслушать проект его будущей упорядоченной жизни. Но вместо этого она сказала: — Ты поступил в высшей степени прилично. Не обращай на них внимания.

Он так ждал этих слов, и вот теперь, когда они были произнесены, оказалось, что это совсем не то, что ему было надо.

— Спасибо, — сказал он.

— Когда-нибудь ты поймешь, что никто к тебе не относился так, как я.

«Я это уже понял, ну и что ж из того?» — подумал он.

— Я много раз рисковала собой потому, что всегда говорила правду. А для неправды есть другие. Или будут. Я не собираюсь сидеть и ждать тебя, как Сольвейг, хотя бы потому, что тебе это будет неприятно... Ты еще сам не знаешь, что тебе надо.

Она всегда умела сделать его более благородным, чем он был. Все же сейчас она, наверное, довольна, что с ним приключилось такое, по крайней мере она могла жалеть его. Почему бы ему не жениться на ней? Она очень красивая, она любит его и никогда не позволит ему совершать необдуманные поступки. Вернуться на завод. Вернуться к Голицыну. Вернуться к ней... До чего ж много, оказывается, существует путей к благоразумию.

— Спасибо, — сказал он по возможности признательно ей.

Глупее, чем это спасибо, ничего нельзя было придумать. Ему стало жаль Аду. Почему ему приходится огорчать тех, кто его любит? Их так немного, и всегда он причиняет им одни неприятности.

Он осторожно поцеловал ее в щеку, стараясь не испортить прически и не помять белоснежный воротничок.

— Хочешь, я женюсь на тебе?

Как сразу все станет просто и хорошо! По утрам она заставит его делать зарядку. Сколько раз он начинал делать зарядку и бросал. Ада заставит его обтираться холодной водой и регулярно учить немецкий язык. С ней он в совершенстве выучит немецкий.

— Хочешь?

— За что ты меня так не любишь? — сказала она. — Тебе сейчас очень плохо, но все равно так нельзя. Это нехорошо.

Сейчас ему казалось: согласись она, и он не раздумывая бы женился на ней. Ему было жаль ее, и он женился бы и жил с ней. Хоть одному человеку была бы от него радость.

Тулин и Возницын ждали их на углу.

— Идея! — издали закричал Тулин. — Есть идея! Падай мне в ноги, так и быть, помилую! Я! Беру! Тебя! Зачисляю! К! Себе! В! Группу! Вот! Поехали, ты, карасик.

Раз уж навязался на мою голову, черт с тобой, присоединяю. О женщины, мы таких дел с ним натворим!

Вдохновенными мазками набрасывал он картину будущих работ и тех работ, которые откроются после будущих работ, когда его группа превратится в Институт атмосферного электричества, а затем в Академию активных воздействий.

Он выжимал облака, как выжимают мокрое белье. Дожди лились туда, куда он приказывал, обильные, плодородные дожди орошали пустыни, он обращался с облаками как с водопроводным краном. Неурожай, засухи исчезали из памяти человечества. Он размахивал пучками молний. О молнии, о грозы! Таинственный сгусток энергии, перед которой отступает мощь атомных двигателей. Да, к вашему сведению, одна гроза расходует энергию водородной бомбы. А сколько их, гроз, громыхает ежедневно над земным шаром, ежечасно, каждую минуту миллионы лет! О люди, зачем вы пробиваетесь с таким трудом в глубины ядра, когда вот она проблескивает над вашими головами, громыхает на расстоянии каких-нибудь двух километров, эта несбузданная сила! А мы ухватим ее, мы будем пробивать молниями горы, варить камни... Мы... мы...

Ах, почему у них не было магнитофона! Эту речь следовало передать через все радиостанции мира, отпечатать, высечь на гранитных плитах, разучивать в школах. Она была произнесена в полночь у булочной на углу Волхонки.

Крылов тоже восторгался, но, вместо того чтобы облобызать Тулина и ответить, промышчал что-то невнятное, и все убедились, что он свинья.

— Ты хвастун, Олег, — сказала Ада. — Хвастун и фантазер. Мы на заводе вентиляции наладить не можем. А ты морочишь Сергея своими сказками: ему надо на завод вернуться, там он конкретно может. У тебя все нереально...

Они заспорили. Симочка защищала Тулина — он все может, если он захочет, он сможет сделать все, что говорил.

Перед Манежем, у пустой эстрады, несколько парочек танцевало под музыку карманного приемника.

Крылов, узнав Ричарда и с ним дипломантку Женю Кузьменко, свернул к ним. Приемник лежал в пиджаке

у Ричарда, и когда они кружились, музыка то нарастала, то слабела.

— А вот там Тулин, — сказал Крылов.

Ричард закивал, сбился. Женя спросила:

— Кто такой Тулин?

— Величайший человек нашего времени, — сказал Ричард. — Пойдем, я тебя познакомлю.

— Еще один гений? Надоело, — сказала Женя, не поворачивая головы. — Ты будешь танцевать?

И они закружились снова.

От улицы Горького свернули в проулки, где между светло-желтыми громадами новых домов уцелели деревянные особнячки, огороженные палисадником, за которым на грядках торчал салат, висели гамаки, а днем летали бабочки и шмели.

— Да, я все могу, — говорил Тулин. — Хотите, Адочка, я вам открою секрет, как стать человеком, который все может, то есть всемогущим? Это совершенно просто. Для этого надо стать сильнее себя. Пересилить свои слабости. Тот, кто сильнее себя, тот сильнее остальных людей и, значит, обстоятельств. Вы хотите сделать Сергея слабым, а я наоборот. . .

— Ну конечно, своим оруженосцем. . .

Каждый из них заботился о Крылове, хотел помочь ему, они простили ему то, что он натворил, и они недоумевали и досадовали, почему это его почти не трогает.

Крылов полагал, что Тулин вернется утром, но тот приехал почти следом за ним.

— Добродетель заела, — пояснил он. — Меня никто не встречал и провожать некому. Таков удел идущих впереди. Они всегда одиноки и непонятны. Ими можно восхищаться, но их трудно любить. — И уже без наигрыша задумчиво спросил: — Мораль? А что это такое? Инстинкт самосохранения? Воспитание? Смелость? Что мешает тебе вернуться к Голицыну? Наверное, эта лыжная девица. Почему ты выбрал ее? Мы дурачье, выбирать себе жену бессмысленно, так же как родителей. Наука превратила нас в рационалистов. Почему я не дал в морду Петруше? Почему я цацкаюсь с тобой? Если бы я мог обрести полную власть над собой, я получил бы власть над всеми.

— Зачем тебе она? — спросил Крылов.

— О! Будь уверен, я бы устроил мир разумно. Во-первых, заставил бы тебя поехать со мной. Нет, надо быть сильнее и беспощадней. Начнем с того, что на полу будешь спать ты.

Через два дня Тулин уехал, так и не добившись от него определенного ответа.

Существовало нечто, что Крылов должен был выяснить раз навсегда. Оформив расчет, он отправился в Театральный проезд, остановился у витрины железнодорожной кассы. По расписанию нужный ему поезд уходил в девятнадцать часов. Крылов посмотрел на часы: в его распоряжении оставалось сорок минут. Он сел в такси и, не заезжая домой, как был, поехал на вокзал.

Глава 10

Тут все дома были одинаковыми, квартал за кварталом одинаково красивых новеньких домов с цветными балконами. Он провожал Наташу до самого дома всего однажды, и то зимой, вечером. Они постояли у парадного, и неожиданно Наташа пригласила зайти к ним выпить чаю. Она так и сказала — зайдемте к нам, она познакомит с мужем, покажет сына. Будто не замечая его недоумения, она настойчиво тянула за рукав.

— Вы что это, серьезно? — спросил он.

Она наивно округлила глаза — что тут особенного, муж очень любит гостей.

— А что еще любит ваш муж?

Ее притворство разозлило Крылова: неужели она считает, что он способен сидеть за столом с ее мужем, болтать, смотреть ему в глаза, и она будет тут же. Если бы даже такое произошло, то ведь после этого между ним и Наташей все кончится. Зачем это ей, для чего? Но скажи он такое, она немедленно бы спросила — что именно кончится? И ему нечего было бы ответить.

Возвращаясь домой, он вдруг понял, зачем ей это было нужно. Чтобы он зашел и чтобы все превратилось в обыкновенное знакомство. Это была последняя ее возможность устоять, последнее усилие.

А сейчас, летом, улица выглядела неузнаваемо. Газоны лежали, полные до краев жирной травы. На лип-

ком асфальте лениво бродили сытые голуби. И только в витринах громоздились те же пыльные коробки кофе.

Непонятно, как он почувствовал, что именно этот дом — ее дом, что заставило его с такой уверенностью свернуть под высокую арку? В списке жильцов прочел: «Романов А. В. — кв. 11». Память старалась изо всех сил, единственный спутник в этом путешествии в прошлое.

Он присел на скамейку дворового садика, лицом к парадному. Плавилась стекла, слепые от солнца. В распахнутых окнах бились занавески. Одно из окон принадлежало ей, каждую минуту она могла выглянуть и увидеть его. А может случиться и так, что откроется парадное и она выйдет оттуда, жмурясь от солнца, держа за руку сына. Она не заметит Крылова, и он пойдет за ней по улице, и так они будут идти долго, и перед ним на расстоянии трех шагов будут покачиваться ее волосы, шея, плечи.

Малыши играли со щенком. Они нахлобучили на него бумажную шляпу. Щенок вырвался, подбежал к ногам Крылова, тявкнул и помчался дальше. Женщины на соседних скамейках посмотрели на Крылова и зашептались. Он вынул записную книжку. Там были разные записи, перечитывать их было неловко: благие намерения, которые так и не выполнены, глубокомысленные замечания, которые никогда не могут пригодиться.

«Плазма — шаровая молния El. World № 14».

«Интересно проверить, как проходит гипноз, если гипнотизера оградить сильным полем».

«Прочесть о тающем льде у Санина».

До чего ж быстро человек обрастает невыполненными замыслами и тащит, тащит их за собой всю жизнь.

«У человека нет электрического органа, а есть мышцы, поэтому он старается все сводить к механике. Электрический скат, вероятно, поступал бы иначе».

Любопытно, как поступил бы скат на его месте? Вряд ли он стал бы сейчас сидеть здесь и читать записную книжку.

Солнце припекало затылок. Он откинулся на спинку скамейки и принялся разглядывать окна. Вдруг он сообразил, что сегодня воскресенье, он помнил об этом и раньше, но только сейчас ему пришло в голову, что раз сегодня воскресенье, то она могла уехать за город.

А может быть, у нее отпуск и она на даче? Он вскочил и вошел в парадное. Одиннадцатая квартира оказалась на последнем этаже. Крылов нажал кнопку. В глубине квартиры прозвенело. Ему захотелось убежать или подняться на чердачную площадку и посмотреть оттуда — кто откроет дверь? Он оглянулся — по лестнице неторопливо поднимались две старушки.

— Внучку не разрешают нянчить, — сказала одна из них. — Деньги, а на что мне их деньги.

За дверью слышались шлепающие чужие шаги. Надо спросить, не живет ли здесь... Какую-нибудь фамилию. Он лихорадочно пытался придумать какую-нибудь фамилию, любую фамилию, и не мог.

Дверь открылась. Перед ним стоял высокий мужчина, растрепанный, в пижаме, босой. Припухшие глаза его ничего не отражали, там было мутно, как в запотевшем стекле.

— Раньше времени явились. Ну да ладно, — сказал он.

— Простите, мне нужно... — начал было Крылов, но мужчина перебил его:

— Я, я самый и есть Алексей Романов, да проходите же вы. — Он сердито втащил Крылова, захлопнул дверь. — И ради бога, помолчите, голова трещит, все одно ничего не слышу. Сперва посмотрите, потом будете высказываться.

По коридору, мимо прикрытых дверей, он привел Крылова в большую комнату с застекленным фонарем, на полу стояли подрамники, множество холстов лицом к стене, валялись окурки, воздух был спертый, на кушетке лежала грязная подушка, измазанный красками столик уставлен бутылками, и на тарелке коричневые пирожки.

— Садитесь спиной к свету, — сказал Романов. — Алкоголю хотите? Ну и шут с вами.

Он взял ближайшую картину и поставил ее на мольберт.

Крылов прислушался: в квартире было тихо. Ситуация, подумал он. А, будь что будет!

— Отсвечивает? — спросил Романов. — Подвиньтесь. Еще. Вот сюда.

Он подождал, снял картину и поставил следующую.

— Отдерните занавеску! Мало. Да шевелитесь же

вы. — Он покрикивал, почти не глядя на Крылова, и взгляд его оставался тусклым и безразличным, и движения, которыми он снимал и ставил картины, были машинальны.

Крылов послушно отодвигался, наклонял голову и все время думал: а что, если Наташа в соседней комнате, за стеной?

— Ну как? — спросил Романов.

— Очень интересно, — громко сказал Крылов. — А что это за станок?

— Да не орите вы. При чем тут станок. Ну, строгальный. Устраивает? Важно было показать глыбу металла, покорную человеку. Контраст холодной стали с человеческой рукой.

Пска он, снисходительно морщась, объяснял картину, Крылов искал следы Наташи, хотя бы малейший признак ее присутствия, что-нибудь связанное с ней.

— Подходит? — нетерпеливо спросил Романов. — Эту я отложу. Вы вообще смыслите что-нибудь в живописи?

Крылов заставил себя взглянуться, он задавал какие-то вопросы, кивал, поддакивал.

Закопченный белозубый машинист стоял у паровоза. Паровоз был нарисован здорово, совсем как настоящий. Машинист тоже был красивым и могучим.

«Гидростроители». По плотине шли строители, все молодые и белозубые, и нечеловечески железобетонные.

Двери в коридор полуотворены, и ни звука не слышно.

Красиво освещенные сталевары — опять могучие, улыбочивые, и опять не люди, а тупые роботы, — сколько таких бездушных картин видел он — в гостиницах и домах отдыха, в фойе кино.

— Невероятно, — говорил Крылов. — Неужели вы сами все это придумали?

— Ну и послал мне бог... — говорил Романов. — Это ж с природы. И плотина с природы.

— ...Важно установить равновесие между формой и цветом, — зевая, говорил Романов. — Вот как здесь, оптимистическое соотношение...

— Совершенно правильно, — говорил Крылов, — каждая форма имеет свой цвет, каждый цвет имеет форму.

Какое-то подобие усмешки оживило лицо Романова.

— Бесподобно. Если бы чужие глупости могли бы делать нас умнее, я беседовал бы с вами каждый день.

Его картины нельзя было назвать раскрашенной фотографией. Это были картины-«верняк», холодные, скупые и в то же время неуязвимо отработанные.

Крылов ждал. Чего терять, *к*огда нечего терять. А вообще-то ситуация — не придумаешь. Важно протянуть время. Не может быть, чтобы она не слыхала его голоса.

Романов прислонил к мольберту большое полотно, изображающее часть огромного цеха. Над разметочной плитой склонилось несколько человек, рассматривая чертежи. В центре группы стоял осанистый патриарх, солнце красиво серебрило его длинные седые волосы, прикрытые черной ермолкой. Серые массы металла, фермы мостового крана, косые снопы солнца, театрально пронизывающие дымный воздух. Каждая фигура исполняла свою роль: один улыбался, другой спорил, третий напряженно думал. Все было правильно, но было непонятно, для кого это все нарисовано, зачем потрачено столько времени и красок. Это была одна из тех картин, которые хвалят за тему, но никто не испытывает ни волнения, ни удовольствия, ни открытия. Лучше уж плакат, там хоть ясно, к чему он призывает. Крылов вспомнил, как однажды на завод к ним приехал фотограф из «Смены». Он долго расставлял вокруг станка членов бригады, придумывал каждому позу, поправлял воротнички, а потом попросил: «Пожалуйста, разговаривайте, держитесь свободно, но только ни в коем случае не двигайтесь».

И здесь этим ребятам приказано не двигаться, думал Крылов. Хорошо бы разобрать эту картину по косточкам, высмеять Романова, но ему было некогда, внутри у него все было обращено в слух и ожидание. Каждую минуту могла отвориться дверь и войти Наташа. Хоть бы где-нибудь хлопнула дверь.

— Плохо, что я не специалист, — сказал Крылов.

— Оно заметно. Впрочем, профан — это тоже любопытно. Не мешает послушать. Понятно вам, например, кто такие эти люди?

— О да! — сказал Крылов. — Вот, очевидно, мастер. У него из кармана торчит штангенциркуль.

— Правильно, — чуть насмешливо поощрил Романов. Крылов внимательно посмотрел на него.

— Чудная деталь, находка, — продолжал он, наблюдая за Романовым. — А посредине, наверное, академик. Все академики носят ермолки. Может быть, конечно, он член-корреспондент, но слишком много седины у него для члена-корреспондента.

— Разобрались. Картина выражена в жизнеутверждающей серебристой гамме. Запомнили? — Романов усмехнулся мрачно и лениво, и Крылов вдруг подумал, что Романов считает его за идиота.

— Мне кажется, что все это уже было.

— То есть?

— Такое впечатление, будто вы все время подлаживаетесь под нужную тему.

— Ваши впечатления оставьте при себе. Тема! Сюжет! Так нельзя подходить к живописи. Кстати, подобный сюжет — бригада содружества в цеху — никто еще не воплощал на большое полотно. Мало ли что было, сколько было снятий с креста, все равно классики продолжали писать. Божья мать с младенцем... Есть сотни шедевров. Ну и что из этого?.. — Романов не защищался, а поучал лениво и небрежно. — Все дело, мой дорогой, в том, как написано.

— Вот именно! Тут спекулировать... нехорошо.

Романов, словно просыпаясь, медленно поднял брови, синеватые обводки под его глазами походили на грим.

— Что вы хотите сказать?

— Неужели не понимаете? — слегка краснея, спросил Крылов.

Вместо торжества он испытывал обиду. Ничто не вызвало у него такой злости, как работа, сделанная зря.

Ему стало стыдно за Романова, за эти никому не нужные, халтурные картины, которые могут еще долго лежать здесь без всякого ущерба для людей. Вот он, Крылов, ушел из института, но его исследование продолжает Песецкий; не будет Песецкого — все равно кто-то третий кончит их работу, потому что она необходима людям. Он мысленно благодарил свою специальность. Ставя опыт, он никогда не думал, понравятся ли результаты опыта Голицыну или нет, его интересовала истина, а не мнение. Мнение подчинялось истине.

— А все же? — спросил Романов.

— У вас раскрашенная схема, — неохотно сказал Крылов, — безликие автоматы.

— Ух ты, какая прыть! Значит, у вас есть свое мнение? Ай да герой!

— Оставьте ваш тон. Я не знаю, за кого вы меня принимаете...

— За невежду! — спокойно прервал его Романов. — За кого ж еще? Ну как вы можете судить о живописи? Что вы понимаете в светотени, в фактуре мазка, в ритме цветов... — Он почесал ногу. Если он и защищал свои картины, то не потому, что считал их хорошими, а потому, что никто, кроме него самого, не мог судить их.

— Умников развелось. Но меня достаточно знают. Полюбуйтесь в «Красном знамени», как написано про это «Содружество». А как Голощекин расценил «Гидростроителей». — Он швырнул Крылову пачки газет, журналов, альбомы с подклеенными рецензиями, каталоги выставок.

— Вот репродукции, вот еще. Значит, хорош я был? Всех устраивал! А что изменилось? Что я, хуже стал писать? Чего вам всем от меня надо? — Какое-то накопленное раздражение прорвалось в нем. — То не так, это не так. Никто толком ничего указать не может.

«Ишь ты, привык, — удивился про себя Крылов, — это можно, это нельзя».

Он хотел сказать об этом Романову, но позабыл, вдруг увидев среди вороха бумаг несколько старых рисунков и акварелей. Как будто они были сделаны другим художником — ни на кого не похожим, дерзко беззаботным, — костры у реки, беспризорники слушают чекиста, буденновцы с шашками, красногвардейцы на ночных улицах, длинноногие мальчишки, бегущие к самолету.

— Это баловство, молодость. — Романов отобрал рисунок сердито, но голос его дрогнул теплом.

Ага, значит что-то было, подумал Крылов. На что-то он был способен. А затем торопливость — еще слава, деньги... Нет, раз слаб — значит, не талант. Талант — это всегда сила. Бьют, расшибешься, а все равно идешь, и ползешь, и делаешь свое дело.

В черной щели приоткрытой двери что-то блеснуло.

— Послушайте, — сказал Крылов, — там кто-то ходит.

Романов вздрогнул. Они прислушались.

— Глупости, — сказал Романов. — Там никого нет. Это кошка.

— Кошка? Да, конечно, мне показалось. — Крылов поднялся. — Простите, я пойду.

— Э-э, нет, как же так, мы не договорили. Вы что ж, отказываетесь приобретать? .. На это, допустим, я чихать хотел, но вы объяснитесь. Мне любопытно, — деланная усмешка дергала его запекшиеся губы, — по-вашему, я кто — халтурщик? Модернист? Раскрашенный чертеж — как понимать? Ругань? Ругань не доказательство. Нагадили — и бежать. Ай-яй-яй, не интеллигентно.

— Вы пишете портреты людей, которых вы не любите, — сказал Крылов. — У вас нет к ним чувства, поэтому и у меня не возникает к ним чувства. Вы маскируетесь под искренность. Но сейчас труднее спрятаться. Сейчас любая фальшь проступает как никогда раньше. Для вас эти рабочие — не люди. Модная тема. Расчет, арифметика. . .

Романов слушал его, полузакрыв глаза, чуть отвернув голову.

— Да, расчет! Я пишу для народа. Вот именно — для народа, — оживленно повторил Романов. — Народу по-проще нужно.

Эта фраза взбесила Крылова.

— Что такое народ? Я кто, по-вашему? Я что, не народ? Снисходите до народа?

— Ну ладно, не орите, — нетерпеливо оборвал его Романов. — Вы продолжайте. Чего вы требуете от картины?

— Картина — это. . . — Крылов запнулся. — Это как открытие, изобретение, там же нельзя повторять! Черт с ней, с гаммой. Было у вас, чтобы вы как для себя. . . Вы можете сейчас вот так? — И он показал на отложенные рисунки.

Романов словно очнулся. Лицо его болезненно исказилось.

— Но это же глупость! — закричал он. — Для себя. Смешно слушать. — Он театрально воздел руки. — Кому нужны мои переживания? Сколько они стоят? Вы как живете, жалованье получаете? Вот вы и чирикаете. А у меня семья. То есть. . . Черт с ней. Не в этом дело. На кой шут мне рисковать? Писать для себя? Нет, мне некогда дурака валять. Я работаю для потребителя.

Его словно прорвало. Он схватил Крылова за плечи и говорил, говорил, дыша в лицо винным перегаром. Мутные, словно запотевшие глаза смотрели невидящим взглядом. Вдруг он отошел, помолчал, неуверенно спросил:

— Вы что ж, считаете, что я больше неспособен? Пожалуйста, можете начистоту. Надо хоть раз... Поскольку уж мне попался такой правдолюбец. Не бойтесь, не пожалеюсь. Черт с ним, с вашим Дворцом культуры.

— При чем тут Дворец культуры, — с досадой сказал Крылов. Пора было кончать эту затянувшуюся дурацкую историю. — Я не из Дворца культуры.

— Да, действительно, ни при чем. Нет, погодите. Сперва выпьем.

Романов подбежал к столику, ловко разлил коньяк по стаканам.

— Коньяк отличный. А закуски нет. Разве пирожки вчерашние. Впал в полное ничтожество по случаю семейных конфликтов. Небось слышали?

Он стоял спиной к Крылову. Под голубой пижамой в синюю блестящую полоску ходили округлые лопатки. И вся спина была большой, круглой, блестящей.

— Как? Нет, не слышал.

В нем все замерло в ожидании. Романов обернулся, протянул стакан. Крылов выпил, быстро, жадно, как воду. Он мог сейчас пить сколько угодно.

— Нет, ничего не слышал, — повторил он. Если бы он умел быть хитрым и осторожным!

Романов, прищурясь, рассматривал коньяк на свет.

— Алкоголь — по-арабски порошок. По нашему — от слова «алкать». Все сходится. — Он выпил, вытер рот, заходил по комнате.

— Вы про меня хлестко... Такое редко. Но, к вашему сведению, я сам куда крепче могу, я ведь все понимаю. Вот в чем ужас. — Он говорил невнятно, занятый какой-то своей мыслью. — Когда-нибудь, когда-нибудь... И так всю жизнь. Вроде не с кем бороться. Иногда только... Вы как меня представляете? Способен я или нет? — Он спросил вдруг ясно, в упор. Правда, тут же попробовал иронически хмыкнуть, но сорвался и замер.

— Вы сами виноваты, — с неожиданным для себя сочувствием сказал Крылов. — Бывает, что человек боится, ничего не сделав, чувствует себя побежденным не пото-

му, что рисковал, а потому, что отказался от риска. Вы попробуйте.

Романов, шлепая босыми ногами, забегал по комнате.

— Откуда вы знаете? Может, я уже пробовал. Никто ничего не знает. Самые близкие люди живут на космических расстояниях. Хотите, я вам покажу?

— Что?

— Так, ерунда, для себя. — От его равнодушия, ленивой неуязвимости не осталось и следа. Боком он пробрался в угол к мольберту, завешенному серой тряпкой.

— Вот она, тут, — пробормотал он и, умоляюще посмотрев на Крылова, снял тряпку.

Крылов шагнул вперед. Потом он отступил и, пятясь назад, поискал стул. Не найдя его, остановился.

Из грубо отмалеванной синью глубины на него смотрела Наташа. Огромные глаза ее с недоумением глядели на Крылова, не понимая, зачем он здесь. Он ясно видел, что она думает о нем. Знакомый серый свитер был голубым, но все равно он был серым, и темные губы... Одной рукой она крепко сжимала плечи мальчика, припкнувшегося к ее коленям. Рука была неестественно длинной и глаза невероятно велики, — он не сразу заметил нарушенные пропорции.

И тотчас раздался настороженный голос Романова:

— Как вы сказали?

Крылов с трудом повернулся к нему. И вдруг впервые Наташа совместилась с этим рослым, красивым мужчиной, хозяином этой квартиры. Они живут здесь вместе. Она моет эти тарелки. Блестящая в полоску пижама. Мягкие курчавые волосы. И волосы на груди. И рыжеватая щетина вокруг слабых губ. Но если он мог написать ее так, значит, он любит ее.

Крылов отвернулся, но Романов, как нарочно, заглядывал в лицо.

— Неужели так действует? Ну, что вы теперь... Могу я? А я сам знаю, что могу. Но ведь могу, верно? — Лихорадочное возбуждение носило его по мастерской, то он принимался хвастаться, то путался и заискивающе, почти любовно трогал Крылова за руку.

Было противно и стыдно. Надо было уйти. Но он не в силах был двинуться. Он понятия не имел, хорошая это картина или плохая. Наверное, хорошая, хотя низ недописан и рисунок внизу беспомощный, какая-то

каша... Он почувствовал, как Романов нетерпеливо тербит его.

Ему хотелось выгнать его, остаться одному, что-то обдумать. Свиделись! Не надо было ехать сюда. Вся затея от начала до конца была бессмысленной.

— Да, это она, — глухо и твердо сказал Крылов. — Теперь я понимаю...

Романов благодарно стиснул его руку.

— Я вам первому показал. А как фон? Хорош? Неумолимый цвет, — он бормотал, как одержимый. — А лоб? Одним махом. Весь смак в этом сочетании. Рука, какая у нее рука. В глаза я еще дам красным. А рука не смущает? Только бы кончить. Я еще задумал. Я много задумал...

Тонкие, грязные пальцы его бегали по холсту, трогали живот, ноги Наташи. Объясняя, что и как будет дописано, он схватил кисть, тюбик с краской.

— Не трогайте, — сказал Крылов.

Романов посмотрел на него, как глухой, кисть выпала, он растопырил пальцы и уставился на них.

— Дрожат, — тихо сказал он. — Уже неделю не могу работать. Дрожат. И не в состоянии...

— Вам не надо пить.

Романов покачал головой.

— Не из-за этого. Боюсь. А вдруг обругают? Обвинят. Я сам хуже всякой критики. Привык. Все заранее прикидывал — кто что может сказать. Вероятно, и не скажут, а я все равно боюсь. Боюсь — это от слова «страх». Главное — уравновесить, привести в ажур. И сейчас хочу уравновесить — нет, не получается, знаю. Думаете, я не вижу, что уже порчу? Когда она ушла от меня, я с горя как начал этот портрет по памяти, без оглядки, словно прорвало, а потом опомнился, и вот сколько...

— Она ушла? Как ушла?

— Ушла. Сына взяла. И вот сколько я... — Романов остановился, подозрительно вглядываясь в Крылова, как будто кто-то стёр мутную пленку с его глаз. Щеки его медленно втягивались, из стиснутого в руке тюбика выдавливалась краска. Веселый ярко-желтый червячок выползал, удлинялся и, покачавшись, смачно шлепнулся на пол.

— Так это вы?

Крылов кивнул.

Словно защищаясь, Романов швырнул в Крылова тюбик, не попал, схватил табурет, Крылов не шевельнулся. Романов повертел табурет, зажмурился и бросил. Табурет больно ударил Крылова в коленку.

Затем Романов сел на кушетку, стиснул виски, закачался взад-вперед. Все это напомнило дурную пьесу. Интересно, как они выкарабкаются из этой пошлятины, подумал Крылов. Ситуация! А черт с ним, лишь бы узнать, где Наташа.

— Вот и познакомились, — сказал Крылов.

Романов поднял голову.

— Простите. Нервы и прочее. — Он повертел пустую бутылку. — Я думал, вы из Дворца культуры. Очень смешно.

— Я вам говорил, — сказал Крылов, — вы не слушали.

Романов передернулся.

— Аа-а, так даже интереснее. Значит, вот вы какой. — Ухмыляясь, он оглядел Крылова. — И что это она в вас нашла? Физиономия у вас примитивная. Ситчик в горошек. Неудивительно, что я вас за администратора... Ситуация.

Так неожиданно было, что Романов произнес то же самое слово, что Крылов чуть не рассмеялся. Это слово чем-то объединило их.

— Вы чего приехали? Раздел имущества? — Романов изо всех сил иронизировал.

— Куда она уехала?

— Вы не знаете? Великолепно! — Романов развалился на кушетке, забросил ногу на ногу. — Я вас приветствую. Значит, у нее кто-то третий. Брошенный муж — жалкое зрелище, не правда ли? Я из-за нее работать не могу. От вас никогда не уходила женщина? Отвратительная штука. — Он старался изобразить циника и не мог. — Но я работать не могу, а без работы я пропал. Стерва. Вышибла подпору, — застонал, раскачиваясь из стороны в сторону. — Что мне делать, Крылов, посоветуйте. Видите, мне нисколько не стыдно. Вы ведь умный. Семья разрушена. С вас все началось. Вы ей наговорили, натрясли свою труху ученую. Знали, что она замужем, что у нее сын, неужто не стыдно? Подлость такое называется. Подлец вы!

«Чего ж стыдного — любить стыдно?» — подумал Крылов. От ругательств становилось тоскливо. Почему они должны ненавидеть друг друга? — спрашивал себя Крылов. Два человека разговаривали, спорили о картинах, потом узнали, что любят одну и ту же женщину, и с этой минуты должны стать врагами! Обязаны. Сами себя заставляют. Как будто вражда поможет кому-нибудь из них.

— ...Она вернется, вернется, — иступленно твердил Романов. — Не останется она с вами. Разве мы плохо жили? Квартира новая. Помогите мне, для вас это что — эпизод...

Эпизод... Боже ты мой, как точно он попал, ведь тогда казалось, что это всего лишь эпизод. Почему бы не поухаживать. Все было так красиво, сплошная лирика. Но в глубине души он не верил своим чувствам, не верил ни себе, ни ей.

— ...Ну согласен, вы любите, — испуганно поправился Романов, — но для меня тут вся жизнь. Работать не могу без нее. На улицу не хочу выходить. На солнце смотреть противно. Все противно. — Он закрыл лицо руками и заплакал.

Крылов отошел к окну.

«И я не могу без нее, и он не может без нее. Хороший художник или плохой — при чем тут это? Ему, пожалуй, хуже, у меня хоть есть работа».

Нога болела, Крылов незаметно ощущал колено, присел на стул. Романов торопливо утерся рукавом, подбежал к нему:

— Поезжайте к ней, уговорите ее вернуться. А? Она вас послушает. Любые ее условия приму. Помогите, миленький, вы один можете помочь.

Крылов отвернулся.

— Глупо, что я вас прошу? Я сам знаю, глупо и мерзко. Но мне все равно. Я сейчас на все согласен.

— Хорошо, — сказал Крылов, — давайте ее адрес.

— Сейчас, сейчас, — заторопился Романов. — Вы обещаете? Честное слово? Хотите, я вам подарю любую картину. Просто так, на память. Вы не обижайтесь, не в уплату...

Он поспешно натягивал носки, искал туфли, предлагал поехать куда-то обедать, посмотреть город.

— Ах да, я забыл, — вдруг воскликнул он, — вам же

мои картины не нравятся. Значит, это перед вами я откровенничал? Боже мой, срам-то какой, в одном исподнем. Ну, теперь-то я могу вас спросить. Уловил я в ней характер? — Не глядя, он засовывал ногу в туфлю и все никак не мог попасть. — А может, и хорошо, что вы пришли. Я убедился. Важно, что я могу. . .

— Мне некогда, — сказал Крылов. — Дайте ее адрес, я пойду.

— Как хотите, как скажете, — послушно согласился Романов. — Раз она не у вас. . . Странно, странно. — Он послунял кончик шнурка и задумался. — Женщина не уходит в пустоту, женщина уходит от одного к другому. Наташа — та, конечно. . . Вероятно, она поехала. . . — Он снова остановился, уставился на Крылова. — Как вы смотрите на нее! Ведь вы приехали сюда. . . — Он отшвырнул ботинок. — Ох, какой я болван! Вы приехали увезти ее! И я, дурак, хотел довериться вам! Нет, дудки! — торжествуя, он потер руки.

Крылов вышел в коридор. Блеснули плоские зеленые огни кошки. Он попробовал открыть дверь, никак не мог нащупать крючок. Романов стоял сзади, и Крылов чувствовал его дыхание.

На площадке Романов вдруг крепко ухватил его за пиджак, губы его прыгали, весь он кривлялся.

— Продать портрет? Уступлю по дешевке. За поллитра, без запроса. Как отдать! Свадебный подарок.

Никогда позже Крылов не мог понять, откуда взялись у него силы, он был куда слабее Романова, но в эту минуту он так сдавил кисти его рук, что пальцы Романова побелели и разжались.

Ноги у Крылова дрожали, он спускался по лестнице, держась за перила. Он заставил себя пройти двор и улицу и только на площади остановился, прислонясь к газетному киоску.

Глава 11

Автобусы шли на Озерную переполненные.

Крылов сошел на кольцо и долго стоял неподвижно. В руке он держал коробку с тортом, который купил для Антоновых. Коробка помялась, и на картонной стенке расплылось жирное кофейное пятно.

Пышные купы акаций заслонили антоновский домик. Сперва показался железный петух на коньке крыши. Когда-то, приехав сюда еще молодым парнем, Антонов смастерил этого петуха, и с тех пор петух вертелся, храбро выпятив ржавую грудь, словно командуя всеми ветрами.

Затем показался сарай. Зимой на розовом шифере крыши лежал блин снега. Мартовское солнце съедало его, и Крылов из окна наблюдал, как снег на сарае съезживается. Шутки ради он исследовал зависимость скорости таяния от загрязнения снега. Недавно, к его удивлению, этой работой заинтересовались агрофизики.

В стороне, на зеленой поляне, чисто и радостно светились белые будки метеостанции. Антонов улыбнется, прикрыв ладошкой щербатые зубы, жена его заахает, примется накрывать на стол.

Он тихо отворил калитку. Во дворе незнакомая девушка снимала с веревки белье.

— Антоновы? — переспросила она. — Они давно здесь не живут.

— Давно?..

— Месяца четыре, наверное. — Для нее это было давно.

— Где они?

— Где-то возле Бийска. Там, кажется, родные его жены. Адрес они оставили. Вы им родственник?

— Я тут работал зимой. Моя фамилия Крылов. — Он смотрел на нее с неясной надеждой.

— Меня звать Валерия. — Она кокетливо блеснула металлическими зубами. — Меня сюда из Москвы направили. Конечно, после Москвы здесь провинция.

Окно было раскрыто. На месте кушетки стоял канцелярский письменный стол с машинкой, накрытой футляром. Стены голубели новенькими обоями. Не было плюшевого желтого кресла. Наташа любила сидеть в нем, поджав ноги. Не было круглого зеркала в дубовой раме. Из кухни доносился детский смех. Никто не знал о тех, чья жизнь прошла здесь. Никто о них не вспоминал, никому не было до них дела. Дом не хранил воспоминаний. С предательским радушием он служил новым жильцам.

— А кроме адреса, Антоновы ничего не оставляли? — спросил он.

Валерия недоуменно уставилась на него.

Он дошел до калитки, потом вернулся, протянул де-
вушке коробку с тортом.

— Возьмите, пожалуйста. Вы любите сладкое?

Голые руки ее растерянно прижали к груди охапку
белья. Большеносое лицо в клубке черных жестких волос
стало мучительно некрасивым, она быстро коснулась его
руки.

— Но ведь вы... Хотите чаю?

— Что вы, — сказал Крылов. — Не беспокойтесь. Это
трюфельный торт. Вам понравится.

Между березовой рощей и лесом когда-то была по-
ляна. Там они лепили снежную бабу и по лыжне спуска-
лись в низину к санной дороге.

Он с трудом разыскал эту поляну. Высокий шиповник
горел алыми цветами. Тени птиц неслись по траве.

Ветер плескал отблесками листвы. В новом зелено-
солнечном мире казалась невероятной снежная тишина и
узкая лыжня между белыми сугробами.

Чудак, он думал, что время существует только для
него, а оно существовало и для Антоновых, и для этого
леса, и для Наташи. Ему казалось, что он найдет неиз-
менным все, что оставил, как в сказке о спящем коро-
левстве.

Пересвистывались птицы. Шурша, осыпалась сухая
хвоя. Крылов вслушивался, и было страшновато, как
будто он различал воровские убегающие шаги Времени.

Никакие теории относительности, и системы коорди-
нат, и понятия дискретного времени, и новейшие физи-
ческие гипотезы не могли помочь ему, все оказывалось
бессильным перед этим простейшим временем, отсчиты-
ваемым ходиками, листками календаря, закатами, — не-
умолимым, первобытным временем.

Он вышел к озеру. Песчаные отмели шумели, вороча-
лись сотнями человеческих тел. Со стуком взлетали мячи.
Там, где у дымной полыньи когда-то чернела фигура
Наташи, скользили лакированные байдарки и мокрые
весла вспыхивали на солнце. Из воды в крутых масках
высовывались марсианские морды ныряльщиков.

Холодное и ясное отчаяние охватило Крылова. Нако-
нец-то он понял, что никогда, никогда не удастся вер-
нуться в ту зиму. Никакая машина времени не властна
над прошлым. Перенестись в будущее — пожалуйста, но
ему не нужно было будущего, он искал прошлое.

— Товарищ Крылов! — Из воды, рассыпая брызги, бежала Валерия. — Товарищ Крылов! — Она остановилась перед ним. Ее плечи блестели от воды. Крылов молчал. Валерия подошла к нему вплотную. — Хорошо, что я вас увидела. — Она пристально, без улыбки смотрела ему в глаза. — Вы тут один? Пойдемте, я вас познакомлю с нашими.

Она потянула его за рукав. Под жидкой тенью полозатого тента Крылов уселся на песок рядом с толстым мужчиной и загорелой блондинкой, игравшими в карты.

Крылов снял пиджак, лег на горячий песок. Блондинка повернулась к нему, заслонив озеро.

— Будете в дурака? — спросил толстый.

— Идиоту в дурака нет смысла, — сказал Крылов.

— Это что, намек? Намек-наскок?

— Нет, — усмехнулся Крылов. — Признание.

— Перестаньте хвастаться, — сказала блондинка. — Знаете анекдот про еврея на пляже?

Валерия беспокойно посмотрела на Крылова и стала одеваться.

— Вы еще застали здесь Антоновых? — спросил Крылов.

— Они уже собирались уезжать, — сказала Валерия.

— А вы не знаете, приходила к ним такая Романова? — Он с трудом произнес ее фамилию.

— Наташа? — оживилась блондинка.

— Да.

— Так она тоже уехала.

— С ними?

— Что вы, ее увез один научный работник, он тут жил зимой. У них такой роман был!

— Роман-шарман, наверное сама к нему уехала, — сказал толстяк.

— Ничего подобного, — горячо сказала блондинка, — мне рассказывали, как все было. Он приехал за ней на машине, подстерег возле ее дома, когда она с ребенком шла, посадил и увез, она домой даже не зашла.

— Так не бывает, — сказал толстяк. — Небось расчет она оформила. В наше время без отдела кадров не похитишь. Всякие бумажки-шмажки.

— Он приехал на черной «Волге», — сказала Валерия.

— У них был сумасшедший роман, — сказала блондинка. — Он хоть и ученый, а поступил как настоящий мужчина.

— Чего ж он зимой сразу не увез ее? — недоверчиво спросил толстяк.

«Почему я сразу не увез ее? — подумал Крылов. — Как же это так? Сел в поезд и уехал. О чем же ты тогда думал? Да ни о чем. Совсем ни о чем. Про свои паршивые графики ты думал. Про то, что потом когда-нибудь ты приедешь. И этого ничего ты не думал. Как же это могло быть? Сел в поезд, а она осталась...»

— Они проверяли свои чувства, — сказала блондинка.

Но ведь он же писал ей. Почему она не отвечала, ни разу не ответила? А последнее письмо вернулось невостребованным.

— Вы ее знали? — спросила Валерия.

— Я понятия не имел... То есть, конечно, я знал.

— Что ж она, такая красивая?

— Да, очень.

Они с интересом посмотрели на него.

— А может, и не очень, — поправился он. — Я ничего не знаю.

— Господи, какое у вас лицо, — сказала блондинка. Она шлепнула Валерию по спине. — А твой тебя не собирался увезти? У нее тоже принц объявился. Торт преподнес.

— Угощай, — сказал толстяк. — При такой жаре скинут твои тортики-шмортики.

Валерия засмеялась и умоляюще посмотрела на Крылова.

— Мне пора, — сказал он. Поднялся. Отряхнул брюки. Попрощался.

Валерия догнала его.

— Простите меня, — сказала она.

Мокрые волосы облепили ее маленькую голову. Толстяк и блондинка издали смотрели на них.

Крылов взял руку Валерии и неловко поцеловал.

Пляж кончился. Потянулись пустынные берега рыбацкого поселка. На полях сушились сети. Лежали перевернутые баркасы. Пахло смолой и рыбьей гнилью. Крылов по привычке свернул на тропку вверх, мимо коптильни, мимо амбаров, к синему домику буфета.

Он знал, что ему не следует заходить в буфет, он даже обогнул его, но потом вернулся и, постояв минуту, толкнул синюю фанерную дверь.

Столик у окна был свободен. Он сел на свое место, так, чтобы видеть озеро. «Подзаправимся?» — спросил он. Наташа не ответила. Он смотрел на стул, пытаясь представить, как она сидит перед ним, потирая холодные щеки. Стул был пуст. Она обманула его. Он ехал к ней, а она обманула его.

...Они вернулись с обхода. Наташа стащила мокрые ботинки, достала из чемоданчика тапочки, выложила на стол несколько мандаринов.

— *Это еще зачем?* — строго спросил он.

Она вспыхнула, придвинула мандарины к себе, и ему стало стыдно.

Они сверяли записи, сводили в таблицы, это было на третий день их работы, и Крылова удивило, как быстро она уловила смысл измерений и действовала, уже ни о чем не спрашивая.

— *У вас отличные способности,* — сказал он.

Она посмотрела на него недоверчиво, почти испуганно. Но назавтра, закончив вычисления, она вдруг рассмеялась.

— *Выходит, я сама могу,* — сказала она изумленно.

По утрам, приехав из города, она была какой-то жжатой, замкнутой и только к середине дня словно оттаивала. Особенно в лесу, когда они шли на лыжах, она оживлялась. Она ходила на лыжах девчонкой и с тех пор ни разу.

— *А с мужем почему не ходите?* — как-то спросил Крылов.

Она смутилась и сказала, что муж слишком занят.

Она вообще избегала говорить о муже и о себе, только однажды, когда на озере она провалилась в прорубь и он притащил ее к Антоновым, и растирал, и напоил водкой, она, лежа под одеялом, словно сквозь сон, спросила:

— *Какой я вам кажусь?*

Потом он понял, что значит этот вопрос. В семье она была старшей и с детства нянчилась с маленькими, и хотелось поскорее освободиться, стать самостоятельной. Вышла замуж, появился ребенок, и опять было не до

себя. А в техникуме ее считали способной. Муж ее был довольно известный художник, и рядом с ним ее надежды выглядели мелкими, смешными. Она старалась помогать и не мешать. Она научилась быть незаметной. Это она умела в совершенстве. Иногда она даже не могла представить, а какой же она видится со стороны окружающим. Ей казалось, что она куда-то пропала, ее нет, кто-то вместо нее ходит, говорит, а ее самой не существует.

Она была высокая, с движениями медленными, почти ленивыми, и волосы у нее были тоже ленивые, гладкие, но Крылову она казалась маленькой, и он чувствовал себя с ней старшим, это было непривычно и нравилось. И, как с детьми, с ней надо было быть осторожным, чуть что — испуганно пряталась, застывала в молчании. Она была как эти мартовские хрупкие дни с пугливым солнцем.

Ровно в шесть она сложила таблицы, надела ботинки, собираясь на автобус.

— Можно, я оставлю тапочки, чтобы не таскать?

— Пожалуйста, — сказал Крылов.

Поздно вечером, укладываясь спать, он увидел в углу эти тапочки — маленькие спортивки хранили форму ее ноги. И кажется, тогда впервые ему захотелось, чтобы скорее наступило утро и он снова увидит бы ее.

Крылов заказал винегрет, сосиски и пиво, покосился на буфетчицу. Вероятно, она не узнала его. Волосы ее были уже не желтые, а темно-рыжие.

Все придумано. Легенда о том, как ее увезли, и то, что он сам навоображал себе. В сущности, если разобраться, то, наверное, вообще ничего не было, а если и было, то давно кончилось. Никогда не следует возвращаться туда, где был счастливым.

Имея даже четверку по диамату, следовало бы усвоить, что нельзя дважды войти в один и тот же поток.

Он смотрел на песчаный берег, где лежали смоляные туши перевернутых лодок, и ничто не трогало его, все оставалось безразлично чужим. Винегрет был невкусным, сосиски холодные, удивительно, почему он так боялся зайти в буфет.

Старый дымно-серый кот с черной метинкой на лбу

вежливо потерся о ногу. Крылов взял с тарелки соленый огурец.

— Когда-то ты ел огурцы, — сказал он. — Но, может быть, и этого не было.

Кот понюхал и деликатно куснул огурец.

Буфетчица засмеялась.

— Вы к нам опять работать? — спросила она.

— Нет, проездом.

— Пашка, стервец, ведь узнал вас. Ишь как ластится.

Она открыла бутылку, поставила на стол. Кот поднял хвост, мяукнул.

— Это его Наташа приспособила огурцы жрать, — сказала буфетчица.

«А вдруг все это было? — подумал Крылов. — Почему она ушла от мужа?»

— Ну как вы живете-можете? — спросила буфетчица.

— Замечательно, — сказал Крылов. — Чудесно живу.

— А она не приехала? Чего ж вы ее с собой не взяли? Ну, я понимаю, ей сюда сейчас неохота. Она небось от счастья все позабыла. Шутка ли, как она тут маялась без вас. Она вам рассказывала?

— Нет, — сказал Крылов. — Ничего не говорила.

— И мне тоже. Придет, посидит, Пашку погладит.

За соседним столиком потребовали колбасы.

— Сейчас, — сказала буфетчица, — мне не разговаривать.

Он сидел, слушал, как лопаются пузырьки в стакане с пивом.

Буфетчица вернулась.

— Вы еще зайдете?

— Нет, — сказал он, — сегодня уеду.

— Привет ей передавайте.

— Я далеко уезжаю, — вдруг сказал он и удивился, услышав от себя решение. — В экспедицию.

— Что это вроде вы невеселый какой?

— Да нет. Пиво у вас отличное. Я был рад вас повидать. — Он нагнулся, потрепал кота. — Ну, будь здоров, Пашка.

Он допил пиво и рассчитался.

— Спасибо вам, до свидания.

— Приезжайте вместе зимой, — нерешительно сказала буфетчица.

— Может быть. Может быть.

Ему еще хотелось выпить пива. Всю дорогу он ощущал сухость во рту.

Через все небо размахнулся белый пушистый след реактивного самолета. Крылов шел и смотрел на тающий росчерк.

Обратно он ехал на электричке. Стоял в тамбуре, белый бурун в синем небе давно растаял, но Крылову казалось, что он все еще видит его.

Если она спустя несколько месяцев решила на такое, значит, она действительно любила, с самого начала она любила его. Он вспомнил свои письма, и сейчас они показались ему отвратительными. Пустые, холодные, обо всем, что угодно, и ни о чем, потому что там не было единственного простого — он не звал ее. Ну конечно, он считал, что в любую минуту может приехать. А когда последнее письмо вернулось не востребованным, тогда вот началось. Тогда он стал наконец думать. Тогда целыми днями сквозь всё он думал и вспоминал. Видел автобус и думал о ней. Пил воду и думал о ней. И не то чтобы думал, а просто представлял ее губы и твердил ее имя.

Московский поезд уходил вечером, тот же поезд, с той же платформы. Крылов зашел в вагон и стал у окна. Провожающие. Отъезжающие. Чемоданы. У каждого вагона прощаются.

Поезд тронулся легким толчком, без гудка. Давно уже нет гудков, поезд трогается незаметно, только легкий толчок. И вдруг к нему отчетливо вернулся тот миг — соскочить, подбежать к ней, остаться, плюнув на все и на всех, ему казалось, что тогда он хотел это сделать. Он знал, что надо соскочить, и продолжал стоять.

Редели прореженные сумерками огни. Их становилось все меньше и меньше. Почему-то вспомнилось детство, лагерь, как вечером строились на линейку. Спуск флага. И горн. Он вспомнил кислотоватый металлический вкус мундштука...

Он прошел в свое купе, достал из кармана «Огонек» и стал читать рассказ. Прочитав, он начал сначала, шепча каждое слово, как читают полуграмотные.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Под конец третьего курса Сергея Крылова исключили из института. Приказ гласил: «За систематический пропуск лекций».

Дирекция вначале сформулировала жестче:

«За недостойное поведение», позже благодаря Олегу Тулину формулировку смягчили.

На лекции по оптике Крылов разглядывал потолок. Он ничего не записывал, он смотрел на потолок, где отражалась солнечная зыбь листьев. Преподаватель прервал лекцию и спросил, не мешает ли он Крылову. Крылов встал и сказал, что не мешает. Аудитория смеялась. Лекция была скучная, и пятьдесят человек охотно смеялись. Будь доцент постарше, он смеялся бы со всеми, но доцент, стукнув ладонью по кафедре, покраснел и сказал, что если Крылову известен материал, то вряд ли ему стоит сидеть на лекции.

Крылов отнесся к его словам с полной серьезностью, он подумал и сказал, что лекция его действительно не интересует, поскольку весь материал точно так же изложен в учебнике, проще прочесть учебник и сдать по нему экзамен.

Доцент сказал: «Ну что ж, попробуйте».

Крылов перестал посещать лекции и начал ходить к математикам, слушать курс теории вероятностей. Его несколько раз предупреждали, но он недоуменно округлял свои голубые глаза — почему так нельзя? Его наивность походила на насмешку и могла взбесить кого угодно. Через месяц его исключили.

Олег Тулин, в то время секретарь комсомольской организации факультета, уговорил Крылова пойти к декану просить, обещать, он готов был пойти вместе с ним. Крылов отказался. К факту исключения он отнесся равнодушно. Ему было лишь неудобно перед Тулиным.

Трудно теперь, после стольких лет, разобраться, как возникла их дружба. Со стороны Крылова это началось с поклонения таланту Тулина, а у Тулина — как потребность опекать, помогать и, может быть, служить объектом поклонения. А кроме того, ни у одного из них не было братьев.

На втором курсе они вместе делали лабораторные работы по электрическому разряду.

— Давай поставим электроды под углом, — предложил Тулин.

Им было скучно выполнять то же самое, что делали на соседних столах, и то, что делали здесь из года в год поколения второкурсников. Они поставили электроды под углом, кроме того, они обмакнули их в чернила. Результаты получились странные, не сходящиеся с формулой. Преподаватель сказал, что, очевидно, для таких условий формула неверна. Он не видел в этом ничего особенного, но Крылов и Тулин были потрясены. Впервые они столкнулись с тем, что формула, напечатанная в книге, может быть неточной.

По вечерам они оставались в лаборатории, и Тулин придумывал самые фантастические условия разряда. Они погружали разрядники в снег, в молоко, в водяные пары, пока наконец это не кончилось взрывом, от которого Крылову рассадило подбородок.

Из лаборатории их выгнали, и они решили посвятить свою жизнь науке. Им нравилось сокрушать авторитеты. Кроме того, они убедились, что наука находится в зачаточном состоянии. Такая элементарная вещь, как кибернетика, лишь зарождалась, электроэнергию еще получали, сжигая уголь, и даже энцефалограммы мозга не умели расшифровать.

Профессор Чистяков отобрал несколько студентов для научной работы на кафедре. Тулин попал в число счастливиц, а Крылов не попал. Он потребовал, чтобы ему объяснили почему, и напросился... Ему так и сказали: малоспособный, не тянешь, и все тут. Его «почему» раздражало самых терпеливых преподавателей. В конце концов он сам начал придумывать ответы на свои «почему», и постепенно он вошел во вкус, было приятно создавать собственные теории, критиковать авторитеты, подвергать сомнению все, что попадалось на глаза, разрушать и строить заново по-своему. Тут сказывалось и природное упрямство и недоверчивость к мнению старших; в быту он оставался доверчивым простачком, но учиться становилось все труднее, потому что нужно было проверять самые очевидные истины.

Никто из великих людей в юности не подозревал о своем будущем, но тем не менее великие люди, а также их окружающие умудрялись сохранять множество документов для биографов.

Никаких документов об институтской жизни Крылова не сохранилось, поскольку всем было ясно, что великого человека из него никогда не получится. Даже для биографов Тулина от этого периода мало что осталось.

Крылов и Тулин не переписывались, если не считать записок на лекции вроде: «Посмотри налево — потеха» или «Займи мне место в столовке». Не вели дневников. Не имели дел с издателями, кредиторами, журналистами. Из зачетных ведомостей можно установить, что на первом курсе Крылов получал весьма посредственные отметки по всем предметам. Ничто его не интересовало. В протоколе комсомольского собрания записано: отличник Тулин прикрепляется к Крылову для индивидуальной помощи. Очевидно, Тулину долго пришлось раскачивать подшефного, потому что только в третьем семестре Крылов получил первые четверки.

Вспоминая впоследствии свои студенческие годы, Тулин и Крылов сошлись на том, что историкам действительно придется туго. Современный быт с телефонами и телеграммами не оставляет письменных следов внутренней жизни человека. Поэтому вместо объективных данных придется пользоваться пристрастными оценками. Так, например, известно, что Тулин назвал Крылова экстра-идиотом и свиньей, когда тот отказался попросить извинения у доцента. «Человек, который не может пожертвовать личным во имя большой идеи, ничего не добьется в жизни», — сказал Тулин. В общей сложности он затратил на Крылова больше тридцати вечеров и имел право обижаться.

Больше всего его раздражало неожиданное упрямство Крылова, всегда покладистого, уступчивого.

Из-под Новгорода приехал отец Крылова и рассудил быстро и жестоко: не хочешь учиться, ступай работать и сбеспечь сестренку, они поедут учиться в Новгород. На том и порешили.

Старшая сестра Тулина работала инженером на заводе, и она устроила Крылова контролером ОТК. Крылов хотел поблагодарить Тулина, но тот повернулся к нему спиной.

— Я с тобой даже разговаривать не желаю, — сказал он срывающимся голосом.

Крылов переселился в заводское общежитие. Первые дни его сосед по койке Витя Долинин, маленький, похо-

жий на краба, стаскивал с Крылова одеяло и кричал: «Интеллихенция, подъем!» Потом Крылов сам привык вставать ровно в шесть тридцать. Он не стремился ни с кем сойтись, ни к кому не подлаживался, и, наверно, поэтому ребята с ним легко сдружились.

Физическая работа его утомляла. За восемь часов редко удавалось присесть: надо было бегать из конца в конец цеха, обмерять станины, поверхности, носить приборы, ворочать шестерни. К вечеру он уставал, ноги гудели. Зато голова была свободна. Наконец он мог заниматься чем хотел. Он обдумывал сразу несколько проблем: какова природа сил тяготения, что такое бесконечность, верен ли закон сохранения энергии. Кроме того, он собирался создать общую теорию единого поля, которую не удалось создать Эйнштейну, и вскрыть противоречия квантовой механики. Это был период, когда его занимали исключительно коренные вопросы мироздания.

Читая про бйотоки, он пришел к выводу, что возможности человеческого мозга безграничны. Раз так, то следовало добиться автономного мышления — работать, а в это время думать о другом. Он получил два выговора, начет, один раз его чуть не придавило краном: он учился производить нужные замеры механически, обдумывая очередную мировую проблему.

Времени не хватало. Жаль было трех лет, потраченных в институте на такие предметы, как сопромат, химия и прочие бесполезности. Однако благодаря институту он убедился в необходимости какой-то системы и в слабости своего математического аппарата. Большинство проблем, над которыми человечество билось десятки лет, он довольно легко разрешил, правда, оставалось их оформить математически и привести в научно убедительный вид.

Он купил четырехтомный курс высшей математики и шеститомный курс физики. Примерно через полгода он обнаружил, что в его решениях есть некоторые неувязки, а еще через несколько месяцев безобразные, жалкие факты полностью уничтожили прекрасные гипотезы.

Шли последние дни квартала, сборщики гнали аппаратуру на сдачу, и вдруг Крылов забраковал всю серию штанг. Ни на какие уговоры он не поддавался. Пришлось на ночь вызывать слесарей; и Крылову предложили тоже остаться на ночь принимать штанги по мере их доводки.

Он отказался. Мастер устроил ему разнос перед лицом бригады слесарей, пришел начальник ОТК и тоже принялся стыдить его — борьба за план, героические усилия коллектива, честь завода, подвиги комсомольцев.

Крылов внимательно слушал их, потом попросил объяснить, почему обязательно надо сдать контакторы к тридцатому числу, а с первого числа слоняться, точить байки, в чем смысл этой формальности и какой зарез государству получить контакторы на двадцать часов раньше, чтобы при этом измучить людей и платить сверхурочные, а потом оплачивать простои.

Витя Долинин поддержал его, начался скандал, Крылова вызвали в комитет комсомола, но и там он упрямо требовал, чтобы ему доказали, какую прибыль получит государство от такой штурмовщины.

Решено было привлечь Крылова к общественной работе и навести порядок в мозгах этого мыслителя. Ему поручили провести беседу о почетном заказе новостроек — электроаппаратуры для экскаваторов.

Беседа получилась увлекательная. Крылов, добросовестно изучив описание экскаваторов, доказал слушателям, что коэффициент полезного действия этих экскаваторов ничтожен: перенося каких-нибудь десять тонн породы, экскаватор переносит при этом двадцать тонн своего веса, ничего почетного в таком заказе нет, экскаваторы устарели, их надо снимать с производства и делать машины непрерывного действия.

На заседании бюро он, простодушно округлив глаза, говорил:

— По-моему, совершенно правильные расчеты.

Двое из членов бюро стали на его сторону, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, не случись тут другой истории.

Завод переживал неприятности с приводами новой серии специальных контакторов. При испытании чугунные каретки разбивались. Каретка скользила по дуговым направляющим, и поломка происходила, когда скорость достигала рабочей.

Проходя по цеху, Крылов наскочил на главного конструктора Гатеняна, чуть не проткнув его большим разметочным циркулем. Главный конструктор отвел душу: в течение двух минут он дал исчерпывающую характе-

ристику Крылову, и его родителям, и мастеру цеха, который ссылался на то, что Крылов лунатик и вообще малость тронутый.

Затем Гатенян отобрал у Крылова циркуль и вместе со своими конструкторами начал что-то измерять на приводе. Крылов очнулся. Он увидел расстроенные лица вокруг привода с разбитой кареткой, новые контакторы, что выстраивались на сборочном участке, ожидая своей участи.

Некоторое время он слушал догадки конструкторов и вдруг вмешался и попросил запустить следующий образец. Мастер зашипел на него, приказал убираться. Крылов повернулся и пошел, возвращаясь в неевклидово пространство.

Однако Гатенян остановил его и спросил, какие такие соображения имеются у этого лунатика. Ничего толком Крылов не мог объяснить, ему хотелось посмотреть, на каком участке дуги бьется каретка.

Главный конструктор прослушал этот довод, произнесенный задумчивым тоном, совершенно серьезно. Ни годы, ни должность не научили его тому, что диплом может заменить голову. К удивлению инженеров, он приказал установить новую каретку, приготовить пресс к запуску, не забыв, правда, упомянуть, что каждая каретка стоит две тысячи.

Тогда Крылов отказался от нового испытания. «Так даже интереснее», — сказал он и, отобрав циркуль, ушел проверять штанги.

Смена кончилась, — он появился в конструкторском бюро, заглянул в кабинет, там шло совещание. Главный пригласил его зайти, он пробрался к столу и спросил, что представляет дуга, по которой движется каретка. Круг? Он обрадовался: тогда все логично, каретка должна ломаться, поскольку имеется разрыв производной. Гатенян навел тишину, заставил Крылова повторить сызнова. В сопряжении дуги с направляющей происходил удар, и, следовательно...

Мастера, проектировщики недоверчиво поглядывали на клочок бумаги с нацарапанными значками без цифр и рисунков. Здесь привыкли иметь дело с коэффициентами, чертежами, номограммами, — отвлеченные уравнения их не убеждали.

Его спросили: в чем же вывод? Крылов пожал

плечами: до сих пор его занимала лишь причина поломки — как, почему, а не что надо делать. Он присел к столу и задумался. Щелкнул тот внутренний разъединитель, которым он научился отключаться от происходящего вокруг. Затем он снова соединил контакты, увидел напряженно ожидающий взгляд Гатеняна и сообщил, что следует заменить окружность параболой.

Гатенян взял его в бюро. Первую половину дня приходилось делать всякие проектные расчеты, решать задачки, после обеда он читал физику. Подобно лакомке, он отбирал самое вкусное, не задумываясь — зачем, нужно ли это. Он читал книги по физике как романы, наслаждаясь неожиданным поворотом мысли. Сидящий рядом с ним пожилой конструктор вздрагивал от раскатов внезапного смеха. «Послушайте, — оправдываясь, говорил Крылов и читал ему, сияя от восторга: — «Экстремальное значение импульса не зависит от места образования ионов, хотя форма кривой импульса от этого и зависит».

То были прекраснейшие дни его жизни. Случай с каретками воодушевил его. Оказывается, все эти отвлеченные формулы, соприкасаясь со станками, с железом, высекали искру, способную взорвать все вверх тормашками. Его физика, его математика фактически хозяйствовали на заводе. Полтора года бездействовал ультразвуковой дефектоскоп по проверке отливок. Крылов занялся ультразвуком и наладил установку. Гатенян дал ему полную свободу. «Выбирай, что тебе интересно. Броди и думай, — говорил он. — Будь думающей штатной единицей».

Однажды директор завода, проходя с какой-то комиссией, застал Крылова в конторке ОТК сидящим на столе. Окунув стеклянную трубку в чашку, Крылов старательно выдувал мыльный пузырь. Был разгар рабочего дня. Переливаясь радужным блеском, пузыри плыли по цеху, поднимались к застекленной крыше. Директор возмутился. Но еще больше его взбесило, что Крылов вытаращил на него глаза — ведь это крайне важно разобраться, каким образом пузырь отрывается от трубки. И вообще, известно ли директору, почему лопаются мыльные пузыри? Надо отдать должное директору, он был куда умнее того институтского доцента: он знал, что выигрывает не тот, кто отвечает на вопросы, а тот, кто задает

их. Он спросил: известно ли Крылову, как погиб Архимед?

Ситуация и впрямь напоминала встречу Архимеда с римским воином. Члены комиссии многозначительно улыбнулись, а Крылов попросил у директора денег для киноъемок лопающегося пузыря.

На следующий день директор учинил главному конструктору разнос: почему лопаются мыльные пузыри — трудно придумать удачнее тему для министерских зубоскалов. Отныне на всех совещаниях нам будут поминать эти пузыри.

Гатенян пробовал доказывать, что ничего особенного не произошло. Пусть парень ходит, думает, возится, никогда не известно, что из этого может получиться. Пока что он уже окупил себя на несколько лет вперед. Грех сажать его за доску. На такой большой коллектив не мешает иметь одного думающего. Это тот тип людей, которых незачем заставлять работать, они не работают, только когда спят, нужно лишь не мешать им.

Ответная речь директора была значительно короче.

Гатенян вернулся мрачный, вызвал Крылова, предложил ему получать с утра задания, отправляться в библиотеку и не сметь болтаться по заводу. Все свободное время сидеть и готовиться к экзаменам за университетский курс экстерном.

Экзамены казались Крылову докучной помехой, он уступил главному только потому, что хотел сделать ему что-либо приятное. Работу с мыльными пузырями он все же закончил и послал ее в журнал технической физики. Через полгода ее напечатали, и выяснилось, что она представляет некоторый интерес для теории пограничных явлений.

Гатенян принес оттиск статьи директору и сказал: «Большую реку нельзя мерить палкой». Директор повез оттиск в главк, положил на стол начальнику — «и короли ошибаются».

Перелистав оттиск, начальник главка пожал плечами и сказал: «Подумаешь», — но на ближайшем совещании рекомендовал поощрять научные интересы производителей. Пример с мыльным пузырем выглядел у него красиво, даже несколько самокритично, и, главное, удобно, поскольку никаких практических выводов не требовал.

На заводе пошли разговоры о Крылове, начальники цехов здоровались с ним за руку. Нравилось, что живет он по-прежнему в общежитии, получает в месяц восемьсот рублей, из них триста посылает сестрам в Новгород. Он отвечал на общее внимание рассеянно, без интереса, и это возбуждало любопытство. То, что раньше проходило незамеченным, сейчас бросалось в глаза, и поскольку Крылов вызвал благожелательность, то сочувственно отметили и его вельветовые брюки, и свитер, и плащ, в которых он ходил по морозу, обходясь без зимнего пальто. Было в этом некоторое неосознанное щегольство — вот, мол, я какой, потому что меня интересуют совсем другие вещи.

И это тоже нравилось. В общежитии его уже не считали «лунатиком» или «блажным», его с гордостью окрестили «главным теоретиком».

Завод имел много главных — главный технолог, главный механик, главный энергетик, — но то были должности официальные, утвержденные. Главные технологи были на всех заводах, главный же теоретик только на Октябрьском. Он становился достопримечательностью завода, такой же, как Порошин — участник штурма Зимнего дворца, Глухов — мастер спорта, альпинист. На каком еще заводе рабочий парень печатает статьи в журналах Академии наук!

Его полюбили, как любят расточительных, не приспособленных к жизни добряков. Любили, заботились и без пощады эксплуатировали: бегали со всего завода с просьбой подсчитать, решить задачку, проконсультировать.

Долинин водил его на танцевальные вечера, таскал за город; он послушно, под необидный смех плюхался с вышки в воду, плыл по-собачьи и смеялся сам, и все понимали, что он может позволить себе не уметь плавать, неуклюже танцевать, ибо не этим определяются его способности.

Так продолжалось до тех пор, пока за Крылова не взялась Ада.

За два с половиной года ему осточертели бесконечные экзамены и зачеты, и занятия по ночам, и лабораторные работы, половину из которых он считал абсолютно ненужными. На кой шут ему сдался диплом, у него уже не хватало ни сил, ни терпения, и перед самым фи-

налом он, наверное, бросил бы все, если б не Ада. Она неопровержимо доказала, что без диплома его ожидает жалкое будущее и вообще он будет безвольной тряпкой, если отступит. На что он тратит свой талант — решать контрольные всяким лентяям! А им не совестно эксплуатировать его простодушие? Без особых разговоров, вежливо и холодно она сумела отвадить слишком частых клиентов Крылова.

Ада считалась в КБ энергичным, серьезным инженером. Кроме того, бесспорно, была первой красавицей завода. Она была настолько красива, что никто не пытался за ней ухаживать. Рядом с ней любой мужчина чувствовал себя недостойным. В КБ были уверены, что у Ады полно блестящих поклонников, соперничать с которыми безнадежно. Из самолюбия она делала вид, что так оно и есть, и держалась еще надменней.

Крылову и в голову не могло прийти, что он может понравиться ей. Он относился к Аде как к старшей сестре или тетке, хотя она была одних лет с ним. Властная, обладающая непререкаемой логикой, она умела подчинять себе людей. Крылов сам не заметил, как стал виновато докладывать ей о каждом шаге.

Прежде всего она убедила его, что он талантлив, не знает себе цены и преступно разбазаривает свои способности. Чего ради он занимается электрическим пробоем? Бесперспективно.

С того дня как он нацепил университетский значок, жизнь его на ближайшие пять лет — а ему казалось, на сотню лет — была Адой точно распланирована, и ему оставалось лишь двигаться согласно расписанию от одной станции к другой.

К тому времени Крылов и Тулин помирились, и Олег неожиданно поддержал Аду.

— При чем тут пробой, — говорил он Крылову. — Какая фигура! А волосы! Даная! Ты просто счастливчик.

Позже Тулин изменил свое мнение, но тогда его восторги льстили Крылову, было приятно идти под руку с такой красавицей, и чувствовать завистливые взгляды мужчин, и видеть, что она ни на кого не обращает внимания. Втайне он тяготился опекой Ады. В ее присутствии ему приходилось ходить на цыпочках, тянуться изо всех сил. Она не спускала ему ни малейшей оплошности.

Она неустанно «приобщала» его, водила на выставки, в музеи, на концерты. Аккуратнее всего, захваченные общим тогда интересом, они посещали политкружки, где азартно обсуждали роль личности, последствия культа. А потом, в коридоре, еще долго спорили, как же это все могло произойти. На завод один за другим возвращались реабилитированные, то, что они рассказывали, было страшно и непонятно. Все чаще без опаски, с уважением произносились имена людей, которых Крылов с детства привык считать врагами народа. Тулин вдруг рассказал, как его отца в тридцать седьмом году исключили из партии и выслали, у Гатеняна брата осудили, как шпиона четырех государств; выяснились затаенные обиды, трагедии, хранимые во многих семьях. Каждое такое открытие было болезненным, но вместе с тем росло чувство общего очищения. Пытались угадать, а что будет дальше, убеждали друг друга, что со старым покончено навсегда, строили планы, выдвигали проекты всевозможных реформ. Каждое новое постановление они встречали с энтузиазмом. «Я так и знал, я как раз об этом думал», — заявлял Тулин; Крылов недоумевал: «Сколького мы не замечали». Кое-кто из пожилых осторожничал. Но над ними смеялись — дудки, этот процесс необратим; спорили с Адой — она не видела особого смысла в разоблачении прошлого. Зачем? Зачем столько разочарований? Кому это помогает, только растравляет людям души. Крылов в одном был уверен твердо: правда никогда не может повредить. Правда всегда за нас. И ничто не заменяет правду.

Обсуждался семилетний план завода, дискутировали, сравнивали выгоды гидростанций и тепловых станций. Гатенян припомнил дискуссию о языкознании — миллионы людей на всех предприятнях вынуждены были месяцами изучать проблемы лингвистики, в то время когда в колхозах творилось черт знает что, за хлебом стояли очереди. Крылов со стыдом вспоминал, как он сам, тогда уже вроде бы сознательный парень, находил какую-то высшую мудрость в этой статье Сталина.

Началась модернизация оборудования.

Ада заставила Крылова заняться прибором для определения чистоты обработки.

Прибор будет называться прибором Крылова. О при-

боре должны появиться статьи. Ученый на производстве — вот в чем ценность и смысл его работы.

В соответствии с этим должно строиться и поведение Крылова и внешний облик.

Заготовка, разогретая честолюбивыми проектами, послушно носилась через валки прокатного стана, постепенно принимая нужную форму.

Ада заботливо соскребла остатки окалины, придирчиво осмотрела свое произведение, осталась довольна, и Крылов отправился в завком с заявлением насчет комнаты.

На нем ловко сидел темно-серый костюм, узкий галстук, вывязанный крохотным узлом. Все свои разработки Крылов оформил, направил в бюро изобретений, получил премию и записался в плавательный бассейн.

Его словно прорвало. Пелена упала, он увидел жизнь в заманчивом разнообразии. Каждый вечер в двадцати театрах раздвигался бархат занавесей. На экранах появились новые картины, заграничные и наши. Шли литературные диспуты. Молодые художники устроили выставку. Девчата из соседнего общежития приглашали послушать кубинские пластинки. Оказывается, воскресенье было выходным днем, существовал яхт-клуб на Островах и сами Острова с белыми ночами, Стрелкой, карнавалами, и ситцевый в черно-желтых квадратах сафран очень шел Аде.

— Если ты захочешь, ты сможешь стать начальником техотдела, — говорила она, — начальником центральной лаборатории, заместителем главного конструктора. Не ради карьеры — ради интересов дела производство надо ставить на научную основу.

«Прекрасна, как античная статуя, — думал Крылов, — но разве можно обнимать статую?»

Они поехали в Петергоф. Когда пароходик вышел в залив, погода переменилась, заморосило. Крылов накинул на Аду пиджак. Скользящая палуба накренилась, Крылов крепко обхватил Аду за талию.

— Пойдем вниз, — предложил он.

Она помотала головой.

Горизонт поднимался и падал, и море вставало серой лохматой стеной. Они были на палубе одни. Ада посмотрела на Крылова. Он виновато убрал руку, Ада слегка

покраснела, и он окончательно смутился. Брызги достигали их.

Крылов не понимал, почему Ада молчит, и чувствовал себя все более виноватым.

— Тебе надо сесть за теорию регулирования. — Голос ее дрогнул. — Это основа автоматизации производства. Я тебя очень прошу. Ладно?

Она накрыла мокрой ладонью его руку.

— Обязательно, конечно, — обрадованно сказал он.

— Ты, ты... — она запнулась, — ты читал Винера? Это поразительно. Правда, он несколько преувеличивает значение кибернетики, но это поразительно.

«О господи, все-то она знает! — подумал Крылов. — А я просто темный идиот».

— А Экзюпери ты тоже не читал? На что ты тратишь время? — Она принялась ожесточенно высмеивать его невежество.

Прибор, которым она заставила заниматься, мало интересовал его. Впрочем, он понимал, что для завода это нужно. Неделию он наблюдал, как мастера, следуя своим секретам и законам, определяют точность обработки. Они не подозревали, что все их секреты подчиняются закону Никольса. Ночью, когда цех опустел, Крылов установил интерферометр и с помощью своего Никольса вскрыл все секреты, как вскрывают ножом консервную банку. Прибор получился элементарный. В сущности, Крылов приспособил известные в лабораториях приборы для цеховых условий, однако на заводе поднялся шум, Крылова фотографировали, о нем писали: «Инициатива новатора... с энтузиазмом откликнулся...». Он чувствовал себя неловко, пока Ада не доказала, что талант никогда не знает истинной ценности собственных работ, лишняя скромность так же неприятна, как и тщеславие. Как всегда, он уступил, согласился и написал под ее диктовку заявление.

Гатенян молча выслушал его условия.

— Значит, имени Крылова, и перевод в старшие конструкторы? — подытожил он и как-то печально посмотрел на Крылова. — У нас в Нахичевани говорят: если бы от яйца становился хороший голос, то куриный зад заливался бы соловьем.

Больше он ничего не сказал, написал приказ и только спустя несколько дней мимоходом спросил, как идут дела

с пробоем. Казалось бы, он должен был радоваться, что Крылов занят исключительно заводскими делами, но в этом вопросе Крылову почудились тревога и укор.

Потихоньку от Ады Крылов вернулся к изучению электрического пробоя. Он сам не понимал, зачем он занимается им.

В глубине души он относил это стремление к своим порокам: бывают у людей страстишки — преферанс или водка, а у него — электрический пробой.

То была первая, не замутненная никакими опасениями радость открытия. Он создал свою собственную теорию поляризации и пробоя в некоторых средах. Все выстраивалось красиво, легко, и он первый узнал, понял весь этот сложный механизм. Никто в целом мире не знал истинной картины. Он один обладал сейчас этой истиной, один из всех людей на земле.

Он возвращался из Публичной библиотеки. Ноги его почти не касались земли. Он мог взлететь и парить над Александровским садом.

А что, если он сейчас умрет? И эта тайна уйдет вместе с ним? И никогда никто не узнает? Мысль о смерти была нелепой, но она ему нравилась. Он немедленно помчался к главному конструктору домой.

Когда тот вышел к нему, в пижаме, встревоженный, Крылов сообразил, что Публичная библиотека закрывалась в половине двенадцатого и сейчас, вероятно, уже за полночь. Но тут же он забыл об этом, ему необходимо было с кем-нибудь поделиться. . .

Главный ничего не понимал в электростатике, зато он твердо верил в своего подопечного.

На следующий день через каких-то друзей Гатенян договорился с самим Данкевичем, и Крылову разрешили доложить о своей работе на семинаре в Институте физики Академии наук.

К докладу готовились всем конструкторским бюро. Девушки вычертили Крылову роскошные схемы и диаграммы цветной тушью. Главный дал Крылову свою роскошную папку для тезисов. Одна лишь Ада относилась к предстоящему выступлению холодно. Она не понимала, зачем это ему нужно. Впрочем, она заставила его отрепетировать несколько раз свою речь и назвать ее по-другому — не новая теория, а как-то скромнее — «К вопросу о...» Уж кто-кто, а она, дочь профессора,

знала, как настораживают ученую аудиторию безвестные открыватели новых теорий.

Она проводила Крылова до дверей института, поправила ему галстук, осмотрела с ног до головы и кивнула строго, но разрешающе.

Вечером он в общежитие не вернулся. Назавтра на завод не пришел. Никто не знал, куда он пропал. Ада позвонила в институт. Там сообщили, что Крылов выступил, его сообщение обсудили, покритиковали, он ушел, и больше они ничего не знают.

Появился он через два дня, небритый, исхудалый, новый костюм был измят, в пятнах. Молча пройдя к главному, он вернул ему папку и протянул заявление об уходе. На расспросы он почти не отвечал, морщась, как от боли. На заводе решили, что к их Крылову отнеслись несправедливо. Разве способны эти затрушенные академики, оторванные от жизни, оценить заводского человека! Уж кто-кто, а их Крылов за пояс заткнет всех очкариков. Стоит ли из-за них расстраиваться, подумаешь, критиканы, наверняка завидуют. . .

Почему-то все считали, что его разобидели академики и это из-за них он хочет покинуть завод. С ним обращались как с больным, осторожно, стараясь не тронуть раны, говорили о футболе, он отвечал принужденной улыбой, но глаза его оставались глухими.

Директор подписал приказ о назначении его старшим конструктором; через месяц заканчивается заводской дом, ему обещали дать комнату; Ада выхлопотала ему путевку в дом отдыха, — но он стоял на своем: он уходит с завода. Куда? В институт к Данкевичу. Кем? Кем угодно. Ада была уверена, что это просто каприз, блажь. Идти к Данкевичу, который так хамски отнесся к нему! Это же бред. И зачем он нужен Данкевичу? Лично она презирала эти академические институты с их вельможами, схоластами, вокруг самой простой вещи набормочут заумных терминов. Слава богу, она достаточно насмотрелась дома, у своего отца, на эту писанину, лишнюю радость живого дела. На заводе Крылов через год может стать заместителем главного. А потом, пожалуйста, если его так тянет наука, защитит диссертацию. В науку надо въезжать на белом коне, а не стучаться нищим, не имея ничего за душой.

Слова Ады отскакивали от него: до сих пор он был

послушной глиной в ее руках, и вдруг глина оказалась цементом.

— Может быть, из меня ничего не выйдет, но я хочу попробовать... — твердил он.

Здание, которое она с таким трудом выстраивала, его карьера, которая начала налаживаться, вся его репутация на заводе, работы, которые она задумала для него, — все-все затрещало, зашаталось.

Даже беспечный Долинин и тот осуждал его: «Чего ты вытрясываешься? Лучше быть первым парнем в деревне, чем последним в городе». С той же горячностью, с какой его защищали, все возмутились его решением. Его называли неблагодарным, обвиняли в честолюбии. По-своему они были правы: он был обязан заводу слишком многим. Гатенян не захотел с ним познакомиться.

Если бы можно было объяснить им всем!

Ада поставила ему ультиматум — или он останется, или между ними все кончено. Что значит «все»? — недоумевал он. Почему они не могут остаться друзьями, как были?

— Друзьями? — Она с ненавистью посмотрела на него и вдруг заплакала. Это было так непохоже на нее, так ужасно было видеть, как по ее белому, неподвижно-мраморному, строгому лицу скатываются слезы, что он почувствовал себя свиньей.

— Ну хорошо, я останусь, — в отчаянии сказал он. — Только не плачь. Пожалуйста.

Невозможно было представить, что эта красивая девушка плачет из-за него. Он не понимал, что происходит. Ада вытерла слезы. «Не нужно жертв. Уходи. Катись. Теперь это уже не имеет значения».

— Боюсь, что из тебя никогда не получится настоящего ученого, — сказала она. — Ты слишком ненаблюдателен.

Внезапное подозрение охватило его, он пытался всмотреться — Даная — и успокоился: это было бы слишком невероятно.

Из него ничего не получится — вот что угнетало его больше всего. То же самое говорил ему Тулин. Два самых близких ему человека пришли к одному и тому же.

В сущности, никому он толком не мог объяснить, как же произошло, что талант, «главный теоретик» лопнул, подобно мыльному пузырю.

Отчего лопаются мыльные пузыри? Теперь он представлял себе, как это происходит. Чьи-то губы раздувают каплю, она растет, блестящая пленка играет всеми цветами радуги. На ее поверхности отражаются небо, искривленные дома, люди. Пузырь считает себя целой планетой. Все, что он отражает, — это и есть настоящее. Это его дома, его люди. Он несет их на себе, и как доказать ему, что это все — лишь отражение! Он считает наоборот: земля и люди — сами всего лишь уродское отражение его красоты. Он отрывается и летит, понятия не имея о ветре или какой-то конвекции воздуха.

Пузырь летит. Он уже не принадлежит никому, он сам себе хозяин. Он — Вселенная. У него свои законы. Он не подчиняется вашим Ньютонам, тяготениям, вашей механике. У него все свое, даже своя электростатика. Ах, какой он прекрасный, этот пузырь! Зря он не раздулся еще больше. Попробовать что ли?

И вдруг — кррак! Лопнул. Не осталось ничего... Мутные брызги. Куда исчез этот сверкающий всеми красками мир с его законами, небом, землей?

Но прежде чем он лопнул, им вволю наигрались.

С отвращением он вспоминал, как, выпятив грудь, он взошел на кафедру, пижонски раскрыл кожаную папку, вытащил оттуда свои бумажки. Первые минут пять его слушали с любопытством. Потом перебили вопросом. Он только готовился приступить к выводу, а его уже спрашивали о конечной формуле, еще не написанной на доске. Откуда они узнали о ней? Пока он недоумевал и собирался с мыслями, кто-то ответил за него, тогда они спросили еще что-то у того, кто ответил, и уже тот снова отвечал, а Крылов еще переваривал его первый ответ и не мог уследить, о чем они говорят. Они спрашивали и сами отвечали, и он отставал от них все дальше и дальше. словно вспомнив о нем, а скорее ради потехи, они попросили его объяснить механизм переноса зарядов. Он несколько опомнился, принялся рассказывать, но тут же кто-то вежливо указал неточность и доказал необходимость введения поправки. Крылов вынужден был согласиться, попробовал идти дальше, но из поправки следовала другая, его уже не отпускали, перекидывали от

одного к другому, не позволяя вернуться к своему выводу. Он чувствовал, что куда-то летит в сторону, и ничего не мог поделывать; там, где заряды отталкивались, там они стали притягиваться, плюс превращался в минус, и он не заметил, как пришел к полному абсурду, доказал совсем обратное тому, что у него должно было получиться. Он был игрушкой в их руках. За какие-то полчаса они распотрошили теорию, которую он вынашивал полгода, увидели там то, чего он до сих пор не мог понять, обогнали его, вволю натешились, а он стоял и моргал глазами, даже не в силах участвовать в их споре. Невежество было бы еще с полбеды, самое унижительное заключалось в том, как медленно, тупо он соображал. Ржавые колеса, скрипя, еле поворачивались в его мозгу.

Впервые он понял, что такое настоящие таланты. Они казались ему великанами, сонмом богов. С виду они ничем не отличались от обычных людей: помятые рубашки, засученные рукава, студенческие выражения — «потрепаться», «влипнуть», «мура»; там были ребята его возраста — растрепанные, насмешливые; они курили те же болгарские сигареты, сидели верхом на стульях, но при этом перекидывались фразами, расстояние между смыслами которых Крылову потребовалось бы преодолеть часами напряженных раздумий.

Он попал на Олимп. Бессмертные боги смеялись над ним, и он не мог обижаться, — разве можно обижаться на богов? Перед ними можно лишь чувствовать собственное ничтожество.

Юпитером среди них был Данкевич, боги звали его просто Дан, и он разрешал им: вероятно, среди богов все возможно.

Отныне Крылов принадлежал им.

— Нонсенс, — сказал Данкевич. — Разве мы вам ничего не доказали?

— Доказали, — сказал Крылов.

— Что именно?

Требовалось усилие, чтобы смотреть прямо в неправдоподобно черные, блестящие глаза Данкевича.

— Что я тупица, невежда, ничего не знаю.

— Незнание и невежество — вещи разные. Незнание начинается после науки, невежество — до нее. У вас

болезнь серьезней: ваш мозг заражен невежественными идеями.

— Совершенно верно, — сказал Крылов.

— Наука — это не самодеятельность.

— Да, — сказал Крылов.

— Нам некуда деваться от молодых гениев, считающих себя Эйнштейнами и Резерфордами. Все они создают новую картину Вселенной. Физика стала слишком модной наукой. В данный момент у меня нет свободного места научного сотрудника.

— Я согласен лаборантом.

— И на лаборанта нет вакансии.

— Я уже взял расчет, — сказал Крылов.

Тонкий, гибкий Данкевич выпрямился, как лезвие.

— На меня такие штучки не действуют. Возвращайтесь на завод. Там ваши идеи не опасны, а дело вы делаете.

— Я не вернусь.

На узком нервном лице Данкевича мелькнула и мгновенно пропала насмешливая улыбка.

— Однако... Самое решительное начало ничего не значит без конца. Разумеется, вы не сомневались, что я жду не дождусь вашего прихода. Что ж вы будете делать?

— Я буду у вас работать.

Данкевич посмотрел на него с любопытством:

— Интересно, каким образом?

Однажды, приехав к Данкевичу со своим шефом профессором Чистяковым, Тулин увидел из окна кабинета Крылова. Вместе с рабочими он сгружал во дворе ящики с грузовика. Тулин попросил разрешения выйти и побежал вниз. Крылов улыбался как ни в чем не бывало — он устроился слесарем в институтскую мастерскую. Дальше будет видно. Он взвалил на спину ящик и, пригибаясь, понес к складу. Тулин шел рядом с ним.

— Хочешь, я поговорю с Чистяковым и устрою тебя к нам?

— Нет, я буду работать здесь, — сказал Крылов.

— Упорство непризнанного самородка. Ах, как красиво! Давай, давай вкалывай, получишь пятый разряд, Данкевич будет рыдать от умиления.

Крылов сбросил ящик.

— Не триви. Я тебя ни о чем не прошу. Оставь меня в покое. Чего ты меня равняешь к себе? Единственное, что у меня есть, — это желание работать здесь, и если я уйду, тогда мне хана.

— Думаешь растрогать этих прохиндеев? На меньшее, чем Данкевич, ты не согласен? Думаешь, у него ты станешь гением?

Крылов взял его за руку и повел в комнату, где по средам происходили семинары физиков, ничем не примечательную комнату, пропахшую куревом, с двумя рыжими досками и маленькой кафедрой, на которой он когда-то осрамился.

— Я должен здесь выступить, — сказал Крылов.

— А конференц-зал Академии наук тебя не устраивает?

— Нет, — совершенно серьезно сказал Крылов. — Я выступлю здесь, а они будут слушать меня.

— Мечта идиота, — сказал Тулин. — Разве так становятся ученым!

На следующий день Крылов столкнулся с Данкевичем в коридоре.

— Послушайте, как вас там, — сердито окликнул его Данкевич. — На что вы надеетесь? Переупрямить меня? Напрасная затея.

Крылов почувствовал, как щеки становятся холодными.

— Ладно, я уйду. Мне больше нечем было доказать вам... Можете радоваться. Подумать только, кого вы одолели! — Он вдруг услышал злость и грубость своих слов и понял, что погиб. Он стоял перед Юпитером, перед самим Данкевичем, но именно потому, что он боготворил этого человека, он обязан был сказать ему все. С каждым словом ему становилось холоднее. Когда он вернулся в мастерскую, его бил озноб.

Он подал заявление о расчете. В тот же день ему вернули заявление с резолюцией Данкевича: «Назначить старшим лаборантом в лабораторию Аникеева».

Требования Аникеева были просты и невероятны. Экспериментатор должен:

1. Быть достаточно ленивым. Чтобы не делать лишнего, не ковыряться в мелочах.

2. Поменьше читать. Те, кто много читает, отвыкают самостоятельно мыслить.

3. Быть непоследовательным, чтобы, не упуская цели, интересоваться и замечать побочные эффекты.

И вообще поменьше фантазии и «великих идей».

Лаборатория — две комнаты, двое научных работников, третий сам Аникеев. Крылов работает у него. Лаборатория исследует процессы электризации.

За целый день произносится несколько фраз. Замеры, подсчеты, снова замеры... Так изо дня в день, недели, месяцы. Хорошо! Никто не мешает думать. Приборы, мерцающие экраны осциллографов, мерное постукивание вакуумного насоса. Чуть поглубже вакуум, теперь добавим газа. Разряд. Замерим. Введем в схему детектор. Не подходит. Надо его приспособить. Замеры, подсчеты. Сережа, выясните погрешности. Замеры, подсчеты. Готово, начинаем снова. Замеры, подсчеты. Откуда скачок? Повторите. Замеры. Снова скачок. Странно. Вероятно, где-то наводка. Все проверить, заэкранировать, компенсировать. Опять скачок. Откуда он берется? Почему такой скачок именно при этой концентрации?

Все останавливается. Больше нечего мерить, нечего подсчитывать. Слава богу, кончены проклятые измерения. Что мне делать? Отстаньте, не суйтесь, идите к черту, в столовую, в библиотеку, к дьяволу.

Откуда же этот скачок? Аникеев молчит. Неужели и боги могут чего-то не понимать? Экран не светится, стрелки лежат на нуле. Тишина. Дни, заполненные тягостным молчанием. Рядом измеряют, подсчитывают. Как хорошо, когда можно замерять и подсчитывать. А что, если тут паразитные токи? Чушь, откуда им тут... А если от поля земли? Попробуем? Мама родная, конечно, это паразитные токи. Аникеев — гений. Он самый настоящий гений, он маг, чародей, обыкновенный маг! Вот они, паразитные токи. Ну что за прелесть эти паразитики! Но как их устранить?

— Сережа, давайте повесим вот такой виток. Подсчитайте.

Ура, опять считаем, опять можно щелкнуть выключателем, и мертвая груда приборов оживает.

— Хотел бы я знать, какого черта вы загнули эту кривую вниз?

— Я экстраполировал ее по расчетам Брекли..

— Кто такой Брекли?

— Но вы же сами... Еще в прошлом году его статья была...

— Ну и что из того?

— Так ведь там написано...

— Мало ли что печатают! До каких пор вы будете верить всему, что печатают! Что у вас, голова или этажерка?

— Но Брекли — теоретик, классик!

— А вы, Крылов, классический идиот. Ваш Брекли не может отличить вольтметр от патефона. Мне нужны измерения, а не труха этой старой задницы. Классиков надо было учить в институте. Здесь у меня нет классиков. Здесь опыт, и только опыт. И собственные мозги. Ешьте больше рыбы.

.

— Если кривая не загибается вниз — значит, расчеты Брекли неверны?

— Ну и пусть неверны. Пусть вся теория неверна. Испугались? Придется идти к теоретикам, пусть разбираются. А пока давайте отладим электронику.

Приборы показывают черт знает что, кто во что горазд. Мистика. Ничего, электроника — всегда мистика. Почему не работает, никто не знает. И никто не горюет. Так и должно быть. Через неделю схема вдруг начинает работать, и тоже никто не удивляется. Электроника! Теперь даже непонятно, как она могла не работать. Теперь можно выделять с ней самые рискованные штуки, она все равно будет работать, ее уже не заставишь не работать...

.

— Отшлифуйте пластинку германия. Не умеете? Почитесь...

.

— Труха. Так шлифовали в палеозойскую эру...

.

— Лучше, но недостаточно. . .

— Крылов, если вы экспериментатор, вы должны уметь делать все то, что нужно, и лучше всех. Иначе вам не сделать ничего нового.

— Но тогда не успеешь стать настоящим специалистом. Где тут думать о больших проблемах! Хочется устанавливать взаимосвязь явлений. . .

— Это оставьте для философов. Специалист! Я не знаю, что такое специалист. Я знаю, что такое физик. Специалист старается знать все больше о все меньшем, пока не будет знать все ни о чем. А философ узнает все меньше о все большем, пока не будет знать ничего обо всем.

Наконец через две недели он отделал пластинку не хуже любого шлифовальщика.

— Нормально, — пробурчал Аникеев.

Они установили пластинку перед излучателем. Опыт продолжался двадцать минут. В итоге — табличка из пяти цифр. А через два дня оказалось, что гипотеза не оправдалась, и таблица вместе с пластинкой отправилась в нижний ящик стола. Аникеев подмигнул Крылову:

— Такова жизнь экспериментатора.

Этот человек презирал трудности. Всякие мелкие неудачи, неприятности, ошибки, зря потраченное время — всего этого не стоило даже замечать. Достойны уважения и, следовательно, огорчения были настоящие неудачи, тупики, куда загонял их ход исследований.

Аникеев был настоящим, прирожденным экспериментатором. Достаточно было посмотреть, как движутся его руки с мягкими, гибкими, как у ребенка, пальцами, регулирующая прибор или натягивая кварцевую нить.

Рассказывали, что еще до войны, как-то будучи во Франции, он шутки ради поспорил с представителем фирмы сейфов, что вскрыет за полчаса любой из сейфов. И вскрыл. Полиция задержала его и попросила немедленно покинуть страну. Когда у Аникеева спрашивали, правда ли это, он только посмеивался: «Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным».

Он действительно никогда не распространялся о себе, но имя Аникеева, одного из крупнейших физиков, было окружено легендами, тем более многочисленными, чем менее знали о нем.

После войны Аникеева назначили одним из руководителей Проблемы — так называлась тогда работа над атомной бомбой. Ему подчинялась группа институтов и заводов.

Он связывался непосредственно с министрами. Великолепно зная себе цену, он держался независимо и делал так, как считал нужным, не считаясь ни с чьими распоряжениями, даже с указаниями Берия. Безграмотные, порой губительные вмешательства Берия выводили Аникеева из себя. Согласно одной из легенд, выслушав очередное крикливое поучение, Аникеев не выдержал и сказал: «Я ваших трудов по физике не читал. И вы моих тоже. Однако по разным причинам». — «Я тебе покажу физику, ты у меня увидишь физику», — сказал Берия.

Аникеев тут же написал письмо в ЦК, требуя оградить Проблему от невежественного хозяйничанья Берия. В те времена подобный вызов был равносителен самоубийству.

От немедленной расправы Аникеева спасло то, что он был слишком известен и нужен. Все же по приказу Берия его отстранили от Проблемы и перевели на Север, в педагогический институт. Атомники доказывали, что без Аникеева нельзя, особенно сейчас, в период пуска объектов. Все было напрасно.

Его друг Лихов, который должен был принять дела, сказал ему с горечью:

— Я же тебя предупреждал, вот тебе и вся награда за твое правдолюбие. Чего ты добился? Только делу повредил.

— Дело не пострадает, — сказал Аникеев. — Я не уеду, пока не пустим объекты.

Со своим шальным характером он остался, живя чуть ли не на нелегальном положении, продолжал руководить пусковыми работами. На этот раз он действительно рисковал головой. Начальство делало вид, что не замечает его присутствия. После того как объекты были успешно пущены, он уехал на Север.

Научной работы в те годы там не велось, оборудова-

ния не было. На свои деньги Аникеев смастерил себе кое-какую аппаратуру и занялся исследованием природы запахов. Он засовывал себе в нос специальные ампулы, иногда доводя себя этими жестокими опытами до обмороков.

Он принадлежал к редкому, счастливому типу ученых, для которых все, за что бы они ни брались, становится объектом науки.

Ему предлагали писать учебники, монографии. Он отказывался. Вместо этого время от времени в журналах появлялись маленькие статьи, вернее заметки, на две-три странички.

— Чем тщательней выполнена работа, тем меньше о ней приходится писать, — утверждал Аникеев.

Сразу после разоблачения Берия Аникеева вызвали в Москву. К тому времени Лихов уже стал академиком, получил множество наград и ведал целым управлением. Он предложил Аникееву возглавить один из институтов. Аникеев отказался. Лихов пробовал его уговорить — хотя бы на должность начальника отдела.

— Не интересуюсь, — сказал Аникеев, — давай лабораторию, и то маленькую, не больше четырех сотрудников.

Лихов задумался.

— Не слишком ли ты самоуверен? — сказал он.

Аникеев пожал плечами.

— Посмотрим.

— Я бы не решился сейчас взять лабораторию, — сказал Лихов.

Аникеев оглядел роскошный, огромный кабинет.

— Жалко?

— Страшно. В лаборатории нет ни академика, ни лаборанта. Там только талантливый экспериментатор — или плохой.

— Да, здесь иной масштаб.

— Да, здесь я академик.

Прощаясь, Лихов сказал:

— Наверное, ты прав... Иногда мне самому снится зайчик гальванометра. Никак не установить его на ноль. Сны административного физика. А потом я просыпаюсь и долго убеждаю себя, что на этом месте тоже должен сидеть ученый. Что мне нужны масштабы. И еду в эту контору.

Лаборатория Аникеева была на особом положении — так он поставил дело.

Он организовал себе отдельную мастерскую, раздобыл два станка, нанял механика и раз навсегда избавился от всякой зависимости. Тертые, все перевидавшие снабженцы выполняли его заявки вне очереди. Иначе он обрушивался на них на первом же совещании, обращался в партком, дирекцию, главк, стенгазету. Для него не существовало препятствий. Он шел, как танк, все подминая, беспощадный и неумолимый, грохоча и ругаясь. От своих помощников он требовал безусловной исполнительности. «Идей у меня самого девать некуда, — предупреждал он, — хватит на вас всех. Мне нужны люди, которые делают то, что мне надо».

Крылов прощал ему все, переполненный счастьем оттого, что наконец мечта исполнилась. Ослепительных открытий в ближайшие месяцы не предвиделось, угодить Аникееву было нелегко, каждый день выяснялось, что Крылов не умеет паять, печатать на машинке, ладить со стеклодувом или что-либо в этом роде. Но спустя пять минут после очередного разноса Аникеева в глазах Крылова опять проступала блаженная ухмылка. Счастье так и сочилось из него. Оттого, что на него кричит сам Аникеев. Оттого, что в таблицах растут столбцы чисел, добытых им, Крыловым. Оттого, что винегрет в институтском буфете самый вкусный из всех винегретов. . .

Он купил себе шляпу со шнурком. Серый костюм с широкими плечами и широкими брюками вышел из моды, но теперь это не имело никакого значения. То, что он работал у Аникеева, подняло его даже в глазах Тулина. Они снова встречались. Тулин познакомил его со своими друзьями.

Почти все они стали уже кандидатами наук или аспирантами. Крылов — единственный среди них был лаборантом. Это были веселые, смешливые парни.

По субботам приглашали девушек в кафе «Север» или Дом ученых, щеголяли узкими брюками, пестрыми рубашками: нравилось, когда их принимали за стилияг, — ворчите, негодуйте. Девицы дразнили чинных дам из Дома ученых своими туго обтянутыми юбками со скандальными разрезами. Под мотив узаконенных фоксов сороковых годов выдавали такую «трясучку», что старички только моргали.

Из Дома ученых отправлялись к кому-нибудь, чаще всего к Тулину, который жил с матерью и тетками в большой петербургской квартире на Фонтанке, тянули вино, распевали блатные песенки, яростно обсуждали музыку будущего, живопись Пикассо. Слушали записанный на магнитофоне ультрасовременный джаз, но неизбежно к полуночи оказывалось, что они спорят о взаимоотношении микро- и макромира, радиоастрономии, кибернетике, о вещах, которые занимали тогда всех — и дилетантов и специалистов.

Для них были открытием только что переизданные рассказы Бабеля, очерки Кольцова; появились стихи Цветаевой, публиковали архивные документы. Больше всего увлекала возможность научно осмыслить происходящие перемены, и они горячо и самоуверенно перестраивали этот несовершенный мир. Вместе с Лангмюром, Нильсом Бором, Курчатовым и Капицей они владели важнейшей специальностью эпохи, от них, полагали они, зависит будущее человечества, они были его пророками, благодетелями, освободителями.

У всех у них были блестящие перспективы, незаурядные способности (двое были талантливыми, трое одаренными, остальные гениями), они подавали надежды, составляли «цвет» научной молодежи, служили примером и грозили «перевернуть». Они были возмутительно молоды (на каждого приходилось в среднем 0,25 жены и 0,16 детей), зато средний теннисный разряд доходил до трех с половиной, зимой они ходили на лыжах, летом говорили, что презирают футбол. Они могли стерпеть любое обвинение в невежестве, но смертельно обиделись бы, если кто-нибудь усомнился бы в их умении плавать с аквалангом. Все они печатали статьи в физических журналах, подрабатывали в реферативном журнале. Тех академиков, которых они обожали, они звали Борода, Кентавр, Шкилет, остальных считали склеротиками. Они всячески старались показать, что им нравится то, что бранят или осуждают. Яростно защищали экспрессионистов, но никто из них толком не знал, что это такое. Они нахваливали конкретную музыку и в то же время аккуратно ходили в Филармонию, стояли в очереди на концерты приезжих знаменитостей и восторгались Бахом. А когда под Новосибирском начали создавать филиал Академии наук, они первые подали заявления. Тулин был

в отчаянии от того, что его не пустили, и долго еще завидовал друзьям, которые писали оттуда письма о бараке в лесу с экспериментальной трубой, о новом их мире Лаврентьеве, который мерз вместе с ними в дощатом коттедже, пока строился будущий город науки.

Крылов возвращался домой по ночным улицам, и голова его кружилась, она задевала облака, и он слышал скрежет миров, которые сталкивались и гибли в безднах космоса.

Галактика неслась сквозь бесконечность, имеющую кривизну, сжималась и вновь расширялась пульсирующая Вселенная. А на крохотной планете Земля, зачем-то разгороженной границами, обыватели копошились в сотах своих жилищ, ничего не слыша, не видя.

Он чувствовал себя Гулливером.

Когда кончался рабочий день, он, выходя из лаборатории, как будто спускался в прошлое, к странным людям, которые еще ездили в трамваях и топили печки дровами.

Он возвращался к ним из будущего, посланец далеких миров.

Эй вы, люди! Знаете ли вы, что вас ждет?

А я знаю! Я только что оттуда! Я помогал делать будущее для вас!

Мог ли его всерьез огорчить кухонный чад, проникающий в комнатку, которую он снимал у старого чудака библиофила!

Временное пристанище брэнного тела. Дух его витал в лаборатории. Что значили по сравнению с этим все житейские мелочи!

Однако стоило ему вступить в облицованный мрамором вестибюль института, он сам превращался в лилипута.

На втором этаже в большой, классного вида комнате собирались теоретики. Рядом помещалась каморка — хранилище каталогов. Крылов забирался туда и, приоткрыв низенькую дверцу, слушал, как теоретики «трепались». Свои семинары они так и называли «трёп». Официальное наименование «семинар» совсем не подходило к этому шумному сборищу, где все серьезное перемежалось шутками и, пока писали формулы, рассказывали анекдоты.

Проблемы, которые здесь обсуждались, требовали такого напряжения ума, что постоянная разрядка была необходима.

Со стороны эти сборища теоретиков выглядели беспечной, веселой болтовней отдыхающих. Впрочем, и весь их рабочий день любому постороннему показался бы более чем странным. Молодой, здоровый парень появляется в институте в десять, а то и в одиннадцать утра, слоняется по лабораториям, зайдет в библиотеку, перелистает журналы, побалагурит в коридоре с девушками. Изредка его можно увидеть за столом — что-то он пишет либо сидит, бессмысленно закатив глаза в потолок. Остальное время — болтовня с себе подобными шалопаями. И это считалось работой!

Но Крылова, который знал всякую работу, ничто так не изматывало, как часы, проведенные в хранилище, когда он подслушивал «треп» теоретиков. Голова лопалась, и мозги трещали.

— ...Если частицы имеют структуру, значит у них может быть квадрупольный момент...

— Томас и Швангер показали...

— К черту Швангера!

— Рассмотрим лучше случай частиц с квадрупольным моментом, равным нулю...

Стучал мел по доске. Синие лохмы дыма вылезали из дверей.

— Но Томас и Швангер дают для магнитного момента...

— К черту, десять в одиннадцатой не бывает! Это же натяжка, обман.

— Цыпочка, вернейший способ быть обманутым — считать себя хитрее других. Поэтому возьмем десять в одиннадцатой...

Он слышал, как в этой кухне из гущи фактов вываривается Истина. Отсюда она начинала долгий путь, облекаясь в формулы сперва громоздкие и неуверенные, которые следовало уточнять, проверять во всевозможных камерах, и ловушках, и умножителях, а для этого надо было придумывать аппаратуру, и разрабатывать методику, и строить эту дорогую аппаратуру, и тут вступали в действие фонды, снабженцы, друзья-приятели, телеграммы, звонки, банк, смежники, и все это ворчалю,

придиралось, подписывало и не подписывало, а тем временем механики что-то вытаскивали, посреди лаборатории что-то монтировалось, отлаживалось, определяли поправки приборов — и наконец ставились опыты, для того чтобы получить десятки, а то и сотни метров пленки и тысячи записей и фотографий. Потом все это надо было обработать, подсчитать, свести в таблицы, построить кривые, проанализировать, передать в институт электрикам, которые, конечно, не желали иметь дела с новой формулой и новыми идеями и которых приходилось уговаривать, и наконец они брались и начинали загроублять и упрощать, перекидывать от изоляционщиков к вакуумщикам, от них — конструкторам, постепенно воплощая все это в медь, стекло, электроды. И в результате получалась какая-нибудь крохотная лампа или усилитель. А через несколько лет уже тысячи таких ламп шли по конвейеру, отданные во власть цеховых технологов, мастеров, в быстрые руки девушек-монтажниц, из которых никто понятия не имел об этой скучного вида тесной комнате, откуда все началось, где зарождались истоки будущих рек, новые идеи и физические законы.

Когда теоретики уходили, Крылов осторожно вступал в опустевшую комнату, подходил к рыжей доске, испещренной уравнениями, вздыхал.

— Кто он — экспериментатор или теоретик?

Он доказывал себе, что экспериментальная работа — самое главное. Приборы — это орудия, которыми человек впервые прикасается к тайнам природы. Важно добыть факты. Идеи сменяются, факты остаются. Факты — вечная ценность.

Он медленно спускался к себе в лабораторию, покидая этот недоступный, высший мир чистой мысли, свободный от рублильников, проводов, погрешностей гальванометра.

Постепенно он начинал испытывать угнетение от властной нетерпимости Аникеева. Сила ума Аникеева подавляла, связывала. Рядом с ним думать было невозможно. Все равно, думай не думай, он заставит всех мыслить по-своему. Он насильно вколачивал свои соображения, их убедительность исключала всякие другие поиски.

На Октябрьском прослышали, что у Аникеева получают обещающие результаты по исследованию разряда. Гатенян приехал в институт, и Крылов свел его с Аникеевым. Гатенян хотел заложить аникеевскую разработку в проект новой аппаратуры для линий передач. Крылов был счастлив, что хоть чем-то может помочь своим, но Аникеев встретил главного конструктора холодно.

— Чудеса, — сказал он, — разве на вас нажимают? Делайте, как делали. У нас еще все в тумане, кто вам наболтал? — Он подозрительно взглянул на Крылова.

— Мы весь риск берем на себя, — сказал Гатенян. — Мы верим, что у вас все получится.

Аникеев раскланялся.

— Спасибо. Но вам-то что за выгода? Вы же производственники, вы должны противиться внедрению нового, а вы хватаете из рук недопеченное. Так не бывает. Это ж беспорядок.

Главный натянуто улыбнулся.

— Конечно, если у вас сорвется, получится беда, но еще бóльшая беда, если мы будем выпускать аппаратуру образца сороковых годов. — Он развернул перед Аникеевым схемы аппаратов, применявшихся на опытной линии.

Аникеев поморщился.

— Да, это, конечно, тухлятина. Но подождите, пока мы отработаем.

— Невозможно.

— Пообещай вам, так вы в полной надежде начнете перестраивать производство.

— Факт, — сказал главный. — Будем готовить участки для малых выключателей: отливку трубок наладим.

Аникеев поехал с ним на завод, вернулся оттуда расстроенным, набросился на Крылова.

— Это вы меня втянули, ну как им отказать? Как, я вас спрашиваю?

Было, конечно, страшновато. Результат, технически осуществимый, конструктивный, должен был получиться во что бы то ни стало, вопреки всем случайностям и к намеченному сроку.

— Все равно что обещать вернуть долг из кошелька, который я найду в подъезде через неделю, — бурчал Аникеев.

Крылов только посмеивался: он понимал, Аникеев в душе восхищается и главным и ребятами из КБ.

И вот тут-то Крылов имел глупость указать Аникееву на масштабную поправку. Крылов предлагал определить ее не опытным путем, а расчетом — так будет быстрее и проще.

Аникеев с непроницаемым лицом выслушал его доводы, и когда наконец Крылов замолчал, Аникеев тихо запел. Не отрываясь от окуляра прибора, он пропел «Тореадор», «Во поле березонька», «Синие ночи». Потом спросил:

— Вам известно, Крылов, кто опаснее дурака? Не знаете? Дурак с инициативой.

Сотрудник лаборатории Юрий Юрьевич, которого звали Ю-квадрат, сказал, когда Аникеев вышел:

— Сережа, никак ты разозлился? Бессмыслица. Аникеев хамит, как птица летает.

— Он хочет превратить меня в робота!

— Милый мой, еще Маяковский заметил: все мы немножко роботы.

— Посмотрим, кто кого!

Он ненавидел Аникеева. Зажимщик! Аракчеев! Солдафон! Слово «дурак» жгло его. Посмотрим, кто дурак! Втайне он вызвал Аникеева на поединок, но тут же струсил. Слишком безошибочной всегда оказывалась интуиция Аникеева. Но, раз стронувшись, лавина разрасталась. Послушно выполняя все указания, он молча спорил, выскивал слабые места, он превращался в беспощадного врага собственной работы.

Он оставался в лаборатории на вечер, приходил в шесть утра и садился за счетную машину. Но что-то ему не нравилось. Вероятно, где-то в спешке он слишком упростил условия. В решении не хватало стройности. Ему хотелось сразить Аникеева, покорить его. . .

Крылов свернул на набережную. Голова одурела от папирос и бесконечных цифр. Пропади все пропадом, в конце концов он кое-как доказал то, что хотел. Красота, стройность — это уже от лукавого.

У Петровского сквера перед мотоциклом сидела на корточках девушка.

— Эй! — крикнула она. — Помогите мне, пожалуйста.

Крылов подошел, помог снять покрывку.

— Не уходите, — сказала девушка, — а то мне без вас не надеть.

Крылов прислонился к парапету. Набережная была пустынна. Маленькая желтая луна затерялась среди фонарей. Девушка клеила порванную камеру. Кожаные штаны и шлем придавали мужскую размашистость ее крепкой фигуре.

— Чего бродите по ночам? — спросила она. — Вы что, лунатик или беспризорный?

— Лунатик.

— Модная специальность. Особенно в марте.

Крылов недоверчиво огляделся. Отовсюду сочилась вода. Город был мокрый. Капало с крыш, трубили водосточные трубы, сипели люки, на выщербленных парапетах блестели лунные лужицы. Лед на Неве истоньшал.

Был действительно конец марта. Женщины всегда в курсе подобных вещей.

Девушка поднялась, вытерла руки.

— Могу закинуть вас домой.

Они мчались по спящим улицам, разбрызгивая лужи. Мотоцикл стрелял оглушающе. Крылов крепко держался за скобу. Девушка пригнала голову, и тогда в лицо Крылову с размаху ударял влажный воздух. Во всю длину проспекта горели, меняясь, высокие огни светофоров. Машин не было, а огни вспыхивали — желтые, зеленые, красные. Жиденькой черноты небо поднималось все выше и выше над землей, поднимая с собою звезды и луну.

Она резко затормозила у его дома, и Крылов ткнулся лицом в ее плечо.

— Лихо? Напугались?

Он что-то промычал.

— О чем вы думаете?

Рассвело. На крепком, скуластом лице Крылов увидел блестящие, как будто тоже мокрые, развеселые глаза.

— Вычислял, сколько человек мы разбудили в городе.

— Сколько?

— Примерно семьдесят тысяч.

— Здорово! А кто вы такой?

— Физик.

Она с сомнением осмотрела его драный плащ и посинелый нос.

— Допустим. Значит, семьдесят тысяч. — Она, улыбаясь, уселась на мотоцикл. — Физик, вы мне понравились, потому что не лапали. Я не выношу, когда меня на мотоцикле начинают лапать.

Он невольно уставился на ее острые груди под курткой и покраснел.

— Спасибо за помощь!

Глаза ее беспрестанно улыбались, но как бы поверх этой неудержимой улыбки она улыбнулась ему еще одной улыбкой — для него.

Воодушеваясь, Крылов сдвинул шляпу на ухо, взял девушку за плечо в соответствии с лучшими традициями тулинской компании: мадемуазель, вы прелестны. Как насчет субботы? Молодой ученый на весь вечер в вашем распоряжении. Давайте телефончик...

Словом, что-то в этом роде.

Сперва она выпучила глаза, потом прыснула, и он немедленно почувствовал себя идиотом.

— Нет, серьезно, может быть, мы встретимся? — жалким голосом повторил он.

— Ну вот, начинается, всегда одно и то же. Послушайте, милый физик, это уже неинтересно.

Она стрельнула мотоциклом и укатила в туманную тишину улиц. Единственное, что осталось от нее, — черные цифры на желтой жестянке. «52-67», — уныло повторял он, снимая забрызганные до колен брюки и укладываясь на свою узкую кушетку.

Учинив тщательную проверку своим расчетам, он показал, что поправка, которой пренебрегал Аникеев, меняет на сорок процентов результаты измерений. Он обвел эти сорок процентов роскошной рамкой, под которой нарисовал герб в виде кукиша на фоне приборов, пронзенных вечным пером. До начала работы оставался час. Подложив под голову справочник, он заснул на столе Аникеева безмятежным сном победителя.

Неизвестно почему, в это утро Аникеев явился раньше сотрудников. Как бы там ни было, Крылова разбудил его рыкающий смешок, Аникеев стоял над ним, и в руках его была тетрадь с расчетами. Крылов не вскочил,

не смутился, не стал извиняться. Протерев глаза, он скромно потупился в ожидании похвал, общего ликования и сконфуженных признаний Аникеева. Следовало быть великодушным. Кто из нас не ошибался, скажет он Аникееву, не будем вспоминать прошлое... Ошибки великих людей должны быть достойны их деяний...

Дочитав тетрадь, Аникеев громко высморкался и сказал:

— Доказали.

— Кто из нас...

— Помолчите. Мне такие приткие лаборанты не нужны. Можете отправляться.

— Куда отправляться?

— А куда угодно.

Он швырнул тетрадь и ушел, не взглянув на Крылова.

— Все равно вы учтете мою поправку! — крикнул ему вдогонку Крылов.

Подобно остальным мученикам науки, он готов был взойти на костер. Собирая свои бумаги, очищая ящик, он придумывал последнюю фразу, которую следовало бы записать в лабораторный дневник. Если бы не Гоголь, его устроило бы «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!»

Через час вернулся Аникеев. Не глядя на Крылова, пробурчал, что по распоряжению директора Крылова назначают научным сотрудником и дают самостоятельную тему.

Ошеломленный Крылов, ни слова не говоря, пошел оформляться, но с полдороги вернулся к Аникееву.

— Наверно, это вы меня рекомендовали.

— Как бы не так! — сказал Аникеев. — Нашли благодетеля.

— Конечно, вы. Спасибо, знаете, я...

— Послушайте, Крылов, подберите ваши слюни и заткнитесь.

— Я боюсь брать самостоятельную тему.

— Бойтесь, тогда двигайте в счетоводы. Но, может быть, из вас что-то получится. Почему? Хотя бы потому, что мне вас ничему не удалось научить. Для меня главное — ничему не научить. Если это выходит, значит, из человека может что-то получиться.

В связи с этим событием Крылов явился к Тулину

с бутылкой коньяку. Ее хватило на пять тостов. Для шестого они, обшарив шкафчики, вылакали остатки из липких бутылок ликера и тогда со спокойной совестью отравились в ближайшую шашлычную.

Тулин заказал шашлык по-карски и соответствующим образом подмигнул обоими глазами Остапычу, после чего Остапыч принес к шашлыку две раскупоренные бутылки крющона и тоже подмигнул. Крющон был прекрасен, они крякали и закусывали крющон грибами, луком, и Крылов постепенно перестал сомневаться в своей способности вести самостоятельную тему.

— Ты становишься человекоподобным, — сказал Тулин. — Я тебя давно учил: начинай высшую нервную деятельность. Теперь ты вышел на орбиту и дуй. Нельзя терять ни минуты. Давай выпьем. И чтобы поставить себе цель. У тебя есть цель? Ты чего хочешь?

— Я хочу... я хочу того, чего я хочу!

— Точно. Это формула!

— Я сам себе хозяин. Я взрослый. Кончена молодость. Но ты мне скажи, Олег, а почему меня тянет на теорию? Все-таки теоретики — они рулевые.

— Болтуны они, твои теоретики! Что они могут перед экспериментом? Может, ты Нильс Бор? Или Ландау? То-то! Или быть всем, или идти на административную работу. А в эксперименте, знаешь, можно такую птицу за хвост ухватить! Теоретиков много. Эх, Серега, мы, брат, со своим шефом накануне такого... Тьфу, тьфу, тьфу! Открыть можно такое явление! Мы люди дела. Нам подавай живое дело. Чтобы видеть глазами, руками шупать. Вот оно тут. Пусть там схоласты рассуждают.

— Ну и пусть они рассуждают. А мы чернорабочие. Мы базис.

— Мы измерим градиент. И будь здоров и не кашляй — вся теория вверх тормашками.

— Аникеев — гений. И Дан — гений.

— А Капица нет, по-твоему? Капица, брат, еще больше гений.

— А ты, Олежка, наверное, тоже будешь гением.

— Гении устарели. Гении в науке — все равно что парусники во флоте. Романтика прошлого! Сейчас навалится скопом и решают любую проблему. Коллективное творчество, вот тебе и есть гений! Мой шеф — почти гений, а что он без нас — единица. Пусть я ноль. Я согла-

сен. По сравнению с ним я ноль. Но я тот ноль, который делает единицу десяткой.

— И я ноль!

— Я убеждаюсь, что квантовая механика зашла в тупик. Почему? Вот сидит красноносый спекулянт, пусть он нам объяснит. Де Бройль не ребенок. Если он герцог, то что же, значит, нечего с ним считаться? Нет, Серега, пусть он герцог, но квантовая механика, она неспособна...

Крылов был согласен, и они вдвоем без особого труда разгромили квантовую механику, затем навели порядок среди элементарных частиц, но, чтобы окончательно оконфузить всю школу Нильса Бора, им пришлось заказать еще бутылку, которую Остапыч доставил им уже внутрь атомного ядра. Они распили ее строго квантованными порциями, и тогда им наконец удалось раздробить электрон. К тому времени Тулин уже стал академиком и лауреатом, а Крылов защитил докторскую. Тулин выступил оппонентом. Крылов устроил банкет, они позвали всех своих знакомых девушек. Они обсуждали музыку Шостаковича, утерянные секреты фейерверков, радиоактивность крабов, женские достоинства Екатерины Второй и способы лечения рака.

Выслушав рассказ Крылова о девушке на мотоцикле, Тулин решил, что они обязаны во что бы то ни стало разыскать ее, и потащил Крылова в отделение милиции. Когда их оттуда выставили, они отправились в ГАИ, и Тулин вдохновенно описал потрясенным инспекторам, как его друга у него на глазах переехала девушка на мотоцикле «52-67». Она не просто переехала, она ездил по распластанному Крылову взад-вперед и при этом кричала, что никакая инспекция ей не страшна. Он клялся и божился, что все это святая правда, готов был подписать любые протоколы, показывал на Крылова, кроткого и беспомощного, и вконец поразил инспекторов, сообщив им о том, что они с Крыловым находятся накануне величайшего открытия в физике.

Выпили? Да, они вынуждены были выпить, чтобы как-то прийти в себя после катастрофы. Со слезами на глазах он снова начинал описывать нападение мотоцикла «52-67», приводя ужасающие подробности.

Их провели в отделение, сняли показания, но когда дело дошло до адреса, то Тулин никак не мог вспомнить

улицу, на которой он живет, он позвонил профессору Чистякову, чтобы узнать свой адрес. Потом Чистяков о чем-то говорил с дежурным инспектором, но это уже было неинтересно, так как Тулин и Крылов выяснили, что Аникеев — более великий ученый, чем Чистяков, ибо Аникеев носит подтяжки.

Следующие три часа они провели в обществе трех пьяных шоферов и одного лихого карманника, который никогда не читал Фрейда. Они отлично поговорили с ним о гипнозе и снах, но некоторые положения доказать не удалось, потому что их повели к дежурному знакомить с владелицей мотоцикла «52-67». Ее звали Лена — Елена Николаевна Бельская. Дальнейшие события заняли не больше пяти минут. Гражданин Крылов, глядя в желтые от бешенства глаза гражданки Бельской, со вздохом признался, что никаких телесных повреждений он не получил и все его показания были вызваны желанием увидеть гражданку Бельскую, к каковой никаких претензий он не имеет. Гражданка Бельская сперва потребовала передать дело на гражданина Крылова в суд, считая достаточным три года исправительно-трудовых работ, но вскоре уменьшила срок до пятнадцати суток. Гражданин Тулин и вышеуказанный Крылов были оштрафованы на пятьдесят рублей каждый. Кроме того, учитывая состояние опьянения и отсутствие денег и документов, гражданин Крылов был задержан в дежурной камере для выяснения личности.

Утром Крылов вышел на улицу, содрогаясь от головной боли. У подъезда на мотоцикле сидела гражданка Бельская и улыбалась.

— Эй вы, задрипанный донжуан, — сказала она, — давайте я вас подвезу.

Она привезла его домой, напоила крепким чаем и при этом так улыбалась, что он полетел в институт, задев проехавших белоснежными крыльями.

Ему дали проверить распределение объемных зарядов. Ему передали целую установку. Ему дали собственный стол, собственный шкаф. Он сидел на высоком табурете, окруженный приборами, включал, выключал, настраивал, сам себе хозяин, кум королю. Что еще нужно для счастья? Говорят, времена ученых-одинок прошли.

Ничего подобного, он работал один, не чувствуя никакого одиночества. Он обсуждал свои проблемы с Лангмюром, Нильсом Бором, Штарком и еще двумя десятками причастных к его работе стариков. Подобралась отличная компания спорщиков и советчиков, правда, чем дальше, тем чаще они разводили руками и отмалчивались.

После первых измерений ему показалось, что картина распределения получится слишком грубой. Он решил уточнить методику. Перебрал несколько сортов нитей подвески. Поставил сверхчувствительный гальванометр. Затем ему пришло в голову автоматически стабилизировать температуру прибора. Учесть искажающее влияние трансформатора...

— Почему вы не учитываете полярных сияний? Заряды kota у сторожихи? — спросил его Аникеев. — Вы больны. Болезнь называется «немогуостановиться». Научитесь себя ограничивать. Получили примерную величину и двигайте дальше. Искать истину в последней инстанции — зряшный труд. И существует ли она, эта последняя инстанция?

Не будь Аникеева, он бы совсем запутался. Чего стоила ему одна лишь битва с компенсатором! Они не поладили с первой минуты — Крылов и компенсатор. Издеваясь над всеми законами, компенсатор показывал что ему вздумается. Крылов наклонял его, менял лампы, свирепея, тыкал карандашом в подвеску, пока компенсатор не взбесился. Они возненавидели друг друга. Теперь компенсатор назло показывал все наоборот. Крылов разобрал его до винтика, снова собрал; тогда компенсатор пустился на подлость, он прикидывался исправным, но в разгар измерений показывал невесть что, путая все данные.

Пришел Аникеев, ни слова не говоря, примерился и хрястнул панель своим кулачищем так, что компенсатор сразу присмирел и заработал, как будто ничего не было.

Аникеев одолжил импульсный генератор. Аникеев помог найти одну из сорока возможных причин погрешностей. Словно вынюхивая, Аникеев водил по шкалам висячим носом, и его лицо с большой обезьяньей челюстью казалось Крылову воплощением доброты и братства.

Крылов завидовал ему мучительно, стыдно. Чтобы стать мало-мальски приличным экспериментатором, ему не хватало терпения возиться с приборами, характера для войны с механизмом, умения хитрить с начальством, ладить со стеклодувом, недоверия к справочникам, юмора, фантазии, мягкости, твердости, смелости, осторожности... Постепенно выяснялось, что он не умеет работать с вакуумом, ругаться, переводить с итальянского, составлять библиографию. Хуже всего было то, что в институте все от него чего-то ждали.

Его стычки с Аникеевым, назначение были приняты как свидетельство необычного характера. Его робость считали скромностью, замкнутость — сосредоточенностью и даже неумелость оценивали как свежесть ума.

Он чувствовал себя авантюристом, шарлатаном, обманщиком, которого в любую минуту могут разоблачить. Особенно страшен был для него Данкевич. Он старался не попадаться ему на глаза и семинары, на которых выступал Данкевич, подслушивал из хранилища.

Те, кто хотел работать у Данкевича, должны были сдать минимум. Так называемый Дан-минимум, или дань-минимум: комплекс задач и вопросов, придуманных самим Данкевичем. Никаких официальных званий или дипломов за сдачу минимума не полагалось, не выставлялось отметок, ничего нигде не отмечалось, и тем не менее каждый электрофизик считал честью выдержать этот добровольный экзамен.

Данкевичу было все равно, кто перед ним — доктор наук или молодой инженер, — никому никаких льгот. Такое отношение многим маститым не нравилось, но Данкевич не обращал на это внимания.

Молодежь обожала его. Вечно за ним таскался хвост поклонников, подхватывая на лету его замечания, изречения. На семинарах ему принадлежало решающее слово. Не по старшинству, а в силу его редчайшей способности предельно упрощать любую запутанную проблему. И так как эта простейшая модель или идея возникла перед ним раньше, чем перед другими, то если посреди доклада он говорил: «Мура!» — все знали, что ничего не получится.

В чем секрет таланта Данкевича? Были математики способнее его, были физики, которые знали больше, чем он... Аникеев отвечал на это с улыбкой:

— Очень просто. Дан видит все немножко иначе, чем мы, вот и вся хитрость.

Город, как все большие города, не был оборудован для любви. Повсюду ходили люди, повсюду дул холодный ветер. Сады стояли закрытыми. На мягких от сырости бульварных скамейках сидели старики и няньки. В комнату Крылова сквозь фанерную перегородку доносились каждое слово, каждый шорох.

Из века в век *он* и *она* искали уединения и приюта и не находили. Им приходилось удаляться на луну, на самые дальние созвездия или, когда удавалось купить билеты, в кино. Там темнота укрывала их от всего мира. Там не было ни лиц, ни глаз, только сплетенные пальцы.

Потертая беличья шубка почти не грела. Лена выглядела грустной, усталой, совсем непохожей на ту, с которой он познакомился. Она была ниже его на полголовы, ему хотелось согреть ее, взять на руки.

Они садились в последний ряд, грызли вафли и болтали всякую ерунду. Не будь между ними глупого подлокотника, они чувствовали бы себя совершенно отлично. Не надо было стараться умничать, он говорил что вздумается и мог вести себя свободно, и все же он не решался взять ее маленькую шершавую руку, прижать к щеке, и эта робость была особенно приятна. На экране страдали, произносили какие-то красивые слова, вздыхали. Лена тихонько посмеивалась: дребедень, — и сразу картина превращалась в пародию. Но бывало и так, что Лена усаживала его на место героя в автомобиль, и они неслись по горным дорогам к морю, не обращая внимания на злодея-помещика, оставались вдвоем в охотничьем домике, уписывая огромные окорока перед камином...

— Хочу есть, — заявляла Лена.

Крылов предлагал пойти в ресторан.

— Послушайте, физик, — говорила она. — Не пижоньте. Вам это не идет.

Они покупали горячие пирожки и съедали их тут же, в «Гастрономе», запивая томатным соком.

Крылов провожал ее домой. Небо было полно звезд. Ему пришла в голову странная мысль. Он преподнес ее Лене, как преподносят цветок. Никогда раньше он не раздумывал о подобных вещах.

— Не правда ли, интересно, что мы видим Вселенную не такой, какая она есть, а молодой, какой она была

много лет назад? Может быть, и этих звезд уже давно нет. Нас окружает прошлое, настоящее — это только мы. . . А если с дальних планет смотрят на нас, то и они нас не видят. Они могут видеть Октябрьскую революцию. Или как Пушкин едет на дуэль. Какое-нибудь утро стрелецкой казни.

Лена остановилась, поднялась на цыпочки, притянула его голову и поцеловала. Он невольно оглянулся на прохожих, но тотчас устыдился этого движения и сам поцеловал ее в солоноватые, пахнущие томатным соком губы.

— Я бы пригласила тебя к себе, — сказала она, спокойно перейдя на ты. — Но понимаешь, мамаша, сестренки — не та обстановочка.

Быстрая теплая весна помогала им изо всех сил. Когда темнело, они перелезали через решетку Летнего сада и, прячась от сторожа, носились по хрустким, исчерканным тенями аллеям.

Зеленый свет стекал с мраморных плеч богинь. Их белые обнаженные руки слегка просвечивали. Богини были прекрасны, Лена замирала, в восторге задрав голову, зубы ее блестели, а Крылов думал, что самое великое искусство бессильно перед теплом ее жесткой руки, что эта курносая скуластая девушка куда большее чудо, чем все мраморные красавицы.

Лена работала на кинофабрике помощником оператора. Она знала художников, композиторов, запросто командовала знаменитыми артистами, — таинственный, незнакомый мир, перед которым Крылов чувствовал себя вахлаком, бесцветным и скучным.

Как ни странно, она словно не замечала своего превосходства, тяготилась его расспросами, но и его дела нисколько ее не занимали, ей доставляло удовольствие болтаться по городу, носиться на мотоцикле, вступать в уличные происшествия, грустить, озорничать. Она словно вырывалась на волю и затевала шумную, неумолимую игру, умея извлекать отовсюду удовольствие.

— Сегодня самый счастливый день в моей жизни, — заявляла она.

— Позавчера ты говорила то же самое.

— Позавчера уже нету. И завтра нету. Есть сегодня. И надо прожить его так, чтобы оно было самым счастливым.

Она никак не покушалась на его время. Когда он однажды задумался и начал заносить в блокнот какую-то схемку, Лена незаметно исчезла. Без всякой обиды. С тех пор она только предупреждала: «Если тебе надо заниматься, ты не стесняйся. Хуже нет, когда парень таскается по обязанности». Его это устраивало и тревожило. С такой же легкостью она вообще могла вдруг исчезнуть.

Чем-то она напоминала ему Тулина. Легкостью? Жизнелюбием? Непонятно, почему она относилась к Тулину равнодушно.

— Наверно, мы слишком одинаковы. Это всегда скучно, — ответила она и, прищурясь, оглядела его новый галстук, разрисованный пальмами. — Чего ты стилиаешь? Лучше бы купил себе ботинки.

Он было огорчился, но Лена обняла его за шею.

— Чудик! Ты мне понравился таким, и нечего пыжиться. Все равно Тулина тебе не переплюнуть. Ты из породы лопухов.

Она твердо установила товарищеский порядок — когда у него не было денег, платила она, и никаких церемоний. Откровенная наотмашь, она презирала условности. Вначале это коробило его.

— ...Таскался за мной один парень. Ужасный интеллигент. Однажды гуляли мы долго, я смотрю, чего-то он жмется, потеет. «Может, тебе в уборную надо?» — спрашиваю его. Так он на меня обиделся. Стыдить начал и все жует какую-то резину насчет сюрреалистов. Наконец вижу — заговаривается. Отпустила я его. А он как дунет в первую подворотню! Вот тебе и сюрреалисты! У меня, значит, грубость, низменное восприятие, а то, что он три часа ходит со мной и только думает про подворотню, — это поэзия, рыцарство.

В ее веселом вызове условностям было и нечто серьезное. Как-то она призналась:

— От красивых слов у меня оскомина. Представляешь, целый день репетируем всякие фразы. Сперва режиссер, за ним помощник, затем звукооператор, потом артисты — все повторяют, добиваются естественности. Слышать не могу! Выругаешься — и вроде горло прочистила. Такие правильные слова, как уже кем-то обсосанные карамельки в рот кладут. А ведь когда-то они были чистые и хорошие, эти слова, и, наверное, волновали.

В тот год весна двигалась с юга со скоростью семи-десяти километров в сутки. Ее стремительный шаг подгонял Крылова. Работа вдруг покатила быстро и легко, как со склона. На столе появились пачки фотографий для отчета. В журнале «Техническая физика» опубликовали его статью. Крылов подарил оттиск Лене.

Запинаясь на каждом слове, она попробовала читать: «Релаксация... флуктуация... Конфигурационное пространство». Кошмар какой-то, неужто он все это знает? Она посмотрела на него с восхищением, словно впервые увидев. Так, значит, он настоящий физик? Признаться, она подозревала, что он заливает ей, в лучшем случае лаборант или механик.

Она потащила его на вечер в Дом кино и гордо представляла своим знакомым: физик! Бойкие, языкастые красавцы разговаривали с Леной о каких-то павильонах, сценариях, вырезанных кадрах, весело ругали какого-то режиссера, называя его «подлецом запаса», и Крылов глухо ревновал Лену, уверенный, что каждый из этих пижонов должен казаться Лене куда интереснее его, и не понимал, зачем же она возится с ним, зачем он ей.

Внезапно издали, поверх толпы, гуляющей по фойе, он увидел взлохмаченную, тронутую сединой шевелюру.

— Смотрите, смотрите, Данкевич! — восторженно зашептал он.

Кто-то обернулся, кто-то протянул:

— А-а-а!

Молодой режиссер спросил:

— Это что за птица?

— Как, вы не знаете Данкевича? — изумился Крылов.

Вьяснилось, что никто понятия не имел о Данкевиче. Молодой режиссер, блистая эрудицией, составил дикую крошку из Эйнштейна, Ферми, Денисова, атомной бомбы, античастиц и Тунгусского метеорита.

Крылов был потрясен. При чем тут античастицы? При чем тут Денисов? Знать Денисова и не знать Данкевича! Почему никто не видит сияющего нимба вокруг головы Дана? Люди должны расступаться и кланяться. Среди нас идет гений, человечество получило от него куда больше, чем от всех этих кинодеятелей, вместе взятых.

— По-твоему, мы должны носить его портреты на демонстрациях? — сказала Лена.

— Может быть. Это справедливей, чем продавать фотографии киноартистов у каждого газетчика.

— Что он сделал, ваш Дан? — спросил режиссер.

— О, Дан! — восторженно воскликнул Крылов. — О! Дан! — Он перечислил несколько работ. Маленькие статьи по пять-десять страниц.

— И только! Но это же вроде твоей, — сказала Лена.

Крылов рассвирепел:

— У меня тоже два уха, ну и что же с того? Он гений, а я ничто. — И он закатил им такую речь про Дана, что все притихли.

По дороге в зал Лена шепнула:

— Ты был великолепен! Но все же у твоего Дана шея как у ошипанного гуся.

Они чуть не разругались. Вышучивать великих людей легко, но от этого сам не становишься выше. Зато некоторые восхваляют великих людей, чтобы просиять в их свете. Зато другие... Вообще непонятно, зачем этим другим другие. Разумеется, другие не пишут научных статей... Через десять минут они договорились до полного разрыва и потом никак не могли вспомнить, с чего это началось.

В конце вечера Лена сказала:

— А знаешь, в твоём гусе есть что-то такое...

Крылов был счастлив. Однако «ошипанная шея»... Как это он не замечал, что у Дана действительно длинная шея в пупырышках?

Последний год Дан занимался исследованием электрической плазмы. Задача вызывала противоречивые толки. Связь с электрическим полем Земли? А кому это нужно? Слишком абстрактно, вероятность успеха мала, практический эффект неясен.

Самого Дана соображения о риске или удаче нисколько не волновали. Как-то на семинаре он сказал фразу, которая поразила Крылова.

— Надо делать то, что необходимо тебе самому, тогда не страшны никакие ошибки или неудачи.

Этот человек жил где-то на сияющей вечным снегом вершине, куда не доходили обычные людские страсти и тревоги. Вероятно, тогда на Крылова действовало идущее от Лены хмельное ощущение легкости и возможности самого невероятного. Конечно, то была самая идиотская, нелепейшая просьба, но таков был Крылов. Обдумывать

свои поступки?.. Для этого он соображал слишком медленно. Он сказал Дану:

— Я бы хотел работать с вами.

Неизвестно почему, но Дан согласился.

— Ну что ж, давайте.

Он сказал это спокойно, как будто речь шла о прогулке, и Крылов поднялся в воздух, не успев уловить мгновения, когда отделился от земли. Собственная дерзость удивила его много позже, в разговоре с Тулиным. Выслушав скептические доводы Тулина (пропала твоя молодость, первые результаты получите через много лет, и то в лучшем случае), он спросил всего лишь:

— Почему ж ты не поспоришь с Даном?

Тулин засмеялся:

— Когда я неправ, я могу любому доказать, что я прав, но будь я трижды прав, Дан убедит меня, что я неправ.

Аникеева огорчила измена физике радиоактивных частиц. При всем уважении к Дану, то, чем занимался Аникеев, было, как всегда, единственно стоящей, самой обещающей, самой увлекательной из возможных тем, и только чудак мог уходить из его лаборатории, да еще накануне пуска новой аппаратуры. Крылов беспечно помахал ему рукой. Самолет набирал высоту. Оставайтесь на земле с вашим здравым смыслом, заботами о результатах и прочими благоразумиями.

Он улетал в страну своего будущего, пронизанную электрическими бурями и вихрями, навстречу полярным сияниям, грозам, шаровым молниям, в непознанный хаос, окружающий Землю. Все эти годы он просто путешествовал среди созвездий, и вдруг он обрел свой собственный Млечный Путь. Выбор казался ему почти необъяснимым, как любовь; из тысяч возможностей его пленила единственная и надолго, может быть навсегда.

Он умел разгонять поток ионов, собирать объемные заряды, сводить электроны в тончайший пучок, заставлять их двигаться по любой кривой. Частицы, из которых состоял он сам, Дан, любой человек, Вселенная, — эти частицы подчинялись ему, он измерял их заряды, массы, скорость, он делал с ними все, что хотел.

Но эта власть никак не помогала ему в отношениях с Леной. Лена могла исчезнуть в любую минуту, и он понимал, что ему нечем ее удержать. Она жила в другом измерении, на другой планете, там не действовали обычные скрепы. Он мог работать с Даном, он мог сделать любое открытие, стать почетным членом Французской академии наук. «Потрясающе, — сказала бы Лена, — поехали на концерт Рихтера». Мир его увлечений был каменной пустыней, в которой она не могла пустить корней.

Тайком от Лены он пробовал читать журнал «Искусство кино»; овладев звучными терминами, он пустился в рассуждения. Вроде получалось, однако Лена прищурилась:

— Прощу тебя, не нужно. Дай мне хоть здесь отдохнуть от этой болтовни. Лучше рассказывай про свои заряды. Послушай, я выучила песенку — закачаешься.

— Ты не любишь свою специальность?

— И да и нет. — Она задумалась. — Вернее, люблю, только от меня одной мало что зависит. Мы ведь связаны веревочкой. Как бы я ни тянула, хорошей съемкой картину не спасешь. Вот наш художник, талантливый парень, лихие макеты сделал. Ну и что? Картина все равно дрянь. Дрянь сценарий, слабый режиссер. И пропали все старания художника. Все в распыл, в песок, впустую... Ты мне как-то толковал про всеобщий закон сохранения энергии. Почему у нас этот закон не действует? Какой же он всеобщий? Куда девается наша работа, когда картина паршивая? Может, в пробирках твой закон действует, а для жизни он не подходит.

Никогда он не видел ее такой серьезной и грустной.

— Зато когда у вас картина хорошая, то все затраты окупаются. Люди смеются и плачут, вы заставляете миллионы думать над жизнью...

— И что меняется? В школе мне казалось, что если люди прочли «Дон-Кихота», Чехова, Толстого, то никто больше не может делать гадости...

Провал своей картины она воспринимала всем сердцем, так что и прошлое и будущее, все человечество обрелись на безысходную печаль. Он обнял ее и сказал решительно и быстро:

— Я тебя люблю. Ты слышишь?

Она серьезно кивнула.

— Лена, давай будем вместе. Почему ты не хочешь, чтобы мы были вместе?

Еще не кончив, он почувствовал, как что-то произошло, словно она выскользнула из-под его руки и очутилась далеко-далеко. С разгона он еще мечтал что-то насчет комнаты, как они поселятся, купят... а она уже ласково смотрела на него с другой планеты.

— Зачем торопиться? Не связывай себя. Все это тебе только помешает. У тебя сейчас самая трудная пора, ты сам говорил, как тебе нелегко тянуться за Даном. Подожди. Разве нам плохо сейчас?

— Плохо. Мне плохо. Я не могу без тебя.

— Так я с тобой. Считай, что я твоя жена. Сережечка, ты любишь компот? Твоя Леночка, твоя кошечка, сварит своему пупсику компотик. — Она прыснула, вскочила, побежала на кухню, и опять все стало игрой.

Вскоре ему дали комнату. Лена приходила, нацепляла передник, мыла, чистила, без конца переставляла кушетку и книжный шкаф, иногда оставалась на несколько дней, но переезжать отказывалась.

Зыбкость их отношений все сильнее мучила Крылова. С ней было весело, неожиданно и пугающе непрочно. Никогда нельзя было быть уверенным, вернется она завтра, через месяц или через много лет. Реальностью оставался только ее уход. Казалось, она была уверена, что и для него это в конце концов только веселая игра, с поцелуями, объятиями, сумасшедшей ездой на мотоцикле. Игра, которая могла зайти как угодно далеко и все равно осталась бы лишь игрой.

Однажды, выведенная из себя его настойчивостью, она вскочила с постели и ушла. Было два часа ночи. Крылов оделся, схватил ее подарок — керамиковую вазу с цветами, швырнул в мусоропровод и отправился гулять.

К рассвету он твердо установил для себя, что любовь — слабость, недостойная мужчины, радость работы выше и чище любых сердечных страданий. Земля электризуется от взземных источников, у Лены толстые ноги, отношения полов сводятся к физиологии, он ничтожество, никому не интересен, она абсолютно права, он уедет, и она поймет, кого потеряла, женщин надо презирать.

Все, что было до сих пор, было цветочками. Только теперь он начал постигать, что значит настоящая работа, какие изнуряющие поиски скрыты за вроде бы беспечным трепом теоретиков. Группа работала с Даном уже несколько месяцев, Крылову пришлось догонять. Пospеть за ходом мысли Дана было невозможно. Крылов то и дело застревал, спотыкаясь о сжатые до предела формулировки, Дан двигался огромными прыжками, и Крылов изнемогал, пытаясь восстановить связь в его рассуждениях, и со стыдом чувствовал, как Дан терпеливо поджидает отстающих.

Время от времени они собирались в кабинете Дана обсудить состояние работ. Полтавский, молодой расчетчик, страшный формалист и при этом любящий щегольнуть цинизмом, неистовствовал: Крылов заставил его трижды пересчитывать результаты, оказалось, что расхождение получается из-за плохой организации.

— А откуда я знал? — огрызнулся Крылов. — От твоих урваний можно ждать чего угодно.

Полтавский горестно обратился к Дану:

— Посмотрите на этого параноика. Он не признает математики. Она для него не существует. Если на то пошло, то я докажу, что он сам не существует.

— Когда вы с этим справитесь, подсчитайте тепловой баланс нового режима, — спокойно сказал Дан.

Нового режима! Это значит, придется перемонтировать всю установку. С высоты его Олимпа все старания Крылова над тем, чтобы впаять какую-нибудь медную трубку, не охлаждая стекла, — жалкая возня.

— Сколько можно возиться с этой мурой? — искренне недоумевал Дан. — Неужели с самого начала нельзя было как следует заэкранировать приборы?

Новые экраны не помогли. Пришлось поставить безыскровые моторы. Но затем стало неясно, допустимо ли моделировать явления в таких масштабах. Дан подсчитал условия, при которых модель правомерна. Модель потребовала исследования на устойчивость процесса. Усилитель не справлялся с малыми сигналами. Заказали специальный усилитель радионституту, там попросили подробных технических условий, разрешения министра и права в любую минуту вызывать Дана на консультацию в течение ближайших десяти лет.

И вот наконец, когда все было переделано, отлажено, измерено, то обработка результатов показала, что для переноса одного иона требуется усилие примерно семидесяти пяти паровозов, что электрон занимает объем не меньше двухэтажного особняка и все живое на земле должно чувствовать себя как человек, сунувший пальцы в электрический штепсель.

И снова они сидят в кабинете у Дана, устало издеваясь над итогами двухмесячной горячки. Исходные предпосылки неверны. Формулы нелепы. Теория абсурдна. Налаженная аппаратура — хлам. Все выбросить. Все сначала. Где начало? Нет ничего, голое место. Закон сохранения энергии... Тупик... Боги... А где гарантия?..

Дан невозмутимо рылся в таблицах, расспрашивал, как будто ничего особенного не произошло. Удрученные, они побрели обедать, оставив его одного, обсуждая дорогу, почему Маяковский застрелился.

Крылова вызвали из столовой к Дану.

— Вас к телефону, — сказал Дан.

Крылов взял трубку.

— Сережа, ты что, болен? — услышал он голос Лены.

— Н-нет.

— Почему ж ты вторую неделю не звонишь? Не стыдно?

Невинность ее возмущения не вызвала сомнений. Крылов вспомнил, как она уходила, треск яростно натягиваемых чулок, голое плечо, блеснувшее у окна, и вздохнул.

— Я думал...

— Ты слишком много думаешь. И все о себе. Все твои слова — вранье.

— Понимаешь, сейчас...

— Я хочу тебя видеть.

— Я тоже.

— Пошли сегодня в Филармонию?

— Хорошо.

— Где встретимся?

Он беспомощно посмотрел на Дана.

— У входа.

Дан рассеянно сморщил переносицу, поднялся и пошел из кабинета.

— Ты что, с ума сошла! — закричал Крылов. — Ты знаешь, куда ты позвонила?

— Мне сказали, что ты у Дана. Я ему все объяснила, по-моему, он понял.

Дан стоял в коридоре и грыз карандаш. Крылов, опустив голову, хотел проскочить мимо, но Дан остановил его:

— Поздравляю!

— Простите меня...

— Нет, нет, это же прелестно! Абсурд — вот чего нам не хватало! Самое ценное в исследованиях — это найти абсурд. И мы нашли! Абсурд таит всегда принципиально новые вещи.

Приставив к груди Крылова мокрый конец карандаша, он принялся развивать способ «ущучивания» истины. В хаосе полученных нелепостей из тысяч, миллионов возможностей он учил искать тот единственный, решающий вопрос, который следовало поставить природе. Следить за его мыслью было удовольствие, но изнурительное.

Ничто не могло отвлечь его, заставить считаться с усталостью, неудачами, людские слабости проходили словно насквозь, не затрагивая его сущности. Он скорее удивлялся им, чем сочувствовал.

Чего бы не дал Крылов, чтобы стать таким же.

И все же тайное разочарование, крохотное пятнышко ржавчины появилось в его душе.

Бесспорно, Данкевич гений, и гению разрешено многое, даже заблуждения, но в итоге-то у него все должно получаться красиво, эффектно и быстрее, чем это можно было бы ожидать.

Савушкин грозился бросить все к чертовой бабушке. Он не может позволить себе роскошь мучиться два-три года, чтобы получить отрицательные результаты. Ему нужно защитить диссертацию. У него семья, дети. Ему нужна тема-верняк. Крылов не возражал ему.

Требовательность Дана не знала предела. Поставить более тонкий эксперимент. Еще тоньше. Отделить влияние магнитного поля, влияние фотоэффекта, рентгеновского излучения...

По прошествии двух недель стало ясно, что подготовка методики займет не месяц, а полгода, затем Дан подбросит дополнительные условия, и тогда срок отодвинется лет на полтора. После чего, окончательно уста-

новив ошибку, Дан преподнесет следующий гениальный вариант.

Полтавский меланхолично смотрел в окно; на улице бушевало пыльное городское лето, с мороженым, газированной водой, стуком женских каблуков. Люди уезжали на дачи, лежали на пляже, покупали цветы, целовались, женились, рожали, и никому не было дела до того, что пять человек пропадали в лаборатории, не видя света белого.

— Неблагодарные скоты, — взывал к прохожим Полтавский с высоты третьего этажа. — Неужто вас не волнует природа электрического поля Земли? Мы же стараемся для вас, а вы, вместо того чтобы стоять толпами у подъезда и ждать результатов, отправляетесь ловить рыбу!

В конце июля газеты напечатали сообщения о работах академика Денисова по уничтожению грозы. Приводилось описание, как с помощью радиоактивных излучений управляли грозой.

Крылов с восторгом прочел заметку вслух.

— Денисов? — переспросил Полтавский. — Ну-ну.

— Что значит «ну-ну»?

— Междометие.

Крылов обеспокоенно подумал о Тулине, который занимается вопросами активного воздействия на грозу. Но тут же подумал, что тревожиться о Тулине нечего. Дела Тулина шли блестяще, и иначе они идти не могли. Тулин защитил диссертацию. Профессор Чистяков болел, и Тулин в своем НИИ фактически руководил работами отдела. Тулин публиковал научные работы (слишком часто, по мнению Дана); Тулин состоял членом какой-то комиссии. Тулина любили, хвалили, упоминали, сам Дан считал его одним из интереснейших молодых.

Посреди июля Дан объявил вместо отпуска неделю благородной праздности, и всем скопом они махнули на Рижское взморье. Крылов уговорил поехать с ними Лену. Они валялись на песке, купались и говорили о чем угодно, кроме физики. Дан оказался великолепным резчиком по дереву; из старых корней, валявшихся на пляже, он вырезал фантастических животных. Лене он подарил взлетающую по ветке лисицу. Вообще они с удивлением обнаружили, что Дан уважает гуманитарные науки и никак не разделяет их пренебрежения ко всяким эстети-

кам, этикам и прочим бесполезностям. Наоборот, он даже считал, им оставлено слишком малое место в жизни. Происходит то же, что с лесами: человечество бездумно вырубает леса, начинается эрозия почвы, остаются бесплодные камни, и никто не задумывается над пагубными последствиями насилия над природой только лишь потому, что последствия эти не оборачиваются против самих нарушителей, страдают потомки.

— Но я могу быть ученым и порядочным человеком, не слушая музыки, — возражал Полтавский.

— Вы — да, а общество — нет, — говорил Дан. — Что, по-вашему, отличает людей от животных? Атомная энергия? Телефон? А по-моему, нравственность, фантазия, идеалы. От того, что мы с вами изучим электрическое поле Земли, души людей не улучшатся. Подумаешь, циклотрон! Ах, открыли еще элементарную частицу. Еще десять. Мир не может состоять из чисел. Не путайте бесполезное и ненужное. Бесполезные вещи часто самые нужные. Слышите, как заливаются эти птахи?

С ним не боялись спорить, он побивал умом, логикой, а не властью и авторитетом.

На третий день в центральной газете они прочли интервью Денисова. Академик заявлял, что вопросы управления грозой теоретически решены, первые же испытания прошли успешно, остается довести технические детали.

— Еще один блеф, — сказал Дан. Он заметно расстроился и в тот же день собрался в Ленинград, за ним уехали остальные.

— Я свое догуляю, — сказал Крылов. — Шут с ним, с Денисовым, нас-то это не касается. Чего вы заполошились?

— Ну-ну, — сказал Полтавский. — Жил-был у бабушки серенький козлик.

Проводив ребят, они с Леной махнули автобусом в Эстонию. Утром на какой-то остановке Лена вдруг сказала: «Сойдем, а?» Они выпрыгнули из автобуса и очутились в спящем чистеньком игрушечном городке с башнями, крепостными стенами, поросшими акацией. На древней ратуше лениво били часы, по сырой, выложенной красными плитками мостовой ехали к рынку женщины на велосипедах.

Навсегда запомнилось нежное тепло этого утра, базар, полный цветов, скользкие голубоватые пласты холодной простокваши, которую они пили прямо из горшка, зеленый холм, откуда открылись островерхие, красной черепицы крыши городка и дальние мызы, сложенные из дикого камня, и озеро с вышкой, где на упругой доске высоко подпрыгивала загорелая девушка.

Для Лены незнакомый город был начинен неожиданностями. Волнуясь, загадывала она, что сейчас откроется за углом. Вдруг они выходили на площадь, и перед ними взметались в небо сталагмиты огромного костела из багрового кирпича. Внутри костела было холодно, светили цветные витражи высоких окон, гремел орган так, что вибрировало в груди.

Поздно вечером они, спохватясь, помчались в гостиницу. Там, конечно, все было занято. Тогда, не раздумывая, они забрались в городской парк и подле памятника какому-то местному ботанику составили скамейки. Они лежали, подложив друг другу руки под головы, и Лена, глядя на звезды, говорила о том, что лучше, чем сейчас, не будет, а если будет, то тоже не страшно, что вот это и есть счастье, и не к чему отодвигать его в будущее.

Имя Денисова Крылов слышал давно, в связи со многими проблемами, но на все расспросы о том, что же сделано Денисовым, никто не мог ответить ничего внятного.

Шум нарастал, одна за другой появлялись статьи, восторженные, деловые, сенсационные: «Власть над молнией», «Укрощенная стихия», «Подвиг ученого».

В университете Денисов читал лекцию. Крылов поехал послушать. На кафедру поднялся маленький широкоплечий крепыш, составленный из частей, принадлежащих разным людям. У него был голый желтоватый череп, рыбий рот и нежно-розовый толстый подбородок. Несмотря на излишне крикливый голос, театральные жесты, он быстро завоевал аудиторию веселой уверенностью. Крылов слушал его с удовольствием. У Денисова все получалось заманчиво просто, дешево, быстро, и Крылов с тоской подумал о мучительно нудной, бесконечной требовательности Дана, лишенной скорых и ясных обещаний.

Несомненно, Денисов умел убеждать окружающих, можно было понять появление очерка известного писателя «Товарищ небо». Писатель взволнованно делился своим восхищением перед всепроникающим могуществом человеческого разума, дарующим людям власть над грозой. Существо научных работ его не занимало, зато он мастерски нарисовал картины бедствий — ревущие смерчи огня на нефтяных озерах, зажженных молниями, гибнущие в грозе самолеты. Он приводил древние гимны Риг Веды, где Индра своей громовой стрелой рассекает тучи, низводит на землю живительные потоки дождя и людям открывается солнечный свет.

«Извечный источник религиозного дурмана, унижительных страхов, крепость суеверий, символ человеческой беспомощности — все рухнуло, от бывшего могущества останутся развалины — безобидное учебное пособие школьников десятых классов. Гроза демонстрируется по заявкам района».

Работу Денисова он образно связывал с мечтой народов о мире, о чистом и добром небе над нашей планетой.

Очерк возмутил Дана:

— Это особенно вредно, потому что талантливо.

Он решил выступить на совещании, созываемом Главным управлением совместно с министерствами специально по работам Денисова.

Накануне совещания в институт приехал Тулин. Впервые Крылов видел его таким мрачным и встревоженным. На все расспросы о Денисове Тулин цедил сквозь зубы:

— Подонок!

Тулин провел в кабинете Дана час и выскочил оттуда красный. Молча он сбежал вниз, Крылов еле поспевал за ним. Они неслись по улице, расталкивая прохожих, словно куда-то опаздывая. Вдруг Тулин остановился между трамвайными путями.

— Я ведь о нем же заботился, и он меня еще упрекает! Лезет на ветряную мельницу! Да какое там, лезет на пушку со своим копьём!

— Чего ты боишься? — осторожно сказал Крылов. — Пусть они поспорят. Истина рождается в споре.

— Еще ты меня будешь учить! — со злостью выкрикнул Тулин. — Форменный детский сад! Неужто вы не понимаете, что Денисову сейчас нужен именно такой противник, как Дан? Чтобы утвердиться.

Они очутились в красном грохочущем железном коридоре встречных трамваев. Тулин что-то говорил. По бледному злому лицу его мелькали тени.

— ...так их распротак. Истина! Истина в споре чаще всего погибает!

— Ты уверен, что Денисов неправ?

— Твой Денисов — авантюрист! Ну и что из этого?

Они вышли на тротуар.

— Почему ты сам тогда не выступишь? — спросил Крылов.

— Поссорилось яйцо с камнем... Кто я такой? Денисов — академик, а я кто?

— Раз Денисов заблуждается, надо ему разъяснить.

— Кроме того, я занимаюсь той же темой. Подумают, что я из-за конкуренции.

— Выяснится, что кто-то из вас неправ, вот и все.

— Даже Голицын, член-корр, патриарх и прочая, прочая, не лезет на рожон. Он тоже говорил Дану, что спор ненаучный и тратить силы на эту галиматью просто неприлично. Все равно что опровергать мордовскую знахарку.

Они остановились у витрины охотничьего магазина и молча разглядывали ружья, блестящие ремни ягдташей, ножи, высокие сапоги.

— Конечно, будь я на месте Дана, я бы вмешался, — сказал Тулин.

— Хм!

— А Дану нельзя. За пределами науки он не боец. Вы должны отговорить его. Денисову известно, что мы связаны с Даном. И все это отзовется на нашей работе.

— Поедем на охоту. Меня Аникеев звал.

— Я Дану высказал все. Пусть он считает меня перестраховщиком, пусть, потом сам поблагодарит. А впрочем, не нужно мне его благодарности.

— Не понимаю. Ты считаешь Денисова прожектором и хочешь, чтобы никто с ним не спорил. Где ж тут принципиальность? И вообще, что же получается? Что ты помогаешь Денисову?

— Да, помогаю. Никто не разоблачит Денисова быстрее, чем он сам. Чем хуже, тем лучше.

Тулин фактами доказывал, как Денисов выдавал желаемое за действительное. На один-единственный удачный опыт уничтожения грозы приходилось четыре

неудачных. О них не упоминалось. Многое делалось вслепую, эффект мог получиться любой — и уничтожение грозы и ускорение ее, беда была в том, что никакой научной основы у Денисова не существовало. Удачные работы по борьбе с градобитием, которые шли на Кавказе, он беззастенчиво заимствовал, перенося на грозу. Процессы в грозовых облаках, механизм развития грозы, то, над чем бился Тулин, нисколько не интересовали Денисова.

— Почему же твой Чистяков не выступит и другие?

— Ты понятия не имеешь о нашей публике, — сказал Тулин. — Кому охота ссориться с Денисовым! Все равно он одолеет.

— Это еще почему?

— Беби! Культа нет, но служители еще остались.

Трудно было, конечно, разобраться в хитро сплетенных интересах множества людей, хорошо известных Тулину, связанных между собой давними отношениями, построенными на соревновании, заботе об учениках, заботе о собственном здоровье, интересами совместной работы, служебной зависимости и т. п. Но и Крылов понимал, что ребятам, сидящим где-то на высокогорных станциях, нет ни возможности, ни времени бороться с Денисовым. Было ясно, что денисовская затея помешает многолетним серьезным работам разрозненных лабораторий и станций.

В конце дня Дан вызвал Крылова и попросил срочно подобрать материалы об активных воздействиях для своего выступления.

Крылов замялся, он поверил Тулину, и понимал Дана, и разрывался между ними.

У Дана сидел Голицын, седой, величественный; Крылов видел его впервые. Голицын вертел между ног палку с костяным набалдашником и заинтересованно разглядывал Крылова.

— Что вас смущает? — нервно допытывался Дан.

Крылов сослался на завтрашние испытания в камере. Кроме того, он не понимал, как это в ущерб собственной работе можно заниматься денисовскими делами, конечно, работы Дана связаны с атмосферным электричеством, с теорией грозы и затея Денисова нереальна, но все же это, так сказать, смежная область.

Под пронзительным взглядом Дана он начал путаться, однако Голицын выручил его.

— Слыхали? — обратился он к Дану, видимо продолжая старый спор. — Молодые и те норовят не связываться с Денисовым. Каверзнейшая личность. А вы, с вашим сердцем... Что он вам, конкурент? Будьте выше этого, разве в такой ситуации можно вести научный спор, тут не наука...

Дан сцепил тонкие пальцы.

— Бог ты мой, поймите, это ж не случай, это как инфекция: если не противиться, она расползется по всему организму, доберется и до нас, и тогда будет поздно. Денисов вводит в заблуждение, мы обязаны сказать правду. Чего бояться? Всё еще живем памятью прежних страхов... — Он вдруг замолчал и затем сказал: — Эх, вы... — с печальным гневом и сопровождая это взглядом, который Крылов впоследствии часто вспоминал, как будто Дан смотрел сквозь них, куда-то далеко, в их будущее.

Предсказания Тулина сбывались со зловещей точностью.

Дан выступил и, не снисходя к уровню слушателей, на том строго научном языке, каким он дискутировал на своих семинарах, произвел беспристрастный анализ и сообщил свой приговор. Кроме двух-трех специалистов, никто толком его не понял. Но что Дану до этого, разве Истина меняется от того, что люди не различают ее?

Слушателей раздражало высокомерие этого аристократа науки, пытающегося опорочить Денисова, убедить своими формулами, что все они невежды и болваны.

Ни до кого не доходила его ирония: «Наконец-то мы услышали доклад, где ясно сформулированы научные основы, опубликованные за последние двадцать лет в разных учебниках», его разоблачения: «Раз пси равно шестнадцати, то любой найдет, что релаксация гаммы на два порядка выше», его выводы: «Следовательно, тяжелые ионы будут вести себя как диполи!».

В ответ Денисов благодушно улыбался.

— Жаль, дорогой коллега, — сказал он. — Оторвались вы от жизни. Вот рядовые инженеры всё оценили, а вы не смогли. А почему? Да потому, что они люди дела, с практическим складом ума. С диполями успеем разобраться, а вот сельскому хозяйству надо помогать немедленно. Какие убытки приносит градобитие! А гроза? Вы

про нефтяников подумали? Нужды народные нельзя забывать. Немедленная эффективность — вот что решает.

Председатель вежливо спросил Данкевича, что реально он предлагает народному хозяйству.

— Пока ничего, — вызывающе сказал Данкевич. — Во-первых, необходимо закончить исследование по методике нахождения центров грозы, вероятно, тут могут встретиться...

Его «если», «возможно», «надо проверить» произвели тягостное впечатление.

— Вот видите, — с облегчением подытожил председатель, — конца и края не видно. А академик Денисов предлагает немедленные результаты. Как же мы можем отказать от такой возможности?

Совещание приняло четкий план обширных работ по исследованиям академика Денисова, одобрило его начинание, рекомендовало сосредоточить в его распоряжении отпущенные средства.

Механика дальнейших событий была Тулину ясна, как падение камня.

С мстительным удовлетворением он показал Крылову статью про своего шефа Чистякова, появившуюся в журнале, куда Денисова назначили главным редактором. Статья брала под сомнение правомерность направления, избранного Чистяковым. Денисов энергично очищал решающие участки от людей, мешающих ему; ученики его и приверженцы получали назначения на кафедры, в НИИ, в ученые советы. Доцент Лагунов был прислан к Данкевичу заместителем директора.

Тулин кружил по комнате раздражительно высмеивал старенькую, облупленную этажерку, репродукцию Ренуара, он придирался ко всему, что попадало ему на глаза, его злило то, как Крылов сидит, как он встает, то, что нет водки, и то, что есть колбаса, злило молчание Крылова и его вопросы

Встречаясь со взглядом Тулина, Крылов поспешно отводил глаза, как будто прикасаясь к высокому напряжению.

Тулин остановился перед зеркалом, поправил волосы и, глядя себе в глаза, сказал:

— Летел гусь в голове, а стал в хвосте. Не сегодня-завтра мою тему прикроют.

— Кто прикроет?

Тулин с силой провел по щекам.

— Денисов? — спросил Крылов.

— Найдутся и без него.

— Что же делать?

Тулин обернулся, сунул руки в карманы.

— Что делать? Кто виноват? Любимые вопросы русской интеллигенции. — Он пружинисто прошелся, отшвырнул ногой стул. — Как идет работа у Дана?

Крылов рассказал. Неудача следовала за неудачей. Открылись новые сложности. Начальные предпосылки не оправдались. Кое-что удалось смоделировать, но в общем пока одни развалины. Правда, получены важные данные для понимания природы атмосферного электричества и разрядов в облаках, и если бы не Дан. . . Он не позволяет отвлекаться в сторону, гонит и гонит вперед.

Тулин сел на кушетку.

— Итак, в ближайшее время вы результатов не получите?

Крылов пожал плечами.

— Где там! Обследователи навалились. Дана треплют, не дают покоя. И, как назло, у меня тоже ни черта не клеится. Меня все сносит на атмосферное электричество, я хотел с тобой посоветоваться: понимаешь, есть возможность и к механизму грозы подойти совсем с иного боку, чем вы, увязать в общую теорию, энергетически. . .

— Погоди, значит, обследуют? Ну что ж, логично. Еще не то будет. Денисов его не оставит. Не оставит, пока не подомнет.

— Ты преувеличиваешь, — сказал Крылов. — Ведь Дан прав. А если и неправ. . . Нет, нет. В наше время так не бывает. Может быть, надо пойти куда-то, рассказать, я пойду.

— Уже ходили и говорили. Не такие, как ты, ходили. А им — пожалуйста, вот решение совещания. Так сказать, в открытом бою побит ваш Данкевич. А то, что критикуют его, ну что ж, нормально, науке нужна критика. И будь здоров. Приветик. Такая чертовщина, обалдеть можно.

Лицо его зябко съежилось, и Крылову стало не по

себе не от слов Тулина, а от того, что Тулин, его Тулин, может перед чем-то отступить.

— Твой Дан во всем виноват, — со злобой сказал Тулин. — Он все испортил. Зачем было их дразнить? Им только этого и надо было. Они провоцируют, а он донкихотствует, губит нас, мостит им дорогу.

— Как ты можешь про Дана. . .

— Он глуп, глуп, — с каким-то иступленным злорадством повторял Тулин. — Краеугольный камень. Олимпиец. Кристаллическая решетка, а не человек.

Крылов страдальчески сморщился.

— Ну, это зря. . . Разве можно требовать от Дана какой-то дипломатии? Он мыслит другими категориями. А ты знаешь, как он мыслит. Это молния. Ему все можно простить.

— Кому нужна сейчас эта молния? Молнией задницы не согреешь. Все горит, пожар, а Дан наблюдает в телескоп. . .

— Не смей говорить о нем плохо! — закричал Крылов. Впервые он осмеливался кричать на Тулина, впервые он взбунтовался. — Как ты смеешь? Дан — святой человек, гений.

Тулин закинул ногу на ногу, успокоенно-холодно улыбнулся.

— Да?

Крылов оторопел.

— Что «да»?

— Барашек ты мой. Гении нынче получают после смерти, а мы его при жизни сделали гением. Он возомнил и решил, что все может.

— Ничего подобного. Все это вздор. Вздор! — бормотал Крылов.

— Мой совет — оставь его, пока не поздно. Ты сам говорил, что успех и не брезжит. Дан занесся и взялся за непосильную задачу, из-за него ухлопаешь лучшие годы впустую. И кроме того, помяни мое слово: вам нормально работать не дадут.

Крылов мучительно потирал лоб.

— Нет, ты нарочно пугаешь меня. Только это все вздор.

— Зачем же мне пугать тебя? Ты уже убедился, что я прав.

— Если бы Дан позволил, — сказал Крылов, — я

бы... Понимаешь, пользуясь дановской теорией поля, можно рассмотреть природу грозы... .

Тулин скучливо отмахнулся — непрактично, уязвимо с точки зрения результатов.

— Такой темой можно заняться и лет через пять, — сказал он. — Держись-ка ты лучше за землю, парень.

И он так выразительно оглядел круглую, курносую физиономию Крылова, что тот покраснел.

— Я и не рассчитываю... Ну, не получится, зато как интересно! Кто-то ведь должен начать. — Крылов помолчал. — Тебе-то хорошо рассуждать.

— Мне хорошо, — сказал Тулин. — Между прочим, мой шеф решил сдать Денисову на милость.

Крылов поднял голову. Глаза Тулина были стеклянны.

— И я с ним, — сказал Тулин. — Бухнемся в ноженьки. Владейте нами. Мы перебежчики. Ему сейчас перебежчики нужны. Самый момент.

— Не юродствуй.

— Денисов, конечно, облобызает нас.

— Зачем вам это?

— Работу спасти надо. Работу, понятно? Мой шеф здраво рассуждает, — хоть черту душу заложить, лишь бы дело делать. По-твоему, лучше слезы точить, жалобы писать? Нет, голубок, перед такими, как Денисов, нечего стесняться. С ними надо бороться их же методами. Нечего брезговать. Притвориться? Пожалуйста! Врать? Готов! На все готов. Потом успею руки помыть.

— Что ж это тебе даст?

— Поставлю условия. Дорогой владыка, я ничем вам мешать не буду, перекую мечи на орала, только не трогайте мою тему. Дайте мне доковыряться. Он, конечно, тоже поставит свои условия. Приму. От всего отрекусь. Чего кривишься? — Он вскочил, стиснул кулаки, глаза его словно разбились, сверкая острыми осколками. — Медуза ты интеллигентская! Всех бы вас, чистоплюев... Невинность! Благодородство! А внутри-то — трусливый импотент!

— Ну-ну, — ошеломленный его гневом, пробормотал Крылов.

Тулин схватил с вешалки свой темно-серый плащ.

— А ты, вместо того чтобы поддержать меня... Думаешь, очень приятно залезать в это дерьмо? А я лезу... Разумеется, куда как красиво взойти на плаху! Но от

этого, милый, работа над грозой не продвинется ни у тебя, ни у меня. Ведь Денисов-то сам ничего не сделает. У него все это афера. Пшик! Дан прав.

— Ага! Вот видишь. И я знаю, Дан — настоящий ученый. Он никогда не пойдет против своих убеждений. Он, как Галилей, будет твердить: а все-таки она вертится! Настоящий ученый иначе не может. Что бы ни было!

Они стояли друг против друга, взъерошенно-непреклонные, пряча сомнения и растерянность.

Первым заговорил Тулин. Нервная усмешка дергала его губы.

— Эх ты, грамотей грамотеевич! Известно тебе, что, несмотря на эту фразу, Галилей все-таки отрекся. Ради того, чтобы иметь возможность работать дальше. Он был деловой товарищ. И, как известно, история его оправдала. История! А ты кто такой? Может, она, история, мне тоже памятник поставит. И тебе. Не волнуйся. Если уйдешь от Дана, обязательно памятник схлопочешь. Только мне на коне. А тебе, — он подмигнул, — тебе на мотоцикле.

Он снова был старшим. Как бы они ни ссорились, что бы Олег ни делал, в их дружбе, наверное уж навсегда, он останется старшим.

С внезапной детской нежностью Крылов взял Тулина за руку.

— Не ходи к Денисову. Я не верю, что ты к нему пойдешь.

Тулин милостиво поинтересовался:

— Это почему?

— Если бы ты решил пойти, то зачем бы ты мне рассказывал. Ты бы сперва к нему отправился. А тебя совесть мучает. — Приободренный молчанием Тулина, он сказал убежденно: — Есть все же вещи сильнее всякой науки и логики.

Тулин молчал, улыбался, и Крылов сконфузился.

— Передо мной тоже проблема, все же мне охота...

Тулин посмотрел на часы.

— Мне б твои проблемы, я был бы счастливым человеком.

Крылов вернулся в комнату, включил чайник, открыл окно, нарезал хлеб, намазал бутерброды, выпил чай. Из всех людей на земле ему нужна была сейчас Лена, одна

она. Чтобы она пришла, села на подоконник, и он, не торопясь, поговорил бы с ней, рассказал бы ей все.

Всегда ему доставалась роль слушателя. Даже тогда, когда ему необходимо было посоветоваться, все равно как-то получалось так, что его перебивали и заставляли слушать. То, что говорили другие, всякий раз оказывалось важнее его личных забот. Никому почему-то не приходило в голову расспрашивать его. И ни у кого не находилось времени выслушать его.

Он сидел за столом и мысленно звал Лену. Он внушал ей: ты должна прийти. В конце концов, существует же какое-то действие на расстоянии, какие-то биотоки, или телепатия, или еще какая-нибудь чертовщина. Нужно сильно захотеть — и Лена почувствует. Должен быть хоть один человек на свете, которому ты нужен.

В раскрытое окно вливался шум улицы. На фоне пунцово-закатного неба возникла фигура Лены. Она быстро скользнула по острым железным волнам крыш. Рама окна была рамой картины. Лена, запыхавшись, усеялась на подоконник, отодвинула горшочек с кактусом и разгладила юбку.

— У меня масса времени, — сказала она. — Мы никуда не пойдем. Не удивляйся, можешь сидеть, рассказывать сколько влезет. Мне страшно хочется узнать, что у тебя происходит.

— Нужно, чтобы был хоть один человек в мире, кто хочет тебя слушать, — сказал он. — Ты знаешь, раньше люди исповедовались, и им становилось легче. Иногда нужно просто, чтобы тебя кто-то слушал. Просто слушал бы и кивал головой. Человеку надо иногда открывать свою душу.

— Давай ближе к делу.

— Вот видишь. . .

— Ну не буду, не буду.

— Я бы построил специальные дворцы, посадил туда мудрых людей, чтобы к ним можно было прийти и поговорить. Никакой власти им не надо. Только бы они умели слушать.

— Районные исповедальни.

— Не смейся, это очень нужно. Бывает, ни с родным, ни с товарищем не хочется делиться. Олегу сейчас не до меня. Ему трудно. Но и мне тоже трудно. Я все больше

чувствую себя тупицей, а Дан выходит из себя. Не знаю, как помочь ему. Боюсь, что не под силу нам. . . Забежали лет на десять. Но разве его переспоришь?

— Это тебя Олег убедил?

— А что, Олег прав. Олег всегда оказывается прав. Если он вынужден отступить, то где уж мне!

— Не прибедняйся. Тебе не по душе все его доводы.

— Криво, косо, но он идет к своей цели. Во всяком случае, не мне судить его.

— Короче, ты разочаровался в Дане?

— Нет, как ты не понимаешь! Уж на что Эйнштейн двадцать с лишним лет бился над единой теорией поля, и все напрасно. Так и умер, ничего не добившись. Теперь то ясно, что это была безнадежная, несвоевременная затея. Даже Эйнштейн мог так ошибаться.

— Что ж ты мучаешься? Уходи. Савушкин-то ушел.

— Не ушел, а сбежал. Запахло жареным, он и сбежал. Ты хочешь, чтоб меня считали трусом?

— Савушкин — трус потому, что он думал только о себе. А у тебя совсем другое. Поговори начистоту с Даном, он поймет.

— Я говорил ему, что хочу заняться атмосферным электричеством. Куда там! И слушать не стал. «После, после, сейчас рано». А чего ждать? Полтора года чикаемся, и даже не светит.

— Ему виднее.

— Что я такое для него — козьявка. Какие у меня могут быть страсти? Не имею права. Я должен жить лишь его идеей. Он и знать не желает, что у меня появилось свое. День и ночь меня грызет это, надо сесть, продумать, просчитать, посоветоваться с ним, а я ничего не в состоянии: он захватил мой мозг, выжимает все, до последней клетки, ни опомниться, ни передохнуть, тащит и тащит. Ведь мы выяснили потрясающую вещь: чтобы восстановить электричество в грозовом облаке, нужно в тысячу раз больше зарядов, чем уходит в молнию. Скучный паек прежних теорий оказался недостаточным. В чем там дело? Что же там происходит? У меня десятки всяких соображений. Мелькнут — и пропали. Разобраться бы. . . Мимо, мимо! А я не хочу мимо! Я уже не могу без этого, как без тебя. Мне нужно заняться ими, иначе я засохну. Да я понимаю, что я всем обязан Дану, даже своими мыслями, замыслами. . . Я люблю его, он был для меня

всем, а ему никакой любви не нужно, ему ничего не нужно, кроме своей работы. Что мы для него?

— Гении жестоки.

— Может, ему так легче? Быть еще и человеком — значит что-то прощать, признавать чьи-то слабости. Он не может себе этого позволить. Вероятно, он вполне искренне не понимает, что какой-то там Крылов смеет чем-то увлекаться. С его высоты все мои проблемы — ерундистика.

— А как же остальные?

— Ребята — те просто пожертвовали собой. Они отказались от всего ради Дана, вернее — ради работы. Но у меня-то есть своя идея, свой детеныш, какой бы он ни был, я не могу отречься от него. У Дана нет ни снисхождения, ни жалости. Он фанатик. Возможно, иначе ничего великого в науке не создашь, но ведь это ужасно. . . Подожди, не уходи, мне еще нужно столько рассказать. Относительно процесса образования зарядов еще Френкель выдвинул любопытную гипотезу. . .

Небо быстро темнело, фигура Лены таяла в темноте, оставалось ее лицо со вспыхивающими глазами.

— Я тебе завидую, — сказала она. — Как бы тебе ни было плохо, это все же счастье.

— Счастье? . . . Может, оно у каждого свое. Помнишь, я тебе передавал мой разговор с Савушкиным?

— Нет, не помню.

— Он сказал: «Творчество? Счастье? Мура! Какое может быть счастье и творчество на двенадцати квадратных метрах жилплощади с женой и ребенком? Счастье — это квартира из трех комнат. Даже двухкомнатная — уже счастье».

— Да, да, ты тогда расстроился, тебе казалось, что, может быть, он в чем-то прав.

— Значит, ты запомнила?

— Нет, нет, я была ужасно невнимательна. Прости меня.

— Хорошо, что ты здесь.

— Я буду всегда с тобой, как только ты захочешь. Голос ее доносился все глуше.

— Ты все-таки уходишь, — сказал Крылов. — Это безобразно. Я не желаю иметь дело с призраками.

— Толковый призрак — это тоже вещь. Пожалуйста, не швыряйся призраками. Чем я тебя не устраиваю?

— Тебя нельзя обнять.

Он услышал ее смех.

— И только?

— Я хочу, чтобы ты живая была такой же.

— Живая, — повторила она задумчиво. — Может быть, это тоже призрак.

Она поставила кактус на место, фигура ее слилась с дымной синевой вечера, растворилась среди бледных фонарей.

На следующий день он поехал после работы на кинофабрику и долго ждал у проходной.

Из ворот с грохотом выкатила пулеметная тачанка, где, обнявшись, сидели махновцы и красноармейцы в буденовских шлемах.

Лена прыгнула с тачанки и, подбежав к Крылову, расцеловала его в обе щеки.

Не спуская глаз с ее лица, он стиснул ее маленькую жесткую руку.

— Что с тобой? — удивилась Лена.

На ее круглом крепком лице не было никаких следов тоски ожидания, ни вчерашней готовности слушать.

— Что ты делала вечером вчера?

Она перечисляла: стирка, разучивала гимнастику йогов — хочешь, покажу?

— Ты думала обо мне?

— Сереженька, ты совсем как девушка.

— Скажи, зачем я тебе нужен?

— Начинается. Что у тебя за страсть — выяснять отношения.

— Хоть иногда ты скучаешь по мне?

— Так мы же часто видимся. Вот если бы мы надолго расстались. Ох, и зануда! Ты сам не понимаешь: ты меня любишь потому, что тебе не хватает меня. Давай лучше поедem к итальянцам — чудные ребята.

Они поехали в гостиницу к итальянским артистам. Лена расспрашивала их про неореализм и маслины, и агитировала за колхозы, и читала стихи Заболоцкого. Потом они пошли гулять. Лена шепнула Крылову:

— Тихо-тихо умотаем, они мне надоели.

Они юркнули в магазинчик.

Конфузясь под взглядами продавщиц, Крылов купил стеклянные бусы. Лена тут же нацепила их и очень обрадовалась.

— Честное слово, индейцы были гораздо умнее белых, когда меняли золото на такие бусы! — заявила она.

Он с тоской подумал, как, в сущности, мало ей нужно. Ей ничего не было нужно. Ни от него, ни от кого другого. Ее устраивало вот это ситцевое платьице, бусы, вечерние прогулки, смешливая милая игра без прошлого и будущего.

Он с трудом удерживал накопленные упреки. Всякий раз он давал себе слово объяснить, предъявить ультиматум, и всякий раз откладывал, чувствуя, что это ни к чему не приведет. Существовала какая-то невидимая граница, которую он не мог переступить. Может быть, следовало выждать, запастись терпением, но у него уже не хватало сил.

На ученом совете при обсуждении хода работ группы Данкевича присутствовали члены комиссии, молоденький журналист, какие-то представители и прочие любопытные. Заседание было обставлено весьма демократично, несмотря на то, что Дан возмущался и требовал удалить посторонних: «У нас здесь не цирк». Это прозвучало оскорбительно. Своей излишней резкостью он восстанавливал против себя даже нейтральных.

Он не скрывал неутешительных результатов, принимая все удары на себя. На вопрос о хотя бы примерных сроках работ Дан сперва отказался отвечать, потом стал язвительно высмеивать спрашивающих: через десятки лет или завтра, а может быть, он вообще при жизни не успеет, что не вызывает у него никакого беспокойства, ибо он уверен, что к тому времени и члены комиссии уразумеют, что работать только на сегодняшний день, избегать рискованных работ, рассчитанных, может быть, на десятки лет, — типичное браконьерство. При таком подходе Циолковских не получится. Мы достаточно сильны, чтобы думать о будущем.

На вопросы о практическом значении исследований он заявил, что никаких полезных применений тема не имеет. Это была неправда. Можно было связать их исследования с радиотехникой, навигацией; сохраняя максимальную щепетильность, можно было раскрыть ценность теории, допустим, для того же атмосферного электричества. Но Данкевич шел напролом, не замечая расставленных лову-

шек, а может, он и замечал, но не желал снисходить до участия в этой схватке.

— Какой же смысл имеет ваше исследование? — спросил журналист и занес над блокнотом шикарное белое вечное перо.

— Мы добиваемся научных результатов.

— Что это даст нашей технике?

— Ничего не даст, ничего, — сказал Данкевич. — Вам нужно, чтобы мы увеличили выплавку чугуна, так мы этого не делаем. Просто интересная проблема. Интересная, и больше ничего.

За последнее время он еще больше исхудал, остался только профиль. «Не телосложение, а теловычитание», — как говорил Полтавский. Часто схватывало сердце, он злился не из-за неудач, а оттого, что его отрывают от дела. Вскинув огромную голову с седеющей шевелюрой, он нетерпеливо и презрительно пофыркивал, напоминая загнанного оленя, сильный и в то же время беспомощный, как рыцарь в латах перед пулеметом.

Журналист весело строчил в огромном блокноте.

— Вы отрицаете необходимость тесного переплетения науки с техникой? Вы за отвлеченную, чистую науку? Что же вы хотите получить?

— Не знаю, — сказал Данкевич. — Если бы всякий раз исследователь точно знал, что он хочет получить, мы бы никогда не открыли ничего нового.

Тут Крылов не выдержал и крикнул: «Правильно!» — и зааплодировал, за что его чуть не удалили с совета.

Председательствовал Лагунов. Он спросил:

— До сих пор вы получали одни отрицательные результаты?

— Они тоже имеют ценность.

— На одних отрицательных результатах наука не может двигаться.

К сожалению, даже друзей Данкевича ход работ не устраивал. Подсчитать можно что угодно, но опыты, опыты не подтверждают. Да и сама установка без мощных конденсаторов, вызывающе простенькая, не внушала доверия. Выступали теоретики из смежного института, чувствовалось, что им неприятно обличать неудачу Дана, не хочется играть на руку Денисову и прочим, но добросовестность брала свое: осторожно и мягко они склоняли Дана переключиться на какие-либо побочные результаты

исследования, заняться частной задачей. «Если бы атмосферным электричеством, если бы они вразумили его. . .» — молитвенно шептал про себя Крылов.

Пользуясь ситуацией, — наконец-то! — Дана наперебой принялись поучать те, кого он называл посредственностями, импотентами, кто всегда чувствовал себя под угрозой, чьи работы он высмеивал, — начальники отделов и лабораторий, которые годами занимались пустяками, но зато никогда не рисковали и не ошибались. В свое время Дан пытался избавиться от них институт и не смог. «При нашей заботе о человеке, — говорил он, — легче не принять хорошего работника, чем уволить плохого».

Мазин, пятый год ходивший в аспирантах, «дедушка русской аспирантуры», намекнул на наличие культа: плохо, когда окружают себя ослепленными почитателями, вот, например, Крылов, вспомните, как он рвался к Данкевичу, дошло до того, что Крылов чуть ли не обожествовал Данкевича.

Не возлагая особых надежд на успех дановских работ, Аникеев тем не менее защищал его, яростно нападая на проклятую привычку жить в науке сегодняшними заботами. Он свирепел оттого, что приходится доказывать элементарную истину — никогда нельзя предугадать результатов поиска. Выразительно оглядев Лагунова, он сказал:

— Сам господь бог не предвидел последствий, сотворив человека.

Дан отрешенно взирал на спорящих со своей снежной вершины. Казалось, его несколько не огорчает ход обсуждения.

— Голосованием в науке нельзя решать, — сказал он. — При чем тут большинство? Бездарей всегда больше, так уж устроена природа.

— Вы что же, считаете, что в институте большинство бездарей, или как? — багровея, спросил Лагунов.

— Да, да, поясните, пожалуйста, — сказал журналист.

— А мне все равно, что вы там напишете, — сказал Дан.

Крылов наклонился к Аникееву.

— Надо что-то делать. Он идет вразнос. Они съедят его.

— Подавятся, — сказал Аникеев. — Не те времена.

Казалось, что Данкевича вскоре снимут, и с треском, но ничего не происходило.

Аникеев знал, что говорит: несмотря на все старания Денисова, работы Дана даже зажать не удалось. За него вступились отраслевые институты и президиум Академии. То ли они еще надеялись на успех, то ли вообще считали неправильной политику запретов; приезжал вице-президент и полностью поддержал принцип свободного поиска в подобных темах.

Но, с другой стороны, и Денисов по-прежнему продолжал раздувать свои проекты воздействия на грозу зенитными снарядами, и видно было, что выступления Дана ни к чему не привели.

Создалось странное равновесие. «Д минус Д равно нулю, — провозгласил Полтавский. — Может быть, сие и есть благо — каждый должен иметь возможность доказать свою правоту». Но Крылов предпочел бы, чтобы их работу закрыли. Обсуждение на совете подкрепило его сомнения. Он не желал видеть Дана, зашедшего в тупик, когда придется признаваться в полном провале.

Вскоре Дан отказался от руководства институтом, ссылаясь на здоровье. Его действительно одолевали сердечные приступы.

— Он хочет сосредоточиться на нашей работе, — утверждал Полтавский. — Если бы он не был уверен в ней, он не решился бы на такое.

Крылов недоверчиво хмыкал. Савушкин заикнулся было, что Дана вынудили уйти, но его подняли на смех, и неожиданно для всех стало ясно, что у Денисова-то силенок не хватает! Пророки осрамились, оказалось, что Денисова можно критиковать, и он уже не в состоянии преследовать за это так, как прежде. И нечего его бояться, Д минус Д равно не нулю, а прогрессу!

Тулин пробовал охладить их восторги:

— Так то Данкевич, то, что разрешено Юпитеру, не дозволено младшим научным сотруднякам.

Но и он был смущен. В общем-то его страхи не оправдались.

В конце зимы Дан слег. Немедленно последовали неприятности: урезали деньги, сократили часы работы на вычислительных машинах; заказы в мастерских — будьте любезны, в порядке очереди.

Прикованный к постели, Дан нервничал, болезненно

переживая малейшие помехи. Он был уязвим, как слон, громадный, неповоротливый. Тулин видел в нем нечто старомодное, но для Крылова он был скорее откуда-то из будущего. Теперь масштабы замыслов Дана пришли прямо-таки в трагическое несоответствие с возможностями и средствами лаборатории, и самое ужасное, что Дан по-прежнему не желал ни с чем считаться.

Внезапно решившись, Крылов отправился к Лагунову, исполняющему обязанности директора.

— Как вам не стыдно! — сказал Крылов. — Вы-то понимаете, что так нельзя.

Большую часть розового лица Лагунова занимали огромные очки в роговой оправе. Некоторое время он с любопытством разглядывал Крылова откуда-то из-за линз, словно какую-то букашку в микроскоп.

Лагунова в институте побаивались, и для Крылова подобная дерзость могла кончиться плохо. Но Лагунов вдруг сказал:

— А что? Мне импонирует, когда так, по-простому, по-русски. . . Вы мне давно нравитесь, Крылов.

Выяснилось, что он знает работы Крылова, ценит его талант, считает достойным научной самостоятельности. Крылов покраснел: впервые в жизни его хвалили так откровенно, категорично, что называется, в лоб. Больше того — оказалось, что и Данкевича Лагунов весьма уважает и ценит.

— Войдите в мое положение, войдите, — сказал Лагунов и сделал волнистое движение рукой. — Масса факторов. Невероятная сложность. Спасать Дана от него же самого. Попробуйте. Плюс окаянный характер Дана. — Он понизил голос: — А тут еще Денисов. Давление. Я вам доверяю. Скажите, Сергей Ильич, вас устраивает то, что делает Данкевич? Откровенно.

Вероятно, следовало уклониться, смолчать, но он ничего не мог поделать с собой.

— В ближайшее время на результаты рассчитывать не приходится.

Глаза Лагунова понимающе прикрылись.

Польщенный вниманием, Крылов принялся развивать свои взгляды:

— Он имеет право на ошибку. . . Я часто думал. У нас слишком много людей, которые хотят успеть все при жизни. Но, с другой стороны, даже ему не всегда видно. . .

Еще не было гения, который не хотел бы сделать больше того, что в состоянии. Он принимает ход напряженности по высоте. . .

— Эх, вы. . . не любите вы своего учителя! — сказал Лагунов.

Крылов остался с открытым ртом.

— Не верите вы в него, — сказал Лагунов. — А я верю. Вы, молодежь, вообще не верите. Ни во что. Надо ему, бедняге, отдохнуть. Годик. К тому времени страсти утихнут. Он соберется с мыслями, и все будет хорошо.

— Пожалуй, это идея, — неожиданно для себя согласился Крылов.

— Уж вы положитесь на меня. — Лагунов мягко провел по своим вьющимся желтым волосам. Говорили, что он завивается и подкрашивает волосы хной. Чистенький, блестящий, словно отлакированный, он производил приятное впечатление, пока не улыбался. Стальные зубы делали его улыбку жесткой.

— Так будет лучше, — сказал Лагунов со значением. — А лично вам не стоит этот год терять. Мыкаться. В науке создают до тридцати лет. Потом обрабатывают полученное. Развивают.

Заботы и доверие Лагунова покоряли. Крылов удивлялся и радовался тому, как совпадают их мнения, и тому, что Лагунов никакой не злодей, а простяга, попавший в сложный переплет, но готовый все сделать, что можно, для Дана. По-деловому и заботливо он предложил Крылову провести этот год в кругосветной экспедиции на геофизическом корабле.

— Вы мне дороже, чем Данкевич, — грубовато признался Лагунов. — За вами будущее. О Данкевиче позаботятся без вас. Многие хлопочут. Вам надо больше думать о себе. Советую. Не мешает.

Лена — та запрыгала от восторга. Шутка ли, объехать мир! Ямайка, ямайский ром. Азорские острова. Какие могут быть разговоры! Счастливчик. Соглашаться не раздумывая. Ради чего еще жить на этом шарике? Так и жизнь пройдет, как Азорские острова. Хоть бы Азорские, а то Васильевский остров — вот и вся романтика. Поехали покупать значки и сувениры. Она радовалась за него так, что стыдно было ее в чем-то упрекнуть или подозревать.

Несмотря на все старания, поле между пластинами искажалось. Не должно было искажаться, а искажалось. Струя распыляемой воды должна была создавать нужные заряды, а не создавала. Крылов в отчаянии отшвырнул пробник. После разговора с Лагуновым он перестал понимать затеи Дана, и все пошло кувырком. Никакого сочувствия у Полтавского он не находил. Полтавский принял роль бессловесного исполнителя. «Мне поздно отступать, — доказывал он, — я пойду до конца». Он разыгрывал из себя солдата-служаку и не желал обсуждать действия Дана. Верить так верить. Дан — антенна, принимающая сигналы из будущего. Дан мыслит категориями, недоступными обыкновенным смертным. Правда, тут же он высмеивал и самого себя и Крылова, цинично восхищаясь денисовцами. Эти дельцы многого достигнут. Переметнуться бы к ним, да совесть мешает. А хочется, ох, как хочется. Крылову тоже небось хочется.

— Мне надоело верить! — негодовал Крылов. — Почему я должен верить? Во что я должен верить?

— В светлое будущее. И вообще старшим надо верить.

— Слыхали. Не желаю. Хватит.

И в ярости выпрямил руками сердечник, который накануне тщетно выпрямляли всей лабораторией.

В коридоре он столкнулся с Лагуновым. Тот осведомился насчет поездки. Крылов мысленно перебрал самых дальних предков Лагунова по женской линии и закончил вслух, что, к сожалению, Данкевича покинуть он не может и от поездки отказывается.

Лагунов попросил подумать, не торопиться, желающих ехать много, но он все же придержит место для Крылова.

Болезнь повлияла на Дана. В нем появилось какое-то лихорадочное нетерпение. Он спешил, ни с чем не желая считаться, ничего не объяснял, гнал и гнал, нарушая прописанный врачами режим, словно боясь не успеть. Из-за горячки пороли глупости, участились неудачи. Крылов перестал понимать ход работ, никто не поспевал за мыслью Дана. Крылов с тоской убеждался в тщетности их усилий. Кому нужно то, что они делают? Да и что они делают? Все это впустую, впустую.

Началось, как всегда бывает, с пустяка. Обнаружили,

что трансформатор не годится, придется мотать новый на повышенное напряжение.

— Неужели нельзя было раньше догадаться? Тут семилетки достаточно! . . . — поразился Дан.

Уничижительный тон его звучал непереносимо: снизить и доказать, что только круглый идиот вроде Крылова мог довольствоваться этим напряжением, — на это Дан не желал тратить время.

— По-вашему, я ничего не соображаю. Но вы сами еще недавно принимали напряжение стандартным.

— Надо было вам подсчитать. Для нового режима оно не годится.

— Я не поспеваю за вашими вариантами. У нас что ни день, то новая идея.

— Мне некогда с вами спорить.

— Но так нельзя работать. Сколько можно!

— Столько, сколько нужно.

Тут он решил выложить Дану все начистоту, образумить его, уговорить переждать, отказаться от этой безумной гонки, но вместо этого он выпалил:

— Я не могу делать то, чего не понимаю! Я для вас тугодум. К вашему сведению, у меня тоже есть свое мнение. . . я не могу так. . . впустую. . .

Если бы Дан хоть одним словом утешил его, пожалел, но огромные черные глаза по-прежнему бесстрастно, неумолимо взирали откуда-то сверху, с той ледяной вершины, куда не доносились никакие крики о снисхождении.

— Не знал, что вас интересует быстрый успех, — сказал Дан. — Что ж, раз так, то вы станете доктором. Вы будете писать толстые учебники. Вы будете читать лекции. Возможно, вы станете директором института.

— Да, я предпочитаю реальное дело. Я предлагал заняться атмосферным электричеством. То, что мы делаем, никому не нужно. Есть люди, для которых я не тупица. Вот увидите! . . . Вы не считаетесь с нами. . . Все равно у нас ничего не выйдет.

Небожитель спустился на землю, и Крылова ослепил лик разъяренного божества.

— Значит, вы не верите?

— Но ведь вы не можете поручиться, вы сами видите. . . — заглушая свой страх, воскликнул Крылов.

— Раз вы не верите в нашу работу, тогда все понятно, — сказал Данкевич.

— Что понятно, что понятно? . . . — Крылов лихорадочно отключал один рубильник за другим. — Очень рад, что понятно. . .

Через два дня Дан сказал ему, что подписал характеристику на поездку в экспедицию. Крылов начал было извиняться, но огромные черные глаза Дана смотрели куда-то вдаль, и Крылов мог поклясться, что Дан уже не слышал его.

Снаряжение, инструктаж, тарировка приборов, сувениры, выпрашивание всяких справочников, предотъездная горячка. . . Он опомнился уже на борту парохода. Приехал Тулин из Москвы, и они стояли у причальной стенки — Лена и Тулин — и махали ему руками. Лена плакала. Она улыбалась, махала рукой, и твердые загорелые щеки ее блестели от слез. И хотя у Крылова сжималось сердце, ему радостно было видеть эти слезы. Накануне в последний раз они поехали на мотоцикле, Лена неслась как сумасшедшая по мокрому, в желтом крапе осенних листьев шоссе, обгоняя машины. Деревья вдоль обочины сливались в оранжевый ветер. Крылов наклонился вперед и спрашивал: «Ты будешь скучать?» Плечи ее вздрагивали, и он был счастлив.

Правда, порой становилось тревожно и хотелось бросить все, отказаться, остаться здесь.

Но он знал, что через несколько дней все началось бы сначала, опять он сидел бы долгими вечерами и ждал ее.

Да и не мог он теперь отказаться от поездки.

Сейчас он ни о чем уже не вспоминал и ни о чем не жалел. Он держался за поручни, охваченный горделивым чувством уезжающего, снисходительным сочувствием к тем, кто остается на этой безопасной, благоустроенной земле.

В лязге якорных цепей, в гудках буксиров, в последних словах команды ему слышался шум знойного сирокко, холодная свежесть океана и далекие чужие порты на зеленых берегах Африки.

Тулин жестикулировал, изображая охоту на тигров или еще каких-то хищников, пляски с туземцами. Тулин был весел. У него вдруг в последнюю минуту как-то все благополучно обошлось. Денисов никаких условий не

поставил, принял милостиво, но в общем-то безразлично. Гроза его больше не занимала.

Крылов ничего не понимал: после всех шумных обещаний Денисов, казалось бы, должен торопиться изо всех сил, срок-то обещаний надвигается. Наслаждаясь его недоумением, Тулин сообщил, что Денисов скоро выступит с новым предложением долгосрочных грозовых прогнозов. Опять готовится шум, статьи, заседания. А после прогнозов будет еще что-нибудь, например промышленное использование атмосферного электричества. И всякий раз обещание скорых выгод, связь науки с практикой, избие-ние противников, новые должности и новая слава. Крылов не верил, настолько это казалось нелепым, бессмысленным. Как же Денисова слушают, ведь раз он не выполнил одного обещания, так и новым не должны были доверять? Но Тулин приводил факты, одни факты, без особых комментариев, и Крылов убеждался, что почти вся история возвышения Денисова построена на подобных посулах, почти никогда не оправдываемых. Так, Денисов, в свое время спекулируя на Мичурине, выдвинул идею искусственного климата, затем электризации почвы для повышения урожайности, искусственных испарителей. В итоге — миллионы, угробленные впустую, книжки, статьи, новые подхалимы и одураченные молодые энтузиасты.

— На чем же он держится? Что же он сделал? Почему все слепые?

— О! Денисов — великий ученый! — торжествующе ответил Тулин. — Он открыл закон, который стоит всех наших работ. Закон гласит следующее: люди любят, чтобы их обманывали надеждами. Люди хотят верить тому ученому, кто обещает скорые блага, а не тому, кто обещает долгие трудности. При этом люди стараются забыть прошлые неудачи, у них короткая память на плохое, они предпочитают будущее прошлому. Новые обещания куда важнее старых разочарований. Пока суд да дело, пока разберутся, пока там кто-то вспомнит прежние сроки, Денисов уже далеко, он уже манит новой синей птичкой.

Тулин говорил и говорил без конца, в восторге оттого, что ему не пришлось совершить ничего некрасивого, и был рад тому, что Крылов послушался его, развязался с Даном и едет, — он даже не скрывал своей зависти, что было совсем удивительно.

Покидая лабораторию, Крылов передал установку, свои расчеты Полтавскому, отдал ему и недописанную статью, выложил всевозможные идеи. Ему ничего не было жаль, он старался заглазить чувство вины перед Даном.

Вина состояла в том, что он не сумел убедить их отказаться от этой безнадежной работы. Вот и вся его вина. Бедняга Полтавский затыкал уши, спасаясь от его доводов. Цеплялся как одержимый за свою веру в Дана, ничем другим защититься он не мог. Он, как фанатик, твердил, что если сам Дан не может увидеть ошибку, то как же мы можем. . . В конце концов Полтавский признался, что тоже не понимает Дана, и не может понять, и не надеется понять, потому что Дан мыслит на другом уровне, может быть, тут интуиция; идеи Фридмана тоже начинают только сейчас осмыслять и всякое такое. . . Крылов высмеял его. Слепая вера — это для религии. А оправдывать то, чего не понимаешь, да еще служить этому, — дудки! Известно, к чему это приводит! Полтавский спросил: что же, недоверие дает право на неверность? На что Крылов удачно ответил, что, конечно, фанатику всякая свобода кажется неверностью, но фанатики — это рабы, а не хозяйева мысли.

Дан стоял у стенда, посасывая кончик карандаша. Крылов хотел попроситься, но Дан смотрел насквозь, не отличая его от мебели, и Крылов убедился, что он уже начисто не существует для Дана, и если сейчас попроситься, то Дан удивится и будет соображать, откуда взялся этот парень. Было непостижимо и обидно, как мог Дан так легко вычеркнуть его из памяти, забыть все, что сделано, и после этого они еще смеют упрекать Крылова. . . Но он никак не мог вспомнить, кто были эти *они*.

Отъезд должен был удобно, просто и мужественно разрешить эту канитель, и Крылов испытывал сейчас сладостное ощущение свободы от Дана, от его беспокойной требовательности, от необходимости делать то, во что не веришь.

В синем пушистом свитере, с непокрытой головой, Крылов стоял, широко расставив ноги, сжимая холодные поручни; дул осенний ветер, пахнувший пароходным дымом и свежестью черной воды. Все было прекрасно, и было непонятно, чего же не хватает.

Неотрывно глядя в глаза Лене, он кричал о каких-то

пустынях, и все это было не то, как будто он забыл что-то крайне нужное и никак не мог вспомнить.

Пароход медленно, толчками отваливал, и вскоре город с его трубами, шпилями отдалился, разворачиваясь по горизонту, а Крылов все еще видел ту точку на берегу, откуда смотрели на него блестящие глаза Лены.

Вернулся он через восемь месяцев.

В чемодане его лежала толстая папка с таблицами измерений. Ему удалось установить некоторые любопытные аномалии напряженности электрического поля. Замеры производились круглые сутки. В Бискайском заливе во время шторма он работал, привязавшись канатом к мачте. Вблизи Мадагаскара он заболел малярией, и его так колотило, что он не мог записывать. Он лежал на палубе и умолял океанологов оторваться от своих камер и помочь ему переставить приборы. Два дня провели они на островах. В саду у храма прыгали обезьяны. Ночью бил бубен, бешено крутилась неоновая реклама бара, и голый индус-писец сидел на улице и стучал на пишущей машинке прошения.

В светящейся воде залива покачивались разноцветные фелюги с фонариками на тоненьких ряях. Крылов сидел на веранде портового кабачка под шумным и холодным ветром эр-кондишн и думал о том, как запомнить все это и привезти Лене.

На Азорских островах диковинные кактусы росли на обочинах дорог так же, как в Боровичах лопух и репейник. Бетонная полоса аэродрома сбегала прямо в море. В магазинчике продавали дутые браслеты с эмалированными каравеллами. Пахло китовым жиром, и белые, выжженные солнцем скелеты китов лежали на берегу, подобно каркасам диковинных построек.

Собирались у рации, ловили последние известия. Кубанцы хорошо провели сев. Заканчивается новая очередь ленинградского метро. Пустили Иркутскую ГЭС.

На обратном пути, в Гавре, была встреча с французскими геофизиками. Узнав, что Крылов работал у Данкевича, французы прокричали «виват». Профессор Дюра с пафосом провозгласил тост за страну, которая имеет такого ученого, как Данкевич.

От них Крылов услышал, что месяц назад на между-

народном конгрессе Полтавский зачитал доклад Дана о новой теории электрического поля. Последние полеты советских спутников дали богатый материал, гипотезы Дана полностью оправдались, теория поля блестяще выстраивалась. Пользуясь ею, можно было сконструировать новую аппаратуру для космической навигации. Неожиданно открылись новые возможности для борьбы с радиопомехами, новые методы расчетов в радиоастрономии.

Ночью Крылов стоял на корме. Масляно-гладкая волна неотступно лепилась к борту.

Не поверил. Не поверил, а они добились своего. Тот, кто не верит, ничего не добьется. Надо уметь верить. Надо. . . сметь верить.

Что из него получится? Доктор наук? Предисловие? Но ведь кто знал? А разве надо делать, что знаешь? Надо делать то, чего не знаешь.

На свете слишком много «надо» и «должен».

Ошибка не предостерегает от новых глупостей.

Можно ли было предположить? Он вспоминал, и теперь ему казалось, что даже ошибки Дана были мудрыми, и неизбежными, и наиболее экономными из возможных. Очевидно, в науке только ошибка индивидуальна, истина безлично-одинакова для всех.

Надвинулся влажный, душный туман. Пароход шел, подавая короткие, тоскливые гудки. Невнятно-тяжелое чувство душило Крылова. Он чувствовал себя обманутым, и винить в этом обмане было некого. Не различить было ни моря, ни палубы. Со всех сторон облепило серое, плотное. Он все хотел глубоко вздохнуть — и не мог.

Серенькое ленинградское небо стряхивало последний мокрый снежок. Буксир хлопотливо, долго подтаскивал корабль к пирсу. И все время, пока пришвартовывались, Крылов искал в толпе встречающих Лену и не находил.

Сойдя на берег, он несколько раз прочел вслух надпись на пакгаузе: «Курить воспрещается», засмеялся. Было удивительно и радостно, что все кругом говорят по-русски и надписи русские.

Тут же из порта он позвонил Лене на работу. Пока за

ней ходили, Крылов стоял, закрыв глаза, и все гадал, какое первое слово она скажет, услышав его голос.

— Ты откуда? — спросила Лена.

— Из порта.

— А-аа!

Она замолчала, и он оцепенел, не в силах нарушить этого быстро растущего молчания. Они словно настороженно прислушивались друг к другу, ухо к уху.

— Сереженька, у тебя все в порядке? — наконец спросила Лена и, не дожидаясь, быстро заговорила: — Я очень рада. Я тебе написала, у тебя дома лежит письмо. Я выхожу замуж. Ты его не знаешь. Это так внезапно все случилось. Я даже не могу ничего объяснить. — Ее неловкость уже исчезла. Доверчиво и восторженно она шепнула: — Сереженька, я его ужасно люблю!

Крылов повесил трубку, взял чемодан и зашагал к автобусу. Ему полагался двухнедельный отпуск. Он никуда не поехал. Утром он спускался, покупал кефир, батон и затем целый день валялся на кушетке.

Таким его и застал Тулин.

Он прилетел из Москвы на похороны Дана. Крылов ничего не знал о смерти Дана.

Три дня назад Дан умер от инфаркта.

Тулин вдруг заплакал. Он стоял в своем щеголеватом, стального блеска реглане и плакал, яростно вытирая кулаками слезы.

— Такого, как Дан, не будет. Справедливость! Где она, так ее перетак, — сказал он. — Кретины живут. Мразь всякая живет, таскает свое брюхо с места на место. Неужели нельзя было его мозг спасти?! Пересадить, что ли, сохранить? Любой ценой. Я стоял и смотрел, как закапывают в землю такой мозг. Из-за какого-то сердца! Сразу пусто стало на земле.

Крылов прислушался к своему сердцу, оно билось ровно, как будто ничего не произошло. Открывались клапаны, и закрывались клапаны, из правого желудочка в левое предсердие, без всяких пороков и аритмии, никому не нужное здоровенное сердце еще одного здорового туловища. Тулин что-то говорил, потом Крылов поехал его провожать, пил с ним на вокзале и все время потирал лицо, пытаясь размять одеревеневшие мускулы.

Тулин спросил мимоходом как, что. И так же мимоходом Крылов сказал о Лене.

— От женщин одно лекарство — женщина, — вяло бросил Тулин, и принялся рассказывать, как последние месяцы Дан работал по шестнадцать часов в сутки, не щадя себя, привел в порядок все материалы, как будто точно знал дату своей смерти. Он ни на что не отвлекался, не обращал внимания на наскоки Лагунова, на фельетон. Он был выше этого.

— Какой фельетон? — спросил Крылов.

— Ах да, ты не знаешь... — Тулин покачал головой.

Фельетон «Вдали от науки» появился сразу после отъезда Крылова. С восторгом разоблачителя журналист — тот самый, спокойно сообразил Крылов, который сидел на ученом совете, — описывал, как лаборатория Данкевича переливает из пустого в порожнее, растрачивая государственные средства. При этом проповедуются старомодные взгляды о чистой науке, да еще выступают против Денисова, работающего на наше народное хозяйство. Неудивительно, что даже ученики Данкевича, разочарованные в его работе, уходят. Так, например, Савушкин. Молодой ученый Крылов вынужден был уехать в экспедицию на корабле «Богатырь», после того как выступил с критикой Данкевича...

— Но ты же знаешь, что все было не так, — в страхе сказал Крылов.

Тулин рассеянно отмахнулся.

— Я уверен, что Дан и не читал этого фельетона.

— Да что из того! — закричал Крылов. — При чем тут — читал он или не читал...

Назавтра Крылов пошел в библиотеку, взял подшивку и внимательно перечел фельетон. Из библиотеки он отправился в редакцию газеты, дождался журналиста и попросил поместить в газете опровержение.

Журналист не сразу сообразил, о чем идет речь.

— Позвольте, но ведь прошло полгода, — поразился он. И, улыбаясь, похлопал Крылова по плечу. — Выспались, да и профессор-то ваш помер.

— Это не имеет значения, — сказал Крылов. — Я-то жив. Разве я отказывался от него? У меня были совсем другие мотивы.

Журналист посмотрел на часы.

— Не морочьте мне голову. Говорили вы Данкевичу, что несогласны? Поругались? После этого умотали?

И вообще о вас-то ничего плохого я не написал. Наоборот. Чего ж вы шумите?

— При чем тут я! Ваш фельетон оболгал Данкевича. Вам известно, что его работа полностью оправдалась?

Он, словно очнувшись, рассказал про французов, про аппаратуру для спутников. Журналист играл роговыми очками, и светлые, плоские глаза его смотрели нагло и весело.

— Все? — спросил он. — А вы — штука! Ежели такое значение, такая работа, так чего вы-то уехали? Вы ж уехали? Нет, товарищ Крылов, требуя принципиальности от других, будь принципиален сам. Если вы не знали, что так все повернется, откуда я мог знать? Да и кому поможет теперь то опровержение? . . . — Он завистливо посмотрел на галстук Крылова. — Парижский?

«В том-то и дело, — подумал Крылов. — В том-то и дело, что этот сукин сын прав, мне уже ничего не поможет. Вот она, расплата, даже перед такими подонками не оправдаться. . .»

В институте никто не припоминал ему случившегося. Полтавский не торжествовал, ни о чем не расспрашивал, словно потеряв всякий интерес к нему. Что это было? Великодушие? Снисходительность? Безразличие? А может, они презирали его? Все, все могло быть, потому что он падло, ничтожество, шлепнулся в дерьмо мордой. Он казнил себя и сторонился друзей, не желая ни с кем разговаривать. Иногда за целый день он перекидывался только двумя-тремя фразами с официанткой или с кем-то из планового отдела. Он сидел в пустынном читальном зале и оформлял отчет по экспедиции. Ровно в шесть складывал бумаги и вместе со служащими спускался в гардероб. До позднего вечера бродил по улицам, ужинал в молодежном кафе, стараясь прийти домой позднее, чтобы сразу завалиться спать. Он избегал оставаться наедине с собой. Впервые он постигал ужас настоящего одиночества.

После смерти Данкевича институт лихорадило. Аникеев и Полтавский резко выступали против Лагунова, но Лагунов и его сторонники всячески превозносили Данкевича, и получалось так, что они защищали Данкевича от Аникеева.

И те и другие словно забыли о существовании Крылова.

Однажды, встретив Лагунова в коридоре, Крылов попробовал с ним объяснить; это ни к чему не привело. Лагунов ничего не помнил, никакого разговора, никаких советов. Он сказал громко и укоризненно:

— Предупреждал я вас. Недооценили.

Одиночество окружило его безвыходным кольцом. Он сразу лишился всего: не было ни друзей, ни Лены, ни настоящей работы, ни будущего.

О Лене он думать себе запретил. Категорически. Не сметь касаться. Ничего не было. Ни ее рук, ни ее смеха. Ее вообще не существовало. Она не приходила в эту комнату, не лежала на этой кушетке. . . Надо прочитать по-смертную статью Дана. Лена нравилась Дану. Она всем нравилась. . . Защитить диссертацию, тогда посмотрим, она еще пожалеет. Но в том-то и дело — стань ты хоть академиком, ей наплевать. Ее надо забыть. Вычеркнуть. Уехать из этой комнаты. Спать. . .

. . . А сон был веселый, шумный. Снилось КБ, общежитие, Вася Долинин и Ада, они куда-то ехали, и Крылов был с ними, в коротком пиджачке с цветком, и тут же был цех, и красные бачки выключателей. Все смеялись и за что-то качали Крылова, он летал все выше и выше. . .

Проснувшись, он долго лежал, вспоминая, как хорошо было ему, когда он работал в КБ, наверное, там-то и было его настоящее место.

В тот же день он поехал на завод к главному конструктору и попросил принять его на работу.

— У тебя скверный вид, — сказал Гатенян.

По его глазам Крылов вдруг понял, насколько плохи его, Крылова, дела.

— Мальчик, мальчик, — сказал Гатенян. — Желудь не может вернуться обратно на ветку. Надо быть самим собой, человек должен быть самим собой, чего бы это ни стоило. Хочешь, я поеду в институт. Скажи, что тебе надо, мы поможем. Но на завод я тебя не пущу.

В приемной сидела Ада.

— Что случилось? — спросила она. — Зачем ты приехал?

— Дела, дела. . .

— Как у тебя?

— Чудесно.

Она проводила его до проходной, и он рассказывал ей про свою поездку.

Полтавский верил в Данкевича, а ты не верил, ты верил только себе — и провалился. Значит, нельзя доверять только себе? Но если не верить себе, то как же можно оставаться самим собой? Нет, погоди, а почему ты не поверил? Вспомни, как все было, с самого начала. Это произошло тогда, когда возникла идея об атмосферном электричестве. И Дан не разрешил тебе заняться ею. С тех пор тебе стало нетерпиться, тебе казалось, что вы делаете не то, что все затягивается на годы. Ты заболел своей идеей и все остальное тебе только мешало.

Полтавский — солдат, которому нужен генерал; пока у меня не было *своего*, я тоже был солдатом. Я могу верить только в свою собственную идею. Может быть, это плохо, но иначе я не могу.

Ах, какой же ты красавчик, какой ты пай-мальчик! Ловко ты вывернулся. Получается, что ты ни в чем не виноват? Сука ты, вот ты кто, а может быть, хуже. Что стоит твоя идея по сравнению с работой Дана? Она выросла из работ Дана. Он прокладывал тебе дорогу, а ты бросил его. Кто же тебе теперь поверит? Дана нет, и все погибло. Ты сам погубил все.

Взяв себя в руки, он построил логическую схему, которая привела его к тому, что жизнь потеряла всякий смысл, и он принялся писать предсмертное письмо. На десятой странице он обнаружил, что рассматривает природу шаровой молнии и составляет примерные расчеты. Глупо было появляться на этот свет, и еще глупее умирать, ничего не сделав.

На институтском активе Полтавский обрушился на Крылова, приводя его как печальный пример морального банкротства в науке.

Неожиданно для всех Лагунов в своей речи заступил за Крылова. Совсем затравили парня, так нельзя, товарищу в беде надо помогать. Крылов из рабочих. Данкевич никогда бы такое не позволил, Полтавский находится в плену групповых интересов. И пошел, и пошел!

Его выступление понравилось. После актива Савушкин нагнал Крылова на улице и сказал:

— Лагунов — это сила! Держись за него. Он тебя делает теперь проходной пешкой. Это редчайший случай,

когда ему выгодно быть хорошим. Ты небось сейчас презираешь меня. Конъюнктурщик? Точно. Видишь, если бы у меня в отделе был такой порядок, чтобы выгодно было быть хорошим, я был бы самым принципиальным, прекрасным. Но поскольку обстоятельства иные, приходится быть прохвостом. Тяжело. Хорошим быть куда приятней, но что поделаешь. Поехали ко мне, а?

Савушкин недавно получил квартиру, он уже защитил диссертацию и стал завлабом.

Они смастерили отличный коктейль, пили через соломинку, Крылов улыбался: было забавно, как уютно уживались в характере Савушкина беспечность, веселый цинизм и доброта.

Сейчас он получал вдвое больше, но по-прежнему сидел без денег, жена его ругала. «Что поделаешь, подкаблучник», — признался он.

Крылов спросил:

— Ну, а теперь ты счастлив?

Савушкин неожиданно помрачнел.

— Не лезь. . . Счастлив. . . А что мне еще остается?

Его ответ поразил Крылова. Что ж еще остается!

— Мы с тобой прошляпили успех Дана, — сказал Савушкин. — Слишком у нас прямые извилины. Будем мужественны. Пороха нам не выдумать, и зря его выдумали. Нечего пыжиться. Лагунов хорош тем, что мы его устраиваем такими, какие мы есть.

На заседании совета Лагунов посадил Крылова рядом с собой.

При обсуждении плана он предложил Крылову защитить диссертацию по материалам экспедиции.

Приехав из Москвы, он сообщил, что выдвигает Крылова представителем в какой-то международный комитет.

Он дал Крылову отпуск и посоветовал проветриться на лоне природы.

Крылов поехал к сестре в Старую Руссу.

С утра он брал лодку и греб далеко вверх по реке, пока руки не сводило от усталости. Навстречу неторопливо спускались плоты. По скользким бревнам перебежали гонщики с длинными баграми. На плотках белели фанерные шалашики, приносило дымок, обрывки слов.

Измучившись, Крылов ложился на корму. Над водой плясали мошки, рой поднимался, опадал и снова, звеня, взлетал.

Он колол дрова, починил забор, вечерами ремонтировал школьные реостаты и вольтметры. Сестра не понимала, что это за отдых, ей было неловко перед соседями — он, столичный ученый, в переднике красит забор.

Приходил молоденький ветеринар, ее ухажер, пили чай с клюквой, сестра расспрашивала про Азорские острова. «Какой ты счастливый», — вздыхала она. Он был ее гордостью, его ожидало великолепное будущее, он поедет на всякие международные конгрессы, у него будет квартира в Москве, и она будет приезжать в гости. Непонятно, почему он хандрит, ведь нет ничего прекраснее призвания ученого, занятого вдохновенным трудом.

Подумать только, что он сам когда-то пробавлялся подобной чушью. Поди докажи им, что он, оказывается, никогда и не был настоящим ученым, а теперь и вовсе для него наука — служба, ляпка.

Булыжные улицы выводили к белому собору. Городок рано засыпал. Крылов бродил в теплых сумерках и думал, что хорошо бы остаться здесь учительствовать. Он спускался к ночной реке, там все так же плыли плоты с горящими кострами, клубился туман, перекликались гонщики. И вся его жизнь и жизнь окружающих представлялась ему рекой, по которой, хочешь не хочешь, они должны плыть все вместе, связанные своим временем, из которого никуда не выпрыгнуть, хорошее оно или плохое, плыть до конца со своим поколением. А откуда-то сверху надвигаются новые плоты, следующие звенья в бесконечной цепи времени.

Он слышал, как соседский мальчик спросил мать: «А кто такой Сталин?» — и поразился, как быстро все уходит. Неужели когда-нибудь люди будут с трудом вспоминать, в каком веке все это было, так же как он сейчас путается насчет какой-нибудь Пунической войны или Фемистокла: до нашей эры или после?

Стоит ли всерьез чему-нибудь огорчаться в этой жизни? Все пройдет, пройдет и это.

Дудки, сказал он себе, твой номер не пройдет, эти штучки тебе не помогут. Это не для тебя. . . А в чем я виноват? — в десятый раз спросил он. Значит, виноват, человек всегда достоин того, что с ним случается. И все же

это слишком много: Лена, и Дан, и работа — у меня ничего не осталось. . . Лагунов у тебя остался, разлюбезный Лагунов с металлической пастью. А чем ты лучше его? Какое право ты имеешь осуждать его? Ты заслужил еще не такое. Выкинь из головы всякие надежды, никакой ты не ученый.

Ночь скрыла собор и город, деревья ушли с бульвара, из садов, деревья уходили куда-то. Оставалась река, кусты, плывущие сквозь туман.

На заседаниях обсуждали всевозможные планы, составляли отличные решения, бились за формулировки, произносили речи резкие, смелые и речи осторожные, в перерывах поздравляли друг друга с удачными выступлениями, и Крылов обнаруживал, что важно не то, что делается в лабораториях, а то, как выглядит институт на этих заседаниях, упомянут ли институт и на каком месте.

Лагунов возил его с одного совещания на другое, и все совещания были важные, и всюду были солидные люди, которым его представляли как ученика Данкевича. Крылов пожимал руки, с ним советовались, спрашивали его мнение о перспективах науки, он научился мило объяснять, существует ли антимир, исподтишка курить на совещаниях и складывать из бумаги пепельницу. В институте он бывал редко. Лагунов посоветовал ему посадить кого-нибудь из лаборантов обрабатывать отчет.

— Неудобно, это же мой отчет, для моей диссертации.

— Вы заняты более ответственными делами, — сказал Лагунов, и Крылов согласился.

Лагунов терпеть не мог встреч с иностранцами, по его убеждению, ни к чему хорошему эта мода не могла привести, поэтому он сваливал все приемы на Крылова, тот ходил с ними по лабораториям, показывал Ленинград.

К концу дня он чувствовал себя вымотанным, хотя не мог бы толком объяснить, что же он делал. В лаборатории, сидя за приборами, он никогда так не уставал.

Он жил в какой-то дремоте, ни о чем не думал, со странным ощущением нереальности происходящего. Действовал кто-то другой, а он наблюдал и ждал, чем все это кончится.

Перед Новым годом из Москвы приехал Голицын, позвонил и пригласил к себе в «Асторию». Голицын ничего не объяснял, и Крылов дорогой почему-то волновался.

Встретились в ресторане. Голицын был, как всегда, величествен: узкое, породистое лицо аристократа, большие белые руки на старинной палке, зажатой между колен. Говорил бесстрастным голосом, но во взгляде сквозила какая-то подозрительность.

— Незадолго до кончины мне звонил Данкевич. Он сказал, что вы интересовались атмосферным электричеством.

— Да, — сказал Крылов.

— Он просил, чтобы я пригласил вас к себе, в Москву.

Голицын рассказал о работах, которые проводятся в его лаборатории.

Вот тебе и роскошный рождественский дед-мороз. С подарками бедному мальчику. А Лену вы тоже можете мне вернуть?

— К сожалению, поздно, — сказал Крылов. — У меня диссертация на другую тему.

Голицын вынул из кармана пухлый пакет. Крылов издали узнал каракули Дана, и сердце его сжалось. Письмо Дана — наброски плана работ, заметки о механизме грозы, о природе шаровой молнии, о центре грозы. Голицын читал, не обращая внимания на Крылова, словно выполняя свой долг.

— Почему он вам послал это? — спросил Крылов.

Голицын посмотрел на него, немного смягчился.

— Мне кажется, он предчувствовал. У него было два инфаркта подряд.

— Что он говорил обо мне?

— Теперь это неважно, — сказал Голицын. — К сожалению, он ошибся.

— Пожалуйста, прошу вас. Мы с ним расстались...

— Я знаю. Прочел я вам, поскольку он просил меня. Он был уверен, что вы ничем другим, кроме этой темы, заниматься не станете. — Голицын пожевал губами. — Иллюзии, иллюзии... — сердито забормотал он. — Однако не смею задерживать, — и постучал палкой, подзывая официанта.

Высокая елка сверкала дутыми стекляшками. С потолка свисали бумажные фонарики. Крылов смотрел в невыпитую чашку кофе.

— Простите, ежели я вас расстроил, — сказал Голицын. — Может, раньше следовало, да не выходило в Ленинград вырваться, закрутился. По спутникам были работы. Признаться, и не шибко надеялся, нынче редко кому охота обречь себя на многолетнюю... Правда, он меня уверял, что вы обрадуетесь.

Крылов молча кивнул и выбежал.

Морозный воздух празднично пахнул хвоей. Над воротами монтеры крепили большие цифры «1959». Крылов сунул кепку в карман. Голова его горела. Он шел и улыбался, улыбался... Он вдруг почувствовал себя самим собой, он ощущал свои глаза, свою улыбку, красные уши, скрипучую мерзлую крепость земли; люди шли с работы, спешили в магазины, парни топтались у остановки, и он был вместе со всеми ними, как патрон, вскочивший в свою обойму. Иногда у него перехватывало горло, хотелось плакать, и это тоже было счастье.

Значит, Дан помнил о нем, помнил все время, несмотря ни на что, Дан был выше обид, он думал прежде всего про дело, нет, он думал про тебя, он был прежде всего человеком, настоящим человеком. И Гатенян настоящий человек. Они все настоящие люди. Ты понимаешь теперь, что значит быть настоящим человеком, прежде всего человеком... .

В комнате теоретиков давно не собирались. Еще держался застарелый запах курева. Блестели рыжие грифельные доски. Он уселся верхом на стул, лицом к маленькой кафедре и председательскому столику, за которым обычно, запустив руки в свою шевелюру, сидел Дан.

При виде этой кафедры Крылов всегда вспоминал свой первый провал.

А что, если у Голицына ты ничего не сумеешь? — спросил он себя. Способен ли ты поднять такую тему? Господи, наконец-то ты можешь заняться ею! И нечего больше рассуждать, ты слишком много рассуждаешь. А как же быть с диссертацией? Такая легкая, удобненькая диссертация. А как быть с твоей карьерой, и с обещанным тебе комитетом, и с этими бесподобными заседаниями? Порассуждай, тебе полезно, вспомни, как ты просился к Дану хотя был лаборантом, каким ты был шибко

храбрым. Какого черта ты боишься, разве ты все знаешь о себе? Разве ты дошел до предела? Да и есть ли предел, человек сам себе ставит предел, предел в самом человеке, предел — это мужество. К чертовой матери Лагунова, и его расположение к тебе, и твои страхи! Что такое центр грозы — вот что важно. И что такое гроза, и как это все происходит.

Лагунов и Савушкин решили, что он спятил. Зачем к Голицыну? Там же полная неизвестность. Там придется начинать с нуля. «Лагунов тебе этого не простит», — предупредил Савушкин. Но Крылов блаженно улыбался: «А что представляет собой центр грозы?»

Жаль, что вот так и не пришлось выступить с этой кафедры. Он встал и ласково похлопал ее фанерную стенку.

Молодость кончилась. Только и осталось от нее давнее, немного поостывшее желание выступить с этой кафедры. Когда-то ему уже казалось, что молодость кончилась, но теперь-то он знал наверняка, что прощается с ней.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1

Окна самолета были залеплены густым серым месивом. Мелкие капли косо ползли по стеклу. Иногда серое теньшало, процеженное тусклым светом, и тотчас снова подступало сгущенной мглой. Тени клубились, проносились стремительно, тревожно, моторы начинали реветь, и Женя всем телом ощущала напряженную дрожь самолета.

Она вспомнила, как на аэродроме синоптик, крючконосый, зловещего вида старик, сказал ей:

— Не советую, Женечка. Помяните меня, нечего вам там. . . Оставляйтесь.

Синоптик питал к ней нежные чувства. Она хотела расспросить подробнее, но к синоптику подошел Агатов, и они зашептались. И это показалось ей неприятным.

Самолет тряхнуло. Женя оглянулась на Агатова. Он сидел сзади, сбоку. За полторы недели он единственный

нисколько не загорел, сохранял московскую белизну, которая здесь казалась неестественной. Агатов исподлобья следил за Тулиным.

Розоватые отсветы обегали кабину. Женя прильнула к стеклу. Клубы светлели, наливались бегучей прозрачностью. Тонкие клочья неслись все быстрее, легкими дымными хлопьями. И вдруг в какой-то неуловимый миг истоньшавшая пелена прорвалась, и вся кабина самолета озарилась солнцем.

Женя вскрикнула от восторга. Перед ней открылась слепяще-белая долина, с фантастическими замками, башнями, зубчатыми стенами, головами диковинных животных. Тень самолета бежала по холмам и уступам, сделанным из того же белоснежного, чуть подвижного материала. Хотелось выпрыгнуть из кабины и зашагать по блистающей, упругой поверхности этой волнистой страны.

На земле дождила пасмурная хмарь, и не верилось, что где-то может быть солнце. А тут оно сияло неизвестно для кого, в тишине этой снежной равнины, и было непонятно, как может быть на земле пасмурно и дождливо.

На колени упала скомканная бумажка. Женя обернулась. Катя, сидящая через проход, показывала на мигающую сигнальную лампочку. Женя схватила карандаш, записала показания. Приближалась зона повышенной напряженности.

Замечает ли кто-нибудь, что творится за окнами? Нет, все работали, уткнувшись в свои пульты. Катя рассеянно улыбнулась ей и снова наклонилась к счетчику, прыгающему на резиновых оттяжках.

Сквозь открытую дверь в летную кабину было видно, как Тулин что-то показывал пилоту. Солнце высветило резкий профиль Тулина, угол глаза с длинными ресницами.

На второй день после приезда Женя столкнулась с ним. Он не допускал ее и Катю к полетам. В разгар перепалки Тулин вдруг улыбнулся и сказал:

— А ведь мы с вами знакомы. Помните — Москва, парк, гроза, беседа.

— Что ж из этого? — произнесла она ледяным тоном.

Здорово она осадила его, и он не нашелся, что ответить. С тех пор он изо всех сил выказывал ей свое безразличие.

Светлые волосы упали Тулину на лоб, и солнце вызолотило их. Вдруг он обернулся, сразу поймал взгляд Жени и сердито захлопнул дверь. Женя довольно усмехнулась. Она с силой уставилась на взъерошенный затылок Крылова. Прошла по меньшей мере минута, пока Крылов забеспокоился, начал оглядываться. Они встретились глазами, Крылов недоуменно пожал плечами и снова обратился к приборам.

Щеголеватый штурман Поздышев, раскачиваясь, шел по проходу. Латунные застежки его франтоватого комбинезона сияли от солнца. Он посмотрел на Женю и подмигнул ей, она тотчас приняла строгий вид. Забавно, что мужчины чувствуют ее присутствие. Последнее время это случалось все чаще — в метро, на лекциях, в автобусах она замечала устремленные на нее взгляды, и даже если на нее не смотрели, она считала, что это нарочно.

Пристально, повелительно посмотрела она на Ричарда. Он оторвался от прибора, завертелся, поймал ее взгляд и покраснел. Ей нравилось, когда Ричард краснел. У него разом жарко вспыхивали шея, лицо, и Жене в такую минуту хотелось погладить его по горячим щекам.

Единственный, кто сейчас не поддавался ее гипнозу, был Агатов, — сколько она ни смотрела на него, он не реагировал. Его белое лицо, склоненное над приборами, оставалось недоступно деловитым. Он водил головой от приборов к тетради, от тетради к приборам, как мерно работающая машина.

Жене стало скучно. Выключив счетчик, она подошла к Ричарду.

— Я загадал, подойдешь ты или нет, — сказал он.

Ее охватила внезапная досада.

— Подумаешь, гипнотизер! Дай мне бланк.

Он послушно протянул бланк, задержал ее руку и принялся рассказывать про какие-то заряды.

— Голову даю на отсечение, что Тулин абсолютно прав. . .

— Мне надоел твой Тулин, — сказала она. — Помогите, он самоуверенный пижон. Тулин, Тулин. . . Неужели тебе больше не о чем со мной. . .

Он смущенно стиснул ее руку.

— Есть вещи совершенно ненужные и невозможные для роботов, например, юмор. Им юмор ни к чему. И стихи, и сны, и любовь. Они возьмут от человека такие вещи,

как память, точность, логика. А всякие штучки, придуманные людьми ради украшения их тусклой жизни, для роботов — хлам! Здорово? Могу о птицах. . .

— Болтун!

— Я, когда смотрю на тебя, несу всякую чушь. А на самом деле. . .

— Что на самом деле?

— Ты же знаешь!

— Ничего я не знаю!

Она потянула руку.

— Пусти!

— Подожди!

— Пусти! — сердито повторила она, и он опечаленно сник. Его послушность, которая всегда нравилась ей, сейчас злила.

— Хочешь, я тебя поцелую при всех? — пробуя улыбнуться, сказал он тихо, и в глазах у него стояла такая обожающая робость, что ей самой захотелось поцеловать его. Она расхохоталась.

— Об этом не спрашивают. Герой!

Фыркнув, она отправилась в хвост, на свободное кресло.

Однажды она не удержалась, погладила его по щеке, он чуть не задохнулся и расцеловал ее. Это было еще зимой. С тех пор, когда она разрешала ему поцеловать себя, он шалел от счастья. Собственная власть удивляла ее, стоило нахмуриться — и он уже ходил встревоженный, а когда у нее было плохое настроение, то он вообще становился несчастным.

Весной они пошли на выставку польской живописи. Возле картин абстракционистов шумели спорщики. Разумеется, Ричард немедленно вмешался, доказывая, что реализм устарел, передвижники устарели. Конечно, «правильные» накинулись на него, потребовали объяснить, что изображают эти круги и кляксы, и он, конечно, отвечал, что ничего не означают, надо дорасти до понимания современного искусства, невозможно передать словами музыку, попробуйте объяснить слепому, что такое цвет. Эта живопись отражает новую физику — для атома нет разницы между стулом и табуреткой, мир стал богаче, сложнее. Ему кричали: «А Репин?» И он кричал: «Ваш Репин — это примус!»

Когда вышли из музея, Женя робко призналась, что

она ничего не поняла в абстрактной сумятице кругов и размытых линий.

— Я тоже, — сказал Ричард. — Бред!

— Чего ж ты защищал их?

— Бунт! А зачем их зажимают? Дайте мне самому разобраться.

Она с облегчением расхохоталась и сказала:

— Ты мне нравишься.

Лучше бы она этого не говорила: он взбежал на лестницу библиотеки Ленина, обнял колонну и стал тихо смеяться, как псих. Больше от него слова нельзя было добиться, он ничего не слышал, он лишь смотрел на Женю, и идиотски улыбался, и держал ее руку, как будто она была хрустальная.

В глубине души Женя испугалась и обрадовалась — все сразу. До сих пор такое проходило легко и весело. Она влюблялась в учителей, в артистов, на первом курсе влюбилась в молодого профессора и уговорила Катю тоже влюбиться в него, потому что одной было скучно. Целовалась со старшекурсниками, на целине чуть не выскочила замуж за комбайнера, но сама знала, что все это несерьезно. С удовольствием рассуждала с подругами: «Настоящей любви нет, мы дети атомного века, мы свободны от иллюзий». Однако подруги одна за другой влюблялись на всю катушку, плакали, страдали, несмотря на атомный век, и она втайне им завидовала. И вот Ричард. Она почувствовала, что у него это очень серьезно. Обрадовалась — наконец-то по-настоящему, может даже интереснее, чем у других. Он был трогательно нежный, страшно умный, он был аспирант; Голицын считал его талантливым. Он держался дерзко, вечно спорил и только перед ней терялся. Такая покорность льстила и в то же время немножко пугала. Иногда хотелось, чтобы он не был таким послушным и не обращал внимания на ее рассуждения о том, что она терпеть не может нахалов.

В самолете по-прежнему работали. Агатов и Лисицкий совали в трубу промокашку, меряли заряды капель по своей программе; Крылов что-то обдумывал; все были заняты, у всех были какие-то цели, задачи, планы. Все знали, чего хотят. Ричард жаждет стать великим ученым, Катя — скорее столкнуть диплом и выйти замуж. Поздышев — покорять девиц. Одна она не знает, чего ей добиваться. Она тоже защитит диплом и станет чьей-нибудь

женой, может, того же Ричарда, будет работать, растить детей, и будет считаться, что у нее порядок. Быть не хуже других — это мама называет счастьем. Может, сама она тоже покажется себе счастливой. Но когда-нибудь она тоже вспомнит этот день, солнце в самолете, зачарованную страну из облаков, куда она хотела сойти, зашагать, взбираясь на белые горы.

Прижав нос к стеклу, она увидела вдали ярко-белую, точно раскаленную, вершину с утолщением, похожим на гриб. «Типичное Кабе», — подумала она, вспоминая лекции Голицына: «Облака, очевидно типа Кабе, в старину уподобляли мозгу. О, фантазия древнего человека, необыкновенно смелая и образная! Теперь никто не разглядывает облака, теперь слушают сводку погоды...».

Быстро потемнело. Самолет нырнул в облако. В проходе, гремя, покатила жестяная коробка. Пол накрепился. Женя схватилась за ручки кресла. Из кабины летчиков вышел Тулин. Держась за раму дверей, он обежал глазами работающих. Женя поднялась, торопясь вернуться на свое место. В это время самолет швырнуло вниз, потом вбок, Женя упала, и тотчас же ее потащило между креслами, бросило вверх почти до плафонов, она снова упала и вцепилась обеими руками в лежащие на полу шланги. Громяхающая кассета подкатилась к голове и полетела обратно. Раздался испуганный вскрик Кати.

«А что, если смерть? — подумала Женя. — Что скажут обо мне? Двадцать лет. Ничего не успела. Только бы не больно. Никогда не думала, как я умру. Если кричать, будет легче!»

Она закусила губу, чтобы не закричать. Самолет снова бросило вниз, моторы взвыли. Женя лежала, судорожно схватившись за шланги. Ноги ее болтались где-то в воздухе.

Кто-то обхватил ее за пояс, оторвал от пола, кинул в кресло. Она увидела над собой Тулина. Одной рукой он держался за подлокотник, другой шарил по ее груди. «Затягивайте ремни!» — крикнул он. Но в эту минуту она заметила, что юбка ее задралась, и, вместо того чтобы схватить ремень, принялась одергивать юбку. Ладонь Тулина легла на ее оголенную ногу, прижимая к креслу. Женя возмущенно посмотрела на него, вдруг ощутила его пальцы и увидела: он тоже ощутил ее голую ногу и в глазах его засмешилось что-то дерзко-любопытное. Женя

ударил его по руке. Он что-то сказал. Слов не было слышно, только движение губ снисходительно-обидное. Ловко затянув ремень, он быстро наклонился и, нагло следя за ее глазами, чмокнул в щеку и тотчас отошел, цепко хватаясь на ходу за кресла, балансируя, потому что самолет по-прежнему швыряло из стороны в сторону.

Первым ее движением было оглядеться — все оставались на своих местах, никто ничего не заметил, один Ричард смотрел на нее. Она натянула юбку, он пристыженно отвернулся, и она мысленно изругала его.

Рядом охала Катя. Глаза ее были закрыты, голова моталась.

Женя стиснула ладонями щеки. «Дуреха, — вдруг сообразила она, — дура — вот что сказал Тулин, дуреха!»

Сразу пропала тошнота, исчез страх, она забыла про ушибленные колени и ссадины, рванулась, готовая бежать к Тулину и сказать ему такое... такое... И еще больше возмущалась оттого, что продолжала вспоминать прикосновение его руки, словно отпечатанное на бедре.

Четвертое облако было как раз то, что нужно. Оно начинало бурно развиваться, из «цветной капусты» выростала массивная наковальня. Оно было начинено молниями, ливнями, громами. Не так-то просто было разыскать такое облако. Чтобы оно было молодым, и перспективным, и активным, и изолированным, и мощным. Притом его еще надо застигнуть вовремя, поскольку оно живет минут тридцать — сорок, не больше, и затем превращается в совершенно бесполезное, ненужное, безнадежное облако, которыми полным-полно небо и которые только мешают работать. Особенно противны слоистые облака, мертвые, неподвижные, от них ничего интересного не дождешься.

Синоптик был прав: над Морозовской был отличный выбор грозových облаков. Но если бы не Хоботнев, то все же этого четвертого облака Тулин бы не нашел. Хоботнев высмотрел его справа от курса, показал Тулину, они перемигнулись, и Хоботнев пошел на разворот. Затем они вышли на прямую и стали приближаться к облаку номер четыре.

Да, это был великолепный экземпляр. Ярко-серебряная вершина его, вся в клубах, опиралась на темнеющий книзу могучий массив. Издали, как всегда, это выглядело легкой, красивой постройкой, — что-то вроде

взбитых сливок. Но по мере приближения облако росло, и нависало, и угрожающе чернело, и самолет становился все меньше — крохотный мотылек, несущийся на скалу. Руки Хоботнева, сжимавшие штурвал, напряглись. Тулин стал за его спиной, дал команду: «Приготовься. Режим», — расставил ноги, ухватился за стойку, зажал локтем журнал, подался вперед, напрягся, и весь самолет напрягся, готовясь к встрече. К этому нельзя было привыкнуть. Всякий раз возникало безотчетное чувство напряженного ожидания, как будто самолет ударится об эту мрачно-сизую твердь.

Хоботнев вел машину так, чтобы срезать самую верхушку, войти чуть-чуть под кромку. По правилам это строго запрещалось. Они могли проходить над облаком, сбоку, но ни в коем случае не лезть в него. Никто не знал, скольких трудов стоило Тулину уговорить Хоботнева. И так и этак он обхаживал Хоботнева, поил коньяком, помогал изучать английский — все было напрасно, пока однажды, после разбора полета, Хоботнев не спросил его:

— Значит, ни-ни, Олег Николаевич, выходит, никаких результатов не получается, зря летаем?

И Тулин почувствовал, что вот это ощущение малых результатов работы больше всего задевало Хоботнева. Назавтра Хоботнев, подлетев к облаку, не скользнул над ним, не свернул, а пошел прямо на край. Тулин видел, как радист и второй пилот посмотрели на Хоботнева, но ничего не сказали, и Хоботнев тоже молчал, как будто произошла случайность. Но затем он развернул самолет, и они снова прошли край облака в другом направлении; так они обследовали его края со всех сторон, пока оно не распалось, а потом перешли к другому облаку, и все это время второй пилот молчал и хмурился. Тулин понимал, что он не желает участвовать в этих нарушениях и нести ответственность, потому что за такие штучки могли снять с работы. Они ворчали на Хоботнева и спрашивали, на кой ляд ему соваться куда не следует, им за это не платят лишнего, и машину мучают, и вообще, чем черт не шутит, гроза есть гроза. Но хорошо хоть, что они пока никому не жаловались: они любили Хоботнева и не хотели подводить его.

Сегодня обследовали уже три облака, малость потрясло, но то были просто мощные кучевые, а это, четвертое,

обещало быть самым интересным, и Хоботнев вошел в него чуть глубже, всего на несколько метров поглубже, и это сразу почувствовалось, как будто по самолету застучало огромным молотом. Тулин взглянул на секундомер: 13 ч. 49 м. 05 сек. Начали! Режим! Найти зоны наибольшей заряженности. Все подготовились? Как там Лисицкий, ему лишь бы налетать часы. Дурацкая система оплаты. «Кузьменко Женя! — это в ларингофон. — Переключите чувствительность!» Невозможно даже обернуться. Ага, молния! Чудно! Километрах в двух. Как струится по стеклам вода! Откуда на такой высоте вода, если за бортом минус тридцать? Температурные зависимости. . . Черт подери, сколько тут путаницы! При такой вибрации скажется микрофонный эффект. Только бы предусилители не забарахлили. Он всегда был готов к тому, что где-то что-то забарахлит. Было чудом, когда эти десятки приборов работали. В каждом из них были сотни деталей, каждая могла в любую минуту отказать, тысячи паек, которые могли отойти, контакты, которые могли окислиться, изоляция, которая могла пробиться, — и когда вся эта махина все же действовала вопреки всем законам вероятностей, Тулин испытывал тайное, детское изумление. Он не уставал восхищаться этим чудом. Капли касались колец, установленных над фюзеляжем, и заряды проходили через предусилители и усилители, через лампы, пока наконец не всплескивались пиком на пленке осциллограммы. И это тоже было чудом. Самолет прыгал, как будто катился по пикам этой наибольшей напряженности. Ох, не забыть на обратном заходе выяснить, как изменяется картина во времени. Посадка будет в Ростове. Поздышев обещал достать в универмаге чешские сандалеты. За неделю обрабатываем замеры, и сразу писать статью. Надо скорее опубликовать, застолбить. . .

Хорошо, что Тулин предупредил, сам бы Крылов не подготовился и проворонил молнию. Доля секунды, лиловый вспых, разряд — и хаос разрозненных капель обретает единство. Не обращая внимания на приборы, он задумался, каким образом молния успевает собрать с миллиардов капель накопленные заряды. Молния пронизывает облако, как мысль, думал Крылов, она как озарение, итог, казалось бы, нелепейших страстей, оправда-

ние, и все выстраивается в ее слепящем свете, обретает смысл прошлое и будущее, но если бы понять, как это все происходит. . . Мысль, мысль, а вот когда мысль еще не выражена словами, когда она формируется, в самом истоке, где клубятся смутные ощущения. . .

Самолет выскочил в синеву. 13 ч. 49 м. 45 сек. Тулин помахал затекшей рукой. Как много можно успеть, обдумать, сделать за сорок секунд! Жить бы всегда так полно, всеми чувствами сразу, как эти сорок секунд, до чего огромной стала бы жизнь! Он крикнул в ларингофон: «Конец режима!» — и засмеялся. Хоботнев откинулся на спинку и тоже скупой улыбнулся. Тулин кивнул ему, благодарно показал глазами, что это было здорово и что Хоботнев великолепно провел машину, строго по горизонту, теперь надо было разворачиваться и заходить снова в это облако, с другой стороны, пока оно не развалилось.

Скинув наушники, Тулин вошел в салон, навстречу ему от щитов, от стендов поднимались разгоряченные лица с той же неостывшей улыбкой азарта, какую он чувствовал на своем лице. Мигали цветные лампочки, стрелки неохотно опадали, возвращались к нолям, жужжали моторчики.

— Ну как, здорово? Хороша кучевочка? — счастливо спрашивал Тулин, как будто он сам сделал это облако и преподнес им.

Разумеется, что-то сорвалось. Заело бумагу на самописце, куда-то пропал ноль, Алеша поносил флюксметр на чем свет стоит и не понимал, почему Тулин так спокоен. Тулину было обидно: те, кто не нянчился с этими приборами, не видели никакого чуда, они считали само собой разумеющейся нормальную работу приборов, никто не знал, чего это стоило и как это все делалось.

Он помог Вере Матвеевне заправить катушку и заодно подтянул фиксатор, иначе бы Вера Матвеевна возилась еще полчаса. Удивительно, как люди не замечают самых простых вещей! Сказал Кате, чтобы она пользовалась карандашом, а не ручкой, которая, разумеется, потекла и замазала журнал, и посмотрел записи Крылова — эх ты, мечтатель, прозевал, это ж было чудесное облако, приборы отметили три молнии, ну ничего, увидим, что получится на втором заходе.

Машину несколько раз крепко трягнуло, очевидно Хоботнев разворачивался вблизи облака. Тулин заспешил в кабину, но, как назло, пришлось помочь Жене Кузьменко привязаться, наверное, эта дуреха вообразила, что он не без умысла прижал ее. Улыбаясь, он вошел в штурманскую кабину и тут, встретив Агатова, сам не зная почему, смутился.

Крепко держась обеими руками за скобу, Агатов всматривался в трубу локатора, потом отстранился, вытер бледный лоб, закрыл глаза.

Облако заметно разбухло, заслоняя солнце, оно быстро нависало сизыми краями над самолетом. Тулин взял ларингофоны, в это время Агатов тронул его за плечо, бескровные губы зашевелились; не разбирая слов, Тулин тем не менее сразу понял: Агатов запрещал входить в облако.

— Что с вами, Яков Иванович? — крикнул Тулин. — Ничего вас укачало? — Он постарался изобразить заботливость и сочувствие. — Примите таблетки. Ничего опасного нет, уверяю вас.

Он почувствовал, что Хоботнев обернулся к ним обеспокоенно-выжидающе. Заслонив Агатова спиной, Тулин теснил его назад, в штурманскую.

Надо было выиграть всего одну-две минуты, чтобы Агатов ничего не заметил. Если бы Хоботнев догадался швырнуть машину так, чтобы Агатова отбросило или чтобы он начал травить. Он и так еле стоял — бледный, потный.

— Яков Иванович, если мы сейчас не замерим, то прошлые замеры пропадут.

Агатов с трудом повел головой.

— Нельзя. Запрещено.

Тулин почувствовал тяжесть своих кулаков.

— Яков Иванович, прошу вас, я отвечаю за все. . .

— Нет, не могу, — сказал Агатов. Крупные капли выступили на его висках. — В ваших же интересах!

О, эта иезуитская формула — «в ваших интересах»! Кто лучше его знает «наши интересы». Он полон заботы и внимания. Он наступит на Хоботнева, он закроет полеты, но, поверьте, Олег Николаевич, все лишь ради вас, в ваших интересах. . .

Где-то за плечами Агатова нетерпеливо ожидающие глаза Хоботнева. Ничего не стоило отодвинуть Агатова,

крикнуть, дать команду. Но вместо этого Тулин, униженно улыбаясь, начал снова просить Агатова.

— Нельзя, — обессиленно, еле слышно повторил Агатов.

Потный, страдающий от болтанки, он поднял глаза на Тулина, и в них слабо колыхнулось торжество. Придется выполнять, потому что он *ответственный*, власть у него, а вы, сильные, рослые, такие свеженькие, лихие, не замечающие болтанки, такие талантливые, с вашей выдающейся программой измерений, вы должны подчиниться.

Перед самым облаком самолет круто пошел вверх.

Тулин вышел в салон, щуря глаза в упругой улыбке.

— В чем дело? Почему уходим? — К нему обращались нетерпеливо, обеспокоенно, разочарованно, а он вынужден делать вид, что ничего не случилось и что он по-прежнему руководитель группы, тот, кто все знает и все может.

После посадки он задержался в машине. Из окна было видно, как по полю ровно шагает Агатов. Рядом с ним шли Катя, Алеша Микулин и Вера Матвеевна, и все они мирно разговаривали. Агатов любезно взял у Веры Матвеевны ее чемоданчик.

Внизу, у самолета, Тулин столкнулся с Женей.

— Что ж вы испугались подойти к грозе? — мстительно сказала она.

Он посмотрел на нее устало, словно не слыша.

Глава 2

Бесконечное разнообразие жизни восхищало Ричарда и приводило в отчаяние.

Повсюду возникали проблемы, одна заманчивее другой.

Винер утверждал, что будущее принадлежит кибернетике. Иоффе утверждал, что будущее принадлежит полупроводникам; затем выяснилось, что будущее принадлежит биотокам, термоядерной энергетике, теории наследственности.

Полгода он по вечерам помогал приятелю налаживать прибор для фотосинтеза.

— Почему я не занялся фотосинтезом? — жаловался он Жене. — Вот где фантастика: все трудности сельского хозяйства будут решены фотосинтезом.

Друзьям из архитектурного он выкладывал свои идеи о городах, вписанных в пейзаж.

Он был уверен, что если займется перелетными птицами, то откроет тайну их навигационного устройства, и тогда можно будет снабдить авиацию поразительными приборами.

Он завидовал журналистам, разъезжающим по стране (эти парни видят жизнь, а мы что?), историкам, которые копаются в архивах (нужно наново переосмыслить всю историю!), медикам (нет ничего важнее средства против рака!). Он считал себя способным стать выдающимся шахматистом, авиаконструктором, может быть, даже писателем.

А радиоастрономия? Разве это не ужасно, что он не стал радиоастрономом? Он доказывал Жене:

— Они сейчас готовят передачу сигналов другим мирам! Через десять, пятнадцать лет мы получим ответ из космоса! Мы свяжемся с мыслящими существами. Человечество перестанет быть одиноким. Пойми, это же самое главное!

— А рак?

Он досадливо отмахивался.

— Подумаешь, рак! Наладить связь с другими планетами — и откроются такие возможности, такие законы!

Будь у него время, он изучал бы биофизику: клетка, хромосомы — бесспорно, это главная проблема жизни.

В детстве он был убежден, что от него ничего не уйдет. Жизнь не имела предела. Прошлого еще не было, а емкость будущего была безгранична.

Сначала он поступил на геологический факультет, но вскоре решил, что геология — наука описательная, и перевелся в электротехнический, а потом на инженерно-физический. Друзья упрекали его за непостоянство, но его тянуло к основам основ. Лишь в аспирантуре он наконец понял, что уже не успеет стать ни классным баскетболистом, ни музыкантом, что не удастся доказать теорему Ферма и вообще сила и время — величины конечные.

Слово *никогда* звучало трагически. Никогда? Но ведь другой жизни у него не будет. Что же делать с этим миром, полным манящих вещей, достойных страстной любви? Неужели, выбрав одно, приходится навсегда отказаться от всего остального?

Голицын утешил его всеобщностью подобной драмы.

Всем хочется больше, чем они могут. Каждый год открываются новые и новые мучительные загадки, надо все больше времени, чтобы разобраться в накопленном материале, исследования требуют все более сложной аппаратуры и огромного времени, а жизнь остается такой же короткой.

На него напало смирение — «буду как все», «науке нужны солдаты не меньше, чем генералы».

— Конечно, я тебя не устраиваю, — кротко говорил он Жене. — Я скромный труженик, звезд с неба хватать не буду.

— И очень хорошо, — говорила Женя. — Если каждый будет хватать звезды, — представляешь, что получится? Достань мне лучше темные очки; впрочем, ты, вероятно, и вправду ограничен.

— Это почему?

— Потому что талантливые люди знают себе цену. Вот такие очки, как у этой фирмы, можешь достать? Не можешь, ну и иди тихо.

Она обращалась с ним бесцеремонно, ни капельки не считаясь с тем, что он аспирант, а она всего-навсего дипломантка.

Ничего особенного она собою вроде не представляла: капризная, избалованная вниманием, училась посредственно, без увлечения. Но он чувствовал: это не вся Женя. Было в ней что-то нераскрытое, как обещание, что-то виделось в ее слегка раскосых, без блеска глазах, куда можно было входить, как в ущелье, и путешествовать, забираясь все дальше в их коричневую мглу.

Временами Ричард сомневался: имеет ли право настоящий ученый тратить себя на любовь, особенно на несчастную, — в том, что у него несчастная любовь, он не сомневался, хотя все обстояло прекрасно, а когда ему удалось устроить так, чтобы он вместе с Женей поехал на практику к Тулину, то он был и вовсе счастлив.

Он надеялся, что здесь, в полетах, рядом с Тулиным и Крыловым, у Жени пробудится настоящий интерес к ее специальности. Во всем другом не смея ей противоречить, боясь поссориться, в этом он не поддавался. Она не имеет права жить без призвания, без страсти. Он стойко переносил ее гнев и несколько раз бесстрашно нарушал запрет говорить на эту тему.

Тулина она терпеть не могла, поэтому Ричард боялся

рассказать ей про свою диссертацию. Дело в том, что, посмотрев у Крылова материалы, он решил связать диссертацию с возможностями воздействия на грозу по методу Тулина. Сделать это надо было втайне от Голицына, придется многое переkreпить, наверное, в срок не уложиться, но он шел на все. С Крыловым договорились пока что Тулину ничего не сообщать, чтобы не взваливать на него лишнюю ответственность.

В воскресенье с утра Женя уговорила отправиться в горы. Карабкались по заброшенной, усеянной камнями дороге. Раскаленный щебень жег подошвы. Внизу, в зарослях ивняка, шумела Аянка, а дальше, на плоскогорье, открылись желтенькие коттеджи поселка, бетонные полосы аэродрома, блестящие крестики самолетов и за корбочкой аэровокзала продолговатый кирпичный сарай тулинской лаборатории.

Ричард сказал:

— Студенты, запомните: изображение этой скромной постройки войдет во все хрестоматии.

Катя фыркнула:

— Тоже мне лаборатория — конюшня!

— Слушай сюда, — сказал Ричард, — все великие открытия происходят в подобных сараях. Когда лаборатория получает хорошее помещение, она начинает плохо работать. Чем велик Тулин? Первое. . .

— Сколько можно! — сказала Женя. — У нас отрыжка от твоего Тулина.

Он никак не мог понять ее раздражения; словно на зло, она принялась нахвалять Бочкарева, как будто каждый настоящий ученый должен быть горбатым.

— Не помогаем мы ему, — сказала она.

— А чего ему помогать? — спросил Алеша Микулин.

— Так он же прикреплен к нашей группе. С него спрашивают за воспитательную работу.

Ричард поддержал ее.

— Он жаловался, что понятия не имеет, чем вы живете. Хоть бы обращались к нему, раскрыли разок-другой свои души.

— Почему преподавателям так хочется знать, чем мы живем? — сказала Катя.

— Чтобы искоренять ваши пережитки и взгляды.

— Старики хотят знать, чем мы отличаемся от них, — сказала Женя.

— Ничего подобного, — сказал Алеша, — они хотят, чтобы мы без конца занимались. Все сводится к этому.

— Все равно будут говорить, что их поколение было в нашем возрасте идейнее, — сказала Женя.

— А какие у меня взгляды? — спросил Алеша. — Понятия не имею.

— День прошел — и ладно, вот твои взгляды, — сказала Катя.

— Симпомпончик ты мой!

— Убери лапы.

— А ты не упрощай, — сказал Алеша. — Я стилияга. Я не хочу на периферию. Я люблю бары. Я циник, и ты должна меня терпеливо воспитывать.

И, схватив Женю за руки, принялся победно отплясывать рок. По приезде сюда он первым делом раздобыл летнюю фуражку, надел самодельные шорты и стал разыгрывать небесного бродягу. Ему нравилось, что его считали способным, но ленивым, нравилось изображать циника, скептика, и обижало, когда в группе к нему переставали относиться всерьез.

Разделись. Со стоном опускались в ледяную воду, выскакивали, прижимались к горячим валунам.

Женя закидывала руки, вода скатывалась по смуглой спине, блестели капли, был виден темный треугольник под мышкой. Ричард отворачивался. Он мучительно завидовал Алеше, который мог шлепать Женю по спине, подмигивать — чинная деваха? — и Ричард глупо смеялся и никак не мог решиться обнять ее голые плечи. Вместо этого он сердился, доказывая, что надо как-то помочь Тулину, ругал Агатова, ему хотелось сказать что-то умное, едкое, необычное, и все время получалось не то.

Никто из студентов не видел в Агатове ничего плохого. Агатов их вполне устраивал. Дает списывать материалы чужих замеров, не мешает, выхлопотал деньги за полеты.

— А насчет грозы он правильно запрещает, — сказала Катя. — Кому схота грохнуть? Страшно вспомнить, как нас мотало.

Женя повела глазами на Ричарда.

— Тебе-то и вовсе нечего выступать против Агатова.

Ричард заметно смутился и замолчал.

— Кто их разберет, — примирительно сказал Алеша. — Голицын больше нашего знает.

— Почему ты не желаешь вникнуть? Ты же способный парень! — сказал Ричард.

Алеша повернулся лицом к солнцу, похлопал себя по животу.

— Плевал я на свои способности. С ними одно мучение. Ты вот талантливый, вникаешь, и что? Приходится бороться. Кому-то помогать. Расстраиваешься. Нет, это не для меня.

Он включил карманный приемник Ричарда, поймал музыку.

— Станцуем?

Женя покачала головой.

— Жарко.

Она пошла к реке, забралась на косо торчащую корягу, легла лицом к воде, свесив руки в бурливый поток.

Судорожная музыка джаза странно звучала среди отрогов, заросших алыми кустами шиповника. Шумела каменисто река, задумчиво смотрели черно-сизые горы с белыми обливами ледников.

Незнакомая красота этого края вызывала у Жени тревогу. Горы непрестанно менялись, синие, голубые, лиловые, иногда они куда-то исчезали, становились плоскими, как нарисованные, или старыми, морщинистыми, как складки слоновьей кожи, молочные туманы стекали по их расщелинам, там, наверху, шла какая-то жизнь, полная значения, мудрая и справедливая.

Фигуры Алеши и Кати дергались и сплетались, подхлестываемые ритмом джаза. Что-то нелепое, стыдное показалось Жене в этих движениях перед бесстрастным лицом гор.

— Бросьте вы, — крикнула она, — нашли место, где разлагаться!

Ричард выключил приемник. Он всегда слушался, когда она говорила таким тоном.

— Я тебя понимаю, — сказал Алеша. — Первобытные условия. Сюда бы горный бар, коктейль «Блед-Мэри».

Женя смотрелась в воду. Зеленые космы реки разрывали, уносили отражение, из глубины на нее смотрело, то исчезая, то появляясь, зыбкое, смутно похожее, а еще

ниже, между обросшими камнями, чуть вздрагивая плавниками, застыли рыбы.

— Послушайте, согласился бы кто из вас увидеть свою смерть? — не поднимая головы, неожиданно спросила она.

— Фу, я бы ни за что! — сказала Катя. — После этого нет смысла жить.

— Жизнь и так не имеет смысла, — небрежно изрек Алеша.

— А смерть тем более, — сказал Ричард. — Не знаю ничего глупее смерти.

— Я думаю, что если бы люди могли видеть свою смерть, — сказала Женя, — они бы ничего не боялись. Они стали бы лучше. Они говорили бы правду.

Алеша растянулся на камнях, шумно зевнул.

— Кому нужна твоя правда? От нее одни неприятности.

— Надо и без этого сметь говорить правду, — сказал Ричард.

Катя засмеялась.

— Попробуй.

И Алеша тоже засмеялся.

— В самом деле, почему б тебе не попробовать?

— Начни с Тулина, — сказала Женя. — Скажи ему, что он трус. Струсил перед Агатовым, когда мы попали в грозу.

— Оставь Тулина в покое, — сказал Ричард.

— Ага, видишь, ты даже слушать правду не хочешь! — сказала Женя. — Ты влюблен в Тулина. Ребята, посмотрите, он стал причесываться под Тулина.

— Давай клади его, Жека, на лопатки.

Несмотря на дружбу, они относились друг к другу безжалостно, презирая сантименты, нежности и прочие пережитки далекого детства. Таков был стиль. Так было принято. Лучше злиться, чем страдать, лучше высмеивать, чем злиться.

В лаборатории Ричард сам был таким, но с ними он невольно становился в позу старшего. Его раздражал их дешевый цинизм, дешевый потому, что зубоскалить было легче легкого, он умел это получше их, однако жизнь, он убедился, гораздо более сложный процесс: сначала ее воспринимаешь по законам арифметики, а потом...

Они быстро усвоили, что от правды одни неприятности. Но есть другой счет, другая система измерения, и там правда — высшее удовольствие. И необходимость. И так уже накопилось слишком много брехни. Придет время, когда правда станет для человека необходимостью, а не огорчением. Который раз он клялся себе, что отныне и во веки веков он будет врезать правду всем и каждому. Не уклоняться, не молчать, а пользоваться каждым случаем, чтобы выложить всю правду. Пусть обижаются. Пусть неприятности — он готов на все.

— Ну, чего ты изгиляешься? — сказал он Алеше. — Старо. Хотя бы свое что-нибудь придумал.

— Лень. Жира! *Жиирра!* — блаженно пропел Алеша.

— А вообще чего ты добиваешься?

— Понятия не имею.

— Эх ты, пищеварительный тракт! Какая твоя позитивная программа? По субботам, выпросив у отца трешку, стоять в очереди в кафе-мороженое? Девочки. Стиль. Шпаргалки. Волейбол. Кино. Анекдоты. Липси... Ничего не забыл?

Алеша сплюнул.

— Напиши статью в «Юность»: «Прав ли Алеша Микулин? А как думаете вы, дорогие друзья?» И двадцать тысяч пенсионеров меня осудят.

— Он тебя разоблачил, Алеша, — сказала Катя. — А вот Женю — слабó.

Алеша сделал мостик, демонстрируя свою тренированную мускулатуру спортсмена.

— Разоблачил! А что он может предложить? Да, кафе-мороженое. Чихать мне на твою грозу, и на твою молнию, и прочие загадки природы. Посмотри на своего Тулина и Крылова. Что они имеют с этих великих проблем? Ишачат в этой дыре. Докажут сотне стариков, что заряды распределяются не так, а этак! И вся хохма!

Теперь мог бы улыбнуться Ричард. Он добился своего. Самое трудное — вызвать их на спор. Но его занимала только Женя. Он говорил, в сущности, для нее, а она молчала. Все, что происходило здесь, происходило прежде всего между ними двумя. Не глядя на нее, он чувствовал, как она лежит на коряге, охватив голыми ногами скользкий ствол.

— У нас редчайшая возможность, — сказал он. — Это же раз в столетие. Вы можете участвовать в круп-

нейшем открытии. А вы? Курортники! Агатов вас устраивает. Избавил от опасных полетов. Какого же хрена вы тут кокетничаете; ах, жизнь не имеет смысла! Тоже мне циники-битники. Еще смеете Тулина называть трусом. Кто же трус? — Он уже разошелся, освобождаясь от своего жалкого чувства связанности.

— А вот про Женю — слабо, — снова сказала Катя. Они засмеялись. «Осторожнее», — сказал он себе.

— Что ж ты замолчал? — сказала Женя.

Он понимал, что сейчас решается что-то важное для них обоих, особенно для него, и все зависит от того, осмелится ли он довести до конца этот разговор, начатый, по сути, ради нее.

— А ты тоже прикидываешься, что тебя ничто не трогает. — Он повернулся к ней. — Тулина высмеиваешь! Какое ты имеешь право? Что ты перед ним такое? — «К черту всякую осторожность», — подумал он. — Зачем ты учишься? Рассуждаешь про смерть, а боишься заглянуть в свое будущее. Ты же не любишь свою специальность. Служащая. За полчаса до звонка будешь собираться...

Она вся сжалась, и ему стало жаль ее, но он знал, что лучше ничего не смягчать. Вместо этих дурацких разговоров взять ее на руки и понести, ей бы это понравилось. Если бы он мог решиться на такое.

Вдруг она соскользнула с коряги, схватила свое платье, туфли и, прыгая с камня на камень, стала переправляться на другой берег.

На середине реки она поскользнулась и чуть не свалилась в кипящую воду. Катя вскрикнула.

— Что ты наделал? — накинулась она на Ричарда.

— Получил? Правда, правда... — передразнил Алеша. — Это только в спорте объективная правда. Секунды и метры — и будь здоров.

На другом берегу Женя оделась и пошла вниз вдоль реки.

По зеленым отрогам высоко поднимались красноватые колонны лиственниц. Леса здесь стояли чистые, просторные, как парки. Река торопилась, перекатывая на ходу камни, неслась без смысла и цели. Жене показалось, что когда-то с ней уже было это — река, солнце, горячие камни, — давным-давно, наверное в детстве, и она ужаснулась, поняв, что детство — это давным-давно.

Ей вдруг захотелось в Москву, к маме, скорее назад, в то время, когда мама называла ее Жужей, когда ничего не надо было решать и всегда можно было спросить: почему? Уже не впервые Ричард приставал к ней со своими противными вопросами, после которых портится настроение. Все они — и Ричард, и Крылов, и этот Тулин, — разумеется, находят удовольствие в своей работе, о чем-то спорят, волнуются, как будто в этом вся жизнь. Какая все же разница между ней и Ричардом! Она чувствовала себя старше его, могла заставить его делать глупости, и вот есть ведь у него то, в чем он выше, интереснее ее, и для него это дороже их отношений. Брось она его сейчас, все равно у него останется работа. Взять Крылова. Катя пробовала с ним закрутить — ничего не вышло; молодой, интересный, а живет в своих формулах и вовсе не чувствует себя обиженным. Говорят, у него какая-то романтическая история, но дело не в этом, у него жизнь содержательная. Им-то хорошо. А что будет с ней? Скоро диплом, а дальше?

Самостоятельность, взрослость — она так нетерпеливо ждала этого, а сейчас хотела отдалить их приближение. И самое страшное — что они надвигались неотвратно и ничего нельзя было остановить. Почему-то вспомнился огромный, во всю стену, старый буфет, похожий на замок. Когда никого не было дома, она принималась шарить по ящикам, открывать дверцы, и все полки пахли по-разному: там стояли банки с вареньем, книги, красные чашки. «Дура, — сказала она себе, — дура», — и вспомнила презрительный взгляд Тулина, его голос, и ей стало еще горше.

Она обернулась на стук камней. Ричард бежал за ней.

— Я тебя обидел? — спросил он.

— Вот еще! Мне просто наскучило.

Он так быстро взглянул ей в глаза, что она не успела спрятать то, что там было. Но, кажется, он ничего не заметил, он был полон раскаяния. Робко и виновато он обнял ее, поцеловал, и она почувствовала, что снова обретает власть над ним, стоит ей улыбнуться — и он просияет, она чувствовала, как дрожат его губы, и задумчиво смотрела в голубое слепящее небо. Откуда эта власть и зачем, что делать с ней?

Большая серебряная рыбина высоко подскочила над водой. Женя вскрикнула от испуга и рассмеялась. Горы стали голубыми, запели птицы, одуряюще запахло чабрецом.

Они собирали шишки, искали малахитовые камушки, пели песни, и Ричард весело и покорно восхищался горами и цветами, хотя он презирал старомодное восхищение пейзажами. Назад по камням Женя побоялась переходить, и они пошли в обход до висячего моста.

— Я тебе нужна? — спросила Женя.

— Очень.

Мост качался под ними, и от высоты у нее кружилась голова.

— Ты хороший.

Он посмотрел на ее задумчивое лицо и чуть слышно вздохнул. Она взяла его руку.

— Я не могу так сразу, но я... Только не торопи меня.

— Я не буду торопить.

— Вот и чудно.

В поселке они столкнулись лицом к лицу с Тулиным. Женя отстранилась от Ричарда, произвольное это движение изумило ее, и она тут же взяла Ричарда под руку, прижалась к нему так, что Ричард покраснел. Тулин ничего не заметил, он тащил ящик с приборами, устал, был озабочен неприятностями из-за Агатова, начальник отряда ужесточил контроль, нет конца всяким формальностям и придирам. Чтобы повернуть кронштейн, надо согласовать с Москвой, — он помахал текстом телеграммы.

— Давайте я сбегая отправлю, — сказал Ричард.

Они остались вдвоем на бульваре. Тулин поставил ящик на землю, вытер лицо.

— Лучше бы вы Агатова очаровали, — сказал он. — Захороводили бы его, чтобы не мешал нам. — Говорил, а сам смотрел не на нее, а в сторону почты.

— И не собираюсь, хватит, что Ричард перед вами на задних лапках! — выпалила она, похолодев от своей дерзости, и восхитилась ею же.

Тулин окинул ее с ног до головы откровенно, по-мужски.

— Да, пожалуй, Агатова вам не одолеть.

— Я если захочу, то и вас одолею.

— Да ну?

Она ответила ему презрительным смешком и удалилась походкой многоопытной женщины.

Глава 3

Будь у Крылова возможность, он поселился бы в облаках. Расставил бы там свои приборы, измерял, наблюдал и сбрасывал вниз пленки для обработки. Увы, полеты заканчивались слишком быстро, и приходилось спускаться на землю, где находились столовые, койки аэродромных гостиниц, зарядные станции.

Непогода забрасывала их на маленькие полевые аэродромы, там стояли зеленые аэропланы — «кукурузники», лесные «уточки». Крылову нравилась эта неустроенная кочевая жизнь: сегодня в Одессе, завтра Горький, ночевка в каких-то Устриках. Дымные, шумные комнаты диспетчеров, где запахи мокрых унтов мешались с запахами свежих яблок. Кто-то передавал тюльпаны кассирше Наде в Магадан, встречались на несколько минут старые друзья-летчики, чтобы снова разлететься по своим маршрутам, пока расписание не сведет их опять через месяц, через год то ли в Арктике, то ли во Внукове.

После полета занавешивали окна в одном из гостиничных номеров, проявляли пленки, в духоте, потные, в одних трусах возились до полуночи. А утром, чуть свет, — готовить приборы, менять батареи, просматривать рулоны высушенных пленок, яростные споры о программе полета, у каждого были свои разделы, каждому были нужны свои высоты и условия — и снова в небо, в погоню за облаками.

Тулин загружал его подсобными расчетами, всякими побочными замерами. Своей темой Крылов занимался урывками, но не жаловался, он видел, что себя Тулин также не щадил. С поразительной уверенностью Тулин вел свое огромное умственное хозяйство: там не сходятся данные, тому отрегулировать прибор, определить, почему снижается чувствительность, в Краснодаре сесть пораньше, иначе в столовой останется только каша. Стоило Тулину присмотреться, и всегда оказывалось, что делают не так, можно что-то подправить, без него провозились

бы еще день, и он подправлял, замечал, и все это весело, с шутками.

Иногда выпадали свободные вечера, и в каком-нибудь городишке они являлись всей бандой на танцы, поражая местных красавиц своим видом небесных асов. Под водительством Тулина шествовали вразвалочку, ястребино выглядывали стоящих вдоль стен девушек, томно-усталые, в кожаных куртках, нездешние и заманчивые. И Крылов чувствовал себя тоже гусаром.

Но чаще всего он оставался дома, обдумывая полученные материалы измерений. И в полетах он вдруг начинал мерить совсем не то, что было предусмотрено... Со своей обычной дотошностью он докапывался до первооснов и убеждался, что у Тулина слишком многое строится на интуиции и догадках. Тулину важен был результат, вся трудность была лишь, *как* этого добиться. Он пренебрегал возможностями исследовать сам процесс, природу грозы. «Чтобы переваривать пищу, не обязательно изучать устройство желудка», — отговаривался он, однако Крылова успокоить такими штучками было невозможно. Постройка не имела каркаса. Не хватало балок, Тулин хотел настилать крышу, а Крылов еще укреплял фундамент.

Ему нужно было выяснить, как в облаке восстанавливаются заряды на всех стадиях развития, какова скорость этого восстановления, каков механизм и т. д. Он принялся создавать теоретическую модель облака. Собирал все данные измерений, накладывал их друг на друга, десятки, сотни, пытаясь установить что-то среднее, извлечь типичное. Работа эта требовала сосредоточенности, а поручения Тулина отвлекали. Хуже всего, что Тулин злился, считая, что Крылов не помогает, а проverteет — этаким внутренним контролем.

Под Ростовом они провели серию воздействий на мощные кучевые облака. Несколько раз портился проклятый «Бурун» — установка для измельчения сухого льда. С трудом найдут нужное облако, включают «Бурун» — грохот, треск, а лед не сыплется. Посадка. Включают «Бурун» на аэродроме — исправно работает, выбрасывает мелкий лед. Поднимутся в воздух — опять та же история. Наконец Тулин сообразил, что на высоте что-то в машине смерзается, и приказал долбить лед вручную. Колотили лед чем попало, обдирая пальцы, но

пока возились и сбрасывали — оказалось, сбросили не туда. На следующем заходе сбросили слишком рано. Лед кончился, пришлось возвращаться. Раздобыли лед — выяснилось, что нет подходящей облачности. Просидели два дня, нервничая, ругаясь. И вот наконец-то внизу стличные облака, с высокой напряженностью электрического поля, с мощными куполами, и лед был сброшен точно вовремя, и все прильнули к окнам, наблюдая и фотографируя. Да, это было красиво! Огромный растущий серебристый купол начал вдруг оседать, съеживаться, массив облака стал каким-то волокнистым, редел, буквально на глазах появились провалы, стала видна зеленая земля, только что мощное, облако таяло, распаваясь на части, превращаясь в мглистые полосы. То же самое удалось и со вторым облаком. Тулин пришел в восторг, его предположения оправдались, все в самолете кричали «ура», обнимались, и никто не обратил внимания на Крылова. Он внимательно смотрел в окно с другого борта.

На аэродроме Тулина качали. Крылов задумчиво возился в стороне с фотокамерой, потом подошел и, конфузясь, так, как будто он преподносит нечто ценное, сказал, что результат, к сожалению, нельзя считать достоверным. Он наблюдал за облаками, которые не подвергались воздействию, и среди них три облака разрушились точно таким же образом и в то же время. Никто не хотел ему верить, его слушали с досадой. Тулин пытался его высмеять: «Где твои доказательства?», но Крылов стоял на своем: это у вас нет доказательств, что на облака повлиял сухой лед, они могли развалиться и сами.

— Поймите, облако — это не вещь, а процесс, и надо изучить его законы, чтобы уверенно воздействовать. Представим себе... — Он принялся тут же на песке чертить свои кривые.

Когда он поднял голову, возле него остался только Агатов.

— Слава богу, вы, кажется, приходите к тому же, что и Голицын, — сказал Агатов.

— Наоборот, — сказал Крылов, — просто, чтобы разбить Голицына, нужны более строгие доказательства.

Настроение у всех испортилось. Вера Матвеевна и Алтынов утешали Тулина, как будто Крылов обидел его.

Вечером они сидели вдвоем в жарком номере, завешанном толстыми малиновыми гардинами, и Тулин кричал, что ставить подножки — дешево, он выбросит Крылова к чертовой бабушке. Группе нужен успех, нельзя долго работать без удачи. Люди падают духом. Агатов ждет малейшей оплошности, из института нажимают, тему могут прихлопнуть, нужен успех как можно быстрее, побыл бы кто-нибудь в его шкуре. Крылову нечем было возразить, он сочувствовал, он страдал за Тулина, готов был сделать для него что угодно, но стоял на своем, и Тулин понял, что, если результаты будут вынесены на обсуждение, Крылов выступит против.

Больше всего его возмущало, что Крылов осрамил его в присутствии Агатова и студентов.

— Ты играешь на руку Агатову. Подкидываешь ему материалчик. Я не потерплю этого. Пойми ты простую вещь: да, я тороплюсь, да, я перепрыгиваю через этапы, я рискую, но только так можно чего-то добиться, победителей не судят. Потом мы наверстаем. В науке иногда правильная тактика важнее фактов. Кстати, ты лично ничем не рискуешь, — Тулин едко улыбнулся, — рискую я, руководитель. Ты в любом случае выйдешь сухим. Все шишки достанутся мне. Я ставлю на кон свою репутацию. Надеюсь, ты согласен, что у нас будут не равные потери?

Прибежал Алеша, распаренный, в трусиках, принес мокрые фотографии облаков, которые снимал Крылов. Там ясно было видно, как оседал и разрушался купол.

— Вот что, — сказал Тулин, когда они остались одни. — Ты хочешь сорвать работы? Ты можешь это сделать. Бери эти фотографии, бери все свои бумаги, езжай к Голицыну, расскажи ему, как я тут подтасовываю данные, и ты добьешься своего. Работы прикроют.

— Я этого не хочу, — сказал Крылов.

— Но ты это делаешь!

— Мне хотелось бы провести контрольные замеры, я хочу исключить всякие сомнения. Для этого надо... — Он принял за развивать свои планы.

Пришел Алтынов, принес зеленый чай, они пили, утираясь полотенцем.

Крылов доказывал, что надо уточнить влияние заряженности самолета. Примерные коэффициенты, которыми пользовалась группа, его не устраивали.

— Послушайте, Алтынов, этого носорога, — сказал Тулин. — Он хочет уличить нас. По-моему, он резидент Агатова. Связался я с ним на свою беду.

И вдруг, посмотрев на огорченную физиономию Крылова, расхохотался, подмигнул Алтынову и с тем размахом и щедростью, которыми он умел очаровывать, разрешил построить установку, взять деньги, людей и приказал Алтынову раздобыть высоковольтный ртутник — в общем, сделать все честь честью.

Крылов был растроган. Снова, в который раз, Тулин давал ему урок благородства и истинной дружбы. В сущности, кому, как не Тулину, он обязан этой работой, о которой он давно мечтал и которая здесь впервые предстала перед ним во всей своей сложности?

...Метеорология, она раскрывалась перед Крыловым как трогательная история всевозможных попыток установить какую-то закономерность там, где ее быть не может, там, где все основано на хаосе. Ветры, облака, дожди, колебания температуры — все то, чем занимается метеорология, все возникало из сцепления бесчисленных случайностей, они зависели друг от друга, и невозможно было в этом клубке разыскать начала и концы.

Где-то в горах под ногой альпиниста срывался камень, и оказывалось, что это приводило к снежной буре и граду.

Нужно было высокое мужество, великое трудолюбие многих поколений метеорологов, чтобы построить из, казалось бы, бессвязной груды фактов науку.

Но в этой сложнейшей науке издавна существовал наиболее трудный раздел — облака. Крылов понял, что стремление исследовать облака было уже само по себе героизмом.

В самом развитии облака крылась великая тайна. По каким неведомым законам оно вдруг начинает пухнуть, наливаясь, темнеть? Оно капризно, как фея, оно может выкинуть любое. Оказывается, эта фея, которая весит миллионы тонн, способна вывалить на землю десятки миллионов тонн воды. Облако может превратиться в грозовое и начнет швырять, как песчинку, тяжелый самолет, из радиостанции полетят искры, а радиокompас начнет вращаться в плавном вальсе. Он может сверкнуть молниями, двумя, тремя, а захочет, и обстреляет землю сотнями. А может, ничего этого не будет. Возьмет и

станет спокойным, тучным, ливневым облаком, будет долго стоять тихо, не шелохнувшись, и внезапно прольется теплым грибным дождем. Или исчезнет, растает за несколько минут так же необъяснимо, как появилось.

Все сравнивали грозное облако с генератором. Обычным генератором, электромашиной, которую Крылов проходил на втором курсе. Получалось весьма просто, но в этой машине не было зажимов, и неизвестно, куда к ней подключать провода, и неясно, кто ее вертит, и как она включается, эта машина, и почему останавливается, и отчего ни с того ни с сего идет вразнос и создает напряжение, на которое не рассчитывали.

Нет и, наверное, не было двух более или менее одинаковых облаков. Даже наиболее по типу сходные, они отличаются всем — толщиной, и формой, и возрастом, и поведением. У каждого своя судьба. Тут все меняется причудливо, неповторимо, иногда за мгновение, иногда долгими часами.

И все же должны быть у них какие-то общие черты. Что-то объединяет их. Но что, как, где?

Где те неоднородности, которые ведут к развитию?

Ему не раз приходила мысль, что, собственно, и в человеческом обществе развитие зависит от неоднородности. Там, где все одинаково, там нет развития. Если бы в обществе не происходила борьба мнений, научных идей, оно было бы обречено. Оно стало бы неподвижно, как слоистые облака, где месяцами ничего не происходит: сколько ушло капель, столько и пришло. Всякое открытие, новая мысль — это ведь тоже неоднородность, которая неизбежно становится явью, плотью, переворачивает сознание людей, воюет, растет, вспухает, как облако, и наконец требует воплощения.

Ну, хорошо, но как же быть с облаками?

Работу, начатую Крыловым, Алтынов сравнивал с попыткой чудака фотографа, вздумавшего создать портрет «среднего» гражданина своего города. Он фотографирует несколько десятков людей, приводит каждое лицо к единому размеру, складывает негативы и перепечатывает их насквозь на одну пленку. И так десятки раз.

Потом совмещает эти осередненные портреты и снова пропечатывает их. Получится портрет, некий общий портрет, это лицо человека, не похожего ни на кого в отдельности, и вместе с тем в нем запечатлены черты всех людей. Отпали случайные черты, усилились общие. Это портреты всех вместе и никого конкретно. Он похож на всех, никто не узнает в нем себя.

Примерно таким способом Крылов взялся за облака.

Поначалу было неясно все — как складывать, по какому принципу. Он замучил лаборантов, пробовал так и этак. Обработали восемьдесят пять облаков, нарисовали свыше трехсот графиков, и наконец удалось установить, что ничего не получается. Несколько дней Крылов ходил сконфуженный, притихший, безропотно выполнял все указания Тулина. Тот был доволен:

— Классики правы — труд облагораживает человека!

И вдруг он понял, что модель облака — это не портрет, а скорее живой организм, внутренний процесс. Только так можно искать закономерность. . .

Ричард регулировал осциллограф. Отличный новенький осциллограф. Обидно, что для программы агатовских измерений «К вопросу о новом уточнении. . .». Такие измерения годятся в диссертацию, и только. Когда речь заходила о программе Агатова, Тулин начинал напевать: «Кап-кап-кап-кап, каплет дождик. . .» Или пел: «По капельке, по капельке, чем поят доктора».

Наклоняясь над шкалой ваттметра, Ричард видел в зеркальной дужке прежде всего свои очки, затем глаза, переносицу, черные широченные брови. Подетально вроде все в порядке, а вместе — уродство. В последнее время он стал заботиться о своей внешности. Ему хотелось быть красивым. Подумать только, на всю жизнь приговорен носить эту дурацкую физиономию! Он бы сделал себе лицо смуглым, жестким, глаза голубые и непроницаемые, прибавил бы росту сантиметров на шесть, так, чтобы Женя, глядя на него, чуть запрокидывала голову. Пора дать возможность людям выбирать свою внешность самим.

В мастерскую вошел Агатов, поговорил с Алешей и Катей, остановился за его спиной.

— Двигается?

— Кончаю, — сказал Ричард.

Присутствие Агатова всегда можно было узнать по запаху одеколона «Ландыш». Он был весь пропитан этим одеколоном.

— Пора, пора. Вас опять Тулин отвлекал? — сказал Агатов. — Боюсь, вы слишком увлекаетесь Тулиным. — Было слышно, как Агатов вынул из коробка спичку. Он не курил, но всегда носил с собой спички и ковырял ими в зубах.

Ричард закрыл крышку ваттметра. Тусклый зайчик скользнул по большому лицу Агатова. Оно было тоже некрасивое, это лицо.

— Человек странно устроен, — грустно сказал Агатов, — он готов скорее простить плохое, чем то хорошее, что ему сделали.

И Ричард подумал, что в глазах Агатова он выглядит неблагодарным. Всего полтора месяца назад Ричард кротко упрашивал Агатова взять его с собой сюда, вместе со студентами. Для своей темы Ричарду достаточно было поехать на аэрологическую станцию, и Агатов не понимал, почему Ричард настаивает, и Ричард вынужден был намекнуть на личные мотивы. Агатов откровенно предупредил, что обязанности, возложенные на него Голицыным, и без того сложные и что если он возьмет Ричарда, то как помощника, а не как противника. Ричард обещал, он готов был обещать тогда что угодно. Надо отдать должное: Агатову пришлось-таки похлопотать, доказывая, что Ричард ему необходим.

Ричард подумал, что Агатов сейчас тоже вспоминает: «Личные мотивы. . . Я вам помогу во всем, что за вопрос». Он почувствовал себя обязанным Агатову, и это мешало, связывало.

Агатов понимающе покачал головой.

— Ничего мне от вас не нужно. Как-нибудь я справлюсь. Миссия у меня тяжелая, что и говорить. Один против всех. Я зажимщик, я консерватор. А ведь знаете, Ричард, в каждом явлении существует две стороны. Единство противоположностей. Так, кажется, нас учили? Я отвечаю за разумность и безопасность исследований. В сущности, я забочусь о жизни Тулина, о вашей жизни. И вот за это меня выставляют злодеем, будто я против самой темы. Ведь выставляют?

Ричард неловко кивнул.

— Видите. Да что там далеко ходить! Вы то же самое считаете. Хотя я делаю для вас больше, чем ваш Тулин. Думаете, я не знаю про вашу диссертацию? Вы самовольно изменили утвержденную тему. Я должен немедленно сообщить Аркадию Борисовичу и отослать вас. Пусть он там разбирается с вами. А я покрываю вас, рискую. Зачем, спрашивается?

От неожиданной искренности его слов Ричард растерялся.

— Яков Иванович, но что мне делать, я убедился... Крылов дал мне почитать свои работы. Пусть у Тулина еще не все доказано. Я чувствую, тут зарыта истина. Когда-то я верил в метод Голицына, но сейчас — это уже догма. У нас и так слишком много догм в науке.

— Где же?

— Да всюду. Тот же Денисов. Вы зря на Тулина нападаете, он взялся за грандиозную проблему. Шутите ли, активные воздействия! Его надо поддержать.

— Вот и поддерживайте после диссертации, ежели вы так убеждены. Тогда у вас руки будут развязаны. И то присмотритесь получше. Вы за Тулина горой, а он?

— Что он?

— А то, что не стоит он этого. Он эксплуатирует вас. Нисколько он не заботится о вашем будущем. А от меня вы отворачиваетесь, хотя я забочусь о вас. Не понимаю...

Мимо прошел Алеша, с любопытством оглядел их. «Отныне и во веки веков клянусь врезать правду всем и каждому».

— Ей-богу, Ричард, не знаю, чего я с вами цацкаюсь. Но мы можем быть друзьями. Вам это выгоднее, чем мне. Лезете вы очертя голову бог знает куда. Они же вас обманывают.

Агатов выплюнул спичку, левую руку он положил Ричарду на плечо. Ричард резко отступил.

— Яков Иванович, вы сказали: займитесь тулинским методом после защиты. Так? Что ж это значит? Справедливость метода вас не интересует. Научная истина вам не важна. А Тулин готов рисковать жизнью ради науки! Пусть он ошибается, такая ошибка в сто раз прекрасней трусливой осторожности посредственностей.

Да, он виновен, пообещал — не выполнил, обманываю.

вает Голицына, покосите его как угодно, но все же против Тулина он не пойдет. От него он не отступится.

— Вы пожалеете об этом. Вам это может дорого обойтись, — сочувственно сказал Агатов, и Ричард ощутил страх, гнусный, маленький страх, который заставил его вымученно улыбнуться. «Диссертация — это не шутка, — думал он. — Что будет, что будет?»

Он вспомнил, с каким трудом поступил в аспирантуру, все свои мечты и планы.

— Но я изменил диссертацию потому, что это — мое убеждение. Крылов ведь ушел от Голицына тоже по убеждениям.

— И чего он добился? Он давно кается, бедняга. Присмотритесь, какую жалкую роль ему тут приходится выполнять. Тулин с ним не считается.

— Нет, нет, если человек поступает принципиально, он не жалеет.

— Декламация. Вам надо избавляться от декламации, — заботливо сказал Агатов. Он облизнул губы. — Что вы мне тычете своего Тулина! Хотите знать, кто он? Хищник он! Плевать ему на всех вас с вашими идеалами. Он вас выжмет и выбросит. Он разве посчитается? Он и сейчас с вами не считается. Да я не про работу. Я, так сказать, из области лирики. Нет у него нравственности. Эх вы, рыцарь в очках! Вы же слепец. Правильно говорят, что влюбленные слепы на оба глаза.

Какое-то мгновение они смотрели друг на друга в самую черную скважину зрачков. Ричард еще не понимал, что произошло, но все изменилось. Откуда пришло это предчувствие беды?

— Неправда, нет, вы выдумываете, — быстро проговорил Ричард.

— Как же неправда, когда вы сами об этом подумали! Мы-то с вами говорили о том, как вы в Тулина влюблены. — Агатов весело рассмеялся. — Попались? А вы меня клеветником. . .

— Не хочу слушать. Я знаю, вы говорите из зависти.

Но это было лепет, беспомощный лепет. Он сам не слышал себя. Он был испуган: в самом деле, почему он подумал про них? Что толкнуло его на это?

— . . . И вы поймете, что вы для Тулина ничто: если ему будет надо, он перешагнет через вас не задумываясь.

— Вы завидуете ему.

— В чем же?

«Неужели я боюсь? Поверить — значит предать Тулина».

— В том, что он талантлив.

Глаза Агатова угасли, все живое из них словно уходило, уходило внутрь, ставни захлопнулись.

— Я к вам по-хорошему, а вы как повернули. Обидно. Напрасно вы отталкиваете. Ну, да насильно мил не будешь. Придется вам поехать в Москву, пусть Голицын решает. Я отвечать за ваши упражнения с диссертацией не желаю. — Он передохнул, покачал головой. — Значит, Денисов — вредная догма? Не нравится вам русский ученый, товарищ Гольдин?

Ричард побледнел, задохнулся.

— При чем тут... Да вы...

Агатов медленно улыбнулся.

— Сдайте мне отчет о проделанных замерах.

Четким шагом он направился к выходу. Бледные губы его нервно кривились. Он был оскорблен человеческой неблагодарностью.

Пунцовые табуны облаков неслись по небу. Солнце садилось за горы. Густой теплый воздух гудел от вечерней мошки. Ричард лежал на остывающей гальке. Никогда раньше он не представлял себе, что может вот так лежать, без единой мысли, без желания, чувствуя лишь время и не жалея его.

Обычно к вечеру осаждалось недовольство прошедшим днем — много времени потрачено зря, на болтовню. И всякий раз Ричард давал себе слово завтра наверстать.

Теперь все побоку. Пропади оно пропадом, время, с его часами, пузатыми будильниками, звонками, светящимися циферблатами. С его календарями, расписаниями, восходами, планами и прочей трухой. Может быть, когда-то было так, что не существовало ничего, даже времени не было.

Скрипнул, закачался легкий висячий мостик над Аянкой, Ричард вскочил, полез вверх по откосу. На скале перед собою он видел изогнутую тень моста и две тени посреди пролета. Мужчина наклонился и взял женщину за руку. Она отняла руку. Потом они слегка раскачали мостик, стальные тросы скрипели, вытянутые тени взле-

тели по скале. Мужчина снова взял женщину за руку, высоко, у самого плеча. Так он держал ее долго, и она не противилась. Ричард медленно взбирался на откос и медленно шел к мосту. Солнце садилось. Тени изгибались на каменистых отрогах.

Женя помахала рукой, нисколько не удивляясь его появлению. Тулин сказал:

— Будьте осторожны, Ричард, она взрывается от малейшей детонации.

Ричард поспешно рассмеялся, страдая оттого, что Тулин держался свободно и что так же, без всякой неловкости, распрощался и ушел.

— Я тебя искал с полудня, — сказал Ричард.

— Мы с Тулиным запускали зонд.

— Недавно ты слышать не могла о Тулине.

— Сам перевоспитал. На тебя не угодишь.

По вырубленным ступенькам они поднялись к шоссе. Над головами с ревом проносились самолеты, их крылья слепяще вспыхивали.

— Что с тобой? — спросила Женя.

Он попробовал передать ей свой разговор с Агатовым и убедился, что, собственно, рассказывать не о чем, все утекло, как вода меж пальцев.

— Надо было бы об этом сказать Тулину. — Глаза ее смотрели чисто, открыто, и Ричарду стало легче.

— У него и без меня... Я сам справлюсь. И ты не смей морочить его.

Он выговаривал ей, а она хохотала, закидывая голову, пока он не промолвил еще неуверенно:

— Кажется, я кретин.

— Не сомневайся. Я иногда думаю: ну что ты во мне нашел?

— Женя, когда ты так говоришь, я могу... Хочешь, я выдам такую диссертацию, что все закачаются!

— А на Агатова наплюй. Он тебя ревнует к Тулину.

— Черт с ним!

— Не надо мне было ходить с Тулиным. Он тут ни при чем. Я сама вела себя глупо.

Они подошли к коттеджу, где жили девушки. Ричард нерешительно замедлил шаг.

— Давай еще погуляем, — сказала Женя.

Миновав поселок, они направились к аэродрому.

Ричард обнял ее.

Проехал служебный автобус, летчики высовывались из окон и что-то кричали Жене.

— А если бы Тулин приставал ко мне, ты бы мог его ударить? — неожиданно спросила она.

— Легонько, чтобы ты его потом не утешала.

— Ты когда последний раз дрался? Впрочем, неважно. А знаешь, есть, наверное, мужчины, которые никогда не дрались. Агатов ругал Тулина? Послушай, а может, Тулин плохой? Какие ты видишь у него недостатки?

— При чем тут он? Я думаю про твои недостатки.

— Скучища. Терпеть не могу, когда обо мне думают! Я сама не думаю о себе. Однажды попробовала — ничего не вышло. У меня, наверное, потребительское отношение к науке. Вроде Алеши. Или Поздышева. Я не выношу таких красавчиков. Он привык, что все его обожают, как Вера Матвеевна, кудахчут вокруг него.

— Ты про кого?

— Про Тулина, конечно.

— Считается, что талантам многое следует прощать.

— Прибедняешься? У тебя тоже способности.

— Неужели Агатов отошлет меня?

— Тогда я тоже уеду.

— Не дури. В крайнем случае Тулин уладит. Он не допустит. Я ему нужен.

Темнота хлынула из-за гор, как наводнение, затопила долину, поселок выкарабкивался из тьмы, включая огни в домах, огни на дороге, цветные огни аэродрома.

Кати не было дома. Женя скинула туфли. Охая, потирая ноги, легла на кровать.

— Иди сюда.

Ричард осторожно прошел темную комнату.

— Садись.

Он сел, нашел в темноте ее руки. Она почувствовала, как все в ней сжалось. Хорошо, что он не видел ее лица.

— Я бы тоже хотела выдавать всем правду, как ты. Но мне жалко людей.

— Какие у тебя холодные руки, — сказал он.

Он наклонился и поцеловал ее, царапая очками.

«...И тогда уже ничего нельзя будет изменить», — подумала она. Может быть, они поженятся. После всего этого они поженятся. Только бы скорей это произошло, и тогда все другое кончится и станет ясно. Она не шевелилась. Он мог делать сейчас с ней что угодно.

Рука его легла к ней на грудь.

— Не надо, — сказала Женя.

Он с усилием отстранился.

— Я пойду, — сказал он.

После его ухода осталась темнота. Женя чувствовала себя измученной. Она лежала, и улыбалась, и ругала его, и благодарила его, и жалела, и презирала его.

Посреди ночи она разбудила Катю:

— Это все неправда, неправда.

— Что случилось? — спросила Катя.

— Не может быть, что на свете существует единственный человек, с которым можешь быть счастлив. И как раз его-то и встречаешь.

— Господи, что ее заботит! Мало за тобой бегают?

— Но пойми, это ж абсолютная чушь. Вот тебе нравятся Алеша. Из миллионов ты нашла именно того, кто предназначен тебе судьбой. И в целом мире нет другого! Так, что ли? И эта твоя мечта оказалась в твоём институте и в твоей группе. Какое совпадение! Да на земле существует не меньше тысячи парней, которые могут стать единственными навеки. Ах-ах! И нечего устраивать трагедии.

— Да кто устраивает? — возмутилась Катя. — Ты что, поссорилась с Ричардом?

Опять Ричард! Будто никого, кроме Ричарда, представить невозможно.

— Ну чего ты, успокойся, сколько раз вы уже ссорились. Он ведь без ума от тебя. Чего тебе еще надо?

Действительно, чего ей еще надо? Она и Ричард. Все уверены, что это — самое лучшее. Что это неизбежно. Ничего другого не может быть.

Она лежала, крепко закрыв глаза, но слезы все равно текли. Ей хотелось думать, что она поссорилась с Ричардом. Что все из-за этого, и ничего другого нет.

Глава 4

Несколько недель Крылов потратил на сооружение специальной установки по измерению заряженности самолета.

Тулин был рад: хоть на время Крылов отцепится.

Было утомительно воевать на два фронта: с одной стороны Агатов, с другой — Крылов.

Нужен был высоковольтный выпрямитель. Алтынову, как водится, повсюду отвечали: «Не предусмотрено, почему не оформили заявку в прошлом году?» Крылов поехал с ним в Москву. В главке они долго бродили от стола к столу, пока Алтынов не выяснил, что все зависит от некоей Машеньки. Она была какой-то помзамнач, но Алтынов давно убедился, что самые сложные аппараты добываются за самыми невзрачными столами. Машенька была смешливой, конопатой, чем-то похожей на мокрого воробья.

— Рассудите сами, — сказал ей Крылов, — мы только сейчас додумались до новых режимов, как же можно было дать заявку год назад?

— У нас плановое хозяйство, — сообщила она Крылову. — Промышленность не может ждать, пока вас осенит.

Машенька была неуязвима и недосягаема. Алтынов шепнул: «Пригласите ее в ресторан». К удивлению Крылова, она охотно согласилась, и они провели вдвоем прекрасный вечер. Крылов был в ударе, рассказывал про полеты и про свое путешествие на корабле.

Назавтра Машенька организовала сверхсрочный заказ, и оказалось, что ртутник прибудет через месяц. Алтынов был доволен; он дал Крылову заполнять бланк-заказ и ушел с Машенькой заверять какие-то подписи. Когда они вернулись, Крылов весело рисовал схему на оборотной стороне бланка. Обняв при всех Машеньку, он сообщил, что нашел способ моделирования, при котором можно обойтись любым выпрямителем. Установка получается простой, правда, придется кое над чем помудрить, но так даже интересней.

Напрасно Алтынов дергал его за рукав, Крылов твердил свое, пришлось идти отказываться к заму, случай был редкостный, и на разбирательство явился сам начальник. Крылов недоумевал: если уж на то пошло, то вообще по заявкам отпускают слишком щедро. Конечно, легче заказать более мощную установку, чем думать, как выходить из положения. Машенька со своими начальниками слушала его с восторгом, но представители институтов чуть не устроили ему «темную».

Установка получилась кустарнейшей, над Крыловым

посмеивались, он не обращал внимания. Ему вспоминался Дан с его умением работать на элементарных схемах; только теперь, на собственном опыте, он начинал понимать, почему Дан избегал заказывать большие, сложные установки. Дан считал, что избыток материальных средств не поощряет мысль. Простенькая установка обнажает сущность явления, заставляет думать над главным. Он часто вспоминал Дана, впервые ему пришлось действовать без всякого научного руководства. Ему не хватало критики, ему не хватало даже Голицына, который так умел выискивать ошибки и требовать новых доказательств.

Между большими пластинами, обклеенными станио-лем, висел на шелковых нитях дюралевый самолетик. Шариком на длинной бамбуковой палке нужно было коснуться самолетика в определенной точке, снять заряд, пронести определенным путем до электрометра, коснуться электрометра, снять показания, записать. И так надо измерить полсотни точек. Потом изменить напряжение между пластинами и все начать сначала. Потом изменить положение самолета и начать новый цикл. Алешу поражало, как хватает у Крылова терпения. А Крылов занимался этим вторую неделю. Движения его были отработаны с машинной точностью.

Алеша пробовал ему помогать, и через полчаса у него начинали болеть руки. Неужели это и есть наука, увлекательная, захватывающая?

Под вечер Алешу сменил Ричард. Уселся за электрометр. Разумеется, он-то понимал, что в экспериментальной работе приходится заниматься скучными вещами, но все же это робинзонство, в наш век, при наших возможностях.

— Я бы тоже не стал чикаться, — потягиваясь, сказал Алеша. — Обеспечьте меня, тогда пожалуйста. Малó напряжение — ставьте большой трансформатор.

Крылов слушал их улыбаясь. Он снял рубашку, остался в зеленой майке, плечи у него были широкие, грудь волосатая, и вообще он оказался куда крепче, чем выглядел в своем мешковатом костюме.

— А что, не так? — спросил Алеша.

— Во времена Фарадея, — сказал Крылов, — талантливых идей было мало, но и денег на науку почти не давалось, теперь же деньги отпускают щедро, а талант-

ливые идеи все еще редки. И, конечно, легче потратить лишние деньги, чем придумывать, изобретать, изощрять ум.

— По-вашему, надо меньше тратить денег на науку? Так можно договориться вообще до мракобесия! — воскликнул Ричард.

— А что ты думаешь, — Крылов нисколько не смутился, — может быть, и поскупее надо. Когда у науки вдоволь средств и денег, она становится слишком жирной. Есть, конечно, и крайности. Двухрублевую лампу достать — целая история. Но это уже организация.

Ричард озадаченно молчал.

С этим Крыловым никогда не угадаешь: перевернет все вверх ногами, расставит по-своему, раздразит, и пошла схватка, — тут уж никакой субординации, ни студентов, ни кандидатов наук, и можно не бояться ляпнуть глупость, и самое главное — есть человек, который внимательно слушает.

Они яростно занимались реформами — отменяли диссертации, снова вводили диссертации, но решили не платить за степени, ибо идущий в науку не должен прельщаться доходами. Открывали институт телепатии, лаборатории хиромантии — будем дерзать, авось получим что-либо новенькое, иначе неинтересно. И вообще ученый, доказывал Крылов, воплощает в себе черты человека коммунизма, поскольку работа для него — потребность, удовольствие.

Алеша кивнул на Крылова:

— Ничего себе удовольствие — махать палкой каждый вечер!

И все рассмеялись, потому что действительно трудно было представить себе более занудную работу.

Когда они остались вдвоем с Крыловым, Ричард вздохнул:

— Наука — это лес дремучий. Не видно ничего вблизи...

Крылов прислушался.

— Все же прочел «Фауста»?

— Прочел. Надо бы еще перечитать, да разве успеешь. Сколько книг написано хороших, кошмар! Человечеству хватит на сотню лет. Да еще сколько фильмов, пьес, мультфильмов! Это если только одни шедевры брать. Хватит. Я бы прикрыл искусство лет на двадцать.

— Вот кто мракобес.

— Все равно на таких, как Агатов, никакие стихи не подействуют.

— Чего это ты так на него?

— Ненавижу бездарности. От них все зло; их надо давить. Их нельзя подпускать к науке. Их надо травить, высмеивать.

— А тебе никогда не приходило в голову, что упрекать человека в бездарности — все равно, что смеяться над калекой?

— Хорош калека! Агатов вам шею скрутит, дайте ему только власть.

— Я его иногда жалею. Он несчастный человек. Он пошел не по призванию, он, конечно, не физик, может, у него способности архитектора или председателя колхоза. Кто знает? Когда человек чувствует себя на месте, он становится лучше.

— Оправдываете его? Человек на любом месте должен оставаться человеком.

Крылов выключил напряжение, присел на стол.

— Я давно думаю, что самое важное сейчас — это помочь людям находить их призвание. Вот наша Зочка, официантка в столовой. Что, она родилась для того, чтобы быть официанткой? Рассмотрим формулу — «от каждого по способностям...» По способностям! А сколько людей не знает своих способностей! Тут, брат, мало того, что вот вам, пожалуйста, учитесь, выбирайте, — все права и возможности. Нужно помочь каждому определить его максимум...

— К Агатову это не относится! — И, не вытерпев, Ричард передал свой разговор с Агатовым.

Крылов вернулся к электрометру, потер красные веки.

— Ничего, обойдется, я поговорю с Тулиным.

— Да, да, Тулин не позволит отослать меня.

Крылов кивнул, и они продолжали работать.

Он нашел Тулина в номере у Алтынова. Там сидел и Агатов.

— Присаживайтесь, — сказал Алтынов.

Они пили чай с медом. Алтынов любил мед, он любил все, что полезно, и устраивал чай с витаминами и прочими необходимыми для организма веществами.

Судя по репликам Тулина, Крылов понял, что речь шла как раз о Ричарде и что Агатов уже изложил причины, по которым отправлял его в Москву. Алтынов не вмешивался, его доброе рыхлое лицо было непроницаемым, лишь иногда он предостерегающе взглядывал на Крылова. Тулин с трудом скрывал раздражение, но все же держался осторожно, говорил про мед, улыбался, и все они выглядели друзьями, по крайней мере приятелями.

— Не удивлюсь, если его отчислят из аспирантуры. С такими взглядами на жизнь полезно поработать годик-другой на заводе, верно? — Агатов посмотрел на Тулина.

— Так считается, — сказал Тулин, — но я не могу знать, не работал на заводе.

— А я работал, — сказал Крылов, — и думаю, что для Ричарда это не обязательно.

— По-вашему, Сергей Ильич, выходит, что повариться в рабочем котле вредно?

— У Ричарда вся семья рабочая.

Тулин громко побренчал ложкой.

— Сережа, я боюсь, что из тебя адвокат никакой.

— Он не считается с Голицыным, — сказал Агатов. — Посудите сами, как может Аркадий Борисович руководить аспирантом, который выступает против него! Нет, нет, пусть ищет себе другого руководителя. Если найдет.

— А что тут особенного? — сказал Крылов. — Можно и против руководителя...

Тулин выразительно посмотрел на него, повернулся к Агатову.

— Яков Иванович, накладывайте, угощайтесь! — Алтынов придвинул банку с медом.

— Денисов хочет критиковать. Стоит ли ему этим заниматься, Олег Николаевич, как по-вашему?

— Я понимаю вас, Яков Иванович, — мягко сказал Тулин. — Конечно, это все осложнит. И без того сложно.

— Вот именно.

Агатов засмеялся, и Тулин тоже изобразил улыбку, но взгляд его оставался жестким, немигающим.

— В липовом меде содержится сорок пять процентов виноградного сахара, — сообщил Алтынов.

— Чудесный мед. А вы любите мед в сотах? — спросил Агатов.

Интеллигенция, думал Крылов, законы цивилизованного общества. Попробуй я сейчас ударь Агатова чайником по голове, меня под суд за хулиганство. А то, что Агатов испакостит жизнь Ричарду, — это не хулиганство. Это законное разрешение конфликта, вполне культурно.

— Что же будет с Ричардом? — спросил Крылов.

— Это решит Аркадий Борисович, — сказал Агатов.

— А вы ему подскажите?

Агатов даже не посмотрел на него, он отхлебнул чай и обратился к Тулину:

— В Москве могут подумать, что вся история с диссертацией Ричарда — ваших рук дело. Вы подбили аспиранта, чтобы он тайком от руководителя...

— Но вы уже знаете, Яков Иванович, я тут ни при чем. Такова уж сила идеи... — И Тулин засмеялся так, что Крылову стало жаль его.

После ухода Агатова Тулин с отвращением сплюнул.

— Гнида...

— Что же будет с Ричардом? — спросил Крылов.

— Агатов как вирус, — сказал Алтынов, — он ждет подходящих условий, тогда он развернется. Чуть только среда будет благоприятствовать, он нам всем покажет кузькину мать. Вы молодые, а я навидался этих типов до войны.

— Уж не думаете ли вы, что я боюсь его? — сказал Тулин. — Мне сейчас просто не с руки с ним возиться. Придет время, я ему припомню.

— Ну, а что же будет с Ричардом? — опять спросил Крылов.

Тулин вскочил, опрокинув стул.

— Ричард, Ричард! Балаболка твой Ричард! Какое он право имел, ничего мне не сказав... У нас и так все трещит, а он тут разжигает страсти. Нашел время ссориться. Так ему и надо. И ты не лезь. Ты не политик, ты ни черта не понимаешь. — И оттого, что Крылов молчал и смотрел ему в глаза, молчал и смотрел, Тулин закричал: — У меня и без того не хватает сил! Со всех сторон... Поймите вы. Или с ветряными мельницами бороться, или работать. Тебе-то что? Праведник! Тебе можно без компромиссов обходиться! За моей спиной... Вся муть достается мне. Ну, а что делать, если время, темп сейчас дороже справедливости? — Он успокоился,

накинул на плечи пиджак, пригладил волосы. — Попробуем еще как-нибудь уладить. Но для меня прежде всего условия работы и результаты. Я никого не пожалею ради них. Хоть бы кем угодно пришлось пожертвовать.

Он вышел, Крылов — за ним. В коридоре Тулин обернулся, прошел мимо дверей своего номера, спустился по лестнице. Крылов следовал за ним.

— Отцепись! — сказал Тулин. — Оставь меня!

Возвращаясь назад мимо подстанций, Крылов увидел Агатова внизу, у реки, на метровом уступе. Агатов вынимал из чехла спиннинг, рядом стояло брезентовое ведро, сачок, в пожухлой траве сверкала блесна. Крылов спустился к нему.

— Здесь попадается довольно крупная форель, — сказал Агатов.

— Хороший у вас спиннинг.

— Обратите внимание на катушку — моя конструкция. — Он отвел собачку и щелкнул никелированным тормозом. — Попробуйте!

Крылов взял спиннинг, покрутил катушку. Скрестив на груди руки, Агатов с гордостью слушал шелк тормоза.

— Прошу вас, Яков Иванович, оставьте Ричарда в покое.

— Там, где хариус стоит, в струе слышно: бульк, бульк, — с нежностью сказал Агатов. — Туда и закидывай. Сумеешь точно попасть — он сразу хват, и тяни.

— Так как же?

— Вас что, Тулин прислал?

— Я сам.

— Лучше вам не вмешиваться.

Он взялся за спиннинг, но Крылов продолжал держать удилище, и бамбук выгнулся.

— Пожалуйста, — попросил Агатов. Он осторожно потянул спиннинг к себе, и бамбук еще больше выгнулся. Крылов подумал, что Агатов сильнее, и вдруг удивился, заметив испуг в его глазах. Крылов шагнул вперед, Агатов отступил, попятился к обрыву.

— Вы что ж это... Подождите, — забормотал Агатов.

— Яков Иванович, а вы мой должник. Помните, тогда, у Голицына, вы наговорили на меня!

Теперь они стояли почти вплотную друг к другу, оба по-прежнему держась за удилище, за спиной Агатова был обрыв, и Агатов почти не слушал Крылова.

— Вы мне окажете эту услугу — и тогда будем квиты, — сказал Крылов.

Агатов огляделся, и Крылов тоже оглянулся — кругом не было ни души, и Крылов усмехнулся.

— Лично вам я пойду навстречу, — тотчас сказал Агатов, — с удовольствием.

— Вот и хорошо. — Крылов отпустил удилище.

Агатов как-то обессиленно сел на землю, не выпуская из рук спиннинга.

— Вам — да. Именно вам, — повторил он уже несколько тверже. — Как мне обидно за вас! Как к вам здесь относятся! — Он посмотрел снизу вверх на хмурое лицо Крылова. — Для вас я готов. Вы не верите? Думаете, обману? Пожалуйста, при вас напишу Голицыну. Можете сами отправить. Вот только бумаги нет.

Крылов вынул записную книжку. Агатов писал, а Крылов с удивлением думал о том, что, оказывается, сила, простая физическая сила еще кое-что значит для таких людей, древний и, пожалуй, иногда самый чистый способ убеждения.

В гостинице возле дежурной сидел подвыпивший лысый мужчина лет сорока. У него были мокрые губы и выдвинутая вперед челюсть. Он был похож на обезьянку. Дежурная, толстая красивая женщина, улыбаясь, говорила:

— А я люблю так, чтобы выйти замуж и сразу родить.

Крылов подсел, закурил.

— Я не тороплюсь, — сказала дежурная. — Мне нужен мужчина ведущий. К примеру, научный работник. Вот Лисицкий у нас живет. А то Тулин. Я в семейной жизни кого хочешь устрою. Мне, пожалуйста, директором гостиницы предлагали.

Непонятно было, всерьез она или нарочно поддразнивала. Мужчина сопел, наливался лиловой краской.

— Слишком располагает к себе ваш Тулин, — сказал он. — Все эти ученые сидят на шее государства и сосут и сосут. Когда хочет, тогда и приходит на работу. В шахту бы его... Два года ковыряются, а где продукция? Дали бы мне власть, я бы всех их... Сперва, конечно, по партийной линии.

— А что у них? — спросил Крылов, подмигивая дежурной.

— Материальчик собрать всегда можно. Тулин, говорят, своего дружка Крылова пристроил. Факт. Оба Академию наук критикуют. Сам слышал. А бытовое разложение — это ж наглядно: со студенткой гуляет. Алтынов покрывает его. У них одна шайка-лейка. По вечерам собираются и шу-шу-шу. И на работе разговорчики. Прогуливается такой прощелыга взад-вперед, руки в брюки, — видите ли, думает! За такую ставку и я могу думать. Эх, мне бы власть, я бы их повернул на сто шестьдесят градусов! Они бы у меня завращались. Всех бы разогнал. Все эти ихние НИИ. Копайте землю со своими профессорами. Спутники, спутники, а что толку от спутников? Летают, а рыбы нет. Студентов развели — это ж форменный разврат. На завод их, чтобы по семь часов вкалывали! А Тулин бы у меня побегал. Ах, ты против, рыпаешься, а ну-ка, голубчик, охладись. . . Нет, распустили мы, страху нет. . .

— Тулин и так бегаёт, — сказал Крылов.

— Э, руководить всякий может. Думаете, я не могу? Чем я хуже? Все на случае построено. Мне случай не выпал, а они проныры. Пиджак у него какой, у Тулина, видели — в клетку, разрезик сзади. По-вашему, как, я такого пиджака недостоин? Вы тоже, видать, из ихних, в одну дуду дуете.

— Иди бай-бай. Жених, — сказала дежурная. — Небось когда почки схватило, к профессору поехал. Все вы такие.

Крылов долго еще сидел с ней и рассказывал про лесные пожары от гроз, про виноградники, побитые градом, про ребят, которые зимуют на Эльбрусе, изучая облака. За этот год он увидел страну так, как никогда. Строители на плотинах, хлопкоробы, трактористы, колхозники смотрели в небо — это они смотрели на него, потому что он жил там, в этом небе, воюя для них с облаками.

Дежурная всплескивала полными белыми руками, ахала, потом сказала:

— Вы на него не обращайтесь. Ревнует. Он экспедитор. Свагается.

Крылову стало весело. После истории с Агатовым он чувствовал себя сильным и добрым Гулливером. Чего

ему злиться, ему жаль этого экспедитора, обворовавшего свою жизнь. Открыть его лысую голову и посмотреть, на что годен, не был же он рожден для того, чтобы стать экспедитором. И человек станет счастлив.

Поднявшись наверх, он отыскал Ричарда в фотокомнате. Там работали Женя, Лисицкий, еще кто-то, при свете красного фонаря мелькали обнаженные руки. Улучив минуту, Крылов шепнул Ричарду:

— Все в порядке.

— Видите, я так и знал: Тулин — железный парень.

Ричард нашел в темноте руку Крылова, пожал ее и уже через несколько минут вместе с Лисицким доказывал Крылову бессмысленность повторных замеров, называл требования Крылова академическими и повторял слова Тулина о решающей роли интуиции.

— Если так работать, как вы предлагаете, то мы результаты получим через год, а то и через два, верно?

— Результаты? — Крылов пожал плечами. — Не знаю, да разве в этом дело?

Укладываясь спать, ребята обсуждали эту смешную фразу Крылова. Чем-то она, конечно, смущала. Но следовать примеру Крылова было слишком трудно, да и не очень надежно.

Глава 5

За час до вылета Тулина позвали к междугородному телефону. Вернувшись к самолету, он сказал Крылову, что срочно выезжает в город к Богдановскому. Свидания с Богдановским Тулин добивался давно. Богдановский заинтересовался работами группы и, очевидно, согласен как-то помочь. Богдановский был из тех начальников, которых труднее всего застать в Москве. И вот теперь, когда он под боком, глупо не использовать случай. В его распоряжении огромные средства и широкие полномочия. Знакомые археологи с восторгом рассказывали Тулину, как Богдановский щедро давал им машины, людей через свои геологические экспедиции. Стоит заручиться его поддержкой, и никакие Агатовы не страшны. Очевидно, у Богдановского какой-то практический интерес. Ну, словом, Богдановский — это козырный туз!

— Придется руководить этим полетом тебе, — сказал Тулин. Он расстегнул пуговицы комбинезона, уселся на

траву и стал стаскивать с себя робу. — Заодно получу материалы на базе. Да, кого-то мне надо прихватить с собой. . .

Крылов уныло вертел отвертку. Необходимость руководить полетом пугала его. Он обязательно что-нибудь упустит или напутает. Кроме того, это значит, что некогда будет заняться собственными измерениями.

— Эх ты, эгоцентрик! — сказал Тулин. — Ничего, привычайся, попробуй тяжесть и сладость власти. — Он поднялся, сложил комбинезон. Стройный, в яркой клетчатой рубашке навывпуск, в легких сандалетах, спортивных брюках в обтяжку, он выглядел совсем юношей. — А что, если я возьму с собой Женю, — рассеянно сказал он. — Ей тут особенно делать нечего. Пока я буду у Богдановского, она все оформит на базе.

Несвойственные ему объяснения были похожи на оправдания.

Крылов хотел поймать его взгляд и не мог. Глаза Тулина скользили по полю, по самолету, облепленному людьми, — маленькие, суженные от солнца черные зрачки.

У самолета шла обычная предотлетная суматоха. Грузили приборы, закрепляли приборы. Утренний туман поднимался и таял под солнцем.

— Может быть, лучше взять Катю? — сказал Крылов.

Он почувствовал взгляд Тулина, но опять не успел поймать его.

— Можно и Катю, — равнодушно согласился Тулин. — Вот тебе программа сегодняшних испытаний. Старик, не тушуйся, и будет порядок. Впрочем, каждый знает, что ему делать. Пожалуй, Катя не управится. Там надо порасторопней.

Он направился к самолету, Крылов пошел за ним.

— Олег, — вдруг сказал он, — оставь Женю в покое.

Тулин резко повернулся к нему.

— Слушай, не лезь не в свое дело! — Теперь он смотрел прямо в глаза Крылову. — Ты слишком много берешь на себя.

По трапу поднималась Женя. Ветер раздувал ее платье. Женя спустила руку, придерживая юбку, другой рукой она прижимала к груди ярко блестящий полированный футляр прибора. Волосы падали ей на лицо, она стряхивала их коротким движением головы, но они снова

падали, закрывая глаза. Последнее время Женя почти не говорила с ним, но Тулин чувствовал, что между ними установилась связь, невидимая, неслышная, как радиоволны. Пульсировал глазок передатчика: «Ты тут?» — «Я тут». А снаружи все неподвижно и холодно, как штырь антенны.

— Серега, я еще не могу тебе ничего объяснить, — сказал Тулин, провожая ее взглядом. — А вдруг это куда серьезней, чем ты думаешь. — Он было подмигнул, но, посмотрев на Крылова, сказал проникновенно: — Неужто я, по-твоему, неспособен на большое чувство? Когда тебе надо было, я помогал. Помнишь, с Леной? А ты по крайней мере не мешай мне. Запомни, в таких делах жалость бессмысленна.

Он отошел, и Крылов смотрел, как он взбежал по трапу, догнал Женю в дверях самолета, заговорил с равнодушно-деловитым видом.

Еще издали Агатов заметил Тулина и Женю, стоящих на верхней площадке. Потом Женя ушла в самолет, и Тулин спустился навстречу Агатову. Они обменялись преувеличенно любезными улыбками. В кабине, стоя на коленях у приборной доски, Ричард разговаривал с Верой Матвеевной и Алешей. Агатов подошел к ним, делая вид, что осматривает свои счетчики. Ричард доказывал, что схему стоит несколько изменить, одновременно он решал Вере Матвеевне уравнение. Ему доставляло удовольствие щеголять своими способностями. Решать в уме, на ходу, задачки, как бы между делом.

— Давай я переключу, — предложил Алеша.

Они осторожно, не отключая напряжения, быстро переменили концы.

— Готово, — сказал Ричард. — А первый корень уравнения будет логарифм К минус логарифм Н, — выпалил он.

— Спасибо, — сказала Вера Матвеевна, записывая. — Ты гений. Тебя надо в цирк отдать.

Ричард отряхнул колени. Увидев в конце кабины Женю, окликнул ее. Женя махнула ему рукой:

— Я сейчас!

Ричард пошел к выходу. Заметив Агатова, он отвернулся.

— Минуточку, — сказал Агатов.

Ричард остановился. Агатов, улыбаясь, молчал. Он любил такие паузы.

— Знаете, Ричард, я человек отходчивый, я решил не отсылать вас в Москву. Оставайтесь и спокойно работайте. — Он говорил негромко, но, несмотря на то, что в самолете работало много людей, стучали, передвигали ящики, несмотря на весь шум, он знал, что его слышат, для этого у Агатова существовал специальный голос.

— Да, я человек незлопамятный, — продолжал он. — Хотя вы были неправы, но... бывает. По молодости всякое бывает, когда-нибудь вы убедитесь... А пока будем считать инцидент исчерпанным.

— Спасибо, — сказал Ричард, понимая, что тем самым он как бы признавал свою вину. — Хотя, собственно, не знаю, за что благодарить...

Агатов понимающе кивнул.

— ...скорее мне надо благодарить Тулина.

— Тулина? — переспросил Агатов. — Ловко! Вы никак полагаете, что он вас защитил? — Агатов медленно рассмеялся. — Как бы не так! Это я не пошел у него на поводу, у Тулина. Видите ли, я с ним решил посоветоваться. Тогда еще, сгоряча. Ну и он в два счета... — Агатов сморщился, махнул рукой. — А впрочем, не стоит. — Заглянув в окно, он покачал головой. — Что ж они осциллограф не несут? — И, не обращая больше внимания на Ричарда, спустился с самолета. Он был возмущен: какая низость, какая несправедливость — в любом случае все заслуги приписывают Тулину!

Вскоре он услышал сзади прерывистое дыхание и затем срывающийся голос Ричарда:

— Яков Иванович, я вас не понял, что вы про Тулина...

Агатов, не торопясь, растолковал лаборанту, куда поставить осциллограф, потом взглянул на Ричарда.

— Стоит ли? Не хочется вас расстраивать. — Он сочувственно хлопнул его по плечу: «Бедняга, как тебя околпачили!»

— Яков Иванович, прошу вас, мне это очень важно.

— Лучше будет, если вы спросите у него сами. Или у Алтынова, он тоже присутствовал. — Агатов помолчал, крикнул. — А-аа, чего ради скрывать? К вашему сведению: Тулин согласился, что вас надо услать в Москву. Он не возразил ни единым словом. Лично у меня такое

впечатление, что ему было наплевать. Скорей всего он даже рад был воспользоваться моей вспыльчивостью. — Агатов предупреждающе поднял палец. — Но последнее мое утверждение — сугубо субъективное. Прошу взять его в скобки, поскольку я строго придерживаюсь фактов. Таков мой принцип. Не верите? Выясните подробности у тех, кто был при этом.

К ним быстрым шагом приближался Крылов, за ним — Алтынов.

Агатов ждал, исполненный достоинства, торжествующей правоты. Была еще какая-то надежда, тень надежды, с какой Ричард смотрел на Крылова, или нет, скорее на Алтынова, потому что ему трудно было заставить себя обратиться к Крылову. Но во взгляде, каким скользнул по его лицу Алтынов, мелькнуло похожее на жалость, как будто Алтынов вспомнил что-то относящееся к Ричарду и это вызывало жалость. Подойдя к Агатову, Крылов попросил отложить какие-то измерения.

— И не подумаю. И вообще, с каких это пор вы тут распоряжаетесь? — сказал Агатов.

Крылов пояснил, что Тулин уезжает и программой будет руководить он, Крылов. Ричард незаметно отошел, им было не до него. Он прислонился к шасси. Катя, пробегая мимо, остановилась.

— Что с тобой?

— Ты не видала Женю?

— Она у диспетчера.

Ричард пошел к вокзалу. Через несколько шагов он бросился бежать. В диспетчерской было полно народу. Женя, облокотясь на барьер, что-то писала. Ричард вытер вспотевший лоб.

— Вернемся к шести вечера, — сказала Женя.

— Ладно, так и пишите, — сказал диспетчер.

Ричард взял Женю за руку. Она обернулась, кивнула ему, передала бумагу диспетчеру. Они вышли в коридорчик.

— Я должен рассказать тебе одну вещь... — начал Ричард.

Женя посмотрела на часы.

— Срочное? У меня ни секунды. Мне еще переодеться.

— Ты разве не летишь?

— Нет, я в город еду.

— С ним?

— Но это ж по делу. Не могу же я! — Она сердито посмотрела на Ричарда и сделала над собой усилие. — Мы ж с тобой договорились.

— Не надо! Не смей с ним ехать! — Он сжал кулаки. — Не смей!

Женя мгновенно закаменела. Подняв брови, произнесла, четко разделяя каждое слово:

— Пожалуйста, не кричи. Я не желаю слушать тебя.

— Не смей, не смей! — иступленно повторил он.

— Ты с ума сошел! Что за тон?

— Женя, прошу тебя.

— До свидания. Надеюсь, к вечеру ты успокоишься.

Каблуки ее гулко стучали по белым плиткам и по коричневым плиткам, каждый стук бил по голове Ричарда, он думал, что череп его расколется. Он побежал за ней.

— Я должен был тебе сказать... Я хотел поговорить... — Голос его падал все ниже, до шепота.

— Приеду — поговорим, — бросила она не оглядываясь.

Ричард зашел в туалет, намочил под краном платок, обтер лицо. Было без двадцати десять. На аэродроме он увидел Тулина, быстро идущего к шоссе. Ричард отвернулся, боясь, что Тулин заметит его, и так и шел, несчастливо отвернув голову.

У самолета на него обрушилась крикливая бестолковщина последних предотлетных минут. Поздышев затейливо проклинал всех ученых, Академию наук и метеорологию. На правой плоскости он только что обнаружил новый датчик; это значило, что просверлены две новые дырки.

— Вы превратили машину в дуршлаг!

Он привел Хоботнева и начал жаловаться ему: по инструкции полет надо отменить и «дырки согласовать» с главным конструктором самолета. И Хоботнев и Поздышев знали, что никто не будет «согласовывать» эти дырки и все равно полет состоится, но Поздышева слушали, делая вид, что положение критическое, и он был доволен. Запасливый Алтынов, исчерпав свои увещевания, достал огромный китайский термос и предложил Поздышеву и Хоботневу горячего кофе.

Неполадки обрушивались на Крылова со всех сторон. Он мужественно, с медлительной улыбкой улаживал

одно недоразумение за другим, но им не было конца, и он страдал от своей неспособности руководить. Выяснилось, что забыли проверить сигнализацию. Лисицкий ссылался на Веру Матвеевну, та на Катю, Катя на Алешу, и отчаявшийся найти виновного Крылов сам полез проверять контрольные цепи. Но в эту минуту Вера Матвеевна потребовала вообще изменить план полета, заявив, что Тулин уже неделю обещал ей полет на четырех высотах для взятия проб и она взяла с собой аппаратуру и приготовила таблицы. Катя поддержала ее, смотря на Крылова огромными молящими глазами, и начала объяснять тему своего диплома, а Лисицкий вспомнил, что ему необходим стрептомицин, которого нет в здешней аптеке, и поэтому он просит приземлиться в Адлере: там у него знакомый врач.

В кабине самолета между креслами ползал лаборант, ища свою вечную ручку. Он отказывался выйти из машины, пока не найдет ее.

Алеша сообщил, что отклеилась какая-то трубка держателя, и требовал клей «БФ».

Крылов убеждался, что не только в назначенный час, но и ни завтра, ни через месяц им не удастся вылететь. Раньше, когда Тулин был на месте, тоже возникали всякие случайности, но, разумеется, они были куда проще, судя по тому, как быстро Тулин разрешал их. Крылов каждое требование принимал всерьез. Его поражало, что Алтынов относится ко всему совершенно благодушно. Вместо того чтобы действовать, он рассказывал анекдоты, и экипаж и вся группа беззаботно смеялись.

За десять минут до вылета Крылов окончательно отчаялся и решил отложить полет, Алтынов удивленно уставился на него:

— Что случилось? Почему?

Выслушав Крылова, Алтынов преспокойно сказал:

— Образуется, вы все принимаете в масштабе один к одному.

И действительно, к моменту вылета каким-то чудом все образовалось. Крылов понял, что разобраться в этом — как образовалось, почему не летит Катя, на что согласилась Вера Матвеевна, достал ли «БФ» Алеша, — нет никакой возможности, а главное, если он начнет разбираться, тотчас на него свалятся десятки новых вопросов и недоразумений.

Лишь когда самолет поднялся в воздух и горы превратились в мягкие зеленые холмики, до сознания Крылова дошла вся мудрость, заключенная в изречении Алтынова: «Чем меньше ты делаешь, тем меньше тебе надо делать».

Постепенно голова его обретала ясность. Видя, как Поздышев укладывает парашютные тюки, он вспомнил разговор синоптика и Хоботнева. Синоптик уверял, что будет гроза, ссылаясь на свой ревматизм.

Сводка была совершенно благополучная, абсолютно благополучная, и, вероятно, поэтому синоптик настаивал на достоверности своего личного указателя — ревматизма. Если бы ему разрешили по этому указателю составлять сводки, он был бы спокоен. Поздышев и ребята смеялись над синоптиком, но Хоботнев не смеялся.

В самолете налаживалась привычная жизнь. Листали бортовые журналы; Вера Матвеевна, как обычно, потеряла ноль; один Ричард сидел безучастно, с остановившимися глазами, и Крылов сразу обратил на это внимание, потому что такое состояние для всегда подвижного, азартного Ричарда показалось ему странным.

«Неужели догадывается?» — подумал Крылов, вспомнил свою стычку с Олегом, и настроение его упало. Утешать Ричарда было нечем, все оказалось слишком запутанно. Тулин поступил некрасиво, и Крылов чувствовал себя виноватым за него. Он попросил Ричарда проверить ему схему грозоуказателя и поручил вести записи по своему стенду.

Ричард отчужденно кивнул, Крылов вспомнил, как тогда, в Ленинграде, потеряв Лену, он надеялся на целебную силу работы и как из этого ничего не получалось. Тот Крылов валялся в отчаянии на кушетке, не желая ничего слушать, понятия не имея о том, что вскоре он поедет к Голицыну, что работа там пойдет хорошо, что он защитит диссертацию, встретится с Наташей. Для того Крылова не существовало будущего, и будущее ничем не могло помочь. Даже если бы он знал, как оно выглядит, все равно это ничего бы не изменило, потому что все то, что случилось, произошло уже с другим Крыловым. Приходится пройти через все это, думал Крылов. Ричарду сейчас нет дела ни до какого грозоуказателя. Мы всегда утешаем других тем, что не могло утешить нас.

Где-то возникла знакомая, чернильно расплывающаяся тоска, и он привычным усилием подавил ее, с грустью отметив, что это удастся ему все легче. Он сравнил свою тоску по Наташе с тем, что переживал Ричард, и, как сильный к слабому, как старший брат к младшему, почувствовал к Ричарду нежность. «Не следовало брать его в полет, — подумал он. — В таком состоянии нельзя летать».

..Потом он отчетливо вспомнил, что в ту минуту он посмотрел на парашют Ричарда, лежащий в кресле, вспомнил об инструкции, но ничего не сказал, поймав взгляд Ричарда.

«Пусть он попробует! — думал Ричард. — Я ему выскажу, я ему все выскажу! Жаль, что Крылов отошел, ничего не сказав. Как хорошо было бы выложить ему насчет Тулина, полюбоваться на его физиономию, распотрошить его дружка, вывернуть наизнанку... Ах, Тулин, ах, образец, ах, кумир, талант! Не правда ли, таланту позволено все, любая подлость? Как же, он талант!»

Нет, то была не ревность. Глупо осуждать человека, которому понравилась Женя. Он скорее гордился, когда мужчины обращали на нее внимание. Женя могла целоваться с Алешей и кокетничать с Поздышевым, в институте за ней таскался капитан баскетбольной команды, несколько раз Ричард уличил ее: говорила, что будет заниматься, а сама уходила с этим верзилой на вечеринки, — и все это была ерунда, уж скорее он ревновал ее к артисту Медведеву, которым она восхищалась, к Маяковскому, к Жолио-Кюри, к тем, кого не превзойдешь. И лишь о Тулине он не подумал. Расписывал его достоинства, старался.

Тулин был идеалом. Тулин был тем, чем хотел стать сам Ричард. Нельзя же подозревать и остерегаться самого себя.

Даже тогда, на мосту, виновата была одна Женя, при чем тут Тулин, за Тулина он был спокоен, он мог в любую минуту сказать: «Олег Николаевич, чего-то Женя тут наморочила». Они бы объяснились по-мужски, и Тулин сказал бы: «Отличная девка, но наша дружба мне дороже. Женя тебе нужнее, не беспокойся».

Страшно было другое: Женя могла начать сравнивать их — и перед этим сравнением Ричард был беспомощен, он сразу становился жалким щенком. Тулин, конечно, староват, зато красив, штук двадцать научных работ, знает массу веселых историй, говорят, что девчонки любят тех, кто старше. Сравнения с Тулиным не выдержит никто.

До сих пор он думал, что Тулин ничего не подозревает. . . Но раз Тулин согласился отправить его в Москву, значит, Тулин знал про него и Женю, — знал и решил отделаться. Расчетливо взвесил все обстоятельства — неважно, что Ричард пишет диссертацию о тулинском методе, что рассорился с Агатовым. По сути, тоже из-за Тулина. А что, если Тулин ничего не знал о нем и Жене? Господи, все бы отдал, чтобы Тулин ничего не знал! Может, Агатов нарочно?

Машинально записывая показания, он искал оправданий Тулину, нагораживал случайности, при которых Тулин мог ничего не знать.

Грифель сломался, и Ричард оглянулся на кресло, где обычно сидела Женя, и тотчас вспомнил тот полет, болтанку, Тулина, склоненного над Женей, и поцелуй. Этот поцелуй он увидел только сейчас, тогда он не видел, не обратил внимания, и ему и в голову не могло прийти.

Значит, все, что было потом, — притворство, и Тулин и Женя, они сговорились, конечно, они действуют в сговоре, они оба хотят, чтобы он уехал. Они предали его, эти два человека, которых он любил. Он увидел ее коричневые глаза, влажные губы и глаза Тулина, его губы.

В просвете облаков мелькнула земля, и там тоже были их глаза, их губы. Улыбающиеся, смеющиеся губы. Они смеялись над ним. А он, как собачка, ходил за Тулиным, повторял его изречения, подмигивал по-тулински, научился переходам на жесткий, медлительный голос.

Не существует дружбы. Принципы — это слова. Правды нет. И чем может помочь ему правда? Когда-то он верил в ее могущество, а она бессильна перед ложью. Правда ничего не может.

Совсем близко лицо Агатова. Запах одеколona. Гладкая, туго натянутая кожа. . .

— . . .не сменили батареи. . . Переключить питание. . .

...как белый экран. На нем можно показывать любую картину, она не имеет никакого отношения к кинемеханике, сидящему где-то в будке. Агатов знает, что ему нужно. В этом мире хорошо только подлецам: им не в чем разочаровываться, они живут без иллюзий, они считают всех подлецами и редко ошибаются...

— Мне все равно, — сказал он. — Берите батареи, делайте что хотите.

...подлецам вроде Тулина. Они сейчас там, вместе, вдвоем с Женей, она переделалась в полосатую маечку...

— ...должны за него ишачить, — сказал Агатов и улыбнулся.

...Чему же тогда верить? Они еще надеются водить тебя за нос.

Агатов спросил, почему не сменены батареи, приборы сели.

Взгляд Ричарда оставался бессмысленным. Тогда Агатов сам пробрался к батареям, отключил питание грозоуказателя, установленного на пульте пилота, и вместо него подключил свой прибор. Когда потребуется Крылову, можно будет переключить обратно, но он знал, что это не потребуется, потому что они не имеют права заходить в грозу, да, кроме того, он не очень-то верил в этот грозоуказатель, так же как он не верил во всю работу Тулина. Он презирал всю эту рискованную, мудреную затею и ту серьезность, ту страсть, которую Тулин и его поклонники вкладывали в любую мелочь. За это время, с этими усилиями можно было сделать пять, десять выигрышных, безопасных научных работ, опубликовать их, получить докторские степени.

Вместе с Алешей он начал измерять капли. По сигналу Алеша вставлял патрон с промокательной бумагой, вынимал патрон, и они отмечали размеры пятна и показания приборов.

Ричард пошел за карандашом к Алеше. Крылов сидел на ручке кресла, загораживая проход.

— Ты плохо себя чувствуешь? — спросил Крылов.

— Не беспокойтесь, я здоров.

— Ты что-то изменился за последнее время.

— О, я и сейчас меняюсь. Обожаю меняться. Я все время меняюсь. — И Ричард подумал, что когда-то он верил в Крылова.

— Что случилось?

— Ничего. Пустяки. Просто я узнал, как меня защищал Тулин.

Чувствуя, что краснеет, Крылов разозлился.

— Не валяй дурака. Ты ведешь себя как мальчишка. Ни черта ты не понимаешь. Пора бы уже научиться... Человек есть человек, но его дело — это наше дело.

Ричард усмехнулся в лицо Крылову.

— Я уже не мальчишка. Я стал взрослым, таким же, как вы и Тулин. Вы все понимаете, вы все умеете разделять. Вы так много понимаете, что можете ни во что не верить.

Он взял карандаш, вернулся на место, положил на дощечку таблицу и принялся заполнять ее. Утешает. Стыдно за своего друга. Работай на Тулина. Сам небось спорит с ним, а другим предлагает смириться: смиришься во имя идеи, прикидывайся, будто ничего не произошло. Нет, Сергей Ильич, вы тоже уступаете вашему Тулину. Я не могу так. А как же? Что же остается? Человек и его дело?

Он вспомнил, почему Крылов ушел от Голицына. А Тулин — тот не ушел бы. Крылов поступил глупо, освободил место Агатову, из-за этого страдает дело, страдает лаборатория, но Крылов ушел, а Тулин не ушел бы. Противоречивое, временами нелепое поведение Крылова неожиданно обретало какой-то сокровенный смысл, еще неясный, как-то связанный с тем главным, что терзало сейчас Ричарда.

Что могли значить слова Крылова? Возможно ли, что он тоже давно уже разочаровался в Тулине, но продолжает работать, потому что верит в дело, потому что дело — это больше, чем Тулин и чем дружба?

Отомстить Тулину. Найти слабые места в его работе, хотя бы те, на которые указывал Крылов, раздраконить эти места, расписать их. Агатов возликовал бы, и Крылов не смел бы пикнуть: он же сам твердил, что для разных грозовых облаков поле убывает по-разному и до сих пор не нащупана закономерность. Пересечь сейчас к Агатову. Каких-то полтора метра перейти. Легче легкого. Он имеет на это полное право. Но он чувствовал, что не в состоянии это сделать. И больше того, понимал, что будет по-прежнему вместе с Крыловым помогать Тулину. Он без этого не может. Это уже его собственное.

А что, если его оправдания — от слабости? Слабость?

Нет, он не чувствовал в себе слабости, может быть, наоборот, сейчас у него появилось то высшее чувство преданности истине, которым живет Крылов.

Из окна самолета виднелись квадраты полей, сбегаящие с гор. Ниточки дорог. Поселки выстроились правильными кубиками. Сверху земля выглядела упорядоченной, все на ней было правильно. Было видно только главное, большое. Как будто он поднялся над собственной жизнью.

Люди приходят и уходят. Что же остается от каждого на этой земле, кроме могильного холма, невидного и незаметного с высоты? Исчезает все — города, империи, целые культуры; устаревают машины, книги, сменяются науки. Остается лишь одно — стремление к истине. Оно передается от поколения к поколению, сквозь любые разочарования, катастрофы. Когда-то он размышлял над смыслом жизни. Ходил на диспуты. Писал записки докладчику. Сколько споров было! Сколько цитат, ссылок! Может быть, то, к чему он пришел сейчас, не открытие. Но для него это откровение и поддержка. Откуда взять сил? Сегодня вечером, когда он увидит Женю и Тулина, что он скажет? Что скажут они?

Глава 6

Дорога крутилась между скал, то уводя в прохладную тень, то выбрасывая грузовик на каменный зной. И всегда внизу бурлила река. На пологих спусках шофер выключал мотор, сквозь шум гравия доносились звуки воды. Реки сменяли друг друга, неотступно сопровождая дорогу. Каждая река имела свой цвет, свою повадку.

Аянка вильнула в сторону, и началась другая река, названия которой Женя не знала; река эта была густозеленая, как хвоя, и текла она неровно, то разливаясь плесами, то вспыхивая пенистыми перекатами.

Желто-белые бомы, гладкие огромные каменные столбы, нависали над дорогой. В зеленых долинах застыли гурты овец, похожие на перистые облака.

На поворотах Женю бросало к Тулину, она чувствовала плечом его плечо. Однажды он поддерживал ее, обняв за пояс. Женя старалась отвести руку, он стиснул ей пальцы и сказал:

— Скоро начнутся дубовые роши.

Он сам отнял руку, и Женя крепко схватилась за скамейку. Они ехали в открытом кузове грузовика и старались не смотреть друг на друга. У каждого из них была своя сторона дороги.

Тулин чувствовал напряженное ожидание Жени. Это волновало, он знал, что это ожидание будет нарастать, пока настороженность не уступит место нетерпению. Все перипетии этой старинной игры были хорошо им изучены. Если он сейчас попробует поцеловать Женю, то она возмущенно оттолкнет его, назовет нахалом и будет дуться. Правда, всерьез она не обидится; ни одна женщина не может всерьез обидеться на подобное, потому что это не оскорбление, это скорее дань восхищения. И женщины это прекрасно чувствуют.

Как хорошо, что он может свободно думать об этом. Ему не забыть жалкого вида Крылова в истории с Леной. Да и с этой, другой, чья фотография стояла на столе, тоже что-то сложное. Бедный Серега, всегда ему достаются слишком сложные ситуации. Он все принимает всерьез, как будто любовь нуждается в размышлениях. Здоровая доля цинизма — вот что гарантирует от ненужных переживаний. Сейчас они тем более ни к чему. Любвеустойчивость — хорошая штука в период напряженной работы. Надо уметь подчинить себя разуму. Рационализм? Ну и что ж, ничего зазорного в рационализме нет. Мы живем в век рационализма. Чувства, всякие эмоции мешают разуму, а волнения, особенно сердечные, отвлекают. И все же как приятно чувствовать волнение Жени! Дать ей влюбиться? Не стоит. Нехорошо. Но если она может разлюбить Ричарда и влюбиться в него, значит, она не по-настоящему любит Ричарда, чего же ради страховать ее от ложных чувств? Естественное развитие — самое лучшее и правильное развитие.

Зеленые лавины лесов катились с отрогов гор все гуще, все зеленей. Снижаясь, дорога уходила в пятнистые роши, рассекала шумные поселки и снова ныряла в густую цветущую зелень кленов, синеглазых сливовых плантаций, и вдруг из-за поворота навстречу ударил свет. Казалось, этот солнечный, начинающий припекать день не мог стать светлее, а вот стал. Мягкий струистый свет вырвался откуда-то снизу, как будто его излучала сама земля навстречу слепящим бликам солнца, рассу-

панном в листве. Тени посветлели зыбкой синью. Воздух заголубел, приобрел подвижность.

— Море, — сказал Тулин.

Женя вскочила, в лицо ударило серебряное, огромное, видимое с высоты далеко-далеко. С каждым поворотом дороги оно раскрывалось все глубже. Его свет трепетал на лице Жени, и всей кожей она чувствовала его прикосновение. Глаза ее широко раскрылись, вбирая громадность моря и раскинувшийся внизу белый, нарядный город, длинный мол, игрушечные кораблики у пристани, расходящийся след от парохода. Свежий ветер обдувал ее щеки.

— Как здорово! — сказала она.

Руки Тулина сжали ей голову, повернули к себе, и она увидела рядом его глаза, тоже заполненные этим серебряным светом. Женя рванулась, но тотчас почувствовала крепость его рук, увидела жесткую морщинку на переносице и вдруг подумала, что Ричард никогда не осмелился бы вот так обращаться с ней. Она стиснула губы и закрыла глаза.

Секунда, которая длилась затем, состояла из многих отдельных событий: оранжевые спирали завертелись на смеженных веках быстро, медленней, остановились, замерли в ожидании. Потом снаружи что-то изменилось. Она открыла глаза. Тулин по-прежнему смотрел на нее. Но теперь он улыбался и смотрел издали. Женя попробовала разнять его руки. Он не двинулся, он смотрел на нее и задумчиво улыбался.

— Пустите меня сейчас же! — сердито крикнула она.

Он словно не слышал. Она была уверена, что он не видел ее, он смотрел куда-то дальше.

Вздохнув, он разжал руки. Она отстранилась, негодуя от испытанного унижения. И поняла, что он отпустил ее не по ее требованию, а потому, что сам захотел так.

— Мне большого труда стоило не поцеловать вас, — сказал он.

Злость помогла ей справиться с собою.

— Трудитесь, трудитесь, может быть, вам удастся превратиться в человека.

— Я затрачиваю столько сил, борясь со своим чувством, — задумчиво продолжал он. — Видите ли, сейчас у нас такая страдная пора, что всякое увлечение — непозволительная роскошь. Надо экономить силы и время.

Но, с другой стороны, расход сил на сдерживание чувств растет. Существует точка, где перестраховка станет невыгодной.

— Постройте кривую, — сказала Женя. — Сделайте график, найдите точку пересечения.

— Я нашел, — Тулин открыто посмотрел в глаза Жене. — Я решаю в уме не хуже Ричарда. У меня хорошие математические способности.

— Зачем вы мне испортили настроение? — сказала Женя. Она повернулась к морю. — Что это за башня на горе?

— Развалины древнего монастыря. Четырнадцатый век. Хотите конфетку?

— Спасибо.

— У вас брови круглые, как крылья ласточки.

— А что... вот там?

— Элеватор. Правее театр, а слева, у мыса, стадион. Далее идут санатории, остальные достопримечательности лучше всего узнать из путеводителя. Я преподнесу его вам. Впервые я вижу глаза, которые могут так меняться. Я хочу рассказать, какой я вас вижу.

Вдохновение помогало ему найти безошибочный тон и точные слова. Стоило хоть где-то сфальшивить, выбрать чересчур восторженное выражение — и вся постройка рухнула бы. Но Тулин уверенно скреплял ее безразличием человека объективного, грубоватостью мужчины, не умеющего говорить комплименты, иронией, которой прикрывают восхищение.

Постепенно ее насмешливо-надменная улыбка исчезла. Больше она не пыталась прерывать, он понизил голос, некоторые слова его заглушал шум машины, и тогда она слегка наклонялась к нему. Он наверняка знал, что никто никогда еще так откровенно не описывал ее глаза, руки, фигуру, ее жесты, походку. Чувствуя ее волнение, он испытывал некоторую горечь и зависть. Ему тоже хотелось не знать, что будет дальше, но он-то знал все наперед.

Теперь он мог взять ее за руку. Но он не взял. Когда на повороте его качнуло к ней, он почувствовал ее грудь и спокойно отстранился. Медлительность и перерывы составляли сами по себе удовольствие.

Машина подъехала к складу. Тулин уговорился с Женей встретиться через полтора часа в кафе у пляжа.

То, что он слышал о Богдановском, руководителе крупнейшего управления, никак не вязалось с этим дочерна загорелым, будто закопченным человеком, похожим на мастера тракторных мастерских. Сапоги гармошкой, ковбойка, тубетейка, цепкие, железные пальцы — в его облике странно соединялись рабочий с мужичком.

И конторка, где принимал Богдановский, с беленькими занавесками, простеньким желтым столиком, письменным прибором из красной пластмассы, тоже напоминала кабинет какого-нибудь районного начальника.

Тулин был разочарован. Маскарад? Но невозможно было представить Богдановского среди ковровых просторов московского кабинета, в черном костюме с галстуком.

С видом снисходительным и подчеркнуто вежливым (ученый в гостях у мастерового) Тулин осведомился, чем он может быть полезен.

Позже, передавая Жене подробности разговора, он никак не мог понять, каким образом Богдановский, незаметно ускользая от ответа, за несколько минут изменил положение, заставив Тулина отвечать, доказывать, оправдываться, упрашивать. С ловкостью фокусника орудуя короткими вопросами и междометиями вроде «ну», «а-а», «ойя», Богдановский отсекал все лишнее, вытаскивал суть дела, часто невыгодную для Тулина, схватывая на лету, казалось бы, чисто научные тонкости.

Под взглядом его жуликоватых маленьких глаз Тулин, пожалуй, впервые почувствовал перед собой себе-седника, соображающего быстрее и лучше.

За каких-нибудь двадцать минут Тулин против своей воли изложил состояние исследовательских работ группы, основные организационные трудности и ближайшие перспективы. На любом совещании ему потребовалось бы на то же самое не меньше двух часов.

Стоило упомянуть про денежные затруднения, как Богдановский стал допытываться о причине сокращения ассигнований. Тему хотят передвинуть в какой-то резервный план. Почему? Считают ее ненадежной, то ли получится, то ли нет. А есть на это основания? Таких оснований нет, пока результаты успешные, просто слишком проблемно, ну и рискованно. Но вначале-то не боялись? Следовательно, что-то изменилось? Может быть, повлияли чьи-нибудь отзывы? Чьи же?

— Ну, кое-кто из учеников Денисова, — неохотно сказал Тулин.

— Но Голицын ведь тоже против? — Богдановский уколол его быстрым взглядом.

Тулин хотел сказать: «Так, значит, вам все известно?» — но тут же мысленно продолжил диалог.

Богдановский: «Разумеется, я навел справки».

Тулин: «Что ж мы теряем время?»

Богдановский: «Я-то не теряю, я узнаю не обстоятельство дела, а вас».

Такой оборот был невыгоден, поэтому он задумчиво и неторопливо сказал вслух:

— О, Голицын — это отдельная история! Я как раз собрался приступить к ней.

— Не стоит. Все ясно.

И тут Богдановский несколько отвлеченно изложил следующие обстоятельства. Допустим, имеется некое месторождение в горах. Там сейчас работает экспедиция. Это район частых гроз, авиация не в состоянии обеспечить связь и регулярное снабжение. В ближайшее время необходимо разворачивать добычу. Спрашивается, возможно ли проложить бесперебойную и безаварийную воздушную дорогу через грозы в данный район?

Отработанные условия напоминали алгебраическую задачу, которую Богдановский, очевидно, задавал не впервые.

Тулин сразу оценил, какие огромные возможности открывает перед группой предложение Богдановского, — можно будет самым эффективным способом опробовать новый метод, работа группы получает независимость, конкретные сроки, адрес, размах, поддержку.

Сдерживая радость, Тулин произнес как можно неохотнее:

— Попробовать, что ли.

Богдановский понимающе усмехнулся.

— Сколько времени понадобится? Обеспечим вас всеми средствами.

— Так не бывает. — Тулин засмеялся, обдумывая ответ.

— Имейте в виду, десять лет меня не устроят, назавтра месяц — не поверю.

Тулин чувствовал, как за этим высоким, отвесным

лбом взвешивается каждое его слово. Это был экзамен. Надо было сдать его на «отлично». Он спросил:

— Вам когда-нибудь приходилось заниматься научной работой?

— А вам когда-нибудь давали задание найти за год залежи, допустим, кадмия?

Они посмотрели друг другу в глаза и засмеялись.

— Вы ждете, чтобы я назвал срок? — спросил Богдановский.

Тулин кивнул.

— Полгода. Реально?

— Год, — сказал Тулин.

— Вам уже удается отличать поля гроз от полей ливней?

— Однако! Вы хорошо осведомлены.

Богдановский выжидающе молчал.

— Кто ж это вас информировал?

Богдановский нахмурился.

— Давайте условимся, — сказал Тулин, — научные заботы — наши заботы.

— Хорошо. Самоуверенность всегда полезна. Тогда нужны гарантии.

— То есть? — Тулин не поспевал за скачками его рассуждений.

— У вас кот в мешке, — нетерпеливо пояснил Богдановский. — Развязать не хотите. Ваше право. Денег надо много. Деньги государственные, не мои. Давайте гарантии.

Тулин развел руками.

— Расписку?

— То-то. Правда ваша... — Он прищурился. — Честолюбие кое-что весит, но недостаточно. Сколько денег надо и прочего?

Когда они занимались подсчетами, в кабинет вошла молодая женщина. Крепкие, круглые щеки, большие серые глаза. Что-то знакомое почудилось Тулину в ее облике. Почувствовав вопросительный взгляд, она недоуменно посмотрела на него. Ничего не отразилось на ее лице. Она видела его впервые, а между тем он знал ее. Откуда? У него была отличная зрительная память, и то, что он не мог вспомнить, раздражало его.

Богдановский называл ее Наталией Алексеевной. Получив подпись на бумаге, она ушла.

— Вся соль в том, что я не имею права ошибиться, — сказал Богдановский, разглядывая листок с записями. — У вас в науке ошибки плодотворны, во всяком случае, неизбежны. . . У нас они просто исключаются. Прорубать дорогу в горах? Сотни миллионов. И время. А сколько стоит время? Во сколько вы цените месяц своей жизни?

Тулин улыбнулся.

— Вы правы.

— А два года для государства — это, может быть, тоже бесценно. Тысяча дорожников затратит два года. Две тысячи лет человеческих. Зато надежно. И зато поздно.

— Вспомнил! — вдруг сказал Тулин.

Богдановский запнулся.

— Простите, — сказал Тулин. — Я вас слушаю.

Риск был слишком велик, чтобы Богдановский мог сразу принять решение. Предстояло взвесить множество «за» и «против», и одним из важнейших среди всех обстоятельств был человек, сидящий перед ним. Как ни крутись, но в конечном счете многое сводится к таланту одного человека, способного или не способного быстро разрешить проблему. Если бы можно было посадить на это дело сто ученых! Но в том-то и дело, что в науке количеством не всегда возьмешь, тут часто решает чья-то догадка, чье-то озарение. В тщетной надежде он вглядывался в Тулина, пробуя представить, что творится в этой голове. К сожалению, всегда в конце цепи оказывается один человек. На одном конце один, на другом конце другой. Другим был он сам, Богдановский. Между ними расположились месторождения руды, будущие рудники, экспедиция, заводы, для которых предназначена эта руда, самолеты, исследовательские группы, дорожники, судьбы тысяч людей. Так или иначе, все, что должно быть сделано, будет сделано, оно не зависит ни от Тулина, ни от Богдановского, но *так или иначе* — вот в чем суть. Можно сделать так, можно иначе. Всегда все сводится к «да» и «нет». Много лет ему приходится выбирать между этими двумя ответами. В сущности, то же самое делает кибернетическая машина. Он старался быть точным, быстрым, как машина. Кое-кто упрекал его за это, называл бездушным. В их устах «машина» зву-

чало осуждающе. Почему? Ведь машина — дитя человеческой мысли. В нее вложено лучшее из того, до чего дошло познание. Почему можно учиться у книг и стыдно учиться у машины?

Он не имел настроений. Благодаря этому он мог учитывать настроения окружающих. Он учитывал жалость, слабость людей. Но для этого у него самого не должно было быть никаких слабостей. Он привык посылать людей в тайгу, в горы, взваливать на себя ответственность за решения, меняющие облик страны, он знал себя и был спокоен. Тут же ему приходилось, в сущности, перекладывать ответственность на другого. Кто он, этот красивый парень с умными, веселыми глазами, немного хитрый, немного фатоватый, немного нахальный?

Хотелось верить ему, и что-то насто́раживало.

«Слишком эмоционален», — думал Богдановский.

— Итак, считаем, что дорога ваша накрылась, — сказал Тулин.

Богдановский промычал и непроницаемо заулыбался.

— Вы не пожалеете, — пообещал Тулин. — Вы войдете в историю науки. Я уверен, что эффект превысит наши предположения.

«Хотел бы я знать, в чем ты уверен, — думал Богдановский, — в себе ты уверен или в деле своем уверен?»

Разыскав в одной из комнат Наталию Алексеевну, Тулин попросил ее выйти в коридор.

— Вы Наташа? — спросил он.

Она настороженно кивнула.

— Я вас узнал. . .

Она спокойно ждала.

— . . по фотографии. Отгадайте, где я мог ее видеть.

Она развеселилась.

— Это что у вас, способ знакомиться?

— На карточке вы были в свитере с двойной полскойой.

А сейчас она была в синем халатике с закатанными рукавами, загорелая, высокая. Он был слегка разочарован. Почему-то он представлял ее себе томной, грустной, маленькой. Перед ним была спокойная, уверенная в себе женщина, и лишь в глазах, добрых, мягких, сохранилась та самая Наташа, которая запомнилась ему.

Разговаривать с женщинами Тулину всегда было легче, чем с мужчинами, однако здесь он натолкнулся на нечто особое. Несмотря на загадочные фразы, сам по себе он, видимо, не возбуждал у нее любопытства. Казалось, что лишь по доброте и деликатности она не уходит.

Он протянул ей руку.

— Тулин Олег Николаевич.

— И что же дальше?

— Значит, вам ничего не известно обо мне. Безобразия! А я кое-что знаю о вас. Заиндевелая роща. Лыжи. Снег на вязаной шапочке. Два часа я оставался наедине с вашей фотографией, пока не пришел хозяин.

— Моя фотография... — Она сразу застыла. — Так вы Тулин! Ну да, конечно... — Глаза ее блеснули, но она ничего не спрашивала...

— Ну, если вам и это неинтересно, то прошу прощения. Я был прав.

— В чем?

— А когда доказывал Сереге, что не стоит к таким вещам относиться серьезно.

— Где он? Как он? Когда вы его видели?..

Он посмотрел на часы.

— К сожалению, я спешу.

Следовало бы разыграть ее, но он увидел, что для нее это слишком серьезно. И в нем шевельнулось что-то вроде зависти.

— Ладно, молитесь на меня. Крылов со мною. Нет, не здесь, в сотне километров отсюда. Хотите адрес? Этот меланхолик сойдет с ума, когда узнает, что я вас встретил.

— Не говорите ему ничего. Я сама.

Не доверяя своему чутью, он спросил:

— Вы не хотите видеть его?

Должно быть, она отлично владела собой. Мягко и доверительно-просто она сказала:

— Да, пожалуй, уже поздно. Не стоит. Так будет лучше.

Она была не из тех, кого можно расспрашивать или уговаривать. Но все же она была женщина, и Тулин достаточно хорошо их знал.

— Вот вам адрес.

Бедняга, подумал он про Крылова, не так-то ему будет просто с ней.

Глава 7

Наконец-то им повезло. Они разыскали мощные кучевые облака с высокой напряженностью. По просьбе Крылова Хоботнев сохранял высоту, и можно было замерять распределение напряженности, и заряд самолета, и заряды капель, и спектр капель. Приборы, словно ножом, вскрывали внутренности облака.

Сотни, а если во всех странах, так уже тысячи полетов в облаках, километры пленок, заснятых на регистраторах, выяснили лишь бесконечную сложность процессов, творящихся в этом кипящем котле погоды. Хаос случайностей. Несхожие, неповторимые по внешнему виду и в своем строении, в механизме взаимодействия зарядов, они порой казались отчаявшемуся Крылову вдохновенной композицией господ бога. Кое-какие закономерности постепенно удавалось нащупать, но внутренняя сущность происходящего в этом сером тумане оставалась тайной, слепой игрой природы. Почему-то в каплях вдруг менялись заряды, где-то самолет переходил из областей положительного поля в отрицательное. Капли сгущались, росли, начинался ливень. Почему? Как?

Толстый слой воды струился по стеклам. Крылов подавал сигнал. Вспыхивала лампочка, и тотчас каждый начинал свои замеры. Никто не замечал толчков, болтанки. Хоботнев, оборачиваясь, видел напряженные лица, склоненные над приборами, — азарт, нетерпение словно подталкивали его в спину.

Крылов стоял рядом, рисовал в планшете облако. Был он в обычном своем клетчатом пиджачке, длинные руки далеко вылезали из рукавов, брюки пузырились на коленях, и Хоботнев чувствовал, что небо для Крылова — лабораторный стенд, на котором разложены специально приготовленные облака. Ему нравилось работать с Крыловым. Действия Тулина были большей частью неожиданны и непонятны. Тулин что-то пересчитывал, решал на ходу, руководствуясь какими-то своими сложными соображениями. У Крылова все было проще, яснее, они методично прочерчивали облака вдоль и поперек, и Хоботнев понимал что к чему и помогал Крылову, чувствуя, что тот с непривычки стесняется командовать.

В двенадцать десять, выйдя из облака, Хоботнев заметил, что вокруг что-то изменилось. Он не мог еще

сказать, что именно, то было просто ощущение тревоги, идущее от смены красок, от нагромождений облаков, как будто за прежней беспорядочностью вдруг обнаружился какой-то угрожающий замысел.

По сводке грозе полагалось быть за сотню километров отсюда. Хоботнев покосился на грозообходчик. Стрелка быстро поднималась. А солнце по-прежнему ярко светило, и нежно-золотистые облака выглядели невинно, успокаивающе. Он приказал Поздышеву запросить обстановку. Крылов вернулся из салона сияющий.

— Отличные данные! — крикнул он. — Очевидно, мы поймали как раз момент формирования. Удивительные скачки напряженности.

Хоботнев посмотрел на его довольную курносую физиономию и начал круто разворачивать самолет для следующего захода.

Выйдя против солнца, он вдруг не то чтобы увидел, а почувствовал слева от себя бледную вспышку. В ту же секунду он услышал в наушниках голос Поздышева: «Гроза идет с запада, фронт быстро распространяется». Но Хоботнев уже сообразил, что гроза и справа и слева и нужно прорываться сквозь оставшийся коридор, разумеется, если он еще существует. Он с силой взял штурвал на себя, делая «горку» перед самым облаком. Разворот еще не был кончен, самолет прижало к краю высокого облака. Они зашли в тень, и в это время прямо перед Хоботневым ударила лиловая молния. Пронзительный свет ее ослепил Хоботнева, машина вильнула, отовсюду посыпались искры. Вместо приборной доски перед Хоботневым прыгало что-то темное, пронизанное зелеными и лиловыми огнями. Он знал, что зрение сейчас вернется, но эти утекающие мгновения и метры многое решали.

Хоботнев был отличным летчиком. Он давно усвоил, что самые быстрые решения — самые верные. Гроза сомкнулась, выход захлопнулся, они попали в узкий клин, и, чтобы развернуться в обратном направлении, им придется войти в грозу. И все будет зависеть от того, насколько им придется углубиться, и как скоро движется гроза, и как ему удастся выполнить разворот, и сумеет ли он там выдержать максимальный крен, и правильно ли он снизил скорость, но, кроме того, он знал, что все

его расчеты и намерения там, в грозе, могут ничего не стоить.

Резь в глазах утихла, он смахнул слезы, на черной шкале грозообходчика стрелка поднялась до двенадцати, компас, локатор вышли из строя, в кабине стоял дымок. В последний раз увидел в узкой щели солнце и такие невинные жемчужные опалы облаков. Затем все померкло, и машина вошла в быстро сгущающуюся тьму.

Второй пилот зачарованно следил, как по колпаку, треща, прозмеился фиолетовый разряд. Поймав быстрый взгляд Хоботнева, второй пилот вздернул голову.

— Здорово! — Хриплый голос его был преувеличенно весел.

Мальчишка, подумал Хоботнев, знает грозу по расказам, поэтому боится и не боится ее.

Он почувствовал, что Крылов вернулся в кабину, встал за спиной и что-то спокойно записывает. Понимает он, что происходит, или ни черта не понимает? — спросил себя Хоботнев. Он увидел, что Крылов наклонился и показывает ему пальцем на подвешенный сбоку указатель центра грозы. Хоботнев кивнул, картушка указателя болталась возле нуля. «Все равно, пусть наденут парашюты», — сказал он в ларингофон Поздышеву.

С этой минуты он уже не замечал ни Крылова, ни того, что творится позади, в салоне, где, помогая друг другу, поспешно надевали парашюты, подтягивали лямки; он видел только картушку указателя, скорость и высоту, скорость и высоту и беспросветную адскую круговерть там, за тонкой оболочкой колпака, тьму, пронизанную взмахами молнии, куда входил самолет.

Воздушный поток с силой ударил в плоскости. Все затрещало, и этот треск и дрожь самолета передались Хоботневу. Тяги напряглись. Он физически чувствовал, как скрипят тросы, как будто натянулись до предела, до боли его собственные сухожилия.

Резкие толчки, затем крик Агатова вывели Ричарда из оцепенения. За окном творилось что-то ужасное. Магниевого вспыхи разрядов с грохотом били прямо в стекло. На мгновение внутренность самолета освещалась с пронзительной яркостью. Пустые кресла. Блеск приборов. Бледные лица. Не от страха, просто такое освещение. Обрушивалась тьма. И тогда возникали края плоскостей — они вздрагивали и светились нежно-розовым

сиянием короны. Никогда еще Ричард не видел такой отчетливой и яркой короны. Он включил регистратор на максимальную скорость, торопясь измерить заряженность самолета. И счетчик разрядов. И самописец указателя центра... Торопясь, жадничая, он заносил показания, переключал, только бы не напутать! Как они попали в грозу — случайно, нарочно, — выяснять было некогда. Вот он, тот самый счастливый случай — редчайшая возможность поймать, ухватить, измерить драгоценные данные. Тут, совсем рядом, за стеклом, зона, где возникают молнии, где-то поблизости — центр грозы — святая святых и тайное тайных.

Горечь недавних раздумий исчезла, смытая яростью грозы. В нутро ей залезли, в самые печенки. Вот она, решающая проверка расчетов Тулина, его указателя, его метода. Неважно, что у меня с ним произошло, неважно, как я к нему отношусь. Все это ерунда. Идея его справедлива, и я служу ей, я иду за ней. Ведь редко бывает так, чтобы идея и ее создатель были одинаково хороши. Да и какое дело науке до наших ссор? Главное — заполучить истину. Настал миг, когда к ней можно приблизиться, эта случайность нам поможет, наконец-то мы забрались в центр...

Алеша помогал Вере Матвеевне пристегнуть парашюты. В проходе в него вцепился Агатов.

— Идите к Хоботневу! — кричал он. — Я приказываю повернуть назад! — Бледно-зеленое лицо его подпрыгнуло, он пытался распустить ремень, но боялся, и руки его хватались за подлокотники.

Алеша стал пробираться в кабину. По дороге он увидел Лисицкого, который торопливо отхлебывал из баклажки.

— Хочешь?

— Потом!

Поздышев сидел за рацией и морщился. Радиосвязь нарушилась. Вначале он пытался узнать обстановку — может быть, известна высота грозы. Теперь ему просто хотелось сообщить, что радиокompас отказал, пилотажные приборы зашкалило, потеряна всякая ориентация, по всей видимости, их относит вместе с грозой в горы. Они заблудились среди этой взбешенной мути; кто знает, может, земля слыхала их голоса, но ответа не было. Как будто им чем-то могли помочь с земли! И все же Позды-

шеву хотелось, чтобы там знали, услышать оттуда в ответ хоть слово, выругали бы, что ли, лишь бы избавиться от этого чувства безвестного одиночества. Но на всех волнах в наушниках завывала, свистела, улюлюкала беснующаяся гроза.

Знать бы, что внизу нет гор, можно попробовать как-то посадить машину, хотя бы пройти низом.

Прошли годы, столетия с тех пор, как Хоботнев вошел в грозу, надеясь как-то проскочить по ее краю. Не было ни края, ни лева, ни права, магнитный компас бешено вращался, машину швыряло, как былинку, временами он не знал, где солнце, где земля. Да, да, земля с ее инструкциями и установками. «Сохраняйте горизонтальное положение, не увеличивать скорость, чтобы избежать опасных перегрузок», — все летело к черту, все было не так. Забраться бы вверх, только вверх, еще выше и все-таки выше, чтобы хоть как-то удержать в руках машину. Они держали ее уже четырьмя руками, но кто-то рвал от них штурвалы и сбрасывал самолет вниз. Надрывно вопили моторы. Плоскости... он чувствовал, как страшно выгибаются плоскости. Уйти от центра грозы. Самое скверное — это центр грозы. Но где же центр? Куда уходить? Указатель не двигался. Этот чертов хваленый, знаменитый указатель — единственное, что помогло бы им как-то ориентироваться, единственный их шанс.

Было видно, как Крылов протиснулся к указателю, постучал по стеклу. Потом мелькнуло его лицо, отрешенно-задумчивое, настолько не соответствующее тому, что творилось, что Хоботнев выругался.

Крылов наблюдал за водой, струящейся по стеклам, за короткими склеротическими шнурами разрядов. Он вычислял, сопоставлял свои догадки, выработанные за последний год работы над грозой. Мозг его действовал методично и ровно, и никакие тревоги и страхи не доходили к нему. До последней секунды Крылов надеялся, что они болтаются где-то на периферии грозы. Нужно было время, чтобы убедиться в неисправности указателя. Но еще больше времени надо было, чтобы найти причину. Стучаясь головой о рычаги, стенки, он прощупал соединения — вроде все правильно. Тогда он направился в салон. Там все ходило ходуном. Поздышев возился у аварийного люка. Крылов увидел рядом Веру Матвеев-

ну. Глаза ее были закрыты, она бессильно оседала на пол. Он поддержал ее свободной рукой, ее вдруг начало рвать.

Откуда-то перед ним очутился Агатов. Крылов сказал ему:

— Указатель скис. Узнайте у Ричарда.

Агатов что-то закричал, исчез, вместо него появился Алеша, подхватил Веру Матвеевну, куда-то потащил ее. Крылов попробовал добраться до регистратора указателя, за которым сидел Ричард. Громоздкий ранец парашюта цеплялся за кресла. Крылов крикнул Ричарду:

— Работает? Работает?

Ричард что-то ответил, но Крылов не расслышал, подался вперед, переступая через катящиеся под ноги футляры, баллоны, вдруг самолет швырнуло, пол выскользнул, Крылов полетел через кресла куда-то в угол, ударился коленкой о стену. Раздался хруст. Звук был такой громкий, что ему показалось, что ломается самолет. Его прижало к стене, он попробовал оттолкнуться и почувствовал, что нога не действует. Тогда он понял, что, наверное, слышал, как трещала кость, и как только он это подумал, хлынула такая боль, что на несколько секунд он потерял сознание.

При нормальном полете, найди Крылов отключенный разъем указателя, Агатов не стал бы отпираться. Да, это он отключил питание указателя, установленного в кабине, и подключил свой прибор. Ничего особенного в этом не было. . . Ничего особенного, если бы они не попали в грозу. Но кто мог знать, что они попадут в грозу! Они не имели права, им было запрещено заходить в грозу, это нарушение всех правил и приказов. Он не виноват, что все так обернулось. При чем тут он? Все равно указатель не помог бы. Голицын не верил в этот указатель. И Агатов не верил. Он никогда не верил в эту тулинскую затею.

Когда Крылов крикнул ему, что указатель не работает, Агатов хотел признаться, бежать к Ричарду, подключить разъем, теперь он верил, нет, не то чтобы верил, но вдруг этот проклятый указатель поможет ориентироваться, может, будь указатель исправен с самого начала, ничего бы не случилось. Мысль эта парализовала его. Он мгновенно представил себе, что произойдет там, на земле: всё взвалют на него, не выкарабкаешься, они оты-

граются на нем одним — его затопчут, под суд, конец... Страх сковал его. Страх был отчетливей и сильнее чувства опасности. Может, через несколько минут угроза собственной гибели заставила бы его забыть об остальном, но он не успел ни о чем подумать. Самолет швырнуло, какой-то ящик ударил его по ноге, он видел летящее тело Крылова, и сам полетел куда-то, закричал, схватился за скобу.

Он оказался подле Ричарда. Свистящий ветер несся по салону, — Поздышев открыл люк, и туда, всасываемые воздушным потоком, неслись листки бумаги, какие-то обрывки, веревки, плащи... У стены за креслом болтался на гибком шланге отвинченный разъем. Было чудом, что Агатов увидел среди этого кошмара отвинченный им самим разъем. Казалось, слышно, как разъем перекачивается и постукивает о металлический плитус. Он увидел над собой Ричарда, почувствовал, как Ричард, схватив под руки, поднимает его, опомнился, вскочил и побежал к люку.

Крылов очнулся, когда Алеша волочил его по проходу. Искаженное, перекошенное лицо Агатова, позади расплывчатая, сдвинутая, как на плохом снимке, фигура Ричарда.

— Кассеты! Кассеты! — закричал Крылов.

— Я возьму, — услышал он голос Ричарда.

— Помоги ему, кассеты указателя! — крикнул Крылов Алеше.

— Мать их так, — сказал Алеша, — нашли о чем думать!

Поздышев отстранил Агатова, давая дорогу Алеше с Крыловым.

— А где остальные? — Крылов уперся в проем люка, но Алеша ловко сбил его руку и, обхватив Крылова, вывалился в люк...

Перед Агатовым была спина Поздышева в синей куртке, перекрещенная ремнями парашюта. Подвижной стеной заслоняла она от него серый клубящийся проем. Размахнувшись, Агатов изо всех сил толкнул плечом в эту спину. Момент был выбран правильно — как раз Крылов и Алеша прыгнули, Поздышев хотел обернуться, чтобы дать дорогу Агатову и Ричарду, но удар

Агатов бросил его к люку, и его втянуло так, что мелькнули только ноги в хорошо начищенных ботинках.

Потеряв равновесие, Агатов качнулся, его бросило по проходу.

Ричард возился с кассетой. Как всегда бывает в таких случаях, ее заело, он рвал ее «с мясом». Рядом самописец бесстрастно продолжал вычерчивать кривую. И эта честная самоотверженность прибора успокоила Ричарда. «Работает?» — вспомнил он голос Крылова и вдруг сообразил: там, в кабине у Хоботнева, указатель не работал! Взгляд его метнулся вдоль проводки, туда, куда только что смотрел Агатов, и он увидел отвинченный разъем питания. Ричард протянул руку, но его обо что-то ударило головой. Раз. Еще раз. Он почувствовал кровь на лице, испугался, увидев Агатова, ползущего к люку, схватил его за лямку парашюта.

— Питание было отключено! — крикнул он.

Агатов обернулся. Ричард увидел его глаза и все, что там было.

— Так это вы!

— Пусти!

Агатов ударил его ногой и сам упал, рассадив лоб о железный выступ. Он почувствовал, как рука Ричарда, держащая лямку, разжалась. Агатов схватился за края люка, подтянулся и перевалился. . .

Будь внизу равнина, Хоботнев пытался бы пойти на посадку, но внизу были горы, теперь он знал это точно, чутьем, выработанным за год полетов в этом крае. Приборы отказали. Был лишь авиагоризонт, по которому он пытался удержать машину от сваливания. Одна-разъединственная цель осталась у него — дать время всем покинуть машину. Иногда десяток-другой секунд ему удавалось сохранять высоту. Каким образом, он не понимал, гроза теряла его в этой кутерьме, потом спохватывалась, настигала и принималась швырять. От этой сволочной грозы можно ожидать чего угодно. Хуже нет такой тряски, тут-то люди сильнее всего калечатся. Гроза забирала машину, и с каждым мгновением машина дичала, становилась чужой, страшной. Улучив момент, Хоботнев приготовился, включил автопилот и побежал к люку. В салоне никого не было видно. Он был уверен, что Поздышев и второй пилот не подвели, они сделали все, что можно. Воздухом тянуло к люку. Ему не хоте-

лось прыгать. На земле его ждали неприятности. Он грузно соскользнул вбок: самолет сразу же скрылся в серых клубах. На мгновение ему показалось, что он видит смутную тень, скользящую круто вниз.

Бесчувственное тело Ричарда еще несколько раз с силой швырнуло о стенки. Острая боль заставила его очнуться. Он открыл глаза. В самолете никого не осталось. Он почувствовал это сразу. Вязкая слабость окутывала его. Он не мог пошевелиться. Он чувствовал, что самолет кружится, несется к земле. Его прижимало к стенке, давило к прохладной металлической панели у самого пола, между креслами. И в детстве-то он терпеть не мог карусели, у него всегда кружилась голова. У церкви, возле старых пушек, устраивали карусели. Продавали длинные конфеты... Женя спросила: согласились бы вы увидеть свою смерть? Что он тогда ответил? Какая разница! Сейчас важно думать о другом. Надо выскочить. Выскочить любым способом. Но он не мог пошевелиться. Он не чувствовал своего тела. Оно болело где-то отдельно, рядом, боль была отдельной, и мысли его шли отдельно.

Никто не узнает про разъем, отвинченный Агатовым. Сейчас самолет грохнется, но я не умру. Будет очень больно, может быть, я потеряю сознание, но я не умру. Я очнусь, все равно я очнусь. Рано или поздно я очнусь. Что бы ни было, я останусь. Куда же я могу деться?

Ничего я не успел сделать. Мама! Может, самолет упадет на деревья. Почему они меня бросили? Проклятая кассета! Все из-за кассеты. Мне надо было проверить питание. Крылов предупреждал. Как глупо! Если бы не Тулин!.. Самолет может соскользнуть по откосу, так бывает.

Он почувствовал в руке кассету. Нужно не потерять кассету. Крылов просил. Только бы не умереть полностью. Глаза будут закрыты, а я буду лежать и думать. И слышать. Ну и паскуда же этот Агатов! Я не могу совсем умереть. А если воздействовать на центр грозы, можно ее уничтожить. Полоса ясного неба прорезала тучи, и мы летели бы среди солнца и синевы.

Он зрительно видел эту фантастическую и прекрасную картину: черное грозное небо, набрякшее молниями

и громом, и спокойно летящий самолет, а за ним стелется сияющий шлейф чистого неба. Гроза съезживается, ее уничтожают в зародыше, настигая в чреве сгущающихся облаков.

Он успел подумать о Жене, увидеть ее улыбку и рядом с нею лицо своей матери.

Они будут ходить в больницу, кости быстро срастаются. Я стану жить совсем по-другому. Хотя бы начерно просчитать все схемы, мало ли что со мной случится! Надо будет сразу отползть от самолета. Когда мы во дворе гранату взорвали, меня чуть царапнуло. Мама говорила, что я счастливый.

За несколько секунд можно многое понять, и о многом догадаться, и многое увидеть. Сделать ничего нельзя, вот что плохо. Нельзя уже ничего исправить или изменить.

Но если попробовать все начать сначала?

— Ричард, захвати кассету!

Зачем же снова, услышав голос Крылова, ты рванул к прибору? Беги к люку, прыгай! Но ты все равно держашь эту кассету и хватаешь Агатова, и он видит в твоих глазах, что ты *знаешь*.

Может быть, еще раньше тебе не нужно было думать о Жене и Тулине? Или вообще ехать сюда? Но тогда это был бы не ты. Это был бы другой. А если другой, значит, тебя нет, и, наверное, это хуже, чем смерть.

Парашют раскрылся, все остановилось, и Крылову показалось, что он висит, зацепившись за воздух, покачиваясь на высоте. Потом тяжесть ушибленной ноги потащила его вниз все быстрее. Алешу отнесло в сторону, в непроницаемом тумане Крылов не видел никого, не было ни земли, ни неба, он падал среди серых мятущихся клочьев, и казалось, этому не будет конца. Вот они самые, грозовые облака, он мог нащупать рукой их влажную, холодную плоть.

Гроза не унималась. Где-то гроыхало, вспыхивали молнии, озаряя купол парашюта. Только бы все остались живы! Он ненавидел сейчас эту грозу. Враждебная, бессмысленная, снова она ускользнула от них. Торжество ее было омерзительным. Его тошнило от этой душной, беспросветной хмари.

С земли донесся глухой взрыв, болью отдался в сердце.

Внизу потемнело, вдруг открылась совсем близко внизу земля. Огромная, черно-зеленая, она неслась на него с пугающей быстротой.

Он уже различал кроны лиственниц. Ему хотелось закрыть глаза. Но он заставил себя подтянуться на стропах, пытаясь найти между деревьев какой-то просвет и направить парашют туда.

Он старался упасть боком, защищая разбитую ногу, но его перевернуло, стукнуло о ствол лиственницы, и на некоторое время он потерял сознание.

На его счастье, парашют запутался между ветвей, смягчил удар о землю.

Лицо его лежало в мокрой траве. Он услышал, как падают капли. Потом появился острый запах омытой зелени. Он открыл глаза. Солнца еще не было, дождь перестал. Отовсюду капало. Звучно перестукивались большие, тяжелые капли. Казалось, в лесу говорят.

Деревья слегка шевелили чистой зеленью. Неподалеку Крылов увидел табун. Кони сбились в кучу. Темно-бронзовые блестящие крупы сливались с бронзой стволов. Положив головы на спины друг другу, лошади почти не двигались. Большой жеребец с белыми бабками скосил на Крылова черный глаз и фыркнул.

Трава, прибитая дождем, медленно распрямлялась. Чирикнула птаха, одна, другая... Началась своя, лесная жизнь, где никому уже не было дела до грозы. Она прошла, очистив воздух, освежив зелень. Крылов лежал, удивленный этой тишиной, спокойствием.

С какой-то обновленной способностью воспринимать окружающее замечал он краски этого горного леса и красоту коней, стройных, с длинными хвостами, с блестящими гривами.

Жеребец продолжал пристально смотреть, словно спрашивая: что тебе надо?

Теплая, напоенная дождем земля вдавилась под руками Крылова, и не было ничего прекрасней этой земли. Он снова на ней. Ничего ему не надо, кроме этой земли. Разве мало жить, вдыхать ее запахи, чувствовать эту красоту? С отвращением он подумал о грозовом, неверном небе и снова пережил отзвук донесшегося взрыва самолета.

Лишь бы все остались живы! Все остальное ерунда! Перед его глазами возникло: Поздышев подталкивает Веру Матвеевну к люку, его нелегкая подбадривающая улыбка и тоскливый крик Веры Матвеевны. Он чувствовал себя виноватым перед ними. Ради чего они должны страдать и рисковать жизнью?

У подножия этих лиственниц все стало глупостью. Вся его работа, и эти полеты, и опасность, которой подвергали себя люди. Зачем нужно изучать заряды капель? Что изменится от этого в лесу? От того, что будет известно распределение зарядов в облаках, этот лес не станет прекрасней. Все было глупым, мудростью были колонны лиственниц, перестук капель и красота коней.

Ничего не могло быть лучше этого. А вместо того чтобы наслаждаться лесом и видеть небо, люди возьмется с приборами и ищут заряды. Слово «поле» давно потеряло для него начальный смысл. Он забыл, что, кроме электрического поля, магнитного поля, есть просто зеленое поле с цветами и пчелами.

Он смотрел, как разбредаются лошади, пофыркивая, наклоняются к сочной траве.

Никуда не хотелось двигаться. Не будь боли в ноге, он лежал бы, смотря над собою вверх, в ленивое шевеление зеленых ветвей. Вряд ли люди станут счастливее оттого, что научатся управлять грозой. Они избавятся от некоторых несчастий, но меньше несчастий — еще не значит больше счастья.

Глава 8

Прежде чем отправиться на пляж, они позавтракали на поплавке. Ели обжигающие наперченные чебуреки. Тулин заказал бутылку цинандали. Светлое сухое вино весело холодило. Из кухни несло горьковатым дымком. Столик стоял у перил, внизу плескалась зеленая волна, в просвеченной глубине толпились стайки большеголовых лобанов, Женя кидала им кусочки хлеба.

Пляж был совсем рядом. Женя ушла переодеваться и вернулась в васильковом купальном костюме, который очень шел ей. Вода была теплая, шумная. Они заплыли далеко, покачались на красных буйках.

Тулин плыл быстро, слегка красуясь своим хорошо

отработанным кролем. Потом перевернулся на спину и лежал на воде, закинув руки за голову.

Они выплыли на другой конец пляжа и пошли по горячей гальке, разглядывая курортных дам в темных очках, в немыслимо пестрых купальниках, под китайскими зонтиками, весь этот кишаший людьми, солнечными брызгами берег, красочный, шумный, тесный. Тулина окликнули московские знакомые, он помахал рукой, но не подошел. Он вдруг удивился — ему сейчас не хотелось быть ни с кем, кроме Жени. Взявшись за руки, они зашлепали по мелкой воде, болтая и беспричинно смеясь, он смотрел на ее темно-коричневый глаз, на свободные, уверенные движения и любовался ею. Приятно было думать, что сейчас с ним происходит что-то особенное, совсем непохожее на прошлые увлечения. Женщины тут были не виноваты: они любили его, влюблялись, страдали, когда он оставлял их. Но сам он почти никогда не принимал их чувства, да и свои чувства, всерьез.

В сущности, он, так же как и Женья, позволял любить себя, ему нравилось, когда его любят, он старался, чтобы его любили, и только. Его обижало, когда женщины упрекали его в рассудочности. В таких случаях он уверял, что так он относится не ко всем. Затем он говорил, что ученый должен иметь одну-единственную страсть, все остальное мешает. И в глубине души был доволен своей свободой.

Однако сейчас, с Женей, он больше всего вдруг убоился того дня, когда нужно будет что-то придумывать и объяснять, и снова оправдываться перед собой, оправдываться работой, занятостью. И снова все потечет по-прежнему.

Он крепко сжал ее голую руку. Женья посмотрела на него удивленно. Тогда он взял ее за плечи и на виду у всего пляжа поцеловал в губы. Кругом засмеялись, кто-то свистнул. Глаза ее влажно потемнели гневом, но когда Женья отстранилась, лицо ее было весело, она плеснула в Тулина водой и побежала. Васильковый купальник мелькал среди загорелых тел, зонтов, палаток. Тулин нагнал ее, осторожно взял за руку, и эти переходы к тем дружеским отношениям, когда еще ничего не произошло и оба могут делать вид, что ничего не было, и ожидание того, что должно совершиться, это неустойчивое, изменчивое начало влекло Тулина и казалось ему прекрасным.

Они легли на гальку. Женя подложила под голову сверток.

— Что тут? — спросил Тулин.

Она долго молчала, щурясь на солнце. С неожиданным вызовом сказала:

— Подарок Ричарду. Он давно мечтал иметь рубашку навыпуск, как у вас. Я купила ему. Хотите посмотреть?

— Нет.

— Почему? Красивая рубашка.

— Женя!

Она закрыла глаза.

— Нехорошо это все, — сердито сказала она.

Совсем рядом с Тулиным было ее плечо, смуглое, в песчинках и блестках морской соли, он щекой чувствовал жар ее нагретого солнцем тела. Он решил действовать открыто, наотмашь.

— При чем тут Ричард? Право первого? Такого права не существует. Приоритет соблюдается в открытиях, а вы не открытие Ричарда.

Она поднялась, проговорила, как можно тверже:

— Имейте в виду, я люблю Ричарда.

Было в ней что-то просящее и тревожное, и Тулину расхотелось продолжать.

— Пойдемте погуляем.

— Почему вы не отвечаете? — возмущенно спросила она.

— Если бы вы любили Ричарда, вы бы не поехали со мной. А вы поехали. И взяли с собою купальник. Вы все знали. Вы знали, что мы будем лежать на пляже и что я буду вам говорить.

Женя сникла.

— Мало ли что... — Она с отчаянием посмотрела ему в глаза.

Сейчас слова ничего не значили. Все решалось глазами и чем-то еще более сокровенным и точным. Тулин подставил себя под ее взгляд, радуясь, что все у него в душе сейчас открыто и чисто.

— А чего стыдиться, даже если так? Ваше существо честнее, чем вы. По-моему, это безнравственно — не позволить себе чувствовать то, что чувствуешь, и быть с кем хочешь.

— Мы пойдем в парк? — помедлив, спросила она.

— Мне все равно.

— Мне тоже.

Ветви огромных дубов смыкались. Прохладная тень, упруго-твердые кусты самшита, легкость соленого воздуха.

— Женя, а если все это по-настоящему?

— Что ж тогда?

Он рассмеялся.

— Ответим новыми успехами. — Ему захотелось быть откровенным. — Я бы мог тогда быть перед тобой слабым, и плохим, и грустным. Я никогда этого себе не разрешаю. Разве уж с Крыловым, ежели припрет, но это совсем не то. Быть самим собою. Не бояться открыться, не думать о том, чтобы тебе понравиться.

«У Ричарда все было иначе, — подумала Женя, — он говорил, что, если я с ним, он станет сильным, будет добиваться, станет великим».

— ...До сих пор я всегда старался выглядеть лучше, чем я есть. Мне казалось, что так меня быстрее могут полюбить. За веселость, за удачливость, за то, что передо мною будущее. Мне нравилось представлять во всем блеске оперения. С тобой я не хочу так.

— Вам это не страшно. Я и так все знаю. Вы можете позволить себе. А я... Что я такое? Рядом с вами понижаю, что я так... практиканточка.

— Ты Женя.

— Странно: вы Олег Николаевич, знаменитый Тулин — и вдруг я рядом. Я все время чувствую, что я слишком маленькая. Я дура, вы ведь мне уже сказали, что я дура. И вы ко мне относитесь как к девчонке.

— Потому что я эгоист. Я думаю все время о своих делах. Вот и сейчас, знаешь, о чем я думаю? Не о тебе, не о нас, а о том, что будет с моей бедной работой оттого, что я влюбился...

Они с Ричардом избегали этого слова — «любовь», считали его пошлым, а Тулин произносит его свободно и громко, и оказывается — это чудесное слово. И никакие другие слова не могут заменить его.

— ...Хорошо, что я не знаю за что... Раньше я всегда знал, кто и почему мне нравится. Красивая фигура. Было весело вместе. Но всегда находилась такая, с которой еще веселей.

Он немного поотстал и пустил ее вперед. Она шла по

аллее, то попадая в тень, то вспыхивая на солнце. На ней была полосатая маечка с глубоким вырезом сзади и юбка в черную крупную горошину.

Мокрые коричневые волосы рассыпались по спине. Юбка шелестела, била по ногам. Гравий скрипел под каблуками белых босоножек, и эти простые и милые подробности бесконечно трогали Тулина.

— Непонятно, как я раньше не замечал, что ты такая красивая.

— Потому что я была ведьмой. Ведьма не может быть красивой. Я ненавидела вас.

— Наверно, ты была красивая ведьма. Я уже теперь не помню. Во всяком случае, когда я тебя увидел у беседки в Москве, ты была страшно симпатичной ведьмой.

— Я тогда была просто студенткой, а ты был... — Она смутилась.

— Ну, кем я был?

— Пижоном.

— Значит, ты все помнишь. Ну, кто был прав? Помнишь, я тебе обещал, что ты будешь управлять грозой вот этими руками.

— Да. Как это все странно.

— Это судьба, — убежденно произнес он.

— Повидаться бы с ней, с моей судьбой. Интересно, чем она сейчас занимается?

Почему-то ей вспомнился Ричард там, на аэродроме. Что он хотел сказать?

Вдали прогремело. Из-за гор надвигалась гроза. Солнце высветило косые полосы дождя. Женя встревоженно прислушивалась.

— Давайте поедем.

У них оставался еще по крайней мере час. И незачем было ехать навстречу дождю, когда можно переждать здесь. Но Женя внезапно заупрямилась, и чем больше он уговаривал ее, тем горячее она настаивала.

Они разыскали шофера на базе и забрались в кузов.

На полпути они въехали под дождь. Тулин предложил Жене перебраться в кабину, она отказалась. Он накрыл ее пиджаком. Теплые струйки стекали по спине, он смеялся, как от щекотки, ничто сейчас не могло испортить ему настроения. Он был рад этому дождю. Ловил открытым ртом капли, пел, дурачился.

— Наш первый день творения тоже начался с грозы. Ну разве это не судьба? Это даже рок!

Женя вглядывалась в иссиня-темное, вздрагивающее от далеких молний небо. Яркие миги освещали разом горы с мокрыми, блестящими деревьями, камни, дорогу, и тотчас снова обрушивалась тьма, гуще и мрачней.

— О фантазия древнего человека! — дурашливо начал Тулин, копируя Голицына.

— Перестаньте! — нервно оборвала она.

— Что с тобой?

— А что, если они... там...

Он засмеялся, отгоняя тревогу.

— Тогда им крупно повезло. Удача преследует нас. — Смеясь, он сунул голову к ней под пиджак. — Ужасно трудно быть счастливым и скромным.

Он снова запел, голос у него был приятный, но иногда фальшивил. С непонятным ей самой ожесточением Женя спросила:

— А как ты теперь будешь с Ричардом?

— Конечно, жалко, что именно он, — беззаботно сказал Тулин. — Лучше бы это был Агатов. — Он потерся мокрой щекой о ее руки.

Он любит Ричарда и сделает все, чтобы они остались друзьями. От этого не погибают. Это надо пережить каждому мужчине, вроде боевого крещения. В следующий раз Ричард не позволит отбить свою девушку.

Он был в ударе, Женя против воли улыбалась.

Дождь стучал в намокший пиджак, машина неслась, и Жене хотелось, чтобы не было конца этой дороге, чтобы эта дорога вела в другой, какой-нибудь совсем другой город, где их никто не знает.

Глава 9

Гроб несли на руках до самого кладбища и по кладбищу до могилы. Тулина хотели сменить, но он не слышал, он держался за ручку гроба и никак не мог понять, почему гроб такой легкий. Как будто они несли пустой гроб, как будто там ничего не было.

Может, вообще ничего не было и все ему кажется, это плохой сон, сейчас он проснется, умоется и в столовой встретит Ричарда. Надо только проснуться.

Он быстро обернулся и увидел, как мелкие слезы безостановочно текли по щекам матери Ричарда. Ее вели под руки Алеша Микулин и Агатов. Она прилетела утром. Большая желтая сумка болталась у нее на локте.

Выступал Алеша, потом Алтынов. Последним выступал Агатов. Сочный, крепкий голос его был хорошо слышен всем. Читал с листа, четко и торжественно, как приказ. Трагическая гибель молодого таланта... Герой советской науки... Нелепый случай оборвал многообещающую жизнь... В наших сердцах навсегда сохранится дорогой образ нашего товарища... Пример преданности нашему общему делу...

Было жарко. Агатов пропустил несколько абзацев, боясь, чтобы не напекло голову.

— Слишком дорогой ценой расплачиваемся мы за необоснованные теории людей, жаждущих быстрого успеха. — Он горько покачал головой, и многие взглянули на Тулина.

Гроб неумело опускали в могилу. Кто-то сказал: «Вытаскивайте веревки». Мать Ричарда наклонилась, взяла ком земли, но пальцы ее свело, и она никак не могла разжать их и бросить землю на крышку гроба и, смущаясь от общего внимания, судорожно улыбалась.

От этой улыбки женщины заплакали. Наступила та молчаливо-тяжелая и единственно по-настоящему щемящая минута прощания, которая бывает на любых похоронах. Внезапно в глубине толпы произошло движение, шум, плотный круг людей разомкнулся, пропуская всклокоченного, бледного Крылова.

— Разрешите мне! — выкрикнул он как-то безобразно громко.

Агатов вздрогнул, попятился, наступая на кучу земли, не спуская глаз с Крылова и что-то быстро шепча, как заклинание.

— Нет, Яков Иванович, не так, товарищи дорогие, — лихорадочно торопясь, начал Крылов, — Ричард — он погиб не впустую, нельзя так, я вам все могу...

Он остановился, глотая воздух открытым ртом, и вдруг задумался, словно забыв обо всем. В гнетущей тишине слышно было, как кто-то шепнул:

— Оправдаться хочет.

Крылов вздрогнул, очнулся. На него смотрели возмущенно, неприязненно или не смотрели, опустив глаза от стыда и неловкости.

— Наоборот, я принимаю на себя, но именно теперь наша задача — доказать, что мы не напрасно... — Он потряс кулаком в гневной беспомощности.

Вера Матвеевна тронула его за плечо.

— Успокойтесь, Сергей Ильич.

Агатов пришел в себя, держась за крашеную фанерную пирамидку, отряхнул с ног землю, огляделся, не заметил ли кто его испуга, сказал Крылову крепким голосом:

— Здесь не собрание.

Крылов обессиленно махнул рукой и захромал прочь, тяжело опираясь на палку. Проходя мимо матери, он поклонился ей:

— Вам следует знать... — Голос его сорвался на тонкий фальцет. — Он хотел стать настоящим ученым. Он погиб как настоящий ученый. Его имя останется в научных...

Мать Ричарда испуганно отшатнулась.

«Что там?», «Безобразия!» — слышался громкий шепот из задних рядов, еще более увеличивая неприятность происходящего.

Агатов вытер лицо, почтительно взял мать Ричарда за руку.

— Простите нашего товарища, — сказал он. — Гибель Ричарда слишком потрясла нас всех. Его смерть — тяжелый урок! Перед свежей могилой мы поклянемся, что ничего подобного не повторится. Пусть же память о Ричарде станет выше мелкого тщеславия. — Он вдруг подумал, что действительно все могло кончиться ужасней и он сам мог погибнуть. Голос его дрогнул. — Нет, конечно, Ричард погиб не напрасно, может быть, мы все обязаны ему своими жизнями, потому что прекратятся раз навсегда эти преступные попытки... — Он взял мать Ричарда за руку, слезы выступили на его глазах. — Верьте, мы с вами навсегда!

Он сделал все, что мог, чтобы как-то вернуть церемонию к той торжественной печали, которую считал обязательной при подобной процедуре и нарушение которой было неприлично и оскорбительно для памяти покойника, как будто смерть можно было чем-то оскорбить.

Но в это время издали снова раздался недоуменный и отчаянный выкрик Крылова:

— Да черт возьми, скажите же кто-нибудь, он не ради этого погиб!..

Прикопали пирамидку, возложили венки. Мать Ричарда постояла молча, потом, сопровождаемая студентами и сотрудниками группы, направилась к выходу.

Крылов заступил ей дорогу:

— Извините меня, все получилось не так, но я хотел сказать, что Ричард верил в нашу работу, и мы докажем, что он был прав, вы убедитесь... .

Припухшие красные глаза ее глядели на Крылова с неприязнью:

— А мне-то что с того... Вы-то все живы.

Она отвернулась, и Агатов повел ее, поддерживая под руку и рассказывая о выплате страховки.

Мысль о том, что он сам мог погибнуть, не оставляла Агатова. Сегодня могли хоронить его. И все было бы точно так же, и произносили бы те же речи. Но небось Крылов не стал бы высказывать. И Тулин не был бы так расстроен. Никто из них не остался бы у его могилы. Он с тревогой перебирал в памяти близких и знакомых. Кто из них заплакал бы по-настоящему? Разумеется, похороны были бы торжественней, венков прислали бы больше, поместили бы объявление в газете, но все сразу бы ушли с кладбища и по дороге судачили о том, кого назначат на его место. Если бы ему не удалось отцепиться от Ричарда, они погибли бы оба. Хотя в этом-то судьба обошлась с ним справедливо. Почему он должен был погибнуть из-за тулинской авантюры, он, который с самого начала возмущался?..

Но теперь наконец-то пробил его час. Он предупреждал, что все может кончиться катастрофой. Он требовал запретить полеты. Он был прав. Это они, они виноваты во всем.

На выходе из кладбища Агатов обернулся. У могилы, поодаль друг от друга, стояли Крылов, Женя, Тулин и Алеша с Катей.

— Вы знаете, почему они там остались? — сказал он матери Ричарда. — Они чувствуют себя виноватыми.

Все объясняется всегда самыми простыми мотивами. Выходка Крылова вызвана просто страхом ответственно-

ности. Он руководил программой, он командовал. За высокими словами всегда скрываются корыстные интересы, надо только уметь распознать их.

Что хотел Ричард сказать ей перед полетом? Что-то важное, иначе бы он не прибежал и не просил остаться, не настаивал. Теперь каждое его последнее слово, каждый жест приобрели значительность. Женя восстанавливала их в памяти, пытаясь разгадать тайну, погребенную в земле. «Я должен тебе рассказать. . .» Запыхался, в черных глазах гнев, размахивает тонкими руками. И последнее, такое робкое, отчаянное прикосновение.

Почему она не поняла, как нужно ему немедленно сообщить это «что-то»? Что это могло быть? О чем? Почему именно в ту минуту?

Она расспрашивала Алешу. По его словам, Ричард ни с кем не говорил, сидел в самолете какой-то пришибленный, оживился, когда вошли в грозу, но там было уже не до разговоров. Никогда она не узнает. Никогда! Смерть входила в ее сознание через это *никогда*.

О чем думал он там, в последние минуты? А она в это самое время слушала, как Тулин высмеивал Ричарда. . . Она читала укор на всех лицах, обращенных к ней. Ричард просил не ехать, он не хотел ее отпускать. Он так просил. Согласись она, может быть, ничего не случилось бы.

Женя не решалась положить на могилу свои цветы. Даже заплакать не смела. Дождалась, пока разошлись, шагнула к холмику, заваленному венками, и остановилась.

Неужели это все, что осталось от Ричарда? При чем тут эта могила, венки? Какое отношение к нему имеет гроб, закопанный в землю, и то, что в этом гробу? Где сам Ричард?

Что-то мешало ей поклониться к могиле. Послышались осторожные шаги. Женя закаменела, почувствовала прикосновение к руке, робкое, так прикасался к ней Ричард. Она отпрянула.

— Уйдите, — сказала она Тулину. — Оставьте меня.

— Женя, я не могу сейчас один. . . Так паршиво. Помоги мне. Приезжает комиссия. Мне надо как-то справиться. . .

Всё о себе, об одном себе. Всё для него и все для него. Не Ричард погиб, а у него неприятности.

Она вырвала руку, и вдруг как будто что-то возопило в ней: все из-за него! Он увел ее, поссорил, и Ричард погиб из-за него.

И с размаху она ударила его по щеке так, что голова его дернулась и сам он пошатнулся. Всею ладонью она с наслаждением ощутила боль и тяжесть удара.

У могилы стояли Крылов, Алеша и Катя. Она только сейчас увидела их и они ее. Они смотрели на Тулина. Губы его сомкнулись. На щеке медленно расплывалось красное пятно. Стоило ему пошевелиться, произнести хотя бы слово, она ударила бы еще. Она била бы его до иступления. Наверное, в такие минуты убивают.

Но он молчал. Он только смотрел на нее, и глаза его становились огромными, во все лицо.

Безмятежный счастливчик, общий любимец, находчивый, навеки застрахованный от любых бед, он стоял на виду у всех, не смея ничем ответить. Он должен был все снести от нее и от всех остальных.

Спазма перехватила ей горло. Она побежала с кладбища, не видя дороги, натыкаясь на могильные плиты, через кусты, ограды, чувствуя, как он там стоит с багровым пятном на щеке.

Со всей своей энергией и напористостью Агатов помог матери Ричарда оформить документы на выдачу страховки и пенсии, он провернул это дело, несмотря на уйму формальностей.

Назавтра он встречал комиссию по расследованию аварии. Прибыли Лагунов, Южин, Голицын, Чиркаев — представитель авиаконструктора, представители метеослужбы, института. Агатов помогал размещать их в гостинице и до поздней ночи готовил документацию. Спал он плохо, ему снилось кладбище с безмолвными фигурами, почему-то он знал, что стоят они уже несколько месяцев и будут стоять там еще годы, и в этом было что-то угрожающее.

Он просыпался в тоске, слышал, как громко стучат часы под подушкой.

Утром на улице он столкнулся с Женей Кузьменко. Она вспыхнула, опустила голову. Сперва он не понял, что произошло, а потом сообразил: они чувствуют себя

виноватыми перед ним, она и Тулин. Где они были, чем они занимались, когда самолет попал в грозу? . .

Его нагнал Лисицкий, сочувственно пожал руку: как вы были правы!

Это было так искренне, так благодарно, что ночные волнения показались смешными. Значит, все понимали, что он был прав. Он оказался предусмотрительней и умнее и Тулина и Крылова. Будь у него больше власти, ничего бы не случилось. И вдруг впервые он ощутил радость своего спасения. Он остался жив, он жив сегодня, сейчас плевать на то, кто там останется после его похорон, будет плакать или нет, он жив, это лучше всяких слез.

Завтракал он вместе с Голицыным и Лагуновым в ресторане. Он заказал заливную острину, зернистую икру и выпил две чашки черного кофе.

Глава 10

На место падения самолета Голицын не поехал и на первых заседаниях комиссии не присутствовал. Он проверял научные результаты работ тулинской группы. Просматривал материалы, стараясь разобраться в главном — была ли авария случайностью или же она следствие недостатков метода. Агатов удивлялся: чего ради он себя изводит, в такую духоту просиживает днями за работой? «Наша взяла, вернее — ваша взяла, Аркадий Борисович, — говорил он. — Вы были правы по всем статьям, и нечего беспокоиться. Теперь одна задача — наказать этих авантюристов. Вы можете быть довольны». Голицын закричал на него: «Чем доволен, что Ричард погиб?» Вероятно, и остальные думали, что он, Голицын, злорадствует. И Крылов, наверное, так считал. Никто не знал, с какой объективностью Голицын выписывал все обнадеживающее из материалов.

Втайне он получал удовлетворение, обнаруживая провалы, которые предсказывал, натяжки в ходе исследований, преждевременные выводы.

Отклонения — в десятки раз меньше, чем те, которые положено давать молнии. По-прежнему неясно, как происходит восстановление зарядов. Наиболее основательные замеры были проведены Крыловым, но и они недо-

статочны, остальное шатко, уязвимо, никак не объясняются нехарактерные точки. . .

Еще в Москве, перед отъездом, позвонил Аникеев, беспокоился за Крылова, Голицын ревниво буркнул: «Поделом ему, поделом», — но дорогой нервничал, ожидая встречи.

Никакой встречи не получилось. Крылов поздоровался отчужденно, так же, как и с другими членами комиссии. Голицын был уверен, что вечером Крылов зайдет к нему в номер, заказал бутылку вина, дыню, виноград. Крылов не появился ни в этот вечер, ни в следующий. Бойся, как бы не сочли, что заискивает перед членом комиссии? И все равно ему надлежало бы прийти и честно признаться: в их последнем споре он был неправ. Голицын это доказал. Авария доказала.

Заходил Южин, отдувался, расстегивал китель и ругал Лагунова, жару, синоптиков, окаянную свою работу, грозу со всеми этими зарядами-разрядами. . . По его словам, Крылов держался на комиссии глупо, все брал на себя. Настаивал на том, что указатель должен был сработать, спорил с Лагуновым, талдычил свое, казалось, не чувствуя никакого раскаяния, угрызений совести; вообще катастрофа никак не образумила его, не то что Тулина. Хотя Тулин и не несет прямой ответственности за полет, он удручен, переживает, мучается. . .

— А Крылов? — спрашивал Голицын.

— А Крылов хоть бы что! — возмущался Южин. — А ведь он фактически руководил программой. И он еще надеется на продолжение работы. Требует! Пусть скажет спасибо, если его не отдадут под суд. Хоть бы Тулина слушался. Тулин понимает что к чему. Парень, конечно, упал духом, но я надеюсь. . .

— Ну, а что Крылов? — снова перебивал Голицын.

— Дался вам этот Крылов! Я понимаю — Тулин, вот кого жаль, талант, а этот. . . Нашли по ком убиваться!

Голицын рассердился:

— Талант! Талант далеко не всё! Из чего состоит талант?

Последние дни он часто думал о том редком сочетании качеств, из которых складывается настоящий ученый, — воля, умение ограничивать себя, способность радоваться, удивляться, уметь падать, переносить разгром, когда ничего не осталось и надо начинать все сызнова. . .

и еще многое другое, и не как механическая смесь, а соединение химическое, в строгих пропорциях, ибо недостача любого качества обесценивает остальные.

Мать Ричарда передала ему материалы незаконченной диссертации сына. Прочитав, Голицын понял, что Ричард пошел против него, за Тулиным. Там было несколько смелых предположений и любопытные расчеты по заряженности облаков. Не строго научно, но Голицыну не хотелось ничего оспаривать: теперь, после смерти Ричарда, идеи эти обретали какой-то особый авторитет. Да и зачем спорить — Ричард ушел навсегда не только из жизни, он ушел и от него, он умер противником. И Крылов тоже ушел. Лучшие ученики уходили от него. В шестьдесят пять лет он остался один. Были люди, которые под его руководством защищали диссертации, считались его учениками, однако не было среди них ни одного, кто следовал бы за ним так, как, например, у Аникеева или у Дана. И Крылов, по сути, всегда оставался учеником Дана, поэтому он и ушел.

Но ему придется вернуться. Теперь ему некуда податься. Голицын взял перо. Ему было жаль Крылова. И без того Крылову достанется, и крепко. Но остановиться Голицын уже не мог. Подытожил ядовито: «По измерениям выходит, что вообще молнии не существует, следовательно, гроз также не существует, и тем самым проблему борьбы с грозой можно считать решенной».

Выводы получались убийственные по многим пунктам. Вряд ли Крылову удастся их опровергнуть. Лагунов будет восхищен этим великолепным склепом, в котором надолго замуруют подобного рода авантюры. Безукоризненная логика, строгий разбор без мелких придирок, без педантизма... Почему же не было удовлетворения? И заслуженного покоя, который обычно приходил после удачной работы, тоже не было. Что-то здесь не так, не то...

Перед началом утреннего заседания Крылова позвали к междугородному телефону. Он долго сидел в кабине, прижимал трубку к уху. «Соединяю, соединяю! — кричала телефонистка. — Да говорите же!»

— Я слушаю, алло, — сказал Крылов.

— Сережа... — И наступила тишина. .

— Кто это? — спросил он.

Опять в трубке была тишина, полная шорохов, дыхания, и слышно было, как стучит в висках.

— Ты жив? Я только что узнала, что у вас случилось. Сказали — кто-то погиб.

— Наташа? Где ты? Откуда ты? — закричал он.

— Ты жив, здоров?

— Да, да, но как ты узнала? Наташа!

— У тебя неприятности?

— Пустяки, это все пустяки. Ты можешь приехать? У меня тут комиссия. А черт с ней, я сам приеду.

Она долго не отвечала, потом сказала незнакомым голосом:

— Нет, не надо. Я только хотела узнать, что с тобой ничего не случилось.

— Как же так... Погоди... Алло! Алло!

— Почему вы заставляете себя ждать? — возмутился Лагунов.

Крылов вздохнул и посмотрел на него так, будто их разделяли века и Лагунов со своей комиссией находился где-то в доисторической эпохе.

Что мог значить ее звонок? Весь этот год Крылов жил с неубывающей надеждой на встречу. Не хочет с ним видеться. Но она позвонила. Мало ли что могло произойти с ней за год. Она могла выйти замуж, влюбиться, родить ребенка, теперь-то он знал, сколько всякого может случиться за год. Его научила этому Лена. И сама Наташа. Но все же она позвонила.

— Как по-вашему, почему Гольдин не смог выпрыгнуть?

Уйти и лечь, закрывшись от всех, и положить повыше больную ногу, и, может быть, принять снотворное. А еще лучше выпить с механиками так, чтобы забыть все к чертовой матери — и эту комиссию и Наташу, не думать о том, что будет.

Он успокоился, услышав свой твердый голос. Не стоило злиться. Они здесь делали свое дело. Им надо было узнать обстоятельства гибели Ричарда. Что бы ни происходило, каждый должен выполнять свои обязанности. Одни должны спрашивать, другие отвечать.

Лагунов, приехав, напомнил: «Я вас предупреждал,

что все это плохо для вас кончится». Предупреждал. Еще когда Крылов переводился к Голицыну. И Савушкин предупреждал: «Зачем тебе делать из Лагунова врага?» И Голицын его тоже предупреждал... Дальновидные люди. Удивительно, откуда они знали, что с ним будет? Почему он сам ни хрена не знает ни про себя, ни про других.

Он вспомнил лицо Ричарда там, в самолете; так он и не сумел ответить тогда Ричарду, найти слова, которые поддержали бы его, слова-парашюты. Может быть, следовало сказать Ричарду все до конца про Тулина. Не стоило заниматься утешительным враньем и делать вид, что Тулин отстоял Ричарда перед Агатовым.

Он покосился на Тулина: белая рубашка с закатанными рукавами, черные узенькие брюки, остроносые мокасины. За все время так и не удалось поговорить, и Крылову казалось, что Олег избегал этого разговора, на комиссии он отвечал односложно: «да», «нет» — и сегодня сидел молча, непрерывно курил, не участвовал в заседании: ведь он ничего не мог сообщить о том, почему погиб Ричард.

Возницын спрашивал про кассеты — мог ли Ричард успеть вытащить кассеты. Представитель главного конструктора Чиркаев спрашивал, правильно ли было в таких условиях заботиться о кассетах. Видно было, что Чиркаев искренне хочет беспристрастно разобраться в действиях Крылова, и Крылов охотно отвечал ему, понимая, что оба они думают о другом — можно ли рисковать жизнью человека ради каких-то кассет.

В ту минуту в самолете Крылову было не до того, но сейчас он не мог не думать об этом.

— В кассетах — запись работы грозоуказателя, — сказал он. — Будь у нас кассеты, возможно, сегодня мы узнали бы определенно, что указатель оправдал себя.

— Но ведь указатель не работал, — сказал Чиркаев.

— Значит, указатель на щитке пилота был неисправен, а регистрирующая часть прибора могла работать.

— Как же это могло получиться?

— Не знаю, — сказал Крылов. — Что-то случилось в схеме. Тут могут быть разные причины.

— Почему же вы не устранили неисправность? — спросил Лагунов.

Крылов пожал плечами.

— Вы пробовали когда-нибудь в полете ремонтировать приборы? Я лично этого не умею.

Он понял бестактность своего ответа слишком поздно. Лагунов никогда не летал, и бог знает сколько лет прошло с тех пор, как Лагунов работал с приборами.

— А вот Яков Иванович считает, что ваш прибор несостоятелен, поскольку вся методика несостоятельна. Так? — предупреждая раздраженную реплику Лагунова, сказал Возницын. Для членов комиссии Яков Иванович был специалистом, начальником лаборатории, помощником Голицына.

Крылов посмотрел на Тулина, и многие посмотрели на Тулина. Он сидел, покачивая ногой, и курил.

— Давайте все же уточним схему эвакуации, — предложил Южин.

С помощью Поздышева начали восстанавливать последовательность событий. Южин попросил вызвать Микулина.

— Не только я считаю, что методика несостоятельна, — вдруг вставил Агатов. — Я тут разделяю мнение Аркадия Борисовича.

Голицын что-то буркнул. Нацепив очки, он правил свое заключение.

— Мы к этому еще вернемся, — сказал Лагунов.

Южин задумчиво смотрел на Агатова.

— Между прочим, Яков Иванович, — заметил он, — ведь вы покинули самолет последним. Что делал в это время Гольдин?

Агатов, как бы вспоминая, потер лоб. Пальцы его наткнулись на ссадину, залепленную пластырем. Он снова почувствовал, как ползет, оттолкнув Ричарда, рассадив лоб... Вздвогнув, он посмотрел на Южина. Не было ничего удивительного, что Южин смотрел на его ссадину, но в груди Агатова что-то замерло.

— Это я ушибся, — зачем-то сказал он, чувствуя, как губы гнет искательная улыбка.

Южин продолжал смотреть, и, все более пугаясь, Агатов заторопился:

— Да, да, я видел, Ричард возился с кассетой. Наверное, она застряла. Кассеты часто заедает. У него заело. Знаете, в такую минуту, как назло... — Он не мог оторваться от глаз Южина. Он заставлял себя не смотреть, отвернуться, посмотреть на Лагунова и страшил-

ся, что Южин поймет, что он избегает его взгляда. Не надо было ничего говорить. Лучше было сказать, что он не видел Ричарда. Ведь мог же он не видеть Ричарда?

— ...Крылов попросил, и Ричард остался, а кассета застряла, то есть, наверное, застряла, потому что я в точности не знаю. Крылов здесь изо всех сил доказывает — случайно попали в грозу. Ему иначе нельзя. Иначе ему не оправдаться. Указатель-то не работал, тут уж точно известно, что не работал...

— Вы считаете, Ричард мог выпрыгнуть?

— Да, конечно.

— Какой же смысл был Крылову заботиться о кассетах? — спросил Южин. — Кассеты тоже показали бы, что указатель не работал.

Агатов было оторопел, но тотчас подхватил торопливо, словно вспоминая:

— У них давно споры шли, у Крылова с Тулиным. Это всем известно. Думаете, Крылов не понимает, что у Тулина все на песке построено? Прекрасно понимает. Спросите его. Наверное, он хотел Олегу Николаевичу доказать кассетами... Уверяю вас. Теперь-то они, конечно, выручают друг друга. Если бы я знал, я бы отменил приказание Крылова, я ничего не слышал...

Он никак не мог остановиться, хотя чувствовал, что и Южин и остальные заметили его странную говорливость.

— Вы находились рядом с Гольдиным, — не отпуская его взгляда, сказал Южин. — Вы сказали, что видели, как он вынимал кассету? Но ведь от люка до стенда расстояние большое.

— Никак вы меня ловите на чем-то? — Агатов хотел сказать это насмешливо, но сбился на нервно-крикливое. — Я же вам говорил, что я от люка не отходил! Я видел издали. Что ж, по-вашему, издали нельзя увидеть? Вы просто меня хотите сбить с толку. Вам надо защитить Тулина. Я знаю. Потому что я письменно предупредил вас!

— Вы молодец, молодец, только нервы у вас... Первая авария... — И Южин благодушно хохотнул, снимая неловкость. — Я же для вас стараюсь, — он прошелся вдоль стола, дружелюбно потрепал Агатова по плечу, — чтобы вас ничем не попрекнули.

Агатов выпил воды, успокоился. Заговорили о радиосвязи, о службе прогнозов, как бы между прочим Южин придвинул к Агатову карту с отметками места аварии и мест, где были найдены парашюты.

— Вот здесь приземлился Поздышев, а здесь вы. — Мясистое лицо Южина изображало крайнюю степень благожелательности. — Непонятно, отчего такое большое расстояние.

— Какое это имеет значение? — спросил Лагунов.

— Ну как же? Яков Иванович утверждал, что его швырнуло, он столкнул Поздышева и вывалился сам. А вот по расстояниям не выходит.

Хоботнев с интересом посмотрел на Южина и решил не вмешиваться. Раз Южин так говорит, значит, ему за чем-то это надо.

Агатов вяло убрал руки со стола. Он хотел раскрыть рот и не мог. Он закрыл глаза, чувствуя, что куда-то падает. Но тут раздался голос Голицына:

— В грозových условиях самые невероятные перипетии возможны. В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году зарегистрирован случай, когда парашютиста несло двадцать минут. — И Голицын принялся объяснять механику воздушных течений.

Агатов жадно вздохнул, открыл глаза и сказал окрепшим голосом:

— Надеюсь, вам ясно?

Южин приветливо кивнул.

Ни черта ему не было ясно. Всем своим нюхом он чувствовал, что тут что-то не так, и осторожно тянул ниточку из этого путаного клубка... Оборвалась, а теперь не удержишь... Ему хотелось засунуть этого мудреца Голицына на время заседания куда-нибудь в шкаф. Проклятый эрудит.

Впервые Алеша Микулин давал объяснения перед полным составом комиссии, со всеми представителями, в присутствии Голицына. Крылов был тут же, и Тулин, и Алтынов; стенографистка записывала каждое его слово, и все эти большие, серьезные люди слушали его с интересом, отдавали должное его мужеству. Он старался отвечать небрежно, как будто участие в воздушных авариях было для него делом привычным и надоевшим, как будто, кроме инструктажа и тренировочных занятий, на его счету были десятки прыжков. Ничего особенного

в том, что он вытащил Крылова, даже спас его. Каждый на его месте поступил бы так же. У нас любят придумывать подвиги. Тем не менее он обрадовался, когда от него потребовали подробностей, и, слушая себя, Алеша не переставал удивляться, настолько осмысленными были все его действия.

— Смогли бы вы, например, вытащить кассеты в подобной обстановке? — спросил его Лагунов.

— Конечно, — сказал Алеша. — Подумаешь!

— Верно ли, что Крылов просил вас помочь Ричарду с кассетами?

— Да, точно, — обрадованно вспомнил Алеша и дружески улыбнулся Крылову. — Но не мог же я бросить Сергея Ильича ради этих кассет. Да и вообще... — Он хотел сказать, что считал заботу Крылова о кассетах неразумной и до сих пор считает, но запнулся и замолчал, поняв, что это может повредить Крылову.

— Договаривайте, что «вообще», — насторожился Лагунов.

Алеша не хотел давать Крылова в обиду, он вспомнил тяжесть тела Крылова, плотный, как вода, сырой воздух, засасывающий в проем люка, потом горизонтальную молнию. «Чечеточная», — машинально определил он и вспомнил, как Ричард рассказывал, что горизонтальные молнии достигают длины полутора-два километра. Разумеется, если бы он, Алеша, остался в самолете последним, ничего бы с ним плохого не случилось, он был уверен в себе, а Ричарда нельзя было оставлять...

— Мне лично эти кассеты до лампочки, — сказал он.

— Что значит — «до лампочки»? — строго сказал Лагунов. — Выбирайте выражения. — Но к членам комиссии обратился удовлетворенно: — Выходит, что даже студент Микулин, лицо неотвечественное, и тот не считал возможным из-за кассет рисковать своей жизнью. И жизнью Крылова. В подобных условиях. А вас, Сергей Ильич, это обстоятельство не смутило.

— Минуточку, — вмешался Чиркаев. — А как вы поступили бы на месте Крылова? — спросил он Алешу.

В глазах этого молодого инженера с чеховской бородкой Алеша прочел что-то предостерегающее и понял, что все, что творится на комиссии, не так-то просто и его показания могут много значить в судьбе Крылова, Тулина и всей группы, поэтому ему надо держаться

чего-то, но чего именно, он не знал. Ричард — тот не задумывался бы. . .

— Я бы. . . — он замялся, — я бы не приказал Ричарду. Потому что, — он вздохнул, жалея того красивого героического Алешу Микулина, впечатление о котором он должен сейчас испортить, — я — это одно, а Крылов — другое.

Голицын, не отрываясь от своих бумаг, вдруг произнес резко:

— И я бы на месте Крылова позаботился о кассетах. А как же иначе? По-моему, каждому научному работнику это понятно. Правильно, что Микулину не поручил. Нельзя. Есть у нас такие — без божества, без вдохновения.

Слова Голицына все сместили. До сих пор Алеша считал, что Ричард не должен был оставаться ради этих кассет, и вдруг сейчас он подумал, что настоящее героичество проявил именно Ричард и даже Крылов. Хотя это все равно ни к чему не привело. Ему захотелось разобраться во всем этом и поспорить с Ричардом, и оттого, что с Ричардом невозможно было уже поспорить, был прав Ричард. Он еще продолжал относиться к Ричарду как к живому, смерть была чем-то непривычным, не имеющим отношения к миру, в котором он жил, и вот теперь, спустя несколько дней после аварии, он ощутил, что Ричарда нет, что поговорить с ним невозможно и что бы теперь он, Алеша, ни делал, кем бы он ни стал, от этого уже ничего не изменится. Для того Ричарда он так и остался пижоном, стоящим в очереди в кафе-мороженое.

Умело и неумолимо Лагунов собирал факты против Тулина. Заходы в грозовые облака совершались не впервые. Несмотря на протесты Агатова, Тулин уговаривал Хоботнева, приучил экипаж нарушать инструкцию, такая система нарушений рано или поздно привела бы к аварии. На плоскостях, под фюзеляжем без соответствующих разрешений конструкторов устанавливались приборы. А что за история с поездкой Тулина вместе с этой студенткой? Лагунов не скрывал: ему известна некрасивая сторона этого дела и все, что поговаривали про отношения Тулина с Кузьменко. Он произнес целую речь о моральном облике руководителя. Южин ожидал,

что Тулин возразит, защитится, но Тулин молчал. Крылов неумело выгораживал Тулина, отпирался, и это давало возможность Лагунову превращать заседания в допросы, вызывать сотрудников поодиночке, создавать атмосферу подозрительности, расследования. Южин видел, что Лагунов на этом деле хочет составить себе репутацию человека, разоблачившего порочность целого научного направления, неумолимого стража государственных интересов. Упоенный своей ролью, он выискивал материалы для привлечения к уголовной ответственности. По многолетнему опыту Южин знал, что, как только начинаешь искать виноватого, а не причину аварии, дело безнадежно запутывается. Южин пробовал вмешаться, предостеречь Лагунова, но Лагунов, любезно улыбаясь, дал понять, что Южину лучше поддерживать председателя комиссии, а не идти против. Это он, Южин, дал разрешение Тулину на полеты в грозу, следовательно, защищая Тулина, он защищает себя. Это он, Южин, получал от Агатова сигналы о нарушениях и не принял никаких мер.

Никто здесь не знал, что еще в Москве Южин по этим же причинам сам отказался возглавить комиссию. Полностью отстраниться от работы комиссии было бы малодушием, он поехал рядовым ее членом, представляя язвительные попреки Голицына: «Предупреждал я вас, не послушали, уговаривали меня» — и обычные поучения тех, кто ни о чем не предупреждал: «Убедились, к чему приводит ваша доверчивость?» Но на месте все оказалось еще сложнее, и сейчас он жалел об излишней щепетильности.

Он чувствовал, что существуют какие-то старые счеты между Агатовым, Крыловым, Тулиным, Лагуновым и даже Голицыным. Несмотря на двойственность своего положения, он все же пытался что-то сделать, ему удалось доказать, что, как бы там ни было, самолет попал в грозу случайно. Чутье подсказывало Южину, что Хоботнев не виноват. Молнией вывело из строя приборы, и было чудом обеспечить эвакуацию в таких тяжелых условиях. Лисицкий и Поздышев отделались ушибами. Вера Матвеевна сломала руку, Крылов повредил ногу, но все могло кончиться куда хуже, могли быть жертвы и кроме Ричарда.

На Хоботнева было страшно смотреть — покинул

самолет, оставил там Ричарда, не заметил его. . . Южин представлял себе хаос, который творился в самолете. Наверное, Ричард свалился где-то за креслами, но Хоботнев не признавал для себя никаких оправданий.

Лагунов требовал отдать Крылова под суд.

— За что? — допытывался Южин.

— Как за что! За халатность. За то, что не обеспечил, за аварию, за все. . .

Но Южин ловко разделил вопрос — либо отдавать за халатность, тогда работы закрывать нельзя, либо запретить работы, тогда Крылова не судить.

— А разве нельзя и то и другое? Жаль. . . — Лагунов был искренне раздосадован.

Южину было бы легче, если бы Тулин помогал ему. Но Тулин раскис, видимо, махнув на все рукой. . . «Состояние его бесполезное», — определил Чиркаев. Некогда поверив в Тулина, Южин не желал признаваться в своей ошибке. Неужели он ни черта не смыслит в людях и Тулин на самом деле слабый человек, пустышка, бабник, обвел его вокруг пальца, пленил своими байками, а этот тип Агатов оказался дальновидцем!

И стойкость Крылова его раздражала, так должен был держаться Тулин, а не этот простак, который делал глупость за глупостью и только восстанавливал против себя Лагунова и Голицына.

В глазах Южина Тулин прочел жалость. С удручающей ясностью, во всех подробностях ему вспомнился тот волшебный день в Москве, когда он так напористо и весело внушал Южину веру в свою удачливость, в успех, и громадное, красного сафьяна кресло, в котором он засел, пока не добился своего.

Вдруг он почувствовал, как произвольно пытается принять ту же позу. Это было так стыдно, что он вскопчил, но тотчас уселся под удивленно-строгим взглядом Лагунова. «Да что ж это будет со мной?» — подумал он. Солнце резало глаза. Все было нестерпимо ярко, как на съемке: выражение каждого лица, огромные очки Лагунова, большая комната в старых плакатах — все это запомнится, должно быть, навсегда.

— Обстановка в группе была ненормальной, — говорил Агатов. — Вы торопили сотрудников, вы гнали рабо-

ту, «любой ценой» — это ведь ваше выражение, Олег Николаевич. Ажиотаж.

— А может быть, энтузиазм, — возразил Тулин. — Люди работали героически, они знали, что делают.

Но слова звучали вяло, не попадая в цель. Бесплезно было защищаться. Все было предрешено. Он понял это с той минуты, когда увидел выходящих из самолета Голицына, Лагунова... Они торжествовали. И Южин был с ними. С какой стати Южину защищать его после такого провала; он подвел Южина, и Южин не простит.

Лагунов спрашивал его о разногласиях с Крыловым.

Чуть что, его попрекали Крыловым. Он бы мог легко ответить на это. В сущности, во всем виноват Крылов. Полети в тот день он, Тулин, ничего бы не случилось, он нашел бы выход из любого положения.

Вера Матвеевна прямо заявила на комиссии: «Будь с нами Тулин, он бы что-нибудь придумал». Она твердила свое: «Тулин — счастливчик», по-женски пренебрегая доказательствами.

Нет, он не станет сваливать на Крылова. Пусть все видят несправедливость, пусть говорят, что не повезло, пусть жалеют: все равно ничего уже спасти не удастся. Тему закроют, и попытки Крылова что-то отстоять смешны. А Тулин не желал быть смешным. Тот, над кем смеются, уже не может быть ни значительным, ни опасным.

Сегодня на заседании впервые появился Голицын, и Тулин вспомнил свой злорадный, мальчишеский звонок, тогда, от Крылова, и почувствовал, что Голицын тоже вспомнил.

С брезгливой усмешкой Голицын слушал историю с поездкой и как Лагунов разводил мораль, негодовал, мусолил пикантную ситуацию.

Никогда в жизни Тулин не испытывал такого унижения. Рушилось прошлое, будущее, все достигнутое, все, что так блистательно начиналось. Он представлял себе новость, обросшую сплетнями: «Тулин-то как влип!» Пройдет год, десять, а он так и останется: «А, это тот самый, что когда-то оскандалился».

Крылову, Алтынову — им-то что, им нечего терять. Хотя бы скорее кончился этот позор. Он был бы рад, чтобы случилось сейчас землетрясение, взрыв, война, что угодно, лишь бы забыли о нем.

За окнами томилась жара, где-то трубач разучивал «Марсельезу», и некуда было деться от пронзительных оголенных звуков трубы.

В перерыв члены комиссии обходили его стороной. Он чувствовал вокруг себя полосу отчуждения, хуже всего, что он сам не мог переступить ее, подойти к ним, угощать яблоками, как это делает Агатов, даже просто поспорить, быть тем, кем он был для них до сих пор.

Кто-то толкнул его локтем. Рядом шел Возницын. Паша Возницын, приятель, замдиректора института, а сейчас член комиссии, Павел Константинович.

— Скажи Крылову, пусть перестанет упираться, — тихо заговорил Возницын. — Тему все равно прикроют. И нечего дразнить Лагунова. Ты пойми: в таких условиях комиссия никогда не станет взваливать на себя ответственность. Продолжать работы — значит продолжать полеты. Зачем это Лагунову? Кто на это пойдет? Безумие. Лагунову выгоднее разоблачить, наказать, пресечь. Репутация железной руки, научной требовательности. Сейчас у тебя одна задача — выкарабкаться с наименьшими потерями. Нечего покрывать Крылова, ты вылезешь, тогда и ему поможет.

— Нет, продавать его я не собираюсь.

— Зачем продавать? — сказал Возницын. — Во время пожара спасают что поценнее, а ты диван тащишь. Тактики у тебя нет. Растерялся ты.

— Это верно, — согласился Тулин. — Но ты пойми: одно к одному, как нарочно. А тут еще... — Он покраснел, ему казалось, что отпечаток Жениной руки остался на его щеке. — Господи, как я вас всех увидел нынче! И ты хорош. Поучаешь втихаря. А поддержать там, на комиссии, кишка тонка, да? Во всем соглашаешься с начальством. Тебе лишь бы не портить отношений. Ты с Лагуновым за что угодно проголосуешь.

Литые щеки Возницына опали, под глазами повисли морщинистые мешки.

— Я защищаю интересы института. Если бы я от себя... Приходится быть выше личных отношений. И без того всему коллективу неприятностей расхлебывать на год хватит. Да и что я могу? Кто я такой? Администратор. Ты кандидат наук. У тебя имя. Ты всюду устроишься. А меня турнут — и куда? Билеты в цирк прода-

вать? Другой на моем месте так бы тебя... Эх, несознательный ты человек!

— Дрожишь за свое кресло, напуганный. Все вы напуганные.

— Да, не боец. А кто боец? Покажи мне. С Лагуновым воевать? Извините. Дайте мне расписку, что со мной ничего не сделают, и то подумаю.

— Ну да, ты еще не самое худшее, — усмехаясь, сказал Тулин. — Ты готов стать порядочным, когда обстоятельства позволят.

— Почему я должен больше других? Я понимаю, мне самому не нравится... Видишь, я с тобой откровенно. Не ценишь. Ты еще непуганый. Заповедник. Ты впервые попал в передрагу, а я, брат...

Тулин молчал.

— Иногда мне снится, — тихо сказал Возницын, — встаю я на каком-нибудь совещании в институте и говорю все, все как есть говорю — до чего ж хорошо! — Он мечтательно вздохнул. Лицо его стало большим и добрым.

— Послушай, Паша... — с надеждой рванулся Тулин, но Возницын отступил, снова румяно-упругий, деловитый.

— Тебе повезло, комиссия исключительно доброжелательная, — быстро заговорил он. — Даже Лагунов держится пристойно. Ты только не дразни его. Все будет хорошо.

Во время обеда с Тулиным за одним столиком очутился Агатов. Оказалось, они оба заказали рассольник и отбивную, и отбивная у обоих была жесткая, и они ели ее без аппетита. Агатов осторожно вызывал на разговор о Южине: почему Южин придирается, подозрителен?

Тулин неуступчиво молчал: «грубо работаешь». Тогда Агатов сказал:

— Это он вас старается выгородить.

— А чего меня выгораживать? — спросил Тулин.

— Ну конечно, вы считаете себя ни при чем, — со злостью сказал Агатов. — Я видел, как вы на комиссии сидели, когда на меня навалились, как будто вы никакого отношения не имеете.

Хотя бы перед Агатовым он заставил себя стать прежним.

— К вам? — Он прищурился и протянул: — Не имею.

Наверное, это было нерасчетливо и неразумно, но он больше не хотел уклоняться; он вложил в свои слова все накопленное презрение к этой бездари, столько времени мешавшей ему. И он был рад, что Агатов почувствовал это.

— Так, так. — Агатов перегнулся через стол. — На меня не удастся спихнуть. — Он говорил тихо, быстро, глаза у него побелели. — Ричард-то спросил меня, правда ли, что вы согласились его услатить.

— Ну, и что вы ему сказали? — Тулин старался говорить тем же тоном.

— Правду-матушку, все как было...

Тулин отрезал кусочек отбивной, помазал горчицей.

— ... а остальное он сам понял. Визуально. — Агатов засмеялся, но лицо его оставалось напряженным, он просто произнес: — Ха-ха-ха.

Тулин положил обратно на тарелку нацепленный на вилку кусок. Он знал, что лучше не спрашивать, и не в силах был сдержаться.

— Что ж он понял?

— Помните, как вы приехали к нам в институт? Капаете, капаете... Умеее вы подшибить человека. Счастье, что я не такой впечатлительный, как Ричард...

Тулин стиснул край столешницы.

— Чепуха!

— Южин интересуется, как да что произошло. А я так думаю, ничего другого, именно тут-то и зарыта собака. Ричард все понял. Все! В молодости знаете как болезненно воспринимают!

— Так, так, значит, это вы Ричарду наговорили?

Агатов засмеялся, и Тулин понял, что Агатов был готов к этому вопросу.

— А ваш друг Крылов, ведь и он разговаривал с Ричардом...

— Крылова вы мне не трогайте, — сказал Тулин. — Тут у вас не выйдет.

Он положил на стол трехрублевку и пошел к выходу.

У Крылова была одна цель — спасти тему. На поддержку Тулина он уже не надеялся. Тулин сидел, опустив плечи, тяжелый, с перегорелыми глазами.

— Советская наука бесстрашно исследует космос, — говорил Крылов, — забираемся в атмосферу, запускаем ракеты на Луну. И только какой-то двадцатикилометровый слой над землей сделан заповедником трусости.

Он вскарабкивался на патетические вершины, угрожал судом поколений, успехами Запада, приводил цитаты, неуклюже заигрывал, взывал к совести. Если б он умел хитрить, льстить, заниматься демагогией! С надеждой и жаром он рассказывал о том, чего уже добилась группа: близился решающий этап исследований, разумеется, есть еще много спорного. . .

— Но я ручаюсь вам, что мы на верном пути.

Лагунов усмехнулся, выразительно подмигнул Голицыну, и Крылов тоже посмотрел на Голицына. Чесучовый пиджак свободно болтался на костлявых плечах старика. Голицын высох, стал серебристо-легким, чуть прозрачным. Скоро год, как они расстались. Здесь никто понятия не имел об их отношениях.

Голицын молчал. Тогда Лагунов, а за ним Возницын принялись убеждать Крылова в необходимости закрыть тему. Возницын намекнул, чтобы он соглашался, и все обойдется, все будет хорошо.

Всех бы устроило подобное решение. Ну, выяснилось, что метод несостоятелен, в науке это дело естественное, с кем не бывает. Да, всем было бы хорошо, всем, кроме работы. Если ты от нее откажешься, ей уже не подняться. И Тулину тогда придется туго.

— Вы что же, предлагаете продолжать работы? — спросил Чиркаев. — И летать? Несмотря ни на что?

От его горестного изумления у Крылова что-то дрогнуло, но он упрямо повторял:

— Да, да, да.

— Как же вы можете? Погиб человек, и вы хотите, чтобы мы на это сквозь пальцы: ничего, ребята, не расстраивайтесь, не обращайтесь внимания. Подумаешь, одна жертва! — Чиркаев наливался краской, Крылов видел на его шее и лице шрамы, плохо прикрытые бородой. — Мы не посылали человека в космос, пока не было уверенности в благополучном возвращении.

И вдруг он увидел себя глазами Чиркаева: бесчеловечное, тупое упорство, ничем не обоснованное, идущее против фактов. А что, если... Почему это он, Крылов, один прав, а остальные неправы?..

Он подтолкнул Тулина: что ты молчишь, помогай, ведь это твоя работа.

— Не ерепенься, — ответил Тулин. — Нет смысла.

И потом, когда говорил Голицын, он шепнул Крылову: «Я знаю, что делаю, ты только портишь себе...»

Если сам Тулин молчит, с какой стати они должны верить ему, Крылову, кто он для Чиркаева или Южина? Перед ним снова возникло лицо Ричарда: «Взрослые так много понимают, что они могут ни во что не верить».

— Я вам сочувствую, — сказал Южин, — трудно признаться в ошибках, но что поделаешь, за все надо платить.

— Чем? — спросил Крылов. — Платить надо. Весь вопрос, чем платить.

Южин нахмурился.

— А если снова катастрофа? Снова жертвы? Вы разве можете поручиться и доказать нам, что это невозможно?

— Нет, то есть, конечно, риск есть... Но это обычный риск. На любых производствах бывают травмы. — Он обвел глазами членов комиссии, повсюду натываясь на взгляды осуждающие, неприязненные, и только Голицын смотрел задумчиво и грустно. Крылов шагнул к нему, разом припомнив то хорошее, что связывало его с этим человеком, а через него с Даном, и дальше — с Аникеевым, и дальше — с той ни о чем не подозревающей юностью, когда все так хорошо начиналось.

— Но как же иначе? Мы рискуем. Но мы готовы... Вы говорите — Гагарин. А разве Гагарин не рисковал?

Голицын медленно поднялся, опираясь на стол, шаркая подошвами, вышел на середину комнаты.

— Сергей Ильич, не сомневаюсь: вы готовы, так сказать, принести себя в жертву.

Он взглянул на стенографистку, она отложила карандаш.

— И вы, разумеется, видите в этом геройство! А мне надоели подобные жертвы. Слишком много их было, неоправданных и жестоких. С меня хватит. Вы упрекаете

нас, но в данном случае вы олицетворяете старое. Да, раньше вас заставили бы продолжать работы, не считаясь ни с какими жертвами. Десять человек погибло, сто, никого это не интересовало. . .

— Да, да, у вас, Крылов, культовские позиции, — оживленно подтвердил Лагунов.

Выждав, Голицын продолжал:

— Мне было бы легко, не поступаясь совестью, присоединиться к тем, кто требует наказания. Но в таких делах я не помощник. Я знаю, что у вас не было ни умысла, ни халатности, вы переживаете больше нас. Да и потом, ежели хотите знать, мы все по-разному отвечаем за гибель Ричарда. Убитый один, а убивают всегда многие. Но вот мы принесли в жертву Ричарда, и что же мы получили? Необходимость новых жертв? Как будто новый риск и новые могилы могут реабилитировать идею. Вы, Олег Николаевич, добивались проверки указателя в условиях грозы. Ну что ж, вы проверили. Ваша идея существовала как привлекательная возможность будущего, но вы сами ненужной поспешностью надолго скомпromетировали ее.

— Совершенно верно, — подхватил Лагунов.

Голицын посмотрел на него с досадой, выбросил из-за спины руку, длинную, тонкую, как шпага.

— Боюсь, что наша комиссия слишком большое значение придает формальным моментам. Я убедился, что и Крылов и. . . — он запнулся, но проговорил твердо: — да и Тулин даже в этом исследовании, несмотря на свои ошибки, показали себя способными людьми. Нельзя, чтобы их зря мытарили. — Взгляд его, устремленный на Лагунова, похолодел. — Это вам не разработка Денисова. Здесь совсем иной уровень. Нас тогда называли неверующими, рутинерами. Тогда принял на себя удар Данкевич. Слишком я стар, чтобы забывать такие вещи.

— Данкевич — замечательный ученый, — весело сказал Лагунов. — Ваши слова, Аркадий Борисович, тронули нас всех. — Лагунов сидел во главе стола, и большие его очки блестели, как две фары. — Но, может быть, вам следовало произнести их раньше. Когда Крылов работал у вас и Гольдин был вашим аспирантом. Ваши воспитанники. . .

— При чем тут герои, жертвы? — не слушая

Лагунова, выкрикнул Крылов. — Это ж просто несчастный случай, и ничего больше. Нет, вы давайте по существу, про нашу тему. — Потный, взбудораженный, он, не обращая внимания на боль в ноге, прихрамывая, бродил вдоль стола, нелепо размахивал палкой, наскაკивая на Голицына. Он вызывал на бой, уверенный, что противник не имеет ничего, кроме власти. Облупленный нос его заносчиво блестел. Администраторы! Чинуши!

Голицын с трудом сдерживался, чувствуя нарастающее ожесточение. Нравственная сторона дела, видимо, никак не трогала Крылова, он оставался единственным здесь, на кого речь Голицына не произвела впечатления. И все поведение Голицына, его рыцарское великодушие не действовали на него. Больше всего Голицына обидела ссылка на Ломоносова, который не испугался после гибели Рихмана и призывал продолжать исследования атмосферного электричества.

— Мы, конечно, не Ломоносовы, — сказал Голицын. — Тем не менее, раз вы требуете, осмелюсь по существу...

Бесстрастно, как на экзаменах, он задавал вопрос за вопросом. Нет... Неверно... Где доказательство?.. А могли указатель работать при таких режимах?.. А при таких?.. Но это ниоткуда не следует... Логика его была, как всегда, безукоризненна. Он загонял Крылова в тупик, ибо это были те самые вопросы, которые сам Крылов ставил перед Тулиным. Как мог Крылов объяснить ему сейчас верхние точки кривых, если он сам упрекал Тулина за их необоснованность?

Раскрыв рукопись, Голицын читал вслух заключительную часть своего разбора. Существуют ли... Как понять... Неясно, что имелось в виду... Достаточно ли...

Крылов спохватывался, что-то возражал, пытался как-то выкрутиться, но это была агония. А Голицын читал и читал, выдвигая варианты, на опровержение которых потребовались бы десятилетия.

Для Крылова это еще была его работа, а для Голицына и остальных — труп, и Голицын производил вскрытие, чтобы убедиться в правильности своего диагноза.

Крылов подошел к Олегу — сейчас они остались вдвоем против всех, — потряс его за плечо. Тулин не пошевелинулся. Плечо было ватно податливым. Кры-

лов стоял за спинкой его стула, сзади Тулин был совсем прежний — заросший затылок, золотистые волосы, стоячий воротничок белой рубашки. А вот с лица он здорово изменился. Изменился или состарился. Может быть, это одно и то же. Меняются всегда в сторону старости.

— Нам надо время, чтобы разобраться, — сказал Крылов. — Мы подготовим ответ. Я уверен, что мы...

— Кто «мы»? — спросил Лагунов.

— Тулин, я, наша группа.

— Почему вы беретесь отвечать за всех? — сказал Лагунов. — Есть руководитель группы. Прошу вас, Олег Николаевич.

Тулин притиснул в пепельнице сигарету.

— Возражения Аркадия Борисовича серьезные. Кое-что можно оспорить, но сути это не изменит. Надо иметь мужество соглашаться. — Он говорил небрежно, легким, чистым голосом, как о чём-то побочном, давно ясном.

— Что ты городишь! — не выдержал Крылов. — В чем соглашаться? Наоборот, тут надо искать. Это же не только ошибки! — Он бросился к Голицыну. — Это противоречия. Мы должны найти объяснения. В них лежит сущность процесса. Я уверен...

— Сережа! — Тулин был терпелив — так отец извиняется за неразумного ребенка. — У нас нет никакого права настаивать. Ни научного, ни морального. Кто скрывает свои ошибки, тот хочет совершать новые. А я не хочу.

— Это честно и разумно, — сказал Лагунов почти радостно. Он добивался своего со счастливой убежденностью — то, что он делает, куда более важное и нужное, чем все то, чем занимались до сих пор Крылов, и Тулин, и все остальные.

Крылов воспаленно смотрел на его рот, блистающий металлическими зубами. Сам виноват, думал он. Не сумел настоять на своем, удержать Олега от погони за результатом, результатом во что бы то ни стало. Надо было добиваться того, что ты считал нужным. Во всем виноват ты сам. Любую беду можно одолеть, но когда сам виноват, то уж некуда податься.

Теперь он остался в полном одиночестве. Как Ричард там, в самолете. Будь Ричард жив, они стояли б сейчас

вдвоем. Но там, где должен был стоять Ричард, было пусто и дуло холодом.

— Боюсь, вы преувеличиваете свою роль, — любезно сказал Лагунов. — Нам трудно не считаться с мнением Олега Николаевича.

В такие минуты Лагунов становился лириком, он ощущал благожелательность, он был так доволен, что мог утешать, и сочувствовать, и говорить самые красивые слова.

Наверное, поведение Тулина было мудрым, потому что сопротивляться в таких условиях было бессмысленно. Крылов это понимал. У него не было ни доводов, ни фактов, ему нечем было опровергнуть Голицына, и, продолжая настаивать на своем, он выглядел упрямым, он лишь усиливал общее осуждение. Он заметил это по тому, как на него старались не смотреть. У Возницына, Лагунова глаза куда-то исчезли, остались безглазые лица. Сколько раз Тулин учил его маневрировать, быть гибким, выигрывать на кривой! Так он ничему и не научился. Он мог уступать, но он не умел отступать. Дурацкий механизм без заднего хода.

Сердце Голицына ныло. Он слишком хорошо знал, куда заводит подобная одержимость. Любая идея, самая ложная, находит своих фанатиков. Перед ним возник печально знакомый вариант судьбы Крылова: хождение по приемным, письма, заявления с нелепой надеждой переубедить, доказать, засасывающая тяжесть и постепенная озлобленность неудачника. Сколько встречал он таких горемычных изобретателей, создателей ложных теорий! Годы и годы убивали они, пытались опровергнуть, обосновать, становясь рабами своих заблуждений, всюду начиная видеть невежество, интриги, заводя папки своей переписки, строка под копирку...

Если б знать, как предостеречь, остановить этого упрямца!

Занятый своими мыслями, он не заметил, почему Крылов вдруг заговорил иначе, новым, свежим голосом. Лицо у него просветлело, он стал спокоен, почти весел, смущая своей уверенностью.

И все остальные тоже не поняли, что же произошло с Крыловым. Только что он, осмеянный, ожесточенный,

забившись в угол, обреченно листал записи Голицына, и было ясно, что выхода нет и он должен сдаться, и Южин не без облегчения подумывал о том, что надолго избавится от новой ответственности за этих одержимых, и вдруг все переменялось. Как будто Крылов откуда-то узнал нечто такое, отчего все, что бы здесь ни решалось, не будет иметь никакого значения.

— Вы можете закрыть тему. На это сейчас никакой смелости не нужно. Я только хотел предупредить вас — придет время, когда вам будет стыдно за ваше решение. — Он мельком взглянул на Тулина, словно хотел в чем-то удостовериться, и заговорил еще спокойнее: — Мы наделали много глупостей, но принцип правилен. Аркадий Борисович, вы нашли ошибки и полагаете, что этим зачеркнули нашу работу. А я считаю, что вы поставили вопросы, на которые нужно ответить. Все равно кому-то придется на них ответить.

Он был снисходителен и добр. Казалось, он говорил им из будущего, где уже было точно известно, что из всего этого прорастет. Он не чувствовал себя одиноким. Наоборот, он был необходимостью, а все остальное случайностью. Он чувствовал себя свободным, свободным от Тулина, от боязни сказать что-то не то, помешать, напортить ему.

Он видел за окном небо, слепящее знойной белизной, на бульваре сгорали молодые тополя, сухая земля гудела под ногами прохожих, как бубен. А под Старой Руссой, писала сестра, поля затопило, гнила картошка и шли дожди, дожди.

Он остался один, но зато он мог делать то, что хотел.

Голицын попросил дать Крылову несколько дней. Может быть, внимательно изучив материал на основе работы комиссии, Крылов не будет настаивать.

— Мы обязаны предоставить ему эту возможность, — с рыцарским великодушием заключил он.

Его поддержал Чиркаев. Опросив всех членов комиссии, Лагунов сказал, что он готов сделать все, если выяснятся какие-то обстоятельства в пользу этой работы, но сейчас он, как председатель комиссии, вынужден, считаясь с большинством, настаивать на прекращении работ и закрытии темы.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1

Тело его лежало на кровати. Боль в ноге была длинной и тяжелой, как рельс.

И боль и тело существовали отдельно. Он уходил от них все дальше. Он уходил от Тулина, от неразберихи собственных переживаний, от всей путаницы, какая была на комиссии.

Почему не сработал указатель? Он восстанавливал по памяти монтажную схему. Проводники, колодки, участок за участком, пока не стал ощущать ее, как ощущают собственные мышцы. Что, как, где было расположено в момент аварии? Он сам был указателем. Он входил в сырую свежесть облаков. Трещали молнии. Заряды наводились на пластины, пробивались сквозь фильтры. Лампы подхватывали сигналы. Гудели дроссели. Сотни сопротивлений, конденсаторов, катушек очищали, выпрямляли, усиливали сигналы, и все это в конце концов завершалось движением стрелки. Весь этот сложный организм существовал и работал ради этой простой тоненькой стрелки. Так и человеческий организм — живет, чтобы рождал мысль, поступок. Редко удается жить вот так нацеленно. Без отвлекающей суеты, ненужных разговоров и переживаний. Чтобы не думать про Наташу. Хорошо, что сознание не умеет раздваиваться. Когда думаешь только про вопросы Голицына, все остальное перестает существовать. Ведь для амперметра существует только сила тока, ни на что другое он не реагирует.

Судя по всему, указатель должен был сработать.

Возражения Голицына были серьезны и аргументированны, разложены по полочкам: верно, неверно. Для старика это была всего лишь сумма сведений, кости скелета...

Скрипнула дверь.

— Спишь?

Крылов закрыл глаза. Вспыхнул свет. Тулин постоял, постоял и снова повернул выключатель. Было слышно, как он прошел, задевая за стулья, с треском распахнул окно.

— Спектакль прошел с успехом. Теперь они такие

добренькие, такие добренькие... Голицын предлагает к себе в институт. И тебя возьмет, если попросишь. Даже с шиком. Блудный сын вернулся. Лагунов — и тот великодушен. Нет, все же они гуманисты. Какая доброта! Какой жест!

— Послушай, Олег, а как у нас был заземлен датчик?

Тулин засмеялся:

— Пример преданности своему делу. Он героически продолжал выполнять свой долг. Вот он перед нами, простой советский человек!

Крылов прищелкнул пальцами.

— Вдруг двойное замыкание? А? Тогда... минуточку... Нет, не выходит, — разочарованно признался он и открыл глаза.

Тулин сидел на диване, притиснув кулаки к глазам.

— Обрыв в цепи питания — вот что могло быть! — сказал Крылов.

— Теперь ничего нам не поможет.

— Но все сходится. Я могу доказать!

— Зачем?

От этого пустого голоса Крылов растерялся.

— Тогда они должны будут пересмотреть...

— Зачем? — снова тем же голосом спросил Тулин. —

Ничего не может измениться. Мертвые не оживают. Мы с тобой прикованы к этому мертвецу навечно. И что бы ты ни доказал, тебе всегда покажут на могилу Ричарда. — Он выругался тоскливо, без злости. Одна горькая мысль не давала ему покоя. — Представляешь себе, если бы указатель сработал? Мы бы с тобой сейчас сидели в Москве в номере люкс и готовили бы доклад. Все было бы наоборот. Завтра конференц-зал, стенографистки, корреспонденты. Агатов, Лагунов заискивают, поздравляют. Южин ходит гоголем: недаром, Олег Николаевич, я в вас поверил. Банкет. Премии. Загранкомандировки... Какая ж это лотерея! И для всей этой сволочи я авторитет, прав — от начала до конца. Почему ж мне так не повезло? За что? Нелепый случай — и такое, такое дело накрылось. Начисто. Три года как проклятый я вкалывал...

— Мало ли что. Надо как-то перенести...

— О, у нас всегда достаточно сил, чтобы перенести несчастье ближнего! — Тулин откинулся к спинке, вытащил конфету. — Хочешь? «Белочка»! Раньше, когда я

плакал, мать подсовывала конфетку. Теперь самому себе приходится подсовывать.

— Ты согласился пойти к Голицыну?

Тулин бросил ему конфету. Крылов не хотел никаких конфет, но почему-то не мог отказаться. Теплая, смятая конфета была тошно-сладкой.

— Будешь делать у него то, над чем смеялся, — сказал Крылов. — Нехорошо!

— А что такое хорошо? И что такое плохо?

— Все равно ты не имеешь права!

— Перестань орать. До чего же вы все любите орать!

Он скинул туфли и начал стягивать рубашку.

— Ты только о себе думаешь, — тихо сказал Крылов.

Из-под рубашки послышался ленивый смешок.

— А может, только о тебе.

— Как? — оторопел Крылов.

Рубашка полетела на стул. Тулин снял брюки, потянулся до хруста.

— Думаешь, шуточки с тобой шутили? За такую аварию тебе могли подвесить статью будь здоров. Один ты пошел бы под суд. Но у меня своя корысть — как подумал, что придется к тебе в тюрьму передачи таскать, так говорю: нет, господа, Крылов мне друг, а истины не видно, закрывайте нашу лавочку. . . — Он кривлялся, выламывался, при слабом свете луны голое тело его зелено-вато поблескивало. — Все ради тебя делалось.

Крылов привстал.

— Нечего мной прикрываться. Пожалуйста, оставайся, работай, а я пойду под суд. Впяют за халатность, но тема наша ни при чем.

Что-то произошло. Они не видели глаз друг друга, но каждый смотрел туда, где были глаза другого, и вдруг Тулин впервые почувствовал нелепость своего тона и, еще не понимая, не веря своему смущению, зябко передернувшись, сказал прежним наигранным тоном:

— Ах ты Христосик!

— Я понимаю, тебе трудно сейчас. Ты отдохни. Это настроение, — сказал Крылов.

Тулин лег в кровать, укрылся одеялом.

— А знаешь, все логично, — задумчиво сказал он. — Пока у меня шло хорошо, ты дружил со мной и уважал, как уважают всякого удачника. Прибавь к этому, что ты нуждался во мне и я всегда помогал тебе как мог. А те-

перь. . . Когда падаешь с седла, становишься последней тварью. Упавшего топчут, и больше всего те, кто поклонялся.

— Нога болит, — сказал Крылов. — А то бы я тебе дал по морде.

Тулин медленно закинул руки за голову.

— Меня уже били. По щекам. Можешь добавить. Лежачего бить удобнее.

— Шут с тобой, — сказал Крылов с трудом. — Тебе сейчас тяжелее. . . — Он вдруг смутился: а что, если это так? — Ладно, не принимай во внимание. Все это чушь собачья. Пусть делают что угодно. Мне куда хуже видеть тебя вот таким.

Тулин усмехнулся.

— Да ты что ж, полагаешь, что я бы не смог вывернуться, если бы захотел?

— Ну так что ж ты?

— Не хочу.

— Что с тобой, Олег?

Тулин долго не отвечал, потом спросил с интересом:

— Слушай, а зачем тебе все это надо?

— То есть как так?

— А вот так, — повторил Тулин. — Зачем? Зачем ты стараешься?

— Так это ж все несправедливо. . . И потом — дело. Мне интересно знать. . .

— Ах, несправедливо, — подхватил Тулин. — Скажи на милость, какой праведник. А я не хочу. . . Хватит. Мы мучаемся, у нас какие-то нравственные проблемы, а прибыль получает со всего этого кто? Агатовы? Посмотри, как он выиграл на нашей аварии. И Лагунов. У нас высокие цели, творческие мучения, мы жаждем помочь человечеству, а они делают себе карьеру, приезжают сюда выносить нам приговор. Добьемся мы своего или нет, в выигрыше будет Лагунов. Не беспокойся, они проживут в свое удовольствие, ни капельки не терзаясь ни своим эгоизмом, ни беспринципностью или как там еще.

— Ну какое мне дело до них? — Крылов тоскливо вздохнул. — Я ж тебе совсем не про то. Чихать я хотел на них.

— Знаешь ты, юный натуралист, ты мне надоел. Я спать хочу.

Пружины матраца зазвенели. Стало слышно, как за окном трещат цикады.

— Увидим, как ты объяснишь это ребятам, — сказал Крылов.

— Дожили! Ты мне угрожаешь! А я на комиссию сошлюсь. Что с меня взять. Голубушка комиссия все запретила. Да что там, наши всё понимают, смирились.

— А я не смирился.

— Ты? — Тулин присвистнул, но тут же привстал, и Крылов увидел белое пятно его лица. — Кто ты такой? Ах да, ты пророк! Ты ж предсказывал, ты меня уличал, сам Голицын подтвердил твои прорицания. Теперь ты тоже вправе поучать меня. Значит, ты готов без меня продолжать работы? И даже занять мое место? Полагаешь, у тебя есть на это право? Так вот что. Я тебя щадил до сих пор, но я тебе могу открыть глаза. Ты неудачник. На кой черт я связался с тобой? Это же заразительно. . . Не будь тебя, полет прошел бы отлично. Все это знают. Агатова прислали тоже из-за тебя. Помнишь, тогда, в Москве, я говорил тебе. Я так и знал. Не тебе стыдить меня. Он не смирился! Храбрец! . . Тебе нечего терять, вот и вся твоя храбрость. — Тулин неожиданно перешел на шепот: — А кто помешал Ричарда отослать? Ты, ты! Я согласен был отправить его, а ты оставил. Это ты виноват во всем, не я, а ты. Если б ты не вмешался, он был бы жив.

Заглянула луна. Выбеленные стены стали зелено-белыми, и по полу колыхались зыбкие тени. На шкафу лежал чемодан. Никель замков его блестел. На подоконнике лучился волосатый кактус. Льняная скатерть на столе тоже блестела. Все было очень красиво, как в театре.

Крылов вышел в коридор. В коридоре пахло уборной. Он вышел на крыльцо. Каменные ступени были холодные, и Крылов заметил, что он в одних носках. Он вернулся назад в номер и лег.

Было ли заземление датчика припаяно? Теперь это не играет роли. Может, припаяно, может, его вовсе не было.

Конфета была приторной, и собственный голос казался ему таким же сладким.

— Будет тебе, подумаем насчет возражений Голицына. Я боюсь, что без тебя не осилю, фосфору не хватит. — Он перевел дух, до чего ему было мерзостно от

этого заигрывания. — Ну, надо же ему ответить. Что ты на меня злишься? Мне хочется как лучше.

Он умасливал его, отбросив всякое самолюбие. Он избегал думать о себе, о словах Тулина, он больше не жалел Тулина, перед ним был человек, которого следовало использовать, взять от него то, что нужно.

Показалось, что он добился своего, они начали обсуждать возможные причины, почему записи не показывали мест, где возникают молнии.

— Нет, не могу, — вдруг сказал Тулин. — Ничего я не могу. Я все представляю себе, как разнесется по Москве. . .

— погоди, не мешай, — попросил Крылов, но Тулин не слушал.

— Нет, нет, мне нужно заняться чем-то другим, совсем другим. Если б я мог вообще плюнуть на все. Объясни мне, зачем разрушать грозу? Зачем надо что-то создавать? Зачем указатель?

Вдруг Крылов улыбнулся.

— Ты что? — спросил Тулин, почувствовав в молчании Крылова эту невидимую уличающую улыбку. — А впрочем. . . И объяснения твои не нужны. Никто ничего не может объяснить. Все бессмысленно. Давай закурим.

— Давай.

Они встали у окна. Тулин зажег спичку, поднес Крылову, пристально рассматривая при свете огня его глаза. Никогда он не видел у Крылова таких глаз, непроницаемо твердых, совсем чужих. Маленькое пламя плясало в черноте зрачков.

— Да, все бессмысленно, — вызывающе повторил Тулин, — и жить надо без всякого смысла. К Голицыну так к Голицыну. Какая разница! Буду жить, как все, ничего выдумывать не желаю. Ну еще один индикатор, ну выясню, что центры возникают случайно. Что от этого изменится?

— Для кого?

— Например, для матери Ричарда. Ничем рисковать и жертвовать больше не хочу. Голицын был прав. Второй раз я жить не буду. Сейчас надо найти что-то быстрое, эффективное. Наверстать. И ты тоже не обольщайся. Уймутся волнения страсти, тогда видно будет.

— Нет, я не могу так оставить, — сказал Крылов. — Я все же попытаюсь разобраться.

— Сам?

— Да.

— Думаешь, что справишься? — с коротким смешком спросил Тулин.

— Не знаю. Но мне хочется попробовать.

— Давай, давай, мне это даже выгодно.

— А как же твоя мечта разрушать грозу, управлять грозой, самолеты в грозу, энергия грозы. . .

— Ты праведник, вот и благодетельствуй. Только с твоим моральным кодексом ничего не добьешься. Скажи мне, какой смысл быть хорошим, если хорошие люди пропадают? Им всегда хуже. Вот ты следуешь своим высоким правилам, а что в результате? Чего ты добился? Только облегчаешь торжество подонкам.

— Зато я не иду на компромисс.

— Вся-то наша жизнь — компромисс, — сказал Тулин. — Мы никогда не можем быть до конца честными и делать что хотим.

— Я не знаю, какой смысл быть хорошим. А какой смысл быть человеком? Раз уж ты живешь, то живи человеком, а не гусеницей. Не знаю, может быть, для себя надо быть хорошим, может, для других. Я не отказываюсь бороться, только я буду бороться честно, а если я сам буду подлость применять, тогда мне уже не с подлецами бороться, а за свое местечко среди них.

. . . Невозможно припомнить все, что делал для Крылова, начиная со студенческих лет, и потом, когда он помог Крылову попасть на завод и в лабораторию, и улаживал его размолвки с Леной, заставлял писать диссертацию, вырубал деньгами. . . Развлекал, поддерживал в трудные минуты. Вытащил его сюда, когда он поругался с Голицыным. В их дружбе один все давал, а другой только брал. А теперь, когда первый раз меня потрянуло, он уличает, обвиняет. Я защищал его на комиссии, а он. . . До чего ж это страшная штука — неблагодарность, хуже всего переносится! Неужто и после этого я не научусь плевать на всех и думать только о себе?

Здорово быстро все рухнуло. Тррах — и не осталось никого и ничего. Только что был ведущим физиком, руководителем большой темы, были друзья, поклонники, Женя, была известность, авторитет. И вот все исчезло.

Ни работы, ни друзей, ни будущего. Теперь перед всеми только его ошибки. Поражение оголило ошибки, а была бы победа — и все сомнения и требования Крылова растворились бы в ее сиянии.

Поражение поглощает разом все. Никто не пытается рассмотреть в неудаче когда-то гениально составленную схему датчика, хитроумно добытые приборы, ночи, проведенные за вычислениями, желтые, облезлые от кислоты пальцы.

Он осторожно провел ладонью по щеке, и сразу кожа вспыхнула, словно еще чувствуя ожог от удара. Забавно: впервые за много лет увлекся, и, кажется, по-настоящему, а она с такой легкостью отшатнулась от него. Однако за что его сейчас любить? Сергей был последним убежищем, последней крепостью, последним, что оставалось от прошлого.

Всему виной талант. Талантливым людям всегда плохо. Будь ты побездарней, никто бы тебе не завидовал, никто бы от тебя ничего не требовал, Женя жалела бы, Сергей не был бы разочарован. Видите ли, ты не оправдал их надежд. Но не торопитесь, все еще может переместиться.

...И это тот человек, за которым ты шел без оглядки. Порвал из-за него с Голицыным, лабораторию бросил, работы оставил незаконченными. Прощал его слабости, защищал его перед всеми. Ради него ты мог пожертвовать многим и не пожалел бы. Гордился им — Тулин, твой друг Олег Тулин.

Будь он пустышкой, можно было бы понять его, но ведь он талантлив, зачем же ему так нужен успех, признание, слава, вся эта труха, к которой рвутся Агатовы и за которую держатся Лагуновы? Зачем такому человеку становиться подонком? Ну-ну, какой же он подонок, он просто устал, обижен, ему надо отдохнуть... Опять ты ищешь ему оправданий. Он сам умеет подыскивать себе оправдания, и у него сколько угодно красивых оправданий.

Это всегда странно, и Лагунов был когда-то способным электриком, у него несколько крепких работ. А потом его сделали начальником отдела, председателем какого-то комитета, научился выступать, кого-то громить, и пошло и пошло. Появились работы аспирантов с его

подписью, а потом появлялись только брошюрки, интервью: «Мои впечатления о конгрессе в Англии», «Ответ мистеру Вайнбергу». Начались хлопоты о выборах в членкорры. . .

Но то Лагунов, а тут Олег, твой Олег. Старая петроградская квартира на Фонтанке, ночные споры, поход на паруснике по Вуоксе, как он плакал после похорон Дана, а как он рвался в Новосибирск. Что же произошло? И когда, когда они разошлись?

Вдруг он почувствовал, что это прощание. Они ссорились и раньше, они много раз ссорились, но то было совсем иначе. Можно и сейчас рассмеяться и хлопнуть друга друга по плечу: «Замнем для ясности», выпить, в шкафу еще стоит бутылка рислинга. А дальше? В том-то и дело, что дальше возникнет то же, они опять вернуться к этой развилке. И тут они распрощаются.

Ты сам виноват, что так получилось. В дружбе нельзя подчиняться, ты хотел сохранить дружбу, уступая, и сам шел на компромисс, чего ж ты его упрекаешь в компромиссах? Ты теряешь единственного друга, лучшее, что у тебя оставалось от молодости, и это непоправимо, теперь уже ничего нельзя изменить, вы расходитесь, и никак нельзя по-другому. «Но ведь это Олег, — сказал он себе. — Ужас, сколько нас связывает. Он-то это переживет, а вот тебе будет без него совсем худо. . .»

— Серега! — словно из глубины прошлого, донесся этот озорной голос, как будто ничего и не случилось. — Серега, у меня из головы вон, я же видел твою Наташу. — Где? . .

И, выслушав, ответил со спокойствием, радуящим его самого:

— Я знаю. Она мне звонила.

Глава 2

На поворотах свет фар перебрасывало через черную глубь ущелий к зеленым уступам другого берега. Дорога исчезала во тьме и вновь возникала коротким завитком меж светлых откосов песчаника. Крылов стоял в кузове, высматривая набегающие километровые столбы, глаза слезились от ветра. Он ни о чем не думал, ничего не представлял, не строил никаких планов, он весь был по-

гружен в знобкое нетерпение. Легче было перенести годовую разлуку, чем ждать конца этого часового пути. Грузовик мотало из стороны в сторону. Грохотали мосты. Машина редела, беря подъем. Стоячая лесная теплынь сменялась пронизывающим ветром перевалов. А потом бесшумный спуск, редкие огни долины, за ними слабее мерцание моря, белые корпуса санаториев, дрожащий туман света над городом, и вот уже фонари, лай собак, грохот пустынных мостовых, подъезд гостиницы, долгий стук в дверь, заспанное лицо швейцара, приплюснутое к стеклу. Крылов звонил и стучал, звонил и стучал, пока швейцар не открыл дверь.

— Ну чего безобразничаете? — сказал швейцар. — Нету мест. Ни одной койки.

Нижняя рубашка, свисали подтяжки — маленький, домашний старичок, только голос строгий.

— Мне Романову.

— Нету никаких Романовых.

— Она моя жена.

— Какая может быть жена в три часа? — рассудительно сказал швейцар.

— Я вас умоляю.

Швейцар зевнул.

— А вот за нарушение десять суток.

Крылов вынул из кармана пригласительный билет на Французскую выставку.

— I think you will like me better then¹.

— Так бы и говорили. Битте. У нас интуристовская. Сейчас администратора разбудим. Битте.

Заспанный администратор, ничего не поняв, передал его дежурной, которая повела его по длинному полутемному коридору, опять было долгое постукивание, шепот, шорох, и все это время Крылов читал на стене правила внутреннего распорядка.

При виде Наташи он даже не смог улыбнуться. Губы его одеревенели, и мускулы лица тоже не слушались.

Наташа испуганно стиснула ворот халатика. Сощуренные от света глаза раскрылись, обдав его блеском, и тотчас погасли.

— Что случилось? Что у тебя с ногой? — спросила она и оглянулась на дежурную.

¹ Я думаю, что тогда буду тебе больше нравиться.

Он зачем-то кивнул.

— Значит, они вам знакомые, — сказала дежурная. — По-русски они понимают, а разговора у них нет.

— Подожди, я сейчас оденусь, — сказала Наташа.

За низкими оградами, сложенными из плитняка, в садах падали яблоки. Глухой стук раздавался повсюду, как будто невидимые в ночи барабанщики били тревогу. Кривая нагорная улочка вывела к площади.

Крылов рассказывал, как ехал сюда и объяснялся со швейцаром, потом про аварию, про размолвку с Тулиным и снова про ночную поездку, про гостиницу в Ростове, гибель Ричарда. Он никак не мог остановиться. Но лучше бы он говорил, потому что, когда он замолчал, стало совсем плохо.

Эта крепкая, деловитая женщина совсем не походила на ту Наташу, которая жила в его памяти, и говорила она совсем не те слова. Тот же петух на крыше, тот же дом, но там живут другие люди. Незнакомая клетчатая куртка, матерчатые босоножки, незнакомое платье, и губы тоже незнакомые, большие, темные, только волосы прежние — гладкие, тяжелые. Он с тоской подумал, что мог бы и не узнать ее в толпе.

До сих пор он считал, что главное — встретиться, остальное образуется. Он был уверен, что найдет ее, но ведь она-то об этом не знала и жила так, как будто между ними все кончено.

Он приготовился защищаться, а она и не собиралась его ни в чем упрекать — ну что ж, так получилось, оба они были чужаками, бывает. . .

На площади стоял маленький памятник каким-то морякам — ростр корабля на бронзовой волне. Они сидели на скамейке лицом к морю. Море было внизу. Зеленая мгла светлела, обозначился черный горб мыса, и за ним шевелились неясные вспыхи, как будто далеко, где-то за горизонтом работал сварщик.

Все было очень просто. Прошел год, старое заросло, и в нынешней ее жизни Крылова не существовало, он стал тем же, что Озерная, Алексей, — грустное, а может, досадное воспоминание.

— Я все делала, чтобы забыть тебя, и забыла, — сказала она.

Не все ли равно, что у нее сейчас, влюблена в кого-то или что-то другое — бессмысленно было об этом расспрашивать. Зачем же она позвонила?

— Что-то шевельнулось. Наверное, я еще тебя как-то люблю, — дружелюбно сказала Наташа. — Вулканическая деятельность.

Она подшучивала без всякой горечи, для нее все было обыденно и просто, как будто они говорили о приятелях. И он не понимал, почему он слушает ее так же спокойно, не кричит, не плачет, и мир не рушится, и кругом тихо, только падают яблоки.

Совершенно спокойно она рассказала, как ушла от мужа. После отъезда Крылова она поняла, что не любит Алексея, но притворялась, пытаясь сохранить семью. А потом не выдержала и призналась Алексею. И он тоже стал притворяться, чтобы сохранить семью. Ради сына. При посторонних и при Коле они улыбались и разговаривали. Однажды, когда она укладывала Колю, он спросил ее: «Почему ты не любишь папу?» — «С чего ты взял?» — сказала она. — Мы очень любим друг друга». Коля отвернулся и сделал вид, что спит. И она вдруг поняла, что ребенок все понимает и не верит. Пройдет год-другой, и он тоже научится притворяться ради семьи. Все они будут сохранять семью, которой нет. Тогда она решила уйти, потому что то, что они делали ради ребенка, было против ребенка. Потому что жизнь во лжи и обмане уродовала хуже всякой безотцовщины.

Может быть, она рассказывала еще скупее, но он представлял себе эти дни и ночи в большой тихой квартире, заполненные молчанием, а по вечерам, когда приходили гости, громкие разговоры, чай, и как будто все в порядке, счастливая семья. Он вдруг вспомнил, что однажды перед отъездом тоже что-то внушал ей про семью, врал себе и ей. А сейчас все оказалось ложью. Одна ложь тянет другую, и целые жизни проходят во лжи.

— И ты уехала на черной «Волге».

— На какой «Волге»?

Она отодвинулась, посмотрела на него сперва удивленно, словно прислушиваясь, глаза ее расширились — два серых клубящихся облака.

— Господи, как ты сейчас похожа на тот портрет!

— Значит, ты приезжал?

Она помолчала, усмехнулась и опять долго молчала.

— А в буфете ты был? — спросила она.

— Был. Кормил Пашку огурцами. . .

Она вздохнула. Бережно и растроганно они разглядывали свое прошлое.

— Что же будет? — спросил он.

Наташа вынула зеркальце, отвернулась и долго пудрилась.

— Что ж теперь? . . — повторил он.

Она пожала плечами.

Полосатый маяк на краю мыса последний раз мигнул красным огнем и погас. Ветер улегся. Дома стояли тихие, с открытыми окнами.

Крылов согнулся, подпер голову руками.

— Ничего страшного, — сказала Наташа, — ты же прожил год без меня. — Она утешающе погладила его по руке. Лучше бы она этого не делала. От этого прикосновения то натянутое за последние дни до предела натянулось еще сильнее. Все, что он заглашал и прятал от себя — Ричард, Олег, комиссия, Голицын, — все навалилось, придавило. Перед ним разом вспыхнул этот год без нее, улицы городов, куда они попадали и где он упорно искал ее в толпе прохожих, он привык искать ее, почему-то он был уверен, что они встретятся на улице, что он увидит ее издали, подбежит и не надо будет ничего объяснять, она все поймет. А может, он просто привык иметь эту приятную красивую мечту? И сам он после звонка Наташи почувствовал, что все не так, как он представлял. Они стали совсем чужие. Ничего нельзя было исправить, и он не мог ее ни в чем винить. Было только больно и стыдно, что легко принял это. Хорошо, если бы она сейчас ушла.

— Не стоит, Сереженька, не надо, — услышал он ее голос. — Это пройдет. Может, так лучше? Чинить такие вещи нельзя. — Она успокаивала его как ребенка, который не знает еще настоящей боли и настоящей беды.

Вниз по кривой улочке они спустились к гостинице. Палка его скрипела в песке. Они шли и смотрели на кусок моря между домами. Там что-то гасло и загоралось, словно кто-то недовольно стирал одни краски и наносил

другие, подбирая цвета. И вдруг все остановилось, и рядом с мысом, между полоской облачка и горизонтом, протиснулся пунцовый глазок, осмотрелся и, осмелев, стал вылезать, разгребая остатки сумерек широкими алыми лопастями.

— Ладно, — сказал Крылов, — я думал, что ты все поймешь. Где-то ведь должен быть человек, который все поймет.

— Жаль, что это случилось сейчас, когда тебе и без того трудно, — сказала Наташа. Было совсем светло, и он увидел ее лицо, сонное, усталое.

Они подошли к гостинице. Он крепко взял ее за руку.

— Послушай, может, это все глупости? — сказал он. — Я никуда тебя не отпущу. Поехали со мной.

Она медленно покачала головой и улыбнулась так, что ему захотелось ударить ее.

— Надо было это сделать раньше, — сказала она. — Много раньше.

Крылов разжал руку.

— Всю жизнь я совершал ошибки. Олег сказал, что из-за меня погиб Ричард. Они считают, что вообще все из-за меня. И с Даном я тоже виноват. И то, что было между нами, тоже я загубил. И Олег тоже уходит. Почему я всегда делаю ошибки? Чувствую одно, а делаю другое.

«Что это я несу? — подумал он. — До чего ж мне плохо».

Надо быть мужчиной, не мог же он ударить ее или заплакать. Он должен быть мужчиной, единственное, что остается ему, — это быть мужчиной.

— Странно, — сказала Наташа, — теперь мне помнится только хорошее.

Она зевнула, прикрыв рот ладошкой, и после этого они еще некоторое время стояли у подъезда и уже по-другому говорили о всяких разностях, о ее работе, и, между прочим, он сказал, что убедит Голицына, докажет, и рано или поздно полеты возобновят. А Наташа спросила, опасно ли это, он подумал и сказал, что, конечно, какая-то доля риска остается.

На улице было светло и пусто. В такую рань улицы становятся широкими. Пока не появятся люди и машины. Он шел к автобусу. Ему нужно было торопиться. Ему нужно работать. Комиссия скоро уедет. Работать,

находить решение, отвечать на вопросы Голицына, а потом опять работать. Его дело — работать, вкалывать, считать, мерить. Ничего другого у него не получается.

Глава 3

Всеобщее сочувствие к Тулину усилилось, когда стало известно, что Крылов осуждает Тулина, пошел против него. И это Крылов, главный виновник! На его круглой, обожженной солнцем физиономии не отражалось никаких угрызений совести. «А вы посмотрите на Тулина, — ахала Вера Матвеевна, — как он осунулся!» Шутка ли, потерять все и ни за что. Тулин меньше всех виноват и больше всех пострадал, он талант. Он держится благородно, мужественно, и в такую минуту Крылов оставляет его, вот цена дружбы. . .

Жене казалось, что это говорят и о ней, упрекают и ее. Она была виновата перед Ричардом больше всех, и она еще после этого посмела так обойтись с Тулиным. Она не находила себе оправдания. Она должна извиниться перед ним, она готова была на все, лишь бы он простил ее, нет, этого мало, она обязана помочь ему.

Они шли вдоль реки.

На перекате играла рыба. В зеленоватой вспененной толще воды вспыхивала серебристо-длинная тень, быстрая, как взмах ножа.

— Форель? — спросила Женья.

— Наверное.

— Ее на спиннинг берут? Ты ловил когда-нибудь на спиннинг?

— Нет, я не ловил даже удочкой, — сказал Тулин. — У меня никогда не было времени ловить рыбу, ходить на охоту, играть в городки.

Она обескураженно слушала, как он грустно издевался над собой, беззащитный, усталый, потерянный.

— Тебе надо отдохнуть.

— Полезно также собирать марки, спичечные коробки и значки. А может, лучше вышивать, а? Начинать надо по канве болгарским крестом.

Женья почувствовала себя беспомощной дурочкой.

— Чего ты стараешься? — сказал Тулин.

— Смотри, терновник, — сказала Женя, — вкусные ягоды. Попробуй. А терновый венец — это из него делали?

— Чего ты стараешься?

— Не могу я тебя видеть вот таким.

Наклонив голову, он оглядел ее.

— Зато тебе все идет на пользу.

Она густо покраснела.

— Ты не можешь меня обидеть. Я сама...

— Ну конечно, на таких, как я, сердиться не стоит.

— Сядем, — сказала Женя. — Я отвыкла ходить на каблуках.

Они присели на мягкий трухлявый ствол когда-то упавшего вяза. Женя скинула туфли.

Тулин смотрел, как ее маленькие босые ступни бояливо опустились в траву. Крепкие, загорелые икры были по-ребячьи исцарапаны.

— Между прочим... — Он усмехнулся такому началу. — Так вот, дорогая моя, учти, что на комиссии я заявил, что никаких чувств я к тебе не испытываю, и ты тоже, и ничего у нас не было.

Он не спускал с нее глаз, и она попробовала улыбнуться.

— Ну и что ж из этого?

— Придется нам последовать моей версии. Благоразумие — в том оно и заключается, чтобы вовремя отечься.

— Плевать мне на них! — сказала она. — Я сама себе хозяйка.

— А общественное мнение? А основы и принципы? Что о тебе скажут?

— Э! Что за человек, о котором не говорят.

Тулин нагнулся, сорвал ту травинку, которая касалась ее ноги, и надкусил.

— Хватит прикидываться, — сказал он. — Я вполне заработал, чтобы ты меня назвала подлецом. И вообще сейчас уже тебе нет смысла связываться со мной.

— Как тебе не стыдно! — Голос ее срывался. — Не надо. Не накручивай на себя.

Травинка была горькая, горечь заполняла рот. Он сморщился и сплюнул. Обнял Женю. Губы ее открылись, и яркая белизна зубов осветила лицо.

Он внимательно и долго разглядывал ее.

— А ты славная, — он осторожно поцеловал ее в щеку. — Ну ладно! — Он поцеловал ее в губы. — Прости меня, пожалуйста.

Коричневая глубина ее глаз светлела и светлела, но смотрела она куда-то далеко, в сторону, с жалостью, неприятно знакомой. И вдруг он вспомнил, что точно такое выражение у нее было на пляже, когда они говорили о Ричарде.

Он отпустил ее.

— Ты о чем сейчас думаешь?

Она посмотрела на него задумчиво, словно возвращаясь.

— Не надо.

— Нет, надо, — ожесточенно сказал он. — Ты думала о нем. Мы оба думаем о нем. Ты смотришь на меня и сразу вспоминаешь его. — Он встал, руки его сжались в кулаки.

Она потянула его за рукав, с силой посадила.

— Послушай, выкинь это из головы. Раз навсегда. Я виновата больше, чем ты. Больше всех. А ты тут ни при чем. И не вмешивайся. Не лезь.

Он с подозрением посмотрел на нее.

— А ты веришь, что я ни при чем?

— Абсолютно, — сказала она. — У тебя просто нервы.

Она поднялась, прошла по траве, высоко поднимая ноги.

— Если бы можно было всегда ходить босиком. . .

— Да, — сказал он. — Надо скорее уехать. Как можно скорее. Я тебя встречу в Москве.

— . . . и жить в горах, — она встала лицом к солнцу, закрыла глаза, не слушая его. — Скалы тут, как от начала мира. Планета в натуральном виде. Отсюда можно начинать все заново. Разве тебе не жаль отсюда уезжать? — Она подошла, опустилась перед ним на корточки. — Олечка, — она впервые назвала его так, — мы не должны бежать отсюда. Особенно ты. Это же бегство. Если ты все бросишь. . . — она запнулась и твердо произнесла: — Ты тогда действительно убьешь Ричарда.

— Опять он!

— Ты должен помочь Крылову.

— Идиот он, твой Крылов. Даже Голицын и тот до-

казал уже. — С каким-то мстительным удовольствием он стал излагать ей расчеты Голицына.

Не сумев ничего возразить, она сказала:

— Неужели ты не можешь чего-то придумать?

— Я ничего и не желаю придумывать. — Он сам не понимал, почему он так разозлился. — Что придумывать? Зачем? Что изменится? Почему я обязан придумывать? — Он схватил ее за руки, больно стиснул их. — Ага, значит, вы на самом-то деле считаете, что я во всем виноват! А хочешь знать? Хочешь? — крикнул он. — Вы сами виноваты. — И ты, и Крылов! Да, ты тоже виновата. Это из-за тебя я не полетел!

Она вырвалась, встала, взяла туфли.

— Пусть из-за меня, — сказала она, поправляя платье. — Устраивает? Я не боюсь отвечать.

Трава медленно выпрямлялась за ней. Розовое платье мелькало среди высокой красной колоннады лиственниц.

— Эй! — крикнул он. — Офсайд! Не по правилам!

Он догнал ее.

— Так оно, конечно, удобнее закругляться, — насмешливо сказал он. — Но разрешите все же объясниться. — Он не переставал насмешничать и ломаться, а потом взял ее за локоть.

Найти дорогу к этому солнечному взгорку, зажатому между отвесными стенами скал, она бы, наверное, никогда не смогла, но она запомнила самое место. Светло-зеленые мхи на сером камне, безветренную жаркую тишину, ярко-лиловые колокольчики. . .

Виляли и скрещивались путаные тропки, был какой-то длинный бестолковый разговор, и она увидела, как Тулин измучен: когда он усмехался, вокруг рта его появлялись совсем стариковские складки.

Он говорил и говорил, и она никак не могла уследить за его лихорадочной, путаной мыслью.

Высокие колокольчики качались над его головой. Он лежал на траве. Женя положила ему руку на лоб. Тулин закрыл глаза, потом вдруг отстранился и сказал:

— Ричард мертв. Его нет. Я тут уж ничего не могу исправить. Зачем тебе нужно, чтобы он всегда был между нами? Ну зачем?

Тогда она наклонилась над ним.

— Я не знаю, как сделать лучше, ведь я думаю только о тебе, — сказала она честно.

Она презирала себя за эти слова, но ей хотелось как-то помочь ему.

Он взял ее за плечи.

— Нет, нет, это все чепуха. . . — Он отвернулся в сторону, посмотрел на серый отвес скалы. — Только не оставляй меня!

Так он обнимал ее, глядя в сторону, и она чувствовала, как плечи ее слабеют, воздух стал горячим, и вдруг она поняла, что ничего ей не нужно было, кроме этих слов.

— Мне все кажется, я его вижу, — бормотал Тулин.

— А теперь? — Она легла и прижалась к нему, заглядывая в глаза со страхом и мучительной решимостью.

Серые острые скалы уходили в небо, как колокольни, и черные ели стояли тоже древние и сказочные. И огромные ярко-лиловые колокола звенели, когда вся эта волшебная страна плыла, покачиваясь, сквозь мягкую серую голубизну неба.

Она не хотела возвращаться. Было так жалко и件ужно уходить отсюда.

Все стало крохотным: дома, люди, прошлые переживания. Женя перешагивала через горы, и солнце лежало у нее на плече.

Встречные мужчины пристально оглядывали ее с головы до ног, так, что она чувствовала под платьем свою грудь.

— Походочка у тебя! — подозрительно сказала Катя.

— Какая?

— Как у манекенши.

Женя невинно вздохнула:

— Каблуки.

Сила собственных чувств поражала ее как открытие. Она была уверена, что Тулин должен испытывать то же самое, и не уставала допытываться у него, за что он ее любит, и как любит, и как у него это все произошло, словно пытаясь через него увидеть собственное сердце.

И вдруг все испортилось.

Начала Катя. Это она утром, наблюдая, как Женя причесывается, не выдержав, спросила:

— Ты уверена, что у него серьезное чувство?

Женя сидела в одной рубашке у раскрытого окна. Хо-

лодный чистый воздух щипал кожу, он напоминал газированную воду, он вздувал рубашку и наполнял все тело, и она казалась себе невесомой, как воздушный шарик, — толкни и полетит.

— Думаешь, он женится на тебе?

Женя тихо смеялась.

— Какое это имеет значение.

— Ты катишься в пропасть!

Женю всегда забавляло в Кате странное сочетание рассудительности и выпренности. В их группе Катя считалась самой целеустремленной. У нее был твердый порядок во всем, в кино она ходила только на девятичасовой, не раньше, не позже. Поведение Тулина настораживало Катю. Несомненно, он и не собирается жениться на Жене, тем более имея дело с такой дуручкой. Куда это годится — бегать за ним потеряв голову, с какой стати так нерасчетливо вести себя.

— Но ты понимаешь, что ему сейчас не до этого?

— А гулять с тобой — это он может? Имей в виду, мужчины не уважают тех, кто вешается им на шею. Тогда они не считают себя ответственными. Оставь его в покое, если хочешь чего-нибудь добиться, кроме ребенка.

По-своему Катя была права, и спорить с ней не имело смысла.

— Расчеты, расчеты. . . — сказала Женя. — Я так не умею. У тебя вся жизнь наперед вычислена. — Она посмотрела в зеркало. — Что такое камейка? Он сказал: у меня профиль, как на камее.

— Да, я должна быть расчетливой, — сказала Катя. — У меня нет такой внешности. Я не камейка. И отец у меня не инженер. Я всем обязана своей воле. Ты знаешь, при моей язве желудка я должна себя соблюдать, иначе мне ничего не добиться. — Она сердито сглотнула слезы. — У меня во всем диета.

Женя пристыженно расцеловала ее и стала ей укладывать волосы. Само по себе лицо Кати было симпатичным. Просто оно никак не соответствовало ее характеру. Оно подошло бы миленькой, глуповато-беззаботной машинистке, а на Кате оно выглядело как школьное платье на взрослой женщине.

Сбить Катю было невозможно. Раз начав, она должна была кончить. В лучшем случае Тулин превратит Женю в домашнюю хозяйку, он слишком эгоист, чтобы

считаться с другими. В наше время нельзя жить одними чувствами. Надо думать о будущем.

— Искала, искала свое призвание и нашла — быть утешительницей. Ты присмотришься: ему никто не нужен, и ты в том числе. . .

Почему-то эти слова больней всего задела Женю.

Что бы там ни происходило, а надо было заканчивать, и сдавать отчеты, и спешить с дипломами. И снова жужжали моторы, весело и ровно потрескивали ртутники. В перерыве посылали кого-то за персиками, бегали купаться, и Лисицкий потихоньку снял парочку ламп с установки, на которой работал Ричард.

С утра Агатов проводил совещание насчет практики. Тут же сидел Тулин, потом зашел Лагунов.

Алеша спросил, почему не закрывают тему. Агатов хохотнул:

— Это к нашей теме не относится.

Но Лагунов принялся разяснять Алеше доверительно, свойским тоном, каким он считал нужным говорить с молодежью. Началась душевительная беседа о науке, об образе ученого, всякая тягомотина, которую Женя терпеть не могла. Лагунов повторил, что при Сталине работу продолжали бы, не считаясь ни с какими жертвами.

— Или, наоборот, прикрыли бы так, что всех посадили бы за вредительство, — сказал Лагунов. — Верно? — Он обернулся к Тулину, и тот утвердительно кивнул.

— Преобразования, новое время не цените, — бубнил Лагунов.

— А чего ценить, что не арестовывают? Так ведь это нормально, — сказал Алеша.

— Спасибо, — Катя поклонилась ему, — спасибо за то, что ты добился этого.

Но Алеша распалился. После аварии он чем-то стал напоминать Жене Ричарда, вмешивался, спорил, влезал в такие дела, за которые сам раньше высмеивал Ричарда.

Агатов накинулся на него: молодежь пошла, слишком легко вам все дается, войны не знали, развели тут демократию!

Тулин молчал и рассеянно улыбался. Тогда Женя невытерпела:

— Может, начать войну для нашего воспитания?

Агатов что-то шепнул Лагунову, они оба усмехнулись, и Лагунов с любопытством стал разглядывать Женю, а Агатов сказал ей:

— На вашем месте я бы держался скромнее.

Тулин слышал это и даже глазом не повел, слово побоялся сказать. Алеша продолжал еще спорить с Лагуновым и спрашивал у него: «Согласен, тридцать седьмой год, но как вы могли допустить это?» — но Жене уже все стало неинтересно.

Как водится, несчастья посыпались одно за другим. В лаборатории споткнулась о ящик, порвала новый капроновый чулок. В сердцах стала разбирать схему и рванула провод так, что полетела колодка. Агатов, конечно, заметил, разозлился. Но Женя уже завелась:

— Подумаешь, колодка, вы о человеке не думаете, у меня, может, горе!

Агатов оторопел: какое горе? Женя задрала юбку и помахала перед Агатовым ногой.

— Чулок порвала. Вы никогда не носили капроновых чулок?

Вера Матвеевна прикрикнула на нее:

— Сейчас же извинитесь!

— Хорошо, — сказала Женя и разрыдалась.

Вера Матвеевна заслонила ее, как наседка, и увела к себе, достала штопальный набор в кожаном футлярике.

— Ваш Тулин — трус! — сказала Женя. — Он эгоист.

Вера Матвеевна показала, как закрепить петлю, а потом сказала:

— Мы, женщины, переоцениваем себя. Мы много можем дать мужчине, но далеко не все.

В ее словах не было ни зависти, ни ревности, а какое-то непонятное Жене чувство, свойственное только женщинам, которым уже за сорок и которые говорят о мужчинах спокойно.

— Однажды я читала сыну сказку про спящую красавицу, — сказала Вера Матвеевна. — Кончила, а он спрашивает, что дальше было. Я говорю: свадьбу сыграли. А дальше? Ну что ему ответить, чтобы было интересно? Наверно, дальше у этого принца ничего хорошего не было. Она оказалась сварливой и отсталой девицей. Шутка ли, проспять столько лет! Все хорошее было, пока он добирался до замка.

Тулин был небрежно-ласков, и было ясно: для него не существует никого, в том числе и Жени с ее любовью. Она поймала себя на том, что любит его руками. Это ужаснуло ее. Значит, кроме всего прочего, она развратная, порочная. Она была низвергнута к тем несчастным, околпаченным девчонкам, которых она всегда жалела и высмеивала. Мужчины на нее больше не глядели. Ноги у нее были толстые и на подбородке прыщ.

Она-то верила, что у нее будет все не так, как у других. До чего ж пошлая получилась история!

А Ричард уверял ее, что Тулин — человек будущего, — вот потеха! . .

Они лежали, прижавшись друг к другу, и она ощущала его всего — щекой, животом, ногами, и ей было этого мало, ей хотелось чувствовать его спиной, затылком, чтобы всюду был он, завернуться в него.

— Настоящее только это, — сказал Тулин. — Все остальное — ерунда.

— А я решила, что больше не нужна тебе.

— Ты единственное, что мне нужно.

— А . . женщина может много дать мужчине, но не все, — наставительно произнесла она.

— Женщин много, а ты для меня — это . . . это . . . Женья, вот ты кто.

Она ему нужна, как все стало просто! Слова тут были ни при чем, она почувствовала это сразу, когда распахнула дверь и успела увидеть его глаза, рванувшиеся навстречу, и сразу ощутила его сухие, вздрагивающие губы на руках, на лице. Она еще пробовала что-то объяснить, но все это уже потеряло смысл. И все же ей зачем-то надо, чтобы он говорил. Когда он говорит про это, она начинает не верить, а когда он не говорит, ей хочется, чтобы он говорил. Почему так?

Она засмеялась, Тулин поцеловал ее в плечо, и она снова засмеялась, чувствуя, как нравится ему ее смех.

Наверное, она все же девчонка, если поцелуй остается для нее событием.

— Выше этого нет ничего, — упрямо повторял он.

— Тебе этого мало, — мягко сказала она.

Он усмехнулся:

— А тебе?

— Мне тоже. Я тщеславна. Мне нужно, чтобы ты стал знаменитостью. Я мещанка и обывательница. Помнишь, ты обещал мне покорить грозу? Помнишь, какой ты был. . . — Ей хотелось пробудить в нем хотя бы честолюбие. — С тех пор я мечтаю только о таком, который может управлять грозой. Других мне не надо. Я хочу, чтобы твои портреты были во всех газетах и чтобы у тебя был значок лауреата.

— А если я не стану лауреатом?

— Как только ты не станешь лауреатом, я тебя брошу. Я могу жить только с лауреатом. Жена лауреата — это же звучит! Я буду каждый день чистить твой значок, буду перевешивать его с пиджака на пиджак, а вечером на пижаму, а зимой я буду пришлипливать на пальто, а дома опять на пиджак, я буду все утро и весь вечер занята.

— Подумать только, что я сам когда-то мечтал об этом! — искренне удивился Тулин.

— Почему ты так? Съездим в Москву, можно пойти в ЦК, там разберутся. Они сами тебя позовут, увидишь. . .

— Не то, это все не то.

При свете луны он казался бледным и похудевшим. Глаза его беспокойно бегали.

— Я хочу тебе все объяснить.

Начав говорить, он успокоился, как-то сосредоточился. Женя любовалась им, ей все хотелось взъерошить ему волосы, потом она спохватилась и стала слушать.

— . . . То мне надо было получить диплом, потом степень, потом что-то исследовать. Благодетель человечества! Я всегда был всего лишь приспособлением к своему мозгу. А мозг был механизмом для расчетов. Сегодня иду, смотрю на небо, плывут облака, как старинные каравеллы. Понимаешь, впервые я увидел не диполи, не объемные заряды, а каравеллы. Я хочу быть свободным, чтобы видеть каравеллы. У меня все мозги высохли. Постоянно должен то, должен это, хуже рабства, прикован, как невольник на галерах. Хватит! К черту! Читаю чужие работы — завидую. Не хочу завидовать. Я сам себя как расценивал: сколько сделал, а сколько написал статей? Почему я не имею права просто ходить по земле, любить, сидеть в кино и чтобы не чувствовать при этом, что где-то ждет, ждет работа? Не мучайте вы меня. Я хочу быть как все люди, не желаю я заботиться о чело-

вечестве. Я тоже человек. Что такое, по-твоему, человек: цель или средство?

— Средство, — наугад сказала она.

— И Крылов тоже вроде тебя. А ведь человек сам по себе цель. Человек — он высшая ценность, все для него. Ни ты, ни я, мы больше никогда не будем. Мы существуем только однажды. Ради чего я лишал себя простых человеческих радостей? Был бы я гений. . . А то ведь максимум, что я могу, это обогнать других на полгода. Не я, так другой решит. Сотни людей работают над тем же самым. Ученых нынче хватает. . . Возьми Алтынова. Какое тебе дело, умеет ли он решать эллиптические функции и сколько у него статей? Тебе что важнее — что у него добрая душа, он честный дядя и любит людей, — вот что важно, человеческое! Это машины оценивают мощностью, производительностью. . .

Он задумался, и она терпеливо ждала, как всегда ждут женщины мужчин, увлеченных своими рассуждениями.

«А может, он прав, — думала она. — Разве я могу судить его? Он знает лучше меня. Нет, ничего он не знает. Чего он хочет, он сам не знает. Разве он сможет так жить, просто так? Он пропадет, без меня он совсем пропадет».

— . . . Когда человек живет для настоящего, он следит и для будущего, потому что он больше человек. Понимаешь?

Женя обрадовалась.

— Ну конечно, понимаю, ты за что ни возьмешься, у тебя все пойдет.

Он приподнялся, заглянул ей в лицо.

— Ничего ты не поняла. — Голос его потускнел. — Так элементарно, и никто не понимает.

Волнуясь, она пробовала возражать:

— Мы же все трудимся во имя будущего. Надо иметь перспективу. Наш труд, особенно творческий, служит обществу. Ты имеешь талант, и вдруг так. . . Если б у меня был талант! Ты ударился в индивидуализм. Конечно, талант в нашем обществе должен быть поставлен в условия. . . но и мы должны жертвовать, если надо, ради движения. . .

Ей не хватало слов. Она не умела спорить на такие темы, он легко сбивал ее, а ей подвергались только унылые, стертые фразы.

Она чувствовала, что сейчас, здесь, на ее глазах совершается непоправимое: он отрывал от себя то, что составляло его душу, весь смысл его жизни, его самого, того Тулина, которого она любила. И она никак не могла переубедить его.

— Ты о чем думаешь? — спросил Тулин.

— О тебе, конечно, о тебе, о ком же еще можно думать? — со злостью сказала Женя. — Ты единственная цель.

Вскоре Тулину позвонили из Москвы, и он появился перед Крыловым вместе с Женей, сияющий, взбудораженный. Кажется, порядок. Его — тьфу, тьфу, тьфу! — берут на работы, связанные со спутником, ребята за него шуруют, обеспечат. Ведущее задание эпохи. Можно реабилитироваться в два счета.

Крылов сидел за столом, заваленным пленками, рулонами осциллограмм, таблицами, старательно рисуя кораблики, десятки корабликов, сотни корабликов. . .

— Загнал тебя старик в угол? — спросил Тулин.

Крылов принужденно улыбнулся, потер красные веки.

— Ты когда уезжаешь?

— Завтра, — сказал Тулин. — Вызов сегодня придет. Завтра вылетаю.

— Оставь мне материалы по указателю.

Он держался твердо, но Тулин не верил ему.

— Будешь пыхтеть? Надеешься осилить?

— Тут надо искать. Тут надо терпение, — сказал Крылов.

Тулин подмигнул Жене.

— Терпение — достоинство ослов. Нет, я шучу. Я ж тебя все равно люблю, бедолагу. — Он присел на ручку кресла, обнял Крылова за плечи и обнял Женю. — Ничего не поделаешь, таковы правила игры. Либо — либо.

— А если у меня получится? — сказал Крылов.

Тулин присвистнул.

— Тю-тю. . . Получится на бумаге — не получится с начальством. Комиссия, закрыв тему, будет настаивать на своем. Акт комиссии утвердит еще более высокое начальство, и они тоже не захотят выглядеть дураками. Да и кто тебе разрешит тут чикаться с этим делом? Если ты не вернешься к Голицыну, тебя закатают в какую-нибудь дыру.

— При чем тут это! — с досадой сказал Крылов. — При чем тут начальство! . .

— Ах да, конечно, тебя занимает чистая наука. Но таковой не бывает. Но допустим даже, что кругом ангелы, которые жаждут прогресса. Так вот что: тебе придется начинать все сызнова. Оборудовать самолет, сколачивать группу.

— Ты должен помочь Сергею Ильичу, — сказала Женя.

— А я не отказываюсь. Когда все это произойдет, можете рассчитывать на мою помощь. Почему бы нет? Только, я надеюсь, к тому времени я вытащу тебя из очередной лужи.

Крылов хотел встать, но Тулин плотно сидел, мешая сдвинуть кресло.

— Ты тоже учти. . . — сдавленно начал Крылов, но Тулин, улыбаясь, вспомнил:

— А как твое свидание с Наташей?

И Крылов осекся. Выходит, и Наташей он обязан Тулину, он был обязан ему множеством услуг, всегда он был чем-то обязан Тулину.

Все же он поднялся и сказал:

— Я тебя предупреждаю. . . То есть хочу, чтобы ты знал. Если ты уедешь, то я не возьму тебя назад. . .

В первую минуту Тулин ничего не понял.

— То есть как это? Куда не возьмешь?

Крылов покосился на Женю.

— Ну, если у меня все получится и ты захочешь вернуться.

Только сейчас Тулин уразумел и расхохотался. Настолько это было смешно, нелепо, фантастично, что Тулин смеялся, всхлипывая от удовольствия, и Женя тоже смеялась, и даже Крылов пристыженно улыбнулся.

Тулин ткнул его кулаком в живот.

— Ах ты чудило! Ну ладно, не расстраивайся.

На улице Тулин оглянулся. Сквозь раскрытое окно было видно, как Крылов сел к столу, стиснул голову руками, и Тулину вдруг померещилось, что и впрямь Крылов его куда-то не принимает. Женя что-то сказала, и звук ее голоса напомнил ему тот разговор в машине под дождем, когда они возвращались, еще ничего не зная о катастрофе, а ему казалось, что он знает все, что будет, и распорядился этим будущим.

Глава 4

Самолет уходил в семнадцать часов. Южин и Голицын прогуливались по скверу. Лагунов и остальные члены комиссии отбыли для доклада в Москву еще третьего дня, Южин задержался, инспектируя аэродромную службу, Голицын консультировал аэрологов.

Они шли по дорожкам, усыпанным хрустким ракушечником, мимо кустов отцветающих роз и мечтали о сырых, холодеющих лесах Подмоскovie, где сейчас самое грибное время. Голицыну не верилось, что через несколько часов он будет у себя на даче. Глядя на расписание, он понимал, что так оно и будет, но свыкнуться с этим так, как Южин, не мог. Подобно большинству людей, Голицын жил в двух разных географиях. Одна школьная, усвоенная еще в гимназии по контурным картам и рассказам великих путешественников, — меридианы, тропик Козерога, континенты, где человек — песчинка, затерянная в пространствах джунглей, пустынь, бескрайних земель. Вторая география — это география аэродромов, авиалиний, реактивных самолетов, где тысячекилометровые расстояния сжимаются в часы и человек перелистывает страны, как листы атласа. Когда в прошлом году Голицын прилетел в Берлин, шляпа его еще была влажной от московского дождя.

Несовместимые скорости с удивительным спокойствием соседствовали в повседневной жизни. Доехать от дачи до института занимало столько же времени, сколько потребовалось бы, чтобы добраться отсюда до Москвы.

Беседуя об этом, они направились к зданию вокзала, когда к ним подбежал Крылов. Он растолкал провожающих. Пальцы его сжимали вечное перо. Он наставил его на Голицына.

— Статистика, — блаженным голосом сказал он. — Статистически выходит, что импульсы маловероятны. Все очень просто. Один к десяти миллионам. Конечно, мы их упустили. Вот смотрите, как получается.

Он взял у Южина газету и начал писать на полях. Чернила расплывались, и Южин ничего не мог разобрать, но Голицын брал у Крылова ручку и что-то подчеркивал и исправлял, и Крылов опять отбирал у него перо, и они говорили, перебивая друг друга, и каждый тянул газету к себе.

— Позвольте, что же вы показали? Что именно? Что расчетных отклонений вообще нет?

— Да, да! — с восторгом подхватил Крылов. — Они настолько редки, что у нас они и не попадали на прибор.

— Но согласитесь, это более чем странно, — сказал Голицын. — Вы доказываете, что они есть, тем, что их у вас нет.

— В том-то и дело! . . . Статистически это получается. У нас их и не могло быть.

Голицын посмотрел на его растерянно-счастливое лицо и присел на скамейку, у него закололо в груди. В правом кармашке у него был валидол, надо было бы принять, но ему не хотелось показывать свою слабость при всех.

На Крылова смотрели укоризненно.

— Что происходит? — сердито шепнул Южин Крылову. — Подумаешь, сенсация, могли в письменном виде.

По радио объявили посадку. Южин взял Голицына под руку и повел на летное поле. Крылов шел рядом, не переставая говорить. У трапа они остановились. Южин распрощался со всеми и поднялся на ступеньку.

— Аркадий Борисович, нам пора.

Голицын и Крылов посмотрели на него почти бессмысленно.

— Ах, да, — опомнился Голицын. — Минуточку.

И снова зашагал с Крыловым мимо самолета по солнечным бетонным плитам.

— Безобразие! — сказал Агатов. — Он же псих, только напрасно волнует старика. Я его сейчас попрошу.

— Я сам, — сказал Южин.

Он спустился с трапа и подошел к ним.

— Простите, Сергей Ильич, нам надо садиться.

Некоторое время они задумчиво смотрели на него. Голицын взял Южина за пуговицу.

— Допустим, что так, — сказал он. — Допускаю. А что значит, что зон мало? А?

— По-моему, — сказал Крылов, — это усиливает возможность воздействия.

— Но их труднее обнаружить.

— Аркадий Борисович!

— Подождите, — сердито сказал Голицын и вдруг, увидев Южина, и аэродром, и самолет, сконфузился, не успев даже «напустить чудика». — Знаете, генерал, я задержусь, тут крайне важно.

— Что, получилось у него что-то? — спросил Южин. Голицын нетерпеливо поморщился:

— Проверить надо, проверить.

— Но как же, вас будут встречать, Аркадий Борисович.

— Я следующим рейсом, следующим.

Южин внимательно смотрел на Крылова. Его поразило, что в голосе Крылова не чувствовалось торжества.

— Вас можно поздравить?

— Нет, что вы. — Крылов засмеялся, чуть нервно, легко, беспричинно. — Еще далеко. Это страшное дело — иметь такого противника, как Аркадий Борисович.

— Будет вам! — прикрикнул Голицын. — У меня времени нет.

Южин еще попытался спросить про билет и багаж, но Голицын посмотрел на него так, как будто ему предлагали «козла забить». Они нетерпеливо попрощались с Южиным, и тотчас же их лица стали одинаково отрешенными. Какое-то удивительное сходство роднило их, у Голицына то же жадное любопытство, что и у Крылова, словно они были единомышленниками, а не противниками. Поднимаясь по трапу, Южин оглядывался. «Что заставляет их заниматься этими вещами, забывая обо всем на свете?» — спрашивал он себя.

И, опустившись в мягкое кресло, он продолжал думать о таинственной силе, владеющей их помыслами и чувствами. Он испытывал к ней скрытое почтение. Это была та особая высота, с которой, вероятно, и Лагунов, и Южин со всей их властью, и судьба Крылова — все представлялось малозначительным. Там царили свои ценности, свое понимание счастья. Не от мира сего, но для мира сего. Древняя неутолимая жажда познания, творения, которая лежала в основе жизни. Тот же Крылов — зачем ему это, что мешало ему свернуть на мирную дорогу прощения и даже признания и всяких благ?

Глава 5

От Тулина пришла телеграмма из Москвы, и Женя собралась ехать. Практика заканчивалась. Катя заедет к родителям, Алеша решил махнуть к морю, а она поедет в Москву.

Вечером она зашла попрощаться к Крылову.

— Ну как? Эврика? — Женья кивнула на стол, заваленный бумагами.

Крылов потянулся.

— Пока не светит. — И, радуясь передышке, стал приседать и размахивать руками.

После того как он проговорил несколько часов с Голицыным, выяснилось, что идея-то неплоха, трудно просчитать и доказать, что возможно измерить отклонения.

— Я бы задержалась помочь вам, — сказала Женья, — но я получила телеграмму.

— Ну, как он там?

Она заметила, что на него не произвело никакого впечатления новое назначение Тулина и тот внимательный прием, который оказали Тулину в Москве.

— Вы, пожалуйста, не думайте, что я с ним полностью согласна, — сказала Женья.

— У меня к вам просьба, — сказал Крылов. — Зайдите в институт к Песецкому, передайте письмецо, может, он осилит это уравнение.

Женья смотрела, как он писал, вздыхая и высунув кончик языка. На краю стола стояли пустые бутылки из-под кефира, на полу у измятой постели пепельница, на подоконнике старенький кофейник, оставшийся от Тулина, и электроплитка.

— Давайте я вам сварю кофе, — вдруг сказала Женья. Крылов что-то буркнул.

Она умела хорошо варить кофе. Единственное, что она умела по хозяйству. Крылов пил, закрывая от удовольствия глаза. Женья улыбалась. Ей было грустно.

Как славно могло быть, если бы она полюбила Крылова! Строго говоря, он даже чем-то милее Тулина. Девочки из метеослужбы вздыхали по нем и Зочка из ресторана... Только его почему-то стесняются. Они жаловались, что с ним нельзя так просто болтать, как с Тулиным. В этой стране любви, куда она попала, существовали необъяснимые законы — вот рядом славный человек, а полюбить его невозможно ни при каких обстоятельствах. Катя — та, например, может влюбиться в Крылова, а в Тулина нет, а она, Женья, наоборот. Почему?

— Все уезжают, — сказала она. — Лисицкий говорит, что вас тоже куда-нибудь пошлют. Вам надо действовать

самому, а не дожидаться. Хотите, мы в Москве пойдем к начальству насчет вас?

— Да, конечно, — рассеянно соглашался Крылов, и Женя понимала, что это его нисколько не занимает. Лисицкий окрестил его снисходительно — «мученик науки», Алеша защищал его, но последнее время о Крылове все чаще говорили покровительственно, как о чудеке, обреченном, несчастливом.

Когда она шла сюда, ей было стыдно: вот она уезжает в Москву, а он остается вместе с Ричардом и с той работой, которой занимались и Ричард и Тулин, все они.

А оказалось, что все это для Крылова попросту не существует. Ни ее стыд, ни эти разговорчики, ни успех Тулина в Москве. И от этого она почувствовала невнятную тревогу. . .

— Но так, как вы думаете про Тулина, тоже неправильно, — сказала она.

Крылов молча смотрел на нее. Его круглое лицо сейчас было очень добрым и усталым.

— Я бы его попробовала уговорить.

Он развел руками, заходил по комнате.

— Зачем?

Видно было, как тягостно ему говорить об этом.

— У нас снова будут неудачи и всякие ошибки. . .

Она не подозревала, что он может быть таким жестоким.

Он стукнул кулаком по столу, ему легче было объясниться жестами, чем произнести эти слова.

— Олег для этого не годится.

— Вы обижены на него?

— Нет, хуже. Он мне просто не нужен. — Крылов угрюмо опустил голову. — Он мне мешал бы. — Он посмотрел на нее исподлобья. — Наверное, это некрасиво с моей стороны. . .

— Я понимаю. Я вас понимаю, — сказала Женя. — Вы знаете, мне совестно, что я вот так уезжаю. . .

— Ну, а это чепуха, — сказал Крылов. — Не думайте об этом.

А о чем же ей думать? Она шла по улице, потом вдоль реки, мимо висячего моста. И так она слишком мало думает.

Она не заметила, как пришла на кладбище.

Белые кресты, пирамидки из крашеной фанеры с никелированной звездой наверху. Выжженная солнцем трава. Маргаритки в зеленой боржомной бутылке. Осевшая могила Ричарда. Кольца засохших венков. Фотография под стеклом уже пожелтела. Синие горы, леса, а наверху воздушная дорога в реве взлетающих самолетов, а еще выше багровая звезда, кажется Марс. Так и будут отныне проходить годы над этой могилой.

Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Кто-то читал ей эти стихи в Москве, на катке, тогда это были просто красивые стихи.

Снова будет Москва, Тверской бульвар, какие-то встречи с Тулиным, защита диплома, может быть, они куда-нибудь поедут или переедут, что-то будет происходить в ее жизни, а здесь все останется таким же — и горы, и близкое небо, и запах травы. Что бы ни случилось, здесь уже никогда ничего не изменится. Мертвые более вечны, чем эти лиственницы, и горы, и вся земля, и звезды. Маленькие здешние звезды, резкие, как укол.

Что ж остается, когда человек умирает? Наверное, и она когда-нибудь умрет. Это просто невозможно представить, что у нее тоже где-то будет такая могила с пожухлыми пучками цветов. Это так же трудно, как представить себя старухой вроде Веры Матвеевны или еще старше.

Хотите увидеть свою смерть? Это она спросила ребят. Ричард что-то ответил, никак не вспомнить что.

Хорошо бы остаться, вкалывать тут вместе с Крыловым в этой неустроенной гостиничной комнате, пока не исчезнет всякая надежда.

Она не верила в его удачу, она не думала о результате, само стремление, желание искать манило ее какой-то неведомой наградой. Нельзя уезжать, она презирала себя за то, что уезжает, за то, что не в силах справиться с собой, за то, что не может быть такой, какой хочется.

Глава 6

Рулоны осциллограмм, графики, заметки Голицына. Кривые, черновики расчетов, таблицы, заметки Голицына.

Покачиваясь взад-вперед, Крылов сидел, сдавив голову, бессмысленно уставясь на этот бумажный хлам.

Голицын брал у Крылова ручку и что-то подчеркивал и исправлял, и Крылов опять отбирал у него перо, и они говорили, перебивая друг друга, и каждый тянул газету к себе.

Давным-давно, в незапамятные времена это было, он мчался на аэродром к Голицыну, осененный догадкой, он ликовал, на земле не было человека счастливей его, все горести отступали, казалось, отныне ничто не помешает его счастью. Неужели так всегда: счастье — ничтожный миг, а все остальное — заботы, тревоги и ожидание?

Пожалуй, ни разу в жизни он не был удручен, как сейчас. Любое горе, беда проходят, тут же наступало ясное и спокойное сознание своего бессилия. Нет большего мучения, чем понять бессилие своего мозга.

Со стороны казалось, что он возился в лаборатории, ходил в столовую, шутил с Зоечкой, слушал.

— Зоечка, вы опять принесли Крылову самую большую котлету.

— Сергей Ильич, вам надо закрыть бюллетень.

— Братцы, сегодня по радио Гагарин выступает.

Со стороны казалось, что у него есть аппетит, что он щеголяет польскими сандалетами, усердно занимается лечебной гимнастикой.

На самом же деле он неотрывно сидел, сжимая голову, и у него ничего не было, кроме этой распухшей бесполезной головы. Проклятый серый студень, из которого нельзя уже ничего выжать! Что определяет центры грозы? Почему пики разрядов не подчиняются такому-то уравнению? Почему невозможно рассчитать нормальную схему, какую же тогда схему применить? Почему другие таланты, а он нет? Будь на его месте Дан, все решилось бы в два счета. Дан нашел бы выход. Дан умел видеть вещи иначе, чем видят их остальные люди. Это свойство гения. В последнее время он часто вспоминал Дана, его легкую, рассеянную улыбочку: «Сейчас Сергей Ильич сообщает нам про бесконечно длинную молнию, действую-

щую в бесконечно однородной среде на бесконечно неверующих коллег». Дан был лишен слабостей, он не стал бы терзаться и мучиться, порвав с близким другом. Вряд ли одиночество мешало ему, с ним рядом оставался его талант.

Человек может добиться чего угодно — йоги останавливают сердце, Аникеев на пари, не умея играть, выучил сонату Бетховена, а вот сделаться талантливым человеком не может. Упорство? Он готов был ждать Наташу год, два. Он готов просиживать за этим столом, за этими бумагами месяцы, не вставая, да что толку, тут задницей не возьмешь. Нужен талант. Кроме таланта, ему ничего не нужно. Положение, успех, даже любовь. . . Как следует захотев, человек может всего достигнуть, а вот таланта — черта с два. Хоть разбейся, хоть удавись.

Что же следует из того, что зоны, где возникают молнии, редки? Неужели так и будет всю жизнь — откровение, догадка и тотчас новые мучения? В чем же тут радость, где удовлетворение? Ах, радость творческого труда! Ах, счастье созидания! Выдумка романистов. Лаборантам лафа: подсчитают, принесут — и до свидания. Голова не болит. Гуляй себе до утра. Техник — давай ему схему, он проверит, испытает. Вот Алеша явился — построил по точкам кривую. А то, что шесть точек ни туда ни сюда, — это его не касается. Впрочем, он славный парень, изо всех сил старается как-то помочь. Теперь, когда Лисицкий уехал и остальные уже сидят на чемоданах, когда все демонтировано, когда сдают дела, без Алеши было бы совсем туго.

— Может, еще чем надо помочь? — спросил Алеша. Выложил на стол сливы. — Давайте на велосипедах сгоняем? Полезно! Спорт содействует. Все великие люди уважали спорт. А то на танцы? Тоже усиливает кровообращение. Настоящий рок — это спортивно. — С каменно-надменным лицом изобразил несколько па.

— Кто вам мешает, Сергей Ильич? Есть конкретные консерваторы? — Он смотрел преданно, с готовностью и убежденностью, что все можно решить вот этими кулаками.

— Эх, консерваторы, — мечтательно сказал Крылов. — Консерваторы — это бы чудесно! Было бы с кем бороться. Хуже, когда закавыка здесь, — он постучал себя пальцем по лбу.

Алеша повертел кулаками. Да, и сила, и ловкость, и самбо тут ни к чему. На танцах девушки будут косить глазами на Алешину спортивную фигуру. Любая будет рада завязать с таким парнем: высший класс танца, умеет выдавать всякие байки, и всем кажется — какой шикарный. А на самом деле, что он рядом с Крыловым? Долдон! Ему вдруг захотелось вот так же сидеть, мучиться. Пусть там танцуют, веселятся, а он сидит всю ночь напролет, он ходит небритый, шатается от усталости, одет как попало, ему не до танцев. От того, что он придумает, зависит многое. Захотелось бороться одному, когда вокруг не верят, смеются, чем-то жертвовать, от чего-то отказываться. То, над чем он когда-то посмеивался, казалось ему, глядя на Крылова, самым нужным и главным в жизни. Но для того чтобы мучиться, надо иметь способности.

Из соседней комнаты доносилось гудение выпрямителя. Там работала Вера Матвеевна. Она единственная, кто в этой обстановке как ни в чем не бывало заканчивала свои измерения. Крылов завидовал ей. Он завидовал Алеше. Он завидовал каждому, потому что каждый знал свое дело и делал свое дело, а он один ни на что не способен.

Кривые окружали его, графики, точки, он блуждал там, изнемогая от отчаяния. В кривых воплотились десятки полетов, и каждая точка была облаком, ветром, высотой, ревом моторов, он брел по небу снова и снова, перепахивая месиво облаков. Где-то внизу лежала земля с миллиардами людей, со всеми их страстями и событиями, которые никак не могли повлиять на законы, по которым жили облака. Он бился над этими законами, и никто не мог помочь ему.

Окончательно одурев, он побрел к метеорологам уточнить кое-какие данные полетов.

Главный синоптик помог разыскать старые карты — ничего утешительного там не обнаружилось.

Они вышли вместе на площадь, в сутолоку только что прибывших с ленинградским самолетом.

Кругом раздавались возбужденные возгласы, кричали шоферы, пассажиры восторгались теплыню, воздухом, горами.

— Двенадцать раз в день одно и то же, — сказал

синоптик. — Одними и теми же словами. С ума можно сойти от этой человеческой скудости.

Он был сутулый, узкоплечий. Желчное, сморщенное, прокопченное солнцем лицо его с умными, насмешливыми глазами напоминало Крылову Мефистофеля.

— Не выпить ли нам? — сказал синоптик.

В ларьке выпили по стакану кислого вина, потом по стакану сладкого.

— Всегда пьют за что-то, — сказал синоптик, — заботятся о будущем. А жить надо для... Например, я пью для того, чтобы отшибить память. — Он подмигнул Крылову. — Чудесно, когда нечего вспоминать. Память — наказание, придуманное дьяволом. — Он допил, причмокнул длинными губами. — Без памяти все были бы счастливы. «Счастлив без памяти». А? Недаром такое выражение. Мы ведь вместе с Голицыным начинали. Он член-корр, а я в этой дыре — синоптик. А встретились — и никакой разницы: оба старики.

Перед Крыловым появился наполненный стакан. Синоптик распрямился, вытянул шею. Он оказался длинным и тощим. Он махал руками, словно собираясь взлететь.

— Я вам советую, бросьте сражаться. Я прорицатель. Судьбу легче предсказывать, чем погоду. Хотите, открою вам тайну? — Один глаз его стал круглым и начал быстро подмигивать. — Тот, кто знает то, чего не знают другие, опасен! Вы знаете истину? Вы опасны! Вот я уже неопасен. Голицын все хотел мне напомнить. Жалел меня. А я себя не жалею. Я вполне доволен. Хватит с меня. Тулин тоже перестал сражаться, и молодец. А с кем сражаться? Противники-то не сражаются. Вот в чем фокус. Я вашего Лагунова знаю. Что бы вы ни сделали, вы будете работать на Лагунова, прибыль получает Лагунов.

— И черт с ними! — Крылов погрозил синоптику пальцем. — А Лагунов пусть будет академиком, мне не жалко. Результат? Результат ничего не исчерпывает. За ним будет другой результат. Снова уточнят скорость генерации зарядов. И наши результаты — тютю-тютю. Важно, чтобы ты шел, карабкался, полз — но вперед.

— Движение — все, цель — ничего. Слыхали. Но ради чего? Объясните мне. Я в юности сражался, сражался, думал, добиваю последнюю несправедливость. И вот уже старость, а несправедливостей столько же.

...В ресторане играла радиола, то и дело прерывая ее, дежурная объявляла посадку: Ташкент, Алма-Ата... Крылова поражало количество мест, куда можно улететь. Сыктывкар! Подумать только! И все эти люди имели билеты и знали, куда им лететь.

— Мы с тобой кто? Жертвы науки! — провозглашал синоптик.

— Именно жертвы! — умилялся Крылов, и они нежно целовались.

Грибы, скользя, разбегались по тарелке.

— Вам нельзя больше, Сергей Ильич, — сказала Зочка.

Он погрозил ей пальцем. Они хотят, чтобы он вернулся к этому проклятому письменному столу. Ни за что. Он улетит в Сыктывкар. Он женится на Зочке. И придет с ней к Наташе. Познакомься с моей женой. Может быть, Зочка сделает его талантливым. Он с интересом наблюдал, как он разделился: один Крылов еще сидел, стиснув голову руками, пытаясь обдумать все наново. Второй, бесшабашный малый, уже был свободен, хотел бежать на танцы, лечь спать и наконец обнаружил, что умеет растягивать столы, сгибать тарелки и вытворять такое, отчего мебель извивалась и пела на разные голоса, заглушая радиолу. Затем появился третий, который стал осаживать каких-то иностранцев, пристававших к Зочке, задираясь, и все это кончилось великолепной мужской дракой на кулаках.

Откуда-то появился Алеша, Крылов был в восторге от своих прямых в челюсть, сам он получил хороший удар под глаз, немного протрезвел, и Алеше и синоптику удалось уволочь его до появления милиции.

Ночь была тихая, звездная. Он не хотел домой, его тошнило от цифр и таблиц. А синоптик и Алеша вели его неумолимо, как конвоиры ведут беглеца. Он и сам мог бы идти прямо, но ему было лень утруждать себя.

Почти три миллиарда людей на земле, а помочь никто не может. Вот что горько! Помешать всякий может, а помочь и хотели бы, да не могут! Звездочки, звездочки, такое красивое небо, а приходится с ним воевать. Он должен воевать с небом один на один, за всех этих людей. Эх ты, небо мое, небо! . .

Дежурная, укоризненно покачивая головой, передала ему телеграмму. Его срочно вызывали в Москву, в отдел кадров.

Вид у него был страшный: лиловый синячище под глазом, физиономия исцарапана. Девуцы в отделе кадров переглядывались. Ему предложили ехать на Памир, там строится линия электропередачи, надо изучить грозозащитные условия для грозозащиты. Он пытался втолковать им, что не может ехать, пока не докажет... Градиент напряженности... дельта Е... Девушки разочарованно усмехались. Дельта Е! Кое-кто собирался сунуть его бог знает куда, но начальник отдела кадров, демобилизованный полковник, сказал: «Не люблю, когда кругом победители, а побежденный один». Девушки гордились, что защищают его, подыскали самостоятельную, интересную работу, и вот пожалуйста — перед ними никакой не герой, несправедливо гонимый, а самый обычный ловчила из тех, кто по-всякому изворачивается, лишь бы не ехать на периферию. Родители больны, жена пианистка, а у этого — дельта Е.

Начальник терпеливо выдавал про госзначение объекта, и госинтересы, и госдисциплину.

— Почему вы знаете государственные интересы, а я не знаю? — искренне поразился Крылов. — Ежели я решу эту проблему, государство больше получит.

Оба недоуменно посмотрели друг на друга, и начальник отдела кадров отправился докладывать по инстанции.

Ничего не скажешь, Агатов умел становиться нужным человеком. Он был главным свидетелем, ведь это он предвидел все заранее и предупредил Южина. Он помогал Лагунову формулировать и уговаривать, он показал себя как верный ученик и соратник Голицына, на него временно возложили руководство группой, ликвидацию дел.

В присутствии Лагунова он всячески восхвалял Голицына. Лагунов относился к этому с видимым безразличием, однако Агатов чувствовал, что к нему приглядываются. Агатов ждал. Терпеливо ждал, искусно. Наконец однажды, когда они остались вдвоем, Лагунов осведомился о здоровье Голицына — дело в том, что институты сливаются, создан один отдел атмосферного электричества, — не будет ли старику слишком труден организационный период?

Создание подобного центра было давнишней мечтой

Голицына, несколько лет он хлопотал и доказывал необходимость такой организации. Агатов понял, что Лагунов не прочь отстранить старика. «Какая скотина!» — подумал он.

— Вероятно, вы правы, — сказал он со вздохом. — Подобные нагрузки в его возрасте вредны.

— Тут, конечно, будут сложности, но мы рассчитываем на вас, — сказал Лагунов.

Агатов на мгновение пожалел своего старика, но что поделаешь, меланхолично ответил он сам себе, такова жизнь. Не я, так найдется кто-нибудь другой.

По возвращении в Москву Лагунов рекомендовал его в управление — врио начальника отдела и секретарем оргкомитета международного симпозиума. Агатов не отказывался.

Черты его бледного лица, когда-то еле видимые, словно стертые резинкой, со дня аварии проступали все резче и наконец теперь обозначились законченно, в мраморной твердости.

Подбородок налился тяжестью и выдвинулся вперед, появились губы, даже волосы пышно поднялись над маленьким бледным лбом, прочерченным озабоченными морщинками.

Происходило удивительное — за эти недели он прибавил в росте. Пиджак стал ему короток. «Мы рассчитываем на вас», — напевал он фразу Лагунова. В этой фразе была мелодия, целая симфония, барабаны и трубы слышались в ней.

Он чувствовал себя на невидимом пьедестале, с высоты которого открывался:

простор кабинетов, деловых и строгих, с отдельным столиком для телефонов, среди которых есть прямой, туда... и просторы длинных столов заседаний, крытых синим сукном, там был стук каблучков секретарши, и стук карандаша по графину, и похлопывание по плечу, очередь в приемной и приемы с тостами, знакомствами и рукопожатиями;

мир планов, одобренных, новаторских, планов грандиозных, эффективных и эффективных, и перевыполненных, и встречных, планов, которые всем нравятся, нравятся президенту, и выше, и совсем высоко, мир академиков, далеких от жизни, нуждающихся в энергичных организаторах, которые умеют подобрать кадры, расставить кад-

ры, прислушиваться к мнению, поддерживать инициативу, крепить связь с производством, поддерживать почин;

он будет участвовать в решении проблем, требующих коренной ломки, широты взглядов, борьбы с консерваторами, слияния институтов, перебазирования институтов, открытия новых институтов, улучшения руководства;

он будет устранять параллелизм в научной работе, распыление сил, ненужные препоны и рогатки;

он готов: посылать на периферию, составлять беспристрастные отзывы, отрицать чистую науку, защищать чистую науку, растить кадры, проводить симпозиумы, конгрессы, подписывать некрологи, находиться на высоте;

увы, как ученый он несколько отстанет, ничего не поделаешь, заедает текучка, кто-то должен жертвовать собой, он был согласен жертвовать собой, и не только собой, согласен возложить на себя ответственность, сглаживать трения. . .

Нет, он не был ни честолюбцем, ни карьеристом, он не гнался за высоким окладом, ему хотелось лишь скорее уйти от этих гальванометров, формул, экстремальных зон, от этого рискованного мира опасных маньяков, которые кичатся какими-то кривыми и оценивают человека по тому, как он разбирается в их графиках. Он всего-навсего стремился туда, где нет неудачных опытов, и контрольных опытов, и загадочных результатов, где он будет недостижим для выступающих на семинарах.

Недоступен для Крылова и подобных ему типов.

Они придут к нему на прием. Их можно не принимать.

Или выслушать с приветливой улыбкой и пообещать что-то неопределенное.

Или переслать дальше и тут же позвонить: «К тебе явится один тип, так учти, он немного того, тяжелый случай».

А если не придут, можно вызвать. Пусть посидят в приемной. Тридцать минут, сорок минут. . .

Он вышел навстречу Крылову из-за стола — новенький современный полированный стол, без ящиков — простите, что задержал, дела, не продохнуть — усадил в кресло — пенопласт, обитый красной тканью, весь кабинет модерн — легкая мебель, солнечно, просторно — новый стиль руководства. Кто вас разукрасил? Никак опять в аварию попали? Итак, Сергей Ильич, вас не устраивает новое назначение. Мне тоже приятней было бы сидеть

в лаборатории, но что поделаешь, мы солдаты. А как ваши успехи? Ничего не выходит? Какая жалость. Тогда придется ехать. Рад бы помочь вам, но сие от меня не зависит. Боюсь, что докладывать академику Лихову о вашей просьбе бесполезно, только хуже будет.

Ах, как обходителен был Агатов, как скорбел он, как он сочувствовал! Увы, увы, придется сообщить в партком, пусть общественность скажет свое слово.

Крылов должен был сидеть и слушать, и просить, и молчать. Сколько может выдержать человек? Гораздо больше, чем ему кажется. Человек может много, может все и еще столько же.

Вечером пришли Бочкарев и Песецкий, и они обсудили создавшееся положение. Они не были ни администраторами, ни политиками, ни психологами. Они ни фига не смыслили в законах, но Песецкий доказал, что любая хитрость — это в конце концов наиболее целесообразный отбор из возможных комбинаций. Неужто они, современные физики и математики, не могут обшпокать какого-то Агатова! В результате тщательного и высоконаучного анализа была выбрана следующая цепочка связи: Крылов — Аникеев — Лихов. Крылов тут же позвонил в Ленинград Аникееву. Покряхтев и прозапинавшись на солидную сумму, он установил, что Аникеев, подобно Бочкареву и Песецкому, не видит в его просьбе ничего безнравственного. Не то чтоб он не был уверен в его удаче, но он считал, что Крылов сам не знает, что ему надо делать.

Цепочка сработала: его вызвал Лихов.

Снова в присутствии Агатова и начальника отдела кадров он повторял то же самое, уже не заботясь о впечатлении, без особой надежды на то, что Лихов поймет. От этого внутри была морозная ясность, и он не испытывал никакого волнения, перед ним был не Лихов, а бритый большеголовый старик, у которого из ушей росли волосы.

Лихов задал несколько вопросов по существу, говорить с ним было легко, и Крылов оживился, с удовольствием выкладывал подробности, заспорил, и когда Лихов попробовал сослаться на Лангмюра, Крылов нетерпеливо фыркнул:

— А, бросьте! Лангмюр, Лангмюр, как будто Лангмюр не может ошибаться. У вашего Лангмюра тут чушь.

— Однако. . . — Лихов властно постучал пальцами по столу, и уши его побагровели. Агатов знал, что Лихов вспыльчив и крут, и предвкушал предстоящую расправу, тем более что Крылов, ничего не замечая, пер на рожон, он забрался коленями на кресло, перегнулся через стол, и рисовал в блокноте Лихова кривую Лангмюра и свою кривую, и требовательно кричал:

— Видите, какая фактическая разница! На два порядка. Понятно вам?

И вместо того чтобы выгнать его, Лихов досадливо поскреб затылок. Потом сказал, подмигнув:

— Но ведь и Аркадий Борисович свое дело знает.

— Да, — сказал Крылов.

— Мне про вас рассказывал Аникеев. — Лихов помолчал и добавил: — Агатов тоже докладывал. — И опять по его тону нельзя было понять, на чьей стороне он.

— Вы уверены, что вам удастся найти решение?

Крылов со вздохом уселся обратно в кресло.

— Нет. Не ручаюсь.

— Это правильно. А если мы вас все же отправим в Киргизию?

— Я не поеду.

— А что будете делать?

— Буду решать эту штуку.

— А у вас не будет получаться.

— А я буду ее решать.

Лихов обернулся к Агатову и сказал:

— Я вчера был на опытном заводе. Там зарплату получали. Лежит на столе пачка денег, каждый подходит и отсчитывает себе. Крылов, вы считаете, что есть возможность доказать?

— Да, — сказал Крылов.

Агатов предостерегающе покачал головой.

— А вы знаете, Яков Иванович, я установил, почему указатель не работал, — увлеченно сказал Крылов, роясь в своей папке.

Агатов отвернулся. Губы его стали бледнеть, почти исчезая на белом лице.

— Почему. . . — послушно выдохнул он. Крылов поднял голову, и Лихов вскинулся, прищурясь, и оттого, что они молча разглядывали его, он почти закричал, теряя осторожность: — При чем тут я! Почему вы ко мне. . . — Южин, Крылов, и вот уже и Лихов, и начальник отдела

кадров — их становилось все больше, людей, которые могли его в чем-то подозревать.

— Однако, — произнес Лихов так, что Агатов вскопчил, — я вас не задерживаю.

Они смотрели ему вслед, как он шел по краю ковровой дорожки.

Зазвонил телефон. Лихов послушал и сказал:

— Да нет еще, подожди. — Он положил трубку. — Внук не может никак решить задачу, и я тоже.

Задача была для восьмого класса, о движении катушки, которую тянут за нитку. Они попробовали решить ее, но так и не решились. Лихов рассердился.

— Позор! — сказал он Крылову. — Позор! А еще беретесь Голицына опровергать.

— Ну ладно, попробуем, — сказал он начальнику отдела кадров. — Попробуем. Беру его на поруки. Говорят про риск. А больше риска не тогда, когда пробуют, а когда не пытаются пробовать. . .

В приемной Агатов ждал Крылова.

— Что же вы нашли? — спросил он.

— Питание было нарушено, — начал объяснять Крылов.

Агатов тоскливо кивал.

— Возможно, возможно. . . Лихов-то злится, что я хлопотал за вас. Но я рад, что мне удалось как-то помочь вам, — сказал он. — Видите, я к вам со всей душой.

На улице Крылов сообразил, какая скорость будет у катушки, и позвонил из автомата Лихову.

— Молодец, — пробасил Лихов, — но внук уже сам добил. Раз уж позвонили. . . — он подышал в трубку, — желаю вам удачи. . .

Крылов понял недоговоренное: несмотря на всякие нажимы, Лихов поручился за Крылова, и будет скверно, если Крылов подведет. Но оттого, что он этого не сказал, Крылову стало еще тяжелее.

Глава 7

В рассветных сумерках, в один и тот же час, старый, полусохший клен под окном начинал петь. Клен будил его. Между редкими пожелтевшими листьями покачивались, распевали десятки птах. В безветренном воздухе

листья мелко дрожали. Птицы пели. Их голоса разбега-лись заливчатыми трелями, но получался слитный хор, где каждый вел свою партию. Птицы раскачивались на ветках в такт ритму, как это делают музыканты. Клен стоял во дворе у кирпичной глухой стены. Пушистые серо-бурые комочки с желто-зеленой грудкой походили на весенние листья, и казалось, что клен расцвел. Потом птицы улетали, и клен умолкал, голый, неподвижный.

Наспех позавтракав, Крылов садился работать. Месяц отпуска, данный Лиховым, кончался, но, кажется, что-то стронулось. Крылов старался не спугнуть ухваченной мысли. На этот раз его не проведешь. Никаких восторгов он себе не разрешал. Всякие озарения, вдохновения — беллетристика.

И все же он потихоньку от себя наслаждался этими днями. Было легко, что-то прорвало, он считал и писал так быстро, словно кто-то диктовал ему. Песецкий, забросив свои дела, помогал с расчетами. Все стало настолько просто и очевидно, что непонятно, над чем было так долго мучиться. Именно потому, что зоны, где возникают молнии, чрезвычайно редки, воздействие на них облегчается и возможность воздействия усиливается. Нужно продолжать полеты, нацеливая аппаратуру туда, где только что ударила молния. Одно следовало из другого и плотно укладывалось, как черепица на крыше. Внутри дом был пуст, но над головой был кров, а остальное не страшно.

Окончательно одурев, они ставили какую-нибудь пластинку Баха и, положив ноги на стол, дымили, блаженствуя. В торжественной суровости этой музыки не было ничего лишнего, никаких красот. Скупая и ясная тема повторялась снова и снова и всякий раз иначе; казалось, извлечено все, но нет, вот еще поворот, еще один пласт, глубина простейших вещей оказывалась неистощимой, как неистощимая красота. Все равно что в физике, рассуждали они, любая элементарная частица бесконечно сложна. Совершенство этой музыки успокаивало. Им нужна была сейчас завершенность.

Вечером за Песецкий заходила Зина. Она была влюблена и счастлива, и Песецкий, закоренелый холостяк, смущенно поговаривал о женитьбе. Стоя у окна, Крылов видел, как они обнявшись пересекали двор.

До настоящей теории было далеко, вырисовывались лишь подступы, какие-то принципы, основы, это уже что-то значило. Только сейчас перед ним открывалась вся грандиозность предстоящих усилий. То, что было до сих пор, было попытками слепых попасть в яблочко. Поразительно, как мог Тулин на том этапе нащупать цель. Он обладал исключительной интуицией, каким-то особым внутренним зрением. Было чудом, что в результате всех блужданий, ничего толком не зная, они тем не менее болтались где-то в окрестностях истины.

По-иному видел он и аварию. Факт, что питание указателя было нарушено. Помог бы им исправный указатель? Как узнаешь, помог ли бы погибшему в бурю кораблю компас? Конечно, если бы Ричард выпрыгнул с кассетами, многое можно было бы установить.

Теперь Крылов представлял, что им надо и что они не понимали. Наконец-то можно сформулировать некоторые вопросы, связанные с природой молнии. Правильно поставить вопрос — не это ли важнее всего в исследованиях?

Самые мощные установки искусственных молний пробивали промежутки в десять — пятнадцать метров. Природа же создавала молнии, достигающие длины в десятки, даже сотни километров. Какие же гигантские, невиданные напряжения миллионы лет с расточительной легкостью генерировали облака! Он чувствовал, что подбирается к таким источникам энергии, о которых людям еще не мечталось.

Он знал, знал, как это и еще многое другое можно будет исследовать!

В диссертации Ричарда, которую ему передал Голицын, было несколько любопытных вариантов схем указателя. Крылов их использовал. Он использовал и некоторые идеи Тулина, и возражения Голицына, и работы француза Дюрá, но из всего этого получалось нечто совсем новое, о котором еще никто не догадывался. Он, Крылов, единственный во всем мире знал, что надо делать! И как надо делать!

Он первый!

Взлетает самолет — и лиловые, набрякшие молниями и громами тучи бледнеют, серебрятся, поднимаются ввысь и тают, тают в солнечной голубизне. Слушая Тулина, он всегда испытывал какую-то неловкость, а сейчас он с удо-

вольствием вспоминал эти фантастические картины. Вообще в нем сейчас, наверное, есть что-то схожее с Тулиным. Он подошел к зеркалу. Странно, вроде тот же самый Крылов. Те же невыразительные маленькие глаза. Весьма странно. А между тем этот человек обладает важнейшей властью хранителя истины. Некоторое сияние в глазах, пожалуй, различается... Почти невидимое, инфракрасное излучение.

На улице люди шли под зонтиками, как будто ничего не произошло, так же как они ходили год назад и десять лет назад. Соседка, жена моряка, кокетничала с ним, ни о чем не подозревая, звала его на чай. Зина читала Лескова, по радио передавали Мусоргского. Как будто он попал в далекое прошлое. Эх, люди, люди, если б вы только догадывались, какая радость вас ожидает!

Наконец наступил день, когда он отнес папку Голицыну. Старик был занят с какой-то делегацией и принял его на ходу, преподав урок выдержки, свойственной старой школе. Проверим, подумаем, посмотрим...

Слабых мест было много, но, находя их, он почему-то досадовал не на Крылова, а на себя.

Находить чужие ошибки — вот на что ты еще способен. Ты можешь следить за всеми журналами, возглавлять очередную конференцию, принимать делегации, читать книги. Что толку из того, что ты следишь за журналами, много читаешь, делаешь выписки! Посмотри на Крылова, он и десятой доли твоего не знает, зато у него рождаются идеи, не бог весть что, но ты был бы рад и таким. Никак ты не хочешь понять, что ты просто стар и способен только помогать другим. Или уничтожить Крылова еще раз, на это ты еще годишься, на это у тебя хватит учености и энергии. Сколько раз ты отодвигал от себя срок старости! О, ты еще водишь машину, блистаешь эрудицией, но нового тебе уже ничего не создать. Никто еще не знает, что ты бесплодная смоковница. А что, если давно знают? Старая песочница! И вдруг он вспомнил, что когда-то так называли Волкова. И сразу ему вспомнился до малейших подробностей Петроград, Лесной, Волков в хорьковой шубе колоколом, весеннее кудрявое небо, колченогий стол на талом снегу, первые испытания радиозонда. Несмотря на все предсказания Волкова, зонд

выполнил программу. И он вспомнил себя, сияющего, чубатого, в жилетке, прыгающего козленком у рации. Как злорадно размахивал он радиограммой перед Волковым! А у Волкова под красным носом висела мутная капелька.

Каким же ты был безжалостным в ту минуту! Молодость всегда безжалостна. Теперь ты это понял на своей шкуре, теперь, когда уже ничего нельзя исправить.

Никто теперь не помнит Волкова, он жив только в твоей памяти. Молодым ничего не говорят имени твоих корифеев. Что им Смуров или Молчанов — далекая история! Покажи тот зонд Крылову — он рассмеется, если узнает, что за такую музейную рухлядь тебя сделали профессором. Метод измерения подвижности ионов, над которым ты когда-то бился, для него теперь: «А как же иначе, само собой разумеется!»

Когда-то ты владел лучшим математическим аппаратом, сегодня такие уравнения решают студенты.

Неужто ты всерьез рассчитывал на бессмертие? Бго нет ни для кого. Помнишь, в гимназии — Платон, Овидий. . . Кто их сегодня читает? Через сотню-другую лет никто не поймет, почему мы любили Блока и Врубеля.

Немножко позже, немножко раньше, вот и вся разница. Чем отличается мраморная скульптура от снежной бабы? Долголетием? А все же Ньютон бессмертен. И Менделеев бессмертен. Но ты не принадлежишь к их числу. Смирись с этим, пора.

Конференц-зал Академии наук и доклад на пленарном заседании «Природа молнии». Казалось, вот наконец все прояснилось, вот она, истина, а она ускользала и ускользала. Что же осталось? А ничего. Сперва на твою работу ссылались, потом ссылались на тех, кто ссылался, потом осталась таблица, потом осталась одна цифра, которая вошла в новую сводную таблицу. Ноль целых семьдесят три сотых, и никто уже не знает автора этой цифры, она стоит среди других, два числа после запятой в длиннющей таблице. И то хорошо. Нет, нет, кое-что сделано, вся хитрость в том, что как бы человек ни был счастлив, оглядываясь назад, он вздыхает.

И все же нынешняя молодежь какая-то непонятная.

Он позвонил Крылову, пригласил к себе домой. Он собирался поговорить не только про работу, но и о времени, когда жизнь оправдывается тем, что отдаешь сво-

им ученикам, остается опыт и надо распорядиться им как можно лучше. . .

— Ну как? — с порога спросил Крылов и, выслушав отзыв, засмеялся, прикрыв глаза, подошел к окну, пома- хал кому-то рукой. И больше ничего не слышал. Голицын посмотрел в окно. На противоположной стороне улицы стояли Песецкий, лаборантка Зина и какая-то красивая девица. Они выразительно жестикулировали. Крылов не- терпеливо переминался с ноги на ногу. «Может, так и положено», — подумал Голицын, усмехаясь над своей чув- ствительностью. Он вернул Крылову папку и договорился завтра с утра поехать к Южину.

Следовало отдать должное Лагунову — заключение и доклад министру были составлены неуязвимо.

Выслушав Лагунова, министр еще долго листал бу- маги, потом сказал:

— Запретить — это легче легкого. А проблема-то оста- лась. Проблему не закроешь.

— Но сам руководитель, Тулин, отказался, — сказал Лагунов.

Министр выжидающе перевел взгляд на Южина. Южин промолчал.

— Да, тогда, конечно, ничего не попишешь, — сказал министр.

Разочарование его было совершенно неожиданно и в то же время настолько естественно, что Южин удивился, как он сам раньше не подумал о том же, и тут вспомнил, что ведь и он тоже думал об этом, только гнал от себя эти мысли.

Лагунов был доволен, что все обошлось и министр со- гласился с выводами комиссии.

‘И очень хорошо, — думал Южин, с неприязнью гля- дя на него, — очень хорошо, что я наконец развязался со всей этой историей. С какой стати из-за Крылова ссо- риться с Лагуновым, да еще взваливать на себя всякие неприятности, обвинят меня же, что делал все не так, нет, слава богу, что все кончается. . .»

На лестнице его догнал Лагунов.

— С вас причитается.

Южин кисло улыбнулся. По-своему Лагунов был прав: акт комиссии снимал всякие претензии к Управлению и к Южину — все списывалось на метод Тулина, а посколь-

ку метод Тулина признан несостоятельным, то и концы в воду.

— . . . и концы в воду, — услышал он голос Лагунова.

Южин вздрогнул, остановился, щелкнув каблуками.

— Всего хорошего, — резко сказал он и, козырнув, зашагал, не оглядываясь, к машине.

Появление в его кабинете Голицына и Крылова снова поднимало осевшую уже душевную мусть. Все считалось законченным, и вот опять, пожалуйста. Особенно раздражал этот новый союз: Голицын — Крылов.

— Однако лихо вы изменили свою точку зрения, Аркадий Борисович! — Южин решил уязвить его.

— Простите, — заволновался Голицын, — сперва договоримся, что понимать под точкой зрения. По-вашему, это нечто неподвижное, некая константа. Подобное присуще памятникам, а не живому человеку. Существует процесс познания, мысль движется. Я не меняю взглядов, я их развиваю. Концепция Крылова смелая, рискованная и. . . — он поднял палец, — законная! Ее следует проверить.

— Выходит, вы ошибались?

Голицын с достоинством вскинул голову.

— В науке признание ошибки не позор. — Он хмыкнул с непонятым Южину торжеством. — В данном же случае мы имеем дело с работами на качественно ином уровне, нам надо исследовать коренные процессы. . .

Он объяснял доходчиво и образно. Южин давно заметил, что чем крупнее специалист, тем проще у него получается.

— Но что ж вы раньше смотрели! — досадливо воскликнул Южин. — Сами виноваты.

— Господи, да как же можно раньше, Сергей Ильич только сейчас обосновал. . .

Лицо Южина сделалось непроницаемым, почти туповатым.

Мундир слишком стягивал грудь и живот. Южин подумал, что придется перешить мундир, слой жира откладывались, как годовые кольца у дерева, и тому молодому, сухощавому Южину, который был там, внутри, становилось труднее дышать и двигаться.

— У вас, конечно, процесс, научная мысль кипит и

развивается, — язвительно сказал он. — Но мы не можем так вот — сегодня одно, завтра другое.

А вот то, что Голицын может сегодня одно, а завтра другое и считает это естественным, как будто гордится этим, задевало Южина. Здесь было что-то несправедливое, он сам толком не мог разобраться. И было непонятно, почему сейчас не Голицыну, а ему, Южину, трудно и неловко так же, как было у министра.

— Остановиться теперь невозможно, — весело говорил Крылов. Исхудалый, заросший, он производил впечатление плутовавшего где-то и наконец вышедшего к людям путника. — Вы ж понимаете, надо как можно скорее испытать, — он смотрел на Южина так, как будто тот входил в их сообщество и поэтому возражения Южина не следовало принимать всерьез.

У этих легкомысленных чудаков получалось куда как просто. Пора было их отрезвить. Южин взялся за это без всякой жалости. Как дважды два, он доказал, что ничего у них не выйдет. Поздно. И бесполезно, приказ есть приказ. И как возвращаться к министру. . .

Голицын погрустнел, сник, Крылов тоже словно очнулся; завинтив ручку, спрятал ее в карман. Больше он не смотрел в лицо Южину, а смотрел куда-то ниже, на его мундир, и это раздражало, Южину вдруг представилось, каким он кажется Крылову, мундир стал еще теснее, и Южин почувствовал, что говорит не то, что ему хочется, и от этого еще больше разозлился. Но теперь он уже был пленником своих слов и должен был дойти до конца, он знал заранее все, что скажет. Он подумал, что началось это даже не у министра, когда он промолчал, а еще раньше. И сколько он ни оглядывался назад, он все не мог понять, когда это началось. Вдруг он вспомнил, как в этом же кресле сидел Тулин и обольщал его, и это воспоминание придало ему силы.

Опять лететь в грозу? Снова идти на риск?

Голицын растерянно молчал. Видимо, ни он, ни Крылов не думали об этой стороне дела. Но Южин напомнил им. Он не забыл речи Голицына на комиссии.

— Мы будем последовательно, этап за этапом. . . — начал было Крылов.

— Слыхали. Нет. На сей раз я вам не помощник, — сказал он. — Прикажут мне, тогда будем разговаривать.

— Но куда обратиться, куда ж обратиться? — спросил Голицын.

Крылов медленно поднялся. Страшная усталость проступила на его лице, ребячьи припухлости у губ опали морщинами.

— Никуда я обращаться не буду. — Он хлопнул папку на стол, голос сорвался криком: — Довольно с меня! Я свое сделал! Теперь как хотите!

— Сергей Ильич! — воскликнул Голицын.

Крылов вышел на середину комнаты, потянулся, точно сбросил тяжесть, и Южин понял, что Крылов не хитрит, это не поза, не маневр, он может взять и уйти, у него своя мерка происходящего. Этот парень действовал открыто, начистоту, не заботясь о впечатлении, какое он производит, так же, как старые летчики — друзья Южина, так же, как и он сам когда-то, на фронте.

— Самый легкий выход, — сказал Южин, — с рук сбить. Только я вместо вас воевать не буду, Сергей Ильич.

Крылов посмотрел на мундир Южина. Потом он вернулся к столу. Длинные руки его висели из коротких рукавов слишком просторного пиджака.

Крылов взял папку и, не поднимая глаз, сказал:

— Много у вас орденов. Все боевые. На войне вы, видно, держались храбро. А сейчас ведь не стреляют.

Он направился к двери, и Южин смотрел, как болтается на его плечах дешевенький пиджак из светло-зеленого твида.

Голицын начал извиняться за Крылова. Южину надо было что-то сказать. Он сказал, что следовало бы сообщить в институт, чтобы там научили Крылова вести себя.

Домой Южин возвращался пешком. Он ушел раньше обычного, сославшись на головную боль. Было солнечно и холодно. От осеннего воздуха, от блеска промытых окон улица стеклянно звенела, виделось далеко, лица людей были чистыми, с ясным блеском глаз.

Давно Южин не ходил днем по улицам, вот так, без всякого дела. Шли парни, сунув руки в карманы коротких пальто, яркие шарфы их были небрежно замотаны. Южин чувствовал, как шинель тяжело оттягивает плечи.

Он начал было вспоминать, когда и за что он получил

ордена, но вспоминались почему-то всякие пустяки — полковая столовая, бортмеханик Федот, который любил говорить: «Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут». Потом он вспомнил свой первый бой под Лугой и возвращение на аэродром — там были уже немцы. Он посадил машину на проселочной дороге, раздобыл бензин и снова полетел, разыскивая своих.

В полку его всегда считали храбрым. Но он-то знал, что храбрость — это не то, что, например, умение. Храбрым всякий раз приходится быть заново. И военная храбрость совсем не то, что гражданская. Он мысленно изругал Крылова, надеясь, что станет легче, но легче не становилось. Ни у Крылова, ни у Голицына ни хрена не получится: они не умеют разговаривать с начальством. Это не ходоки. Крылов, конечно, отчаянный... Южин вдруг подумал, что он уже на комиссии втайне симпатизировал Крылову, именно втайне. И хвалил себя за то втайне, что подавляет личные симпатии. На самом же деле просто так было удобнее. Сперва всегда кажется: то, что удобно, и есть правда. Поверил бы с самого начала своим чувствам — и, глядишь, оправдалось бы. Требуем, чтобы нам доверяли, а мы сами себе не верим.

«Запустил я себя как личность», — подумал Южин и вдруг сообразил, что думает о самом себе. Это его даже удивило. Никогда он этим не занимался. Думал о службе. Думал о детях, еще о чем? Ну о друзьях, о жене, а вот о себе самом как-то не приходилось. Все было недосуг, вроде и ни к чему. Вот так и живем, живем и вдруг однажды обнаруживаем, что ни разу и не задумались, как же мы живем. С кем угодно сидим, болтаем, а для себя всю жизнь, бывает, не найдется времени. Времени, или охоты, или мужества...

Глава 8

Папка лежала на столе, завернутая в газету. Крылов не прикасался к ней.

Ему казалось, что когда он кончит, то эту папку будут вырывать друг у друга, поднимется кутерьма, столпотворение, его будут качать чуть ли не на Красной площади или по крайней мере премируют двухнедельным окладом.

Его выслушивали, поздравляли, и на этом все кончалось. Ему даже были готовы помочь, но он не знал, о чем просить, он напоминал бегуна, который с честью прошел свою дистанцию и на этапе обнаружил, что некому передать эстафету. Признаться, он никогда всерьез и не помышлял брать на себя руководство группой, становиться заводилой. Он хотел решить задачу, и он решил ее, теперь пусть другие беспокоятся.

В Москве остановилась Ада. У нее был отпуск — она ехала в Крым. Ада привезла письмо от Аникеева, он приглашал Крылова вернуться в институт, обещал договориться обо всем с Лиховым.

Ада показалась Крылову еще более красивой, в ней что-то смягчилось, глаза ее поглубели талой синью, она не пыталась поучать и наставлять, и Крылов очень обрадовался ей. Ада приглашала ехать вместе в Крым. Он медлил, не зная, что ей ответить. Он сам не понимал, чего он ждет. Иногда ему казалось, что кто-то с минуты на минуту постучится в дверь, возьмет у него проклятую папку и тогда он наконец освободится.

На симпозиум съезжались участники. Голицын был занят с утра до вечера, и Крылов слонялся без толку. Ада осторожно посоветовала сходить к Лихову.

— С какой стати? — вспыхнул Крылов. — Чего я буду набиваться? Им неинтересно, так мне тем паче.

— Кому это «им»?

Он тупо уставился на нее и, наконец поняв, рассмеялся.

Было воскресенье. С утра шел дождь. Ада прибрала комнату, выкинула старые журналы, газеты, стало просторно, уютно. Вытирая стол, она аккуратно вытерла и фотографию Наташи, ни о чем не спрашивая. Соорудив себе из полотенца передник, она легко и бесшумно работала, подшучивала над неряхами-мужчинами, а Крылов развивал ей теорию о том, как женщины задерживают прогресс человечества. Они загружают промышленность производством брошек, бус, сумочек. А шляпы? Каждый год новый фасон. А косметика? Трельяжи, грильяжи. . .

Ада смеялась, из-под растрепанных волос блестели глаза, она была трогательно домашней, ничего похожего на ту строгую, прекрасную статую, перед которой он всегда чувствовал себя посетителем музея. И вдруг он

подумал, что Ада ждала его еще преданней и беззаветней, чем он Наташу. И ей так же тяжело, как ему. В сущности, он обошелся с Адой, как Наташа с ним, только с Наташей он сам был виноват, а Ада ни в чем не виновата, она виновата лишь в том, что любит его.

— Почему ты не уезжаешь? — спросил он и, как всегда, неуклюже начал поправляться: — То есть я-то рад, но у тебя дни уходят.

— А ты тоже хотел проветриться?

— Я... Мне надо побывать на симпозиуме... У Песецкого свадьба.

— У меня тетка здесь больна, — сказала Ада. — Пойдем в Третьяковку, я давно не была.

«Господи, как все сложно, какая трудная штука жизнь, если заниматься ею всерьез! — думал он по дороге. — Почему раньше было куда проще?»

— Помнишь, — сказал он Аде, — я всегда мог порвать, уйти, когда хотел. Я ошибался, но делал то, что хотел.

— Но если ты опять уйдешь, кто же займется твоим делом? Без тебя оно захиреет. Я тоже когда-то... Теперь я знаю, что человек не может освободиться от всего.

Взявшись за руки, они бродили по залам музея, совсем как когда-то в Ленинграде, когда Ада «образовывала» Крылова. Только теперь она ничего не объясняла и не учила, они просто смотрели и радовались, если обоим нравилось одно и то же.

Они остановились перед картиной Серова «Девочка с персиками». Там было позднее лето, солнце... Девочка сидела за столом, безыскусно позируя. Отсветы просторной розовой кофты скользили по ее лицу, бархатистому, прогретому солнцем, как персики, что лежали перед ней на скатерти. Задумчиво смотрела она на Крылова, как смотрела до него на миллионы людей, прошедших перед ней, щедро наделяя каждого чистотой и силой своей доброты. Солнце переходило в сочную сладость плодов. Он ощущал вкус солнца, таинственную работу света, его превращение. Тепло, излучаемое этой круглощекой девочкой, напоминало то юное, светлое, что прошло мимо него. Он думал о том, какой неодолимой силой может обладать доброта.

Ада украдкой смотрела на него, Крылов очнулся.

— Да, — сказал он, — ничего не поделаешь. . .

Ада не поняла, что означали эти слова, но не стала спрашивать.

Билет на симпозиум ему не прислали. Он подумал, что это ошибка, и зашел в оргкомитет. Его направили к Агатову.

— Мы думали, что вы уехали, — сказал Агатов.

— Но я не уехал.

Агатов улыбнулся.

— Вижу. Но знаете, Сергей Ильич, есть такое мнение, вам не стоит. . . — и он утешающе махнул рукой. — Считают, что вы станете жаловаться, а будет много иностранцев.

— Думаете, я стану просить? Есть такое мнение — послать вас туда-то и туда-то. — Он выскочил, в бешенстве хлопнув дверь.

В коридоре он столкнулся с Возницыным. Тот отвел его в сторону, зашептал:

— Что-то происходит. Я слышал, что Южин был у министра. Вы виделись с Богдановским?

— Какой еще Богдановский?

— Так вы ничего не знаете? Он вас разыскивает. Только между нами: есть письмо, подписанное Лиховым, Голицыным и Аникеевым, они требуют возобновления работы. Будете говорить с Богдановским, имейте в виду — мы не возражаем.

— А что изменилось? Вы и раньше знали, что я доказал. . .

— Ситуация изменилась, ситуация, — весело сказал Возницын. — Все будет хорошо. Я же вам говорил, что все будет хорошо.

Он потащил Крылова к телефону, потом на своей машине повез в Управление. Последующие три дня слились мелькающими кадрами совещаний за длинными столами с бутылками нарзана и в кабинетах без длинных столов, составлений бумаг, смет, объяснительных записок, стрелкомом пишущих машинок, телефонных звонков, бюро пропусков.

Возницын за голову хватался, слушая его неосторожные ответы. Южин одобрительно подмигивал. Появился Богдановский, придирчиво опрашивал Крылова, прощу-

пывал и так и этак, как цыган, торгующий лошадь. Выступил довольно резко Лагунов, но тут Крылов поднялся и спросил: «А что вы можете предложить?» В том-то и дело, что никто из критикующих не мог предложить ничего другого. И Богдановский, ухватившись за этот тезис, ловко фехтовал им против Лагунова, и всех, кто еще сопротивлялся.

— Гроза для тебя как мамкин подол, — добивал Южина Богдановский, — ухватишься обеими руками, любой грех прикроет. Вали на Илью-пророка.

Южин, отфыркиваясь, спокойно подставлял свои бока, умно помогая Богдановскому и Лихову.

Крылов лишь моргал глазами, постигая высокое искусство сражающихся. К исходу третьего дня он вылез из последнего чистилища, измочаленный, согласованный, подписанный, утвержденный, заверенный.

— Поздравляю, — сказал ему Богдановский, когда они остались одни в прокуренном огромном, неудобном кабинете. — Но я наблюдал за вами — руководитель из вас никакой.

— Вот именно, — сказал Крылов. — Я и не хочу, ничего из меня не получится. Только опорочу дело.

— Что ж вы собираетесь? Уча-аствовать? — иронически протянул Богдановский.

— Почему вы не приехали сразу после аварии помочь Тулину? — спросил Крылов.

Богдановский сидел на стуле, бритый, скуластый, с твердо-неподвижным лицом Будды.

— Почему? . . . Помогать надо сильным. Слабым нет смысла помогать. Невыгодно. И времени нет. — Он сделал паузу. — Как организатор вы уступаете Тулину, ну да ничего, нужда научит. А что вас смущает?

— Группу-то распустили. Там были ценные работники. Я не знаю, согласятся ли они снова. . .

— Ничего, предложим. Мало ли что было. Всюду бывают потери. Мы работаем на людей, и личное тут надо отставить.

— А хотят ли они, эти люди, отставить свое личное? Богдановский нахмурился.

— Если бы всякий раз спрашивали у людей, мы бы жили в пещерах.

— Мне такой прогресс не нужен. Я буду спрашивать! . . . — сказал Крылов. — Но я вообще еще не решил. . .

Богдановский не привык уговаривать, но еще меньше он привык, чтобы с ним так спорили.

— Решите, — сказал он. — Вам деваться некуда. От себя не уйдешь. Оклад вам, между прочим, дадим персональный.

— Зачем?

— Ну, милый, не повредит. Бескорыстие — это красиво, но ненадежно.

Крылов прищурился.

— Не нравятся мне ваши рассуждения.

Вряд ли когда-либо в этом кабинете произносилось подобное. Надо отдать должное Богдановскому: он понимающе улыбнулся.

— Это вы притомились с непривычки. — Потом улыбка его застыла. — Нам придется работать вместе. Я не знаю слов: «нравится», «не нравится». Вы мне нужны, и я нужен вам. Ясно?

— Ясно.

И Богдановский подумал, что ясно им каждому свое и что таких, как Крылов, нельзя заставлять, они подчиняются каким-то своим правилам.

В дверях Крылов обернулся.

— Я все хотел спросить вас. . . Откуда вы узнали про меня, и вообще? . .

— Понятно, — перебил Богдановский его заикания. — Ко мне приходила наша сотрудница Романова Наталья Алексеевна. — Богдановский посмотрел на лицо Крылова. — Агитировала за вас. Я ведь было похоронил свои планы после аварии. А потом перелистал стенограмму. . .

— Где она сейчас?

— Романова? В экспедиции. Вам скажут в секретариате.

Дома его ждала Ада. Она сидела в полутьме на кушетке, и он рассказывал ей. Рассказал все. И про Наташу:

— Значит, все в порядке, — ровным голосом сказала Ада. — Звонил Аникеев, он приехал и хотел повидать тебя.

Крылов позвонил Аникееву, договорились встретиться в «Москве».

— Я не смогу, я уезжаю, мне надо собраться в дорогу, — сказала Ада.

— С чего это ты вдруг?

— Тетя выздоровела. Мне пора ехать.

— Тогда я не пойду.

Она принужденно улыбнулась.

— Хорошо, пойдем вместе.

По дороге Крылов уговорил ее зайти на Гнездниковский к Вере Матвеевне.

Два длинных звонка и один короткий. Открыл муж Веры Матвеевны, провел их в комнату, где за обеденным столом занимались два мальчика. Вера Матвеевна вышла из-за перегородки. Рука ее еще была на перевязи.

Крылов рассказал ей про то, как повернулось дело.

Он ничего не предлагал, но в комнате сразу воцарилась тишина. Мальчики разом подняли головы, и Крылов увидел тревогу в их глазах, а муж Веры Матвеевны уткнулся в газету.

— Да, да, очень интересно, — сказала Вера Матвеевна, — если бы мне обстоятельства позволили, я бы приняла участие.

Она проводила их в переднюю и там, оглядываясь, зашептала:

— Вы не обижайтесь на меня, Сергей Ильич! Я боюсь. Я как вспомню... Нет, нет, невозможно... Прошу вас, Сергей Ильич.

— Ну что вы, я понимаю, — сказал Крылов.

На улице Ада взяла его под руку, преувеличенно весело начала рассказывать про завод, как перед отъездом она заходила в ОТК, там теперь Долинин заправляет. Помнишь? Он ей показал прибор Крылова. Так все и называют «прибор Крылова». Она спросила у практиканта — смешной такой парнишечка, — что еще за Крылов? Он плечами пожал: какой-то изобретатель, ученый. Долинин напустился на него, а тот оправдывается: мы такого не проходили.

Крылов вздохнул. Милое время!

И Аникеев тоже был из того милого времени. Он расцеловал Крылова, потом назвал его идиотом за то, что Крылов не хочет вернуться к нему; поедая судака, изничтожил Лагунова и, выпив кофе, обругал Богдановского.

— Вы злой, — сказала Ада.

Аникеев воинственно выставил челюсть.

— Я слишком умен, чтобы быть добрым. А злые — это полезно. Злые двигают прогресс. Злые ниспровергают авторитеты. Сережа, тебе не хватает злости.

— Исправлюсь, — сказал Крылов.

Аникеев не переставал удивляться: как этому тихоне, простаку удалось сокрушить такую стену? Он допытывался у Крылова, но тот ничего не мог объяснить, он считал, что все произошло само собой.

— Да, человек может много, — сказал Аникеев, — если у него есть правда, он может черт знает что...

— Мсье Крылов?

Перед их столиком стоял профессор Дюра, с которым Крылов познакомился во Франции. Как он изменился! Вместо темпераментного, молодящегося толстяка перед Крыловым стоял печальный, обрюзгший, чем-то неизлечимо больной человек. Дюра рассказал, что недавно умер от лучевой болезни его сын.

— Меня пригласили на симпозиум, — сказал Дюра. — Но я не знаю, зачем я приехал...

Симпозиум открывался завтра, и сейчас в ресторане было много участников. Их можно было узнать по значкам и белым карточкам в петлицах, где было написано имя и страна. Здесь знали друг друга по многу лет, переписывались, спорили и никогда не виделись. Здесь царил особый счет, независимый от званий, должностей, наград. Здесь узнавали друг друга по тому, что сделано этим человеком, по его ошибкам, поискам, находкам. Только имя и работы, которые вставали за этим именем.

— С тобой хочет познакомиться доктор Регнер, — сказал Аникеев.

За работами доктора Регнера Крылов следил давно и отлично представлял себе этого немца с буйной фантазией и, очевидно, буйной шевелюрой, мощного, шумного. Аникеев с удовольствием любовался физиономией Крылова, пожирающего руку кокетливой длинноногой блондинке, которая немедленно принялась фотографировать Крылова.

Когда Крылов вернулся к своему столику, там остался один Дюра, Аникеев и Ада танцевали.

Крылов расспрашивал Дюра о его последних работах. Дюра вдруг вскинул руки, потряс над головой:

— Все бессмыслица. Как вы не видите! Мир сломался. В любую минуту нажмут кнопку — и за несколько минут все кончится. Вся наша наука вместе со всеми академиями и коллегами. Земной шар будет протерт дочиста. Леопарды, детские сады, картинные галереи, миссионеры. . .

— Шут с ними, с миссионерами. . . — сказал Крылов. — Охота вам. . .

— . . симпозиумы, и мы вместе с нашими внуками и правнуками, все мы станем нейтронами и электронами и будем носиться по законам Гейзенберга, и сам Гейзенберг будет тоже носиться по своим законам. — Глаза его загорелись угрюмым весельем, он протянул руку, как бы касаясь пальцем кнопки. — Мир полон сумасшедших, подберется какой-нибудь сумасшедший — и мудрецы политики, которые строят прогнозы, — в пыль! Церковь святой Мадлен — в пыль! . . . Вся история человечества кончается на этой кнопке, последняя точка истории.

— Неужели вы всерьез думаете, что эту кнопку нельзя уничтожить?

— Поздно. Она существует. Попробуйте уничтожить закон Ома, уравнение Максвелла. Они уже открыты. До них додумались, и сколько бы их ни уничтожали, они появятся.

— В том-то и дело, что ваша кнопка не закон! — воскликнул Крылов.

— О, она больше закона! Она бог! Современная религия. Все мы ходим под кнопкой. Молиться ей надо. В соборах вместо распятия — кнопку. Нет бога, кроме кнопки. Что вы противопоставите ей? Перед кнопкой все глупо — и ложь, и подвиг, и мужество, и даже цинизм. Как вы все можете спокойно жить? Я смотрю и не понимаю — вы что, слепые? глухие? Неужели вы не видите, что все сломалось? Вы думаете, это я из-за сына? Нет, сын — это моя личная трагедия. Рано или поздно каждый уходит, но есть будущее, есть ради чего работать, страдать. Так было всегда. И вдруг кончилось. Впервые. Будущее украдено. . .

Вся эта сбивчивая, лихорадочная речь начала раздражать Крылова. Дюра нравился ему, он был отличный ученый, и было больно видеть, как страх разъедает этот ост-

рый ум. Наворачивать ужасы можно какие угодно. В начале века пугали энтропией, тепловой смертью. Всегда находились устрашители, кликуши. Особенно религия любила рисовать кошмары, конец мира.

— Но бога нет, — подхватил Дюра. — Мы уничтожили свою веру. А что взамен?! Ничего. В чем нравственная опора? Так хоть была вера в бессмертие души...

— С вашей кнопкой богу не справиться, — сказал Крылов. — Лучше верить в человека. Главное — это жизнь, а не угроза жизни. — Они говорили по-английски, и Крылов подбирал слова с некоторым трудом. Ему очень хотелось, чтобы Дюра его понял. — Трагедия в том, что наука открыла атомную энергию слишком рано, когда мир еще не освободился от капитализма. История общества не поспевает за историей науки. Наверное, лет через двести наши страхи покажутся смешными.

— Вы думаете, будет кому смеяться?

— Да, да! — с силой сказал Крылов. — Отрицать всегда легче, чем утверждать. Дорогой Дюра, я не был на войне. Я представляю себе, что даже когда дело плохо и ты окружен, все равно надо драться до последней минуты. А ведь мы с вами не окружены, у нас сил больше, нас больше...

— Я бы мог возражать вам, — сказал Дюра, — но я не хочу выигрывать спор, я не хочу вас переубеждать. Мне надо понять, почему вы спорите... Откуда ваш оптимизм? На чем он...

Он замолчал, глядя на Аду, которая возвращалась с Аникеевым.

Она шла, высоко подняв голову, одинаково красивая для старых и молодых, и они, позабыв о своих спорах, улыбаясь, смотрели на нее.

— Вы всё спорите, — сказал Аникеев. — Вам не хватает легкомыслия. Бурное развитие науки нуждается в легкомыслии...

Откуда-то из глубины зала появился Голицын вместе с Лиховым.

Аникеев окликнул их.

— Как ваши дела? — спросил у Крылова Голицын.

— Чудно, — сказал Крылов, — отличная группа подбирается.

— Кто же? — спросил Голицын.

— Я, один я. Зато крепкий, спаянный коллектив.

«И еще Ричард», — подумал он.

Лихов что-то рассказывал Дюра по-французски, и Дюра удивленно и задумчиво смотрел на Крылова.

— Чуть не забыл, — сказал Голицын. — Ко мне обращался Микулин, помните, дипломант Микулин.

— Алеша?

— Ну, я не обязан знать, Алеша он или не Алеша, — проворчал Голицын. — Так вот, он просил ходатайствовать. Может, вы уважите мою просьбу, примете его?

— Так и быть, — сказал Крылов.

На улице накрапывал дождь, редкие листья лежали на асфальте. Было холодно и пустынно. Они шли мимо Манежа.

— Тебе ничего не напомнил этот вечер? — спросила Ада.

— Нет, — сказал Крылов.

Понял бы что-нибудь Дюра, узнав, что после их разговора Крылов идет и думает, как убедить Алтынова и Лисицкого вернуться в группу?

И вдруг он припомнил тот вечер с Тулиным и Адой. Только они входили на эту площадь с другой стороны. И встретили тут Женю и Ричарда. Играл карманный приемник. Он даже вспомнил мотив. «И вот снова», — подумал он и посмотрел в ночное небо, закрытое облаками. Придется браться за все сызнова, иначе, совсем по-другому. Или продолжать, но тоже иначе.

Эта
странная
жизнь

Повесть

**Глава первая,
где автор размышляет,
как бы заинтересовать читателя,
а тот решает,
стоит ли ему читать дальше**

Рассказать об этом человеке хотелось так, чтобы придерживаться фактов и чтобы было интересно. Трудно совместить оба эти требования. Факты интересны тогда, когда их не обязательно придерживаться. Можно было попытаться найти какой-то свежий прием и, пользуясь им, выстроить из фактов занимательный сюжет. Чтобы была тайна, и борьба, и опасности. И чтобы при всем при том сохранялась достоверность.

Легко было изобразить, например, этого человека бесстрашным бойцом-одиночкой против могущественных противников. Один против всех. Еще лучше — все против одного. Несправедливость сразу привлекает сочувствие. Но на самом деле было как раз один против всех. Он сам нападал. Он первый наскокивал и сокрушал. Смысл его научной борьбы был достаточно сложен и спорен. Это была настоящая научная борьба, где никому не удастся быть окончательно правым. Конечно, можно было придумать ему проблему попроще, присочинить, но тогда неудобно было оставлять подлинную фамилию. Тогда надо было отказаться и от многих других фамилий. Но тогда бы мне никто не поверил.

Кроме того, мне хотелось воздать должное этому человеку, особенно теперь, когда его нет в живых.

Показать, на что способен человек. И какие существуют у нас люди.

Конечно, подлинность мешала, связывала руки. Куда легче иметь дело с выдуманным героем. Он и поклади-

стый, и откровенный — автору известны все его мысли и намерения, и прошлое его и будущее.

У меня была еще другая задача: ввести в читателя все полезные сведения, дать описания — разумеется, поразительные, удивительные, но, к сожалению, не подходящие для литературного произведения. Они скорее годились для научно-популярного очерка. Представьте себе, что в середине романа «Три мушкетера» вставлено описание приемов фехтования. Читатель наверняка пропустит эти страницы. А мне надо было заставить читателя прочесть мои сведения, поскольку это и есть самое важное. . .

Я хотел, чтобы эту книгу прочло больше людей, ради этого и затеял эту вещь. С того момента, как открылся для меня главный секрет моего героя.

.. На крючок секрета тоже вполне можно было подцепить. Обещание секрета, тайны — оно всегда привлекает, тем более что тайна эта непридуманная: я действительно долго бился над дневниками и архивом моего героя, и все, что я извлек оттуда, было для меня открытием, разгадкой секрета целой жизни.

Впрочем, если по-честному, тайна эта не сопровождается приключениями, погоней, не связана с интригами и опасностями.

Признаюсь сразу:

Секрет — он насчет того, как лучше жить.

И тут, конечно, можно возбудить любопытство, заявив, что вещь эта — про поучительнейший пример наилучшего устройства жизни — дает единственную в своем роде Систему жизни.

«Наша Система позволяет достигнуть больших успехов в любой области, в любой профессии!»

«Система обеспечивает наивысшие достижения при самых обыкновенных способностях!»

«Вы получаете не отвлеченную систему, а гарантированную, проверенную многолетним опытом, доступную, продуктивную. . .»

«Минимум затрат — максимум эффекта!»

«Лучшая в мире! . . .»

Можно было бы обещать читателю рассказать про неизвестного ему выдающегося человека нашего времени. Дать портрет героя нравственного, с такими высокими правилами нравственности, какие ныне кажутся старо-

модными. Жизнь, прожитая им, — внешне самая заурядная, по некоторым приметам даже незадачливая; с точки зрения обывателя, он — типичный неудачник, по внутреннему же смыслу это был человек гармоничный и счастливый, причем счастье его было наивысшей пробы. Признаться, я думал, что люди такого масштаба повывелись, это — динозавры. . .

Как в старину открывали земли, как астрономы открывают звезды, так писателю может повезти обнаружить человека. Есть великие открытия характеров и типов: Гончаров открыл Обломова, Тургенев — Базарова, Сервантес — Дон-Кихота.

Это было тоже открытие, не всеобщего типа, а как бы личного, моего, и не типа, а, скорее, идеала; впрочем, и это слово не подходило. Для идеала Любищев тоже не годился. . .

Я сидел в большой уютной аудитории. Голая лампочка резко освещала седины и лысины, гладкие зачесы аспирантов, длинные лохмы, и модные парики, и курчавую черноту негров. Профессора, доктора, студенты, журналисты, историки, биологи. . . Больше всего было математиков, потому что происходило это на их факультете — первое заседание памяти Александра Александровича Любищева.

Я не предполагал, что придет столько народу. И особенно — молодежи. Возможно, их привело любопытство. Поскольку они мало знали о Любищеве. Не то биолог, не то математик. Дилетант? Любитель? Кажется, любитель. Ну что ж, что любитель, почтовый чиновник из Тулузы — великий математик Ферма — был тоже любителем. Бессемер тоже не был металлургом. Так же, как и Томас, создатель нового процесса производства стали, который был клерком при полицейском суде. Любищев — кто он? Не то виталист, не то позитивист или идеалист, во всяком случае — еретик.

И докладчики тоже не вносили ясности.

Одни считали его биологом, другие — историком науки, третьи — энтомологом, четвертые — философом. . .

У каждого из докладчиков возникал новый Любищев. У каждого имелось свое толкование, свои оценки. У одних Любищев получался революционером, бунтарем, бросающим вызов догмам эволюции, генетики.

У других возникала добрейшая фигура русского интеллигента, неистощимо терпимого к своим противникам.

— ...В любой философии для него была ценна живая критическая и созидаящая мысль!

— ...Сила его была в непрерывном генерировании идеи, он ставил вопросы, он будил мысль.

— ...Как заметил кто-то из великих математиков, «гениальные геометры предлагают теорему, талантливые ее доказывают». Так вот он был предлагающий.

— ...Он слишком разбрасывался, ему надо было сосредоточиться на систематике и не тратить себя на философские проблемы.

— ...Александр Александрович — образец сосредоточенности, целеустремленности творческого духа, он последовательно в течение всей своей жизни...

— ...Дар математика определил его миропонимание.

— ...Широта его философского образования позволила по-новому осмыслить проблему происхождения видов.

— ...Он был рационалист!

— ...Материалист!

— ...Фантазер, человек увлекающийся, интуитивист!

Они многие годы были знакомы с Любищевым, с его работами, но каждый рассказывал про того Любищева, какого знал.

Они и раньше, конечно, представляли его разносторонность. Но только сейчас, слушая друг друга, они понимали, что каждый знал только часть Любищева.

Неделю до этого я провел, читая его дневники и письма, вникая в историю забот его ума. Я начал читать без цели. Просто чужие письма. Просто хорошо написанные свидетельства чужой души, прошедших тревог, минувшего гнева, памятного и мне, потому что и я когда-то думал о том же, только не додумал...

Вскоре я убедился, что не знал Любищева. То есть я знал, я встречался с ним, я понимал, что это человек редкий, но масштаб его личности я не подозревал. Со стыдом я признавался себе, что числил его чудачком, мудрым милым чудачком, и было горько, что упустил много возможностей бывать с ним. Столько раз собирался поехать к нему в Ульяновск, и все казалось, успеется.

Который раз жизнь учила меня ничего не откладывать. Жизнь, если вдуматься, терпеливая заботница, она снова и снова сводила меня с интереснейшими людьми нашего века, а я куда-то торопился и часто спешил мимо, откладывая на потом. Ради чего я откладывал, куда спешил? Ныне эти прошлые спешности кажутся такими ничтожными, а потери — такими обидными и, главное, непоправимыми.

Студент, что сидел рядом со мною, недоуменно пожал плечами, не в силах соединить в одно противоречивые рассказы выступавших.

Прошел всего год после смерти Любищева — и уже невозможно было понять, каким он был на самом деле.

Ушедший принадлежит всем, с этим ничего не поделаешь. Докладчики отбирали из Любищева то, что им нравилось, или то, что им было нужно в качестве доводов, аргументов. Рассказывая, они тоже выстраивали свои сюжеты. С годами из их портретов получится нечто среднее, вернее — приемлемо среднее, лишенное противоречий, загадок — сглаженное и малоузнаваемое.

Этого осредненного объяснят, определят, в чем он ошибался и в чем шел впереди своего времени, сделают совершенно понятным. И неживым.

Если он, конечно, поддастся.

Над кафедрой висела в черной рамке большая фотография — старый плешивый человек, наморщив висячий нос, почесывал затылок. Он озадаченно поглядывал не то в зал, не то на выступавших, как бы решая, какую ему еще штуку выкинуть. И было ясно, что все эти умные речи, трактовки не имеют сейчас никакого отношения к тому минувшему человеку, которого уже нельзя увидеть и который так был сейчас нужен. Я слишком привык к тому, что он есть. Мне достаточно было знать, что где-то есть человек, с которым обо всем можно поговорить и обо всем спросить.

Когда человек умирает, многое выясняется, многое становится известным. И наше отношение к умершему подытоживается. Я чувствовал это в выступлениях докладчиков. В них была определенность. Жизнь Любищева предстала перед ними завершенной, теперь они решились обмыслить, охарактеризовать ее. И было понятно,

что теперь-то многие его идеи получают признание, многие работы будут изданы и переизданы. У умерших почему-то больше прав, им больше позволено. . .

. . . А можно сделать и так: предупредить читателя, что никакой занимательности не будет, наоборот, будет много сухой, сугубо деловой прозы. И прозой-то это назвать нельзя. Автор мало что сделал для украшения и развлечения. Автор сам с трудом разобрался с этим материалом, и все, что тут сделано, было сделано по причинам, о которых автор сообщает в самом конце этого неприличного ему самому повествования.

Глава вторая — о причинах и странностях любви

Давно уже меня смущал энтузиазм его поклонников. Не впервые их эпитеты казались чересчур восторженными. Когда он приезжал в Ленинград, его встречали, сопровождали, вокруг него постоянно роился народ. Его «расхватывали» на лекции в самые разные институты. То же самое творилось и в Москве. И занимались этим не любители сенсации, не журналисты — открыватели непризнанных гениев: есть такая публика, — как раз наоборот, серьезные ученые, молодые доктора наук — весьма точных наук, люди скептические, готовые скорее свергать авторитеты, чем устанавливать.

Чем для них был Любищев — казалось бы, провинциальный профессор, откуда-то из Ульяновска, не лауреат, не член ВАКа. . . Его научные труды? Их оценивали высоко, но имелись математики и покрупнее Любищева, и генетики позаслуженнее его.

Его эрудиция? Да, он много знал, но в наше время эрудицией можно удивить, а не завоевать.

Его принципиальность, смелость? Да, конечно. . . смелых идей у него хватало. . .

Но я, например, немногие из них мог оценить, и большинство мало что понимало в его специальных исследованиях. . . Что им было до того, что Любищев получал

лучшую дискриминацию трех видов Хэтокнема? Я понятия не имел, что это за Хэтокнем, и до сих пор не знаю. И дискриминантные функции тоже не представляю. И тем не менее редкие встречи с Любищевым производили на меня сильное впечатление. Оставив свои дела, я следовал за ним, часами слушал его быструю речь с дикцией отвратительной, неразборчивой, как и его почерк.

Симптомы этой влюбленности и жадного интереса напомнили мне таких людей, как Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, и Лев Давидович Ландау, и Виктор Борисович Шкловский. Правда, там я знал, что передо мною люди исключительные, всеми признанные как исключительные. У Любищева же такой известности не было. Я видел его без всякого ореола: плохо одетый, громоздкий, некрасивый старик, с провинциальным интересом к разного рода литературным слухам. Чем он мог пленить? Поначалу казалось, что привлекает еретичность его взглядов. Все, что он говорил, шло как бы вразрез. Он умел усомнить самые незыблемые положения. Он не боялся оспаривать какие угодно авторитеты — Дарвина, Тимирязева, Тейяра де Шардена, Шредингера... Всякий раз доказательно, неожиданно, думал отсюда, откуда никто не думал. Видно было, что он ничего не заимствовал, все было его собственное, выношенное, проверенное. И говорил он собственными словами, в их первоначальном значении.

— Я — кто? Я — дилетант, универсальный дилетант. Слово-то это происходит от итальянского «дилетто», что значит — удовольствие. То есть человек, которому процесс всякой работы доставляет удовольствие.

Еретичность была только признаком, за ней угадывалась общая система миропонимания, нечто непривычное, контуры уходящего куда-то ввысь грандиозного сооружения. Формы этого еще не достроенного здания были странны и привлекательны...

И все же этого было недостаточно. Чем-то еще пленял этот человек. Не только меня. К нему обращались учителя, заключенные, академики, искусствоведы, журналисты, агрономы и люди, о которых я не знаю, кто они. Я читал не их письма, а ответы Любищева. Обстоятельные, свободные, серьезные, некоторые — очень интересные, и в каждом письме он оставался самим собой.

Чувствовалась его непохожесть, отдельность. Через письма я лучше понял свое чувство. В письмах он раскрывался, по-видимому, лучше, чем в общении. По крайней мере так мне казалось теперь.

Не случайно у него почти не было учеников. Хотя это вообще свойственно многим крупным ученым, создателям целых направлений и учений. У Эйнштейна тоже не было учеников, и у Менделеева, и у Лобачевского. Ученики, научная школа — это бывает не так часто. У Любищева были поклонники, были сторонники, были почитатели и были читатели. Вместо учеников у него были *учащиеся*, то есть не он их учил, а они учились у него — трудно определить, чему именно, скорее всего тому, как надо жить и мыслить. Похоже было, что вот наконец-то нам встретился человек, которому известно, зачем он живет, для чего. . . . Словно бы имелась у него высшая цель, а может, даже открылся ему смысл его бытия. Не просто нравственно жить и добросовестно работать, а, похоже, он понимал сокровенное значение всего того, что делал. Ясно, что это годилось только для него одного. Альберт Швейцер не призывал никого ехать врачами в Африку. Он отыскал свой путь, свой способ воплощения своих принципов. Тем не менее пример Швейцера затрагивает совесть людей.

У Любищева была своя история. Не явная, большей частью скрытая, как в клубнях. Они начали обнажаться лишь теперь, но присутствие их ощущалось всегда. Что бы там ни говорилось, интеллект и душа человеческая обладают особым свойством излучения — помимо поступков, помимо слов, помимо всех известных законов физики. . . . Чем значительнее душа, тем сильнее впечатление.

26

**Глава третья,
в которой автор сообщает сведения,
разумеется,
достойные удивления и раздумья**

Никто, даже близкие Александра Александровича Любищева, не подозревали величины наследия, оставленного им.

При жизни он опубликовал около семидесяти науч-

ных работ. Среди них классические работы по дисперсионному анализу, по таксономии, то есть по теории систематики, по энтомологии, — работы, широко переведенные за границей.

Всего же им написано более пятисот листов разного рода статей и исследований. Пятьсот листов — это значит двенадцать с половиной тысяч страниц машинописного текста: с точки зрения даже профессионального писателя, цифра колоссальная.

История науки знает огромные наследия Эйлера, Гаусса, Гельмгольца, Менделеева. Для меня подобная продуктивность всегда была загадочной. При этом казалось необъяснимым, но естественным, что в старину люди писали больше. Для нынешних же ученых многотомные собрания сочинений — явление редкое и даже странное. Писатели — и те, похоже, стали меньше писать.

Наследие Любищева состоит из нескольких разделов: там работы по систематике земляных блошек, истории науки, сельскому хозяйству, генетике, защите растений, философии, энтомологии, зоологии, теории эволюции, атеизму. Кроме того, он писал воспоминания о ряде ученых, о разных периодах своей собственной жизни, о Пермском университете. . .

Он читал лекции, заведовал кафедрой, отделом научного института, ездил в экспедиции; в тридцатые годы он исколесил вдоль и поперек Европейскую Россию, ездил по колхозам, занимаясь вредителями садов, стеблевыми вредителями, сусликами. . . В так называемое свободное время, для «отдыха», он занимался классификацией земляных блошек. Объем только этих работ выглядит так: к 1955 году Любищев собрал 35 ящиков смонтированных блошек. Их было там 13 000. Из них у 5 000 самцов он препарировал органы. Триста видов. Их надо было определить, измерить, препарировать, изготовить этикетки. Он собрал материалов в шесть раз больше, чем имелось в Зоологическом институте. Он занимался классификацией рода Хальтика всю жизнь. Для этого надо иметь особый талант углубления, надо уметь понимать такие работы, их ценность и неисчерпаемую новизну. Когда у известного гистолога Невмываки спросили, как может он всю жизнь изучать строение червя, он удивился: «Червяк такой длинный, а жизнь такая короткая!»

Любищев умудрился работать и вширь и вглубь, быть узким специалистом и быть универсалом.

Диапазон его знаний трудно было определить. Заходила речь об английской монархии — он мог привести подробности царствования любого из английских королей; говорили о религии — выяснялось, что он хорошо знает Коран, Талмуд, историю папства, учение Лютера, идеи пифагорейцев... Он знал теорию комплексного переменного, экономику сельского хозяйства, социал-дарвинизм Р. Фишера, античность и бог знает что еще. Это не было ни всезнайством, ни начетничеством, ни феноменом памяти. Подобные знания возникли в силу причин, о которых речь пойдет ниже. Замечу, что, конечно, и усидчивостью он обладал колоссальной. Усидчивость — это ведь тоже свойство некоторых талантов, кстати — распространенное и необходимое для такой специальности, как энтомология: Любищев сам говорил, что принадлежит к ученым, которых надо снимать не с лица, а с зада.

Судя по отзывам специалистов такого класса, как Лев Берг, Николай Вавилов, Владимир Беклемишев, — цена написанного Любищевым — высокая. Ныне одни его идеи из еретических перешли в разряд спорных, другие из спорных — в несомненные. За судьбу его научной репутации, даже славы, можно не беспокоиться.

Я не собираюсь популярно пересказывать его идеи, измерять его заслуги. Мне интересно иное: каким образом он, наш современник, успел так много сделать, так много надумать? Последние десятилетия — а умер он восьмидесяти двух лет — работоспособность и идеепродуктивность его возрастали. Дело даже не в количестве, а в том, как, каким образом он этого добивался. Вот этот способ и составлял суть наиболее для меня привлекательного создания Любищева. Способ его работы представлял открытие, оно существовало независимо от всех остальных его работ и исследований. По виду это была чисто технологическая методика, ни на что не претендующая, — так она возникла, но в течение десятков лет она обрела нравственную силу. Она стала как бы каркасом жизни Любищева. Не только наивысшая производительность, но и наивысшая жизнедеятельность.

Этика не имеет единиц измерения. Даже в вечных и общих определениях — добрый, злой, душевный, жестокий — мы беспомощно путаемся, не зная, с чем

сравнить, как понять, кто действительно добр, а кто добренький, и что значит истинная порядочность, где критерии этих качеств. Любищев не только сам жил нравственно, но чувствовалось, что у него существуют какие-то точные критерии этой нравственности, выработанные им и связанные как-то с его системой жизни.

Глава четвертая — про то, какие бывают дневники

Архив Любищева еще при жизни хозяина поражал всех, кто видел эти пронумерованные, переплетенные тома. Десятки томов, сотни. Научная переписка, деловая, конспекты по биологии, математике, социологии, дневники, статьи, рукописи, воспоминания его, воспоминания его жены Ольги Петровны Орлицкой, которая много работала над этим архивом, записные книжки, заметки, научные отчеты, фотографии, комментарии к прочитанным книгам...

Письма, рукописи перепечатывались, копии подшивались — не из тщеславия и не в расчете на потомков, нисколько. Большею частью архива сам Любищев постоянно пользовался, в том числе и копиями собственных писем — в силу их особенности, о которой речь впереди.

Архив как бы фиксировал, регистрировал со всех сторон и семейную и деловую жизнь Любищева. Сохранять все бумажки, все работы, переписку, дневники, которые велись с 1916 года (!), — такого мне не встречалось. Биографу нечего было и мечтать о большем. Жизнь Любищева можно было воссоздать во всех ее извилах, год за годом, более того — день за днем, буквально по часам. Не прерывая, насколько мне известно, ни разу, Любищев вел этот дневник с 1916 года — и в дни революции, и в годы войны, он вел его лежа в больнице, вел в экспедициях, в поездках: оказывается, не существовало причины, события, обстоятельства, при которых нельзя было занести в дневник несколько строчек.

Николай Федоров, которого Толстой и Достоевский называли гениальным русским мыслителем, мечтал вос-

кресить людей. Он не желал примириться с гибелью хотя бы одного человека. С помощью научных центров он намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». В фантастических человеколюбивых идеях его был страстный протест против смерти, невозможность примириться с ней, подчиниться слепой разлагающей силе — природе. Так вот в федоровском смысле воссоздать Любищева, или «воскресить», можно, вероятно, легче и точнее, чем кого-либо другого, поскольку для этого имеется множество сведений, материалов, иначе говоря — параметров. Можно как бы восстановить все его координаты в пространстве и времени — где он был в такой-то день, что делал, что читал, кого видел, куда двигался.

Естественно, что из его архива меня прежде всего заинтересовали дневники.

Писателя всегда манят дневники, возможность прикоснуться к сокрытому бытию чужой души, проследить ее историю, увидеть время ее глазами. Любой дневник, что добросовестно ведется из года в год, становится драгоценным фактом литературы. «Всякая жизнь интересна, — писал Герцен, — не личность, так среда, страна занимает, жизнь занимает...» Дневник требует всего лишь честности, раздумий и воли. Литературные способности иногда даже мешают беспристрастному свидетельству очевидца. Бесхитростные, самые простые житейские дневники — их почему-то так мало ныне... Проходят годы, и вдруг выясняется, что события исторические, народные, протекавшие у всех на глазах, затронувшие тысячи и тысячи судеб, отражены в записях современников и бедно и скупо. Оказывается, что о ленинградской блокаде имеется считанное количество дневниковых, то есть самых насущных документов. Часть, очевидно, погибла, другие затерялись, но и велось их мало, вот в чем беда, — дневников всегда не хватает.

Дневники Александра Александровича Любищева сохранились не все, большая часть его архива до 1937 года, в том числе и дневники, пропала во время войны в Киеве. Уцелел первый том дневников — большая конторская книга, красиво отпечатанная на машинке красными и синими шрифтами, начатая первого января 1916 года. Дневники с 1937 года до последних дней жизни составили несколько толстых томов: уже не конторские книги,

а школьные тетрадки, сшитые, затем переплетенные — самодельно, некрасиво, но прочно.

Я листал их — то за шестидесятый год, то за семидесятый; заглянул в сороковой, в сорок первый — всюду было одно и то же. Увы, это были никакие не дневники. Повсюду я натыкался на краткий перечень сделанного за день, расцененный в часах и минутах и еще в каких-то непонятных цифрах. Я посмотрел довоенные дневники — и там записи того же типа. Ничего из того, что обычно составляет плоть дневников, — ни описаний, ни подробностей, ни размышлений.

«Ульяновск. 7.4.1964. Систем. энтомология (два рисунка неизвестных видов Псиллиолес) — 3 ч. 15 м. Определение Псиллиолес — 20 м. (1,0)

Дополнительные работы: письмо Славе — 2 ч. 45 м. (0,5)

Общественные работы: заседание группы защиты растений — 2 ч. 25 м.

Отдых: письмо Игорю — 10 м.; Ульяновская правда — 10 м. Лев Толстой «Севастопольские рассказы» — 1 ч. 25 м.

Всего основной работы — 6 ч. 20 м.»

«Ульяновск. 8.4. 1964. Систематическая энтомология: определение Псиллиолес, конец — 2 ч. 20 м. Начало сводки о Псиллиолес — 1 ч. 05 м. (1,0)

Дополнительные работы: письмо Давыдовой и Бляхеру, шесть стр. — 3 ч. 20 м. (0,5).

Передвижение — 0,5.

Отдых: брился. Ульяновская правда — 15 м. Известия — 10 м. Литгазета — 20 м.; А. Толстой «Упырь» — 66 стр. — 1 ч. 30 м. Слушал «Царскую невесту». Римский-Корсаков.

Всего основной работы — 6 ч. 45 м.»

Десятки, сотни страниц были заполнены вот такими уныло-деловыми записями по пять-семь строчек. Если не энтомология, то отмечалась из месяца в месяц работа над большой книгой «Линии Демокрита и Платона в истории культуры». Или: «Развитие морфологии», или: «Статистический метод в прикладной биологии». Руководство, над которым Любищев работал в 1951—52 годах. Постоянно он отмечал, сколько за день сделал по той или иной рукописи. Из этого и состояли дневники. По крайней мере таков был результат первого осмотра.

На этом следовало бы и кончить с ними. Не было никакого резона возиться с дневниками еще, из сухих перечислений невозможно было выжать ни эмоций, ни любопытных деталей времени, язык их был бесцветно-однообразен, отсутствовала всякая интимность, они были почти начисто лишены горечи, восторга, юмора; подробности, которые иногда проскальзывали, были телеграфно иссушены:

«Вечером у нас трое Шустовых».

«Весь день дома, слабость после болезни».

«Два раза дождь, отчего не купался».

Читать дальше дневники не имело смысла.

Напоследок, любопытства ради; я посмотрел записи начала Отечественной войны.

«22.6.1941. Киев. Первый день войны с Германией. Узнал об этом около 13 час...» —

и дальше обычная сводка сделанного.

«23.6.1941. Почти целый день воздушная тревога. Митинг в Институте биохимии. Ночное дежурство».

«29.6.1941. Киев. На дежурстве в Институте зоологии с 9 до 18 ч. занимался номографией и писал отчет. Вечернее дежурство... Итого 5 ч. 20 м.»

С тем же бесстрашием он отмечает проводы старшего сына на фронт, затем и младшего. В июле 1941 года его эвакуируют с женой и внуком из Киева на пароходе. И там, на пароходе, он с той же краткостью неукоснительно регистрирует:

«21.VII.1941. Нападение немецкого самолета на пароход «Котовский» — бомбежка и обстрел пулеметами. Убит капитан парохода и какой-то военный капитан, ранено 4 человека. Повреждено колесо, поэтому пароход не сделал остановку в Богруче, а поехал прямо на Кременчуг».

Печальные даты поражений сорок первого года и радости первых наших зимних побед почти не отражались в дневнике. События всеобщие словно бы не затрагивали автора. Май сорок пятого, послевоенное восстановление

жизни, отмена карточек, трудности сельского хозяйства. . . Ничто не попадало в эти ведомости. Происходили научные и ненаучные дискуссии, на биологическом фронте разыгрывались в те годы битвы поистине кровавые, — Любищев не сторонился их, он участвовал в них, он выступал, он возмущался, писал письма, статьи, спорил, были моменты, когда он оказывался в центре сражения — его увольняли, прорабатывали, ему грозили, — но были и триумфы, были праздники, семейные радости — ничего этого я не находил в дневниках. Уж кто-кто, а Любищев был накрепко связан и с сельским хозяйством, знал, что происходило в предвоенной деревне и в послевоенной, писал об этом в докладных, в специальных работах — и ни слова в дневниках. При всей его отзывчивости, гражданской активности, дневники его из года в год сохраняли канцелярскую невозмутимость, чисто бухгалтерскую отчетность. Если судить по ним, то ничего не в состоянии было нарушить рабочий ритм, установленный этим человеком. Не знай я Любищева, дневники эти могли озадачить психологической глухотой, совершенством изоляции от всех тревог мира и от собственной души. Но, зная автора, я тем более изумился и захотел уяснить, какой был смысл с такой тщательностью десятки лет вести этот — ну, пусть не дневник, а учет своего времени и дел, что мог такой перечень дать своему хозяину? Из коротких записей не могло возникнуть воспоминаний. Ну, заходили Шустовы, ну и что из этого? Стиль записей предназначался не для напоминаний, не было в нем и зашифрованности. Притом это был дневник не для чтения, тем более постороннего. Вот это-то и было любопытно. Потому что любой самый сокровенный дневник где-то там, подсознательно, за горизонтом души, ждет своего читателя.

Но если это не дневник, тогда что же и для чего?

Тогдашние мои глубокомысленные рассуждения ныне производят на меня комичное впечатление: сам себе кажешься непонятливым тугодумом. Так всегда, я убежден, что если записать, какие рассуждения предшествовали любому, даже талантливому открытию, то нас поразит количество трухи, разных глупых, абсурдных предположений.

Не существует никаких правил для ведения дневников, тем не менее это был не дневник. Сам Любищев не претендовал на это. Он считал, что его книги ведут

«учет времени». Как бы бухгалтерские книги, где он по своей системе ведет учет израсходованного времени.

Я обратил внимание, что в конце каждого месяца подводились итоги, строились какие-то диаграммы, составлялись таблицы. В конце года опять, уже на основании месячных отчетов, составлялся годовой отчет, сводные таблицы.

Диаграммы на клетчатой бумаге штриховались карандашиком то так, то этак, и сбоку какие-то цифирки, что-то складывалось, умножалось.

Что все это означало? Спросить было некого. Любимцев в механику своего учета никого не посвящал. Не засекал, отнюдь, видимо, считал подробности делом подсобным. Было известно, что годовые отчеты он рассылал друзьям. Но там были итоги, результаты.

На первый взгляд систему учета можно было принять за хронометраж прошедшего дня. Вечером, перед сном, человек садится, подсчитывает, на что и сколько времени он потратил, и выводит итог — время, израсходованное на основную работу. Казалось бы, чего проще! Но сразу же возникали вопросы — что считать основной работой, зачем учитывать остальное время, да еще так подробно, что вообще дает такой хронометраж, что означают какие-то цифры-половинки и единички, расставляемые в течение дня, и т. п.

И был еще вопрос — стоит ли разбираться в этой системе, вникать в ее детали и завитки и искать ответа на эти вопросы. С какой стати?.. Я спрашивал себя — и тем не менее продолжал вникать, ломал себе голову, возился над секретами его системы. Какое-то смутное предчувствие чего-то, имеющего отношение к моей собственной жизни, мешало мне отложить эти дневники в сторону.

Глава пятая — о времени и о себе

«Все, о Люцилий, не наше, а чужое, только время наша собственность, — писал Сенека. — Природа представила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую вдобавок может отнять у нас всякий, кто этого захочет... Люди решительно ни

во что не ценят чужого времени, хотя оно единственная вещь, которую нельзя возвратить обратно при всем желании. Ты спросишь, может быть, как же поступаю я, поучающий тебя? Признаюсь, я поступаю как люди расточительные, но аккуратные — веду счет своим издержкам. Не могу сказать, чтобы я ничего не терял, но всегда могу отдать себе отчет, сколько я потерял, и каким образом, и почему».

Так еще в самом начале нашей эры, в 50-м году, научные работники, — а Сенеку можно вполне считать научным работником, — вели счет своему времени и старались экономить его. Философы, то есть древние философы, первыми поняли ценность времени — они наверняка еще до Сенеки пробовали как-то обуздать время, приручить, понять его природу, ибо и тогда оно доставляло людям огорчение своей быстротечностью.

Однако мы, по своему самомнению, уверены, что у древних времени девать было некуда. Что они, со своими солнечными, водяными и песочными часами, измерить его как следует не умели, а значит, и не берегли. Прогресс — он ведь к тому сводится, по мнению делового человека, чтобы сэкономить этому деловому человеку время. Для этого деловой человек из кареты пересел в поезд, оттуда на самолет. Вместо писем придумали телеграммы и телефоны, вместо театров — телевизоры, вместо пуговиц — «молнии», вместо гусяного пера — шариковую ручку. Эскалаторы, компьютеры, универмаги, телетайпы, электробритвы — все изобретается для того, чтобы сберечь человеку время. Однако почему-то нехватка этого времени у человека возрастает. Деловой человек наращивает скорости, внедряет ЭВМ, переделывает универмаги в универсамы, печатает газеты фотоспособом, он и говорить старается лаконичнее, уже не пишет, а диктует в диктофон, а дефицит времени увеличивается. Не только у него — цейтнот становится всеобщим. Недостает времени на друзей, на письма, на детей, нет времени на то, чтобы думать, чтобы не думая постоять в осеннем лесу, слушая черенковый хруст облетающих листьев, нет времени ни на стихи, ни на могилы родителей. Времени нет и у школьников, и у студентов, и у стариков. Время куда-то исчезает, его становится все меньше. Часы перестали быть роскошью. У каждого они на руке, точные, выверенные, водонепроницаемые, у всех тикают будиль-

ники, но времени от этого не прибавилось. Время распределяется почти так же, как и две тысячи лет назад, при том же Сенеке: «Большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки; значительная часть протекает в бездействии, и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо».

Вполне актуально, если исключить время, которое тратится на работу. За эти две тысячи лет положение, конечно, несколько исправилось, появилось много исследований о времени свободном, времени физическом, космическом, об экономии времени и его правильном употреблении. Выяснилось, что время нельзя повернуть вспять, а также хранить, сдавать его излишки в хранилища и брать по мере надобности. Это было бы очень удобно, потому что человеку не всегда нужно Время. Бывает, что его вовсе не на что тратить, и тогда приходится его убивать. Время — оно тем и мучительно, что его нельзя не тратить, и транжирят его куда попало, на всякую ерунду. Есть люди, которых время обременяет, они не знают, куда его деть, как от него отделаться.

Известно, что люди счастливые не наблюдают часов, верно и другое — что и те, кто не наблюдает часов, уже счастливы. Однако Любищев добровольно, не по службе, не по какой-то нужде, взял на себя несчастливую обязанность «наблюдать часы».

Дочь Александра Александровича рассказывала, что в детстве, когда она и брат приходили к отцу в кабинет со своими расспросами, он, начиная им терпеливо отвечать, делал при этом какую-то отметку на бумаге. Так было всегда. Много позже она узнала, что он отмечал время. Он постоянно хронометрировал себя. Любое свое действие — отдых, чтение газет, прогулки — он отмечал по часам и минутам. Занялся он этим с первого января 1916 года. Ему было тогда 26 лет, он служил в армии, в Химическом комитете, у известного химика Владимира Николаевича Игнатьева. Был Новый год, и Любищев дал себе обет, как всегда дают в этот день, с чем-то закончить и что-то начать.

Первая книга учета, как я уже писал, сохранилась. Там система еще примитивная, и дневник иной — он полон размышлений, заметок. Система складывалась постепенно, в дневниках 1937 года она предстает в отработанном виде.

Как бы там ни было, с 1916 года по 1972-й, по день смерти, пятьдесят шесть лет подряд, Александр Александрович Любищев аккуратно записывал расход времени. Он не прерывал своей летописи ни разу, даже смерть сына не помешала ему сделать отметку в этом нескончаемом отчете. Но ведь и бог времени Хронос тоже ни разу не перестал махать своей косой.

Каждодневно Любищев итожил по часам и минутам прожитое время.

Сама по себе верность Любищева своей системе — явление исключительное, само наличие такого дневника, может быть, единственно в своем роде.

Несомненно, что с годами у Любищева от непрерывного слежения за временем выработалось специальное чувство времени: биологические часы, тикающие в глубинах нашего организма, стали у него органом и чувства и сознания. Я сужу по записям о наших с ним беседах, они отмечены со всей точностью: «1 ч. 35 м.», «1 ч. 50 м.» — при этом он, разумеется, не смотрел на часы. Мы с ним гуляли, никуда не торопясь, я провожал его, и каким-то внутренним взором он чувствовал бег стрелки по циферблату, — поток времени был для него осязаемым, он как бы стоял посреди этого потока, ощущая холодные струи Леты.

Просматривая его рукопись «О перспективах применения математики в биологии», я нашел на последней странице «цену» этой статьи:

«Подготовка (план, просмотр рукописей и литературы)	14 ч. 30 м.
Писал	29 ч. 15 м.
Всего потратил	43 ч. 45 м.

Восемь дней, с 12 по 19 октября 1921 г.»

Следовательно, уже в 1921 году он имел разработанный учет времени, который позволял ему точно определять затраты на работу.

Имел и умел вести этот учет.

Иногда авторы на рукописи ставят дату окончания, реже — число, еще реже — с какого по какое писалось, но затраченные часы — это я увидел впервые.

У Любищева была подсчитана «стоимость» каждой статьи. Каким образом шел этот подсчет? Оказывается, никакого специального подсчета не было — его система,

словно компьютер, выдавала ему эти данные: на статью, на прочитанную книгу, на написанное письмо — буквально все оказывалось сосчитанным.

...И времени стало меньше, и цена на него поднялась.

Самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. Но если всмотреться в эту самую жизнь поподробнее, то можно сказать, что самое дорогое — это Время, потому что жизнь состоит из времени, складывается из часов и минут. Современный человек так или иначе планирует свое дорогое, дефицитное, ни на что не хватающее время. Как и все, я тоже составляю список предстоящих дел, чтобы разумнее распределить время, я тоже планирую время на неделю, иногда на месяц, отмечаю выполнение. Люди организованные, волевые — те анализируют прожитый день, выясняют, как рационально расходовать свое время. Правда, только рабочее время, но и то (для меня) такие люди — положительные герои. У меня не хватило бы воли заниматься этим, да и что тут приятного! Тем более что картина может получиться удручающая. Стоит ли без особой на то нужды терять самоуважение? Одно дело упрекать себя за неорганизованность, за неумение регламентировать свою жизнь, и другое — знать все это про себя в часах и минутах. Когда мы искренне уверены, что стараемся сделать как можно больше, добросовестно вкалываем, и вдруг нам преподносят, что полезной-то работы было, может, час-полтора, а остальное ушло, расплзлось, просыпалось на бегодную, разговоры, ожидание, бог знает куда. А ведь дорожили каждой минутой, отказывали себе в отдыхе, в развлечениях...

Появились специалисты по экономии времени, специальные методические пособия. Больше всего занимаются этим для руководителей предприятий. Подсчитано, что их время самое дорогое.

Научный наставник американских менеджеров Питер Друкер рекомендует каждому руководителю вести точную регистрацию своего времени, оговариваясь, что это весьма трудно и что большинство людей такой регистрации не выдерживает:

«Я заставляю себя обращаться с просьбой к моему

секретарю через каждые девять месяцев вести учет моего времени в течение трех недель... Я обещаю себе и обещаю ей письменно (она настаивает на этом), что я не уволю, когда она принесет результаты. И тем не менее, хотя я делаю это в течение пяти или шести лет, я каждый раз вскрикиваю: «Этого не может быть, я знаю, что теряю много времени, но не может быть, чтобы так много...» Хотел бы я увидеть кого-либо с иными результатами подобного учета!»

Питер Друкер уверен, что вызова его никто не примет. Он профессионал и знает это на своем опыте мужественного человека. Решиться на такой анализ способны немногие. Это требует больших усилий души, чем исповедь. Открыться перед богом легче, чем перед людьми. Нужно бесстрашие, чтобы предстать перед всеми и перед собой со своими слабостями, пороками, пустотой... Друкер прав, — рассматривать себя пристально и беспощадно умели разве что такие люди, как Жан-Жак Руссо или Лев Толстой.

Здесь, конечно, речь идет о меньшем — увидеть свое профессиональное «я», но и на это отваживаются единицы.

Любищев не был администратором, организатором: ни его должность, ни окружающие люди не требовали от него подобного режима. У него не было возможности поручить регистрацию своего времени секретарше. Мало того, что он вел самолично каждодневный учет, — он сам подводил итоги, беспощадно подробные, ничего не утаивая и не смягчая, составлял планы, где старался распределить вперед, на месяц, каждый свой час. Словом, вся его система сама по себе требовала изрядного времени. Спрашивается — чего ради стоило ее вести? Какой смысл имело обрекать себя на эту добровольную каторгу? — недоумевали его друзья. Он отделывался весьма общим ответом: «Я к этой системе учета своего времени привык и без этой системы работать не могу». Но для чего было привыкать к этой системе? Для чего было создавать ее? То есть для чего она вообще нужна и полезна деловому человеку — это понятно, общие рекомендации нам всегда понятны, но вот почему именно он, Любищев, пошел на это, что его заставило?

Глава шестая,
в которой автор хочет добраться до основ,
понять, с чего все началось

В 1918 году Александр Любищев ушел из армии и занялся чисто научной работой. К этому времени он сформулировал цель своей жизни: создать естественную систему организмов.

«Для установления такой системы необходимо отыскать что-то аналогичное атомным весам, что я думаю найти путем математического изучения кривых в строении организмов, не имеющих непосредственно функционального значения... — так писал Александр Александрович в 1918 году, — математические трудности этой работы, по-видимому, чрезвычайно значительны... К выполнению этой главной задачи мне придется приступить не раньше, чем через пять лет, когда удастся солиднее заложить математический фундамент... Я задался целью со временем написать математическую биологию, в которой были бы соединены все попытки приложения математики к биологии».

В те годы идеи его были встречены прохладно. А надо заметить, что Таврический университет в Симферополе, куда приехал работать Любищев в 1918 году, собрал у себя поистине блестящий состав: математики Н. Крылов, В. Смирнов, астроном О. Струве, химик А. Байков, геолог С. Обручев, минералог В. Вернадский, физики Я. Френкель, И. Тамм, лесовод Г. Морозов, естествоведы Владимир и Александр Палладины, П. Сушкин, Г. Высоцкий и, наконец, учитель Любищева, человек, которого он почитал всю жизнь, — Александр Гаврилович Гурвич.

Сомнения корифеев не смутили молодого преподавателя. С годами уточнялись подходы, кое-что приходилось пересматривать, но общая задача не менялась — раз начав, он всю жизнь следовал поставленной цели.

Согласно легенде, Шлиману было восемь лет, когда он поклялся найти Троию. Пример со Шлиманом широко

известен еще и потому, что подобная прямолинейная пожизненная нацеленность — в науке редкость. Любищев в двадцать с лишним лет, начиная свою научную работу, тоже точно знал, чего он хочет. Счастливая и необычная судьба! Он сам сформулировал программу своей работы и предопределил тем самым весь характер своей деятельности фактически до конца дней.

Хорошо ли это — так жестко запрограммировать свою жизнь. Ограничить. Надеть шоры. Упустить иные возможности. Иссушить себя. . .

А вот оказывается, и это примечательно, что судьба Любищева — пример полнокровной, гармоничной жизни, и значительную роль в ней сыграло неотступное следование своей цели. От начала до конца он был верен своему юношескому выбору, своей любви, своей мечте. И сам он себя считал счастливым, и в глазах окружающих жизнь его была завидна своей целеустремленностью.

Двадцатитрехлетний Вернадский писал, что ставит себе целью быть «возможно могущественнее умом, знаниями, талантами, когда мой ум будет невозможно разнообразно занят. . .» И в другом месте: «Я вполне сознаю, что могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который заведет меня в дебри; но я не могу не идти по нему, мне ненавистны всякие оковы моей мысли, я не могу и не хочу заставить ее идти по дорожке, практически важной, но такой, которая не позволит мне хоть несколько более понять те вопросы, которые мучают меня. . . И это искание, это стремление — есть основа всякой научной деятельности; это только позволит не сделаться какой-нибудь ученой крысой, роющейся среди всякого книжного хлама и сора; это только заставляет вполне жить, страдать и радоваться среди ученых работ. . . ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важно найти, и если не найти, то стремиться найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была».

Они всегда волнуют, эти молодые клятвы: Герцен, Огарев, Кропоткин, Мечников, Бехтерев — поколения русских интеллигентов клялись себе посвятить жизнь борьбе за правду. Каждый выбирал свой путь, но нечто общее связывало их, таких разных людей. Это не сведешь к преданности, допустим, науке, да и никто из них не жил одной наукой. Они все занимались и историей, и эстети-

кой, и философией. История нравственных исканий русских писателей известна. У русских ученых была не менее интересная и глубокая история их этических поисков.

Но одно дело поклясться в верности науке, пусть своей любимой науке, а другое — поставить себе конкретную цель.

А если Трои не было? Если она рождена фантазией Гомера? Значит, жизнь, потраченная Шлиманом на поиск, уйдет впустую?

А если цель, поставленная Любищевым, недостижима, в принципе недостижима? Если где-то лет через двадцать окажется, что создать такую естественную систему организмов невозможно? Или что современный математический аппарат для этого не годится? Тогда, выходит, все эти годы ушли зря, цель была ложной, вместо цели — бесцельность.

Ну что же, риск? Нет, тут пострашнее, чем риск, тут на карту ставилась будущность, талант, надежды — лучшее, что есть в человеческой жизни. Кто знает, сколько таких мечтателей сгинуло, не одолев несбыточных целей!

Фанатичность, нетерпимость, аскетизм — чем только не приходится платить ученым за свою мечту!

Одержимость в науке — вещь опасная: может, для иных натур — необходимая, неизбежная, но уж больно велики издержки; люди одержимые причинили немало вреда науке, одержимость мешала критически оценивать происходящее даже таким гениям, как Ньютон, — достаточно вспомнить несправедливости, причиненные им Гуку.

В молодости положительным героем для Любищева был Базаров с его нигилизмом, рационализмом. Многие однокашники Любищева подражали в те годы Базарову. Вот, между прочим, пример активного воздействия литературного героя не на одно, а на несколько поколений русской интеллигенции! Подобно Базарову, в молодости они считали стоящими естественные науки, а всякую историю и философию — чепухой. Между прочим, литературу — тоже. Молодой Любищев признавал литературу лишь как средство для лучшего изучения иностранных языков: «Анну Каренину» он читал по-немецки, «так как переводной язык легче оригинального».

Все было подчинено биологии, что не способствовало — отбрасывалось. Он мечтал стать подвижником и действовал по банальным рецептам героизма: прежде всего работа, все для дела, во имя дела разрешается пожертвовать чем угодно.

Дело заменяло этику, определяло этику, было этикой, снимало все проблемы бытия, философии, ради дела можно было пренебречь всеми радостями и красками мира.

Взамен он получал превосходство самопожертвования.

Это был знакомый нам культ науки. Биологическая задача, которой он служил, была достаточно важной, остальное его не касалось. Наука требовала максимальных усилий, жесточайшего самоограничения. Либо — либо. Обычная крайность. Либо — святой, герой, либо — обыватель, мироед, личность по всем статьям недостойная. У нас середины не бывает. Если не можешь служить примером, идеалом, тогда уж все равно — быть ли обманщиком или честным ученым, интересоваться искусством или быть невеждой, хамом... Признается лишь совершенство, а то, что человек добросовестный, порядочный, — этого мало.

Любищев начинал обыкновенно — как все в молодости, он жаждал совершить подвиг, стать Рахметовым, стать сверхчеловеком. Лишь постепенно он пробивался к естественности — к человеческим слабостям, он находил силы идти еще дальше, забираться все круче — к человечности, к самой что ни на есть простой человечности.

Понадобились годы, чтобы понять, что лучше было не удивлять мир, а, как говорил Ибсен, жить в нем.

Лучше и для людей и для той же науки.

Преимущество Любищева состояло прежде всего в том, что он понимал такие вещи намного раньше остальных.

Помогла ему в этом его же работа. Она потребовала... Но, впрочем, это было позднее, на первых же порах она требовала, по всем подсчетам, — а Любищев любил и умел считать, — сил, несоизмеримых с нормальными, человеческими, и времени больше, чем располагает человек в этой жизни. То есть он, конечно, был уверен, что одолеет, но для этого надо было откуда-то взять добавочные силы и добавочное время.

Глава седьмая — о том, с чего начиналась Система

«...Я сходен с гоголевским Акакием Акакиевичем, для которого переписка бумаг доставляла удовольствие... В научной работе я с удовольствием занимаюсь усвоением новых фактов, чисто технической работой и проч. Если прибавить к этому мой оптимизм, унаследованный мной от моего незабвенного отца, то и получится, что я писал «под спуд» многое, на публикацию чего я вовсе не рассчитывал. Конспектирование серьезных вещей я делаю очень тщательно, даже теперь я трачу на это очень много времени. У меня накопился огромный архив. При этом для наиболее важных работ я пишу конспект, а затем критический разбор. Поэтому многое у меня есть в резерве, и когда оказывается возможность печатать, все это вытаскивается из резерва, и статья пишется очень быстро, т. к. фактически она просто извлекается из фонда.

В моей молодости мой метод работы приводил к некоторой отсталости, так как я успевал прочитывать меньше книг, чем мои товарищи, работавшие с книгой более поверхностно. Но при поверхностной работе много интересного не усваивается и прочтенное быстро забывается. При моей же форме работы о книге остается вполне отчетливое, стойкое впечатление. Поэтому с годами мой арсенал становится гораздо богаче арсенала моих товарищей».

С годами вырисовывались преимущества не только этого приема, но и многих других методов его работы. Как будто все у него было рассчитано и задумано на десятилетия вперед. Как будто и долголетие его тоже было предусмотрено и входило в его расчеты.

Все его планы, даже самый последний, пятилетний план, составлялись им из предположения, что надо прожить по крайней мере до девяноста лет.

Но до этого далеко — пока что он стремится использовать каждую минуту, любые так называемые «отбро-

сы времени»: поездки в трамваях, в поездах, заседания, очереди. . .

Еще в Крыму он обратил внимание на гречанок, которые вязали на ходу.

Он использует каждую пешую прогулку для сбора насекомых. На тех съездах, заседаниях, где много пустой болтовни, он решает задачи.

Он устанавливает, что на малые расстояния: два-три километра — лучше ходить пешком, не тратя времени и нервов на ожидание транспорта. Пешком выгоднее и потому, что все равно необходимы прогулки.

Утилизация «отбросов времени» у него продумана до мелочей. При поездках — чтение малоформатных книг и изучение языков. Английский язык он, например, усвоил главным образом в «отбросах времени».

«Когда я работал в ВИЗРе, мне приходилось часто бывать в командировках. Обычно в поезд я забирал определенное количество книг, если командировка предполагалась быть длительной, то я посылал в определенные пункты посылку с книгами. Количество книг, бравшихся с собой, исчислялось исходя из прошлого опыта.

Как распределялось чтение книг в течение дня? С утра, когда голова свежая, я беру серьезную литературу (по философии, по математике). Когда я проработаю полтора-два часа, я перехожу к более легкому чтению — историческому или биологическому тексту. Когда голова уставала, то берешь беллетристику.

Какие преимущества дает чтение в дороге? Во-первых, не чувствуешь неудобства в дороге, легко с ним миришься; во-вторых, нервная система находится в лучшем состоянии, чем в других условиях.

Для трамваев у меня тоже не одна книжка, а две или три. Если едешь с какого-либо конечного пункта (напр., в Ленинграде), то можно сидеть, следовательно, можно не только читать, но и писать. Когда же едешь в переполненном трамвае, а иногда и висишь, то тут нужна небольшая книжечка и более легкая для чтения.

Сейчас в Ленинграде много народу читает в трамваях».

Но «отбросов» по мере использования оставалось все меньше. А между тем времени требовалось все больше.

Углубление работы приводило к ее расширению. Надо было всерьез браться за математику. Затем пришла очередь философии. Он убеждался в многообразии связей биологии с другими науками. Систематика, которой он занимался, способствовала его критическому отношению к дарвинизму, особенно к теории естественного отбора как ведущего фактора эволюции. Он не боялся обвинения в витализме, идеализме, но это требовало изучения философии.

Поздно, но он начинает понимать, что ему не обойтись без истории, без литературы, что зачем-то ему необходима музыка...

Надо было изыскивать все новые ресурсы времени. Ясно, что человек не может регулярно работать по четырнадцать-пятнадцать часов в день. Речь могла идти о том, чтобы правильно использовать рабочее время. Находить время внутри времени.

Практически, как убедился Любичев, лично он в состоянии заниматься высококвалифицированной работой не больше семи-восьми часов.

Он отмечал время начала работы и время окончания ее, причем с точностью до пяти минут.

«Всякие перерывы в работе я выключаю, я подсчитываю время нетто, — писал Любичев. — Время нетто получается гораздо меньше количества времени, которое получается из расчета времени брутто, то есть того времени, которое вы провели за данной работой.

Часто люди говорят, что они работают по 14—15 часов. Может быть, такие люди существуют, но мне не удавалось столько проработать с учетом времени нетто. Рекорд продолжительности моей научной работы 11 часов 30 мин. Обычно я бываю доволен, когда проработаю нетто 7—8 часов. Самый рекордный месяц у меня был в июле 1937 года, когда я за один месяц проработал 316 часов, то есть

в среднем по 7 часов нетто. Если время нетто перевести во время брутто, то надо прибавить процентов 25—30. Постепенно я совершенствовал свой учет и в конце концов пришел к той системе, которая имеется сейчас. . .

Естественно, что каждый человек должен спать каждый день, должен есть, то есть он тратит время на стандартное времяпрепровождение. Опыт работы показывает, что примерно 12—13 часов брутто можно использовать на нестандартные способы времяпрепровождения: на работу служебную, работу научную, работу общественную, на развлечения и т. д.»

Сложность планирования была в том, как распределить время дня. Он решил, что количество отпускаемого времени должно соответствовать данной работе. То есть кусок дневного времени для работы над, допустим, оригинальной статьей не должен быть очень мал или слишком велик.

Планировать — значит подбирать время, создавать ритм, гармонию. На свежую голову надо заниматься математикой, при усталости — чтением книг.

Надо было научиться отстраняться от окружающей среды, чтобы три часа, проведенные за работой, соответствовали трем рабочим часам, — не отвлекаться, не думать о постороннем, не слышать разговоров сотрудников, звонков, смеха, радио. . .

Система могла существовать при постоянном учете и контроле. План без учета был бы нелепостью, вроде той, что совершают в некоторых институтах, планируя без заботы о том, можно ли выполнить этот план.

Надо было научиться учитывать все время.

Деятельное время суток, «нетто», он принял за десять часов; делил его на три части, или шесть половинок, и учитывал с точностью до десяти минут.

Он старался выполнить все намеченное количество работ, кроме работ первой категории, то есть самых творчески насыщенных.

Первая категория состояла из главной работы (над книгой, исследованием) и текущей (чтение литературы, заметки, письма).

Вторая категория включала научные доклады, лекции,

симпозиумы, чтение художественной литературы, то есть то, что не являлось прямой научной работой.

Возьмем, к примеру, любую дневниковую запись — летний день 1965 года:

«Сосногорск. 0,5. Осн. научн. (библиогр. — 15 м. Добржанский — 1 ч. 15 м.). Систематич. энтомология, экскурсия — 2 ч. 30 м., установка двух ловушек — 20 м., разбор — 1 ч. 55 м. Отдых, купался первый раз в Ухте. Извест. 20 м. Мед. газ. 15 м. Гофман. «Золотой горшок» — 1 ч. 30 м. Письмо Андрону — 15 м. Всего 6 ч. 15 м.»

Прослежен, разнесен весь день, вплоть до чтения газет.

Что такое «Всего 6 ч. 15 м.»? Это, как видно из записи, сумма работ только первой категории. Остальное учтенное время — работа второй категории и прочее. Каждый день суммировалась работа первой категории. Затем она складывалась за месяц. Например, за этот август 1965 года набралось 136 часов 45 минут рабочего времени первой категории. Из чего состояли эти часы? Пожалуйста, все сведения имеются в месячном отчете.

«Основная научная работа	— 59 ч. 45 м.
Систематич. энтомология	— 20 ч. 55 м.
Дополнит. работы	— 50 ч. 25 м.
Орг. работы	— 5 ч. 40 м.
<hr/>	
Итого	— 136 ч. 45 м.»

А что такое «Основная научная работа», эти 59 ч. 45 м.? На что они были потрачены? Опять же все расшифровано в отчете:

«1. По таксонам — эскиз доклада «Логика системы»	— 6 ч. 25 м.
2. Разное	— 1 ч. 00 м.
3. Корректурa «Дадонологии»	— 30 м.
4. Математика	— 16 ч. 40 м.
5. Текущая литература: Ляпунов	— 55 м.
6. « Биология	— 12 ч. 00 м.
7. Научные письма	— 11 ч. 55 м.
8. Научные заметки	— 3 ч. 25 м.
9. Библиография	— 6 ч. 55 м.
<hr/>	
Итого	— 59 ч. 45 м.»

Можно пойти дальше, взять любой из этих пунктов. Допустим, пункт шестой, текущая литература: биоло-

гия — 12 часов. Оказывается, известно и записано с точностью до минуты, на что они были «израсходованы»:

«1. Добржанский «Менкайнд Эвольвинг».	
372 стр., кончил читать (всего 16 ч. 55 м.) —	6 ч. 45 м.
2. Анош Карой «Думают ли животные»,	
91 стр.	2 ч. 00 м.
3. Рукопись Р. Берг	2 ч. 00 м.
4. Некоро З., Осверхдо... 17 стр.	40 м.
5. Рукопись Ратнера	1 ч. 30 м.
<hr/>	
Итого	12 ч. 55 м.»

Большинство научных книг конспектировалось, а некоторые подвергались критическому разбору. Все выписки и комментарии регулярно подшивались в общий том. Эти тома, напечатанные на машинке — как бы итоги чтения, — составили библиотеку освоенного. Достаточно перелистать конспект, чтобы вспомнить нужное из книги.

У Любищева было редкое умение извлечь у автора все оригинальное. Иногда для этого хватало странички. Иные солидные книги сводились к нескольким страничкам. Сущность их никак не соответствовала толщине, множеству иллюстраций, таблиц, вкладок, переплету...

Кроме работ первой категории, учитывались с той же подробностью и работы второй категории. Скрупулезность эту объяснить — труднее. С какой стати нужно выписывать и подсчитывать, что на чтение художественной литературы затрачено 23 часа 50 минут! Из них: «Гофман, 258 стр. — 6 часов»; «предисловие о Гофмане Миримского — 1 ч. 30 м.» и т. д. и т. п.

Далее восемь английских названий, всего 530 страниц.

Написано семь плановых (!) писем.

Прочитано газет и журналов за столько-то часов, письма родным — столько-то часов.

Можно было считать такие подробности излишеством, но я уже остерегался поспешных выводов, я убедился, что у Любищева все было разумно, только разумность эта не всегда была очевидной. Не станет он из года в год производить анализ времени, от которого никакой пользы, только зря на него тратится время.

Выясняется, однако, что для Системы нужно было знать все деятельное время, со всеми его закоул-

ками и пробелами. Система не признавала времени, негодного к употреблению. Время ценилось одинаково дорого. Для человека не должно быть времени плохого, пустого, лишнего. И нет времени отдыха: отдых — это смена занятий, это как правильный севооборот на поле.

Ну что ж, в этом была своя нравственность, поскольку любой час засчитывается в срок жизни, они все равноправны, и за каждый надо отчитаться.

Отчет — это отчет перед намеченным планом. Отчет — и сразу план на следующий месяц. Что, для примера, было в плане сентября 1965 года? Намечено: 10 дней — чтение лекций в Новосибирске, в институте, 18 дней — в Ульяновске, 2 дня — в дороге. Далее: сколько часов на какую работу затратить. В подробностях. Допустим, письма: 24 адреса — 38 часов. Список нужной литературы, которую надо прочесть; что сделать по фотографии; кому написать отзыв.

Хотя бы грубо распределялось время по плану работ, предложенному службой, институтом, по прежнему опыту...

«При составлении годовых и месячных планов приходится руководствоваться накопленным опытом. Например, я планирую прочесть такую-то книгу. По старому опыту я знаю, что в час я прочитываю 20—30 страниц. На основании старого опыта я и планирую. Напротив, по математике я планирую прочитать 4—5 стр. в час, а иногда и меньше страниц.»

Все прочитанное я стараюсь проработать. В чем заключается проработка? Если книга касается нового предмета, мало мне известного, то я стараюсь ее проконспектировать. Стараюсь на каждую более или менее серьезную книгу написать критический реферат. На основе прошлого опыта можно наметить для проработки известное количество книг.»

«При серьезном отношении к делу обычно отклонение фактически проработанного времени от намеченного бывает в 10%. Часто бывает, что не удается проработать намеченное количество книг, создается большая задолженность. Часто появляются новые интересы, а по-

тому задолженность бывает велика, и скоро ликвидировать ее невозможно, а потому имеет место невыполнение плана. Бывает невыполнение плана по причине временного упадка работоспособности. Бывают внешние причины невыполнения плана, но во всяком случае мне ясно, что планировать свою работу необходимо, и я думаю, что многое из того, чего я достиг, объясняется моей системой».

Время, что оставалось для основных работ, планировалось: подготовка к лекциям, экология, энтомология и другие научные работы. Обычно работа второй категории превышала работы первой категории процентов на десять.

Всякий раз меня поражала точность, с какой выполнялся план. Случалось, разумеется, и непредвиденное. В отчете за 1938 год Любищев пишет, что работы первой категории не выполнены на 28 процентов:

«Главная причина — болезни Оли и Вали, отчего увеличилось общение с людьми».

Время у него похоже на материю — оно не пропадает бесследно, не уничтожается; всегда можно разыскать, во что оно обратилось. Учитывая, он добывал время. Это была самая настоящая добыча.

Годовой отчет представляет собой многостраничную ведомость, целую тетрадь. Там расписано буквально все. В том же 1938 году: сколько заняла экология, энтомология, оргработа, Зообиологический институт, Плодоягодный институт в Китаеве; сколько времени ушло на общение с людьми, передвижение, домашние дела.

Из этого отчета можно узнать, сколько было прочитано, каких книг, сколько страниц художественной литературы на разных языках. Оказывается, за год — 9000 страниц. Потребовалось на них — 247 часов.

Написано за тот же год 552 страницы научных трудов, из них напечатано 152 страницы.

По вину правил статистики Любищев исследует свой минувший год. Материалов достаточно — это месячные отчеты.

Теперь надо составить план на следующий год. Он составляется с грубой прикидкой, исходя из задач, которые намечает Любищев.

«Центральный пункт (1968 год) — Международный Энтомологический конгресс в Москве, в августе, где думаю сделать доклад о задачах и путях эмпирической систематики».

Он пишет, какие статьи надо закончить к конгрессу, что сделать по определению вида Халтика. Сколько дней пробыть в Ульяновске, в Москве, в Ленинграде. Сколько написать страниц основной в эти годы работы «Линии Демокрита и Платона», сколько по таксономии и эволюции — «О будущем систематики». После этого и следует грубое распределение времени в условных единицах:

«Работа 1-й категории	570 (564,5)
Передвижение	140 (142,0)
Общение	130 (129)
Личные дела	10 (8,5)»

И так далее, всего — 1095.

В скобках проставлено исполнение. Совпадаемость показывает, как точно он мог планировать свою жизнь на год вперед.

В отчете он придиричиво отмечает:

«Учтенных работ первой категории 564,5 против плана 570, дефицит 5,5, или 1,0%».

То есть все сошлось с точностью до одного процента!

Хотя в месячном отчете есть все подробности, тем не менее в годовом отчете все сделанное, прочитанное, увиденное собрано, сосчитано, сведено в группы, подгруппы. Тут суммированы работа и отдых — буквально все, что происходило в минувшем году.

«Развлечение — 65 раз», и следует список просмотренных спектаклей, концертов, выставок, кинокартин.

Шестьдесят пять раз — много или мало?

Кажется, что много; впрочем, боюсь утверждать — ведь я не знаю, с чем сравнивать. С моим личным опытом? Но в том-то и штука, что я не подсчитывал и не представляю, сколько раз в году я посещаю кино, выставки, театр. Хотя бы приблизительную цифру не берусь сразу назвать, тем более динамику: как у меня с возрастом меняется эта цифра и сколько книг я читаю. Больше я стал читать с годами или меньше? Как меняется процент научных книг, беллетристики? Сколько я пишу пи-

сем? Сколько я вообще пишу? Сколько времени в год уходит на дорогу, на общение, на спорт?

Ничего достоверного я не знаю. О самом себе. Как я меняюсь, как меняется моя работоспособность, мои вкусы, интересы... То есть мне казалось, что я знал о себе, — пока не столкнулся с отчетами Любищева и понял, что, в сущности, ничего не знаю, понятия не имею.

«...Всего в 1966 году учитывалось работ первой категории — 1906 часов против плана 1900 часов. По сравнению с 1965 годом превышение на 27 часов. В среднем в день 5,22 часа, или 5 ч. 13 м.»

Представляете — пять часов тринадцать минут чистой научной работы ежедневно, без отпуска, выходных и праздников в течение года! Пять часов чистой работы, то есть никаких перекуров, разговоров, хождений. Это, если вдуматься, огромная цифра.

А вот как выглядит итог на протяжении ряда лет:

«1937 г. — 1840 часов
1938 г. — 1402 часа
1939 г. — 1362 часа
1940 г. — 1560 часов
1941 г. — 1342 часа
1942 г. — 1446 часов
1943 г. — 1612 часов»

и так далее.

Это часы основной научной работы, не считая всей прочей, вспомогательной. Часы, занятые созиданием, размышлением...

Ни на одной, самой тяжелой, работе не было, наверное, такого режима — его может установить человек для себя только сам.

Любищев работает побольше иных рабочих. Он мог бы, подобно Александру Дюма, в доказательство поднять свои руки, показывая мозоли. Написать полторы тысячи страниц за год! Отпечатать четыреста двадцать фотоснимков! Это — в 1967 году. Ему уже семьдесят семь лет.

«На русском языке прочтано 50 книг — 48 часов
На английском » 2 книги — 5 часов
На французском » 3 книги — 24 часа
На немецком » 2 книги — 20 часов
Сдано в печать семь статей...»

«...Долгое пребывание в больнице отразилось, конечно, в превышении чтения, но план главной работы перевыполнен, хотя многое не было сделано. Так, например, статья «Наука и религия» заняла в пять раз больше времени, чем предполагалось».

Подробности годовых отчетов напоминают отчет целого предприятия. С каким вкусом и наглядностью очерчен силуэт утекшего времени, все эти таблицы, коэффициенты, диаграммы. Недаром Любищев считался одним из крупнейших систематиков и специалистов по математической статистике.

В числе прочего имелся переходящий остаток непрочитанных книг — задолженность:

«Дарвин Э. «Храм природы»	5 ч.
Де Бройль. «Революция в физике»	10 ч.
Трингер. «Биология и информация»	10 ч.
Добржанский	20 ч.

Списки задолженности возобновляются из года в год, очередь не убывает.

Есть сведения неожиданные: купался 43 раза, общение с друзьями, учениками — 151 час, больше всего потравились такие-то фильмы. . .

Читать его отчеты скучновато, изучать — интересно.

Все же как невероятно много может сделать, увидеть, узнать человек за год! Каждый отчет — это демонстрация человеческих возможностей, каждый отчет вызывает гордость за человеческую энергию. Сколько она способна создать, если ее умно использовать! И, кроме того, впервые я увидел, какую колоссальную емкость имеет один год.

Кроме годового планирования Любищев планировал свою жизнь на пятилетки. Через каждые пять лет он устраивает разбор прожитого и сделанного, дает, так сказать, общую характеристику.

«...1964—1968 годы... По Халтику: сделал очень много, но если я монографию палеартич. Халтика закончу в следующую пятилетку, то буду очень доволен. Коллекцию кончил, однако добраться до нахождения расстояния между рядами не мечтаю и в следующей пятилетке... Таким образом, хотя ни по одному разделу я не выполнил формально и половины, тем не менее по всем заметно продвинулся...»

Обычно он работал широким фронтом. Пятилетка, о которой шла речь, была занята математикой, таксономией, эволюцией, энтомологией и историей науки. Поэтому и отчеты и планы состоят из многих разделов, подразделов.

Учет, конечно, хорош, и все же, простите, на кой ляд это все надо, не лучше ли потратить это время на дело? Не съедают ли эти отчеты сэкономленное время?

Множество разных ироничных вопросов возникает, не смотря на наше восхищение и удивление.

Прежде всего, конечно, в глубине души обязательно прозвучит с ехидством: а кому нужна такая отчетность? Кто, собственно говоря, ее читает? И перед кем, извините, обязан он отчитываться, да еще в письменном виде?

Потому как, что бы там ни говорилось, душа не принимала все эти отчеты просто как работу добровольную, ради своего потребления, — все искались какие-то тайные причины и поводы. Что угодно кроме самовнимания — казалось бы, естественнейшего внимания и интереса к себе, ко внутреннему своему миру. Изучать самого себя? Странно. Все же он чудак. Наилучшее утешение — считать его чудачком: мало ли бывает на свете чудачков...

Глава восьмая — о том, сколько все это стоит и стоит ли оно этого...

Сколько же времени занимали эти отчеты? И этот расход, оказывается, был учтен. В конце каждого отчета проставлена стоимость отчета в часах и минутах. На подробные месячные отчеты уходило от полутора до трех часов. Всего-навсего. Плюс план на следующий месяц — один час. Итого: три часа из месячного бюджета в триста часов. Один процент, от силы два процента. Потому что отчет жиждился на ежедневных записях. Они занимали несколько минут, не больше. Казалось бы, так легко, доступно любому желающему... Привычка почти механическая — как заводить часы.

Годовые отчеты отнимали побольше, семнадцать — двадцать часов, то есть несколько дней.

Тут требовался самоанализ, самоизучение: как меняется производительность, что не удается, почему...

Любищев вглядывается в отчет, как в зеркало. Амальгама этого зеркала отличалась тем, что отражала не того, кто есть, а того, кто был, только что минувшее. В обычных зеркалах человек под собственным взглядом принимает некое выражение, не важно какое — главное, что принимает. Он — тот, каким хочет казаться. Дневник тоже искажает, там не увидать подлинного отражения души.

У Любищева отчет беспристрастно отражал историю прожитого года. Его Система в свои мелкие ячеи улавливала текучую, всегда ускользающую повседневность, то Время, которого мы не замечаем, недосчитываемся, которое пропадает неведь куда.

Что мы удерживаем в памяти? События. Ими мы размечаем свою жизнь. Они как вехи, а между вехами — пусто... К примеру, куда делись эти последние месяцы моей жизни с тех пор, как я стал писать о Любищеве? Собственно работы за столом было немного, — на что же ушли дни? Ведь что-то я делал, все время был занят, а чем именно — не вспомнить. Суета или необходимое — чем отчитаться за эти девяносто дней? Если бы только эти месяцы... Когда-то, в молодости, под Новый год, я спохватывался: год промелькнул, и опять я не успел сделать обещанного себе, да и другим — не кончил романа, не поехал в Новгородчину, не ответил на письма, не встретился, не сделал... Откладывал, откладывал, и вот уже откладывать некуда.

Теперь стараюсь не оглядываться. Пусть идет как идет, что сделано — то и ладно. Перечень долгов стал слишком велик.

Конечно, признавать себя банкротом тоже не хочется. Лучшее всего об этом не думать. Самое умное — это не размышлять над собственной жизнью.

Упрекать себя Любищевым? Это еще надо разобраться. От таких отчетов и отчетов человек, может, черствеет, может, от рационализма и расписаний организм превращается в механизм, исчезает фантазия. И без того со всех сторон нас теснят планы — план учебы, программа передач, план отдела, план отпусков, расписание хоккейных игр, план изданий. Куда ни ткнешься, все заранее расписано. Неожиданное стало редкостью. Приключе-

ний — никаких. Случайности — и те исчезают. Происшествия — и те умещаются раз в неделю на последней странице газеты.

Стоит ли заранее планировать свою жизнь по часам и минутам, ставить ее на конвейер? Разве приятно иметь перед глазами счетчик, безостановочно учитывающий все промахи и поблажки, какие даешь себе!

Легенда о шагреновой коже — одна из самых страшных. Нет, нет, человеку лучше избегать прямых, внеслужебных отношений со временем, следи не следи, а это проклятое время не поддается никаким обходам, и самые знаменитые философы терялись перед его черной, все поглощающей бездной. . .

Систему Любищева было легче отвергнуть, чем понять, тем более что он никому не навязывал ее, не рекомендовал для всеобщего пользования — она была его личным приспособлением, удобным и незаметным, как очки, обкуренная трубка, палка. . .

А может, она, эта система, была постоянным преодолением? Или, кто знает, многолетней полемикой? . . . С чем? С обычной жизнью. С желанием расслабиться и жить расточительно, не считая минут, как жили все люди вокруг него.

**Глава девятая,
где автор привычно сводит концы с концами
и получает схему,
которая могла бы удовлетворить всех**

Из отчетов, дневников, отчасти из писем передо мною возникал железный человек, которому ничто не могло помешать выполнить намеченное. Рыцарь плановой жизни. Робот. Подвижник Системы.

В 1942 году, когда пришло известие о гибели сына Всеволода, Александр Александрович, несмотря на горе, неукоснительно продолжал свои работы.

План на 1942 год предусматривал:

- «...1) Я буду весь год в Пржевальске.
- 2) Не буду иметь совместительства.
- 3) Не буду лично вести интенсивной работы по прикладной энтомологии, ограничусь руководством и

обследованием фауны Иссык-Кульской области... Исходя из этого, можно общий объем работы первой категории планировать на уровне 1937 года (рекордный год по эффективности), но т. к., во-первых, в связи с войной возможность напечатания исключается, во-вторых, вероятно полная гибель моего научного архива в Киеве, в-третьих, необходимо по моему возрасту приступить, не откладывая, к выполнению основного плана моей жизни — «Теоретическая систематика и общая натурфилософия», — то на 1942 год по основной работе не намечено окончания каких-либо научных работ, кроме трех небольших докладов научно-политического характера».

Запланировал и выполнил, 1942 год был одним из эффективных. Личная трагедия как бы не повлияла на работоспособность. Не оставила никаких следов в дневниках, в отчетах, в планах.

Пора, пора «приступить, не откладывая»: он словно бы вычислил, сколько ему остается, чтобы «замкнуть круг».

Личная жизнь с ее переживаниями не должна мешать работе; переживаниям и прочим волнениям и горестям отведен свой час под рубрикой «домашние дела».

Я огрубляю, хотя тридцатилетний кандидат технических наук, начальник лаборатории телеуправления НИИ номер такой-то, сказал мне, что это не огрубление, а подчеркивание нужных качеств. Слезами горю не поможешь, сказал он, чем раньше человек может взять себя в руки, тем лучше; скорбь по умершим — остаток религиозных чувств, мертвого не оживишь — какой же смысл скорбеть?

— Церемония похорон устарела, — сказал он. — Согласитесь, что прочувствованные эти речи на гражданских панихидах только растрavляют души родным, утешения от речей никакого. Процедура нерациональная. Современный человек должен быть рационалистом, а мы стесняемся нашего разума, думаем смягчить себя сентиментами.

Он предлагал мне показать в Любичеве идеальный тип современного ученого. Максимально организованного, недоступного лишним эмоциям, умеющего выжать все, что только можно, из окружающих обстоятельств, и при этом, разумеется, благородного, порядочного...

— ...Между прочим, это, к вашему сведению, — след-

ствие разума. Воля и Разум — вот два решающих качества. Ныне чего-то достигнуть в науке можно, если есть железная воля, действующая в упряжке с Разумом. Ругают рационалистов, а, собственно, почему? Что плохого, если все — от ума? Разум не противоречит нравственности. Наоборот. Истинный разум всегда против подлости и всякой низости. Умный человек понимает, что нравственность — она в конечном счете выгоднее, чем безнравственность.

Сквозь его и наивные и умные рассуждения слышалась тоска, желание найти пример, на который можно было бы опереться. Ему нужен был современный Базаров, идеал рационального человека, настоящий ученый, достигший успеха благодаря разумно выстроенной, сконструированной жизни, героические, нравственно-благородные поступки которого совершаются по уму, а не по чувству.

И вот этот идеал наконец появился: жил-был обыкновенно способный человек, а стал совершенством, большим ученым, прекрасным человеком; он устроил себя, улучшил... Любищев как нельзя лучше подходил для этой роли — он, можно считать, устроил себя по самой что ни на есть рациональной методе, создал для этого Систему, с ее помощью доказал, как многого можно достигнуть, если фокусировать все способности на одной цели. Стоит методично, продуманно, на протяжении многих лет применять Систему — и это даст больше, чем талант. Способности с ее помощью как бы умножаются. Система — это дальнобойное оружие, это линза, собирающая воедино лучи, — это усилитель. Это торжество Разума.

Любищев не год, не два прожил по своей безупречной геометрии. Огромная его жизнь прошла без существенных отклонений, утверждая триумф его Системы. Он поставил на самом себе эксперимент — и добился успеха. Вся его жизнь была образцово устроена по законам Разума. Он научился поддерживать свою работоспособность стабильной и последние двадцать лет жизни работал ничуть не меньше, чем в молодости. Система помогала ему физиологически и морально... А все эти упреки насчет машинности не стоило принимать во внимание. Машинность не страшна ни Разуму, ни душе. Постыдно для духа бояться научного рационализма. Если уж на

то пошло, не машинность надо сталкивать с духом, а рабский дух с высоким духом. Дух, обогащенный знаниями, работой мысли, свободен от порабощающей власти машинности...

Таким образом, я вполне мог представить всем этим железным «технарям», моим друзьям из НИИ и КБ, всем молодым кандидатам, перспективным докторам, всем мечтающим достигнуть, добиться, влюбленным в суперменов науки, — великолепного, невыдуманного героя, с именем и биографией, и в то же время идеально устроенную личность, достигшую наивысшего КПД. Все его параметры известны, рекордные показатели — налицо. Живой человек, и в то же время искусственное самосоздание, достойное восхищения.

Моему приятелю было не суть важно, насколько все это достоверно, его мало заботила совместимость моего героя с настоящим Любичевым. Отступления от подлинника неизбежны; главное, считал он, заострить на этом примере идею, выделить ее, так сказать, в чистом виде, как это делал Гоголь...

Довольно ловко у него все сходилось, и получилось убедительно, и даже заманчиво, но меня останавливал живой Любичев. Мешал он мне. Тот Любичев, которого я знал, с которым встречался и беседовал, согласно записям дневника, «1 ч. 35 минут», и «1 ч. 50 минут», и еще несколько раз...

Глава десятая, названная самим Любичевым «О генофонде», и о том, что из этого получилось

На самом деле все происходило несколько иначе. То есть факты, которые я приводил, были абсолютно точны, но кроме них имелись и другие. Они путали картину, они нарушали стройность — стоило ли их учитывать? Литература, искусство вынуждены отбирать факты, что-то отвергать, что-то оставлять. Художник выбирает для портрета либо фас, либо профиль. Половина человека всегда остается скрытой за плоскостью холста.

Лист книги — та же секущая плоскость. Я добиваюсь не объема, а лишь впечатления объема. Противоречивые

факты мешают законченности. Они взрывают готовую отливку на мелкие осколки, краски покидают рисунок и блуждают по холсту.

Если бы я не был знаком с Любищевым, мне все было бы проще. . .

Смерть сына он переживал долгие годы. Все письма того времени полны воспоминаний о сыне, отцовского, по-мужски сдержанного, но неутихающего горя. Он держался за жесткий распорядок жизни, как лыжник на воде за трос катера. Стоило отпустить, потерять скорость — и он ушел бы под воду. Были периоды такого отчаяния и тоски, когда он заполнял дневник механически, механически препарировал насекомых, машинально писал этикетки. Наука теряла смысл; его мучило одиночество, никто не разделял его идей, он знал, что окажется прав, но для этого нужно было много времени, надо было пройти в одиночку зону пустыни, и не хватало сил.

Он мог подчинить себе Время, но не обстоятельства. Он был всего-навсего человек, и все отвлекало его — страсти, любовь, неудачи, даже счастье — и то относилось его в сторону.

Второй брак принес ему долгожданный семейный покой. Он пишет вскоре после женитьбы своему другу и учителю:

«...Обстановка исключительно домашнего уюта отвлекает меня от поля моей жизни. Я могу Вам, моему старому другу, признаться, что даже научные интересы у меня резко ослабли. Не обвиняйте меня, дорогой друг, Вы простили мне в прошлом немало прегрешений, простите и это. Это не измена науке, а увлечение слабого человека, прожившего суровую жизнь и попавшего теперь в цветущий оазис...»

Признание даже другу требует нравственных усилий. Человек не может исповедоваться каждый день. Ежедневно Любищев мог лишь отмечаться в своем дневнике. И потом вычислить степени своей слабости, своей расплаты за счастье. Такая откровенность перед самим собой требовала огромных душевных усилий. Откуда он черпал волю, откуда он находил силы для одинокого

пути, откуда в нем был дух противостояния? Ведь это всегда странно — откуда вдруг возникают Дон-Кихоты, Святые, Юродивые, почему человек вдруг без видимых, да и невидимых толчков становится революционером, обрекает себя на путь борьбы и невзгод? Бывает воля обстоятельств, среды, но бывает, и часто, что-то заложенное, запрограммированное, то самое, что в старину означалось словом — судьба.

Из письма Александра Александровича Любищева к Ивану Ивановичу Шмальгаузену (1954):

«КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ,
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ МОЖНО БЫЛО ПОНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ

(О генофонде)

...В порядке старческой болтливости я попытаюсь Вам изложить тот генофонд, который я получил от моих родителей и дедов.

*Вероятно, Вам неизвестно, что мои предки по отцу получили в свое время весьма «направленное» воспитание: они были крепостными графа Аракчеева, но и тогда не теряли бодрости и исправно торговали (видимо, были оброчными). Поэтому я с полным основанием могу утверждать, что в моих хромосомах имеется ген оптимизма, или даже правильнее будет сказать — гилляризма (от *gilaris* — веселый). Мой прадед умер от холеры во времена Николая I, и дедушка, отец отца, Алексей Сергеевич, потерял в течение нескольких дней от холеры мать, отца и двух теток, остался круглым сиротой в возрасте восьми лет или девяти лет. Но ген гилляризма был настолько силен, что он не мог плакать на похоронах, и для приличия, чтобы вызвать слезы, пользовался луком. В дальнейшей жизни он все рассказы свои всегда сопровождал смехом, даже когда говорил о печальных событиях, и это было не потому, что он был жестокий или равнодушный к человеческому горю человек — напротив, он был прекраснейший человек — просто действовал ген гилляризма.*

Мой папаша тоже был очень веселый и не-
унывающий человек, причем в таких обстоя-
тельствах, что у всех его знакомых вызывал
искреннее удивление. По сравнению со своими
предками я являюсь, конечно, достаточно де-
генерированным потомком, хотя и считаюсь
жизнерадостным человеком.

Другой ген, который я скорее унаследовал
по материнской линии, можно назвать геном
дискутизма или догоррэизма: болт-
ливости или любви к спорам. Моя мать —
урожденная Болтушкина, и, очевидно, фами-
лия была дана моим предкам не зря, так как
дедушка мой, Дмитрий Васильевич, очень лю-
бил спорить; когда ездил в поезде, то специ-
ально отыскивал спорящего собеседника — со-
глашающийся с ним собеседник его не удов-
летворял.

Несомненно, от предков я унаследовал ген
номадизма (от греческого *nomados* — ко-
чевник) или даже авантюризма, что и не уди-
вительно, так как оба моих родителя родом из
Новгородской губернии и уезда, а новгородцы,
как известно, были бродяги убежденные.

...В подтверждение этого гена номадизма
могу привести такие данные: 1) дедушка мой,
Дмитрий Васильевич, в молодости бежал в
Митаву для получения образования, но оттуда
обманом был возвращен в родительский дом;
2) дядюшка мой по матери, Василий Дмит-
риевич, был добровольцем в чернявских отря-
дах перед русско-турецкой войной 1877 года;
3) дедушка мой по отцу, Алексей Сергеевич,
ужасно любил странствовать, и так как в те
времена туризма еще не было, то он стран-
ствовал по святым местам и был два раза
в Иерусалиме.

Ни я, ни моя жена (мать которой была
урожденная Любищева) совсем не имеем тяго-
тения к нашему родному городу Ленинграду
и, в отличие от большинства ленинградцев,
не имеющих в хромосомах гена номадизма,
не стремимся там жить.

Должен сказать, что у моих предков имеется тоже ген антидогматизма. Упомянутый мной дедушка, Дмитрий Васильевич, был в достаточной степени вольтерьянцем, читал Дарвина и Бокля и был достаточно свободомыслящим человеком... Не был догматиком и мой незабвенный отец. Он был искренно верующим христианином, но у него было полное отсутствие фанатизма и нетерпимости. По классификации Салтыкова-Щедрина, он был верующим не потому, что боялся черта, а потому, что любил бога, и его бог, как бог бабушки Горького, был бог милосердия и любви. Он регулярно по праздникам посещал церковные службы, эстетически воспринимал их и, когда случалось, например за границей, посещал католические и протестантские храмы, а при проезде через Варшаву обязательно посещал хоральную синагогу.

Отец мой получил самое скромное, как называли раньше — «домашнее» образование в селе, по профессии был коммерсант. Казалось, можно было ожидать, что в нашем семействе были домостроевские нравы. Ничего подобного! С очень раннего возраста я горячо спорил с отцом по политическим вопросам (отец был очень умеренных политических взглядов, т. е. очень не хотел революции), и, однако, я никогда не слышал от отца слов: «Замолчи, ты моложе меня», — он всегда спорил со мной как равный с равным.

Могу сказать, что по отцовской линии у меня, вероятно, получен ген загребенизма. Должно быть мой прапрадедушка, Артемий Петрович (самый отдаленный предок по отцу, известный мне), носил фамилию Загребин: фамилия чисто кулацкая, и он, как я уже говорил, торговал, будучи крепостным крестьянином. Но загребинизм в нашем роду проявлялся в разных формах: у отца был матерьяльный загребенизм (он был делец, по активности не уступавший, несомненно, американцам) и несомненный умственный загребинизм: он с дет-

ства стремился к самообразованию, и умственные интересы, самые живые, сохранил до самой смерти. Умер он восьмидесяти шести лет от роду во время Великой Отечественной войны. У меня материальный заребинизм ослабел. Это вызвало в свое время огорчение моего отца, который (один из немногих) высоко ценил мои практические способности и иногда вздыхал: «Эх, если бы Саша мне помогал, мы бы пол Новгородской губернии скупили». Эти вздохи выражали единственную ноту протеста против избранной мною научной карьеры, которой он не только не препятствовал, но всеми силами содействовал. После революции ему, конечно, не пришлось жалеть о сделанном мной выборе. Интеллектуальный заребинизм у меня сохранился полностью в смысле неослабевающего интереса к разнообразным и все более широким знаниям.

Наконец, в моем генофонде имеется несомненный ген филантропизма. Об этом свидетельствует моя фамилия — Любищев. Основателем ее, кажется, был мой прадедушка Сергей Артемьевич, который любил говорить при обращении: «Любищипочтеннейший», отчего и произошла наша фамилия. Отец мой был исключительно благожелательный человек и всегда думал о людях лучше, чем они того заслуживали; и только тогда верил кому-нибудь порочащему слуху, когда все сомнения исчезали.

Вот какова моя генеалогия: как видите, мои качества я получил от моих предков, в первую очередь от моего незабвенного отца, но, видимо, многое заимствовал от моего дедушки, Дмитрия Васильевича, который меня особенно любил с раннего детства, хотя вообще детей особенно не жаловал».

Самооценки Любищева позволяют выяснить некоторые его нравственные критерии, может быть наиболее существенное в этом характере. Потому что, когда сталкиваются наука и нравственность, меня прежде всего

интересует нравственность. Не только меня. Пожалуй, большинству людей душевный облик Ивана Петровича Павлова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Нильса Бора важнее деталей их научных достижений. Пусть противопоставление условно — я согласен на любые условности, чтобы подчеркнуть эту мысль. Чем выше научный престиж, тем интереснее нравственный уровень ученого.

Научная работа Игоря Курчатова и Роберта Оппенгеймера, вероятно, сравнима, но людей всегда будет привлекать благородный подвиг Курчатова, и они будут задумываться над мучительной трагедией Оппенгеймера. Среди высших созданий человека наиболее достойные и прочные — нравственные ценности. С годами ученики без сожаления меняют себе наставников, мастеров, учителей, меняют шефов, меняют любимых художников, писателей, но тому, кому посчастливится встретить человека чистого, душевно красивого — из тех, к кому прилепляешься сердцем, — ему нечего менять: человек не может перерасти доброту или душевность.

Время от времени в письмах Любищева попадаются самооценки. Как правило, он прибегал к ним для сравнения. Они открывают нравственные, что ли, ландшафты и самого Любищева, и его учителей, и друзей.

Член-корреспондент АМН Павел Григорьевич Светлов, один из друзей Любищева, занимался биографией замечательного биолога Владимира Николаевича Беклемишева. По этому поводу Александр Александрович писал Светлову:

«...Ты упустил одну черту, чрезвычайно важную: совершенно феноменальный такт Владимира Николаевича и его выдержку... Так как у меня эта черта как раз в минимуме, то я всегда поражался ею у В. Н. Я очень резко, и моя критика часто больно ранила людей, даже мне близких. Правда, это ни разу не разрушило истинной дружбы, и часто критикуемые становились моими друзьями, но нередко после обильного пролития слез.

...В. Н. знал хорошо латинский язык (но, кажется, плохо знал греческий) и для отдыха любил читать сочинения римских авторов, хотя, помню, читал и Геродота, но, кажется,

не в оригинале. Это у него было занятие для отдыха, не связанное с его научной работой... Помню наши разговоры о Данте. Он был восторженнейший дантист, если можно так выразиться, — считал, что Данте недооценивают... Я признавал красоту стихов Данте, но не видел высоты его мировоззрения. Напротив, многие места Данте меня глубоко возмущали. Например, его знаменитое начало вступления в ад (цитирую по памяти, не уверен в точности):

Per me si va nella citta dolente,
Per me si va nell' eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore,
Fecemi la divina potestate,
La somma sapienza e il prima amore.
Dinanzi a me non fur cose create,
Se non eterne; ed io eterno duro.
Lasciate ogni speranza voi ch'entrate. . . *

Или — в другом месте:

Chi e piu scelleranto' chi colui
Chi a giustizia divin compassion porta. . .

...Вторая фраза звучит так: кто может быть большим злодеем, чем тот, кто страдает осужденным Богом. И эта фраза следует за таким местом, где Данте встречает какого-то своего политического противника, и тот просит чем-то облегчить его страдания. Данте обещает ему это сделать, но в самый последний момент изменяет своему обещанию и злобно смеется над муками врага. . . — Это даже не суровое доминиканство, беспощадное к друзьям и родным, а нечто гораздо худшее. . .

* Я увожу к отверженным селеньям,
Я уйду сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколениям.
Был правдою мой зодчий вдохновлен;
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первую любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья. (Перевод М. Л. Лозинского)

Вся его «Комедия» отнюдь не божественная, а самая земная, человеческая... Это и многое другое непонятно с религиозной, прежде всего христианской точки зрения. Для В. Н. же Данте был не только выдающийся поэт (этого я не отрицаю), но и провидец, видевший «умными» очами то, что невидимо обычным людям. Тут, очевидно, проходит грань между мной и мне подобными — многими людьми, видящими в Шекспире не только выдающегося драматурга и в Пушкине не только выдающегося поэта, но и лидеров человеческой мысли, что я вовсе отрицаю. Та моральная высота, которая была уже достигнута в древнегреческих трагедиях учениками Сократа, Платона и Аристотеля, совершенно отсутствует у Данте. Так по поводу Данте мы с Владимиром Николаевичем договориться не могли.

...Я думаю, что то разделение своих интересов, которое В. Н. провел, было оптимальным, а кроме того, от его работы с комарами было огромное нравственное удовлетворение, что эти работы непосредственно полезны народу. А что касается того, что многие планы остались невыполненными, так я думаю, что у всякого человека широкого диапазона планов столько, что их выполнить невозможно.

...Если бы моя резкость была связана с нетерпимостью, то я нашел бы много личных врагов. Мое сильное свойство, что в полемике я никогда не преследую личных целей. В. Н. же умел столь же строгую критику преподносить безболезненно. Я, конечно, веселее В. Н. и люблю трепаться и валять дурака. Я в детстве совсем не дрался и не любил драться, вообще был очень смирным внешне, но интеллектуальную борьбу люблю, и в этой борьбе веду себя подобно боксеру: я не чувствую сам ударов и имею право наносить удары. Эта практика оказалась совсем не вредной, я не нажил личных врагов и, живя в разных странах, великолепно ладил с разноплеменным населением.

...В чем я считаю себя сильнее В. Н. и что он тоже признавал, это, как он выражался, большая метафизическая смелость, истинный нигилизм в определении Базарова, т. е. непризнание ничего, что бы не подлежало критике разума... Ввиду наличия у В. Н. непогрешимых для него догматов, он был нетерпимее, чем я, но эту нетерпимость никогда не проявлял извне. Мы же так отвыкли от истинного понимания терпимости, что часто всякую критику (т. е. отстаивание права иметь собственное мнение) уже рассматриваем как попытку «навязать» свое мнение, т. е. нетерпимость. Но единственная сила, которую можно применять, — это сила разума, и сила разума не есть насилие... Я хорошо помню великолепные слова Кропоткина «люди лучше учреждений», это он сказал относительно деятелей царской охраны. Я бы прибавил: люди лучше убеждений.

...По ряду соображений, частично внутренних, частично внешних, я начал собирать насекомых с 1925 года (прежде всего блошек) и примерно с того же времени — читать лекции по сельхозвредителям в Пермском университете.

...Американец Блисс, когда мы с ним ездили в командировку по Украине и по Кавказу, сказал мне по поводу моего обычая одеваться более чем просто, игнорируя мнение окружающих: «Я восхищаюсь вашей независимостью в одежде и поведении, но, к сожалению, не нахожу в себе сил вам следовать». Такой комплимент от действительно умного человека перекрывает тысячи обид от пошляков... По-моему, для ученого целесообразно держаться самого низкого уровня приличной одежды, потому что: 1) зачем конкурировать с теми, для кого хорошая одежда — предмет искреннего удовольствия; 2) в скромной одежде — большая свобода передвижения; 3) некоторое даже сознательное «юродство» неплохо: несколько ироническое отношение со

стороны мещан — полезная психическая зарядка для выработки независимости от окружающих. . .»

Цитирую я здесь, как можно видеть, разные выборочные места, связанные с характером Любищева и с уровнем культуры его среды.

Они могли спорить о Данте, читая его в подлиннике, наизусть. Они приводили по памяти фразы из Тита Ливия, Сенеки, Платона. Классическое образование? Но так же они знали и Гюго и Гете, я уже не говорю о русской литературе.

Может показаться, что это — письмо литературоведа, да притом специалиста. В архиве Любищева есть статьи о Лескове, Гоголе, Достоевском, «Драмах революции» Ромена Роллана.

Может, литература — его увлечение? Ничего подобного. Она — естественная потребность, любовь без всякого умысла. На участие в литературоведении он и не покушался. Это было нечто иное — свойство ныне забытое: он не умел просто потреблять искусство, ему обязательно надо было осмыслить прочитанное, увиденное, услышанное. Он как бы перерабатывал все это для своего жизневоззрения. Наслаждение и от Данте и от Лескова было тем больше, чем полнее ему удавалось осмыслить их.

В одном из писем он цитирует Шиллера, куски из «Марии Стюарт» и «Орлеанской деви». Цитаты переходят в целые сцены, чувствуется, что Любищев забылся — и переписывает, и переписывает, наслаждаясь возможностью повторить полюбившиеся монологи. Так что было и такое. . .

Уровень культуры этих людей по своему размаху, глубине сродни итальянцам времен Возрождения, французским энциклопедистам. Ученый тогда выступал как мыслитель. Ученый умел соблюдать гармонию между своей наукой и общей культурой. Наука и мышление шли рука об руку. Ныне это содружество нарушилось. Современный ученый считает необходимым — з н а т ь. Подсознательно он чувствует опасность специализации и хочет восстановить равновесие за счет привычного ему метода — з н а т ь. Ему кажется, что культуру можно «з н а т ь». Он «следит» за новинками, читает книги, смо-

трит картины, слушает музыку — внешне он как бы повторяет все необходимые движения и действия. Но — без духовного освоения. Духовную, нравственную сторону искусства он не переживает. Осмысления не происходит. Он «в курсе», он «осведомлен», «информирован», он «сведущ», но все это почти не переходит в культуру.

— А наше дело заниматься конкретными вещами, — говорил мой технарь.

Он был упоен могуществом своей электроники, своими сверхкрохотными лампами, их чудодейственными характеристиками, которые обещали дать человечеству еще большие удельные мощности.

— Размышление на общие темы не обязательно, не входит в наши обязанности, да и кому это нужно... А впрочем... — Он погрустнел. — Хорошо бы было обо всем этом подумать... Но когда? Не знаю, как это им удавалось. Конечно, если есть условия, если сидеть в кабинете...

Ни Любищев, ни Беклемишев не были кабинетными учеными, никто из них не жил в привилегированных условиях, никто не был изолирован от тревог, грохота и страстей довоенных и военных лет. Действительность не обходила их ни потерями, ни бедой. И вместе с тем когда читаешь их письма, понимаешь, что содержанием их жизни были не невзгоды, а приобретения.

В Ленинграде, работая во Всесоюзном институте защиты растений, Любищеву приходилось по совместительству читать лекции, консультировать. Нужно было помогать жене, нужно было кормить большую семью:

«...Я рассчитывал, что наряду с прикладной энтомологией буду заниматься и систематической энтомологией и общебиологическими проблемами... но занимался этим мало. Приходилось отдавать много времени на хождение по магазинам, стояние в очереди за керосином и прочими вещами. Жена моя тоже работала, а трудности были большие. Я довольно много занимался математикой, причем делал это и в трамваях, и при поездках, и даже на заседаниях, когда решал задачки. Одно время на это смотрели неодобрительно, но когда убедились, что решение задач не мешает мне

слушать выступление, что я доказывал, выступая по ходу заседания, то с этим примирились. При поездках я много читал и философских книг, в частности, все три «Критики» Канта были прочитаны мною в дороге... По философии, мне помнится, я написал единственный довольно большой этюд, примерно около ста страниц тетрадного формата, с разбором «Критики чистого разума» Канта. Эта рукопись пропала в Киеве...»

Жизнь народная, со всем ее бытом, была и его жизнью. Удивляет не то, что в тех условиях он находил время изучать Канта, а скорее то, что чтения этого было недостаточно; ищущая его натура должна была усвоить, опробовать и так и этак, повернуть по-своему; прочитав Канта, он пишет этюд о главной работе И. Канта, критически отбирая то, что ему подходит. Ему надо было найти свое.

На него не действовали ни общее мнение, ни признанные авторитеты. Авторитетность идеи не определялась для него массовостью.

Он считал себя нигилистом — в том смысле, какое дал этому слову Тургенев:

«Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип». С той лишь добавкой, что это был нигилизм творца. Ему важно было не свергнуть, а заменить, не опровергнуть, а убедиться...

Что-то там, в глубине его ума, бурлило, варилось; он неутомимо искал истину там, где никто ее не видел, и искал сомнения там, где установились незыблемые истины.

В нем жила потребность задаваться вопросами, от которых давно отступились: о сущности природы, эволюции, о целесообразности, — немодная, загложшая потребность.

Замечательно то, что он пытался отвечать, не боясь ошибок. Ему нравилось не считаться с теми узаконенными ответами, какие имелись в школьных программах.

При всей своей исключительности он не был исключением. Переписка Любичева с Юрием Владимировичем

Линником, Игорем Евгеньевичем Таммом, Павлом Григорьевичем Светловым, Владимиром Александровичем Энгельгардтом радует взаимной высотой культуры и духовности. Читать эти письма было и завидно и грустно — с этим поколением уходит русская культура начала века и революции.

Глава одиннадцатая — об одном свойстве некоторых ученых

В Ленинградском университете сохраняется квартира Дмитрия Ивановича Менделеева. Квартиры-музеи — это нечто особое. Их и осматривать надо иначе, чем обычные музеи. В них надо не ходить, а побыть. Мемориальный музей исключает Время. В этих музеях ничего не меняется. Они нравятся мне подлинностью мгновенного слепка с ушедшего быта. Здесь все как было, не воссозданное, а остановленное. И тот же университетский двор, и тот же шум в вестибюле, кусты под окнами, те же своды, та же мебель.

Музей, в котором стоит, казалось бы, все отжившее, мертвое, на самом деле возвращает жизнь этим старым вещам, хранит эту жизнь. Для музея смерть — не конец, а начало существования. Квартиры Пушкина, Чехова, Некрасова обладают необъяснимой силой воздействия, как будто дух хозяина продолжает жить в этих стенах. Каждый человек носит в себе музей; у каждого есть хранилища совести, пережитого, есть свои мемориалы, дорогие нам места, вернее — образы этих мест, потому что сами эти места, может, уже исчезли или изменились.

Музеи городов должны, наверное, сохранять квартиры не только великих людей, но и просто людей. Мне хотелось, чтобы сохранилась и коммунальная квартира трудных тридцатых и сороковых годов, с коммунальной кухней, тесно заставленной столиками, а на столиках — примусы, а возле примусов — иголки, полоски жести с зажатыми иголочками, для того чтобы прочищать nipple примуса; чтобы висело расписание уборки мест общественного пользования, чтобы вязанки дров поленицами лежали в передней, в коридоре, в комнатах, за железными гофрированными тумбами печек...

Так мы жили. И наши родители.

...В кабинете Менделеева осталось все как при хозяине: письменный стол, книжные шкафы, этажерка, диван и длинные ящики каталогов. Они-то меня больше всего заинтересовали. Каталогные карточки были заполнены собственноручно Менделеевым. Названия журнальных статей, книг, брошюр его библиотеки аккуратно выписаны, и сверху поставлен шифр. К каталогу имелся указатель. Отделы, подотделы, вся система каталогизации была разработана Менделеевым и исполнена им же. А библиотека насчитывала 16 тысяч наименований. Нужные статьи из всевозможных журналов Менделеев изымал, сгруппировывал в тома, которые переплетались, и для этой группировки нужен был какой-то принцип, какая-то система разделения и классификации. Известно, что книги, тем более оттиски, гибнут в больших библиотеках, если не попадают в библиографическую систему.

Уже в те времена за научной литературой становилось трудно следить. Гигантскую работу, проделанную Менделеевым — тысячи заполненных карточек, подшитых в пачки, подчеркнутых цветными чернилами, — я объяснял необходимостью, рабочей нуждой, а нужда, она научит и лапти плести, коли нечего есть. Хочешь не хочешь — ему приходилось отрывать время на эту канцелярщину.

Но затем мне показали другие ящики, новый каталог, с иной картотекой и журналом, где был ключ к этому каталогу. Сюда Менделеев заносил свою коллекцию литографий, рисунков, репродукций. Тут уж, казалось бы, прямой нужды не было — тем не менее он расписал тысячи названий; опять все было распределено, систематизировано.

Я смотрел альбомы, куда Менделеев после каждого путешествия разносил фотографии. В сущности, это были альбомы-отчеты. Поездка в Англию — подклеены были пригласительные билеты, меню торжественного обеда, какие-то бумажные значки, открытки. Менделеев сам печатал фотографии, сам расклеивал, подписывал. Письма, всю корреспонденцию он тоже подбирал, сброшюровывал по какой-то системе; по другой системе вел записные книжки, записи дневниковые и денежных расходов. Вел изо дня в день, указывал любые траты, вплоть до копеечных. Если бы я увидел эти документы в копиях,

допустим в публикациях архива Менделеева, я решил бы, что это либо блажь, либо скупость, мания — словом, какая-то слабость великого человека.

Но передо мною были подлинные документы; у них есть магическое свойство — они способны что-то доска-зывать, доведывать. . .

Бумага, почерк, чернила продолжают излучать тепло рук писавшего, его настроение. Перо, я это видел, скользило по бумаге без нетерпения и скуки, чувствовалось тщание, некоторая даже любовьность.

Мне вспомнилось признание Любищева:

«...Я сходен с гоголевским Акакием Акакиевичем, для которого переписка бумаг доставляла удовольствие... В научной работе я с удовольствием занимаюсь чисто технической работой».

У Менделеева такая черновая работа была, очевидно, тоже отдыхом, приятностью. Через Любищева становилось понятно, как любовь к систематизации может проходить через все увлечения, и эти менделеевские каталоги, расходные книжки — никакая это не слабость. Все, с чем он ни сталкивался, ему хотелось разделить на группы, классы, определить степени сходства и различия. Черновая, даже механическая работа — то, что представлялось людям посторонним чудачеством, бесполезной тратой времени, — на самом деле помогала творческому труду. Недаром многие ученые считали черновую работу не отвлечением, а у с л о в и е м, благоприятным для творчества.

Я сидел один в кабинете Менделеева и думал о том, что электронно-вычислительные машины, конечно, о с в о б о ж д а ю т человека от черновой работы, но, одновременно, они и л и ш а ю т его этой работы. Наверное, она нужна, ее будет не хватать; мы обнаружим это, лишь когда лишимся ее. . .

Старая мебель окружала меня — тяжелая, крепкая, изготовленная со щедрой прочностью на жизнь нескольких поколений. Вещи обладают памятью. Во всяком случае пожившие вещи, сделанные не машиной, а рукой мастера. В детстве, пока инстинкты еще не заглохли, я хорошо чувствовал эту одушевленность вещей.

Вспомнилось, еще из детства, ощущение дерева, его мышц — живого, упрямого там, за лаком, краской, в глубине древесных сухожилий. Словно что-то передавалось мне от многих часов, проведенных здесь Менделеевым, среди этих книг и вещей.

Страсть к систематизации была как бы оптикой его ума, через нее он разглядывал мир. Это свойство его гения помогло ему открыть и периодический закон, выявить систему элементов в природе. Сущность открытия соответствовала всей его натуре, его привычкам и увлечениям.

Процесс упорядочения, организации материала — для ученого сам по себе удовольствие. Пусть это не имеет большого значения, вроде каталога репродукций, но заниматься этим приятно. Наслаждение такого рода — ведь это уже само по себе смысл.

У Любищева был развит вот такой же тип мышления: ученого-систематика. Стремление создать из хаоса систему, открыть связи, извлечь закономерности в какой-то мере свойственно всякому ученому. Но для Любищева систематика была ведущей наукой. Она имела дело и с Солнечной системой, и системой элементов, и системой уравнений, и систематикой растений, и кровеносной системой: всюду царила система, всюду он различал систему.

Систематика была его призванием; она выводила к философии, к истории; она была его орудием.

Он хотел стать равным Линнею...

Выявлять новые, все более глубокие системы, заложенные в природе...

В его записках 1918 года он строит одну систему за другой, вплоть до системы глупости — полезная глупость, вредная, прогрессивная и т. д. Он пишет о недостатках университетского устава и сразу же пробует создать систему, заложить систему устава.

Быт его был упорядочен разного рода системами: система хранения материалов, система переписки, система хранения фотоснимков.

Бесчисленное количество дат, имен, фактов, которыми так легко оперировал Александр Александрович Любищев, были уложены в его голове по какой-то хитрой системе. По крайней мере так казалось, когда, не «роясь в памяти», он в нужный момент извлекал

их, как извлекают из шкафа требуемый том справочника.

Он один из первых стал применять в биологической систематике дискриминантный анализ. Он вооружал систематику — я бы сказал, лелеял ее — математикой. Биологические системы, или системы в биологии, — вызвали у него чисто эстетическую радость и одновременно грусть и печаль от этой непостижимой сложности и совершенства природы.

Поражающее многообразие в строении тех же насекомых для него — не помеха, не отвлечение, а источник удивления, того удивления, которое всегда приводило ученых к открытиям. Он мечтал выявить истинный порядок организмов и понимал необозримость этой задачи.

«...Вероятно, большинству кажется, что систематика многих групп — например, птицы, млекопитающие, высшие растения — в основном кончена. Но здесь можно вспомнить слова великого К. фон Бэра: «Наука вечна в своем стремлении, неисчерпаема в своем объеме и недостижима в своей цели»...»

Подобно многим людям, я имел самые высокомерные представления о систематике насекомых. Наукой это не назовешь, в лучшем случае — хобби. Можно ли считать занятием, достойным взрослого мужчины, ловлю бабочек и разных мошек? Какую мошку рядом с какой наколоть... Чудачество, украшающее разве что героев Жюль Верна.

А между тем систематика стала ныне сложной наукой с применением математики, ЭВМ; все шире там пользуются теорией групп, матлогикой, всякими математическими анализами.

Энтомология, букашки, систематика... Коллекции наколотых на булавки, с распростертыми крыльями бабочек. Бабочки, сачок — почти символы легкомыслия. А между прочим, были ученые, которые годами занимались узорами на крыльях бабочек. Вот уж где, казалось бы, пример отвлеченной науки, оторванной от жизни, бесполезной, не от мира сего и т. п. Хотя... друг А. А. Любищева, ленинградский ученый Борис Николаевич Шванвич, сравнивая эти узоры, размышлял над

геометрией рисунков, над сочетанием красок, сумел извлечь чрезвычайно много для морфологии и проблем эволюции. Узоры стали для него письменами. Их можно было прочесть. Природа устроена так, что самая незначительная козявка хранит в себе всеобщие закономерности. Те же узоры, они — не сами по себе; они — часть общей красоты, которая остается пока тайной. Чем объяснить красоту раковин, рыб, запахи цветов, изысканные их формы? Кому нужно это совершенство, поразительное сочетание красок?.. Каким образом природа сумела нанести на крыло бабочки узор безукоризненного вкуса?..

Надо было иметь известное мужество, чтобы в наше время позволить себе отдаваться столь несерьезному, на взгляд окружающих, занятию. Мужество и любовь. Разумеется, каждый настоящий ученый влюблен в свою науку. Особенно же — когда сам объект науки красив. Но кроме звезд, и бабочек, и облаков, и минералов есть предметы с красотой, не видимой никому, кроме специалистов. Большею частью это бывает с отвлеченными предметами, вроде математики, механики, оптики.

А некоторым удается увидеть свои объекты и вовсе с необычной стороны. Так, известный цитолог Владимир Яковлевич Александров с упоением рассказывал мне о поведении клетки, о том, что она несомненно имеет душу. Любищев был, разумеется, убежден, что наиболее этическая, нравственная наука — это энтомология. Она помогает сохранять лучшие черты детства — непосредственность, простоту, умение удивляться. Прежде всего он чувствовал это по себе, — и действительно, чтобы старый, почтенный человек, не обращая внимания на прохожих, вдруг пускался в погоню, через лужи, за какой-то букахой, для этого надо иметь чистоту и независимость ребенка. А то, что энтомологов, говорил он, считают дурачками, это иногда полезно, они безопасно могут ходить в самые «разбойничьи» места, благо над ними посмеиваются как над безобидными юрдовыми.

Они и в самом деле чудаки. Некоторые из них по-настоящему влюблены в своих насекомых. Карл Линдеман говорил, что он любит три категории существ: жужелиц, женщин и ящериц. Ловя ящериц, он целовал их в голову и отпускал. «Видимо, почти то же он делал и с женщинами», — шутил Любищев.

На могиле Шванвича на Охтинском кладбище высечен любимый им узор крыла бабочки.

Чарльз Дарвин, который тоже начинал как энтомолог, вспоминал:

«...Ни одно занятие в Кембридже не выполнялось мною так ревностно и не доставляло мне столько удовольствия, как собирание жуков... Ни один поэт не испытывал большего восхищения, читая свою первую напечатанную поэму, чем испытывал я, увидя в издании Стефенса «Иллюстрации британских насекомых» магические слова: «Пойман Ч. Дарвином, эсквайром»...»

Пристрастие к энтомологии доходило до того, что Любищев терял присущую ему терпимость, чувство справедливости и даже чувство юмора. Он не мог простить Александру Сергеевичу Пушкину ядовитого рапорта Воронцову о саранче. Он доказывал, что свое отношение к Воронцову Пушкин изменил лишь из-за обиды, после «издевательской» командировки Пушкина на борьбу с саранчой. После этого Воронцов стал для него «полунежда и полуподлец».

Саранча летела, летела
И села,
Сидела, сидела, все съела
И вновь улетела.

«Для меня ясно, — пишет А. А. Любищев. — что издевательским был отчет Пушкина. Командировку я вовсе не нахожу издевательской. Насколько мне известно, Пушкин был чиновником особых поручений. Специалистов-энтомологов в то время не было, и поэтому командировка развитого имышленого человека была вполне уместна. Никаким опасностям он там не подвергался, а мог изучить быт народа... а кстати отдохнул бы от неумеренного волокитства за одесскими барыньками, включая и мадам Воронцову, что, конечно, отнимало у него гораздо больше времени и сил, чем обследование саранчи».

Любищев был убежден, что своим здоровьем, работоспособностью он обязан своей прекраснейшей специальности. Работа с насекомыми входила в Систему, допол-

няла ее физической нагрузкой, приятностью механической работы.

Энтомология, систематика, земляные блошки — пусть стоящие споров и ссор с неodarвинистами, — все равно, что может быть спокойней и укромней, чем это далекое от треволений актуальных задач науки, это милое академическое убежище, эта безобиднейшая специальность...

Глава двенадцатая — за все надо платить

В тридцатые годы Любищев работал в ВИЗРе — Всесоюзном институте защиты растений, который находился тогда в Ленинграде на Каменном острове, в Елагином дворце.

Любищев изучал экономическое значение насекомых-вредителей. Подойдя к этому математически, Любищев пришел к заключению, несколько ошеломившему всех, — что ущерб, наносимый насекомыми, во многом преувеличивается. На самом деле эффективность их действий значительно ниже, чем ее тогда принимали. Поехав на Полтавщину, он обследовал участки, которые числились как пораженные луговым мотыльком. Поля выглядели странно: свеклы не видно, всюду растет лебеда. Раздвигая заросли лебеды, Любищев обнаруживал угнетенные, но совершенно здоровые побеги свеклы. Ему стало ясно, что мотылек тут ни при чем. Руководители колхоза оправдывались тем, что мотылек был и обязательно съел бы свеклу, но поля опрыскали и спасли. Любищев возражать не мог, поскольку следов мотылька не осталось. Однако на следующий день он наткнулся на приусадебный участок сахарной свеклы и поразился великолепным видом: растения мощные, никаких признаков повреждений. Все разъяснилось, как водится, очень просто: хозяин добросовестно ухаживал за своим участком. В конце концов председатель и агроном признались, что колхозники работать на поля не выходили, — свекла заросла, и луговой мотылек здесь ни при чем.

Обследование Северной Украины показало Любищеву, что и в других районах луговой мотылек практически вреда не приносил. Имелись сигналы с Северного Кав-

каза. Любищев ездил и тщательно осматривал поля, на которые ссылались районные руководители. Нигде не было прямых результатов повреждений. Сведения оказывались, мягко говоря, преувеличенными, вред — сомнительным.

Он гнался за сигналами. В Ростове ему сообщили, что в таком-то совхозе уничтожен подсолнечник. Приехав на место, он выяснил, что подсолнечник вовсе не сеяли. Он побывал в Зимовниках, изучая вредность сусликов; изъездил Азербайджан, изучая вредность стеблевой ржавчины; в Георгиевской обследовал яблоневого питомники.

Армавир, Краснодар, Таловая, Астрахань, Буденновск, Крымская — география его поездок охватывает весь юг России.

Считалось, что вредители, особенно на зерновых, приносят ущерб не менее десяти процентов. Любищев не мог согласиться с этой цифрой. Результаты его поездок, а также изучения данных США заставили его снизить этот процент до двух, о чем он и пишет в докладной записке. Затем он доказал, что шведская мушка, на которую ссылались, не всегда снижает урожай пшеницы и ячменя. Три года Любищев перепроверял свои наблюдения, затем выступил в печати. Ему пришлось сделать логический вывод, что деятельность отдела борьбы с сельскохозяйственными вредителями раздувается и, похоже, что и сам отдел в том виде, в каком он был, — не нужен.

Какое, спрашивается, дело было Любищеву, нужно или не нужно данное учреждение? Не его это была забота. Ну, хорошо, допустим, пришел он к своему выводу насчет насекомых, доложил, написал, — ну и все, хватит, долг ученого выполнил... Неужели не понимал, что слишком много разных людей заинтересовано в существовании этого отдела и в том, чтобы все эти мушки, мотыльки, пильщики числились опасной силой — и некоторым колхозам было удобно, и еще кой-кому...

Может, и понимал. В долгих скитаниях своих по селам и деревням навиделся нерадивых хозяев, ищущих, на что бы сослаться. Наверняка понимал, поскольку приготовился к борьбе, вооружился новыми методами вариационной статистики, уточняя роль сельскохозяйственной энтомологии. Теперь, с цифрами, по всем правилам — любой может убедиться, — он доказывал, как безграмотно

производился у нас количественный учет экономического вреда от насекомых.

«Безграмотно» — он выбрал это слово как самое точное, хотя лучше было бы найти что-то другое, поскольку адресовалось оно людям, имеющим солидные звания и награды. Считалось, что насекомые-вредители распределяются более или менее равномерно на пораженных областях. Отсюда делался вывод о том, что нужно обрабатывать огромные площади зерновых. Задача — и по рабочей силе, и по химикатам — непосильная для тех лет. Любищев доказал, что вредители зерновых распределяются крайне неравномерно, бороться с ними можно на небольших площадях, тем самым сберегая миллионы рублей.

Руководителей отдела экономия не интересовала. Надо было отплатить за оскорбление — они были оскорблены, уязвлены, — и это было важнее всего.

В 1937 году произошло памятное заседание Ученого совета ВИЗРа. Пять часов длилось обсуждение работ Любищева. К сожалению, как это часто бывает, обсуждали не столько проблему, сколько самого Любищева. Его обвиняли в том, что он систематически, чуть ли не умышленно, снижает опасность вредителей с целью демобилизации борьбы с ними... да и, кроме того, он вообще виталист. В те годы подобные формулировки звучали угрожающе. Слово «вредитель» играло вторым смыслом. Адвокат вредителей, пособник... Раздражало, что Любищев и не думал каяться. Правда, в заключительном слове он признал, что последние годы ему приходилось менять свои взгляды, но, видите ли, никогда он не делал этого по приказу. Ему, видите ли, нужны доказательства. Оказывается, это единственное, что может на него подействовать.

Совет признал научные взгляды Любищева ошибочными и ходатайствовал перед ВАКом лишить его степени доктора наук. Постановление было принято единогласно, но и это не смутило Любищева; он полагал, что в науке голосование ничего не решает; наука — не парламент, и большинство оказывается чаще всего неправым.

Нельзя сказать, что он не учитывал реальности. После такого решения Ученого совета он вполне мог, как он сказал, «перейти на казенные харчи».

И все же иначе он поступить не мог. Вдруг выяснилось, что он не мог поступать по трезвым доводам рассудка. Или по соображениям пользы науки, своей цели и т. п. Жертвовать собой, так хоть ради чего-то, — но кому какая польза могла быть от его ареста, от того, что его сочли бы вредителем, приспешником... Ясное дело, не существовало никаких разумных соображений так себя вести.

Тупо и упрямо он стоял на своем.

Вопреки своему хваленому рационализму.

Это всегда удивительно — ощутить вдруг предел, неподвластный логике, разуму, непонятный, необъяснимый духовный упор, воздвигнутый совестью или еще чем-то. «На этом я стою и не могу иначе».

...Пока дело тянулось в ВАКе, прихотливая судьба перетасовала все обстоятельства: директора института арестовали, и среди прочих обвинений было — разгон кадров. Тем самым Любищев политически был как бы оправдан, и ВАК (еще и по ходатайству академика Ивана Ивановича Шмальгаузена) оставил Любищеву степень доктора наук.

Похожая история повторилась с ним спустя десять лет, после известной сессии ВАСХНИЛа, в 1948 году.

Выручала его, как ни странно, откровенность, с какой он излагал свои взгляды. Очень он был похож на того старого неподкованного профессора, которого в пьесах и фильмах того времени наставляли, агитировали, перевоспитывали — то уборщица, то пожилой мастер, то подкованная внучка.

Как-то один молодой ученый позавидовал размеренной, благополучной жизни Любищева. На что, верный своей манере, Любищев, отвечая ему, составил таблицу пережитых неприятностей:

«В возрасте пяти лет упал со столба и сломал руку;
в возрасте восьми лет отдал плитой ногу;
в возрасте четырнадцати лет, препарирруя насекомых, порезался: началось заражение крови;
в 20 лет — тяжелый аппендицит;
в 1918 году — туберкулез легких;
1920 — крупозная пневмония;
1922 — сыпняк;
1925 — сильнейшая неврастения;
1930 — чуть не арестован в связи с кондратьевщиной;
1937 — кризис в Ленинграде (ВИЗР);

- 1939 — после неудачного прыжка в бассейне — масто-
идит;
1946 — авиационная катастрофа;
1948 — проработка после сессии ВАСХНИЛа;
1964 — тяжелое падение затылком о лед;
1970 — сломал шейку бедра. . .»

Все это — не считая множества других инцидентов. Он обладал высокой «инцидентоспособностью». Он не умел уклоняться от неприятностей, от опасных споров, от скользких мест, и если падал, то разбивался. . .

Глава тринадцатая — о противоречиях

Время от времени он рассылал свои отчеты друзьям. Назывались они — «годовые послания». Разумеется, не полный отчет, а некоторая выборка. Сами же годовые отчеты оставались в архиве. Годичные послания — ясно; на запросы друзей он отделялся как бы общим письмом, где рассказывал, что сделано, над чем работает, каково состояние здоровья. Сухие ведомости годовых отчетов преобразались в годичных посланиях друзьям. Описание прошедшего года со всеми злоключениями, невзгодами и радостями — это и весело и серьезно:

«...В январе получил хорошую встряску, поскользнувшись и упав затылком о лед. Первый раз понял, что значит «память отшибло». Я сознания не потерял, но когда поднялся, то совершенно забыл, что хотел зайти к одному знакомому... Вредных последствий не было, даже думаю, что были полезные. Прецеденты описаны: говорят, митрополит Филарет Дроздов в молодости отличался слабыми способностями и был пастухом, но как-то получил крепкий удар по лбу, после чего обнаружил способности и сделался митрополитом. Но он был известен как реакционер, что вполне понятно, так как получил удар по лбу, что дало ему толчок назад. Получивши же подзатыльник (старинное русское педагогическое меро-

приятие), человек получает стимул двигаться вперед, что и объясняет способность русского племени. Хотя таким образом разработана теория и практика подзатыльников, я решил от применения этих мероприятий к себе воздержаться...»

Но для кого, собственно, составлялись сами отчеты, те, что оставались в его архиве, многостраничные, со всеми перечнями? Перед кем он отчитывался? Если только для анализа прошедшего года, то вряд ли стоило выписывать все названия прочитанных книг, всех адресатов писем, все прослушанные оперы... Достаточно было бы привести количественные, так сказать, характеристики: сколько томов, страниц, часов и т. п. В его отчетах явно ощущался дух именно отчета перед кем-то, перед чем-то. Он отчитывался. Перед собою? Звучит это, конечно, красиво, но реальности тут мало: скорее искусственный домысел, больше литературный, чем жизненный. Что значит — перед собою? Это требует некоего раздвоения психики, почти комического: я пишу себе же, отчитываюсь и жду решения...

Думаю, предполагаю, что дело обстояло несколько иначе, что возникли отчеты из необходимости анализа: с каждым годом у Александра Александровича Любищева возрастало ощущение ценности времени, какое появляется к зрелости у каждого человека, у него же — особенно. Система вырабатывала уважение к каждой частице времени, благоговение перед временем.

Эта характерная черта подмечалась людьми, хорошо знавшими его.

«Время его жизни, — писал Павел Григорьевич Светлов, — это не его собственность, оно отпущено ему для работы в науке, именно в этом заключается его долг и главная радость его жизни. Во имя исполнения этого долга он экономил время, учитывая все часы и минуты, бывшие в его распоряжении».

Он отчитывался за время, «отпущенное» ему, как выразился Павел Григорьевич Светлов, за время одолженное... Кем? Здесь мы касаемся уже его философии жизни, отношения к цели, к Разуму, к сложнейшим вопросам бытия, в которых я не готов разбираться. И не решаюсь касаться.

Мне ясно лишь одно: его Система не была сметой расчетливого плановика — скорее ее можно сравнить с потребностью исповедаться перед Временем.

То чувство благоговения перед жизнью, о котором пишет Альберт Швейцер, у Любищева имело свой оттенок — благоговение перед Временем. Система его была одухотворена чувством ответственности перед Временем, куда входило и понятие человека, и всего народа, и истории. . .

Итак, он много сделал, поскольку следовал своей Системе, поскольку никогда не считал полчаса малым временем.

Его мозг можно назвать великолепно организованной машиной для производства идей, теории, критики. Машина, умеющая творить и ставить проблемы. Неукоснительно действующая в любых условиях. Четко запрограммированная на важнейшую биологическую проблему и безусловно проработавшая с 1916 года, то есть 56 лет подряд. Нет, сам он, как уже выяснилось, не был роботом, отнюдь: он страдал, и грустил, и совершал безрассудные поступки, причинял себе неприятности, так что во всем остальном он был подвержен обычным человеческим страстям.

— *С моей точки зрения, — говорил он сам, — представление о человеке как о машине есть суеверие, примерно такое же, как суеверие, что лежит в основе составления гороскопов.*

Пример с гороскопами не случаен — считалось, что звезды жестко предопределяли судьбу человека. Любищев предопределил себя сам.

Для Любищева была предопределена не судьба, не поступки, не переживания, а его работа. Так, по крайней мере, вытекало из его Системы. Все было распланировано, вычислено для достижения цели. Ради этого — планировалось, подсчитывалось, было распределено по входным и выходным каналам. И отчитываться он должен был — насколько он продвинулся вперед, к цели.

Однако чем дальше, тем загадочнее становился его путь — то и дело он отклоняется в сторону. Без видимых причин беспорядочно, надолго отвлекается, забывая о своей главной задаче. При этом нельзя сказать, что он человек разбросанный: начав какую-нибудь работу, он

кончает ее, но сама эта работа — посторонняя, никак не предвиденная.

В 1953 году, казалось бы ни с того ни с сего, он садится за работу «О монополии Лысенко в биологии». Сперва это были некоторые практические предложения, потом они разрослись в труд, имеющий свыше семисот страниц. В 1969 году так же неожиданно он пишет «Уроки истории науки». Пишет воспоминания о своем отце; печатает в «Вопросах литературы» статью «Дадонология»; ни с того ни с сего раздражается «Замечаниями о мемуарах Ллойд-Джорджа»; пишет вдруг трактат об абортах; и тут же — эссе «Об афоризмах Шопенгауэра», и следом — «О значении битвы при Сиракузах в мировой истории». Ну что ему Сиракузы? С какого боку?

Хотя... известные наши историки-античники советуются с ним, посылают ему на отзыв рефераты, книги. Он выступает как знаток античной истории, но для них, специалистов, он интересен не только как знаток, а как мыслитель — и здесь у него свои взгляды, своя трактовка, свой еретизм.

В той же статье о Сиракузах он пишет:

«Казалось бы, что если бы в этой битве верх одержали Афины, то они сумели бы под своей гегемонией объединить всех эллинов, создать обширное государство, в рамках которого шло бы безостановочное развитие эллинской культуры... Эту точку зрения я все время воспринимал без критики. Афины казались как-то чудом истории — на крошечном клочке земли, разделенном еще на множество мелких полисов, возникла поразительной высоты культура, которая и сейчас вызывает наше восхищение: искусство, литература, философия, наука и едва ли не первая попытка демократического строя... И постоянным антагонистом великодушных Афин было мрачное солдафонское государство Спарты с его полным отсутствием культурного наследия... пламенной самовлюбленностью и ограниченностью».

Как и все, он считал, что правда на стороне афинян и что афиняне, возглавляемые талантливым Алкивиадом,

должны были победить. Но обратите внимание на следующую фразу: «...Сейчас ряд соображений заставляет меня решительно изменить свои взгляды на роль Афин в мировой истории». И далее он излагает по порядку соображения, подробно аргументируя их.

Можно подумать, что его профессия — история Афин или, по крайней мере, древняя история, и какие-то новые материалы заставили его передумать, пересмотреть и изменить свой взгляд на роль Афин. Разве придет в голову, что это пишет биолог? Опять-таки дело не в эрудиции. Поражает другое: ему, биологу, не дает покоя роль Афин в мировой истории!

Теперь, когда его нет, любой вопрос безответен — надо рыться в письмах, рукописях, чтобы найти ответ. Изучая его отчеты, я уяснил, что в этот период он готовил работу о расцвете и упадке цивилизации и поэтому продумывал роль Афин. Так что все это — не игры досужего ума. А работу о цивилизациях он затеял потому, что считал необходимым раскритиковать социал-дарвинистские взгляды крупнейшего английского генетика Рональда Фишера, который пытался социологию свести к биологии и доказать, что генетика — ведущий фактор прогресса человечества, причина расцвета и упадка цивилизации.

Вероятно, во многом, что кажется у Любищева случайным, можно проследить необходимость и связь с его главной работой. Но есть и вещи совсем неприкажные, начисто посторонние. С какой стати он берется за трактат о Марфе Борецкой, садится за труд об Иване Грозном? Конечно, и это можно оправдать и обосновать. Особенно хорошо обоснованы бывают слабости. Любищев явно не умеет себя ограничивать. Он увлекается вещами для него посторонними, ввязывается в дискуссии, не имеющие к нему прямого отношения. Что ему за дело до постулатов этики — на то есть специалисты-философы; какого черта ему надо писать свыше пятидесяти страниц «Замечаний о мемуарах Ллойд-Джорджа» — это же непозволительная роскошь! Это может позволить себе лишь праздный ум...

Существует древняя поговорка: врач не может быть хорошим врачом, если он только хороший врач. То же с учеными. Если ученый — только ученый, то он не может быть крупным ученым. Когда исчезает фантазия,

вдохновение, то вырождается и творческое начало. Оно нуждается в отвлечениях. Иначе у ученого остается лишь стремление к фактам.

...Отвлечения занимали все больше и больше места в его работе. Он сам сетовал, что не в состоянии укрыться от страстей окружающего мира, но я думаю, что и свои собственные страсти он не в силах был обуздать. Он не умел соблюдать диету своего ума — в этом смысле он грешил лакомством или обжорством. Там, где ему попадалось что-либо вкусненькое для его мощной логики, он не мог удержаться.

Как это сочеталось с его Системой? Да никак. Она становилась инструментом, на котором он играл что придется — импровизации.

Он учитывал время со всей скрупулезностью, но на что он его тратил? Друзья и близкие все чаще упрекали его за это, особенно же остро встал вопрос «надо» или «не надо», когда Любищев взялся за большую свою работу о положении в биологии:

«...Самое серьезное и самое убедительное для меня в Вашем письме — это то, что Вы ощущаете свое молчание как болезнь, что оно в сущности и есть причина болезни. Это прекрасное мужское свойство... Я видела, что мужчины — очевидно, люди с более глубокой социальной совестью, чем мы, бабье, — всегда болели, а часто и умирали, если не могли говорить о науке или искусстве того, что им велела совесть». И далее: «...Но ведь у вас есть и долг перед наукой (в более глубоком смысле социальный), который заставляет Вас сидеть у микроскопа, писать статьи о науке... Есть два долга: один — наука, другой — ответственность за те формы, которые получает данная отрасль данной науки в данную историческую минуту. Я не уверена, что второй долг серьезнее первого. Решает ведь первое. Именно первое — открытие, событие: находка сметает второе».

Мнения друзей сводились к одному: дело ученого — решать свои непосредственные задачи. Научная критика, говорили они, играет подсобную роль в решении больших вопросов, «это все скорее — тактика, политика, а не научный спор. Эти вопросы надо отнести к компетенции партии и правительства».

Опасения были справедливы, доводы умны и дальновидны. Ему, как и предсказывали, пришлось столкнуться

с дирекцией института и подать в отставку. Потом работа его была признана, его звали назад; но то — потом, спустя годы, в том прекрасном будущем, в котором обязательно справедливость торжествует, а порок, как и положено, наказан, — а пока что каждый мог его спросить: вот видишь, что получилось, так стоило ли?

Рукопись свою, несмотря на уход из института, он довел до конца. Рассуждая логически, он не сумел бы доказать, что работа эта стоила всех неприятностей, стоила того, чтобы отвлечься от основной своей работы... Разве что — гражданская совесть. Может, это решало — совесть — весьма туманная материя, вроде бы никак не связанная с разумом? Да и совесть его тоже страдала от того, что он забросил, отложил дело своей жизни. Он все время как бы брал отпуск за свой счет, отпуск от любимой своей работы. Ради чего? Боролся за правду? Но ведь не его это назначение, он — ученый, он ищет истину, а не правду. Истина важнее... А правда нужнее... Обязан — не обязан. Должен — не должен. Совесть его разрывалась. Он чувствовал болезненное это противоречие, яростную полемику между долгом вмешаться, откликнуться и главным долгом своей жизни. Он понимал, что в каком-то смысле жертвует собою, откладывая осуществление любимого дела. В сущности, он жертвовал своим временем. Он не мог найти компромисса.

В его продолжительной жизни не было решения, она была постоянным спором. Внутренний спор делал его все более чутким и непримиримым ко всякому злу жизни. Неумолчный этот спор питал его нравственность. В нем росло как бы ощущение всемирности, когда человек сознает, что в нем самом и для него — творится история. И что судьба страны есть его собственная судьба. Это чувство гражданина страны. Не случайно он так чтит Тимирязева за то, что тот совмещал преданность чистой науке и сознание общественного долга ученого перед народом. Ощущение всемирности — ощущение принадлежности к роду человеческому.

В числе его любимцев были и Эйнштейн, и Кеплер, и Леонардо да Винчи. То есть — самые разные как бы типы ученых. В Леонардо нравилось Любичеву отрицание догмата, какого-либо авторитета — и математический подход к разнообразным явлениям. Леонардо был

религиозен, но Любищев отмечал, что религия толкала Леонардо не к созерцанию, а к творчеству. Этические мысли Леонардо, так же как, впрочем, и мысли на этот счет Макиавелли, нисколько не смущали Любищева:

«Они кажутся безнравственными только потому, что новая этика кажется безнравственной. Фактически это — та же высокая этика Сократа: оправдание морали разумом».

Любищев часто превозносит Разум, а сам ведет себя неразумно, нерасчетливо. Самодисциплина его действует, но она итожит траты, порой расточительные, которые ему явно не по карману.

Ах, что мы знаем об увлечениях и отвлечениях! Кто смеет говорить: «Человек должен быть таким-то». Откуда мы знаем? А если без этих отвлечений он не мог? Вспомните отвлечения Ньютона. Величайшим созданием своей жизни Ньютон считал «Замечания на книгу пророка Даниила...» Он тратил массу времени на богословские сочинения, и легче всего полагать, что зря его тратил. Некоторые историки снисходительно жалеют его. Но, оказывается, религиозные его воззрения уживались — даже взаимодействовали — с его научными взглядами. Парадоксальную эту особенность подметил Сергей Иванович Вавилов в своей превосходной биографии Ньютона, а за ним и Любищев показал, что Ньютону при решении вопроса о принципах всемирного тяготения нужно было чем-то заполнить мировое пространство. Он заполнил его Богом. Только участием Бога он мог объяснить тяготение. Занятия теологией пошли ему вроде бы на пользу — так же как Кеплеру его астрологические суеверия позволили построить правильную теорию приливов, основанную на влиянии Луны.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда.

Что ж, астрология отвлекала Кеплера, мешала ему? Что было главное, а что лишнее? Кому судить об этом? Вагнер, например, ценил свои стихи выше, чем свою музыку. Но что, если он был прав и стихи помогали ему писать музыку, и были для него тем самым дорожке всего?.. Что, если отвлечения помогали Любищеву?

В 1965 году он занят разглядыванием морозных узоров на окнах. Он делает десятки, сотни фотографий этих узоров и наконец пишет статью «О морозных узорах на окнах».

Его несколько не смущает эта фельетонная тема, отличный повод для насмешек — морозные узоры на окнах, из которых отставной профессор пытается высосать науку.

Что нового можно сказать об этом, всем известном, явлении? Кто не любовался мохнатыми зарослями, которые рисует мороз на стеклах? Каждый открывал странное сходство этих рисунков с растениями, папоротниками, травой, с древесным миром.

Дело в том, что и картина эта, и человеческое удивление насчитывает уже сотню-другую лет, тираж наблюдений составил миллионы, миллиарды раз, — так что вряд ли можно было увидеть тут что-то новое. Но в один прекрасный зимний день появляется человек, который смотрит на эти узоры откуда никто никогда не смотрел. Не сходство обнаруживает он, а закономерность сходства. Он делает всего-навсего один шаг дальше, начинает оттуда, где все удовлетворенно останавливаются. Закономерность сходства, а значит — общие законы строения и гармонии в естественных системах. Их можно выразить математически. Юлий Анатольевич Шрейдер — один из исследователей творчества Любищева — пишет, что в этой статье Любищев выдвигает две новые отрасли науки: теорию сходства и теорию «симметричных форм, не заполняющих пространство». Морозные узоры вдруг неожиданно-негаданно дополняют общую картину мира, которую создает Любищев. Он берет материал для нее отовсюду, из самых обыденных, примелькавшихся явлений, он открывает новый, более глубокий уровень понимания — и обычное становится необычным. Для настоящего ученого источником открытия могут быть вещи самые ничтожные.

Софья Ковалевская занималась волчком — детской игрушкой — и по-новому решила задачи вращения твердого тела. Кеплер стал вычислять по просьбе виноторговца объем бочек. Его работа «Новая стереометрия винных бочек» содержала начала анализа бесконечно

малых. Кантор размышлял над Святой Троицей и создал свою знаменитую работу — теорию множеств. Не из карточных ли игр родилась современная теория игр?..

Друзья, которые упрекали Любищева за то, что он разбрасывается, сами с удовольствием читали его «посторонние» работы. И для меня наиболее интересны как раз его отвлечения. Они всегда были неожиданны, захватывающи. Они всегда что-то открывали — его комментарии к книге об Амундсене или к собранию сочинений шлиссельбуржца Николая Александровича Морозова, его размышления о романе Веркора «Люди или животные». Специальных работ я не понимал, а понимал именно эти, общие... Или же — то общее, что было в его специальных работах. А там всегда были выходы в историю, в философию. Стоит прочесть, например, его посмертно опубликованную статью «Поли- и моно-». Она ставит одну за другой, своеобразно, проблемы жизни на других планетах, теории развития, астробиологии, законов, управляющих ходом эволюции, трактует, как понимали эволюцию Энгельс и Ленин...

Кто сможет сказать, что из написанного Любищевым останется, — может, именно общепhilософские или науковедческие работы? Он сам об этом не думал, решая по-пастернаковски:

...но поражение от победы
ты сам не должен отличать.

Нет, должен...

Что позволено поэту, не позволено ученому. Не позволено ему утрачивать способность самокритики. Он обязан отличать удачные результаты от неудачных, нужные работы от ненужных и поражения от победы. Не для того Любищев создавал, отшлифовывал свою Систему, не для того он сэкономил время, чтобы тратить его потом на свои увлечения. В какой-то мере он дискредитировал свою Систему. Она не удержала его, не воспротивилась — она так же послушно стала служить его слабостям, как служила его силе.

...Но что, если Любищев с какого-то момента иначе работать не мог? Желание откликнуться на то, что его волновало, стало потребностью его натуры. С какой ста-

ти он должен был насиловать себя? Он хотел как можно полнее воплотить в самых разных своих работах все стороны своего разума, все, что задевало его; нравственные проблемы представлялись ему иногда важнее научных, и он не отставлял их в сторону.

Так-то так, но что же тогда называется разбросанностью?

Писатель доволен, когда его герой начинает поступать вопреки логике. Должен сделать то-то — и вдруг под влиянием чувств совершает нечто не предусмотренное и самим автором. Действия героя никак не вытекают из обстоятельств и в то же время по-человечески понятны. Выдуманный герой в такие моменты приближается к полнокровному живому человеку и убеждает своей противоречивостью.

Но когда тот же самый писатель сталкивается в знакомом ему человеке с малопонятными действиями, он обязательно будет искать какое-то логическое объяснение. А если писатель описывает этого человека или же какое-либо историческое лицо, то уж тут во что бы то ни стало постарается найти причину его действий и мотивы и вывести их со всей точностью и последовательностью. То есть — устранить всякую противоречивость.

Это самое произошло у меня с Александром Александровичем Любищевым. Мне обязательно надо было растолковать его поведение, обнаружить, в чем там секрет. Я убежден был, что все дело — в моей недогадливости. В неосведомленности.

Может быть, я не учитываю общественный его темперамент; может, через историю, философию он пытался выразить то, что всех нас так занимало эти годы. Отсюда его интерес и к Ивану Грозному, и к этике.

А может, биологические проблемы, поднятые Любищевым, затрагивали множество укоренившихся предрассудков. Куда бы он ни обращался — к диалектике, к истории, к механике, к учениям Коперника, Галилея, к философии Платона, — повсюду он умудрялся видеть вещи иначе, чем видели до него. Он наталкивался на чужие заблуждения: куда бы он ни ткнулся, повсюду они возникали, — и он обязательно должен был расправляться с ними. Способность видеть то, что не видят дру-

гие, — мучительная способность. Великолепный этот талант — скорее наказание, чем отрада.

Вместо того чтобы уклониться, он вступал с ними в бой. Они вырастали, как головы лернейской гидры. И опять он должен был рубить их — Геракл, которому никто не задавал работ и никто не подсчитывал его подвигов.

А все же почему — должен? Ведь никакой логики тут не было. Любищев жил по Системе, которая заставляла поступать логически, подсказывала наиболее разумные, продуманные решения. Из всех вариантов она выбирала самые выгодные. Что могло быть лучше такого советчика! Но в одном случае она отказывала. Когда он поступал вопреки своей пользе. Перед противоречивостью Система была бессильна. Слабой логике она могла противопоставить сильную. Тут же логики не было, а все шло наперекор разуму. Система подсказывала одно поведение. Любищев же вел себя иначе, нелепо, как бы по самому невыгодному, непредвиденному варианту...

Почему?.. Я вдруг понял, что не нужно отвечать на этот вопрос. Незаконный это вопрос. Глупый. Ничего не надо больше искать. Наконец-то я наткнулся на то, что уже нельзя объяснить. Это была материковая порода.

Узнать другого человека — это и значит добраться до его противоречивости.

Узнать-то я узнал, а вот объяснить не мог. Узнать и понять — это ведь разные вещи.

Противоречия эти, однако, не обессиливали его. Размышления о жизни, о себе, о науке не уменьшали его активности. Жажда действия возрастала, мысль подстегивала его. Он не боялся вопроса о том, каков смысл в его неутомимых писаниях, в его энергичной деятельности. Одно он знал твердо и повторял другим: тот, кто мирится с действительностью, тот не верит в будущее.

Впрочем, и это не всегда помогало. Ему хотелось ни на что не отвлекаться, ни о чем постороннем не задумываться, остаться наедине со своей главной, единственной, давней работой. Ему хотелось примириться с действи-

тельностью, не обращать на нее внимания. Ничего этого он не мог. Его разрывало на части. Трещина шла через его душу. Это было мучительно. Еще более было оттого, что он не знал, выполняет он свой долг — или же нарушает его. Жертвует он собой — или же уклоняется от боя...

Глава четырнадцатая — счастливый неудачник

Выполнил ли Любищев намеченную программу? Природа дала ему (или он взял у нее?) для этого все — способности, долгую жизнь; он создал Систему, он, пусть с уклонениями, постоянно следовал ей, используя и время и силы...

Увы, он не выполнил намеченного. Под конец жизни он понял, что цели своей не достиг и не достигнет. Пользуясь своей Системой, он мог точно установить, насколько он не дойдет до когда-то поставленной цели. Ему исполнилось семьдесят два года, когда он решил сосредоточить силы на книге «Линии Демокрита и Платона». Он рассчитал, что она займет лет семь-восемь и будет последним его трудом. Как всякий последний труд, он станет главным трудом, в котором предстоит разобрать общебиологические представления.

По ходу работы центральная часть стала обрастать общефилософскими размышлениями, гуманитарными дисциплинами — и не случайно, потому что речь должна была идти о единстве человеческого познания.

За несколько лет он дошел до Коперника. Стало ясно, что вряд ли он успеет охватить биологические науки. Намеченные исследования по конкретной систематике тоже сорвались. С 1925 года он всячески сужал свои занятия насекомыми. От рода Апион отказался, оставил земляных блошек — и тех пришлось сократить. К 1970 году он решил задачи надежного определения самок всего шести мелких видов Халтика. Как много было задумано и как мало сделано! Сорок пять лет работы над этими Халтика — и такой ничтожный итог.

Его друг Борис Уваров, который начинал вместе с ним, за эти годы из двух тысяч видов африканских саранчовых описал около пятисот новых видов. Всю

жизнь Уваров занимался только саранчовыми и стал первым в мире специалистом, организовал борьбу с саранчой в Африке во время второй мировой войны, за что получил ордена от Англии, Бельгии, Франции. Правда, Уваров ставил себе иные задачи, но все же...

А когда-то Любищеву мечталось связать работу по блошкам с общетеоретическими проблемами. Не успел. Так что и здесь его постигла неудача. Правда, работа по вредителям дала результат, и по энтомологии, попутно, некоторые обобщения удалось получить (и не такие малые, как выясняется теперь); например, о том, что иерархическая система не универсальна. Это касалось не только биологии. Его работами заинтересовались математики, философы, кибернетики. Можно найти немало утешений. Но задуманного сделать не удалось. То, ради чего он отладил свою Систему, которая стала Системой жизни, — этого сделать не удалось. Не повезло. Несчастливый он был человек.

...Он один из тех людей, кто сумел выйти за пределы своих возможностей. Здоровья не бог весть какого крепкого, он, благодаря принятому режиму, прожил долгую и в общем-то здоровую жизнь. Он сумел в самых сложных ситуациях оставаться верным своей специальности, ему почти всегда удавалось заниматься тем, чем он хотел, тем, что ему нравилось. Не правда ли, счастливый человек?

В чем же тут счастье? Программа, которую он разработал, вычислил, распланировал, — завалилась. Ни один из ее пунктов не получился так, как хотелось. Большая часть написанного не была напечатана при его жизни. Самое обидное, что поставленная цель оказалась самой что ни на есть насущной, она не разочаровала — наоборот, он своими работами приблизился к ней настолько, чтобы увидеть, как она прекрасна, значительна. И достижима. Он ясно видел это теперь, когда срок его жизни кончался. Ему не хватало немного — еще одной жизни. Было горько сознавать, что он просчитался и все было напрасно. Несчастье — как же иначе это назвать? — несчастливый человек!

.. У него было все, чтобы прославиться: воля, воображение, память, призвание и прочие качества в нужных пропорциях. Это очень важно — пропорции; можно сказать, весь фокус — в пропорциях. Небольшой перебор или нехватка — и все насмарку. Я знал физика, который должен был совершить по крайней мере три крупнейших открытия, и всякий раз он перепроверял себя еще и еще, пока его не обгоняли другие. Его губила требовательность к себе — слишком он боялся ошибиться. Ему не хватало нахальства, или беззаботности, или еще чего-то. Тут мало соображать, тут нужен еще и характер.

Любищеву всего этого хватало, ему отпущено было в самый раз; если бы он выбрал себе цель поскромнее, он достиг бы куда большего, его ждала бы известность Фабра или Уварова...

Не повезло ему, подвела его Природа. Кто мог знать, что так сложно все устроено? Он-то, когда брался, следовал Ивану Андреевичу Крылову: «Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах утешный был конец». А утешного конца и не вышло.

Неудачник. Он и сам себя так называл.

Но почему же с годами все больше молодых ученых — да и не только молодых, а и заслуженных, прославленных — тянулось к нему? Почему с таким уважением прислушивались к нему в разных аудиториях? Отчего он сам считал себя счастливым человеком? Вернее, жизнь свою счастливой?

Пользуясь библейской мифологией, его можно сравнить с Иоанном Предтечей: он один из тех, кто готовил новое понимание биологии. Он сеял — зная, что не увидит всходов.

В нем жила уверенность, что то, что он делает, — пригодится. Он был нужен тем, кто останется жить после него. Это было утешение, привычное скорее художнику, чем ученому. Но и современники нуждались в нем, каждый по-своему.

Недавно, комментируя посмертно опубликованную его статью, известные наши ученые Сергей Викторович Мейен и Алексей Владимирович Яблоков писали:

«Среди биологов А. А. Любищев известен как решительный противник наиболее популярных сейчас эволю-

ционных взглядов, совмещающих учение о ведущей роли естественного отбора эволюции с достижениями популяционной генетики. Поскольку с эволюционным учением прямо или косвенно связаны чуть ли не все другие общие проблемы биологии, то не удивительно, что и в подходе к этим проблемам А. А. Любищев очень часто не разделял господствующих взглядов. В этой постоянной «оппозиции» — особая ценность. Даже многие научные противники благодарны Любищеву за умную критику... Критики, подобные Любищеву, видимо, вообще необходимы науке — даже если они в конце концов окажутся неправыми».

Чего он не терпел, так это бесспорных истин, уверенности, категоричных суждений.

«...Вы выдвигаете положение: наука связана с общественными истинами, философия ни одной такой общепризнанной истины не имеет... Дорогой мой, с какой луны Вы свалились? Сейчас как раз можно сказать обратное: в самых точных науках нет общепризнанности, а, наоборот, имеется большое расхождение мнений. В математике: ряд неевклидовых геометрий, разброд в философии математики... какой разброд в теории вероятностей и математической статистике! В астрономии вместо одной теории Лапласа сейчас целая куча, в генезисе Земли вместо контракционной теории опять разнობой... Но тут Вы говорите: «Кроме того, существуют незыблемо установленные факты, например, что Земля круглая, а не блин». Есть окончательно установленные отрицания, например, что Земля не блин, но что касается положительного значения формы Земли, то на этот счет сейчас удивительное разнообразие мнений... Создается математическая теория очертаний Земли, формы осколков ставятся в связь с историей Земли. В частности, указывается, что когда-то Луна была гораздо ближе к Земле, чем сейчас, они

составляли почти одно целое. . . Чем менее точны науки, тем они более неподвижны, а в точных колоссальная, постоянно идущая перестройка. . .»

У него был особый талант научного еретика, умеющего подвергать сомнению самые, казалось бы, прочные догмы. Он опровергал, оспаривал иногда вещи, которые для меня были очевидны, и это заставляло думать. Вот что, пожалуй, существенно: он возбуждал мысль, он пробуждал к мысли людей, давно отвыкших от этого. Как ни странно, многие ученые страдают болезнью бездумья. Орган, заставляющий мыслить, у них атрофировался. Тем более что бездумье нисколько не мешает их научным показателям. . .

Он отвечает молодому талантливому ученому (которому, кстати, он был многим обязан), сетующему, что нет времени на размышления:

«. . . Ученый, не имеющий времени на размышления (если это не короткий период — год, два, три), — конченный ученый, и если он не может переменить свой режим, чтобы иметь достаточно времени на размышления, то ему лучше бросить науку. . . Вы сейчас уже доктор наук, имеете солидное положение, Вам уже некуда торопиться, и надо постараться осознать себя. Какую цель Вы себе ставите? Если Вы ставите цель — достигнуть максимально возможного результата в науке, то надо обязательно оставить время на размышления. . . «Наблюдения и размышления» — так озаглавил свои произведения великий К. фон Бэр, а в современных работах очень много наблюденный и часто очень мало размышлений. . . Ваши философские суждения (как и суждения по философии большинства биологов) стоят на уровне суждений по биологии П. (писатель, который написал в свое время ряд малограмотных статей по биологии. — Д. Г.): в обоих случаях — не только полное невежество, но и догматическое утверждение того, что на самом деле является суеверием. Можно ученому фи-

лософию игнорировать? Можно, но тогда уж не приводить философских аргументов... Найдите время, чтобы поразмыслить над тем, что Вам сейчас кажется бесспорным, не пишите популярных книг, пока Вы этого пробела не заполнили, или плюньте на эволюционное учение, которое при невозможности размышлять Вам, очевидно, не под силу».

Можно ли мерить человека целью, которую он себе поставил? Чем вообще оценивать прожитую жизнь? Пользой? Талант приносит пользы больше, чем заурядность? А гений — больше, чем талант! Но чем же человек виноват, что нет у него таланта, выдающихся способностей? И в чем заслуга того, талантливое? Да, гениальный ученый даст науке больше, чем средний. Но в гениальном ученом выражает себя скорее Природа, чем он сам.

Любищев — не гений; гений — всегда заканчивающий, ему приходится завершать то, над чем трудились умы предтеч. Любищев и интересен мне тем, что не гений, потому что гений разбору недоступен, вникать в него, слава богу, бесполезно. Гений пригоден для восхищения. Любищев же манил за собой тем секретом, каким удалось ему осуществить себя. Хотя никакого секрета он не делал, отвергал разговоры о чудесах своей работоспособности.

Кроме Системы у него имелось еще несколько правил:

- «1. Я не имею обязательных поручений;
2. Не беру срочных поручений;
3. В случае утомления сейчас же прекращаю работу и отдыхаю;
4. Сплю много, часов десять;
5. Комбинирую утомительные занятия с приятными».

Правила эти невозможно рекомендовать, они — его личные, выработанные под особенности своей жизни и своего организма: он изучил как бы психологию своей работоспособности, наилучший ее режим.

Он почти не жаловался на отсутствие времени. Я давно заметил, что людям, умеющим работать, времени хватает. Нет, пожалуй, лучше сказать иначе: времени у них больше, чем у других. Мне вспоминается, как

в Дубултах Константин Георгиевич Паустовский подолгу гулял, охотно заводил свои веселые устные рассказы; можно было подумать, что ему нечего делать — он никогда не торопился, не ссылаясь на занятость и при этом успевал работать больше любого из нас. Когда? Неизвестно.

Похоже, что люди, подобные Любищеву, устанавливают тайные, неведомые никому отношения со временем. Они бесстрашно заглядывают в лицо этому ненасытному божеству.

Человек всегда относился ко времени враждебно. Пространство, материю — этих удавалось как-то приручить. время оставалось тем же дико-первобытным. С тех пор как человек заглянул в дали Вселенной, услышал тиканье мировых часов, отсчитывающих миллиарды лет, увидел, как рушатся галактики, — время, пожалуй, стало еще страшней.

меня поражала у Любичева смелость, с какой он обращался с плотью времени. Он умел ее осязать. Он научился обращаться с пульсирующим, ускользящим «теперь». Он не боялся измерять тающий остаток жизни в днях и часах. Осторожно он растягивал время, сжимал его, стараясь не уронить, не потерять ни крошки. Он обращался с ним почтительно, как с хлебом насущным; ему и в голову не могло прийти — «убивать время». Любое время было для него благом. Оно было временем творения, временем познания, временем наслаждения жизнью. Он испытывал благоговение перед временем. Оказалось, что жизнь вовсе не так коротка, как это считается. Дело тут не в возрасте и не в насыщенности трудом. Урок Любичева состоял в том, что можно жить каждой минутой часа и каждым часом дня, с постоянным напором отдачи. Жизнь — долгая-предолгая штука. В ней можно нарабатываться всласть и успеть многое прочитать, изучить языки, путешествовать, наслаждаться музыкой, воспитать детей, жить в деревне и жить в городе, вырастить сад, выучить молодых. . .

Жизнь спешит, если мы сами медлим.

Ведь мы живем какими-то избранными моментами и запоминаем лишь сгустки жизни. Полчаса — для нас это не время. Мы признаем только целые поля времени, его расчищенные, свободные от обстоятельств и случайностей площадки. Там мы готовы развернуться. Мень-

шее нас не устраивает, мы сразу же ссылаемся на помехи, на обстоятельства. О, могущество независимых от нас обстоятельств, властных, оправданных! На них так удобно переложить ответственность...

Мы не замечаем, как разлагают и обессиливают душу эти ссылки... Мне хотелось привести печальный пример моего друга, когда-то неплохого ученого, а потом руководителя крупного института. Но тут же мне вспомнилась точно такая же судьба одного писателя, которого я близко знал, и еще одного писателя. Должности действительно отнимали у них много времени и мешали работать, и постепенно они привыкли к власти этих обстоятельств. Все они мечтали освободиться и часто говорили, как вот тогда-то они займутся любимым делом как следует, ибо урывками книги писать нельзя и наукой заниматься невозможно. Они освободились. Для каждого пришел такой день. И скоро обнаружилось, что никто из них уже не может работать. Они долго не признавались себе в этом, они искали обстоятельств, то есть новых поручений, отсрочек, избегая свободы, о которой они столько твердили и, возможно, добивались. Первый запил и покончил с собой. Второй как-то угас, незаметно и тихо. И третий... Другие живы.

Любищев называл себя неудачником, и при этом он чувствовал себя счастливым человеком.

Отчего возникает ощущение счастья? У него — наверное, от полноты осуществления себя, своих способностей. Неудачник и счастье — не знаю, как это совмещалось. Может быть, он понял, что главное — это не результаты...

Он жалел тратить время на проталкивание своих произведений, на хождение по редакциям, всякие ходатайства, напоминания...

Он избегал обязательных визитов, праздников.

Но было одно постоянное занятие, на которое он «раскошелчивался», — это на письма. Я не касаюсь писем родным и друзьям: сколь бы они ни были подробны, щедры — тут все понятно. Я имею в виду письма деловые и научные. Среди последних есть по десять — двадцать — сорок страниц убористой машинописи. Тут и замечания на присланные рефераты, рукописи, и отзывы о книгах, и разбор разных статей. С чем только к нему не обращались! Спрашивали его мнения о Тейяре де

Шардене, о телепатии, о проблеме адаптации, о природе хаоса, о названиях насекомых, о театре, о демографии, о кашалотах...

Возьмем первый попавшийся год, чтобы представить масштабы его переписки:

«1969 год. Получено 419 писем (из них 98 из-за границы). Написано 283 письма. Отправлено 69 бандерлей».

Адресаты его — институты, научные общества, академики, журналисты, инженеры, агрономы... Некоторые его письма перерастают в трактаты, в научные статьи. Некоторые письма, например переписка с Павлом Григорьевичем Светловым, с Игорем Евгеньевичем Таммом, с Алексеем Владимировичем Яблоковым, с Юлием Анатольевичем Шрейдером, с Рэмом Баранцевым и с Олегом Калининим, составляют как бы научные обзоры, диалоги, научные диспуты, могут быть изданы сборниками.

Если взять только научную переписку Любищева, эти большие переплетенные тома, то они сами по себе — энциклопедия современного естествознания, философии, истории, права, науковедения, этики и еще невесть чего.

Я никогда не мог понять, каким образом ухитрились в прежние времена люди поддерживать такую обильную переписку. Тем более умирающее это искусство изумляло у Любищева, человека нашего века.

В одном из писем он поясняет свои правила ведения переписки. На каждый месяц он составлял план, кому отвечать. Полученные письма он как бы размечал, ставя знак: нужно отвечать или нет.

«На срочные письма я отвечаю немедленно, а остальные откладываются, и когда пишу серьезную работу, то на известное время накладывается мораторий на всю переписку, кроме срочной.»

Но тут говорят, что надо отвечать на все письма, притом сразу — этого требует вежливость. Конечно, в современных биографиях выдающихся людей, написанных в стиле старинных акафистов, отмечаются совершенно неправдоподобные добродетели, вроде той, ко-

торая написана в житии Николая Чудотворца, что он с самого рождения был благочестив и по постным дням отказывался от материнской груди... В частной переписке всякое обязательство должно быть обоюдным. Я считаю совершенно бесспорной и в государственных и в личных отношениях великую идею договора, восходящую, как известно, к Платону. Никто не имеет прав требовать ответа на свое письмо, ответ всегда — или результат договора с корреспондентом, или любезность (вовсе не обязательная). Я стараюсь отвечать на все письма, потому что переписка в том умеренном размере, которую я веду, доставляет мне удовольствие, потому что она не мешает моим основным целям, напротив, в значительной степени им способствует».

Читать его письма — удовольствие особое. В них проявляется широта его таланта, позволяющего ему видеть мир целостно. Вещи далекие, экзотические, какие-то частности, осколки всегда становятся у него частью целого, соединяются в единую картину. Он умел находить место любой вещи и учил восстанавливать эту утраченную целостность восприятия.

Исподволь, однако, подбиралась досада — да как же не жаль ему было расточать такие богатства втуне! Не для общего пользования, а для какого-то одного человека, часто ему, Любичеву, малознакомого. Некоторые из писем — готовые статьи: бери и печатай; в других привлечен огромный материал; он раздаривал свои мысли, идеи, накопленные наблюдения, и все это делал обстоятельно, подробно, как будто это входило в его обязанности, словно по службе. И времени расходовал на это — уйму. Ну, ладно, отвлечения, какие-то статьи об истории, так то хоть статьи, а это же — частные письма, их прочитает адресат — и все, больше ни для кого они не предназначены.

Опять — разбросанность, опять — противоречие. Экономить время, собирать его по крохам и тут же транжирить на письма, порождая в ответ лавину новых писем... Среди адресатов были и малосовестливые: хватай, пользуйся, благо задарма.

Все так, если судить по нашим законам. Но у Любищева были свои законы. Письма имели адрес, их ждали, они были нужны — не вообще людям, как нужны статьи и книги, — а нужны человеку имярек, и это было Любищеву дороже времени. Так же как истинный врач творит для одного человека, одного больного, так и Любищев ничем не скупился, если кто-то нуждался в нем. Как он ни ценил Время, он мог жертвовать и им. В нем не было всепоглощающей, нетерпимой научной одержимости. Наука, научные занятия не могут и не должны быть высшей целью. Должно быть нечто дороже и Науки, и Времени...

Написав это, я вспомнил замечательного советского художника Павла Николаевича Филонова. Вот, пожалуй, наиболее сильный из известных мне примеров человеческой одержимости. Филонов был исступленно предан своему искусству. Он жил аскетично, нередко голодал — не потому, что не мог заработать, а потому, что не хотел зарабатывать себе живописью. Вел он себя нетерпимо, не соглашался ни на малейшие компромиссы. Судя по воспоминаниям его сестры, Евдокии Николаевны Глебовой, обстановка его мастерской — она же жилище — была самая спартанская. К другим художникам он относился в лучшем случае критически, а чаще — просто не признавал. Опять же из-за своей одержимости он не мог не отвергать все иные художественные школы и направления. Только свою живопись он считал подлинной, свою манеру считал революционной. Он не щадил своего здоровья, не щадил близких, не замечал никаких лишений; единственное, к чему была устремлена вся его натура, — живопись. Работать, писать, рисовать, стоять у холста, искать новые приемы, способы — это, и только это, было способом его существования, это было жизнью... Можно, конечно, уважать и чтить подобную художническую преданность, но человечески симпатичного в ней мало. А вместе с тем живопись Филонова поразительна. Значит, что же — одержимость, фанатичность помогали ему? Великолепные картины его, посвященные революции, петроградским рабочим, проникнутые энтузиазмом, живописные в каждом малом кусочке полотна, — все это получалось, несмотря на одержимость?

Или благодаря ей? Одержимость, значит, помогает таланту? Ничего в ней нет плохого? Да и что, спрашивается, нам за дело до того, какой ценой досталась Филонову эта красота, когда мы сегодня любим его картинами.

Так что же, чем плоха такая одержимость, если она помогает художнику? Ведь то же самое может быть и с ученым...

Важны результаты, открытие, добытая истина...

Вроде бы все так, но, почему-то уже без всяких доводов, мне по-прежнему несимпатична, неприятна одержимость. Иногда, перебирая рисунки Филонова, я мысленно благодарю его — и возмущаюсь, вспоминаю его жизнь и отвергаю ее всей душой, и не могу понять, прав он или не прав, и имел ли, вообще, человеческое право на это?

Письма были то немного, чем Любищев мог практически помогать людям. Возможность помочь делала его нерасчетливым, он забывал о времени, выкладывался, не жалея себя. Его отзывы — это, в сущности, пространные рецензии. Он делал их бескорыстно, бесплатно. Он разбирал ошибки, находил сомнительные места, спорил, он совершал работу редактора — правил, подсказывал, советовал. К нему обращались малознакомые, вовсе незнакомые — он не отказывал.

Масштабы его деятельности соответствовали целому учреждению: «Главсовет», «Главпомощь», «Бюро научных услуг» — что-то в этом роде. Кроме научных советов, были и нравственные. Он не стеснялся выступать наставником, учить, требовать, разбирать поступки. Лично для меня наиболее драгоценное в его письмах — это нравственное учительство. Вот, например, он пишет одному из своих корреспондентов:

«...О Чижевском — я не уверен, что Вы правы, скорее склонен думать, что Вы не правы. Вы пишете: «Сейчас разобрался в двух вещах: 1) чижевщина — т. е. связи эпидемических явлений с солнечной активностью. Это чудовищное очковтирательство, на каковое клюнуло Общество испытателей природы...» ...Чижевского я читал немного (помню, целый том по-французски), просматривал давно. На-

зывать человека очковтирателем и проходимцем — значит иметь уверенность в том, что все его данные безграмотны, фальсифицированы и направлены для достижения личных, низменных целей... Даже если его выводы сплошь ошибочны, его ни очковтирателем, ни проходимцем назвать нельзя. Возьму для примера такого автора, как Н. А. Морозов. Я читал его блестяще написанные «Откровение в грозе и буре» и «Христос» (семь томов). Морозов совершенно прав, когда пишет, что если бы теории, поддерживаемые «солидными» учеными, получили бы такое обоснование, как его, то они считались бы блестяще доказанными... Но его выводы совершенно чудовищны: царства — египетское, римское, израильское — одно и то же. Христос отождествляется с Василием Великим, Юлий Цезарь — с Константином Флором, древний Иерусалим не что иное, как Помпея, евреи — просто потомки итальянцев... и проч. Можно ли принять все это? Я не решаюсь, но отсюда не значит, что Морозов очковтиратель и проходимец. Можно сказать, что Морозов собрал Монблан фактов, но против него можно выставить Гималаи фактов. Но ведь совершенно то же самое можно сказать, по моему глубокому убеждению, и по отношению к дарвинизму. Дарвин и дарвинисты действительно собрали Монблан фактов, гармонирующих с их взглядами, но моя эрудиция позволяет мне сказать с уверенностью, что дисгармонируют с дарвинизмом Гималаи, которые все растут и растут...»

И далее:

«...Могут сказать, что дарвинизм все-таки приводит к разумным выводам, а Морозов — к глупым... но не все работы Морозова приводят к нелепым выводам. Очень высоко ценят химики работу Морозова «Периодические системы строения вещества», где он предвидел нулевую группу, изотопы и еще что-то. Это, несомненно, был очень талантливый че-

ловек, но своеобразие его жизни позволило развиться лишь одной стороне его дарования — совершенно исключительному воображению — и, по-моему, недостаточно способствовало развитию критического мышления. Как же быть? Принять или отвергнуть Морозова? Ни то и ни другое, а третье: использовать как материал для построения критической гносеологии... Можно критиковать Чижевского, разобрав его доводы и показав, что они ничего не стоят... Это означает ошибочность взглядов Чижевского (как и ошибочность взглядов Морозова), но не дает нам еще права называть его очковтирателем. Но мне кажется, что Вы отвергаете Чижевского из общих «методологических», как у нас говорят, соображений. Тут я решительный Ваш противник. История точных наук в значительной мере является борьбой сторонников «астрологических влияний» (куда относятся Коперник, Кеплер и Ньютон), допускавших действие небесных тел на земные явления, и противников (наиболее выдающийся — Галилей), полностью это отрицавших. Классические астрологи ошибались, допуская возможность простыми методами определять судьбу индивидуальных людей, противники их, со скрежетом зубовым приняв астрологический принцип всемирного тяготения, стараются дальше «не пуцать». Последние годы «астрологические принципы» как будто наступают: магнитные бури, солнечные сияния, связь с эпидемиями чрезвычайно вероятна. Но ведь эпидемии вызываются бактериями! Верно, но вспомним спор Петтенкофера с Кохом: в опровержение гипотезы Коха Петтенкофер выпил пробирку с холерными бактериями и остался здоров: опроверг ли он Коха?..»

Терпеливо, фактами и примерами, он поднимал нормы научной этики. Его слушали. С ним спорили, на него обижались, и тем не менее люди больше всего нуждались именно в нравственной его требовательности. Более

того, у меня было такое ощущение, что нуждались в том, чтобы их осуждали, упрекали.

Пользуясь каждым случаем, Любищев требовал честного, аргументированного спора, терпимости к инакомыслящим. Он был из той редкой категории людей, с которыми спорить приятно. Начиная бороться с серьезным противником, он старался усвоить положительные стороны противника.

«Истинный ученый и искатель истины никогда абсолютной уверенности не имеет (дело касается тех областей знания, где есть споры), он пытается все новыми и новыми аргументами добиться согласия своего противника не потому, что он чувствует горделивое превосходство перед ним, и не из тщеславия, а прежде всего для того, чтобы проверить собственные убеждения, и не прекращает спора до тех пор, пока не убедится, что понял всю аргументацию противника, что противник держится своих взглядов не на основании строго объективных данных, а по причине тех или иных предрассудков, и что, следовательно, дальнейший спор бесполезен... Серьезный спор может быть кончен тогда, когда автор может изложить мнение противника с той же степенью убедительности, с какой его излагает противник, но потом прибавить рассуждения, показывающие корни предрассудков противника».

Правила по строгости своей и щепетильности напоминают чуть ли не дуэльный кодекс.

Если когда-нибудь подобрать выписки из разных сочинений и писем Любищева касательно этики, то получится целый свод морали, правил жизни и поведения — не то чтобы законченное этическое учение, но, во всяком случае, обширная этическая программа, своеобразная и точная. Своеобразие ее хотя бы в том, что понятие «порядочный человек» мало устраивало Любищева. «Порядочными людьми» были для него те, умственный и моральный уровень которых соответствует «уровню коллектива». Он же требовал иного — истинной моральности, то есть чтобы человек самостоятельно ра-

ботал над повышением этого морального уровня: чтобы мораль для него была не исполнением прописей, а процессом преодоления, работы. Он понимал, что таких людей всегда немного, но всегда их было достаточно, чтобы обеспечить моральный прогресс человечества.

Одним из образцов ученого для него был Климентий Аркадьевич Тимирязев. Почему именно Тимирязев? Отнюдь не из-за чисто научных достижений, не из-за каких-то способностей исследователя, которым Любищев мог бы позавидовать. Нет, прежде всего из-за его нравственных качеств. Не то чтобы он специально изучал мемуаристику, и лично Тимирязева он не знал — судить он мог, лишь читая его работы. Какие же именно душевные качества извлекает Любищев из научных сочинений Тимирязева: а) преданность чистой науке; б) сознание общественного долга ученого перед народом и обществом.

Многим эти две тенденции кажутся несовместимыми.

«...Одни ученые берут первую часть и, замыкаясь в башню из слоновой кости, считают, что они вправе игнорировать запросы времени, при этом такие ученые очень часто смешивают истинно чистую, теоретическую науку с погоней за бирюльками, с бесполезной наукой. Другие, выражая (часто только на словах) свою готовность служить народу и обществу, заниматься узким практицизмом, на деле не двигают ни чистую науку, ни практику. Великолепную отповедь таким дельцам от науки Тимирязев дал в подлинном шедевре «Луи Пастер».

Но эта великолепная биография открывает нам и другую замечательную сторону личности Тимирязева: он не смешивал научные заслуги ученого с его мировоззрением. Ведь Пастер был глубоко верующим католиком, а Тимирязев — воинствующим атеистом, и в том споре, в котором некоторые не по разуму материалисты вставали на сторону противников Пастера, он решительно принял сторону Пастера».

В каждом из ученых, кого он чтит — Карл фон Бэр, Фабр, Коперник, — на первом месте стоял нравственный элемент. Не вообще нравственность, а всякий раз — какие-то конкретные качества, какие-то точные, активные свойства души, которые вызывали восхищение Любичева.

С трогательным постоянством он пользовался каждым случаем, чтобы воздать должное своим друзьям — Владимиру Николаевичу Беклемишеву и Александру Гавриловичу Гурвичу.

Его восхищение вызывали Альберт Эйнштейн и Мохандас Ганди.

При его напряженной духовной жизни его герои, его любимцы, его примеры менялись, и было бы интересно проследить, как именно менялись. Про Любичева никогда нельзя было сказать: «он стал». Он всегда — «становился». Он все время искал, менялся, пересматривал, повышал требования к себе и к своим идеалам.

Помогала ему Система. Или заставляла его. . .

Глава пятнадцатая, которую лучше всего назвать — «Искушение»

Не стоит считать его уж таким альтруистом. Он тратил много времени на письма, но они же и сберегали ему время. Копии писем в переплетенных томах стояли на полках вместе с томами конспектов прочитанных книг — оттуда Любичев часто черпал заголовки для своих работ. Иногда письма почти целиком входили в рукопись. Система помогала ему использовать весь огромный, накопленный десятилетиями материал.

Под воздействием Системы жизнь, несмотря на внешние события, обретала монотонность, столь нужную и благотворную для ученого. Ритмично, с назойливостью метронома, она отщелкивала месяцы и годы, не разрешая забыть о текущем времени.

Она создавала ему максимально разумную и здоровую жизнь. Она, его Система, обеспечивала ему такую занятость, что ему легко было не замечать многих бы-

товых, да и житейских неудобств. Она помогала ему не раздражаться, легко, по-олимпийски переносить и людскую глупость, и бестолковость служебных порядков и беспорядков. Этим объяснялось его спокойствие и здоровые нервы.

Ему нужно было очень мало: место для книг, для работы и покой. Конечно, покой — это не так мало. Покой в наше время — вещь дефицитная. Но покой Любичева был простейший — тишина и свобода от срочных дел. Он никогда не стремился иметь большую квартиру, дачу, машину, картины, красивую мебель — ту обстановку, уют, которые для иных стремление и уж во всяком случае составляют понятие покоя.

У него бывали случаи обрести такой комфорт, ничем особым не поступаясь. Так сказать, без компромиссов. Время от времени открывались высокие научные должности. Как возможность. Некоторые усилия — и он мог бы продвинуться... Но ему ничего этого не надо было. Ничего сверх самого необходимого. Не то чтобы он нарочно лишал себя каких-то благ — ему просто не нужно было многое из того, что считается обязательным. Глядя на роскошные квартиры некоторых своих ученых коллег, на эти гарнитуры, отделку, где столько сил, забот вложено в каждую дверную ручку, он мог удивленно повторить слова одного философа: «Как много есть вещей, в которых я не нуждаюсь!»

Это была свобода. Он был свободен. Но окружающим, близким от такой его свободы было тяжело. Окружающие были обычные люди, они не могли довольствоваться той малостью удобств, какой хватало ему. Их тяготила его постоянная занятость, нескончаемость его работы, та мельничка из сказки, которая все молола и молола соль...

Его считали чудаком. Он не отказывался от этого звания. Сократа тоже считали чудаком, что, кстати говоря, полностью отвечало сущности сократовского характера. Любичев понимал, что, вступив на еретический путь, быстрого понимания достичь невозможно. Недаром Оскар Уайльд говорил: «Когда со мною сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав».

Истины, которые Любичев еще недавно защищал как оригинальные, завтра становятся банальными. Научную истину надо обновлять. Наука для него начина-

лась с сомнения и кончалась уверенностью. То же относилось и к философии.

Жизнь его нельзя назвать аскетичной. Все выглядело обыкновенно. Он занимался спортом. Плавал. Гулял. Мечтал купить новую пишущую машинку. Нужда была средней: то, что называется домом, выглядело ничем не примечательно; только близкие помнили, сколько за этой скромностью было упущенных возможностей — устроиться в Москве, в Ленинграде. . .

Он сознавал, что все это — неизбежная плата за свободу, за возможность оставаться самим собой. Плохо, конечно, что расплачиваться приходилось не ему самому, а самым родным и любимым людям.

Платить надо было и другим — при большой внутренней продуктивности его Система давала малый выход, то есть в печать работ попадало немного. . .

Всякий раз перед ним возникала необходимость выбора. Либо — приспособиться к требованиям научных журналов, редакций: писать так, чтобы не вызывать протеста, не дразнить, не перечеркивать господствующих взглядов. Он уважал своих противников, ему нужен был спор, а не возмущение. Это не означало приспособленчества. Но чтобы возникла дискуссия, ему надо было применять тактику. Выступать против учений, принятых большинством биологов, одному — против признанных корифеев, — для этого требовались терпеливые и умные ходы. В чем-то уступить, в чем-то отдать должное. . . И ничего в этом не было зазорного. . . Ведь он не просто предлагал новую формулу — он опровергал, он отрицал, и тут он должен был уметь переубедить.

Либо же — развивать свои взгляды на эволюцию, ни на кого не оглядываясь. Не считаться с противниками, а сохранять независимость. Думать не про победу своих идей, а про оснащение их. Остаться верным избранной Системе — то есть следовать намеченному плану, пункт за пунктом; писать так, как будто не существует никаких человеческих страстей, самолюбий; не иметь в виду, что академик Н. говорил про Р. Фишера и что у Т. была за что-то премия. . .

Он выбрал этот последний, совсем не такой уж бесспорный вариант, тем самым обрекая себя на всякие трудности с печатанием. Иногда — на многолетнее молчание.

О нем забывали. Кто-то справлялся: где он, жив ли... «А-а, тот самый Любищев, который так обещающе начинал?» — «Кажется, где-то преподает в провинции». Мало ли их, несостоявшихся, — провинциальных профессоров: когда-то они что-то сделали, потом так и застряли, угасли, что-то печатают в местных трудах, в сборниках, которые никто не читает. Не всем же удается удержаться...

Не следует думать, что это его не мучило. Провинциализм для ученого — вещь опасная и незаметная. В современной науке такие темпы, что вчерашние звезды сегодня вспоминаются с трудом. Это не литература, где можно писать, не заботясь о конкуренции, писать под спуд, впрок, в стол. То есть можно и в науке, но это очень рискованно, — слишком быстро все стареет. Это в XVII веке Кеплер мог утешать себя: «...Я писал свою книгу для того, чтобы ее прочли, теперь или после — не все ли равно? Она может сотни лет ждать своего читателя, ведь даже самому богу пришлось 6000 лет дожидаться того, кто постиг его работу».

Складывать написанное в стол было невесело. В сущности, каждый раз, начиная работу, он терзался перед выбором. Казалось бы, все было решено, но бесы снова и снова искушали его. Они были умны, современны. Они не обольщали его голыми блудницами, не булькали вином, не звенели золотом. Они знали, с кем имеют дело. Длинные влажные листы верстки шелестели и вкусно пахли краской, сверкали глянцевые корешки переплетов, где золотым тиснением поблескивала фамилия автора. «И ты бы мог, и ты бы...» — шептали страницы. Не ради славы, ни в коем случае, только ради пользы дела.

А всякий успех укрепляет положение, репутацию, а это, в свою очередь, приведет к тому, что его сделают членом редколлегии, Ученого совета, член-корром, а это опять же позволит ему еще свободнее печататься и пропагандировать свои биологические идеи и поддерживать своих молодых сторонников.

Пора, пора, довольно воздерживаться... В наше время — проповедовать научные истины в частных письмах? Средневековье! Неужели он всерьез надеялся на интерес потомков к его рукописям, надеялся на то, что время не обесценит его трудов?..

Древние отгоняли бесов молитвами. Любищев

держался за свою Систему, она была как крестное знамение. Она позволяла различить крупницы будущего. Так, старые его работы, некогда напечатанные в провинциальных изданиях, не оставались незамеченными. Их все чаще цитировали. Однажды перепечатали за границей, и отовсюду начали приходить запросы на оттиски. Он хвалился количеством таких запросов. То же повторилось с другой статьей. Это был показатель.

Вдруг выяснилось, что этот гордец, отшельник, альтруист — нормально честолюбив. Не тщеславен, а честолюбив. Ведь это разные вещи! Тщеславен Герострат, честолюбив Кеплер. Впрочем, Герострат, как заметил Любичев, не самый хороший образец честолюбца:

«...За свой «успех» (ибо, сожгя храм, он-таки добился своего — прославился на века) он поплатился жизнью — множество куда более вредных честолюбцев строят свой успех на огромных пирамидах трупов».

Не ожидая похвал, он научился сам воздавать себе должное. Система учета давала ему объективные показатели своего состояния. С гордостью он отмечал 1963 год как рекордный по числу рабочих часов — 2006 часов 30 минут! В среднем в день 5 часов 29 минут. А до войны получалось примерно 4 часа 40 минут! Он отчетливо понимал подлинную цену этим цифрам, он сам устанавливал свои нормы, сам следил за собою с секундомером в руке, сам награждал и сам наказывал себя.

...Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Суд, творимый им, был строже иных судов — потому что он судил себя на основании документов и фактов, проводя всякий раз тщательное расследование.

При таком суде некоторые события получали неожиданное оправдание, а злодеи и обидчики оказывались благодетелями.

— Хвала мудрому начальству, — восклицал Любичев, — приостановившему мне возможный путь к яркой карьере!

Не нам понять высоких мер,
Творцом внушаемых вельможам!

Под личиной смешка он и в самом деле был доволен, что так все сложилось. Он умел использовать себе на пользу не только отбросы времени, а и подножки судьбы. Куда бы его ни посылали, где бы он ни жил — он жил полноценно, все с тем же крайним напряжением. Провинция? Тем лучше, больше времени работать, думать: спокойнее, тише, здоровее... В любом положении он отыскивал преимущества. Не мирился, не ждал милости, — вся его Система была призывом к повышению человеческой активности.

Есть такие натуры: там, где они находятся, там — центр мира, там проходит земная ось. То, что они делают, и есть самое наиважнейшее, самое необходимое.

Пять с половиной часов в день чистого труда. Круглый год! Это ли не достижение! Это вам не жук на папочке!

...Что это — упоение собой? Эгоизм? Нет, нет, это счастье осуществления самого себя. А человек, который осуществляет себя и живет в этом смысле для себя, приносит наибольшую пользу... В этом была требовательность к себе — не к другим, это мы умеем, а прежде всего — к самому себе. В какой-то мере и то, что он писал, он как бы писал для себя, соотносил написанное с собою. Большая часть разного рода сочинений пишется ведь для других. Трудятся, чтобы учить других, а не для того, чтобы познать себя и внутренне просветиться самим. Я знал авторов, которые из написанного ими не делали никаких для себя выводов: то, на чем они настаивали, никакого отношения к ним самим не имело. Единственное — когда книга встречала возражения, они бросались защищать ее. Воспитывать — других, требовать мыслить — других, призывать к добродетелям — других... Автор же при этом никак не обращает на себя свои рассуждения, он считает себя вправе как бы самоотделиться; важно, что мысли его полезны, он отвечает за их правильность, а не за их соответствие с его жизнью. Соответствует или не соответствует — неважно, никому нет до этого дела, важно, чтобы было талантливо. Вокруг этого все и вертится (в лучшем случае!) — талантливо или неталантливо. А что сам талант при этом исповедует, какова лично его этика, следует ли он тому, к чему призывает, — это считается второстепенным делом.

До поры до времени.

Пока не встретится человек, у которого требования к другим и требования к себе совпадают. И тогда сразу чувствуется преимущество цельности. Вот почему мы так радуемся, видя среди ученых, философов, писателей, среди мыслителей, учащихся жить, — примеры высокой морали. Особенно богата этим история русской интеллигенции — тот же Владимир Вернадский, и Лев Толстой, и Владимир Короленко, и Николай Вавилов, и Василий Сухомлинский, и Игорь Тамм. . .

С совершенно особым чувством читается книга Альберта Швейцера «Культура и этика» — именно потому, что Швейцер подвигом всей своей жизни заработал право обращаться к нашим душам.

Таланту мы готовы многое прощать.

Александр Любищев принадлежал к тем талантам, которые не желали пользоваться льготами и снисхождением. Его дневники, его письма — летопись духовной работы, которую вел этот человек больше чем полвека над формированием своей личности.

Такая работа многим казалась ненужной, даже раздражала. Было так удобно считать, что среда, общество в первую очередь, воздействуют на человека, что обязанность общества — работать над личностью, заставлять ее становиться лучше, требовать от нее и т. п.

Любищев требовал от себя сам, сам себя контролировал, сам за собой следил, сам перед собой отчитывался.

Перед собой ли? Только ли перед собой? Снова и снова я пробовал объяснить чувство, которое владело им. Скорее всего, это ощущение бесценности дарованной жизни, которая не просто — единственная и неповторимая, но и каждый день которой наделен той же единственностью и неповторимостью.

Как ни странно, но его рационализм рождал энтузиазм, от его методичности возникало каждодневное удивление перед чудом жизни. Его Система как бы обновляла эту чудность, не давала к ней привыкнуть.

Большая часть людей не пробует выйти за пределы своих возможностей; за свою жизнь они так и не пробуют узнать, на что они способны и на что — неспособны.

Они не знают, что им не под силу. Печальнее всего эта благоразумность в науке. Ученый, который выбирает себе задачи по силам, достигает почета и солидной репутации. Он не совершал ошибок. Списки его работ безупречны, никто их не опровергал, они всегда были результативны. Если он брался за дело, он доводил его до конца. Но где-то там, за чертой этого длинного списка его печатных работ, начинается ненаписанное, не сделанное — вот там, среди несовершенных ошибок, избегнутого риска и даже позора, таились, может быть, действительно великие открытия. И уж наверняка — открытие самого себя. Обидно прожить жизнь, не узнав себя — человека, который был тебе вроде ближе всех и которого ты так любил. . .

В этом смысле Любищев изведаль себя. Он мерил не задачи по своим силам, а свои силы по задачам. Лучше иметь духовный долг, считал он, чем сохранять душевную безопасность.

У Демокрита есть выражение: не поступок, как таковой, а намерения определяют нравственный характер. Раньше я не понимал этой мысли. И не принимал.

Любищев многое не успел — не получилось, но для меня было важно, чего он хотел, его намерения: из них возникало душевное притяжение его личности.

Через свою Систему он изучал себя, испытывал: сколько он может писать, читать, слушать, работать, размышлять? Сколько и как? Не перегружал себя, не взваливал не по силам; он шел по кромке своих способностей, оценивал их все более точно. Это был безостановочный путь самопознания. Для чего? Для самосовершенствования? Для наивысшей самоотдачи? Для полноты выявления себя?

Как украсилась бы жизнь, если бы каждый человек мог знать, на что он способен! Ведь каждый может куда больше, чем ему кажется, — он и смелее, чем он себя считает, и выносливее, и сильнее, и приспособленней. В голодную зиму ленинградской блокады мы насмотрелись на чудеса человеческих душ. Именно душ, прежде всего душ, потому что в этих истощенных, изглоданных муками телах поражала энергия души, ее стойкость. Теоретически даже медицина не могла представить организм, способный вынести столько лишений. Для

человека — как и для стали, для проводников, для бетона — существуют пределы допустимых нагрузок. И вдруг оказалось, что пределы эти можно превзойти и люди могут жить не физическими силами — их не было, они были исчерпаны, а люди продолжали жить и действовать силами, не предусмотренными медициной: любовью к Родине, ненавистью, злостью. Во время блокады поражала не смерть — она была законна, — поражала живучесть: то, что мы чистим от снега траншеи, таскаем снаряды, воюем.

Героизм войны — исключение. Но ведь и в будничной жизни бывают такие нечаянные часы, когда человек реализует себя с необычной полнотой. Невесть откуда — и нахлынут силы, и ум заострится, вскипит воображение... Счастливое, блаженное это состояние писатели называют вдохновением, спортсмены — формой, ученые — озарением; это бывает у каждого человека — у одних редко, у других чаще... Вот это-то и важно: возможность такого состояния, когда человек превосходит себя, свои обычные способности и пределы. Значит, это возможно, а если это возможно однажды, то почему не дважды и не каждодневно?..

Глава последняя — с грустью и признаниями

Превзойти свои возможности...

Не только в критических обстоятельствах, а, судя по примеру Любищева, вся деятельность может превышать обычные возможности.

Ресурсы человека еще плохо изучены.

Впервые я размышлял об этом и о собственной жизни и старался думать о себе как об авторе, в третьем лице, потому что так казалось легче.

...Автор уверен, что в будущем не поймут, почему люди — в конце двадцатого века — так невыгодно жили, так плохо использовали свой организм, может быть хуже своих предков.

По мере изучения архива Любищева автор невольно оглядывался на себя — и убеждался, что жил он чуть ли не вдвое «меньше себя». Это было грустно. Тем бо-

лее что автор до сих пор был доволен своей работоспособностью.

В чем другом, но в смысле занятости и поколение автора, да и следующие поколения не щадили себя. Днем — завод, вечером — институт; они — и заочники, и вечерники, и экстерны; они выкладывались честно, сполна.

Однако стоило автору безо всяких эмоций сравнить факты, и стало видно, насколько Любищев за те же самые пятидесятые годы и прочел больше книг, чем автор, и чаще бывал в театре, и прослушал больше музыки, и больше написал, наработал. И при всем этом — насколько лучше он понимал и глубже осмысливал то, что происходило.

В этом смысле к Любищеву вполне можно отнести слова Камю: «Жить — это выяснять».

Перечитывая письма, заметки Любищева, автор понимал, как мало и лениво он, автор, думал. Понимал он, что добросовестно работать, с энтузиазмом работать — это еще не значит умело работать. И что, может, хорошая система нужнее энтузиазма.

Но зато автор, возможно, где-то в другом выигрывал свое время, возможно, он зато больше развлекался, или предавался какому-то увлечению, или, наконец, больше бывал на природе?

Если бы! Легко доказать, что герой нашей повести и спал больше, и не позволял себе работать по ночам, и больше занимался спортом, а о пребывании на природе и говорить не приходится. Он наслаждался жизнью куда больше автора.

Так что никаких «зато» автор найти не может.

На крайний случай автор готов был бы все свести к таланту Любищева и превосходству этого таланта. Увы, таланту добавочного времени не придается... Талант тут не поможет. Скорей всего, тут сказывалась Система.

Скромная система учета времени стала Системой жизни. Согласно этой системе получалось, что у Любищева имелось вдвое больше времени. Откуда же он его брал? Вот в чем состояла загадка.

Волей-неволей автор призадумался над своими собственными отношениями со Временем. Куда оно пропало? Исчезало — неизвестно куда, как будто автор жил

меньше своего возраста. Есть закон сохранения энергии, закон сохранения массы — почему же нет закона сохранения времени? Почему оно могло бесследно выпасть из человеческой жизни?

Размышляя над этим упущением природы, автор почувствовал, что где-то оно, это сгинувшее Время, все же существует — укором нам, нашей виной...

В совершенстве героя было что-то укоряющее. Странно, что герой, который был так хорош для жизни, так дивен для общения, оказался нехорош для изображения. Жизнь его получалась настолько праведной, что ясно было, что автор чего-то не разглядел. Либо же утаил, преувеличил.

Один журналист сказал автору:

— Так не бывает. Значит, ваш герой — человек одной, но пламенной страсти. Значит, он не гармоничный. В этом-то и парадокс: хотим, чтобы человек всесторонне и гармонично развивался, а хорошо известно, что более всего матери-истории ценны как раз люди, на всю жизнь одержимые одной страстью...

Он был уверен, что «одна, но пламенная страсть» исключает гармоничное развитие. Это была приятная житейская мудрость: страсть мешает человеку всесторонне развиваться. Лучше без страсти, безопаснее. Всего понемногу. Как будто рекомендованные комплекты интересов и есть гармония. Как будто существуют действительно гармоничные люди, лишённые страсти.

Возможно, кому-то это и удобно и желательно, но автору почему-то вспоминаются примеры наших великих писателей, ученых, художников — людей широкой культуры и в то же время могучих страстей, порой даже губительных.

Однако страсти их не были фанатизмом, а были той самозабвенной увлеченностью, без которой не может жить творческая душа.

Всесторонность совмещалась у Любищева с верной, единой страстью. Разлад между ними не мешал ему — недаром он отказался от аскетического обета, принятого в юности.

Все это, однако, нисколько не проясняло автору проблему Времени.

Система Любищева могла экономить имеющееся время, но не увеличивать его. Однако дело было даже не

в количестве: само Время получало у Любищева другое качество; можно подумать, что ему удалось установить какие-то личные взаимоотношения со Временем.

Причуды Времени давно интересовали автора. Маленькие дети, например, как заметил автор, плохо чувствуют время. Ощущение его растет и обостряется с возрастом, и к старости — чем меньше остается Времени, тем слышнее становится его ход.

Автор вспоминает, как поразила его в самолете, летевшем через океан, в США, женщина, которая сидела рядом и вязала свитер. Спицы позвякивали в ее руках. Петля цеплялась за петлю... Внутри межконтинентального времени струилось старинное, неизменное время наших бабушек. На печи сонно попискивали дыплята, светилась лампадка, пахло хлебом, все было как в детстве, в деревне Кошкино. А под крылом «Боинга» проносились Азорские острова... Автор также вспоминает войну, танковый триплекс, перекрестье прицела — и время, которое вдруг кончилось. Оно явно остановилось вместе с сердцем — стрельба замерла, оборвался звук мотора, в раскаленной паузе дрожало перекрестье прицела и надвигалось оружие немецкой самоходки...

Таким образом, время идет то медленнее, то быстрее, иногда оно останавливается, замирает. Есть моменты, когда ход Времени чувствуется воспаленно-остро, оно мчится с такой скоростью, что только ахаешь, оглянуться не успел, и день куда-то провалился, и снова стоишь перед зеркалом бреешься, а бывает, оно мучает своей неторопливостью, вязкой медлительностью. Вдруг оно начинает тянуться, минуты вытягиваются нескончаемой нитью. От чего это зависит? Насыщенность? Но есть ли тут связь? Когда время не замечаешь — когда много дел или же когда отдыхаешь? Заполненный работой день тоже может промелькнуть, а может и измотать душу медлительностью... Нет, тут случается по-всякому, и как-то не совсем ясно, от чего зависит скорость времени, что его подгоняет, а что его тормозит...

У большинства людей так или иначе складываются собственные отношения со Временем, но у Александра Александровича Любищева они были совершенно особыми. Его Время не было временем достижения. Он был свободен от желания обогнать, стать первым, превзойти, получить... Он любил и ценил Время не как средство,

а как возможность творения. Относился он к Времени благоговейно и при этом заботливо, считая, что Времени не безразлично, на что его употреблять. Оно выступало не физическим понятием, не циферблатным верчением, а понятием, пожалуй, нравственным. Время потерянное воспринималось как бы временем, отнятым у науки, растраченным, похищенным у людей, на которых он работал. Он твердо верил, что Время — самая большая ценность и нелепо тратить его для обид, для соперничества, для удовлетворения самолюбия. Обращение со временем было для него вопросом этики.

На что имеет человек право потратить время своей жизни, а на что не имеет. Вот эти нравственные запреты, нравственную границу времяупотребления, Любищев для себя выработал.

Люди деловые, организованные уверяют, что они — хозяева Времени.

Нарастающий культ Времени становится показателем деловой хватки, умения жить. Часовые стрелки подгоняют, и человек мчится, боясь отстать. Он должен находиться в курсе, на уровне, соответствовать. Он служит Времени как языческому богу, принося в жертву свою свободу. Не время расписано, а человек расписан. Время командует. Гончие времени мчатся по пятам...

Божество Времени строго мерит достижения: сколько напечатал, что успел защитить, получить, продвинуться, где побывать... В этом смысле Любищев не зависел от Времени и не боялся его.

Когда автор погрузился в стихию его Времени, он испытал счастливое чувство освобождения. Это время было пронизано светом и покоем. Каждый день всей протяженностью поглощал самое важное, существенное — как зеленый лист впитывает солнце всей поверхностью.

Вникая в систему Любищева, автор увидел Время словно через лупу. Минута приблизилась; она текла не монотонным, безразличным ко всему потоком — она отзывалась на внимание, растягивалась, выявлялись сгустки, каверны, структура что-то означала, как будто перед глазами автора проявилось течение мысли, время стало осмысленным...

Насчет космического времени или мирового — автор судить не берется; человеческое же время, как он убе-

дился, можно научиться ощущать и даже слышать его звенящий ток.

Время сворачивалось в кольцо, концы соединялись с началом, прошлое обгоняло настоящее, как в Алисиной стране чудес. Перед взором автора проплывали погибшие, потерянные Времена, упущенные годы, когда-то полные молодых сил и надежд, — пустые, высохшие останки Времени.

Жаль, что документальная проза не позволяет автору вставлять всякие фантастические картины. Автор хотел бы показать огромность Времени внутри нас, богатые месторождения, открытые Любищевым, — неразработанные, так сказать, залежи Времени в недрах человеческого бытия.

Если сравнивать время с потоком, как это принято было у древних греков, то Любищев в этом потоке — гидростанция, гидроагрегат. Где-то в глубине крутится турбина, стараясь захватить лопастями поток, идущий через нас. Вот в этом — и, пожалуй, только в этом — свойственна была Любищеву машинность.

Каждого человека можно представить как потребителя времени. Он перерабатывает время на разные мысли, чувства, работу. И хотя перерабатывается небольшая часть, а все остальное пропадает, все равно принято считать, что времени не хватает, его мало.

У Любищева времени всегда было достаточно. Времени не могло быть мало — любое Время для чего-то достаточно. Таким свойством отличалось его Время. И не только Время — это относилось ко всем жизненным благам: в молодости, когда Любищев был хорошо обеспечен, и в старости, когда он получал скромную пенсию, он одинаково не стремился иметь много, ему нужно было лишь необходимое. Необходимого ему всегда было достаточно, а достаточного, как известно, не бывает мало. Оно, необходимое, хорошо тем, что не тяготит, не бывает лишним, не надоедает, как не могут надоесть вода, хлеб, свет, стол...

Кроме делового, настоящего, Любищев чтил, да и любил — прошлое. Он остро ощущал связь времен, незримую цепь, о которой так прекрасно написал Чехов в рассказе «Студент». В каждой научной проблеме Любищева живо занимали, даже волновали, родословная идей, их эволюция, он передумывал, наново оценивал

«пережитое». Порой история даже связывала его своими путями. Почему прошлое играло такую большую роль для Любищева? Автор не знает. Поэтому он и ссылается на гениальный рассказ Чехова. Там тоже ничего не объяснено — и все понятно.

Урывая время от основной работы, Любищев писал подробные воспоминания об учителях, о гимназии, о родителях, об А. Гурвиче, К. Давыдове, М. Исаеве... В нем жила признательность к прошлому, которое теперь так легко забывают ради будущего.

Автор не стыдится ни наслаждения, ни зависти, какие он испытывает от любищевского Времени. Оно удивительно своей кристаллической стройностью и прозрачностью. Десятилетия просматриваются насквозь, в них нет туманностей или запретных зон. Прожить нашу эпоху такой открытой жизнью — это редкость.

Автор убежден, что проблема разумного, человеческого обращения со временем становится все настоятельней. Это не просто техника экономии, проблема эта помогает понять человеку смысл его деятельности. Время — это народное богатство, такое же, как недра, лес, озера. Им можно пользоваться разумно, и можно его губить. Так легко его проболтать, проспаться, истратить на бесплодные ожидания, на погоню за модой, на выпивки, да мало ли. Рано или поздно в наших школах начнут учить детей «временипользованию». Автор убежден, что с детства надо воспитывать любовь к природе и любовь ко времени. И учить, как беречь время, как его находить, как его добывать.

Самое же главное — научить отчитываться за время. Любищев, конечно, идеальный пример...

Нет, автор вовсе не очарован своим героем. Автору известны многие его слабости и предрассудки, раздражает его пренебрежение к гуманитариям, этакая спесь к эстетике, мнения его о Пушкине прямо-таки невыносимы, так же как и его претензии к Достоевскому. Словом, хватает всякого. Но любого, самого великого человека, не следует рассматривать вблизи, во всех подробностях его вкусов и привычек.

Тот, кто однажды столкнулся с Любищевым, будет снова возвращаться к нему. Автор заметил это не только по себе, но и по многим людям, число которых даже растет.

Печально, конечно, что уже не тот возраст и нельзя воспользоваться опытом Любищева. Не стоит даже считать, сколько (без всяких уважительных причин) потеряно лет и прочего. С другой стороны, надо быть последовательным: если никакое время не бывает малó, то, значит, никогда не может быть поздно вступить в новые взаимоотношения со Временем. Сколько бы человеку ни оставалось жить, и на каком перегоне ни застала бы его эта мысль!.. И даже, чем меньше остается времени, тем умнее его надо расходовать.

Однако теперь, когда так просто сделать нужные выводы, автору почему-то не хочется все сводить к пользе. Как-то неинтересно. Автор вроде бы нехотая задумался: можно ли его героя считать действительно героем, а жизнь его — героической, достойной подражания? Так ли все это. . .

Героизм — это вспышка озаряющая — и само озарение, требующее крайнего напряжения сил. Стать героем можно поступком, далеко выходящим за рамки обыденного долга. Совершая подвиг, герой жертвует, рискует всем, вплоть до жизни — во имя истины, во имя других людей, во имя Родины. Ничего такого не было у Любищева.

..Была не вспышка, а терпение. Неослабная самопроверка. Изо дня в день он повышал норму требований к себе, не давал никаких поблажек. Но это ведь тоже — подвиг. Да еще какой! Подвиг — в усилиях, умноженных на годы. Он нес свой крест, не позволяя себе передохнуть, не ожидая ни славы, ни ореола. Он требовал всего только от себя, и, чем больше требовал, тем явственней видел свое несовершенство. Это был труднейший подвиг мерности, каждодневности. Каждодневного наращивания самоконтроля, самопроверки. Впрочем, нашелся человек, который усомнился, подходит ли сюда слово «подвиг». Потому что какой же это подвиг, если он доставляет одно удовольствие?

Всегда находится такой усомнившийся человек. И слава богу, что люди эти не выводятся, хотя никаких благоприятных условий для их размножения не существует. Вопрос усомнившегося человека затруднил автора. Вскоре и у самого автора начались некоторые сомнения. Какой же тут крест, думал автор, если этот крест нисколько же Любищева не тяготил, а наоборот, прино-

сил удовлетворение, и ни за какие коврижки он не сбросил бы этот крест. А чем он жертвовал ради своей системы? Да ведь ничем. И невзгод особых из-за нее не терпел, и опасностей. Восторгаться же его настойчивостью, добросовестностью, волей, какими бы плодотворными они ни были, — неразумно: все равно что хвалить ребенка за хороший аппетит.

И в результате таких размышлений получалось, что никакого подвига в том, чтобы сделать себя счастливым, не может быть. А раз нет подвига, то, выходило, и призывать не к чему. А насчет служения науке, то ведь на самом деле не он служил науке, а наука служила ему...

Не сразу автор разобрался в том, что все это, так сказать, с точки зрения самого Любищева, и тем более удивительно. Потому что каким душевным здоровьем надо обладать, чтобы чувствовать счастье от ежедневного преодоления. У нас, наблюдающих издали это непрестанное восхождение, все равно рождается чувство восхищения, и зависти, и преклонения перед возможностями человеческого духа.

Подвига не было, но было больше чем подвиг — была хорошо прожитая жизнь. Странность ее, загадка, тайна в том, что всю ее необычайность он считал для себя естественной. Может, это и была естественная жизнь Разума? Может, самое трудное — достигнуть этой естественности, когда живешь каждой секундой и каждая секунда имеет смысл. То, что он получал от науки, было больше, чем он давал ей, и это было для него естественно, а для нас тоже странно, потому что, казалось бы, он все, что мог, отдавал науке.

Множество подобных секретов и странностей скрыто в его жизни, и, честно говоря, автор не всегда может оценить и понять их. Автор, например, не в состоянии извлечь какие-то рекомендации, и хотя повествование кончается, автор еще не может вынести окончательные суждения, дать какие-то советы читателю. Автор надеется, что читатель в них и не нуждается. Потому что сам автор, оставаясь полным раздумий, глубоко благодарен своему герою, который заставил его усомниться в развитии своей жизни.

Однофамилец

Повесть

I

Можно доказать совершенно точно, что все произошло случайно. Кузьмин остановился только для того, чтобы пропустить людей, запрудивших дорогу. Они выпрыгивали из автобусов, которые подходили один за другим, бежали наперерез через тротуар. Они торопились под бетонный козырек подъезда. Падал крупный, тяжелый снег, и многие из них были одеты легко и были без шапок.

Если бы Кузьмин шел по другой стороне улицы, ничего не случилось бы. Конечно, событие, которое должно было произойти, когда-нибудь дошло, добралось бы до него в виде слуха, забавной истории. . .

Итак, он стоял, безучастно провожая глазами этих людей, поскольку ему предстояло идти еще изрядный кусок до станции метро и лишняя минута, хоть и под мокрым снегом, ничего не значила.

Вот тут-то, находясь в этом устало-тупом состоянии, он почувствовал, что на него смотрят. Почувствовал не сразу, а так, будто его окликнули, сперва тихо, потом громче. Он оглянулся, искал глазами и увидел наверху, на ступенях подъезда, среди спин и затылков, повернутое к нему женское лицо. Сквозь снежную кисею можно было различить только накрашенные губы на белом лице, черты без подробностей, так сказать общий вид. Женщина кивнула ему, успокоенная тем, что он заметил ее, кто-то заслонил ее, и еще кто-то, и она неразличимо слилась с толпой, текущей в стеклянную светлую глубину дверей.

Некоторое время Кузьмин еще стоял, зябко упрятав голову в плечи. Не то чтобы он взволновался, — в его годы, да еще после тяжелого рабочего дня, подобные штучки мало действуют, просто он пытался сообразить, кто бы это мог быть. Что-то полузабытое, возможное угадывалось в ее лице. Не стертый годами остаток, слишком малый для узнавания, и все же чем-то беспокойный.

Вскинув руку, он посмотрел на часы, скорее всего даже не уяснив себе, который час. Что-то мешало ему двигаться дальше. Неожиданно для себя он вдруг повернулся, поднялся по ступеням, вместе с другими прошел в гардероб, разделся и направился в холл.

У барьера, перед двумя мужчинами с зелеными повязками на рукавах, он очнулся, удивляясь себе, остановился, нарушая течение беспрепятственно входящих, и естественно, что молоденький контролер с русой бородкой, выставив руку, спросил у него билет.

— Мне надо тут... — начал Кузьмин, не зная, как объяснить. Он полез за удостоверением своего монтажного треста, почему-то уверенный, что его пропустят.

Второй контролер, бритый, узкоглазый, непонятно усмехнулся, сказал: «Ну что вы, пожалуйста» — и несколько раз кивнул, не то уважительно, не то иронично. И Кузьмин прошел.

В холле было тепло, тесно от многолюдного кишения. Ярко горели, переливались большие хрустальные люстры. Вспыхивали блицы фотографов, верещали кинокамеры. Подхваченный общим потоком, Кузьмин куда-то двигался мелким шагом, пытаясь с высоты своего роста рассмотреть ту женщину. Вскоре его вынесло к столикам, за которыми раздавали программы и регистрировали. Кузьмин взял программу, назвал свою фамилию девушке, которая сидела под буквами «И — М». Сделал он это машинально и тут же засмеялся, увидев, как палец девушки заскользил по списку, — было бы забавно, если бы он там оказался.

— Минуточку, — девушка взяла другой список, написанный от руки. — Все в порядке, — и поставила крестик против фамилии Кузьмина, последней в столбце.

Он наклонился, стал рассматривать чей-то округлый спокойный почерк: «Кузьмин П. В.» И рядом крестик, как тайный знак.

— Это вы писали?

— Что-то неправильно?—поинтересовалась девушка.

У нее было кукольное личико с круглыми матовыми щеками, и на них круглый аккуратный румянец.

— И давно вы этим занимаетесь? — Кузьмин прочертил в воздухе замысловатую фигуру.

Девушка сразу стала холодна и невозмутима, как полярный день.

— Вы телепат? Прекрасно, мне как раз нужны младшие телепаты, — пояснил Кузьмин. — Пойдете?

— Блокнот, значок получили? — терпеливо, без улыбки спросила она.

— Это мне ни к чему. Вы мне лучше скажите, где та женщина, которую я ищу?

Девушка пожала плечами, не принимая шутку. Кузьмин вздохнул, ему было жаль девиц такого сорта, они загадочно взирали на всех с недоступной высоты и боялись оттуда спуститься.

«Господи, ну почему они не могут по-простому? — подумала девушка, глядя вслед Кузьмину. — Если он хочет познакомиться, так бы и сказал».

Он ей понравился. Он был похож на Жана Габена. Стареющий, спокойный и непонятный. Несмотря на заношенный костюм его, с оттопыренными карманами. Несмотря на клетчатую желтую ковбойку, что явно не соответствовала всем этим белоснежным рубашкам, голубоватым рубашкам, рубашкам в тонкую полоску, галстукам широким, цветастым, узеньким, уже выходящим из моды, но все-таки модным. Что-то в нем было. Жаль, что он не обернулся.

Женщин в этой толпе было мало. Медлительно-грузный Кузьмин осторожно двигался сквозь толчею, обходя бурливые группы иностранцев, где знакомились, обменивались визитными карточками и кто-то кого-то узнавал, а кого-то представляли. Маленькие японцы широко и неподвижно улыбались и подолгу раскланивались, наклоняясь всем корпусом. Попадались ему индусы с нежными длинными лицами, плечистые шведы, а может, ирландцы, болгары, черноволосые, веселые, он их сразу узнавал. У всех на лацканах блестели эмалированные

значки какого-то конгресса математиков. Про конгресс Кузьмин вычитал из программки и сейчас, методично проглядывая всех этих людей, он невольно выискивал в них что-то общее, свойственное математикам, какую-то особенность, может быть некоторую отвлеченность, рассеянность, приметы иной жизни, иных страстей, нечто значительное, нездешнее.

Однако особой отвлеченности он не замечал. Вся эта публика держалась свободно, громко смеялась, чувствовалось, что все они так или иначе знают друг друга. Среди них Кузьмин невольно выделялся своей непричастностью. Он это чувствовал. Все бегающие, скользящие, ищущие глаза, натываясь на него, вопросительно запинались. Дело тут было не в костюме, не подходящем к этой парадной обстановке. Потому что были тут и молодые люди в затасканных свитерах, и небрежно одетые американцы в вельветовых штанах. Нет, дело было, наверное, в том, что Кузьмин не мог скрыть напряженности. Он ждал продолжения событий. Судя по всему, происшествие должно было как-то развиваться. Он был готов к тому, что сейчас что-то произойдет, и сам не замечал, как шаг его стал пружинисто-настороженным.

Курили беспощадно. Дым сигарет, ароматных американских сигарет с отдушкой, и крепкий дым сигар раздражали Кузьмина. Спустя два года, после всех мучений, ему впервые нестерпимо захотелось закурить. Он сглотнул слюну и выругался. Еще эти объятия и поцелуи. Кузьмин попробовал представить целующимися своих монтажников, и от этой нелепой картины красно-обветренное лицо его скривилось. Встречный негр белозубо оскалился, но Кузьмин сразу же понял, что это не ему, а кому-то за его спиной. Он стал сердиться. В этом шумном толповерчении его словно потеряли. Самое глупое было бы, если бы так все и кончилось и он протолкался бы здесь и ушел ни с чем.

Всем своим опытом он знал, что самое лучшее сейчас отправиться домой. Ничего такого быть не могло. Но тут же он почувствовал, что какая-то сила мешает ему это сделать.

Мимо него, окруженный французами, прошествовал лысый длинноголовый старичок. Это был не кто иной, как Лаптев, профессор Лаптев. Он сохранился почти в точности, разве что заостренел и несколько усох туло-

вищем. Прикрытые морщинистыми веками желтые глаза его были неподвижны, как у ящерицы. Когда Кузьмин попал в их поле зрения, они едва заметно вздрогнули. Узнать его Лаптев не мог, по крайней мере вот так, с ходу. Но у Кузьмина почему-то все замерло внутри. «Надо же. . . вот тебе и на. . .» — бормотал Кузьмин, глядя ему вслед. Ему вдруг начало казаться, что и кроме Лаптева здесь есть люди, которых он когда-то видел, даже знал. Ни разу ему не приходилось бывать на подобных конгрессах. Тем не менее во всем этом было что-то известное.

За колоннами работал буфет. Кузьмин ощутил голод, накопленный за день работы, и направился к стойке. Перед ним уступчиво раздвигались. Может, принимали его за дежурного коменданта или местного монтера, словом за персонал. Он и не собирался без очереди, но уступчивость эта его обидела, и, нарочно приговаривая «вы уж позвольте», он вклинился к прилавку.

На длинных блюдах лежали маленькие, ромбиками нарезанные, бутербродики с черной и красной икрой и желтой розочкой масла. И семга тут была толстая, сочно-розовая, с лимонными дольками. И рыбное заливное. Осетрина или судак. Этих математиков неплохо обеспечивали. Кузьмин без стеснения набрал себе полный поднос, взял бутылку воды. Настроение его сразу поднялось. Он любил поесть.

Сидя за столиком, он ощутил свое преимущество — не его разглядывают, а он разглядывает. . . Заливной судак был хорош. Кузьмин запил нарзаном и пришел к выводу, что такая еда все оправдывает. Выигрывает тот, кто терпеливее, а пока можно наслаждаться тем, что есть. Перед ним, как на сцене, шествовала пестрая причудливая процессия: трудолюбивые худосочные очкарики, изможденные ревнивой гонкой за еще каким-нибудь интегралом; аккуратные ухоженные старички, бывшие корифеи, авторы толстых монографий и некогда решенных задач; уверенные в себе оппоненты и рецензенты; молодые бородатые гении, еще мало успевшие, но обуреваемые и исполненные вызова; солидные, преуспевающие доценты, доктора всесторонне развитые, любители музыки, лодочных походов, детективов и альпинизма. Они надписывали оттиски своих статей и преподносили их молодым член-коррам. . .

Никогда еще ему не приходилось видеть сразу столько математиков. Невозможно было даже представить себе такое их количество, собранное вместе, а уж тем более понять, зачем их столько и что они делают. Это было то же самое, как если бы он попал, например, на конгресс дирижеров или укротителей. Тысяча дирижеров... В глубине души его сохранилось детски почтительное отношение к специальности математика как к необыкновенной и редкой, потому что люди, способные всю жизнь вычислять, возиться с понятиями невещественными, неощутимыми, со знаками и линиями, должны иметь головы, устроенные иначе, чем у обыкновенных людей.

— О, кого я вижу! — обрадованно пропел кто-то над Кузьминым. Это был молодой, гибко-тонкий, пружинистый, смутно знакомый Кузьмину инженер-расчетчик из Управления, с фамилией на «бу» или «бы» — никак не вспомнить. — Какими судьбами вы здесь, вот не ожидал... — Фраза повисла неоконченная, стало ясно, что он забыл имя-отчество Кузьмина, а по фамилии назвать не решился. Потому что если по фамилии, то надо было приставить «товарищ» — «товарищ Кузьмин», что уж звучало неприлично, поскольку Кузьмин был не просто старше его, но принадлежал к начальству.

— Случайно я тут, случайно, — успокоил его Кузьмин. — А вы?

— Я-то не случайно, я делегат, — и на песочном в крупную клетку пиджаке его блеснул эмалированный значок. — Я ведь соискатель. А вы как думали.

— Никак я не думал, — сказал Кузьмин. — Не успел.

Инженер рассмеялся, соглашаясь на подобную шутку. Значок его казался больше и ярче других значков.

— Разрешите к вам? — И, не дожидаясь ответа, позвал: — Витя! Давай сюда. Виктор Анчибадзе, — пояснил он. — Звезда первой величины, слава грузинской школы.

Округлый, мохнато-черный, похожий на шмеля Витя, нагруженный тарелками, поздоровался с Кузьминым без особого интереса и увлеченно продолжал про чей-то доклад, называя инженера Сандриком.

Говорили они непонятно, было заметно, что Сандрик красуется перед Кузьминым этим особым языком посвященных.

— Проблема разрешения разрешима с одним аргу-

ментным местом, — звучно произносил он, и крепкие зубы его впивались в бело-розовую ветчину.

— Вы уж нас простите, — перекинулся он к Кузьмину с улыбкой, — у нас, математиков, все не как у людей. Для постороннего это, наверное, дико. Меня вот сегодня венгры атаковали. Они по-нашему ни бум-бум, я по-ихнему с той же силой. И что вы думаете? Потолковали за милую душу. . . — А зубы его работали, и руки, и глаза, и то и дело он вскакивал, кому-то приветственно махал, здоровался, не прерывая разговора ни с Анчибадзе, ни с Кузьминым. — . . . Наша наука — единственная научная наука. Госпожа всех наук! У нас что сумел, то и сделал, ни от чего не зависишь. Только от этого! — И он энергично постучал себя по лбу.

Бахвальство его начинало раздражать Кузьмина.

— Значит, госпожа, а я-то думал, что вы помощники, — сказал он.

— Пусть не госпожа, пусть служанка, пожалуйста, — нетерпеливо и обрадованно подхватил Сандрик. — Только служанки бывают разные. Есть такие, что несут сзади шлейф, а есть и другие, что несут впереди факел. Понятно? — И он от удовольствия даже прижмурился.

Особенно нахально прозвучало у него вот это «понятно?». Никогда в Управлении он не посмел бы в таком тоне разговаривать с Кузьминым.

— Служанка с факелом — это нужнее госпожи. А? — поддразнивая, сказал Анчибадзе. — А если без факела? Еще лучше. В темноте вообще не разобрать, who is who.* А? — И он засмеялся озорно, с подмигом.

Кузьмин почувствовал себя старым, вернее устаревшим для таких игр. Да и слишком неравны были силы.

— Хорошо бы к такой закуси стопаря опрокинуть, — вдруг сказал он.

Анчибадзе выкатил на него пылко-черные глаза, усваивая этот поворот, и одобрил:

— Годится. Сандрик!

Не успел Кузьмин проследить, что откуда, как перед каждым стоял бумажный стаканчик с коньяком.

— Поехали, — сказал Кузьмин и выпил без особой охоты.

— Вы на какую секцию идете? — спросил Анчибадзе.

* Кто есть кто (англ.).

Кузьмин сделал загадочное лицо:

— У меня здесь совсем иная миссия.

На мгновение ему удалось вызвать их интерес. Но тут же Сандрик зашептал с восторгом:

— Перитти! Гениальный мужик! Глава миланской школы.

Кузьмин и не повернулся. Плевал он на этого Перитти. Маленькие голубоватые его глазки, устремленные на Сандрика, медленно темнели.

— Между прочим, как у вас с пересчетом пускателей? — спросил он.

Сандрик дернул плечом.

— Нашли, что называется, время и место.

— А все же? — чуть поднажал Кузьмин.

— Вы, значит, сюда приехали выяснять насчет пускателей? — Сандрик обиженно хохотнул и сказал с некоторой злорадной скорбью: — Боюсь, что наши мужи отказались пересчитывать. Увы!..

Кузьмин так и полагал, что откажутся. Хоть и обязаны. Знают, черти, что нет у него времени добиваться. Монтажникам всегда некогда качать права. У них сроки сдачи. И без того съеденные строителями, нарушенные поставщиками. Всякий раз его прижимают к стенке...

— Эх вы, какие из вас факельщики, — сказал Кузьмин в сердцах. — Халдеи вы. Вам лишь бы защититься, степень схватить.

Сандрик покраснел.

— А вы как думаете? — озлился он. — Неужели вам за столько лет не обрыдло: коммутаторы — аккумуляторы, сердечники — наконечники... господи, как вспомнишь, так вздрогнешь. Чем занимаемся, а? Нет уж... Да, да, скорей бы защита, и привет! Чао!

...Наконечников не досылали второй месяц. Из-за этого пустяка фронт работ перекосило, график рухнул. На каждом объекте повторялось в сущности одно и то же. То наконечники, то муфты, то пускатели... «У нас серьезные неприятности бывают только из-за пустяков», — говорил Кузьмин. Годы тратили на эти пустяки. Этот Сандрик довольно метко ударил в больное место: «сердечники — наконечники». Набор повседневных забот Кузьмина прозвучал у этого мотылька так пренебре-

жительно, так убого, что Кузьмину стало себя жалко. Он вспомнил было недавнюю премию за компоновку рас-предустройств. Провозился почти год, пока ему удалось ужать эти ящики на двадцать сантиметров. Но что значи-ли его старания, его премия для этих пижонов, заня-тых вопросами Вечными и Всемирными? Да что там — Вселенскими! Что для них проблема железной воронки, которую надо затиснуть под разъединитель? Их мир свободен от бракованного кабеля, от загулявшего свар-щика, от инспектора Стройбанка...

— Конечно, отвлеченными материями куда как при-ятнее заниматься. И доходней. Семгой кормят. Да только пользы от вас...

— Ну, это вы зря, из отвлеченных материй самые практические вещи выходят, — назидательно поправил Сандрик. — Возьмите Эйнштейна...

— Не надо Эйнштейна. Чуть что — Эйнштейн, — не-ожиданно буркнул Анчибадзе. — Оставь, пожалуйста, его в покое. Ты собственной жизнью пользуйся.

Сандрик словно поскользнулся, он не ожидал удара с этой стороны.

— Витя... чудак, Эйнштейна я ж для доходчивости... А себя что ж приводить... Какая у меня жизнь? Если хочешь знать — нет у меня жизни. Я для них знаешь кто? — Он вскочил, наставил палец на Кузьмина. — Карьерист! Человек, который хочет остепениться. Такой-сякой, ищет легкой жизни. А вы спросите — почему ты, Зубаткин, хочешь уйти? — И он с чувством ударил себя в грудь. — Да потому что надоело. Никому мои способ-ности в этой конторе не нужны. В прошлом году толк-нули мы идею одну по сетям. И что? А ничего! Под сукно. Кабеля, говорит, нет. Талант у нас не нужен. У нас исполнители нужны.

Палец его указывал на некие высшие сферы, которые умотали их проект, задробили, спустили в песок, и в то же время ввинчивался в Кузьмина, который олицетворял перестраховщиков, дуболомов, мамонтов, хранителей этого идиотского порядка, когда, экономя на куске ка-беля, выбрасывают миллионы киловатт-часов.

А Кузьмин вспомнил, как управляющий метался, до-бывая этот кусок, чтобы пустить готовый химкомбинат...

«На бумаге легко резвиться! — кричал управляющий. — Идей много, а я сейчас все идеи отдаю за тысячу метров кабеля!..» И Кузьмин понимал его лучше, чем этих грамотеев вроде Сандрика. Они считали управляющего консерватором, Кузьмина это сместило, в сущности, если разобраться, ему, Кузьмину, никогда не приходилось встречать настоящего консерватора. Если руководитель держался за старое, значит, его вынуждал план, лимиты, премиальные, словом какие-то серьезные обстоятельства. Когда ему удавалось побороть эти обстоятельства, он считался новатором. Кузьмин и сам бывал и тем и другим; чтобы протолкнуть новое, приходилось обычно так или иначе нарушать инструкции, правила, а это не всегда хотелось.

Объяснять все это было бесполезно.

Зубаткин — чистоплюй, Кузьмин давно раскусил эту публику: сидят, пьют черный кофе в баре напротив Управления, щеголяют друг перед дружкой своей принципиальностью и культурой и, конечно, уличают начальство в невежестве. Им что, они не отвечают за пуск объектов, им не приходится крутиться между местными властями и министерством, улаживать отношения с поставщиками, унижаться перед банком... .

Кузьмин дожеввал последний бутербродик, раздавил языком последнюю икринку, вздохнул:

— Да разве вас, математиков, не ценят? Икра всех цветов. Сиди, вычисляй. Машины купили... .

— Вот именно, — вычисляй и не рыпайся, — не мирясь, наскакивал Зубаткин. — Куда я могу выдвинуться? Хоть семь пядей во лбу. Пока место не освободится, жди. Какая у меня перспектива? А тут, по крайней мере, кандидатская. Докторская. Есть движение. Честное соревнование. Горлом тут не возьмешь. Здесь, в науке, решают знания и способности... . Так ведь?

В молодости Кузьмин и сам твердил примерно то же, а теперь он от молодых слышал эту песню — выдвинуться, скорее, скорее.

Служит в расчетном отделе некий Саша Зубаткин, молоденький инженер, тот самый, что в школе быстрее всех решал задачи, первым руку тянул, на олимпиаде районной небось грамоту получил. В институте тоже шутя и играя экзамены сдавал. Мечтал науку перевернуть, а направили его в трест.

И вот день за днем просиживает он в комнате 118, заставленной столами и кульманами, подсчитывает те же нагрузки-перегрузки, строит кривые. И никаких теорий и проблем. Требуется сдать вовремя расчеты, аккуратно оформить, завизировать. Сатиновые нарукавники. Бланки слева, скрепки справа. В верхнем ящике таблицы, в нижнем — полотенце с мыльницей. Чем меньше в тебе ума выступает, тем спокойнее. У этого Зубаткина главная мечта — выбратся, пока не засосало. Как угодно, но выбратся в науку. Он убежден, что там, в науке, он развернется, там он расправит крылышки и воспарит.

Кузьмин вообразил себя на месте Зубаткина и проникся даже некоторым сочувствием. Во всяком случае, раздражение снял. Это у него был такой прием — вместо того чтобы распалиться, попробовать понять, в чем правда у другого, потому что Кузьмин убедился, что и у противника бывает всегда какая-то своя правда.

— Не творческая работа — это не работа, — сказал Кузьмин, — это служба, человек рожден для творчества, и тэдэ, и тэпэ, ох, как я вас понимаю, тем более что и почета за службу не дожدهшься, и деньгами обижают. А от творческой работы удовольствие. — И тем же притворно-сочувственным тоном продолжал: — Пусть другие себе вкалывают, корячатся, какие-то бедолаги ведь должны и с бумажками возиться, и арифмометр крутить, и наконечники паять. Кому что на роду написано. Белая кость и черная. Инженер — это еще не человек: человек, по-вашему, начинается с кандидата наук.

Кузьмин посмотрел на Анчибадзе, и это было правильно — Анчибадзе решительно присоединился к нему:

— Совершенно заслуженно вы обвиняете: научные степени для некоторых как дворянское звание. Пожаловано навечно.

— Вот именно. Мы ученые! А какой ученый — неважно. Хоть сопливенький, но свой, свое сословие.

Сандрик, пощелкивая длинным ногтем мизинца, милостиво улыбался. Что бы Кузьмин ни говорил, как бы он ни был убедителен, ничего это не может изменить, он, Зубаткин, молод, он талантлив, перед ним будущее, и, значит, он прав.

Превосходство это бесило Кузьмина:

— ...которые гонятся за диссертацией, я их не осуждаю, им действительно иногда утвердиться надо. Мне

другие отвратны. Те, что на таланте играют. Раз они талантливы, им все можно, все прощается. Мерзавец, подонок — это неважно, важно, что он талант. Он уравнение решил!

— Чего это вы так разгневались? — неуживимо удивился Зубаткин, но вдруг посерьезнел, что-то зацепило его. — Ах да, понятно... Посредственностью командовать удобнее, она послушна, она поперек не пойдет, не то что талант. Тот, кто талантлив, тот критикует, у того свои мысли, мнения, он себе цену знает. Если уж на то пошло — да, ему можно прощать! Следовало бы прощать! Потому что талантливый человек, он ради творческих своих достижений жизнь кладет!

Кузьмин переглянулся с Анчибадзе взглядом соумышленника, хмыкнул.

— ... Тот, кто не хлебнул этого творческого дела, тому никогда не понять, — с вызовом сказал Зубаткин.

Короткие седеющие волосы Кузьмина свалились на лоб, брови нависли, чем-то напоминал он сейчас усталого зубра.

— Ведь ценны результаты... — подождав, сказал Зубаткин. — Вот Яша Колесов жену с детишками бросил, типичный подонок. А какую штуку придумал с ускорителем!

— Ну и что! — закричал Анчибадзе. — Его это не извиняет. С ускорителем не он, так Малышев дошел бы. У них группа — будь здоров. А то, что он сукин сын, это для меня решает.

О каком Колесове они спорят, Кузьмин не знал. Ему стало скучно. Сколько их перебивало у Кузьмина, таких вот молодых, заносчивых, всезнающих, обо всем имеющих категорические суждения...

— Да, все относительно, — сказал он невпопад на обращенный к нему вопрос. — Лет десять назад, на Урале, я предложил трансформаторы подвешивать. Бился, доказывал. А потом меня начальником строительства назначили...

Две девушки в коротеньких юбочках прошли мимо, не оглянувшись.

— И что? — спросил Анчибадзе.

— Ничего. Отклонил эту идею.

Анчибадзе выгнул толстые брови, захохотал.

Прозвенел звонок. За соседним столом поднялся седокудрый, величественный, типичный профессор.

— Шеф отплывает, — сказал Анчибадзе. — Нам пора.

— Это Несвицкий, Петр Митрофанович, — хвастливо сообщил Зубаткин. — Слыхали?

— Несвицкий? — удивился Кузьмин, и перед ним возник моложавый красавец оратор, артист. Лекции его подходили на спектакль. . . Каждый раз он появлялся в новом костюме или хотя бы в новом галстуке. Он любил рассказывать исторические анекдоты, вставлять французские словечки. Первокурсников он пленял нацело. С той поры к Кузьмину и привязалось его легкомысленное «ла-ла-ла».

Тот Несвицкий возник и слился с этим стариком, исчез в нем. А если б Зубаткин не назвал его фамилии. . . Сколько вот так же проходит других людей, с которыми он когда-то учился, дружил, которые учили его, — людей, тщательно загримированных временем.

— Я поначалу пойду к автоматчикам, — сказал Анчибадзе.

— А я послушаю Нурматыча.

Они встали.

— Встретимся. . . в перерыве, — вежливо и безразлично сказал Зубаткин, уже улыбаясь кому-то.

Кузьмин неопределенно пожал плечами.

Он сидел, размышляя о том, что если бы его кто-то искал, то уже мог найти. . .

Когда-то он мечтал стать разведчиком. Он воспитывал в себе невозмутимость, наблюдательность и хладнокровие. Кроме того, в разное время он собирался стать историком, шофером, артистом, математиком, охотником. Он хорошо стрелял, изучал римскую историю, играл в драмкружке. Наверное, он мог быть и неплохим разведчиком. Он, например, чувствовал, когда на него смотрели. Или когда о нем говорили.

Буфет опустел. Теперь к Кузьмину свободно можно было подойти. Никто на него не смотрел. Никто за ним не следил. О нем забыли. Он нащупал в кармане номерок от пальто, вытащил, демонстративно повертел им, встал и направился в гардероб. Никто его не остановил. Увидев телефон-автомат, он позвонил домой. Трубку взял младший.

— Ну, как вы там? — спросил Кузьмин.

— Нормально. Ты скоро?

— Меня никто не спрашивал?

— Нет. Папа, разве на юге бывает полярное сияние?

— Бывает, — сказал Кузьмин. — Все бывает. Вот что, тут у меня одно совещание, — он почему-то понизил голос, — я задержусь.

В трубке что-то крикнула Надя, видимо из кухни.

— Мама спрашивает, ты кушал?

— Очень даже, — сказал Кузьмин.

За регистрационным столиком стоял тот бритый контролер, в руках у него были списки. Он разговаривал с девушкой, и оба они смотрели через пустое фойе на Кузьмина. Он видел, как движутся их губы. Если бы он был глухонемой, он бы мог разобрать, о чем они говорят. Кузьмин улыбнулся — получалось, что, если бы он был глухонемой, он лучше бы слышал. . .

Он был полон нерешительности, однако со стороны движения его казались обдуманними и единственными. Зачем-то он поднялся на второй этаж и пошел по коридору, вдоль строя высоких, крашенных под дуб дверей. На каждой двери белела приклеенная картонка с наименованием секции. Прочитав название, Кузьмин осторожно приоткрывал дверь, сквозь щель видны были задние ряды аудитории. За длинными столами сидели старые и молодые, где редко, где густо, где царила тишина, где переговаривались, не слушая докладчика. Твердое лицо Кузьмина обмякло, как бы расплавилось, ему приятно было вот так идти вдоль дверей, вдыхать душноватый запах аудиторий, приятны были обрывки фраз лекторов, развешанные таблицы, пустыньность коридора и его робость опоздавшего. Его забавлял этот студенческий невытравимый страх, теперь уже нестрашный, а все страх.

«Оптимальные процессы», — прочел он на картонке. Постоял, чем-то зацепившись. Он понятия не имел, почему он выбрал именно эту секцию. Никогда впоследствии он не мог объяснить внутреннего толчка, который заставил его войти. Виногато пробрался в задний ряд, уселся и стал слушать. У протертой коричневой доски докладывал молоденький узбек. Кузьмин полистал программку: Нурматов. Вспомнил, что слышал эту фамилию от Сандрика, искал глазами и впереди себя увидел гибкую спину Зубаткина, кругленькую просвечивающую на макушке плешь. Возможно, сам Зубаткин не знал про эту лысинку. . .

Слушали Нурматова внимательно, один Кузьмин ничего не понимал. Глаза слипались. Очнулся от собственного всхрипа, испуганно оглянулся, покашлял, выпрямился, уставился на исписанную доску. Когда-то у них в группе был парень, который умел спать с открытыми глазами. Сидел, тараща глаза на доску, изображал само внимание, при этом сладко спал. Однажды, после лекции, они его не разбудили, так и оставили. . .

Кузьмин глубоко вздохнул, стараясь выбраться из вязкой сонливости, ему бы уйти, вместо этого он напрягся, стараясь что-то понять, прислушался к резкому акценту докладчика.

В прошлом году Кузьмин почти месяц провел в Бухаре, на комбинате, налаживая там электрохозяйство. Жил он у мечети Колян. Во дворе мечети помещалось медресе, там была натянута сетка, и будущие муллы неплохо играли в волейбол. По вечерам приходили братья Усмановы. Пили чай и разбирали схемы. Младший восхищал Кузьмина своими способностями. Кузьмин уговаривал его идти учиться. Усманов медленно качал головой — зачем учиться? Диплом? Зачем диплом? Иметь диплом — значит, привязать себя на всю жизнь к одной специальности. Одна жена, одна специальность, одна работа. . . Зачем? Ведь жизнь тоже одна. . . Кузьмина веселила вольность его суждений. Стены мечетей и минареты были выложены фигурным кирпичом. Рисунок орнамента не повторялся, и в то же время в этом разнообразии существовал ритм, скрытый геометрический закон гармонии. Свобода художника тоже подчинялась каким-то законам. . . Солнце слепило глаза. Они сидели в лодке и играли в карты. На носу покачивалась женщина, лицо завешено, она грызла сухарик. Неприятный был звук, а ноги у женщины были темные, как доска. . . Это хрустел мел под рукой Нурматова. А лодку укачивало, и вода прибывала, теплая, зеленая, полная рыб, спины у них были гибкие, острые, как у Сандрика. . .

Кузьмин вздрогнул, открыл глаза. Что-то произошло. Нурматов писал на доске, все его слушали, вроде ничего не изменилось, и тем не менее что-то случилось: Кузьмина как током продернуло, и сон пропал начисто. Он выпрямился, и тут он снова услышал свою фамилию. Он понял, что слышит ее снова, второй раз: «. . . применим вывод Кузьмина для общего случая». У Кузьмина

обмерло внутри, как это бывало во сне, когда он падал, погибал. . . Он подумал, что еще спит, то есть ему снится, что он проснулся, на самом же деле он спит.

— . . . функция получается кусочно-непрерывной. . . Задачу об условном минимуме можно свести к задаче о безусловном минимуме. . .

На плохо вытертой доске появлялись белые значки, крошился мел, стеклянно царапал. Кузьмин закрыл глаза, снова открыл и удивился тому, как он попал сюда, зачем он сидит здесь и мается.

Он воровато оглянулся. Никто на него не смотрел. Тогда он несколько успокоился — мало ли на свете Кузьминых. При чем тут он? Теперь его даже подмывало спросить, что это за штука «безусловный минимум функционала». Как все начисто забылось! Он был уверен, что когда-то знал, слышал это выражение. На доске было несколько уравнений, они тоже что-то напоминали. . .

Он прислушивался к себе, пытаясь почувствовать хоть что-то, что должно было ему подсказать. . . Наклонился к соседу:

— На что это он ссылался? Что за вывод?

— Вот, сверху написано. . . Вообще-то, немножко рискованное обобщение.

— Вот именно, — подтвердил Кузьмин. — А как он назвал уравнение?

— Кузьмина. . . Он же в начале приводил.

Фамилия прозвучала отчужденно. Нечто академичное и хорошо всем известное. Невозможно было представить себе, что это о нем так. . . И прекрасно, и слава богу, просто совпадение, успокаивал он себя, потому что не могло такого быть, не должно. Да и откуда Нурматов мог узнать про тот злосчастный доклад? Но тут память вытолкнула из тьмы какие-то «Труды института» в серой мохнатой обложке. Работа была напечатана среди прочих докладов, и был скандал. Это Лазарев ее пробил. Да, да, Лазарев, занудный старичок-моховичок, вечный доцент: «Я вас прошу, в смысле — умоляю», «Нам, скотьбарьям, Пирсон не указ». Так вот откуда критерии Пирсона, и еще Бейесовы критерии, «бесовы». . . Они невпопад посыпались, все эти имена. И ощущение духоты того каменно-раскаленного городского лета, и пустое общежитие, и голые окна, завешенные от солнца газетами, и газетами застекленный коридор, потому что шел ремонт,

побелка... В словах Нурматова что-то забрезжило, белые знаки на доске стали четче. Кузьмин еще ничего не понимал, но глухо издали подступал смутный смысл, как если бы среди тарабарщины донеслось что-то по-славянски. Но все это не обрадовало, а наоборот, ужаснуло его.

Стало быть, тот позор не забыт, снова выплыло, это о нем, раскопали, нашли... Он еще надеялся на какое-то чудо, но знал, что все сходится, они сходились к этой доске с разных сторон: тот молоденький Кузьмин, студент пятого курса, в отцовском офицерском кителе с дырочками от орденов, не знающий, что такое усталость, и этот, нынешний. И Несвицкий, который, наверное, помнит, и, может, еще другие...

С утра он уходил в Публичку. Брал словарь и французские журналы. А потом журналы уже не помогали, надо было карабкаться самому. Ах, как его заело. Задача, которую дал Лазарев, давно была решена, но она упиралась в другую, а та — в критерии для всех электродвигателей. К ночи он возвращался пешком на Лесной, и во сне он продолжал соображать, вернее томился. До сих пор математика давалась ему так легко, что он не понимал, как у него может что-то не получиться. А тут все застопорило. Время остановилось. Выключилось. Тело его продолжало механически питаться, ходить, что-то делать... Идея была сумасшедшая, он знал, что это полный бред, а может, не знал, может, это потом, когда его раздолбали, ему стало казаться, что он знал. Теперь уже не восстановить, во всяком случае, он не убоился. Тогда он ни черта не боялся. Сила его была, как говорил Лазарев, в невежестве, он не следовал никаким определенным принципам. «Интуиция! — восхищался Лазарев. — Пусть не вполне... Пусть абсурдно! Вас не пугает абсурд! Ваше преимущество, что вы думаете около!» Лазарев суетился вокруг него, гонял, нахваливал, обещал сенсацию. «Думает около» — это Кузьмин запомнил. Все думали напрямую, а он около. Лазарев нагнетал азарт, подкручивал, Кузьмин подал свою работу на конкурс, выступил с докладом на институтской конференции. Аудитория была переполнена. Одни ждали триумфа, другие скандала. Если б не его самоуверенность, его бы покритиковали, доказали бы, что он подзагнул, и все, но

тут ему учинили форменный разгром. По-видимому, он держался невыносимо нахально, — чего стоило его замечание в адрес такого корифея, как Пирсон. Он включал Пирсона как частный случай. Конечно, это не могло не раздражать. Сам Лаптев возмутился. Он высек Кузьмина как мальчишку. Убедительно. Лихо. Под общий хохот. Интуиция выглядела беспомощным лепетом. Это был полный провал. На Лазарева было жалко смотреть. И без того его не любили, Кузьмин понял, что связался с неудачником. Мысленно он свалил все на Лазарева и махнул рукой на эту работу. Жаль только, что лето пропало. Мог уехать на Днепрогэс с ребятами, с Надей. Она отправилась ведь назло ему. С самого начала она не верила в эту затею, не верила и в Лазарева и в способности Кузьмина: «Тоже мне Чебышев!»

Ему важно было доказать ей, получить первую премию. Чтобы вышла многотиражка со статьей о нем и его портретом. Надя пришла на конференцию, вся группа их пожаловала, она сидела наверху, и Кузьмин, взойдя на кафедру, сразу отыскал ее и, докладывая, торжественно посматривал на нее: загорелая, довольная собой, а он бледный, исхудалый, измученный наукой, — все должно произойти весьма поучительно. Слушая аплодисменты и похвалы, она пристыженно опустит голову, он подойдет и напомним про Чебышева, нет, лучше он в заключительном слове поблагодарит тех, кто верил в него, и назовет и ее, Надежду Маслакову, ибо своим неверием она тоже помогла ему. Вот какие у него были планы. . . А когда все это затрещало и посыпалось, он уже не видел ее, он ни разу не решился взглянуть в ту сторону и не знал, смеялась ли она вместе со всеми, аплодировала ли Лаптеву. . .

В последующие два часа жизнь была закончена, потеряла смысл и цель, он решил бросить институт, уехать матросом в Мурманск, шахтером в Донбасс, оставить письмо, исполненное смирения. Горе побежденному: он бездарность. Где нет ничего, там нет ничего. Он просил забыть его. Несколько лет он работал простым матросом, похоронив свое будущее. . . Он опустился, запил. . . Нет, он держался мужественно, скромно, и. . . Что было бы дальше — неизвестно, поскольку в общежитие явилась Надя и судьбу его пришлось переделывать заново. А тут еще мешали носки, которые сушились на батарее, и он

пытался незаметно спрятать их. Выяснилось, что можно никуда не ехать... вот дипломный проект у него подзапущен, это действительно, и надо нагонять. Надя взялась помочь ему. Она хорошо чертила. Допоздна они просиживали в дипломантской, потом бежали в гастроном, покупали копчушки. С математикой было покончено. Эта наука не для него.

Прекрасно устроена человеческая память, все неприятное удаётся напрочь забыть, сохраняется милая ерунда — носки, копчушки... Без забывания нельзя. Забывание — это здоровье памяти. И он постарался поскорее забыть эту историю...

Нурматову задавали вопросы. Рыжеусый француз, выбежав к доске, застучал пальцем, заверещал, несколько раз выпалив «Ку-у-сьмин» с прононсом и буквой «с», так что фамилия вспыхнула латинским шрифтом, загорелась неоновой рекламой...

За председательским столиком Несвицкий односложно переводил — пересказывал самую суть французской речи, отделяя разными улыбками свое мнение, и про Кузьмина тоже проницательно усмехнулся. Ясно, что Несвицкий все знает, сейчас он с усмешечкой покажет пальцем на Кузьмина и начнется...

Давний молодой стыд охватил Кузьмина, как будто предстояло пережить все сначала, — сейчас это было бы еще тяжелее, чем тогда. Он хотел встать, выйти — и не двинулся с места. Оцепенев, он смотрел, как Нурматов наступал на француза, выкрикивая:

— ...Простите, не решает, а позволяет решать! Позволяет!

Это они говорили о методе Кузьмина.

Кажется, Кузьмин начинал понимать, что происходит нечто обратное, совсем иное, чем двадцать с лишним лет назад. Он не верил себе, внутри стало холодно и пусто, не было ни радости, ни удивления, только щекам было жарко.

Взгляд Несвицкого почему-то остановился на нем. Может быть, Кузьмин открыл рот, или приподнялся, или еще что.

— Пожалуйста, у вас вопрос?

— Нет... то есть да.

К нему обернулись. И Зубаткин обернулся.

— Эта работа... Кузьмина опубликована? — спросил он, слегка запнувшись на фамилии, все еще надеясь на какую-то ошибку, путаницу.

— Конечно. В Трудах Политехнического института, — Нурматов назвал год, выпуск.

— Спасибо, — сказал Кузьмин.

Он сел. «Ах, так твою перетак», — бесчувственно повторил он, больше ничего не слушая.

Когда объявили перерыв и слушатели потянулись в коридор, Нурматов остановил Кузьмина, протянул фотокопию статьи.

— Простите, это вы интересовались?.. Вот, пожалуйста. Теперь многие на нее ссылаются. После того, как я запустил ее на орбиту, — Нурматов посмеялся над своей хвастливостью. — Я тоже случайно обнаружил ее. Кое-что устарело, есть и ляпы, но сама идея — вполне.

— Я посмотрю. Разрешите?

Он прошелся по коридору за поворот, в застекленный сверху донизу эркер. Там было прохладно и тихо. Статья на твердой фотобумаге выглядела неузнаваемо. Сборник Кузьмин давно утерял при своих частых переездах и сейчас недоверчиво смотрел на длинные выкладки, недоумевая, как он мог когда-то во всем этом разбираться.

«Функция правдоподобия...» — п р а в д о п о д о б и я, — что бы это могло значить?

«Исследовать хи-квадрат нет оснований» — откуда он мог знать, есть основания или нет их? Сколько уверенности! Он с уважением погладил холодный глянец, перевернул страницу, собственные знания изумляли его.

Он как бы разделился и не мог совместить того мальчишку Кузьмина с собою, то есть всерьез отнестись к тому сосунку.

Вот они, критерии... Господи, неужели он все это написал своей рукой и мог вычислять, решать? А сейчас ничего, ни бум-бум. Грустное зрелище. Кроме фамилии, ничего общего не осталось. Только фамилия их и связывает.

— А я вас ищу, — раздался за спиной голос Зубаткина.

Мускулы Кузьмина напряглись, он ответил, не оборачиваясь:

— Знаю, что ищете, поэтому и укрылся.

Сбитый с заготовленной фразы, Сандрик потоптался, но не ушел.

— Ага, знаете!.. — Он зашел сбоку, чтобы видеть лицо Кузьмина. — Интересуетесь статьей?.. А как вам доклад Нурматова? Произвел?

— А я в этом ничего не смыслю.

— Так, так, — весело приплюсовал Зубаткин к чему-то. — Значит, не смыслите? И все это случайность?

— Что именно?

— Да все это... так сказать, совпадение. Надо же. Какое стечение случайностей.

— Бывает, — осторожно сказал Кузьмин.

— Не понимаю, передо мной-то вы зачем? — задумчиво спросил Зубаткин.

Кузьмин помахал перед собою оттиском, обдувая лицо, потом, подозрительно оглянувшись, спросил:

— А вам он известен, вы разве знаете?

Зубаткин невозмутимо кивнул и, тоже понизив голос, сказал:

— Догадываюсь... Очевидно, это ваш брат?

— Почему же брат? — вырвалось у Кузьмина. — А может, это я?

Тогда Зубаткин отступил, чтобы увидеть Кузьмина полностью, не только лицо, но и руки с оттиском статьи, и ноги в рабочих ботинках, заляпанных цементом, и, как бы сличив его с некоторым образцом, Зубаткин успокоился.

— Нет, не вы... — Зубаткин рассмеялся. — Какой же вы математик!

— Значит, не похож?

— Извините... — Зубаткин развел руками. — Но разве вас это обижает? Не должно обижать. А? Да и сами вы сказали, что ничего не смыслите в этом.

— Мало ли что сказал...

Кузьмин отвернулся — кто бы мог предположить, что недоверие Зубаткина так уязвит его.

— Ого! Настаиваете, что вы и есть этот... Забавное допущение, — и в подтверждение Зубаткин энергично потер руки. — Понимаю. Примеряете как бы на себя корону, и как, нравится? То-то же! Все хотят быть талантливыми. Но... не у всех получается. Тогда начинают говорить о нравственности и тому подобной фигне. Да, да, фигне. Мне, например, неважно, кто этот Кузьмин, не-

важно! — подчеркнул Зубаткин. — А важно, что он сделал! — И громко прищелкнул пальцами, как бы окончательно изобличая Кузьмина.

Большая голова Кузьмина согласно кивала, но вдруг он, будто вспомнив, округлил голубые свои глаза и сказал тихо:

— А инициалы-то сходятся.

— То есть как?

— Видите «пэ»? И я «пэ» — Павел Витальевич.

— Да, да, Павел Витальевич, — обрадовался, вспомнив, Зубаткин. — Точно, Павел Витальевич. Но как же так?.. Мало ли... Нет, не представляю. Позвольте, это же какая-то ерунда, — бормотал он, все более растерянно глядя на Кузьмина, как будто тот поднимался в воздух, превращался в дракона, становился двухголовым.

— Фантазии у вас маловато, — грустно сказал Кузьмин. — Я так и думал: чего-то вам не хватает.

Он вздохнул и пошел назад, к аудитории, Зубаткин за ним, ошеломленно и молча, не смея отстать, не в силах оторваться.

У дверей аудитории стояли Нурматов, Несвицкий и еще двое. При виде Кузьмина они замолчали. Он замедлил шаг, и Зубаткин тоже замедлил шаг.

— Спасибо, — сказал Кузьмин и протянул Нурматову оттиск.

Теперь они разглядывали его со всех сторон, эти четверо спереди и Зубаткин сзади.

— По критериям у Кузьмина это единственная работа, — произнес Нурматов, как бы приглашая его высказаться.

Кузьмин молчал. Что бы он ни ответил, все могло оказаться странным, глупым после того, как Зубаткин скажет: «А вот и автор, познакомьтесь». Со страхом и восторгом. Или с недоверием: «Павел Витальевич утверждает, что он и есть тот самый Кузьмин». На это Кузьмин пожмет плечами: да, было дело. Конечно, сначала никто не поверит, но он и не станет доказывать, скажет — спросите у Лаптева. И оставит их в полной загадочности. Уйдет, не отвечая на расспросы... Дальше было неясно, виделся только этот первый страшновато-сладостный миг общего изумления, своего торжества, пристыженность Зубаткина, безмолвная сцена и свой уход...

— ...Больше я ничего не нашел, — говорил Нурматов. — Жаль, что он бросил этим заниматься.

— Где он теперь? — спросил кто-то.

Сбоку, над плечом Нурматова, поднялось лицо Зубаткина, в глазах его гудело пламя, как в прожекторах.

— Не знаю, — сказал Нурматов.

Кузьмин приготовился. Наступило самое время вмешаться Зубаткину. Самый невыгодный, самый эффективный момент. Но Зубаткин прищурился, сочные губы его сжались в тонкую задумчивую полоску. Он решил выждать. Он уперся глазами в Кузьмина, как бы требуя, понуждая его самого открыться, то есть назваться.

Кузьмин молчал.

Не то чтобы раздумывал или колебался, нисколько. Он понимал, что ему придется признаться. Нет, тут было другое: он вдруг ощутил приятный вкус этих последних мгновений и поигрывал ими.

Как будто он держал палец на кнопке. Такое же острое и сладостное чувство приходило перед пуском нового цеха или агрегата, когда напряженные месяцы монтажа и наладки, вся эта канитель, безалаберщина, из которой, казалось, не выбраться, наконец завершается вот этим нажатием кнопки, и сейчас лязгнут пускатели, загорятся лампочки, взвоят моторы, и цех впервые оживет, задвигается. Все глаза устремлялись к его пальцу, к этому последнему движению, с которого начнется существование всего организма станков, соединенных кабелем, щитами, наступит летосчисление работы цеха, с горячкой планов, срочных заказов, авралов и прочими страстями производственной жизни, уже неизвестной монтажникам. Всякий раз было весело и чуть страшновато, хотя, вообще-то, уже привычно.

Сейчас же приятнее было не нажимать эту кнопку, а тянуть. Растягивать эти нити, пока он стоит перед всеми, и никто не догадывается, что это и есть тот самый Кузьмин. Даже Зубаткин еще не верит. Можно признаться, а можно и не признаваться, остаться в неизвестности, — он был хозяин, и он смаковал чувство своей власти.

Сойдясь глазами с Зубаткиным, он через его удивление ощутил на своем лице явно неуместное выражение удовольствия.

— Посмотрите, что он пишет, — продолжал Нурматов, отыскав нужную страницу, и, подняв палец, прочел: — «Есть основания считать возможным построить общую теорию таких систем». Какое? А? Он почти дошел до минимального критерия. Уже тогда. Значит, у него была идея. . .

— Написать все можно, — сказал Зубаткин. — А что он имел в виду?

. . . Бог ты мой, да разве можно вспомнить, что он имел в виду. Какие мысли тогда бродили в его голове? Может, и были какие-нибудь прикидки, соображения, а может, и прихвастнул для авторитетности. Он вдруг сообразил, что тот Кузьмин способен на подвох, и придется отвечать за него, — с какой стати? Тот, молодой Кузьмин увиделся ему человеком ненадежным, опасным, с ним можно было влипнуть в неприятную историю. . .

— Э-э, нет, Зубаткин, у истоков всегда виднее, — напевно сказал Несвицкий. — Возьмите Ферма. Это же нонсенс! Сидел, читал старика Диофанта и писал всякие примечания на полях, в том числе свою формулу, и сбобу нацарапал, что для доказательства, мол, нет места. Действительно, на полях не развернешься. И вот оттого, что не было у него под рукой листка бумаги, триста лет бьемся с его теоремой, ищем доказательство. И так, и этак. Милая история? А если он и в самом деле знал? . .

Красивые легенды эти Кузьмин помнил со студенческих лет. И про Римана, который открыл свойства каких-то функций, хотя открыть вроде бы не мог, потому что должен был использовать для этого принципы, не известные в его время. «Такое возможно только в математике, — как любил говорить Несвицкий, — ибо эта наука выше всякого здравого смысла».

— С Ферма не спросишь, — сказал Зубаткин. — А вот Кузьмин, почему бы не запросить его? — И сделал многозначительную паузу.

— Ты что ж думаешь. . . — начал Нурматов, но в это время Несвицкий поднял ладонь:

— Кузьмин. . . Кузьмин. . . Подождите, Зубаткин, я же знал его. . . — он закрыл глаза. — Ну, конечно, мы с ним однажды в Крыму. . . ла-ла-ла. . . Он же у Курчатова был, — Несвицкий открыл глаза, заулыбался. — Петь он любил. Как же, знал я его. Остроумнейший человек. Умер. От лейкемии. Да, да, вспоминаю. Мне говорили.

Чуть ли не дважды лауреат, но засекречен. Все они были засекречены.

«Да вы что... — чуть не выкрикнул Кузьмин, но почувствовал, как неизъяснимое облегчение охватило его. — И черт с ними, не буду поправлять, как идет, так пусть и идет, умер, и ладно...» Все правильно. Хорошо, что он не признался. Первым делом бы в него вцепились: какие такие общие принципы вы имели в виду? Какие критерии, объясните, пожалуйста, Павел Витальевич? Красиво бы он выглядел — собственной работы не пересказать. Дурак дураком, голова решетом. Этим ребятам только на зуб попади, они сделают из него анекдотик. Они его распишут: живой мамонт, чучело математика...

— Зачем же вы меня разыгрывали? — на ухо сказал ему Зубаткин. — А я-то почти поверил... — Он двигался вслед за Кузьминым, но почему-то шагов его не было слышно, только притушенный голос шуршал в ухо: — Но я не такой лопух. А поверил потому, что странное выражение у вас появилось. И сейчас вот, когда Несвицкий говорил, тоже вы не соответствовали. Верно? Что-то тут не то. Павел Витальевич, вы, кажется, Политехнический кончали? В эти же годы? Кто-то мне говорил...

— Было дело, — рассеянно подтвердил Кузьмин, продолжая идти.

— Тогда вы должны были его знать.

— Кого?

— Ха-ха. Тезку вашего. Полного тезку. Инициалы ведь совпадают. Согласитесь, это редкостный случай.

— Да мало ли у меня однофамильцев. Может, и знал.

— Не понимаю... Ну, хорошо, но зачем вы морочили меня? Вы же солидный человек.

— Послушайте, Зубаткин, как вы считаете, Нурматов правильно оценивает, в общем и целом?

Они отошли далеко и стояли сейчас одни перед лестничной площадкой.

Зубаткин ответил не сразу.

— В общем и целом... — Он остановился размышляюще, как над шахматной партией. — Прикидываете, значит, ценность работы? Ну что ж, допустим, в общем и целом Нурматов прав, что тогда?

— А если он того, преувеличивает! Увлекся? Перехватил?...

— Не думаю. Все же вы имеете дело с точными науками.

— Мало ли... Не такие, как Нурматов, ошибались. Академики ошибались.

— Видите ли, Павел Витальевич, я примерно этой областью занимаюсь, так что мне сподручнее судить, чем вам, — заостренно-обиженным голосом проговорил Зубаткин. — Если бы вы разбирались, я показал бы вам, что вообще это может стать новым направлением. И плодотворнейшим! Не стало, но может!

— Надо же! — И глаза Кузьмина полузакрылись. Откуда-то издалека горячая, ярко-синяя волна накатила, подняла его, закружила в пенистом шипящем водовороте.

— Что с вами? — спросил Зубаткин.

Кузьмин слабо улыбнулся, еле различая Зубаткина с высоты, куда его несло и несло...

— Ах, Зубаткин, Зубаткин! — крикнул он. — Хотите.. я вам отпуск дополнительный устрою? Хотите, подарю вам чего-нибудь... Ну, что вы хотите?

— Отпуск годится, — сказал Зубаткин. — А все-таки, в чем дело? Кто такой Кузьмин?

— Вот чудак, да я, кто же еще!..

— Нет, я про того, настоящего Кузьмина.

— Что значит настоящего? — Кузьмин поморщился, не хотелось ему сердиться. — А я кто, по-твоему? Он настоящий, а я, выходит, не то, подделка, чучело? Так ты меня представляешь?

— Зачем же... Если вы настаиваете... — как можно мягче уступил Зубаткин и пожал плечами. — Пожалуй-ста, что ж вы, давайте, объявитесь. Это даже интересно. Учитывая, что сейчас все накинута на работу Кузьмина, расклюют, каждый кому не лень. Вам самое время предстать, выйти, так сказать, из небытия.

Глупейшая огромная улыбка распирала Кузьмина, не было никаких сил удержаться.

— Вот именно из небытия, а ты как полагал? Ведь это все равно что найти родных, ребенка? Ведь все оказалось... — Ему хотелось растормошить этого Зубаткина, обнять. — Мы с тобой сейчас возьмем и жахнем! Слушай, а что, если и вправду все это хозяйство застолбить? Развить как положено, дополнить и пустить в ход. На кафедре, может, сохранился полный текст... И чтоб ни-

кто! Ведь автор имеет право, верно? Все ахнут... представляешь?! — Он мечтательно парил на своей солнечно-голубой вышине. — Как по-твоему, на сколько эта работа тянет?

— То есть в каком смысле? А-а! Вас интересует научная степень? — подыгрывая, спросил Зубаткин. — Проценты желаете получить с капитала? Ну что ж, вполне можно докторскую присвоить. Без защиты. Гонорис кауза!

— Докторская... — Кузьмин тихо засмеялся. — Ох ты, гонорис. Молодец! Ай да мы! Вот вам всем! — Он счастливо прижмурился, затряс поднятыми кулаками.

Зубаткин опасливо попятился, а Кузьмин прыгал, наступая на него, и смеялся. Ему бы сейчас опуститься на четвереньки, побежать по коридору, показывая язык всем этим профессорам, доцентам, оппонентам. Знай наших!..

— Кончайте! — озлился Зубаткин. — Чушь это, чушь, не верю я!

— Да я сам не верю! — счастливо пропел Кузьмин.

— Есть и другие имена на «пэ»: Петр, например, Пахом!

— Прокофий, Пров, — смеясь, подкидывал Кузьмин. — Прохор, Пилат!

Смех этот еще больше обидел Зубаткина, шея его вытянулась, он приподнялся на цыпочки, весь натянулся, чтобы стать вровень с Кузьминым, и голос его пронзительно взвился, задрожал:

— Разрешите тогда спросить вас: куда ж это все делось, если вы настоящий? Где оно? Где он, ваш талант? Почему ж это вы не пользуетесь им? Отказались? Да разве это возможно! Нет уж, Павел Витальевич, если б это так было, то это преступление. Хуже. Безнравственно! Бессовестно это! За это я не знаю что...

— Ишь ты, хватил, — изумился Кузьмин.

— Потому что человек не имеет права! Перед людьми, перед обществом не имеет права! Да я и не поверю! — Что-то в нем задрожало. — Найти такое!.. Эх, я бы... Я ведь первый начал эту тему. Раньше всех! А меня обогнали. Потому что я ведь после работы мог... Урывками. Теперь вот Нурматов лидирует. Что же мне теперь? Думаете, в диссертации дело? Защита — это не хитро. Защищают все. Хочешь не хочешь — заставят, раз ты в аспирантуре числишься. А мне этого не надо! — Он

приблизил лицо к нему. — Я хотел достигнуть! Сделать! Иначе какой смысл... — Он сорвался на отчаянье, маленький нос вспотел, плечи пиджака обвисли. — Вы, значит, могли, а я... Не верю я вам. Что бы вы мне ни доказывали! Почему ж вы забросили? Никогда не поверю! Все это насочинили, — попробовал усмехнуться, прикрыться издевкой. — Впрочем, вы не стесняйтесь. Я идеалист. Я не пример. Мало ли у нас докторов, так, на фу-фу. Они в математике смыслят не больше вашего. Важно хорошо оформить! Чтобы чин чином. Внешность у вас солидная, биография — я надеюсь... Производственнымникам сейчас зеленая улица...

Бедный Кузьмин, как хотелось ему сберечь свое праздничное настроение. Никак не мог взять в толк, с чего накинулся на него этот парень, чего он винтом извертелся, готовый укусить. В слова его Кузьмин и не старался вникать — злость и гадость, — и было жаль себя: за что его так? И это в то время, как ликующая душа его готова всех одарить, обласкать...

— Ну чего ты, успокойся, — просительно сказал Кузьмин. — Не суди и не судим будешь. Вот как ты определяешь, что нравственно? Что у тебя, таблицы есть? Или формулы? Нурматов обогнал, — ты считаешь, что он воспользовался ситуацией. Допустим. А если ты теперь воспользуешься, чтобы его обогнать? Это как будет считаться? Нравственно? Потому что «мое отдай»? При чем тут математика? Ведь не ради математики вы гонитесь. Кто первый. Кто больше... А если автор претендует на свое, кровное? Если у автора тоже имелись уважительные обстоятельства, по которым он, бедняга, прервал работу... — И Кузьмин, выбравшись на главную дорогу, возликовал и засиял благодушием. — Тогда как быть? Как? Тогда ты должен помочь ему, автору, восстановиться в правах — это дело святое!

— Какому автору?

— Ему, — Кузьмин выразительно подмигнул. — Мо-ему тезке, тому самому, которого Несвицкий хотел причислить к почившим.

Шутливый тон помогал Кузьмину уклоняться от зубаткинских расспросов, отвечать не отвечая. Слова его обрели неожиданную двусмысленность, от которой у него самого кружилась голова. Правда вдруг становилась неуловимой, события теряли определенность...

— А вы сами разве уверены, что Несвицкий ошибся? — спросил Зубаткин и прикрыл глаза. — Может, все же того Кузьмина в наличии не имеется? Он — миф?

Неуверенная его усмешка высветила темную расщелину, которая отделяла нынешнего Кузьмина от молодого его тезки. Не расщелину — пропасть между этими двумя разными людьми; ныне ничего не связывало их, кроме имени. Кузьмин мало что помнил о том молодом авторе, ничего не знал из того, что знал тот, он не был продолжением молодого, они существовали совершенно раздельно, независимо, они были чужие. Где он, тот Кузьмин? Умер? От него ничего не осталось, он начисто исчез, и не это ли имел в виду Зубаткин, и не потому ли и сам Кузьмин применял словечко «автор», невольно отдавая себя от того Кузьмина? Так было легче освоиться с ним. . .

— Я до сих пор не уверен, что это был я, — признался Кузьмин.

— Я тоже, — иронически согласился Зубаткин, и Кузьмин почувствовал, что его откровенность выглядит для Зубаткина неубедительно. Но если бы даже ему удалось убедить Зубаткина, приводя подробности, свидетельства, то произошло бы обратное — уважение пропало бы. Сейчас интерес и уважение происходили у Зубаткина от тайны; этого самонадеянного, заносчивого парня, не считавшегося ни с какими авторитетами, волновала тайна Кузьмина, и сам Кузьмин чувствовал, что обладает властью. В руках его оказалась особая власть, не похожая на ту, какую он имел, — власть без должности, без прав, даже без знания. . . И тем не менее это власть, видно, как гипнотически она действует на Зубаткина, — он говорит и говорит, завороченно открывая Кузьмину план монографии, где будет история вопроса, статья Кузьмина, комментарии к ней. . . Лиловый оптический блеск появляется в его глазах, он еще поеживается, словно входя в холодную воду, но остановиться не может: планы, планы. . . целая серия статей. . . привлечь группу молодых. . .

Примерно где-то здесь Кузьмин отключился. Он увидел Лаптева. Держась за перила, Лаптев поднимался по лестнице. Через каждые две ступеньки Лаптев останавливался перевести дыхание, можно было подумать, что он не решается приблизиться к Кузьмину, что он вот-вот передумает. . .

Появление Лаптева показалось Кузьмину знаменательным: именно в этот момент — стечение обстоятельств фатальное, перст судьбы, ее указующий знак. . .

Между тем приди Лаптев минут на десять позже, Зубаткин успел бы сделать одно заманчивое предложение, и тогда Кузьмин наверняка затащил бы его к себе домой обговорить все это, ибо Кузьмин был человек деятельный и понимал, что такие дела лучше не откладывать. А дома, в кабинете у Кузьмина, где они сидели бы, висела застекленная фотография — танк «тридцатьчетверка», и на нем ребята в шлемах. Зубаткин сразу заметил бы ее, потому что точно такая же фотография хранилась у него в альбоме. Посредине капитан Виталий Сергеевич Кузьмин, кругом его рота, а тот, на башне, свесил ноги, щекастый, это механик-водитель Вася Зубаткин, и младший Зубаткин обязательно вспомнил бы тут рассказ отца, как комроты Кузьмин спас их машину при переправе через Лугу. Их отцы, молодые, белозубые, смотрели бы на них с летнего короткого привала 1944 года на окраине какой-то деревни. . . Под взглядом этим, конечно, весь разговор пошел бы иначе.

Но показался Лаптев, и ничего этого не произошло.

На фотографии, что висела у Кузьмина, щекастый паренек так и остался безвестным вместе с другими безымянными танкистами вокруг отца. Зубаткин тоже никогда не сроднил того капитана Кузьмина с этим. Дети не соединились через отцов. Случайность не произошла.

Появление Лаптева осталось для Кузьмина счастливой случайностью, и он понятия не имел, что другая, не менее поразительная случайность напрасно поджидала его на следующем перекрестке.

— Мне пора, — сказал Кузьмин.

— Но как же, а обсуждение?

— Вы идите. . . идите.

— Невозможно, Павел Витальевич. Сейчас самое серьезное начнется, — и Зубаткин, подбадривая, взял Кузьмина под руку. — Вам нельзя уходить. Мало ли что. . . в любом случае. . .

— В каком каком? Да плевал я, — сказал Кузьмин, следя за Лаптевым. — Не смыслю я ничего в этих вещах.

Слушай, друг, отцепись ты! — скомандовал он Зубаткину голосом, каким сшибал самых забубенных монтажников.

Первое чувство было — обида. «Вельможа и хамло, — успокаивал себя Зубаткин, — бурбон и свинья. Типичная свинья».

Шел, оскорбленно вздернув голову, нижняя губа выпятилась, хорошо, что никто не встретился, он готов был взорваться, заплакать, натворить черт знает что.

— Мурло... — сказал он. — Всегда так: хочешь сделать человеку лучше, а тебя за это...

До самой аудитории он спиной, затылком старался чувствовать, смотрит ему вслед Кузьмин или нет. Он ждал, что Кузьмин опомнится, позовет, догонит. И, войдя в аудиторию, сев, Зубаткин еще поглядывал на дверь. То, что Кузьмин не появился, было нелепо. Беспричинно оборванная история лишалась всякого смысла. Словно он находился в каком-то угарном чаду, и теперь, когда чад рассеивался, увиделось, что не было во всем этом никакой логики, а сплошная несообразность. Зубаткин же любил во всем находить логику и считал, что все подчиняется логике. Нормальное человеческое поведение, поступки высокие, чистые, подлые, любые поступки имели причины и мотивы. И, как правило, самые что ни на есть ясные, элементарные причинные, которые можно предусмотреть, даже вычислить. Разумный человек — существо логическое. Только глупость нелогична.

Свою жизнь Саша Зубаткин также строил по законам разума, и это было, между прочим, нравственно. То, что разумно, то всегда нравственно. Поэтому поступать надо разумно, не поддаваясь эмоциям.

Вот он, Александр Зубаткин, обладал немалыми математическими способностями и, следовательно, имел полное право идти в науку, и прежде многих других. Талант разрешал ему добиваться своего, он действовал во имя своего таланта, он прямо-таки обязан был открыть дорогу своему таланту. Его способности должны были быть реализованы, это было выгодно обществу и науке, и он мог не стесняться в средствах. Он имел всяческое право использовать этого Кузьмина, вопрос заключался лишь в том — настоящий ли это Кузьмин. Сомнений хватало.

Настоящий Кузьмин не стал бы уходить с обсуждения, настоящий Кузьмин должен был бы воспользоваться согласием Зубаткина, он принял бы помощь Зубаткина... Да и вообще, разве мог этот технарь, администратор быть ученым такого калибра, как Кузьмин, облик которого по ходу обсуждения становился как бы все академичнее. Слушая, как Нурматов ловко отбивал наскоки француза, как Анчибадзе ссылался на Коши, на Виноградова и прочих Учителей, Зубаткин чувствовал, как оба эти Кузьмина расходятся все дальше и совместить их в одном человеке становится все труднее.

Этот инженер-монтажник явно не понимал ни черта, стоило вспомнить, как он вглядывался в текст статьи, губы шевелились, словно у малограмотного, еле разбирал незнакомые слова.

Но что же тогда означало то безумное бляение, тот хохот счастливец?

Одно мешало другому, не складывалось, как будто Кузьмин нарочно сбивал с толку, петлял.

В аудитории было душно, Зубаткин словно со стороны увидел бледные, устремленные на доску лица этих людей из разных городов и стран, соединившихся сейчас в один мозг... Старые, молодые, известные, начинающие — они не различались, они сливались в общей усилки добыть истину. Глядя на них сочувственно и почему-то с грустью, Зубаткин чувствовал обиду еще и за них. Поступок Кузьмина ни за что ни про что оскорблял всех этих людей. Как будто Кузьмин высмеял жизнь каждого из них, обреченную на мучительные долгие поиски, на бесконечные переборы вариантов, на вычисления, которые заводят в тупик или отталкивают своим уродством. Это жизнь всеобщего непонимания, жизнь глухонемых, потому что окружающие никогда не понимают, чем же занимаются эти люди, да и сами они никогда не могут объяснить неспециалистам свои мучения или заставить их восторгаться красотой какой-нибудь теоремы.

Настоящий математик не мог бы позволить себе такое. Хотя крупному математику позволено многое. Кроме одного: не позволено ему забросить свой талант, в таком случае он лишается всех льгот...

Можно ли представить Виктора Анчибадзе вне математики? Где-нибудь на рыбацком сейнере — рыбаком, врачом, машинистом? Никакая специальность не нале-

зала на него, невозможно было даже вообразить, о чем говорил бы Виктор, как он держался бы...

Так же, как не хватало фантазии представить Кузьмина у этой доски...

Зубаткин попробовал перевести все на более привычный язык. Допустим, имеются Кузьмин-прим и Кузьмин-два. Между ними существует некоторая система отношений. Например, такая, какая имеется между актером и сыгранным им в кино героем. А может, более сложная. Известно, однако, что оба они заинтересованы в реализации своей работы. Ни тот ни другой, очевидно, реализовать ее не могли. И не могут, не в состоянии. Кто из них кто, в данном случае неважно, тут существенно, чтобы кто-то поднял архивы, прояснил возможности, занялся бы этим делом, имеющим большие перспективы. То, над чем он раздумывал в диссертации, вдруг соединилось с той практической частью работы Кузьмина, которой почему-то пренебрег Нурматов. А ведь это было важно, — не варианты уравнений и разные изящные построения, а условия устойчивости крупных энергосистем, сложных регуляторов на быстродействующих аппаратах... Инженерство его давало себя знать, и он все яснее ощущал огромные возможности, которые тут открывались. Ощутил первый, первый после Кузьмина, который в те годы, когда писал, наверное, и не мог осознать всего значения. Зубаткину нравилось так думать. Перед ним появилась идея, которой он мог служить бескорыстно, отказавшись от собственной славы, всего лишь как человек, развивающий идеи некоего Кузьмина, его уполномоченный представитель, опекун его осиротелой, заброшенной идеи. Зубаткин сам не понимал, почему его так взволновала, воодушевила эта возможность и несомненно таинственно-романтическая судьба того Кузьмина.

Надо было выступить.

Никто не напал на Кузьмина, но обсуждение уводило всех куда-то в сторону отвлеченных изысканий. Построения становились все более вычурными и бесплодными.

Зубаткину нужны были сторонники. Он начал неловко, однако реплики Нурматова воспламенили его. Он возразил и вдруг понял, что наступила решающая минута его жизни. Только от него самого зависело большое дело.

Мало быть ученым, надо уметь отстаивать свое убеждение. С каждым словом он освобождался от желания оглянуться на Несвицкого, на Нурматова, он говорил уже не для них, он говорил для тех немногих, кто пойдет за ним. Он вдруг уверился в этом, — не могло так получиться, что он останется в одиночестве, что справедливость этого дела не найдет защитников.

Его уверенность произвела впечатление. Сырые, не очень четкие замечания тем не менее ошеломляли неожиданным своим поворотом, смелостью и даже ожесточением.

Когда он сел на место, Анчибадзе тихонько спросил его:

— Чего это ты так навалился на Нурматыча? Ты же сам сомневался в некоторых вещах.

— А теперь не сомневаюсь.

— У тебя кое-что бездоказательно.

— Сейчас важно не знать, а чувствовать.

Получалось все же нехорошо, они оба обещали Нурматову поддержать в случае чего, да и работа была приличная. Анчибадзе решил выступить, загладить. Но Зубаткин сказал:

— Не надо. Поверь мне — не надо.

И такая убежденность, даже значительность исходила от него, что Анчибадзе послушался. И не только Анчибадзе, все остальные, выступая, почему-то посматривали на Зубаткина, обращались к нему.

Он сидел выпрямившись, хмурый, глаза его смотрели куда-то вдаль, сквозь стену.

Несвицкий, заключая, вдруг, в нарушение всех правил, обратился к Зубаткину: вы ничего не хотите добавить? На что Зубаткин, не сразу, отвергающе повел головой. При этом Несвицкий сконфузился, не понимая, зачем он это спросил.

Недавно еще Зубаткин был горд, что допущен сюда, что сидит, как равный, среди всех этих князей и лордов математики, а теперь он знал лучше других, что надо, что не надо, что из этого должно последовать, и обязан был их направлять и поправлять. У него было право посвященного, поэтому самого его перемена не очень-то удивила.

Когда началось следующее сообщение, Зубаткин и Анчибадзе вышли.

— Послушай, дорогой, что случилось? — спросил Анчибадзе.

— Знаешь, может, я и перегнул кое в чем, но иначе нельзя, не должно быть никаких сомнений... — горячо сказал Зубаткин. — Есть возможность сейчас двинуть большое дело. Представь себе, что Кузьмин жив, под его руководством начинается специальная работа по устойчивости сложных систем. А? Энергетика! Космические аппараты! Тут государственно надо подходить...

В нем быстро зрела непреклонность человека, единственно знающего, что надо делать. Ему было жалко Нурматова, но другого выхода не было, необходимо всячески наращивать авторитет Кузьмина опять же ради дела. Значение этого дела Зубаткин понимал все яснее, и появившись тут Кузьмин, и тот должен был подчиниться ему, тем более что это совпадало с его интересами. Ради него же делается.

— Меня из-за Нурматыча будут корить... — Зубаткин ударил себя в грудь. — Думаешь, легко? А что поделаешь. Мы ведь и в самом деле живем для чего, — для науки. Выжимаем весь мозг, себя не щадим. Раз так, могу я не деликатничать, если это надо для дела? Могу я личным пожертвовать, даже, если хочешь, своей дружбой? Ведь не Нурматов жертвовал, а я. Он меня поносить будет, а я буду перед ним извиняться... — ему стало жаль себя: придется многое отложить, пожертвовать многим, но он подумал об этом мельком и даже с легкостью, сейчас надо было уговорить Анчибадзе включиться в эту работу.

Напор его, как ни странно, действовал. Анчибадзе вдруг заинтересовался. Зубаткин, который привык к превосходству Анчибадзе, почувствовал свою силу. Он слышал свой громкий голос, слова, набегающие легко, быстро, и, мельком удивляясь себе, он подумал, что с этого момента все изменится. Когда у человека появилась сформулированная идея, он способен одолеть любое сопротивление, любое препятствие...

II

Кузьмин спускался по беломраморной лестнице на встречу Лаптеву. Ноги его ступали по-кошачьи легко, пружиня на носках, почти пританцовывая, и белые кры-

ля расходились за его спиной. Ему ничего не стоило взлететь, он ничего не весил. Лестница вибрировала под его легкими шагами, и балки вопили, он надвигался на Лаптева из мрака забвения, как рок, неотвратимый и грозный, как божья кара, как десница карающая. . .

Можно ли было подумать, что спустя десятилетия судьба разыграет такой пасьянс и выпадет эта сладостная возможность. . . А может, все это и не так уж случайно, может, судьба терпеливо подстерегала этот миг, который должен был наступить. Как это у классиков: судьбы свершится приговор.

Он подумал, что все же существует возмездие, некая справедливость, заменяющая господа бога, поскольку тот не способен уже действовать в наших условиях.

Обсуждение, монографии, Зубаткин, аплодисменты — ничто не могло удержать его от встречи с Лаптевым. Именно сейчас, в этот наилучший, наивыгоднейший момент.

Он засмеялся и неожиданно для себя по-студенчески выпалил:

— Здравсте, Алексей Владимыч!

Лаптев остановился, навел на Кузьмина желтые плоские глаза.

— Знаю, что знаю, а не вспомнить.

— Кузьмин, — и спустился на ступеньку, чтоб не вышаться над стариком.

— Так, так, — не вздрогнул, не смутился Лаптев. Желтые глаза его застыли, как у ящерицы на солнце.

— Я из Политехнического, Кузьмин. Я был в семинаре у Лазарева.

— А-а, у Льва Ивановича. Как же, — слабо оживился Лаптев. — До сих пор его задачки рекомендую. А вообще-то, дрянцо был человечешко. . . — Бледные губы его неодобрительно поджались.

Кузьмин тоже нахмурился, вспомнив, как Лазарева выставляли на пенсию после выхода сборника. Он был составителем и, несмотря на запрещение Лаптева, самовольно протолкнул кузьминскую работу. К этому прицепились и выставили.

С разных сторон они как бы рассматривали Лазарева.

— Вы где ж теперь? — осведомился Лаптев. Чувствовалось, что он не узнал Кузьмина.

— Я? На производстве. Коммутаторы, аккумуляторы... — сказал Кузьмин с укором. Вот мол, по вашей милости, Алексей Владимыч. Вы меня туда толкнули. Знаете, я кто? Я ваша ошибочка. Заблуждение ваше, грех ваш.

Лаптев собирался кончать этот пустой разговор, но странный, затаенно-опасный тон Кузьмина остановил его.

— Плохо, когда тебя знают, а ты никого. Когда-то, в молодости, было наоборот, — лицо его младенчески сморщилось, то ли перед смехом, то ли в печали. — И тоже казалось, что плохо...

Забывчивость старика портила ожидаемый эффект. Но Кузьмин все еще надеялся: «ах!..», и внезапная бледность, и испуг, и «не может быть! нет, нет!». Видно, взрыватель заржавел. Ничего не получалось. Склероз вполне мог наглухо замуровать прошлое, так, что туда и не пробиться. Время, подумал Кузьмин, подставило ловушку. Время, оно бесследно не проходит. Он-то полагал, что если в нем, Кузьмине, Павле Витальевиче, сохранился под всеми слоями тот костлявый паренек, прутик с нахальной щербатой ухмылкой, — то все узнают, переполошатся. Ан не тут-то было. Время со счетов не сбрасывается, это только так говорится: «Будто и не было двадцати годов».

— ...Живых-то математиков больше, чем умерших, — дошли до него слова Лаптева. — И не математиков. То есть вообще за наукой приписанных живет сейчас на Земле больше, чем всех ученых, что жили до нас. За все эпохи...

— То есть как это? — досадливо спросил Кузьмин.

— Очень просто. Вы прикиньте... — привычно учительски предложил Лаптев и подождал. Ему и раньше нравилось озадачить слушателей и замереть. Сочинит какую-нибудь задачку на сообразительность, подкинет для игры ума и любуется, и все его лекции были начинены головоломками, в которых застревало большинство студентов.

Снова Кузьмин следил за скрюченным пальцем, рисующим в воздухе экспоненту, снова чувствовал, как это просто, если заклепить нутро смысла, самый смысл смысла, тогда проще пареной репы. Нет, не ухватить, почему же не дается, чертов старик, опять выставил его болва-

ном. Опять Кузьмин стоял перед ним тем же дураком, глазами хлопает, уши висят. Уже поседел, соли в позвоночнике, а все стоит, ответа ищет. Двадцать с лишним лет прошло. Целая жизнь. Неужели столько? Когда ж они прошли, когда успели промелькнуть. Ведь вот он, Лаптев, и вот я, Кузьмин, и я все так же, с тем же чувством стою перед ним. . . Как же я, тот самый студент, мог сохраниться внутри себя? Сейчас я и есть этот студент, а другого Кузьмина, который вырос за эти годы, — его нет, он снаружи, где-то извне.

И непонятно, зачем нужен этот выросший Кузьмин, почему его нельзя сбросить и остаться только тому, молодому. Но старый Кузьмин нисколько не обижался, даже был умилен, что, впрочем, не мешало ему заметить, как Лаптев ловко извернулся, подsunул эту задачку, а при чем тут эта задачка, на кой она сдалась. . .

— Но ничего, ничего, — приговаривал он без особого смысла. — Сейчас не тот расклад, другие козыри. . . — И вдруг в голове щелкнуло, точно выключателем, и Кузьмин просиял:

— Факт. Живых-то больше. Ясное дело!

Своим ходом дошел. Сам, без подсказки. Не заросло. Ай да Кузьмин, ай да Лаптев-старичок! Молодцы. Злыдень Лаптев еще скрипит извилинами! Кузьмин еле сдержался, чтоб не подмигнуть ему. Какой там склероз, этот старикан в полном порядке.

«Все же Лаптев — это школа! — подумал Кузьмин. — Это фирма! То, что он прослушал курс у Лаптева, кое-что весит. Тогда никто не придавал значения, а нынче стало котироваться, «Лаптев» звучит как «классик», «корифей!»»

— А я, Алексей Владимыч, теперь, в некотором роде, известный математик, — со смехом подsunул Кузьмин. — Я тот самый Кузьмин! Слыхали! Ку-зь-ми-н! — повторил он, как глухому. — Помните, я выступал с докладом, а вы меня опровергли?

Ничто не изменилось в плоско-желтых глазах. Стеклоянно отражалась в них лестница, колонны, фигура Кузьмина и высокие огни светильников.

— Кузьмин! — упрямо повторял он, стараясь докричаться сквозь десятилетия. Не может быть, чтобы Лаптев забыл. Придуривается. — Кузьмин, Кузьмин, не однофамилец, а тот, кого вы так лихо разделали: «Почему плюс,

почему не минус и не топор с рукавичкой?» Как все смеялись...

А если в том и фокус, что был лишь блеск разгрома, а самого Кузьмина для Лаптева тогда не существовало? Для других Кузьмин был, когда-то был такой, а для Лаптева его и не было, никогда не было.

Ясно — Лаптев не хочет вспоминать! Зачем ему про это вспоминать!

Придется. Напомним. Голова у него, слава богу, работает.

— Сейчас там, на секции, все цитируют Кузьмина, — сказал он, — ту самую мою работу, — он попробовал повторить кое-какие термины из доклада Нурматова. Язык с трудом выговаривал полузабытые громоздкие слова.

Вспомнилась еще одна фразочка Лаптева: «Пусть лучше Кузьмин пострадает от математики, чем математика от Кузьмина».

А получилось, что математика от Кузьмина не пострадала, наоборот, а от Лаптева пострадала, и Кузьмин незаслуженно пострадал. Лаптев, можно сказать, нанес урон... Вот как все повернулось.

И ему вспомнился другой перевертыш в его жизни.

То мартовское пронзительно солнечное утро на берегу Енисея, когда на стройку приехал новый управляющий трестом. Кузьмин работал там начальником участка. За полтора года, с тех пор как его сняли с управляющего, его переводили с должности на должность, всякий раз понижая, пока он не докатился до этой отдаленной стройки, где трест третий год вел монтаж электрооборудования. До упора дошел, дальше было некуда. Новый управляющий обходил площадку, сопровождаемый свитой. Ему представили Кузьмина и дошептали при этом «тот самый», что-то в этом роде. На красивом тонком лице нового управляющего не отразилось никакого любопытства. Голубые глаза сквозили так же холодно и открыто. Осматривая распредустройство, он ровно выговаривал Кузьмину, как перед этим выговаривал прорабу соседнего участка и как сам Кузьмин два года назад выговаривал другому прорабу. Приезд этот ничего не мог изменить, все, что требовал управляющий, Кузьмин знал лучше него и давно бы сделал, если бы можно было.

Жаль было потраченного впустую дня. Свита, те, кто не знал Кузьмина, молодые начальники спортивного вида, с внимательно-прицельными глазами, изготовленными как перед прыжком, не замечали Кузьмина. Он был вне игры, битая фигура, они не знали его и не интересовались. «Поднажмете? Договорились?» — сказал новый управляющий, спрашивая и в то же время не спрашивая, потому что ответ мог быть один — солдатско-четкий, а главное бодрый, — в том-то и состоял смысл этого разговора, чтобы подвинтить, подстегнуть и придать бодрости. И Кузьмин со стыдом вспомнил, как сам он после всех жалоб и просьб начальников участков заключал свои посещения такими же пустыми словечками. Через нового управляющего он увидел себя и вместо ответа неуместно рассмеялся, что сбило всю церемонию и повело за собою следующие изменения его судьбы.

Как волшебно все перевернулось. Не с той долгой, полной превратностей службы, какой он занимался всю жизнь, а перевернулось с забытым началом, когда Лаптев выговаривал ему, высмеивал, гарцевал, а теперь Кузьмин может выговаривать о том же самом Лаптеву, поучать его, разоблачать все его увертки и требовать ответа. Фортуна весьма поучительно подстроила, поменяла местами. Вознесла мгновенно и ослепительно. Даже, можно сказать, без всяких стараний с его стороны. Чаще всего с ним бывало наоборот. Сверху вниз он летел, согласно законам механики, с ускорением, без особого сопротивления среды. А вот наверх не леталось, не попадалось эскалатора, наверх приходилось годами карабкаться. Почему-то ему все доставалось с трудом. Давно не выпадала такая планида — разом достигнуть. Наконец-то он мог взмыть, отхватить. . .

Но сперва он хотел выслушать показания Лаптева. Получить, так сказать, удовлетворение. Придется Лаптеву что-то произнести, признаться в постыдной своей ошибке, выставить какое-то оправдание. Каждый человек что-то изобретает в самооправдание. И все равно он заставит Лаптева просить прощения. Хочешь не хочешь, а просить придется, и не у этого солидного П. В. Кузьмина, а у того мальчишки, наглеца, которого с таким удовольствием когда-то ставили на место.

Костяная голова Лаптева скрипуче закивала.

— Да, да... Что-то по критериям. Студентом вы были?

— Тогда это было для вас что-то, — торжествующе подчеркнул Кузьмин. — А сейчас это оказалось нечто. И весьма!

— Ох, и досталось вам. И этому... Райскому.

— Какому Райскому?

— Он ведь тоже... Или нет... Простите... Райский, кажись, позже. Вы ведь еще при Лазареве, — окончательно установил он. — Так вы тот Кузьмин?

— Я, я, — подтвердил Кузьмин, радуясь, что Лаптев, по-видимому, узнает его.

— Поздравляю, — сказал Лаптев без всякого смущения, как будто он приветствовал успех своего ученика.

Кузьмин осекся, не сразу понял в приветливости Лаптева ту казенную любезность, которая выросла от бесчисленных защит, конференций, банкетов, симпозиумов. Поздравления по случаю присвоения, присуждения, награждения, назначения...

Через щель этого «поздравляю» увиделась бесконечная анфилада лаптевской жизни, случай с Кузьминым был в ней мелькнувшим эпизодом, рядовым, начисто забытым. Приходило ли Лаптеву в голову, что он когда-то мимоходом переломил всю судьбу студентика Кузьмина?

Обращаясь не к Кузьмину, а к доске, он задал один за другим несколько вопросов. Вопросы были простые и точные, на первом же Кузьмин запутался, следующие вопросы добились его, загнали в тупик, он попробовал вырваться отчаянно и нагло — это, мол, не экзамен, ему не отметка нужна, и он рассчитывал не на ловушки, а на понимание всего замысла, всей концепции. Вот тут-то Лаптев взвился и за несколько минут превратил такие красивые построения в нелепые нагромождения, сляпанные нахалом или шалопаем. Впрочем, он обошелся без резких слов. Он был убийственно корректен. И что самое ужасное — убедителен. То нарушение логики, которое восхищало Лазарева, стало вздором, ахинеей. Лаптев был в ударе, он работал на публику, весело, легко: «Трудно, конечно, со столь скромными средствами браться за столь серьезные проблемы», «Тросточкой звезду не сшибешь»...

Казалось, навсегда забытые фразочки. Кузьмин извлекал их из тайников как улики. Оказывается, они отлично сохранились, а как он старался забыть, все забыть. И тот липкий пот унижения, свое позорное бессилие, прикрытое кривой дрожащей улыбкой, то есть снаружи это была улыбка, а изнанка — затравленная гримаса — только бы удержаться, не сорваться в слезы. . .

— Вы, кажется, со мной не согласились и собирались доказать, — продолжал Лаптев, еле различая в сумерках прошлого мелкое это копошение, нечто из жизни козявок. — Собирались. . . Значит, доказали? Поздравляю.

— Спасибо. Жаль, что теперь ваши поздравления, Алексей Владимыч, не имеют той цены. Дорога ложка к обеду. Кстати, я ничего не доказывал. Другие доказали. Все было правильно с самого начала. Просто теперь это дошло, прояснилось.

Желтые глаза смотрели мимо него, не обращая внимания на едкий тон.

— Может, так оно и лучше.

— Почему же?

Лаптев поскуучнел, он всегда скуучнел, когда ему приходилось тратить время на объяснения.

— Теорию признают, когда в ней нуждаются. Не раньше. Наши теории, особенно в чистой математике, это ведь изобретения. Мы придумываем то, чего в природе нет. Этим изобретения отличаются от открытия. Открывают то, что существует. Например, нефть. Или Америку. Это большей частью годится. А изобретения нужны, когда их есть к чему применить. До срока они ни к чему. От зеленых яблок что бывает?

— Ах вот оно что. Значит, вы тогда обо мне заботились, я-то думал. . . — сказал Кузьмин. — Выходит, мне благодарить вас надо?

Глаза Лаптева слегка оживились умной насмешкой. Это он любил — скрестить шпаги.

— Так, так, — пропел он, и сразу воздух насытился электричеством. — Вы что же, эти годы математикой не занимались?

— Н-нет. . . У нас на монтаже всего лишь арифметика. Не простая. Считать надо уметь до ста трех.

— Это что?

— А это считаем так, чтобы было чуть больше ста: сто один, сто два процента. Для премии.

— Так что же — годы ушли впустую?

— Почему же... — осторожно сказал Кузьмин, гадая, откуда последует удар.

— Ну как же, нынче ведут счет печатными трудами. Небось и звания у вас нет, и степени? Горюете, что не достигли?.. Еще бы — не профессор, не доктор. Боже мой, без этого какое же положение. Это ведь для вас показатель.

— Конечно, главный показатель. Был бы я уже давно доктором наук. А может, и больше, — в тон Лаптеву, взведенно отвечал Кузьмин. — И сделал бы немало, и достиг...

— Вот именно, и, вероятно, далеко бы пошли, кафедре получили бы. А может, институт. Одно за другим сложилось бы. А так что вы можете предъявить? А ведь пора, возраст. Скоро, как говорится, с горки.

Каждая фраза Лаптева в точности повторяла тайные мысли самого Кузьмина, разве что интонация была другой.

— ...Вы, конечно, намеревались совершить нечто великое. Иначе и смысла нет. Жить рядовым — какой же смысл. Сознать, что ничего выдающегося из вас не получилось, обидно. Об этом лучше не думать. Лучше избегать таких рефлексий... И вот, пожалуйста, жар-птица сама в руки... Держите! Крепче! Теперь-то уж, пожалуйста, не упустите. Последний шанс выпал. Иначе что ж, иначе жизнь ваша не удалась.

Это уж было черт знает что — бесстыдно оголить то сокровенное, что едва зашевелилось, и начать издеваться над этим. Не то чтобы заискивать, подольстить, успокоить. Ничего подобного. Лаптев шел на рожон. Он не искал примирения. Не винился,нисколько.

— Иронизируете, Алексей Владимыч? Как будто вы жили по-иному. Вы-то ничего не упустили, вы достигали и не отказывались.

— Достигал! Изю всех сил! Еще как старался! — с восторгом подхватил Лаптев. — Потому и говорю. Мы ведь с вами все мерим достижениями. Хороший человек, плохой — неважно, важно, сколько страниц он написал. Важно получить результат, кто первый получил, тот и хорош. Академик — это великий человек по сравнению с учителем арифметики. Что такое учитель — мелочь.

Я, например, людей мерил знаниями. Мне и в голову не приходило, что так нельзя. Даже талантом — нельзя. Что учитель может быть великим, а академик — ничтожеством. Ну как же, у нас, в математике, все соответствует... Как бы не так. Подумаешь, я первый вывел такой-то метод. Ну и что? А следом Тюткин сообщает миру, что он вводит некое новое понятие. И тотчас появляется статья доктора Сюткина, где вводится другое понятие и доказывается, что понятие уважаемого коллеги Тюткина — частный случай предложенного Сюткиным понятия. Сколько раз я был тем и другим. Математика тут ни при чем, математика дивная наука, но нельзя приносить ей в жертву свою душу. Я многого достиг, да? Но, может, я больше потерял? Думаете, эти гонки мне нравственности прибавили? Нет. Вот спохватился, да поздно. Задумался не потому, что опомнился, а потому, что уже не угнаться. Вынужденно... В наш прагматический век знаете, чего нам не хватает — святых. Праведников не хватает. Церковь, она знала свое дело. И нам бы... О чем это я? Подождите... К чему? Ах да, математика. Нет, не греет... Мне яблонька ныне дороже всяких загогулин.

Горечь его слов удивляла, печалила, не ожидал Кузьмин услышать такое, и от кого — от этого патриарха, прославленного, недосягаемого.

— Как же так? Зачем же вы тогда... — Кузьмин остановился, сказал сухо и убежденно: — Математика наиболее ясная и честная наука. Какая другая объективней? Не история же! Из всех наук математика, по крайней мере, наиболее точная.

— Не повторяйте чужих слов, — отмахнулся Лаптев. — Она точная не потому, что достоверная, а потому, что мы можем знать меру неточности своих утверждений. Можем, да не хотим... Если бы я начинал снова, знаете, кем бы я был? Садовником. Или учителем. Музыке бы обучал.

— А ваш талант?

— Отдаю!.. — воскликнул Лаптев. — Вот именно. Талант! Берите! — повторил он ликующе, как будто Кузьмин нашел именно то слово, какого Лаптеву не хватало. — Талант, думаете, счастье приносит? Талант иссушил меня.

— То есть как это?

— Да, да, талант поработил, талант бесчеловечная штука.

— Талант? — все более изумлялся Кузьмин этой ереси.

— Вы чем занимаетесь?

— Я? Монтажник.

— Не знаю. Но, наверное, это тоже хорошо. А представляете — садовник?

— При чем тут садовник? — возмутился Кузьмин. — Да ведь все от таланта. У кого талант есть, больше может дать людям.

— А если наоборот? — И взгляд Лаптева стал необычно серьезным. — Если талант глушит все чувства? Я людей не замечал. Вот и вас, например, я не заметил. Я на уравнения смотрел, возмущался, вижу ошибку, а не человека... Я как пленник этой математики. Приговорен. И все потому, что когда-то решил, что главное во мне талант. А когда талант кончается — еще хуже становится. Нет, лучше бы его не было. А как он унижает окружающих! Все чувствуют себя насекомыми. Если б заново, честно говорю, я бы отказался. Вы молодец. Вы ведь отказались?

— Я? Нет уж, извините, — и Кузьмин разозлился, поняв, что все рассуждения Лаптева были ради вот этой петли, этого хитрого выпада. — Я бы не отказался и не собираюсь. Не убедили.

Лаптев не ответил. Черные зрачки его вдруг укололи Кузьмина, словно напоминая недавний разговор с Зубаткиным о таланте. Кузьмин замер: эхо его слов отдавалось вдали. Поразительно, как, оказывается, можно одному говорить одно, а через час другому совсем иное. И не замечать этого!

— Вы что ж, Алексей Владимыч, еще тогда все это ради меня проделали? Чтобы я был свободен? Беспокоились? — зло сказал Кузьмин. — Хотели поскорее избавиться меня от таланта?

И опять удар прошелся мимо, острое разило пустоту, не задевая и не рая. Лаптев переместился в другое измерение.

— А зачем вам это? — задумчиво спросил Лаптев. — Теперь-то... зачем?

У Кузьмина горячо разлилось по телу: это был тот же голос, что и тогда, небесно-насмешливый, даже без

особой насмешки, вместо насмешки было у Лаптева небесно-снисходительное высокомерие. И сразу радость погасла, стало скучно, безразлично. Совершенно особым умением обладал Лаптев — одной фразой сбить с ног. Вопрос был жестокий. Кузьмин почувствовал за ним силу, разящую без пощады. Впрочем, старик имел на это право, он и себя не щадил. Под дряхлой оболочкой действовала отличная машина, могучий мозг, который проверял, анализировал, не считаясь ни с какими чувствами, не зная снисхождения.

И все же: теперь-то зачем... — в смысле: разве наверстаешь? Признание, похвала — зачем они так поздно?

Но тут смутное подозрение остановило Кузьмина: а что, если все эти признания, откровения лишь расчетливая игра? «Ах, действительно, зачем же мне это, к чему теперь-то, нет смысла...»

— Ах, действительно, зачем? — подыграл Кузьмин, красная шея его борцовски напряглась, лицо затвердело. — Затем, чтобы неповадно было! В назидание другим! Чтобы знали, что рано или поздно придется ответить. У нас ведь не любят выяснять, кто там когда-то ошибся: кто виноват, что задержан проект, отвергнуто изобретение, загублены годы. Через двадцать лет все оказалось правильно, и прекрасно. Кто старое помянет, тому глаз вон. Так ведь? А я думаю, что полезно спросить. Поучительно. Пусть знают, такое даром не проходит, каждому воздастся... Вот он виноват — пальцем ткнуть — смотрите все! Как по-вашему?

— По-моему... — Лаптев старчески пожевал губами, сказал еле слышно, для себя: — Мне отмщение, и аз воздам. — Он прикрыл темные веки. — Погодите... Ваш Лазарев жаловался мне, что вы сами не захотели, на произвол судьбы бросили свою работу. Точно, он натурально меня винил, он всех винил, а вы преспокойным манером уехали. Так ведь? Вызова не приняли. Войны не объявили. Крест не взвалили. И молодец. И слава богу, что не страстотерпец. Меня отец учил: пока баре рядятся, мужик должен пахать.

— Лазарев вам жаловался? — переспросил Кузьмин. — Сам Лазарев?

Лаптев вместо ответа быстренько усмехнулся и продолжал свое:

— Допустим, вы бы боролись. Ухлопали бы годы. На что? А так по крайней мере дело делали.

— Вот уж спасибо вам, Алексей Владимыч, премного обязан, — Кузьмин размахисто поклонился в пояс. — Вашими заботами, значит, наставлен я на путь истины. А я-то, дуралей, считал, что вы промашку дали, мало ли с кем не бывает. Вы же наперед все начислили, боже ты мой, все предвидели, позаботились, чтобы я делом занимался. . .

Лаптев кисло покачал головой.

— Не умеете вы иронизировать. Не задевает. Знаете, почему? Я же вам объяснял: о вас я тогда не помышлял. Увы! Нет, нет, то, что вы не боролись, — это ваша собственная заслуга. Хотя можно считать, это была ваша ошибка. Быть человеком — значит бороться. Учили?

— Бороться с кем?

— Хотя бы со мною. Но поскольку вы уклонились. Или поверили мне, то все ваши претензии несостоятельны.

— А Лазарев, он боролся с вами, и что?

Дряблый рот Лаптева вдруг оскалился мстительной жесткой усмешкой.

— Это я с ним боролся! А он не боролся, он вредил.

Кузьмин пристально посмотрел на него.

— Но если по совести, Алексей Владимыч, неужели вам сейчас, передо мной, хоть бы что?

— Желаете, чтобы я себя злодеем чувствовал. Да? Так у меня на такие злодейства покаянства не хватит. Что ж тогда Чебышев, Пафнутий Львович, который отвергал идеи Римана? Он, по-вашему, явный лиходея. Вы бы его прямо в кутузку и под суд. А ученик Чебышева, Марков, тот вообще геометрии не признавал, — тому, значит, высшую меру? . .

Внизу из-за колонн вышла женщина и стала смотреть на них, слегка запрокинув голову. Кузьмин не сразу узнал в ней ту самую, которая мелькнула у подъезда, и тем более ту, которую знал когда-то. Она смотрела на них спокойно, без нетерпения, как смотрят на горы.

Постепенно, как бы толчками, он узнавал ее и, узнавая, удивлялся, потому что не должен был узнать ее, ничего не осталось в ней от той костлявой, большееротой,

бесстыдно верткой девчонки в фланелевой лыжной куртке и синих штанах, с глазами голодными и взрослыми. Теперь это была полнеющая красивая блондинка, туго затянутая в замшевый темно-зеленый костюм, сдержанная в движениях, с холодным, умело разрисованным лицом, на котором вспоминались разве что капризно изогнутые губы.

Кузьмин кивнул ей, а Лаптев, отнеся это к своим словам, сказал примиренно:

— ...Добро творить одно, прощать — другое... А в слове этом чисто русская философия. Забытое слово.

— Какое слово? — не стесняясь, спросил Кузьмин.

Лаптев удивленно поднял брови:

— Добро-то-любие.

— Это от меня требуется добротолубие? Я, значит, должен платить добром. Хорошо. А как быть с Лазаревым? С ним как рассчитываться будете? Он тоже должен, наверное, вас благодарить. Но только он уже не может.

Внутренне сам Кузьмин поморщился от своих слов. Но Аля стояла внизу, он обязан был спросить про Лазарева. Он делал то, что должен был сделать, и непонятно, почему ему, Кузьмину, неприятно и трудно, а Лаптеву хоть бы хны.

— Завтра на заключительном заседании я могу отметить вашу работу и признать... — Лаптев вдруг засмеялся, прикрывшись густой сетью морщин, почти исчез за ними. — Не от вас я добра прошу. Это мне любо, что кому-то могу доставить... Если желаете, я вам слово дам. Я буду председателем. Поскольку старейший, то глава. В некотором роде украшение... — Морщин стало еще больше, все его лицо было исцарапано, изрезано маленькими морщинами. — Во мне ныне надобности нет, давно уже... А тут хоть с некоторой пользой буду употреблен.

Так все получилось неожиданно легко, так Лаптев охотно согласился, что Кузьмин несколько струхнул. Борол, гнул, силился, и пожалуйста, вдруг само собой, полное исполнение желаний, восхождение на Олимп, вернее возведение на Олимп, безо всяких хлопот и страданий.

Но тут ему почудилось, что Лаптев подмигнул ему, откровенно, как соумышленнику, даже несколько ули-

чающе. «Да на что это он намекает?» — обиженно подумал Кузьмин, и непонятно было, зачем Лаптеву понадобилось портить впечатление от своих слов этим подмигиванием. Он еще подождал, на всякий случай, однако Лаптев молчал.

— Вот и прекрасно. Наконец-то, — сказал Кузьмин, вынул платок и трубно высморкался. Потому что наплевать ему было на все умствования старика, важно, чтобы Лаптев признал, согласился, и ничто тогда уже не помешало бы полному и сладостному перевороту жизни. Наступала новая эра, не похожая на все, что было с ним, и можно было отбросить всякие мелочи и нюансы.

Лаптев, склонив набок голову, прислушался к замирающим звукам его голоса.

— Почему-то вы не рады, — убежденно сказал он.

— Ну что вы, я в полном восторге, — соврал Кузьмин.

Лаптев как-то иначе, сбоку, словно на примерке, посмотрел на него и неприятно улыбнулся.

— Вот и ладненько. Считаю, что сделка состоялась.

— Сделка? Почему ж это сделка?

— Сделка, сделка! — заговорщицки и в то же время поддразнивая, повторил Лаптев. — Про ментора своего — ни гугу!

Кузьмин покраснел.

— Позвольте, почему вы так...

Не отвечая, Лаптев хихикнул тоненько, почти пискнул, и стал подниматься, держась за перила.

— Я все равно спросил бы про Лазарева. За что вы его? — как можно независимее заговорил Кузьмин, доказывая, что никакая это не сделка и он не отступится. Мельком обернулся на Алю, развел руками, как бы извиняясь, и пошел за Лаптевым.

Прозрачно-серебристый пушок светился, подобно нимбу, над головой Лаптева. Встречные кланялись ему издали, лица благодарно светлели, Лаптев не поднимался, а восходил, и отблеск его величия падал на Кузьмина, на него тоже смотрели с почтением. Кузьмин неотступно следовал за Лаптевым. Он хотел оправдаться, он не понимал, как получилось, что ему опять надо оправдываться.

..Было заметно, что, глядя на Лаптева, люди радовались тому, что видят этого человека. Его любили. И Кузьмин с удивлением чувствовал, что тоже любит этого человека.

Когда-то сыновья Кузьмина играли в такую игру: «А что бы ты спросил, встретив Пушкина? А Ньютона? А Шекспира?»

А что бы ты спросил, встретив Лаптева? «Что вы сделали с Лазаревым?» Как в Библии: «Где Авель, брат твой?»

Можно было спросить, а можно и не спросить. «А зачем спрашивать, что это изменит?» — думал Кузьмин, останавливая себя. Потому что Лаптев явно зачем-то подстрекал, подначивал. Надо было взвесить каждое слово, надо было следить в оба... Иначе все могло рухнуть.

Кузьмин шел за Лаптевым, придерживая длинную мантию его славы. Мысленно он примерял на свои плечи приятную ее тяжесть. Это была особая слава, незнакомая ему до сих пор, слава, независимая от всяких званий, стоящих перед именем. Чистая слава, сосредоточенная вся в слове «Лаптев». «Тот самый», — иногда добавляли для пояснения. И не нужно было — «доктор» или «академик», «заслуженный деятель». Просто Лаптев. Вкус этой славы пьянил Кузьмина. Отныне он ведь тоже мог жить среди подобной известности, уважительности, и люди оборачивались бы к нему своей приятностью.

Только что он был свободен, он мог говорить что вздумается, и вот уже все кончилось. Почему-то надо снова быть осторожным, сдерживаться.

...У балюстрады стоял малинового плюша диванчик, Лаптев не присел, а облокотился на белую резную спинку. Случайно или нет расположился он так, чтобы видеть Алю, стоящую внизу у колонны?

Обнаружив рядом Кузьмина, он шевельнул удивленно бровями.

— Ах, вы еще здесь... — И, не давая Кузьмину ответить, спросил: — Вы знаете, в чем преимущество старости? Преимущество, которое заменяет и женщин и вечеринки. Начинаешь жалеть людей. Мне каждого жалко... — И, опередив Кузьмина, закрылся смешком: — Особенно тех, кто меня слушает. Ста-

реть — это искусство. Вот, например, тянет на рассуждения...

Опять он говорил о другом, совсем постороннем. Отвлекался куда вздумает, то замолчит, не отвечая, то повернется и пойдет. Вот у него была свобода, полная независимость. А может, все это были ловкие приемы. В результате он всякий раз вывертывался, ускользал, а то еще хитрее — внушал к себе симпатию. Что-то дьявольское было в этом старике.

...И вдруг строго произнес:

— О Лазареве не надо.

Вроде бы брезгливо, но ведь возобновляя, потому что Кузьмин готов был отступить. Но теперь нельзя было промолчать, теперь уже Кузьмина зацепило.

— Отчего же не надо, очень даже мне интересно.

— Вы уверены, что Лазарев был порядочный человек?

Это звучало серьезно, и Кузьмин имел возможность уклониться, пожать плечами: «откуда я знаю», откуда и в самом деле он мог знать, мало ли что там могло быть.

— Во всяком случае насчет моей работы он оказался прав. А с ним обошлись несправедливо. Вот это мне известно, и этого достаточно.

— Вы разве не знаете, почему с ним так обошлись?

— За то, что выступил против вас... Так он считал, — осторожно добавил Кузьмин.

— Не считал, а говорил... — нетерпеливо поправил Лаптев и стал называть какие-то имена, когда-то Кузьмину известные, но которые сейчас вспоминались не сразу, да и то скорее по той особой интонации, которая прилегла к этим фамилиям, — Лаптев повторял ее, слегка снижая голос. Какой-то Вендель, очевидно из преподавателей, Щапов — этого Кузьмин помнил по программам, но Лаптев произнес фамилию так, что возник душный зал и огромный сутулый старик на трибуне: Щапов каялся. Очки у него потели, он протирал их галстуком. Картина мелькнула бессловесная, что это такое происходило, чем кончилось, зачем Кузьмин там был — неизвестно. А Лаптев тащил его дальше, в мир уж совсем близких призраков, какие-то возникали имена, шепот, что-то важное, чем-то подозрительное, но в душе Кузьмина еле-еле отзывалось. Он не находил в себе никаких следов былых переживаний. И опасения

были не его, а чужие. Только сейчас впервые подумал он, что в институте в те годы происходили трагические события, некоторых профессоров лишали кафедры, имена их вычеркивали, учебники изымали, другие почему-то уезжали на Урал или в Петрозаводск. Тогда все это совершенно не занимало Кузьмина. Оправдывал? Избегал? Не понимал? Теперь не узнать той молодой безучастности.

— Вы в чем-то подозреваете Лазарева. Но при чем тут был я?

В этого старика словно бы впрыснули кровь. Сухая пятнистая кожа его побагровела, он заморгал, облизнул губы.

— Вы, Кузьмин, были для него одним из способов укрепиться. Уж тогда Лазарев взыграл бы, он бы показал нам всем кузькину мать.

— Вот оно что... А со мной, значит, попутно разделались. Я пешка, которой жертвуют. Я не в счет, я кучер.

— Что за кучер?

— Меня всегда поражало, — с жаром сказал Кузьмин. — Бомбу кидают в царя, а то, что кучер при этом гибнет, никто из этих героев не думал. Это для них мелочь, недостойная внимания...

— А ты царя не вози... Нет, тут у меня другая ошибка. Раньше надо было его удалить. Мы, как всегда, деликатничали. Можно было отстоять кой-кого, а мы ждали, что дирекция вмешается...

Прожитое возвращалось, обступало, постепенно оживали все эти люди, которые когда-то ходили мимо Кузьмина по институтским коридорам, читали ему лекции, принимали экзамены... Выходит, он ничего о них не знал... Лаптев припоминал какие-то случаи, скорбел о чьей-то гибели, а Кузьмин чувствовал себя виноватым: он ничего не мог припомнить. Подлинная жизнь была скрыта. Вот Семейную гору в Кавголове — это он помнил. Он отрабатывал на ней приемы слаломы. Помнил успехи курсовой волейбольной команды, диспуты о любви. Чем еще он увлекался тогда? Пиджак букле, ботинки на каучуке, зажигалка-пистолет. Каким он был пижонном... Но тут же ему захотелось защитить этого мальчика. Слишком легко было винить его, кроме пиджака букле и лыж была работа на агитпункте, восстановление ин-

ститутского стадиона — запахивали воронки, снимали колючую проволоку, разбирали бетонные доты... Кузьмин разглядывал его издали, как Лаптев. Откуда парню было знать предысторию этих людей — Шапова, Лазарева, Лаптева, ту, что тянулась с довоенных лет, — борьбу разных школ математики, бесчисленные вузовские реформы, каким-то боком сюда подмешалась лысенковщина, про которую он и вовсе не обязан был знать. Парень занимался математикой, Лазарев выхлопотал ему билет в научные залы Публички, туда, где сидели профессора. Там были отдельные письменные столы, для каждого настольная лампа с зеленым абажуром. Они вместе с Лазаревым защищали научную истину, и оба за это пострадали. Это бы Лаптев ни приводил, от этого факта никуда не денешься. Истина в конце концов победила. Лаптев, конечно, полагал, что он борец за справедливость, но какими методами он боролся — вот в чем суть!

— Выходит, вы не просто заблуждались, вы умышленно меня подкосили?

— Не совсем. Это как бы слилось. Ведь то видишь, что хочется видеть, — Лаптев тоскливо поморщился и замолчал.

Кузьмин не стал вдаваться в тонкости, да и невыгодно ему было терять преимущество, он сказал:

— Нельзя сводить счеты при помощи науки. Это вам не дубинка. С несправедливостью нельзя бороться новыми несправедливостями. А уж в науке давно. Наука не терпит никаких комбинаций.

Ах, как убедительно у него получалось! Нахально, но правильно. Одна за другой следовали законченные, авторитетные фразы, прямо хоть записывай. Вообще, что касается науки, что надо и что не надо — он мог бы, наверное, учить не хуже других, это было легко и приятно: «В науке нужно думать не о себе, не о своих интересах, а о результатах, о пользе дела», «Наука требует бескорыстного служения, полной отдачи и никаких компромиссов», «Только тот достоин называться большим ученым, кто умеет вовремя признавать свои ошибки и анализировать их», — неизвестно откуда они возникали и усиливали начальственную мощь его голоса:

— ...Ради хотя бы истории математической школы полезно будет напомнить молодым некоторые ваши

возражения. Вот, мол, как тогда думали... А что касается Лазарева, то, ей-богу, те страсти, о которых вы говорили, на фоне этого факта выглядят неубедительно и — простите — мелковато.

— Вероятно, — согласился Лаптев.

— Я знаю, что не стоило мне про Лазарева, вам это неприятно, но пусть, я не боюсь, — сказал Кузьмин, глядя на Алю. — Пусть я на этом проиграю, пусть вы можете расторгнуть сделку...

Лаптев чуть улыбнулся, поднял сухонькую ручку.

— Подождите, вам зачем это надо, насчет Лазарева? Ах да, он ваш учитель! Вы хотите, чтобы все было в ажуре. Тогда вам будет совсем легко и гладко. А может, не надо, чтобы вам было легко? — с каким-то неясным предостережением добавил он.

— Почему?

— Долго объяснять... Да вы не беспокойтесь. Я не в обиде, что вы решились спросить про Лазарева. А на заключительном заседании, ежели пожелаете, скажу, как обещал. — Лаптев все это произносил наспех, невыразительно и, отговорив, вдруг спросил с любопытством: — Вы лучше вот что объясните мне: вы что ж, действительно полагаете, что эта ваша работа важнее того, что происходило?

— Важнее чего? — спросил Кузьмин, хотя сразу понял, что имелось в виду.

Темное, коричневатое лицо Лаптева стало суровым, как на древней иконе.

— Той борьбы с клеветниками. Тех людей, которых мы защитили, — и он торжественно стал называть фамилии...

Опять эти давно перезабытые люди, до которых ему никогда не было дела. С какой стати он обязан вникать? Какого черта Лаптев навязывает ему эти отгоревшие страсти? Мало ли что было. И поворачивает так, словно бы Кузьмин должен виновато склонить голову. Нет уж! Он жил, как все его друзья жили в те годы, и не намерен этого стыдиться. Ничего зазорного в той жизни не было, нисколько. По крайней мере на все имелись простые и ясные ответы, можно было ни о чем не задумываться и делать свое дело. Он, Кузьмин, не оправдывает того, что

было, все это давно осуждено, зачем же снова возвращаться, перебирать? Стариковское занятие.

— Да, да, конечно, все, что вы говорите, тоже важно, — сказал Кузьмин. — Вы правильно отметили.

Он посмотрел на Алю и почувствовал, как он устал от этого разговора, где каждое слово требовало умственного напряжения, от этого словесного фехтования. Скорее бы кончить и спуститься к Але, которая все так же спокойно ждала.

Позавидуешь выносливости старика. Ему хоть бы хны. Кузьмин же чувствовал себя изнуренным, ближе по возрасту к Лаптеву, чем к Зубаткину. Река времени несла его к Лаптеву, он ощущал ее течение, тиканье часов на руке, секунды стучали отбойным молотком, отваливая пласты времени кусок за куском.

— Как вы назвали? Добротолюбие? Да, может, так и надо, — сказал Кузьмин, не заботясь уже ни о чем и ничего не выгадывая. — Добротолюбие... Хотя вы-то, Алексей Владимыч, сами добротолубие не соблюдаете. Вот до сих пор простить Лазареву не можете. Ведь вы тоже должны были обрадоваться.

— Чему обрадоваться?

— Да тому, что есть возможность исправить вашу ошибку, — пояснил Кузьмин.

Никак он не ожидал, что слова его так сильно взволнуют старика. Все в Лаптеве вдруг встрепенулось, затрепетало, зашелестело, как сухая осенняя листва.

— Исправить ошибку? Где это вы видели, кто, кто исправляет? У нас тут уличили одного аспиранта. Списал. Совесть, спрашиваю, неужели не мучает? Это, говорит, понятие религиозное. А я мальчишкой... отец меня привез на Нижегородскую ярмарку, там мужик, помню, на коленях кричал: вяжите меня, православные, ограбил! И головой бьется. Мужик. Совесть... когда-то... Аспирант... Не модно, — он задыхался, волнуясь, видно, еще чем-то другим.

— Да не надо, чтобы на колени, — поспешно сказал Кузьмин, — мне и так... я ведь про другое понять хочу: если бы вы тогда согласились, увидели бы, что работа моя правильна, то с Лазаревым вы бы как обошлись? Извинились бы перед ним? Оставили бы его в покое? Все иначе было бы? Ведь так?

Лаптев застыл с впалым приоткрытым ртом.

— Не знаю, — наконец признался он. — В том-то и пакость, что не знаю. Казалось бы, ради истины ничего не жаль, ничем нельзя поступиться. А тут... не уверен. Если бы умышленно поступился, все равно был бы прав. Лично перед вами я всячески виноват, но вас-то не отделить от Лазарева. А если вы для Лазарева были козырем, тогда все оправдалось. Поймите — о п р а в д а л о с ь. Поэтому я и не жалею ни о чем.

Кузьмин устало кивнул:

— Ваше дело.

— Поэтому и не радуюсь. Все правильно, это и плохо. Вот как... А вас я не осуждаю...

— Меня-то чего осуждать? — взметнулся Кузьмин. — За что? Нет уж... — Он замолчал, но Лаптев прерванной фразы не досказал, только посмотрел на него необычно серьезно, с печалью и протянул руку. Такая она была невесомо-сухонькая и холодная, что, казалось, Лаптев еле стоит на самом краю жизни, и если не удержать его, то вот-вот сорвется и исчезнет.

— Завтра, перед началом вечернего заседания, — пробормотал Лаптев. — Мы договоримся... — он шагнул в сторону, и на этом все кончилось, его окружили, взяли под руки, увели, и Кузьмин не успел спросить, что же означали последние слова об осуждении и взгляд его, исполненный жалости и сочувствия. Как будто Лаптев посмотрел на него уже с той стороны, где не могло быть ни хитрости, ни желания одолеть. По сумме, как говорится, очков выиграл поединок Кузьмин, какого же черта Лаптев жалел его и даже прощал, с какой стати...

Стоило Лаптеву прикоснуться к прохладному желтоватому мрамору балюстрады, и словно током продернуло воспоминание. Как будто в камне старого особняка за десятилетия скопился заряд. Они стояли именно здесь с Ярцевым, Шаповым и Венделем и чиркали по мрамору пальцами, а потом карандашами. С этого зародилась нынешняя теория управления. На этой лестнице. Классическая советская школа, ныне одна из сильнейших в мире. Первый сформулировал, кажется, Семен Вендель. Этот болтливый, всегда орущий простак соображал быстрее всех. Свои мысли он раздавал направо-налево, он никогда не заботился об авторстве. Было это перед вой-

ной. Колька Шапов только что получил орден за блюминг. Эти трое были лучшие ученики Лаптева. Шапов думал глубоко и фантастично. Если б не блокада, Шапов бы устоял, блокада износила ему сердце. Перед смертью он успокаивал Лаптева: справедливость, мол, восторжествует, разберутся, всем этим проработчикам разъяснят, и Лазареву в том числе. Обидно было, что ничего этого он уже не увидит, он знал, что умирает. «Но в конце концов не все ли равно, — говорил он, — если можно считать, что все это вскорости будет».

Звучали голоса, Вендель брызгал слюной, размашистым жестом Ярцев откидывал со лба золотистые свои волосы. Лаптев был больше там, с этими ушедшими, чем здесь. Нынешнее интересовало меньше, чем прошлое. Кстати, он давно обнаружил, что прошлое было не мертво, оно жило и менялось. Ярцев тогда посмеивался над шумом вокруг счетных машин, он был неправ, а теперь снова стал прав. Ярцев молодец, он один из тех, кого удалось уберечь. И Несвицкого, и Кондакова. Может, они и догадываются, но толком не знают, как все происходило...

Не спеша он наблюдал за жизнью прошлого, как оно менялось. Эта жизнь продолжалась в нем. Через него, Лаптева, продолжал жить его учитель Стеклов, а учителем Стеклова был Ляпунов... В последнее время он все явственнее ощущал эту преемственную связь, уходящую от него в глубь прошлого. Существовала и другая ветвь, направленная в будущее, ее он чувствовал слабее, да и не нравилась ему нынешняя математика...

Никто не осмелился подойти к нему. Он сидел в комнате оргкомитета, согревая лицо над стаканом горячего чая. Запах поднимался парной, банный, какой почему-то бывает у казенного чая. Лаптев подумал, что после войны он ни разу не парился в бане, не пил чай из самовара. Тут же вспомнились ему белые снарядные головы рафинада в синей хрусткой обертке, жестяные коробки чая — «черный, кантонский, производство Никифора Смирнова» — на полках в магазине колониальных товаров...

Множество бумаг, стенограмм, протоколов ожидало его подписи, и хотя все решалось какими-то другими

людьми, но процедура считалась незавершенной без него.

Откуда-то уж совсем издалека вспомнилось, что в двадцатых годах в этом особняке помещалась комиссия по улучшению быта ученых, сюда приезжал Горький и с ним Карпинский, и тогда Лаптев, которого Горький стал расспрашивать, вдохновенно произнес настоящую оду математике: «Все прекрасное в истинном смысле слова, — вещал он, — может быть подвергнуто математической обработке». Горький слушал его заворожено, а Карпинский дергал бровь, морщился, потом сказал: «Иллюзии это, Алексей Максимович, но бывает, что в погоне за иллюзиями юноши делают всякие полезные открытия».

Ему приятно было перебирать свое прошлое. Теперь, когда он почти не работал и голова была свободна, он перестал торопиться и мог наконец осмотреть прожитую жизнь. В этом была сладость доставшихся ему последствий. Чем же была его долгая, такая занятая, такая работающая жизнь? Был ли в ней смысл помимо его постоянного труда, ради которого он не считался ни с чем — ни с семьей, ни со здоровьем? Казалось, что должно было быть что-то еще, но что именно, он понять не сумел. Теперь, когда он перестал заниматься математикой, он увидел, что ум его, которым он гордился, — уродливо однобок, а душа пуста. Он даже чувствовал себя глуповатым, прежнее его высокомерие к историкам, особенно к философам, стало стыдным. Он не представлял, как трудно размышлять о своей собственной жизни, о так называемой душе. Была ли она у него, что с ней, не усохла ли за ненадобностью? Господи, как заросло все внутри. Он услышал далекий юношеский голосок:

Но и во сне душе покоя нет,
Ей снится явь, тревожная, земная,
И собственный сквозь сон я слышу бред,
Дневную жизнь с трудом припоминая.

Чьи-то стихи из его молодости, когда он знал наизусть множество стихов, глотал каждый новый сборник, следил за поэзией. Сегодня кумиром был Ходасевич, завтра Василий Каменский, Маяковский... А стал известным математиком, и в голову не приходило сесть читать книгу стихов. Если по душе, то Кузьмину должно

было посочувствовать. Так нет, прежде всего подумалось — лазаревский кадр! В этом и вред Лазарева... Сейчас перед Лаптевым возник, конечно, чужой человек, взрослый Кузьмин, затверделый. Тому, прежнему студенту можно было растолковать тихие знаки того времени. Неразличимые сигналы помимо трубных словес и клятв, которыми защищалась каждая сторона. Слова-то произносились одинаковые, и Лазарев и Лаптев утверждали одно и то же. И ведь искренне... Разве завтра на пленарном заседании это объяснишь? Разве кто поймет, насколько рискованной была операция по удалению Лазарева? Комиссия наезжала за комиссией. Чувствовали, что Лаптев нашел предлог, придрался, друзья его упрекали; он же знал, что использует последний шанс, либо — либо: либо, как говорится, сена клок, либо вилы в бок. Да и не счесть он сводил, а людей спасал, свою кафедру. Завтра не преминут его спросить про Кузьмина, и, как ни крутись, проглядел, не оценил его открытия, — но это признать не штука, а вот поймут ли, что он несколько не жалеет, что все так получилось. Не так уж много было в его жизни поступков, а Лазарева изгнать — это был по тем временам поступок. Бог с ней, с наукой, наука подождет, вот она и дождалась... Тем более если подсчитать, сколько первоклассных работ дала после Лазарева кафедра, тот же Ярцев, по автоматике... Так что за вычетом Кузьмина, в сумме, наука выиграла. Можно было уравнение составить. Прежде в этом уравнении все бы сходилось, теперь же появилась какая-то неточность.

Лазарев, несомненно, был клеветником, он причинил много неприятностей людям. После удаления Щапова, а затем Венделя Лазарев стал доказывать, что все это не случайно, что на кафедре идейный застой, окопались чуждые люди, он раздувал ошибки, мелкие оговорки, его ярлыки, его демагогия в те времена могли привести к трагическим последствиям. Вокруг него стала группироваться обиженная бездарь. Надо было как-то защищаться. В этот критический момент и обнаружилось со сборником... Почему, спрашивается, Лазарев пошел на риск, публикуя работу Кузьмина? Знал ведь, что борт подставляет. Значит, представлял ценность его работы? Кляузник, демагог, завистник, сам по себе ученый никакой, а интуиция, значит, была? Лаптев, например, Кузь-

мина прохлопал, увидел только недоказательность идеи, у Лазарева было то преимущество, что он знал этого паренька и поверил в его чутье. Получается, что Лазарев защищал Кузьмина ради истины? Или все же для того, чтобы укрепиться? Теперь не узнаешь. Говорят, важны не намерения, важны итоги. Кому как, теперь ему интересны именно намерения Лазарева. А насчет намерений неясно, данных не хватает. Уравнение не решаемо. Нравственные задачи вообще самые сложные. Нравственная задача предполагает выбор: что лучше — как поступить — кто прав. Был ли выбор у Лазарева? Тут не отвлеченная задачка, важно еще, кто решает, в каких условиях... Может, Лазарев не просто низкая личность, может, было в нем что-то и другое. Ведь было же оно в молодости, когда он первый учуял значение той знаменитой работы Лаптева по анализу и прислал восторженное письмо. И ведь был момент, когда Лазарев упрашивал напечатать работу Кузьмина, да, приходил, уговаривал, а Лаптев отмахнулся — вздор! И даже когда Лазарева уволили на пенсию, он продолжал настаивать на правоте Кузьмина, упоминал его, кажется, в своих письмах-жалобах. Ярцева это растрогало, Лаптев же сказал: «Наука не мешает человеку быть подлецом, но подлость мешает человеку быть ученым». Не верил он Лазареву, не хотел учитывать никакие его плюсы... Он повторил эту фразу публично, на заседании в честь награждения его и Щапова (посмертно) Ленинской премией. Собралось много народу. Окна были раскрыты. Пахло яблоками. Стекла высоких шкафов слепили закатным солнцем. В углу, у дверей, в костюме цементного цвета, сидел Лазарев, совсем больной, и все записывал. Но это уже было не страшно. Те самые работы, на которые он нападал, были отмечены премией.

Глядя на него в упор, и повторил Лаптев ту фразу, чтобы всем было ясно: «Наука не мешает человеку быть подлецом...» Рядом с Лазаревым сидела девушка. У нее были такие же, как у Лазарева, зеленые глаза. Он понял, что это его дочь, что она привела Лазарева. Лицо ее исказилось. Она беспомощно оглянулась. Некоторые смотрели на них, кто-то показывал соседу, шептал. Она закрыла лицо руками. Не стоило при ней...

Вряд ли у кого еще сохранился в памяти этот яблоч-

ный осенний день. Тех шкафов и того зала давно нет. На том месте построено другое здание. В нем самом, в Лаптеве, тоже многое перестроилось, и неизвестно, зачем память тщательно хранит этот день.

Но был же какой-то сокровенный смысл во всех этих давних ошибках, битвах. Это ведь были не огрехи жизни, а сама жизнь. Исправить ее он уже не мог, он мог только пытаться понять ее. Странная штука, он всегда так боялся смерти и совершенно к ней не готовился. Лишь с тех пор как шум жизни стал в нем стихать, он начал приводить в порядок свои дела. Рассказал на семинаре о своих накопленных идеях. Собрал какие мог части работы, заметки Шапова, Венделя, восстановил кое в чем их авторство, написал о Стеклове, о Смирнове... Было куда как мило: старец, уходя, благословлял, оделял своим наследством.

Встреча с Кузьминым нарушила эту благостную церемонию. Словно выдернули какой-то клинышек, и все зашаталось, поползло, кособочась. Должен ли он помочь Кузьмину или должен еще раз попытаться остановить его? Что лучше — искупить свой грех либо подумать о Кузьмине, о ненужных хлопотах, надеждах и всяких сложностях, на которые Кузьмин себя обрекает? Сомнения терзали Лаптева бесовскими когтями. Будь Лаптев человек религиозный, может, было б проще — он обязан был бы позаботиться о своей душе, о совести, очиститься. Но он готов был пренебречь своей душой и поступить как можно лучше для Кузьмина, однако как это сделать, он не знал. Мало, оказывается, хотеть сделать лучше, надо еще знать, как это сделать. Математика не могла помочь ему, ни опыт анализа, ни опыт систематики, ни опыт логики.

III

Чем ближе он подходил, тем старше она становилась. С каждым шагом она старела, руки старели, шея морщинилась, волосы теряли блеск. Только рот оставался молодым, такие же яркие, капризно изогнутые губы и чистые ровные зубки.

Кузьмин медленно спускался по лестнице, а ощущение было такое, как будто он поднимался, восходил;

вдруг он подумал: разве можно сказать, куда ведет лестница, вверх или вниз... Так же и с этой женщиной, какой она стала — приблизится он или отдастся, кого он встретит и что произойдет сейчас, ведь то, что между ними было, было совсем с другими людьми.

— Аля, — произнес он, — Аля... — Звук этого давно не производимого имени взволновал его. — Вот наконец освободился, прошу прощения... — и всякие слова, какие положено в таких случаях, но эхо ее имени продолжало отдаваться где-то внутри.

— Ничего, Павлик, я вас с удовольствием ждала.

От этого точно как прежде «вас... Павлик» стало легче, и можно было обращаться к ней на «ты», как к той девчонке.

Нет, не затихало эхо, усиливалось, словно один за другим отзывались колокола дальних звонниц.

Она нисколько не стеснялась своих морщин, спокойно подставляла себя под его взгляд. Взамен бесстыдной девчонки с большим хохочущим ртом была женщина, уверенная в себе, знающая свою женскую силу. А между ними расположилась целая жизнь, лучшая ее пора, которую он так и не увидел, о которой не имел понятия. Слышал только, что вскоре после смерти отца она уехала в Москву к своим теткам, а потом... Что же было потом?

— Потом было много всякого, — спокойно сказала Аля, вроде без всякой улыбки, и все же где-то смешок, усмешечка прятались. — А еще потом вышла замуж за известного вам, Павлик, Васю Королькова.

— За Королькова? — Он глупо засмеялся и чуть не добавил: «Васька-Дудка» — такое было прозвище у этого парня с их курса. Обалдуй обалдуем.

Аля не обиделась на его смех, только улыбнулась как-то криво.

— Ну, как я выгляжу?

— Дивно, — искренне сказал он. — Послушай, это ты меня внесла в список?

Она ответила неопределенно, ей, мол, известно, хотя сама она была занята...

— Я вас, Павлик, искала в холле, но тут приехали американцы, и меня позвали, я помогаю в оргкомитете. Вот, возилась с ними, устраивала. Хотят пойти на Вознесенского. Наслышаны.

— А-а, — протянул Кузьмин, понятия не имея, что это за Вознесенский.

Она сказала еще про Большой драматический, выставку молодых, о которой он тоже не знал. В той несостоявшейся его жизни были, разумеется, и этот Вознесенский, и театры, и приемы, и выступления на конгрессах. Он все успевал бы, то есть не он, а тот, другой Кузьмин, вел бы культурную, разностороннюю жизнь...

У нее были, наверное, заграничные духи — острый запах, полный свежести, сквознячка, и вся она выглядела свежо и молодо. Странно, теперь, после первых минут разочарования, она стала как бы молодеть, а он стареть. Если бы он встретился с Алей сразу, на улице, у подъезда, он, может, и почувствовал бы ее превосходство, но сейчас, после Нурматова, он на все события смотрел с чувством приятной доброты.

— Откуда ж ты знала, что я пойду на секцию? — спросил он, чтобы все же проверить. Она могла и не слышать про доклад Нурматова, про то, что произошло и кем он стал за эти часы.

Но она кивнула, подтверждая:

— Как же иначе. Это ваша секция, Павлик. Вы выступали? — Она держалась почтительно и по-хозяйски.

— Нет, я там поспал, а потом тихонько ушел.

— Поспали?

— Скучища.

— Ладно, ладно, не изображайте... Почему вы, мужчины, всегда стыдитесь быть счастливыми?..

Она была неколебимо уверена, что он счастлив. Она была рада, что все так удачно сложилось, рада за него и за своего отца. Ее интересовали подробности. Она проверяла, как все произошло. Как они встретили Кузьмина?

— Непродолжительными аплодисментами, — сказал он. — Приветливо встретили, но все же скромно.

Аля внимательно посмотрела на него.

— Павлик, вы представились им?

Почему-то ее прежде всего занимала эта история.

— Они и так узнали меня, — сказал Кузьмин. — По портрету. В прошлом году был напечатан в тихвинской газете. Не видела? Пуск Череповецкой ГЭС. Я там третий слева.

Она безулыбчиво покачала головой, взяла его под

руку и повела мимо буфета, через бюро стенографисток, в маленькую комнату, где было тихо, горел красный свет в старом камине. Они сели в глубокие кресла. Аля сказала кому-то: «Передайте, что я здесь», — и приступила к Кузьмину уже всерьез. Она все еще не верила, что он не объявился, допытывалась почему, так и не спросив о семье, где он, как он, что делает, ее лишь интересовало, неужели он скрыл и не сказал, кто он.

— Как же так? — не переставала она удивляться, все еще не веря и сомневаясь. — Почему? Нет, Павлик, вы серьезно? Что же там произошло?

— Да ничего не произошло.

— Нет, но вы же там присутствовали? Как же вы промолчали?

Она все сильнее огорчалась, недоумевала. Ее забота несколько смягчила обиду Кузьмина.

— Ах, вот что, — вдруг сообразила Аля, — понимаю. Вы, Павлик, расстроились. Верно? Небось махнули на все рукой. Еще бы, столько лет... Да, это ужасно, столько лет пропало. Если бы сразу... Вы могли достигнуть... Во всяком случае стать замечательным математиком...

Она жалеючи, каким-то знакомым царапающим движением поскребла его рукав, глаза ее были полны сочувствия. Кузьмин все больше узнавал ее.

— Такая работа, такая блестящая работа, — расстроено повторяла она. — До чего ж обидно. А сколько других работ вы смогли бы сделать... Папа был прав. У вас, Павлик, исключительный талант.

— Был.

— Не знаю, не говорите так. Я не могу это слышать. Такое не пропадает, не должно пропасть, это в крови...

Она защищала его с горячей заинтересованностью, как будто знакомство их не прерывалось, как будто дела Кузьмина оставались для нее самой насущной заботой. Она верила в него, она восхищалась им — дурманная сладость была в ее словах, сомнения, вселенные Лаптевым, рассеивались. Он слушал описание своих упущенных званий, степеней, исследований, и ему хотелось верить, что все так и было бы, и, может, стоит об этом пожалеть, но кажется, это еще поправимо, многое можно вернуть, наверстать...

— Ну-ну, ты наворачиваешь, — опомнился он. — Если

бы да кабы... Могло быть, а могло и не получиться. Одной той работы мало...

— Нет уж, вы поверьте мне, Павлик, — с ласковой твердостью сказала Аля. — За меньшие работы профессорами становятся. Способности — это не самое главное. — На какой-то миг она забыла про свое лицо и стала похожа на Зойку-наладчицу, нахальную пробивную бабу, которая чуть что кричала: «Все делаши, все хапуги, я по себе сужу».

— Откуда ты все это знаешь?

— Я? Кому же знать, если не мне, — усмешка прогнула ее накрашенные губы, — я этого нахлебалась... вот. Между прочим, даже я стала доцентом.

— Почему даже? Скромничаешь? А вообще, ты стала... такая дама. Теперь ты как — Королькова?

— Нет. Лазарева. Доцент Лазарева. Не хуже других, хотя способностей не чувствую. Это благодаря Королькову удалось выйти на орбиту. Послушайте, Павлик, о чем вы говорили с Лаптевым?

— Так... вспоминали.

— Он про вас знает?

— Я сказал.

— И что? Как он?

Кузьмин неопределенно пожал плечами.

— Простите, Павлик, вы, конечно, не обязаны мне отчитываться, — она помедлила, ожидая возражений, но Кузьмин молчал. Щеки ее неровно покраснели, она сглотнула и продолжала твердо: — Как вы понимаете, Павлик, я имею некоторое право интересоваться, все это касается и меня.

— Да я не потому, — сказал Кузьмин и попробовал, осторожно обходя связанное с Лазаревым, передать их разговор, те чувства жалости, и восхищения, и удивления, которые вызвал у него Лаптев, и душевную путаницу от противоречивых его суждений.

— И это все? — холодно спросила Аля. — Вы что же, собираетесь простить его? За какие подвиги? Что он совершил такого?

В самом деле, почему в душе его не осталось ненависти к Лаптеву, исчезла мстительность? Куда она делась? Он виновато посмотрел на Алю. Но все же Лаптев согласен выступить, сообщить о Кузьмине, предоставить ему слово, нет, нет, он не вредный старик, он, вообще-

то, мог послать Кузьмина подальше со всеми претензиями.

— Значит, вы, Павлик, решили не портить с ним отношений, — вывела Аля. — Он за вас словечко замолвит, и дело с концом, ему можно ни в чем не каяться. Ай да Лаптев, ловко он откупился. Взаимно выгодная сделка, оба вы с прибылью, оба...

— Да вы что, сговорились?! — взорвался Кузьмин. — Какая еще сделка? Не желаю слышать.

— Придется! Нет уж, Павлик, я ведь и вас щадить не стану... — Белое лицо ее затвердело, стало гладкое и холодное, как кафель. — Так что не надо. Переоцениваете вы Лаптева, практически не у дел он. А себя вы недооцениваете... Вы-то уж не студентик, чего вы боитесь? Не сможет он нынче повредить, не укусит, откусался, — она наклонилась, приблизилась лицом, так что глаза ее расширились, и там, в черной глубине, колыхнулась скопленная годами ненависть. — Его сейчас бить, сейчас, не вдогонку за гробом, а пока еще на коне, на трибуне!.. Вывернуться хотел? Прикинулся беспомощным. Понадеялся, что мы отпустим грехи за давностью. Нет уж! Я хочу посмотреть, как он будет извиваться!

— Послушай, Аля, зачем ты так?

— И не просите, Павлик! Да как у вас язык поворачивается, самолюбие где ваше? Забыли, как он глумился над вами? Вы что думаете, он заблуждался? Как бы не так. А что он сделал с папой? За что он его из института вышвырнул? Разве это справедливо было? Если бы не он, отец, может, жил бы еще. И у меня вся жизнь наперекося... Знали бы вы, как он при всех, сияющий, награжденный... Я привела отца, чтобы поздравить Лаптева, уговорила отца, а Лаптев при всех его придавил каблуком... Меня, дочери, не постеснялся! Это я только теперь понимаю, какие муки отцу, что такое при мне... Почему это я прощать должна? Где это сказано? Да я и права не имею прощать, перед отцом своим не имею.

— Может, через столько лет и Лев Иванович...

— Он — да, он мог простить, а я не имею права. А вы, как вы, Павлик, могли за счет папы сговориться... Он так в вас верил... Павлик, вы знаете, он до последнего дня ждал, что вы вернетесь. Он писал вам, помните, несколько раз, а вы даже не ответили. У него была договоренность, что вас возьмут в университет...

Совершенно верно, приходили письма. Кажется, он получил их с опозданием, то ли он уезжал, а может, его уже перевели в Заполярье.

А здесь, оказывается, ждали его. В полутемной квартире Лазаревых, на Фонтанке, окна на набережную, первый этаж. Там были сводчатые потолки, толстые стены и широченные подоконники, на которых стояли бутылки с луковицами.

... Он приехал в первую в жизни командировку. Полный чемодан трофейных реле и связка воблы. Когда в гостинице сказали, что мест нет, он долго не мог понять — у него же командировочное удостоверение, он приехал по государственным делам!

У Лазаревых он прожил больше месяца. Сидел в лаборатории, снимал характеристики реле. Спасибо, что разрешали. Выпросил за воблу. Возвращался иногда поздно, парадная была закрыта, и Кузьмин влезал через окно. Аля ставила чай, а Лазарев, покачиваясь в скрипучей качалке, долго, язвительно Кузьмина попрекал и обличал своих врагов. Он называл Кузьмина отступником, карьеристом, который продался за чечевичную похлебку быстрого успеха, изменил своему таланту. Но никогда не винил Кузьмина в своих неприятностях. Его уже «ушли» из института, и он писал протесты, давал уроки, вел кружок математиков в Доме пионеров, вычитывал корректуры. Кузьмина винить в этом — чести слишком много. Лазарев напечатал его работу ради науки и не жалеет. Он принес себя в жертву, он мученик, он страдает за веру. Рано или поздно его признают. Он восторгается над этими злопыхателями, вредителями, идолами, оппортунистами, над этой сворой во главе с Лаптевым.

Аля стелила Кузьмину постель в своей комнате, сама она спала в столовой, рядом с отцом, на коротком диванчике.

— ...Жарков, его ученик, получил кафедру и обещал вас взять. Вы, Павлик, могли поначалу жить у нас. Мы все продумали. Я была уверена, что вы вернетесь к математике...

Перед сном они шептались в ванной. Большая ванная комната с красной колонкой была превращена в кладовку. В эмалированной чаше ванной лежала картошка, у стен стояли доски, сушили дрова. На синих изразцах повторялись домики с острой крышей, из каждого выходила девушка. И в комнате печь была изразцовая, он до сих пор помнил ладонями ее скользкую теплынь.

— Ты помнишь, какая была у вас печь, изразцы? — сказал он.

Аля сбилась, замолчала.

— Зеленоватые, фигурные, — растерянно подтвердила она и закрыла глаза, вспоминая. Лицо ее потеплело. Она спросила, помнит ли он, как они прощались. Он не помнил.

Она вздохнула.

— Как вы мне нравились, Павлик! Вы говорили мне такие слова, — она удивленно засмеялась.

— Хорош был гусь.

Было завидно, что вся эта сцена прощания, наверное, сейчас стоит у нее перед глазами, и там он, молодой, чубатый, в длиннополом старомодном плаще. Он же ничего увидеть не может, для него все забылось, пропало.

— ... Я и на математический пошла, чтобы утешить отца. Я думала, что мы с вами, Павлик, будем вместе... Будем работать...

Она перебирала свои мечты без грусти, иногда покачивала головой, как над забытыми детскими игрушками. А Кузьмин пытался прикинуть, каким он тогда представлялся ей: уже взрослым, настоящим мужчиной, приехал откуда-то с Севера, хвастал, наверное, строганиной, тузлуком, северным сиянием. Талантливый, но легкомысленный, не знающий себе цены, — это отец напел ей.

Спустя столько лет и вдруг узнать, что кроме той жизни, какую он вел, где-то существовала другая его жизнь, которую кроили, рассчитывали, обсуждали, и эта несостоявшаяся судьба его, оказывается, как-то влияла на поступки людей, о которых он и забыть забыл...

Выходит, не то что «если бы да кабы» или «допустим-предположим», а для него все было заготовлено впрок, колея проложена, и, не закрутись он тогда на Севере, приехал бы в Ленинград, и Лазарев доломал бы его поступить в аспирантуру.

Словно бы развернулся перед ним пожелтевший проект его собственной жизни, случайно не осуществленный. Не эскизный, а детальный, где все размечено — аспирантура, защита кандидатской, работа на кафедре, предусмотрена и докторская, и работа по НИСу, лекционные часы, денежки... Только сейчас он стал понимать, какую жизнь он потерял, совсем иную, чем он вел, — вдумчивую, глубокую, плотно заполненную трудом, наедине с бумагой, книгами...

— Уж кто-кто, а вы, Павлик, имеете сегодня полное юридическое право потребовать свое. В конце концов, это же действительно ваше, собственное, недополученное. Доложит о вас Несвицкий, по его секции, я это организую, и плевать вам на Лаптева, ничего вы ему не должны...

Какие-то неизвестные ему воспоминания, какие-то минувшие чувства делали сейчас Алю яростной его защитницей. Она убеждала его со всей силой и гневом.

— Чего вы боитесь? Ну чего? Надо воспользоваться моментом. Сейчас самый раз.

Она бралась все сделать так, чтобы он ни о чем и не заботился. Только выступить, объявиться, ничего больше с него не требуется. И, глядя на ее гибкие сильные руки с вишневыми ногтями, Кузьмин понимал, что у нее получится в лучшем виде. Было заманчиво довериться, встать на ступень эскалатора и плавно подниматься, подниматься... Еще приятней было, что есть на свете кто-то заинтересованный в нем самом, в его славе, успехе. У Нади это получалось не так, Надя не вызывалась помочь, она скорее руководила им, решала за него, вмешивалась. Обижалась, если он не слушал. Она считала, что он заслуживает большего, раздражалась на то, что он не умеет добиться... Как всегда, думая о ней, он досадовал и на себя и на нее. Мысленно он сравнивал их, и дело было не в том, что Аля была моложе и красивей, — на такое Кузьмин не клюнул бы, — она была еще частью другого мира, интересного, значительного, деятельной, наглядной частью той несбывшейся его жизни. Она была как бы заложена в том проекте.

— ... Что было, то сплыло. У меня в голове, Алечка, глубочайший вакуум. Я в математике уже ничего не потяну. Поздно. Забыл. Мозги уже на другое приспособлены.

Она не отмахнулась, а оглядела его оценивающе и осталась довольна.

— В математике не обязательно заниматься математикой. Уверяю вас, Павлик. Если бы... Да и никто от вас не может требовать. А какие-то общие положения — так это за несколько месяцев. Я берусь. Тут важно другое...

Действовали не слова, а убежденность, она и голоса не повышала, сидела в кресле, спальчив руки, иногда чуть наклонялась к нему, уверенность ее действовала завораживающе. Он любовался этой волевой, мудрой женщиной, кто бы подумал, что из того заморенного утенка вырастет такая... Впрочем, он мог гордиться, он тогда уже заметил ее, что-то в ней было... Какой-то бес в ней играл. Открытые коленки ее отливали тугим яблочным блеском. Все в ней стало вызывающим, поддразнивало. Тогда, в ванной, она вела себя вольно и позволяла делать с собою что угодно. Что его все-таки удержало? Почему у них разладилось?..

Он со злостью подумал о том, что, в сущности, это Надя уговорила его окончательно бросить математику. Она уверила, что наука не для него, не его стихия.

— ... Вы, Павлик, заслужили пожинать плоды. Что тут плохого? Лучше вы, чем кто-то другой заработает на этом. С какой стати? А представляете, какой фурор произойдет! — Она расхохоталась, и Кузьмину тоже стало весело. Господи, почему бы не повертеть руль своей жизни, подумалось ему. И тут же Аля сказала: — Что вы так серьезно к этому относитесь? Такие все стали шибко ответственные...

Когда он вернулся в Ленинград, Лазарев уже умер, Аля уехала, квартиру заняли какие-то молодожены. Одно время Кузьмин ходил с работы по Фонтанке, мимо того дома, и засматривал в знакомые окна. Там сушились пеленки, кричало радио. Были те же обои и та же печь. Никто не знал и не помнил, что здесь жил Лазарев. Впервые, кажется, Кузьмин пожалел об этом странном человеке, который по-своему любил его, несомненно любил, а Кузьмин относился к нему пренебрежительно, тяготился его попреками, поучениями; занудный старикан, неудачник, бедолага — вот кем был для него Лаза-

рев. Честно говоря, даже чувства благодарности он не испытывал. Лазарев тяготил. С ним надо было держаться настороже, по малейшему поводу он обижался, требовал разъяснений, извинений, Кузьмин быстро уставал от его воспаленного самолюбия. Особенно в ту командировку. После Севера, отчаянной самозабвенной работы, этот Лазарев со своим брюзжанием и соблазнами выглядел отсталым от жизни, поглупевшим. На Севере города еще сидели на голодном пайке, без электроэнергии. В часы пик приходилось вырубать фидера лесозаводов. На Кузьмина наседали и сверху и снизу. За военные годы энергетики привыкли не считаться ни с какими правилами, ставили трансформаторы без фундаментов, на бревна, на камни, перегружали сети, вешали аварийные временки, все кое-как, на соплях — не хватало мощностей, материалов... Энергетики должны были изворачиваться, но в то же время они были хозяева положения, директора предприятий ломали перед ними шапки, выпрашивая хоть десяток киловатт. И вот теперь он, Кузьмин, должен был приводить их, героев военных лет, в чувство, ставить на место. Он лишал их власти. Он хотел привести сети в соответствие нормам, требовал от энергетиков и от начальства всего того, что было положено. И те и другие были недовольны им, но ему нравилось воевать на два фронта, он шел напролом. Не вводил подстанции без релейной защиты. Не допускал перегрузок. «Стройте новые линии», — отвечал он на просьбы и упреки. И в то же время он производил рискованнейшие включения... Рассказывать об этом Лазареву было бесполезно.

— Вы кем сейчас работаете, Павлик?

Обычное монтажное управление, каких десятки, а может, и сотни. Всесоюзного значения не имеет. Кабинет маленький. Секретарша. Правда, она же машинистка и завхоз. Комфорта нет. Чай, кофе не приносят. Журналисты не бывают.

— Дальше некуда, — сказала Аля. — Куда вы попали? Ни минуты нельзя там оставаться... — Она шутила, смеялась, а потом разом посерьезнела. — Чего жалеть. Конечно, привыкаешь, любая работа может доставлять удовлетворение, — наблюдая за Кузьминым, она как бы

подбирала верную ноту. — Особенно талантливому человеку. Талант, он всюду талант. Но теперь, когда все выяснилось, теперь-то какой вам смысл?.. Что вам дала ваша работа?

— Ничего, — сказал он.

— Вот видите. А помните, как вы мечтали получить орден?

Они оба улыбнулись одинаковыми улыбками.

...Следовательно, он в тот приезд так и мечтал, и не стеснялся признаваться.

— Послушай, Аля, а как это было?

Переносица ее чуть сморщилась, все эти отвлечения, воспоминания не входили в ее план, но, не показывая вида, она рассказала, как он хвалился своим назначением, он был упоен тогда своей властью: шесть машин, рации, вызовы в обком...

— У папы записаны ваши высказывания, Павлик: «Солдаты свое дело сделали, теперь спасают страну инженеры». Папа спросил: а как же ученые, они ведь сделали атомную бомбу? Вы на это сказали: бомба, да, но она нас не накормит и не согреет. Сейчас людям нужны самые элементарные блага.

Неужели он так и сказал — «блага»? Это было совсем не его слово. Но Лазарев записывал точно. Лазарев сидел за большим обеденным столом. На одной половине ели, на другой лежали книги, конспекты, там Лазарев занимался. Он хохлился в меховой солдатской телогрейке, говорил с ужимочками, ехидством, но все его доказательства оборачивались против него, потому что какой же смысл было обречь себя на подобное прозябание? «Все это прекрасно, — думал тогда Кузьмин, — но чего вы добились, дорогой учитель? Чего достигли?» А он, Кузьмин, был нужен, его ждали, он командовал сотнями людей, тысячами и тысячами киловатт... Орден ему все же дали. Через два года.

— Вот видите, — повторяла Аля. — Что же вас теперь держит? Я не пойму. Чего-то вы недоговариваете, — она слегка раздражалась, еле заметно. И какая-то была нетерпеливость в ней, иногда она поглядывала на раскрытую дверь, прислушивалась к голосам в соседних комнатах.

— Так-то так, Алечка, — сказал Кузьмин. — А собственно, что ты уж больно озабочена моими делами?

— Потому что это несправедливость. Мне за папу обидно, что он не дожил. Не узнал. — Витая пружинка волос у ее виска качнулась, и Кузьмин, подобрев, сказал:

— Вот это другое дело.

— Нет, не другое, — тотчас с новым накалом подхватила Аля. — Вы, Павлик, напрасно меня отделяете. Папа не узнал, зато я узнала. Во мне все теперь всколыхнулось. Ведь я потом, когда вы, Павлик, не вернулись, я ведь тоже разуверилась в отце. Занималась анализом по Лаптеву. Прячала его учебник от отца. Жалела его, считала, что у него пунктик. Короче, я тоже его предала... Поверила Лаптеву. В этом-то мерзость... Он это почувствовал, вида только не подавал. А перед смертью тетке, сестре своей, сказал, что Алечке так легче прожить будет, пусть думает, что все правильно, по заслугам и почет, отец убогий, юродивый, только жалко, когда узнает, что отец-то прав был, расстроится и клясть себя будет. Вот что мучило его. Он про нынешний день беспокоился.

Голос у нее вился ровно, с легким дымком, как стружка на станке, и глаза смотрели на Кузьмина не мигая.

— А больше он ничего не говорил?

— То есть?

— Значит, он считал, что... словом, ни в чем не виноват?

— Виноват? В чем?

— Нет, я так, — сказал Кузьмин, напуская рассеянность. — Я про Лаптева.

— Что именно?

Руки ее вцепились в подлокотники, глаза, обведенные синью, смотрели накаленно, с недобрим блеском. Она замерла, готовая броситься защищать отца. Неужели она не знала про то, что творилось на кафедре? И сам Лазарев никогда не обмолвился? И никто кругом? Или же Лазарев дома все это преподносил по-своему? А может, у него были какие-то оправдания? Может, он верил, что в математике идет классовая борьба, что Лаптев проповедует идеализм?

Вся сила встревоженной, обеспокоенной любви к отцу была сейчас в ней, в единственной его дочери, которой он заменил умершую мать, вынырнул в блокаду.

И эта ответная, запоздавшая, но оттого нерассуждающая любовь сжигала все возражения.

Какие доказательства, в конце концов, были у Кузьмина?

Он поднялся, подошел к камину.

— Ну бог с ним, с Лаптевым. . . дался тебе этот старец.

Он взял ее прохладную руку, потянул к себе так, что Аля поднялась.

— Оставь Лаптева в покое. Столько лет прошло. У них с отцом были свои счеты. Нам их ныне трудно судить.

— А кому же судить? Кто вместо нас, нет уж, извините, — она сжала его пальцы. — Я ж одна у отца, больше некому заступиться за него. Я обязана его реабилитировать, это мой долг.

— В чем реабилитировать? — чутко вскинулся Кузьмин, и Аля отняла руку.

— Они его считали неудачником! Они хотят, чтобы так и остался он для всех навечно неудачник, бездарь. Им выгодно, чтобы он сгинул в неизвестности. Концы в воду. Потому что если сейчас все выплывет, тогда надо признать, что он был прав. А это что значит? Понимаете, Павлик? Что они виноваты. Поэтому они ни за что. Они на все согласны, лишь бы было шито-крыто. Боятся, как бы преступление не обнаружилось. Они и вас готовы угробить. Думаете, Несвицкий напутал про Кузьмина? Я уверена, что специально такой слух распространили.

— Ну, ну, Алечка, это ты накручиваешь.

— Эх, Павлик, вы их не знаете. Как папа от них страдал! Он плакал по ночам. Вокруг него. . . его не любили. Думаете, я не в курсе? За то, что он не был соглашателем, за то, что он боролся за молодых. За Лядова, за Раевского, за вас, между прочим. Я к нему трезво, я объективно, не потому что мой отец. Думаете, он не знал, что ему грозит, когда он печатал вашу статью? Знал. — Пылко-вишневый жар высветил изнутри ее шею, щеки. — У него написано было в тетрадке эпитафией: «Буду стоять у позорного столба, пусть грязью кидают, плюют, готов, все вытерплю, потому что страдаю за истину. И слава богу, что есть за что пострадать!» Мучился и радовался. А вы, я же понимаю, Павлик, вы стесняетесь вступить за него, предаете. . .

Пламя, что гудело в ней, ожгло и его незаслуженной обидой. Он-то щадил, заслонял ее от папенькиных дел, а она, не разобравшись, лупила наотмашь...

— Ты вот что, Алечка, ты не наступай... Твоей заслуги во всем этом деле — нет. Ты доцент — вот и занималась бы... А на готовое мораль напускать — это мы мастера. Льву Ивановичу эта бодяга не нужна, не воскресит. Это все тебе нужно. Как же, дочь того самого Лазарева, учителя того самого Кузьмина, семья потомственных математиков! Вот и вся твоя забота обо мне. Я-то думал, чего ты бьешься. А ты за себя хлопочешь!

— Замолчите! Как не стыдно... Да что ж это такое... Вы, Павлик... все, все перевернули! Выгородить себя хотите!

Оглушенные от злости, не слыша друг друга, они неуступчиво наскокивали, схватываясь все с большей яростью. Кузьмин уже не мог сладить с собою, хваленая его выдержка рухнула, перед ним дергался ее большой лягушачий рот, душил приторный запах косметики, хотелось схватить ее за руки, стиснуть, чтобы хрустнуло, чтобы оборвать ее сверлящий голос, чтобы она наконец заплакала. Почему она не плакала?

Угадала она или подчинилась его мыслям, но вдруг сникла и, бесслезно всхлипывая, сказала:

— Простите меня, Павлик. Я не должна... Нервы у меня... Я, может, преувеличиваю отца. Наверное. Он был для меня всем. Он меня выкормил. Это я только теперь понимаю, как трудно ему было. Может, он из-за меня и не сумел стать... Вы ни при чем. Это я виновата...

Злость Кузьмина разом схлынула, перед ним открылась любовь, завидная, нелегкая. В душе он обругал себя: существует ведь честь отца, честь фамилии, и слава богу, что Аля бьется за эту честь, хорошо, если б сыновья Кузьмина когда-нибудь вот так же отстаивали его. Простая эта подстановка чрезвычайно Кузьмина впечатлила: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Давно известная эта истина была одной из тех житейских истин, которые он любил приводить, а вот к своей собственной жизни почему-то не применял. Пожалуй, это самое трудное требование к себе... Лазарев был для нее всем — и отцом и матерью; с ней он был добрым, нежным, страдающим, она не зна-

ла его таким, каким он бывал на кафедре, желчным, с тягостной подозрительностью. Все время хотелось перед ним оправдываться. Скрюченный, желтый, полусогнутый в каком-то извороте, как бы что-то выглядывая, Лазарев внушал опасение. . .

Но, слушая Алю, вспоминалось и другое: как Лазарев весело и ловко готовил дома голубцы, колдовал над латкой, прицокивая языком, как подкладывал в тарелку Але, и в эти минуты желчность его, скрюченность превращались в уютную ворчливость старенького заботливого домового.

Они существовали порознь, отдельно: домашний Лазарев и институтский Лазарев, сложить их Кузьмин не мог, и не знал, что ответить Але, не знал, кем же он был для него, его учитель.

Умирал Лазарев тяжело, рвался из смерти, как из капкана. Болезнь свою ненавидел, убежденный, что его болезни радуются враги, болезнь их союзница, что это недоброжелатели напустили на него порчу. До последней минуты он видел себя жертвой, считал, что погибает за истину.

Неизвестно, зачем Аля рассказывала про это. Обдуманность ее речи нарушилась, она не старалась, чтобы Кузьмин понял: какие-то наволочки, медный Будда, клюквенный морс, книга Иова взхлеб перемешались в её рассказе.

Пожалуй, только про Иова он кое-что догадался. Когда-то Лазарев пытался рассказать ему испытания, постигшие Иова, и как Иов сохранял, несмотря на страдания, свою веру. Какие там были испытания, забылось, помнил Кузьмин только общую идею, и то странно помнил, вместе со словами Лазарева: «Слабый не должен быть добрым». Считал ли Лазарев себя слабым? К чему он это сказал?

Ныне, всплыв из прошлого, Лазарев напоминал тех изобретателей, что время от времени настигали Кузьмина. Изобретатели были особые люди — как правило, трудные и святые. Среди них не было плохих или хороших, изобретатели — это состояние, в которое попадали самые разные люди, и состояние это для них всех общее. Самые деликатные, робкие — с той минуты, как они изо-

брели, — преображались. Они шли как одержимые, ни перед чем не останавливаясь, ничего не боясь. Изобретение владело ими, оно заставляло их действовать. Конфузились, стыдились своей настырности и ничего не могли поделать. Они — единственные на земле — знали, как лучше сделать то-то и то-то, это придавало им силу, волю, пока им не удавалось пробить свою идею. После этого они быстро возвращались к прежним своим натурам.

Почему же Лазарев мучился, страдал за идею Кузьмина, а сам Кузьмин нисколько? И не вспоминал, и только досадой отзывался на лазаревские уговоры? А вот Лазарев действительно мог терпеть ради чьей-то чужой работы. Все-таки это редкое качество, растроганно думал Кузьмин.

Он обнял Алю за плечи. Она не удивилась, ощутив его жажду утешить. В груди Кузьмина что-то повернулось, очистилось, на мгновение приоткрылась щель, и там, вдали, в солнечно-пыльном луче, он увидел себя, каким он был тоненьким, быстрым, юношеское лицо свое, пылающее восторгом жизни, он показался себе прекрасным, он понял, что тот Павлик Кузьмин и есть он, горячее дыхание юности слилось с теплом Алиного плеча...

Наверное, Аля и впрямь любила его. Почему они расстались? Почему он отказался от нее? А ведь что-то было, что-то происходило и произошло тогда...

IV

— Что я вижу! Моя законная жена в объятиях... и кого! Попались! О, неверная! — с театральным весельем сыпал Корольков, оставаясь в дверях.

От него исходило преувеличенное благодушие и приветливость занятого человека, улучившего приятный перерыв.

Аля не отстранилась. Прижавшись друг к другу, они из двадцатилетней давности оглянулись на это непрошеное вторжение. Тихий студентик Корольков, как порозовело, налилось соками его длинное лицо, обтянутое когда-то серой угреватой кожей. Он тогда был бесцветно-робкий, с постно поджатыми бледными губами,

воплощенная старательность, и голос у него был не нынешний баритон, а скрипуче-виноватый, типичный зубрила, грызун науки, которая действительно была для него гранитом. Ныне он стал важен, располнел, особенно книзу, бедрами, задом. Полированный зачес, уложенный волосок к волоску, закрывал лысину. Безукоризненно сидел на нем синеватый костюм в крупную клетку, не официально-вечерний, в меру помятый и в то же время строгий, деловой. Все на нем было продумано: полосатенькая рубашка, широкий, но не очень, галстук, суровая морщинка между бровями и скромные очки интеллектуала.

Вопросы, восклицания... не ожидая ответа, он вспоминал однокашников, щурился в смехе, и черные зрачки его, свераясь, поглядывали на Алю.

Она затуманенно, не слыша ни его, ни себя, отошла, присела на ручку кресла и стала смотреть на них обоих. Она явно их сравнивала. Она удалилась в ложу, оставив их вдвоем на сцене. Она сравнивала их фигуры, костюмы, манеру говорить, их усмешки и подстрекающе молчала. Может, от этого разговор их быстро заострился. Корольков высказал сочувственное удивление небольшой должностью Кузьмина: монтажное управление, да еще номер 183, сколько же их? И как же так получилось, слухи ходили, что Кузьмин шел чуть ли не на замминистра...

Тут был некоторый перебор, может умышленный, про замминистра и речи не было, а вот на начальника главка Кузьмина выдвигали, существовал когда-то и такой вариант его жизни. Переживал, что сорвалось, но зато сейчас, когда Корольков, поджав губы, соболезирующе закивал, Кузьмин подумал, что с тех пор главк тот реорганизовывался, и не раз, начальство там не удерживалось, на совещаниях производственники доказывали, что главк не нужен, и тогда в главке чувствовали себя неудобно, да и работа в нем была чисто конторская. Разумеется, монтажных управлений много, так ведь и математиков много.

Но Корольков не просто математик, он доктор математических наук!

Кто бы мог подумать, это, конечно, достижение, но, вообще-то, и докторов толпы, больше, чем монтажных управлений, и, значит, и главных инженеров управлений.

На это Корольков неуязвимо заулыбался и сообщил, что он не только доктор, ах, если бы были возможности заниматься чистой наукой... какое это счастье, увы, он еще советник какого-то комитета, на его плечах большая международная работа — проводить конгрессы, устраивать командировки, направлять с чтением лекций — особенно в развивающиеся страны, еще с культурным обменом, помогать налаживать по линии ЮНЕСКО, он вице-председатель комиссии, какой именно — Кузьмин не уловил, во всяком случае нечто ответственное, требующее дипломатии, контактности, умения устанавливать научные связи между самыми разными организациями, научными обществами... Начал Корольков рассказывать несколько заносчиво, затем нашел более выигрышный тон, небрежный, даже слегка ироничный, подтрунивающий над своими чиновными успехами.

Тем не менее Кузьмин пока что брал верх: он занял выгодную позицию слушающего; он мог хмыкать, недоверчиво щуриться. Корольков же должен был доказывать и невольно нагнетал, так что Але было наверняка неинтересно слушать его. В любом случае рассказывать о себе рискованно, тем более отвечая на вопросы. Отвечающий неизбежно теряет, он как бы обороняется. Но при всем при том Кузьмин не мог скрыть некоторого ошаления — уж очень Корольков отличался от смиренного, неказистого Дудки. Так что тут Корольков имел преимущество. Он скромно признался, что поездки имели и свои радости — как-никак повидал мир, язык освоил. Спросил — часто ли приходится Кузьмину выезжать за рубеж?

Однажды Кузьмин ездил с туристской группой в Югославию, да еще в Польшу, и раз в командировку в ГДР. Смешно было бы хвастать этим, поэтому он махнул рукой неопределенно — где уж нам с суконным рылом в кашный ряд.

А язык? И язык, он только английские журнальные статейки по электротехнике кое-как переводил — не больше. Корольков на это скорбно покивал: надо знать язык, сегодня специалисту нельзя без знания языка. Мы живем в эпоху информации. ЭНТЭЭР — это и есть информация плюс коммуникация!..

Так он набирал очки.

Уши у него торчали такие же большие, как и прежде.

Кто бы мог подумать, что из Дудки получится международный деятель. На семинарах ничем не выделялся, соображал туго, типичный слабак, Лазарев называл его точкой отсчета, нулевой отметкой, единицей посредственности, держал его за старательную услужливость. И вот, пожалуйста — всех обскакал. Как это случилось? Как это вообще происходит? Из каких складывается случайностей? Не был отличником. Не побеждал на олимпиадах, на студенческих конкурсах, и в итоге, так сказать, жизненного конкурса — оказался впереди. Доктор наук. Научные труды. Книгу написал, подтвердил Корольков. Книга, международная арена, государственные проблемы... Если бы тогда, на семинаре у Лазарева, сказали, что наибольшего достигнет Дудка, — рассмеялись бы... По какой шкале, конечно, считать, что считать успехом, но для самого Королькова это взлет. С каким терпением, с какой милосердной улыбкой отвечал он на ерничанье Кузьмина.

— Да, брат, моя служба не просто тары-бары. Тут свой талант нужен. И представлять достойно, и самим собой оставаться. Я тебе скажу, интересно жить тоже способностью, человек, интересно живущий, может принести больше пользы обществу...

— Ладно. Расхвастался, — сказала Аля.

— Я же не про себя, Алечка, — Корольков лъстиво хихикнул. — Я про путешествия. Сейчас всем предоставлены возможности. Надо мир повидать. Как сказал один мудрец: пока ходишь, надо ездить...

Неясная полуулыбочка заслоняла ее лицо. Иногда Кузьмину казалось, что она демонстрирует своего мужа, показывает его и так и этак. Уверяет себя, что не ошиблась в выборе. И неказист, и осанист, и скромен, и на коне. Да и конь, видать, без спотычки.

И снова Кузьмин спрашивал себя: за что Королькову так подвалило? Как действует этот механизм удачи?

А Корольков описывал Бейрут, Токио, Дели.

Разноцветный шар поворачивался, сверкая океанами, огнями ночных городов, и было ясно, что Кузьмин уже не увидит ни японских вишен, ни горячей африканской пустыни. Не успеет. Разве что по цветному телевизору. Жизнь, что всегда маячила еще впереди, оказалась вдруг за спиной. Тайфуны и джунгли детства, замор-

ские небоскребы, зеленоватые айсберги, все мечтания, раскрашенные книгами, снами, прощальной болью шевельнулись в душе. Глядя на Королькова, он подумал о том, как много прожито и как быстро. и было до слез жаль остатка причитающейся жизни. Он имел в виду жизнь полноценную, без старости, когда еще можно лазить по горам, работать без усталости, любить женщин, подниматься на верхушку анкерной опоры... Тающий этот кусочек жизни словно лежал в его руке, и Кузьмин примеривался и взвешивал, и сокрушался над ним. Вот она, блистающая сквозь Королькова его иная жизнь, которую ему тоже хотелось заполучить.

Ах, Корольков, Корольков, что значит планида, не родись красивым, а родись счастливым. И как это ловко сложилось у него одно к одному — и жена красавица, и большие дела, и большой почет, и никаких забот. Конечно, имеются у него свои хлопоты, но это не заботы Кузьмина, план у него не горит, аварий не бывает, его заботы тоже как бы высшего порядка... Есть такие люди, которым достается все лучшее.

Корольков и Аля переглянулись.

— Эти сласти не для нас, технарей, — с вызовом сказал Кузьмин. — Наше дело маленькое: паяй, включай.

Ясно, что Корольков зашел сюда не случайно, он был в курсе, однако помалкивал, тянул, не хотел начинать первым. Корольков мог ждать. Его устраивала эта демонстрация своих успехов, эта возможность гарцевать, возбуждать зависть и удивление.

Кузьмин упорствовал, они тянули, кто кого пересилит, кто первый откроется, и Аля, мерцая зелеными глазами, бесстрастно наблюдала за ними.

— Как говорят англичане, — рассуждал Корольков, — every dog has his day!

В такого рода состязаниях Корольков поднаторел, и Кузьмин понял, что придется начать самому, только бы найти нужный тон, такой, чтобы сбить спесь у Королькова.

— Меня опять приобщить пытаются, — начал он неуверенно, полный сомнений, — свалилось тут одно открытие как снег на голову.

— Слышал, слышал... Что-то насчет критериев? Это тот твой завальный доклад? Но я, брат, в этом ни бумбум. Ну что ж, благословляю. Лучше поздно, чем

никогда. То был фальстарт, теперь уж никакой Лаптев больше не помешает! Как сказал Гагарин — поехали! — Корольков подмигнул, словно похлопал Кузьмина по плечу.

Как будто все дело состояло в том, что Лаптев помешал. Не сбил с толку, а именно помешал, и Кузьмин отступил, не в силах одолеть помеху. Такая, значит, сложилась версия.

— Поехать можно, да только, я думаю, зачем мне это, — лениво, даже свысока произнес Кузьмин и почувствовал, как это действует. — Всякому свое мило... — он не удержался, тоже подмигнул. — На твое местечко это бы я еще согласился — по заграницам пошататься. Так ведь не уступишь? А самому пробиваться — скучно.

— Почему обязательно на мое?

— Потому что послушал тебя — лучше твоей должности нет.

— Это верно, — милостиво согласился Корольков. — Но многое, Паша, зависит от того, как относишься к своей работе. Я, брат, умею любить то, что делаю...

Аля вздохнула и спросила Королькова, договорился ли он с корреспондентом, узнав, что нет, бросила едко: «Ну конечно». Извинилась перед Кузьминым и вышла, Корольков обеспокоенно проводил ее глазами.

— Тянет она меня... точно буксир. Теперь вот в Академию тянет, — с тревогой сказал Корольков, но тут же встряхнулся, расстегнул пиджак, засунул руки в карманы, ноги расставил пошире. — Да, подвалило тебе, брат, выиграл первый приз... Чего уж тут выламываться, ругаюсь, не чаял, не гадал...

— Ты что ж, завидуешь? Всего у тебя полно, да еще бы побольше?

— Пригодилось бы. В самый раз. У меня хоть должность велика, а золотом не очень обеспечена. На бумажных деньгах существую... Но ты не думай, я свое дело умею делать. Есть в этом свой резон: нет смысла хорошего математика отвлекать на орграбому. Я себе цену знаю. Невелика. Что могу, то могу. Найти себя — это хорошо, но сделать себя — это, Паша, тоже заслуга.

— Ты, значит, сделал.

— Сделал. Не жалуясь. Я, брат, всего своим трудом добился. Без всяких протекций и озарений. Вот этими, — он поднял руки, помахал перед Кузьминым. Руки у него

были большие, грубые, такими бы тросы натягивать, кабели выгибать, и Кузьмин рассмеялся, представив Королькова в этих сволочных тоннелях.

Корольков покраснел, шея вздулась, но лицо осталось приветливым, с той же резиновой улыбочкой.

— Смеешься? Чего ж ты смешного нашел?! Это я бы мог над тобой посмеяться.

— Видишь ли, я-то думал, что у вас голова нужна, способности, а руками... Или это в смысле руководить?

— Ты язык свой придержи. Все беды от языка происходят. Я тебе, Паша, напомнить хочу, что ты мне сказал, когда от Лазарева выпроваживал. Или позабыл?

— Я? Тебе?

— Мне, мне, кому ж еще, — он подозрительно вглядывался в лицо Кузьмина с глупо раскрытым ртом. — Ты жил у них. Я пришел. А ты, при Але, выставил меня...

— Хоть убей, не помню.

— Взял меня за грудки и посоветовал обучать дефективных, такая математика, мол, мне по силам.

— Ишь ты, с чего это я взъелся?

— А как же, ты был пуп земли. Сказочный, быстро растущий принц. Залетел в наше болото, соизволил обратить внимание на Алю.

— А-а, вот оно что, — Кузьмин облегченно улыбнулся над всеми ними тогдашними. Он придвинулся к камину, протянул руки к огню, который был лишь изображением огня посредством красных лампочек.

— Еще ты сказал про Алю: не надейся, Вася, не отломится тебе, ищи себе попроще... И это запомнил?

— Да, как-то не врезалось. Сколько, знаешь, было подобных собеседований...

— Шути, шути... А все-таки промахнулся ты, Паша. Еще как. По всем пунктам просчитался. Непростительно при твоих-то способностях. Вот оно, друг Паша, какой оборот приняло. Кто из нас кто? Кто кем стал? Судьба играет человеком!

— Ах ты, граф Монте-Кристо!

— Хочешь меня втиснуть в матрицу. Не упрощай. Я ведь не злорадствую. Напрасно ты себя утешаешь. Я анализирую.

— Ну, давай, давай.

— Все это, брат ты мой, не случайности. Не то что

мне повезло, а тебе нет. Извините, на «повезло» причина есть, существует запрограммированность! То, что в древности называли судьбой, а сейчас — гены. В некоем смысле — закономерность. . .

Помахивая рукой, он неторопливо прохаживался из угла в угол, как бы диктуя, подчеркивая каждую фразу, потому что каждая его фраза была полна значения, произносилась не зря, и не следовало Кузьмину так уж безучастно сидеть перед камином.

Если тряс за грудки Королькова, значит, были какие-то чувства к Але. Что-то, значит, насчет этой Али трепыхалось.

Опять возник тот молодой Кузьмин, опять совершил подвох. Вел себя грубо, бестактно, а кроме всего прочего непонятно. Чего он, собственно, добивался? И если он выгнал Королькова, то дальше-то что, почему после этого он уехал и словно бы отрубил? . . . Что-то при этом забрезжило расплывчатым пятнышком, как дальний выход из тоннеля, как окошко в ночном лесу, скорее предчувствие, чем свет. Если б он мог вспомнить. . .

Прошлое, казалось сугубо личная его собственность, местами было тщательно укрыто от него, недоступно. И странно, что эти темные провалы, эти пустоты для кого-то другого — навсегда врезавшиеся минуты, полные звуков, распок.

Почему-то приблизилось не то, чего он ждал, а угольной лампочкой освещенная передняя Лазаревых. На стене велосипед, дамский, с голубой сеткой. Кажется, Алиной матери. Под ним старинный счетчик Всеобщей Электрической Компании, и что интересно, почему, наверное, и запомнилось: под счетчиком медные круглые амперметр и вольтметр, уцелевшие здесь, очевидно, с начала электроосвещения. Стояла огромная вешалка, увешанная старыми макинтошами, ватниками, еще был плакат: женщина с красным флагом на баррикаде. А у дверей лежала рогажа. И слово-то он это забыл — рогажа! Плетенная из мочалы. Мочалка, с чем в баню ходили. Ничего этого нет, ни мочалок, ни рогаж, разве где-нибудь в Коневске, куда ему давно пора съездить посмотреть, как работает новое оборудование. . .

— ...От меня, представь себе, Паша, кое-что зависит. Ты с этим столкнешься. Я не академик, но могу поспособствовать не хуже. В смысле паблисити. С выходом за рубеж, с выступлениями. На одном Лаптеве ты не вспорхнешь...

— Вот что — Лаптева не троньте! И Але скажи, чтобы Лаптева оставили в покое.

Брови Королькова поднялись, замерли, и вдруг он просиял:

— Ну, ты, брат, даешь!.. И правильно! Молодец! Я ведь ей тоже указывал! Понимаешь, Лаптев — гордость нашей математики. С ним в капстранах считаются. Зачем его подрывать, не нужно, давайте переступим личные отношения. Я учитываю — да, ее отец, да, все прочее, но если политически невыгодно? Приходится нам быть политиками... И потом, Лазарев тоже не сахар.

— Чего ж она твоих указаний не слушает?

— В своем отечестве, как говорится, нет пророка.

Кузьмин с интересом посмотрел на Королькова.

— Не признает, значит?

Корольков резко повернулся к дверям, где кто-то проходил, зачес его редких волос сдвинулся, приоткрыв белую плешь.

— Сейчас ты опять изображаешь принца, — обиженно сказал он. — Спустился благодетель-реставратор. Восстановишь имя ее отца. Освятишь своим талантом. Кругом таланты, творцы, создатели, открыватели. Работников нет, зато талантов и поклонников завались.

Тусклый свет там, вдали, усилился, поярчел. Злость веселыми иголочками прошла по груди Кузьмина.

— Позволь, позволь, Вася, что ты там насчет судьбы толковал, в каком смысле ты понимаешь, что это закономерность?

Если Корольков что и почувствовал, то, надо отдать ему должное, не оробел, отвечал твердо:

— В том смысле, что нет в тебе боевитости. Не борец ты. От первой неудачи вянешь. Тебя стукнуть посильнее — и ты готов. Что, не так? Ты в моих условиях, при моих данных застрял бы учителем.

— Хороший учитель — это великое...

— Это мы с тобой сегодня понимаем. А тогда как ты мне сказал про школу дефективных? Ты правильно предрекал. С одной поправочкой. Ты по себе мерил. Если б

тебя лишит способностей. . . Но ты не учел, Пашенька, что зато у меня есть характер. Мне, брат, ничего не доставалось за так. Я за все по высшей ставке платил. У меня на какую-нибудь задачку втрое времени уходило. Впятеро! Задницей брал, но добирался, а принесу — так весь семинар считает, что я случайно решил. Ты привык, что тебе все с неба сыпалось. А я тащил, как муравей. Если бы, конечно, тебя под стекло, охранять от всяких передряг, ты бы расцвел, ты бы развернулся! Но жизнь, брат, тем и хороша, что она и бесталанным шанс дает. Наша жизнь, она. . . демократична! — Он рассмеялся, довольный найденным словом. — Она не для аристократов. Для трудяг. Я-то приспособленней оказался, а? Может, это подороже исключительных способностей. И пользы принес не меньше. . .

Как он торжествовал, этот сукин сын, как он куражился. Не думал Кузьмин, не гадал, когда спрашивал насчет судьбы, что наткнется на такое, словно осиное гнездо ворохнул. Слова Королькова жалили, одно больнее другого.

— . . .Щелкнули тебя в министерстве — скис! Щелкнул тебя Лаптев тогда — скис! Легко ты скисаешь! Дите удачи!

— Бывает, бывает, — согласился Кузьмин.

. . . На второй месяц пребывания в министерстве он выступил против проекта Булаховской гидростанции. Не было никакого смысла и никакой нужды разворачивать столь дорогое строительство. Он приводил цифры, опровергнуть их было невозможно, поэтому возражали общими возражениями, потом его вызвало начальство и мягко пожурило: не с того он начинает свою деятельность, ниспровергать дело нехитрое, а что взамен? Но он же предлагал станцию на угле. Вот и хорошо, сказали ему, защищай свою станцию, выступи за, обосновывай, а против и без тебя хватает.

Но он требовал спора по существу и потребовал доказательств публично, в интервью с одним писателем. Беседу опубликовали в газете, с этого и пошло: вскоре его откомандировали на укрепление, потом на усиление в трест, оттуда на стройку, — и правильно, он вел себя глупо, как бодливый баран.

Наконец он перестал упорствовать, но было уже поздно.

А может, потому и не вернули его, что сдался, может, надо было продолжать борьбу, тем более что сторонники у него появились даже среди проектировщиков. Но он боялся превратиться в сутягу. До каких пор можно или нужно настаивать на своем? Вот тоже проблема. Есть ведь какие-то разумные пределы?

Писатель уверял, что если бы Кузьмин устоял еще месяц-другой, то они победили бы. В ЦК уже склонились в их пользу. Впоследствии писатель написал про это пьесу, об инженере, который выступил подобно Кузьмину и не сумел додержаться буквально день. На сцене жена обвинила этого человека в малодушии, друг считал, что он погубил дело, все клеймили его, и никто не подумал, что он первый начал, что он боролся сколько мог, что он был смелее их всех. Даже писатель не подумал.

— ...Однако не совсем скисал, — сказал Кузьмин. — Не совсем, если меня снова щелкали. Кто гнется, тот и выпрямляется...

Оправдание ли это?.. Он приехал на Булаховскую за полгода до затопления. Посреди весенней цветущей долины стояла бетонная плотина. Гигантская угрюмая бетонная стена. Перегораживала пахучие поля клевера, перелески, рощи. Все это уйдет на дно. Теперь уже ушло, затянуло илом, тиною. Он был виноват перед этой долиной.

— А ты, значит, без поблажек обходился, — задумчиво протянул Кузьмин, — сам всего добивался?

Он продвигался почти наугад. Еле-еле вспоминалось, как он просил у Лазарева за Дудку, не удалять его из семинара. И насчет Али, когда он увидел, как серьезно для Королькова чувство к Але, и сжалился. Слишком неравны были их силы: этот отставший на курс, какой-то затрущенный, дохлый Корольков — и он, в меховой куртке, широкоплечий, восходящая звезда советской энергетике...

Какой-то был разговор, почти ничего не помнилось, воспоминания растворились, перешли в плоть, в сны, смех, жесты, в невнятную тоску, в жилистую терпеливость, стали частью его самого...

Даже этот Корольков, Вася-Дудка, и тот чем-то вошел в него, еще там, в начале пути. Дал возможность проявить свою доброту и щедрость.

— Ах, не все ли равно, Дудка, — размягченно сказал Кузьмин, — и тебя можно носом ткнуть, да неохота мне в считалки играть. Молодость прошла, вот что грустно... Помнишь, как мы пляс устроили в общежитии на Флюговом?

Некоторое время они разглядывали тот буйный вечер, с джазом третьекурсников, и другой вечер, под патефон, их студенческую жизнь с тихой читалкой, с разгрузкой овощей на Сортировочной, с походами на Карельский, с танцзалом, где вдоль стен стояли девицы, которые не очень-то льстились на студентов... Румба, полечка, буги, русский бальный... Они припоминали наперебой, и Кузьмин растрогался от своей доброты, от жары танцулек и своих партнерш — где они, королевы Мраморного зала и Промки?..

— А ты по-прежнему о себе воображаешь, Паша...

Вот тут-то Корольков и нанес свой удар и засмеялся в лицо размякшему Кузьмину. Не стесняясь, напомнил Корольков ту его уступку, подумаешь, монаршья милость, грош ей цена, плевать он хотел на такие благодеяния, все равно он добился бы Алиной любви, что бы там ни было.

— ...Не преувеличивай ты себя, Паша, от души советую тебе, лапушка, опять можешь промахнуться, потому что пока ты еще величина мнимая. Что ты можешь? Ничего пока не можешь. И двигаться тебе надо осторожно, тебя сейчас любой обидеть может. Но я тебе помогу, так и быть уж...

Щелкнул контакт, и словно что-то в Кузьмине включилось, загорелось. Сам он и не пошевелился, но обозначились мышцы, массивная челюсть, разлапистые огромные ноги.

— Ах ты, Дудка, Дудка... Не нужен ты мне. У меня найдутся помощники, — он медленно начал перечислять: — Анчибадзе, Зубаткин, Нурматов, — и оборвал, а потом, едко улыбаясь, сказал: — Обойдусь без тебя. А вот я тебе нужен. Верно?

— Зачем?

— А если я скажу Але, что ты не хочешь помочь мне? — Он подождал и прицельно прищурился. — Нет,

напрасно ты так держишься, будто ты лицо независимое. Так что со мной надо по-хорошему. А то у тебя могут произойти семейные сложности.

И самому Кузьмину была неприятна эта улыбка, и подлый его тон, и страх, мелькнувший в глазах Королькова, тут же погашенный фальшиво-воинственным смешком.

— Поверхностные у тебя суждения, Паша, ну да бог с тобой... — И ловко перешел на Анчибадзе и прочих молодых светил, которые ничего не умеют ни провести, ни организовать, вечно напутают...

Из соседней комнаты донесся резкий голос Али. Кузьмин спросил быстро, что с записями Лазарева, куда они делись.

— Они у Али, — так же быстро и тихо сказал Корольков. — Я не читал. Честное слово. Она не дает. А что?

Не дает, значит, сама читала, подумал Кузьмин. И во все не значит, тут же возразил он, если бы читала, то понимала бы Лаптева, побаивалась бы... Что там было записано у Лазарева? Попросить у Али почитать? А зачем?

Попросить ее или не спрашивать? Не потому, что боялся отказа, а потому, что не знал, хочет ли он сам прочесть эти тетради, где, наверное, было и его прошлое, и всякие нелестные размышления о нем, наблюдения... А может, лестные размышления, тогда тем более горько... И про Лаптева, и про то, как было со Щаповым... Как это прочтается сегодня — в оправдание Лазарева? Или же в обвинение его? Искренность — это же еще не оправдание.

Однажды Кузьмин тоже записывал себя. Надя после ссоры уехала, казалось, навсегда, и он изливал свою душу в тетрадку. Недавно нашел несколько страничек без начала и конца. Он не сразу сообразил, что это про него. Узнал себя только по почерку. Общие рассуждения о любви были банальны, зато некоторые подробности поразили его. Как он вытирал стол старой тряпкой и увидел, что тряпка — остатки Надиной ночной рубашки. Выцветшие красные цветочки напоминали первые месяцы их жизни: солнечные архангельские ночи, как он спал, уткнувшись в ее фланелевое плечо. Тут страничка

оборвалась... Ему хотелось узнать, что было дальше... Если бы он записывал хотя бы самое главное, ведь у него была такая плотная, насыщенная жизнь, столько встреч, событий... Но для чего нужны эти записи? Для чего тащить и копить свое прошлое? Он ведь не историк, не писатель, какая же польза от этих записей?..

...Ее энергия захватила, закружила, невозможно было сопротивляться властному ее напору. Не было смысла ни в чем сомневаться или проверять. Организовано все было по-военному четко и абсолютно логично — корреспондент Всесоюзного радио приехал, запись состоится. Сперва Корольков сообщит о ходе конгресса, кто приехал, откуда, значение, размах и всякое такое, упомянет о докладе Нурматова и перейдет к Кузьмину, представит его, после чего сам Кузьмин ответит на два вопроса. Текст Королькову Аля подготовила, Кузьмину же надо подчеркнуть сочетание чистой науки и инженерной практики, истории вопроса пока что лучше коснуться в самом общем виде...

Можно подумать, что исключительно ее воля свела в узел все случайности, да и не было случайностей, это она заранее рассчитала, и потому свершилось неумолимое... Зеленые глаза ее блестели, Корольков смотрел на нее с восхищением.

— Вот, брат, у кого учиться надо! А? Министр!

От нее исходил призыв к действию. Она заряжала электричеством, хотелось мчаться, одолевая, что-то совершать — трудное и немедленное. В ее присутствии все становилось достижимо — Всесоюзное радио, и завтрашнее выступление на пленарном заседании, и заморские страны, — вся та жизнь, которую Кузьмин утерял вместе с Алей, — эта жизнь распахнулась перед ним, он мог не хуже этого сочного, бодрого Королькова выступать перед всей страной, налаживать контакты, летать на международных авиалиниях... Знаменитые знакомые, звонкая слава и, разумеется, Аля, которая знала все, что нужно делать, которая любила его и была обязательной частью этой его возможной жизни. А кроме того, тишина, большой стол и чистая бумага — вот что виделось в том варианте прежде всего, — покой одиночества, высокая спинка такого же кресла, такой же камин... Давно все

кончилось насчет жажды беспокойной жизни. Чего ему не хватало в эти годы — размеренности, покоя, возможности сосредоточиться; ничего нет отвратительней постоянной, изматывающей суеты, тревог, авралов, того, что преподносят как романтику будней, а на самом деле безобразии, с которым он воюет.

Сидеть и думать — до чего ж это, наверное, приятно. Он смутно помнил то острое наслаждение, что охватило его в зале Публички, когда вдруг появился результат, еще вывод не клеился, а результат уже чувствовался, гладкий, крепкий, безупречно красивый, единственной формы, как желудь...

Сидеть и думать, столько накопилось, например о Лене Самойлове — верный друг его, за которым он ходил до последнего дня, нянчил его, беспомощного паралитика, пострадавшего при аварии на той же Булаховской плотине. Похоронил Леню и с кладбища — в машину и на линию, и некогда погоревать было. Вот уже год прошел — до сих пор времени не найти поскорбеть о Лене, осмыслить смерть его...

Сидеть и думать...

Он смотрел на Алю, на Королькова, стараясь через них увидеть себя в той сказочной райской жизни, от которой отделяло его совсем немного, он мог разглядеть все подробности.

Сидеть и думать, работать головой, чтобы все там ворчалось и скрипело, совершать безумные допущения, формулировать по-новому, бесстрашно замахиваться и пытаться все это, испытывать без снисхождения, без пощады.

...Кузьмин облизнул губы, шмыгнул носом. Толстые губы его выпятились, веки смежились, и лицо сразу поглупело. Почесывая затылок, он забормотал, что выступать перед микрофоном не умеет, и вообще стоит ли упоминать о нем, рановато, ни к чему, в связи с тем и поскольку он не решил для себя в принципе...

— Не решил — что? — резко занеся голос, спросила Аля.

Он промямлил, что, может, лучше не стоит объявляться, засмеялся заискивающе, пытаюсь как-то утешить Алю, хотя при этом один глаз его открылся с некоторым удивлением, а другой подмигнул неизвестно кому.

— Та-а-ак, — Аля повернулась к Королькову.

— Я наоборот, Алечка, я его уговаривал, — поспешно сказал Корольков.

— Что он вам наговорил, Павлик?

Кузьмин ответил не сразу.

— Он ни при чем, дело не в нем.

— Кокетничаешь ты, Паша, — сказал Корольков. — Гордишься. Не строй ты из себя блаженного. Никто не оценит. Наше поколение и так слишком деликатно. Думаешь, твой Нурматов зарыдает от твоей скромности? Да ему только на руку. Они скромничать не станут, они люди деловые, у них не залежится, все пойдет в дело, и твоя нерешительность и доверчивость, им все сгодится.

— Иди, иди, — сказала Аля. — Корреспондент там ждет.

— Ничего, подождет, я сейчас, Алечка, я только хочу показать этому гегемону, насколько он оторвался и недооценивает. Ты, Паша, пойми, наша научная деятельность будет приобретать все большее значение. Больше, чем твои монтажные работы. Твои работяги — это еще не механизированные остатки прошлого. Сейчас, брат мой, центр человеческой деятельности перемещается. Из цеха в институт. Активность людей переносится из сферы производства вещей в сферу производства идей...

Он увлекся, в словах его, хотя и произносимых не впервые, прорвалась такая гордость за науку, которой он служил, что Кузьмин поразился, самого же Королькова воодушевило то, что он заставил Алю себя слушать.

— Красивая картина, — сказал Кузьмин. — Ну прямо девятый вал. На нас идет наука! Наука, наука, а нам что остается? Может, поспособствуешь, чтобы нам годовой план скостили? Поскольку центр перемещается и грязная наша, бесславная работа не имеет будущего... Эх, Вася, пока вы решаете задачки и выступаете, кому-то надо таскать, строгать...

— Тот, кто на другое не способен, пусть этим и занимается.

— Ты, значит, способен? Ты? Ты богом отмеченный? — Кровь прилила у Кузьмина к голове, забились толчками в висках. — Уж ты бы молчал. А ты на тридцатиметровую опору залезть способен? Думаю, полные штаны накладешь!

— Убил! Наповал!

— Кончайте, — отрубилА Аля. — Вася, корреспонденту скажи, что с Кузьминым потом... Или нет... Словом, скажи что-нибудь! — прикрикнула она.

Лицо Али замкнулось. Погасли глаза. Осталась грубо размалеванная маска с комками помады на запекшихся губах.

Молчали. И раскаяние медленно проникало в Кузьмина: старалась, хлопотала ради него, влетела сюда счастливая, а он заместо спасибо холодной водой в рыло, фанаберию свою распустил.

Стоило бы ей сейчас заплакать, не сдержаться, и он согласился бы, пошел за Корольковым к этому корреспонденту, сделал бы все, что она просила.

..Бедняга, бедняга, как он постарел, опустился. Что за костюм, ботинки круглоносые, старомодные, и эта клетчатая перемятая рубашка. Видимо, привык и не замечает, что превратился в заурядного технаря, прораба... Бывший Кузьмин. Осталось кое-что в повадке, в манерах, по ним-то и можно признать. А какой был герой, как стартовал... К нему ходили со всего факультета с задачками. Не потому, что так уж быстро соображал, а скорее потому, что красиво у него все получалось. Все у него было красиво, на доске писал и то красиво. Куртка суконная с молниями сидела на нем лучше модных костюмов. Молнии сверкали на карманах, на груди. Это он первый ввел тогда моду носить книги и конспекты, перевязанные ремешком. Корольков, стыдно признаться, и кепку надевал по-кузьмински, сдвинув верх назад. У Кузьмина имелись все данные, чтобы взмыть. Он должен был прославиться. Природа наделила его ростом и внешностью представительной, что, между прочим, играет отнюдь не последнюю роль. Пашка Кузьмин с его широкими плечами, зачесом светлых волос был прямо-таки создан для выдвижения. При всех, как говорится, прочих равных, именно он, на взгляд любого начальника, соответствовал облику руководителя, он имел явные преимущества перед низенькими, толстыми, вислоносыми, перед тихонями и говорунами. И физиономия у него располагала. За таким прежде всяких других хотелось идти и слушаться, такой и для представитель-

ства хорош. В начале карьеры Корольков нахлебался по уши, когда какой-то кадровик усомнился, будут ли иностранцы таять при виде Королькова, ему, видите ли, надо, чтобы они ходили под себя от умиления. . . Даже и ныне Кузьмин, конечно при соответствующем оформлении, тянул на крупного работника Совмина. Властность была и спокойствие, как будто он уверен, что ни одно его слово не пропадет впустую. Господи, на какие сказочные орбиты он мог выйти!

Первые годы Корольков ревниво следил за ним, сам не зная, чего желает: падения или возвышения. Лазарев уверял, что Кузьмин карьерист. Увидел, что в науке быстро не получается, переметнулся в инженерию, надеясь, что через промышленность скорее можно пробиться. Такое объяснение устраивало Королькова, и держалось оно долго, следуя за прерывистым, но неуклонным восхождением Кузьмина, которое, впрочем, как теперь понимает Корольков, совершалось с некоторым торможением, явно медленнее, чем полагалось в те бедные кадрами послевоенные годы.

История с интервью, вернее, скандал с этим интервью опроверг лазаревскую схему. Самого Лазарева тогда уже не было в живых, но вряд ли и он смог бы объяснить произошедшее. Зачем, спрашивается, понадобилось Кузьмину, уже работнику министерства, откровенничать с каким-то писателем и заявлять, что Булаховскую гидроэлектростанцию строить невыгодно? И это в конце второго года строительства, которому он должен был содействовать. Корольков сразу определил, что скандала не миновать. С этой новостью Корольков и приехал после долгого перерыва к Але. . . Министерство это не институт, можно, конечно, отстаивать свое мнение, но весь вопрос — до каких пор, да и тактично ли через печать. Кроме строительства ГЭС Кузьмин еще замахнулся на способ передачи энергии постоянным током, о котором тогда много говорили. При таком несогласии логичнее подать в отставку. На что он, Кузьмин, рассчитывал? Никто никогда не останавливал начатую стройку. Слишком много специалистов должны были признать свою ошибку. Факты, которые Кузьмин сообщил писателю, были неопровержимы, и тем хуже было для Кузьмина. Спрашивается, о чем он сам раньше думал? Где он был? Нет уж, взялся, так, будь добр, служи честно, тяни до конца

и не ной, не жалуйся. Корольков тоже мог бы исхаять свою работу. В заграникомандировках не так уж много хорошего. Ему осточертел душный табачный запах отелей средней руки, с их больничным строем дверей, наглыми швейцарами; бессмысленные приемы, которые устраивали такие же бессмысленные комитеты, где приходилось улыбаться безостановочно, широко, радушно, а ночью от этой улыбки болит лицо и дергаются мышцы рта. А бесчисленные чашки кофе, после которых он мучился изжогой. А заседания, где надо мгновенно отбивать наскоки и выпады, и так трудно сразу найтись, а потом в кровати приходит запоздалый ответ, и от этого ворочаешься, и никакое снотворное не помогает. Давно уже он, приезжая за границу, не ходил по театрам, не искал достопримечательностей, ему надоели шоу, стриптизы, музеи. В свободное время он валялся в гостинице, читал детективы. Но он не плакался, ни перед кем не вытряхивал изнанку своей работы. Але и той не жаловался. Держался, чтобы все завидовали. И Кузьмин сегодня позавидовал — это Корольков чуял безошибочно. Все завидовали, слушая его рассказы о ЮНЕСКО, о знакомствах, жизнь его выглядела яркой, как на цветных фото, которые он любил показывать: Корольков на конгрессе во Флоренции, Корольков в гостях у Бертрана Рассела, они сидят на террасе старого шотландского дома Расселов, Корольков гуляет по Версальскому парку вместе с известным французским математиком Адамаром. Академики и те с уважением разглядывали эти фото. А вот Кузьмину он не стал их показывать. Побоялся, что ли? От Кузьмина можно было чего угодно ожидать. Но чего бояться Кузьмина? Кто такой Кузьмин? Инженер, каких тьма. Ничего задуманного из его сказки не вышло. Провинциальный неудачник. Опасается нарушить рутину своей жизни, держится за местечко, благо не надо много думать, знай привинчивай и включай, — одни и те же хлопоты, одна и та же техника. С какой стороны бояться Кузьмина, — казалось бы, ни с какой, вдуматься, так он на сегодня ничего из себя не представляет. Человек, потерявший веру в себя, хотя и хорохорится, это Королькову было видно насквозь. Какого же черта!

Он знал, что ему мешает, он догадывался.

Как незримая преграда.

Со стороны не видно, что ему не дает перешагнуть, только он сам понимал, откуда выползает проклятая неистребимая робость. Из тех студенческих лет, из того вечера, когда Кузьмин притиснул его к холодной стене в подъезде лазаревского дома... И то, что Кузьмин удивился успехам Королькова, уже не радовало. Скорее было оскорбительно! Шло ведь это от институтских лет, когда Королькова всерьез не принимали. Его порой вовсе не замечали. На Карельском, в дюнах, он отстал, потерял ребят, и когда наконец разыскал их, они раскладывали на траве горячую вареную картошку и Кузьмин спросил, не у него ли соль. Никто и не заметил отсутствия Королькова. Беда в том, что он не может этого забыть. Слишком много он помнит.

Ровно крутились бобины магнитофона. Внутри у Королькова тоже раскручивался записанный набор годных на сей случай фраз. Корреспондент следил за лентой, которая требовала больше внимания, чем текст. Обычные вопросы, обычные ответы, грамотно расставленные ударения, без запинок и монотонности, знает, что надо: читать, будто бы не читает, а говорит. Ученый нового типа: уважает чужое время и ценит свое.

Случай с Кузьминым мог, конечно, оживить его выступление. Украсить. Вызвать в некотором роде сенсацию. То, что Кузьмин волнуется, жметесь, — типичное кокетство. Взять и рассказать про Кузьмина — поставить его перед фактом, и никаких кренделей. Потом благодарить будет. В таких случаях чуть столкнуть камешек — и покатится, и загрохочет, и не остановишь.

«Павел Кузьмин, с которым, кстати, мы когда-то вместе учились в институте».

Можно добавить: «Мы рады, что удалось его отыскать».

Или: «Мы рады, что сегодня в конгрессе он участвует вместе с нами... что он предстал как автор...»

Для журналистов это находка, они налетят, специальную передачу закатят. Корольков мог бы представить Кузьмина, прокомментировать. Преподнести происшествие с Кузьминым можно умно и поучительно: человек, в котором уживаются абстрактная наука и производство

монтажных работ, сделал открытие и ушел в промышленность, и доволен! Поднять Кузьмина так, что станет он героем! Запросто.

Но почему, спрашивается, он, Корольков, должен делать из него героя, почему он должен возвеличивать его и сам за здорово живешь украшать его перед Алей? Что хорошего сделал ему Кузьмин? Пришел, явился на все готовое, и пожалуйста — все встают, овация, степень на блюдечке! А другие геморрой себе наживали, сидя над кандидатской. И сразу же, не разгибая спины, за докторскую. Молодость всю ухлопали. . .

Сегодня, конечно, Кузьмину можно присуждать без защиты, ему незачем выпрашивать отзывы, трепетать от замечаний оппонентов, заниматься бесконечными правками, мучительно проводить предзащитные недели, когда ждешь в любую минуту — где-то найдут ошибку, и все рухнет, завалится. . .

За что это Кузьмину такие привилегии, за какие такие доблести?! Если б не Аля. . .

У Али свой интерес, и она доведет Кузьмина до дела.

Жаль, что из-за Али нельзя выдать полным текстом Кузьмину, ох и славно бы перешагнуть всякие соображения и с маху выдать им обоим, не выбирая слов, и Кузьмину и Але. Пусть она слышит. . .

Он представил себе это живо, так что в горле запершило. Какая сладость хоть на минутку отбросить высшие соображения, всякую дальновидность, этот проклятый мундир положения, который никак не снять. И ведь дома, с Алей, и то он разучился быть самим собой. . . С Алей он всегда тоже на цыпочках, Аля человек железной воли, она могла бы командовать армией, могла подводной лодкой, могла быть послом, министром, вождем африканского племени.

Она любого заставит сделать все, что ей надо. Как бы там Кузьмин ни мудрил, ему не вырваться.

Корреспондент поиграл на клавишах переключателей. Магнитофон заговорил голосом Королькова — звучным, наполненным баритоном. Чувствовалось, что говорит без бумажки компетентный, серьезный ученый. Разве можно было догадаться, что творилось с ним, когда он это говорил? В одном месте он запнулся, вместо «Лаптев» сказал «Лазарев», тут же поправился, но корреспондент сказал, что это легко вырезается. Прекрас-

ное устройство, любые оговорки, ошибки вырезаются и удаляются, остается только нужное, разумное.

— Вы ничего не хотите добавить? — Это голос корреспондента.

— По-моему, достаточно, — ответил тот же звучно уверенный баритон, принадлежащий человеку, которого и Аля могла бы признавать, как это делали все остальные.

Она сама его создала и не любила. Он знал это. Хотя она полагала, что он не знает. Она не догадывалась, что он знает. Это было его преимущество, но он никогда не мог использовать его...

V

— Ты счастлива?

У Монетного двора бродили часовые в мокрых блестящих плащах с острыми капюшонами. Площадь перед собором была пуста. Прожектора освещали золотой шпиль и на нем ангела, одиноко летящего сквозь туман.

Ты счастлива?.. Откуда пробился этот вопрос, из каких подземных источников, что продолжали струиться меж ними. Какое ему дело — счастлива она или нет. Что ему хотелось бы услышать?

Рука ее в синей перчатке лежала на его согнутой руке... Когда-то с ним что-то похожее было. Они ходили с Алей по Ленинграду, в котором еще не было метро и телевизионной башни, и телевизоров, кажется, тоже не было...

Когда-то точно так же она прижималась бедром, у нее это получалось само собой. Не мудрено, что он лапал ее не стесняясь, но и она вела себя будь здоров... Глядя со стороны на ее строгое лицо, и в голову не придет... что она умеет так прижиматься и шептать.

Счастлива?.. Еще бы, сам отвечал он, как все хорошо у нее сложилось... Ему хотелось улестить ее, дать время отсердиться. И он нахваливал ее и Королькова: смотри, как взлетел, какой стал корифей, наверняка это ее рук дело, искательно предполагал он, надо же уметь обнаружить в Королькове такой алмаз!

Наконец-то она усмехнулась. Ей понравилась его догадка. Мало кто знал, сколько ей пришлось помыкаться и какова ее роль. Корольков не верил в себя, боялся и

мечтать о диссертации («Ваша работа, Павлик, да и папа мой тоже добавил»), терпеливо и осторожно она внушала ему, что он способен, что может не хуже других. Не отступаясь ни на один день, она буквально заставляла его писать, действуя и лаской и угрозами, грозилась бросить его, зачем ей муж, который не имеет положения, не в состоянии пробиться. Наверное, легче было самой сделать диссертацию.

— Неужели и докторскую вытянула ты?

— И докторскую. Могу из него и член-корра сделать, если возьмусь, — с вызовом сказала она.

— Но докторская... Это же должен быть серьезный вклад...

— Вклад был... — Голос ее колыхнула чуть слышная улыбка. — Что вы, не знаете, Павлик, как это делается? Направили в докторантуру. Им для Ученого совета нужен был доктор. Полагалось. И ставка была. Я говорила: направляют — иди. С кандидатской его тоже подгоняли. У них свой план подготовки. Должен расти. Ассистент должен становиться научным сотрудником. Корольков не рвался. Единственное, чего я добивалась, чтобы он не противился. Делал, что требуют. Мой Корольков еще лучше некоторых других.

— Представляю. Но при чем тут наука?

— Ах, Павлик, не равняйте на себя, у вас иное дело, у вас талант.

Он молчал.

— А на Королькова вы напрасно, он вырос на своем месте, если б вы знали, сколько он пробил для наших математиков изданий, командировок по обмену. Это можно лишь с его упорством. У него характер есть, этого от него не отнимешь. Помните, Павлик, как он у нашего дома дежурил?..

Наконец-то из глубин и поверхности сознания всплыла картина осенней набережной, продрогшая фигура Королькова с поднятым воротником. Всякий раз, возвращаясь к Лазаревым, Кузьмин видел маячившего поодаль Королькова. До поздней ночи горе-кавалер бродил под окнами. Над ним смеялись. Аля потешалась откровенно и зло. На Королькова ничего не действовало. Однажды, рассвирепев, Кузьмин прогнал его, тогда Дудка перешел на другую сторону Фонтанки, стал там ходить, мотаясь взад-вперед, вдоль чугунных перил. Он был трус,

слабак, зануда, его постная физиономия изображала страдание необыкновенной личности, — все это смешило Кузьмина, знавшего, что Дудка бездарен, скучен и не имеет никаких надежд на успех. Все преимущества были на стороне Кузьмина. Тем не менее Дудка иступленно продолжал свою безнадежную борьбу. Иногда, обессиленный, он повисал на перилах, тупо глядя в грязную воду. Лазарев боялся, что он утопится. Однажды Кузьмину это надоело. Почему-то вдруг обрыдло, и он уступил. Или отступил?

Постепенно провалы памяти заполнялись клеточка за клеточкой, как в кроссворде.

— . . . чего другого, а настойчивости ему хватает. Если им постоянно руководить. У американцев вышла книга «Роль жен в жизни ученых» . . .

— Что делает любовь, — сказал Кузьмин.

— Любви не было, — сказала Аля. — Был расчет.

— Он же тебя любил?

— Он — да. А мне было не до любви. И глупо было ждать любимого. Кто я была? Разведенка, учителька. Восемьдесят пять рэ в месяц, маленький ребенок, жила в одной комнате с больной теткой. Чего мне ждать? Мать-одиночка. Я уже без иллюзий была.

— А Корольков ходил под окнами.

— Примерно так. Во всяком случае, возник и не испугался. Счастлив был, когда я согласилась. Расчет — он умнее любви. И честнее. Любовь с первым моим кончилась пьяными драками да судом. Квартиру потеряла. Нет, для прочного брака любовь не главное. Без нее даже лучше. Я для Королькова старалась, потому что отработывала, в благодарность. Отплатить хотела. — Она подумала. — Да и должна я себя куда-то тратить.

— А он?

— А ты, а он, — передразнила Аля, — я пошла с вами, Павлик, не для исповеди. Что он, ему прекрасно, он считает, что это и есть любовь. Может, он и прав. Любовь разная бывает. Я столько ему отдала, столько возилась с ним, почти наново сделала, что и самой смотреть — сердце радуется. . . Так что иногда думаешь. . . Хотя. . .

Пауза возникла опасная, зыбкая, как трясина.

Часовые принимали их за любовную парочку: молодые люди, у каждого семья, деться некуда, вот и

кружат подальше от людей, в туманном безлюдье крепости.

А ведь могло так и случиться.

Вариант, который еще возможен.

Отлитая, затвердевшая, казалось, навсегда, жизнь податливо размягчалась, позволяя все смять и переделать.

Полосатые тюремные ворота, будки, каблучки по булыжнику. . .

Тень арки поглотила их и вырезала полукруги над Неву, мглистое высвеченное снизу небо, комендантскую пристань. Волна била в гранит. Холодный ветер гулял по реке. Аля прижалась к Кузьмину. Ему захотелось спуститься к воде. . .

Прыгнуть на осклизлый камень. . .

Поднять Алю на руки. . .

— . . . Как обидно, Павлик, что папа не дожил и не узнал.

Пружинка волос качнулась у ее виска.

— . . . такой триумф. . .

Или уехать сейчас с ней. Пойти на вокзал и уехать.

— . . . почему вы не хотите? Что вам мешает?

— Ничего не мешает, — сказал он, — да этого мало.

— Что вас останавливает?

— Подумать надо, — примирительно сказал он.

— Чего думать? Завтра вечером заключительное заседание, поэтому сейчас надо решать. Нам надо ведь подготовиться. Боже, да за что вы цепляетесь? В крайнем случае назад всегда вернетесь. Такой-то хомут никуда не денется.

— Алечка, почему вы оба, с вашим ученым супругом, так высоко к моей работе. . .

— Можете со мною, Павлик, без вашего примитивного мужского самолюбия. Вас никто не посмеет упрекнуть, вы не сбегаете, вы возвращаетесь к своему призванию.

— Слишком поздно.

— Там видно будет, сейчас следует использовать ситуацию, завтра на заседании вам надо сказать следующее. . .

Завтра ему предстоит встреча со следователем. Голубевская бригада кабельщиков по вечерам халтурила на соседнем заводе. Монтировали кабели. Откуда брали ма-

териал? Кузьмин объяснил следователю, что, хотя формально материал можно считать казенным, фактически же это бросовая арматура, захороненная в земле. У бригады свое хозяйство, учет там вести невозможно. Следователь, человек бывалый, понял, что стоимость воронок, муфт, гильз — копеечная, кое-что из дефицита стоило подороже, но и это следователя мало занимало. Его интересовало — знали ли мастер, начальник участка про эту халтуру. Кузьмин, выгораживая ребят, сказал, что он и сам знал. И начальство повыше знало. Не именно про этот завод, а что кабельщики и сетевники халтурят. Почему не запрещают эту халтуру? По многим причинам, прежде всего потому, что всякому предприятию позарез нужна подобная халтура, без нее не обойтись, специальной организации, которая бы вела такие работы, нет. . . Пока следователь писал, высунув кончик языка, он выглядел простаком, но когда он поднимал глаза, оплетенные тонкими морщинами, было ясно, что ему давно известно многое из того, что рассказывает Кузьмин. Когда Кузьмин предложил съездить на завод убедиться, следователь спросил, нужно ли это, Кузьмин настоял, не обратив внимания на его интонацию. По новому цеху их водил заводской энергетик, также привлеченный по этому делу, испуганный, плохо выбритый человек с еле слышным голосом.

В цеху стояли серебристые камеры для каких-то испытаний, сушильные агрегаты, холодильные, сверкала эмаль, никель. Этот цех выглядел как лаборатория, красивая, чистая, тихая и неработающая. Торчали разведенные концы кабелей, обесточенных, невключенных. Появился директор завода. С ходу он набросился на следователя, грозя жаловаться в обком, в Совет министров. «Вы срываете выполнение госзаказа! — кричал он. — Вы ответите!» Ему надо было немедленно пустить этот цех. На любых условиях — отдавайте под суд бухгалтера, энергетика, но разрешите кабельщикам кончить работу. Следователь не соглашался, и директор стал сваливать незаконные действия на своего энергетика. Кузьмин не выдержал, вступился — ведь энергетик хотел выручить завод, он выполнял требования начальства. На это директор, считая, что Кузьмин хочет его «вмазать», заявил, что лично он понятия не имел о подобных махинациях, что он никогда ничего подобного бы не позволил.

Поведение директора обескуражило, — вместо того чтобы замолвить слово за кабельщиков, директор топил их, а заодно и своих людей, так что от поездки никакой пользы не выходило. Следовательно не преминул поставить директора в пример Кузьмину — вот как надо блюсти государственные интересы, а не выгораживать халтурщиков. Однако при этом, как бы невзначай, он справился у директора, почему не обеспечили кабельщиков заводским материалом. Ах, на заводе нет, но почему не запросили министерство? Фондированные материалы? Пока выхлопочешь, год пройдет? Значит, директор все же знал? Значит, у энергетика выхода не было? Или был? Вопросы мелькали быстрые, простенькие, и задавал он их с непонятливо-простодушным видом, и вскоре неизвестно как выяснилось, что кабельщики и энергетик хоть и нарушали, но без них дело бы не продвинулось, а директор, тот как раз не способствовал, и сейчас в некотором смысле тормозит, поскольку если со стороны энергетика, как он указывает, есть злоупотребления, то надо заводить настоящее дело. . . На обратном пути следователь спросил: почему директор себя так ведет? Кузьмин сперва назвал директора трусом, прохиндеем, делягой, но тут же усовестился: директор был заслуженный, прошел огонь и медные трубы, — нет, дело в другом, на его месте, может, и Кузьмин вел бы себя не лучше, потому что держать такой цех под замком никто не может себе позволить. . . А почему же Кузьмин защищает кабельщиков? Опять же не в силу благородства, разъяснил Кузьмин, а прежде всего потому, что кабельщиков не достать, дефицитная специальность. Вот и приходится цацкаться с ними. Да и выполняют-то они то, что, кроме них, никто не сделает, они действительно выручили завод. . . Он не стал добавлять, что, как бы их ни наказывать, ничего от этого измениться не может, сами предприятия толкают их на нарушения. Не первый раз его кабельщики попадались. Да бригадир Голубев и не таился. Похоже, привык к тому, что их отстоят. Они понимали ситуацию не хуже Кузьмина. Сам он вмешивался в крайнем случае. Было неприятно, что при этом тень подозрений ложилась и на него: «круговая порука», «честь мундира» и тому подобное. «Но кому от этого плохо, государство-то выигрывает?» А ему отвечали: «Государство не может выигрывать, если нарушается закон».

К счастью, нынешний следователь избегал общих слов. «Все же придется привлечь бригадира», — как бы советуясь, сказал следователь. «Делайте что хотите». — «Что же вы, отступаетесь?» Он промолчал, но завтра Кузьмин скажет: «А меня это уже не интересует». — «Как так?» — «А вот так, я ухожу». — «Куда?» — «Далеко! Я улетаю от ваших дознаний, от взысканий, от наглеца Голубева, которого следовало бы проучить, от летучек, бесконечных бумажек, от хозактивов, от сметчиков, от новых распредустройств, приписок, отсыревшего кабеля, битых изоляторов, от печали вечерней своей опустелой конторы, — я улетаю, я удаляюсь».

— . . . Завтра, — говорила Аля, — завтра. . .

Завтра он может стать недосыгаемым, уплыть в иной мир, к иным людям. Вдуваются паруса, руль поворачивается круче, еще круче. . .

Камень внизу был мыльно-скользящий, прыгнешь — не удержишься. Прорези окон в крепостных стенах зияли столетней тьмой. Заключенные спали — декабристы, народовольцы, петрашевцы. . . В Монетном дворе стучали прессы. Готовили ордена и медали. А напротив, через Неву, в саду Мраморного дворца стоял маленький ленинский броневик. . .

— А Лаптев? — сказал Кузьмин. — Прошу тебя, Лаптева не трогай, не надо.

— Пожалуйста. Я согласна. Я вас понимаю, Павлик. Посмотрим, если он вам поможет. . . — Она наклонилась к нему. — Но все равно свое он получит, — глаза ее были, холодные и темные, как эта река.

— Тогда я не играю, — сказал Кузьмин. — Нет. Не нужны мне ваши утхи, не пойдет, — повторил он с удовольствием.

Он загадал — удержится или не удержится, — но не прыгнул, а спустился с причала на камень, ноги его стали разъезжаться, пока не уперлись в какие-то выступы.

— Зачем мне все это, не нужно, не нуждаюсь! — крикнул он снизу, не то дурачась, не то всерьез.

— Как это глупо, простите меня, Павлик, но другого слова я не нахожу. . . Пойдемте, здесь ветер.

В темноте арки он взял ее под руку.

— Зачем вы меня мучаете, Павлик?

Он засмеялся.

— Ей-богу, Алечка, неохота.

— Вы боитесь?

— Чего мне бояться?

— Вы, может, сами не понимаете. Вы боитесь отказаться от своего прошлого. Пришлось бы признать, что все было ошибкой. Вся ваша жизнь, со всеми вашими достижениями, все, все. . . Нет, нет, я уверена, все было достойно и дай бог всякому, но не то. Вам полагалось другое. Вам надо сказать себе, что вы жили не так, делали не то, занимались не тем, — это, конечно, грустно. Надо иметь мужество. . .

— Да почему не то? Откуда тебе знать! — воскликнул Кузьмин, теряя терпение. Голос его взлетел, гулко ударился в кирпичный свод арки.

— Знаю, лучше других знаю! — с нажимом сказала Аля. — У вас, Павлик, был талант. А вы его затоптали. Вы не поверили в себя, — ожесточенно твердила она. — Вам завидовали. Вы же счастливчик! Вам достался божий дар! Другие бы все отдали. . . Если бы Корольков хоть половину имел. . . Господи, ведь это наивысший акт природы! . . Вы поймите, Павлик, им всем это недоступно, они в глубине души понимают, что положение у них временное, и у Королькова временное, а талант — это вечное. Талант дает удовлетворение, неизвестное им всем. . . Ну, хорошо, ошиблись по молодости, прошлого не изменишь, но зачем же оправдывать то, что произошло, только потому, что это прошлое ваше? Ах, Павлик, зрелость наступает, чтобы исправлять ошибки молодости. Судьба дает эту возможность, судьба вознаградила вас, Павлик, и меня тоже, мы с вами наконец дождались. . .

Раздражала ее выпренность и то, как она прижимала руки к груди. Кузьмин видел, что все это было искренне, и от этого ему становилось еще досаднее.

— Дает, значит, судьба возможность исправиться, да? Образумиться? А он кобенится. . . А если я ни о чем не жалею? Тогда как? Не раскаиваюсь. И никогда не жалел, моя жалелка на других удивляется, — соврал Кузьмин, но его подмывало выразиться поглубее, да и назло. — Тебя вот жалею. А себя-то за что? Отдельные ошибки, конечно, были, но общая линия совершенно

правильная. Я работал, а не языком чесал, как твой Корольков! Твое, между прочим, произведение. На стройплощадке ему красная цена сто тридцать рэ. И будь добр, вкальвай. Ясно, зачем ему пачкаться!

— Корольков, между прочим, лаборантом простым работал, получал девяносто рублей. У нас на такой ставке молодые ребята после университета сидят по многу лет. И не жалуются. Уж ученых в корысти грех упрекать. Вы любому предложите двойную ставку и чтобы вместо научной работы пойти счетоводом, монтером, кем угодно — откажется. О нет, ученые — это особые существа! Самые бескорыстные!

— Сухою корочкою питаются? Как же! Только зачем ему идти монтером? Там давай норму, давай план. Там грязно, шумно, всякие нехорошие слова говорят. Номерок вешай. А у вас чистенько, интеллигентная среда, милые разговоры. Платят меньше, зато под душ не надо. Все, что ни сделаешь, все работаешь на себя, на свою славу. А не хочешь работать — никто не заметит. Вдохновения нет, и все, поди проверь.

— Фу, стыдно слушать от вас, Павлик, такую обывательщину. Не вам бы... Интеллигенцию легко бранить. Они, мол, белоручки, болтуны, они много о себе мнят, они хлюпики, неизвестно за что деньги получают. Наш директор института, он, например, себя считает крестьянином. Это его гордость, обижается, если его называют интеллигентом.

— Скажи своему директору, что крестьянином можно родиться, а интеллигентом нельзя, интеллигент это не происхождение и не положение, это стремление. Свойственное, между прочим, не только научным работникам. На производстве, к твоему сведению, тоже встречаются интеллигенты... Хотя вы считаете инженера, мастера черной костью... — Кузьмин поднял палец, хотел что-то подчеркнуть, да передумал, вздохнул. — А может, ты права, теперь не тот инженер пошел. Мельчает наша среда, беднеет, сколько-нибудь яркое отсасывают всякие НИИ, КБ, кафедры.

— Только потому, что у нас кейф, безделье? Так вы утешаетесь? А может, они стремятся на передовую? — Кругом было темно, а в зрачках ее горели бешеные огни. — Мы работаем побольше ваших шабашников! Наши головы ни выходных, ни отпуска не имеют. А что касает-

ся грязи, так я, к вашему сведению, каждый год весной и осенью в поле, я вот этими руками в колхозе столько картошки убираю, что всем вашим монтерам хватит. Да, да, кандидаты наук, доценты, лауреаты. . . пропалываем, и гнилье перебираем на овощных базах, и не ноем. У нас бездельников не больше, чем у ваших. . . Только у нас стащить нечего. Вот наш недостаток. . .

— Но это же глупо — хаять друг друга.

— Не я начинала.

Они препирались, все более ожесточаясь, и опять в последнюю минуту, когда Кузьмин понял бессцельность их схватки, но еще не нашел силы уступить, Аля опередила — мягко и виновато поскребла его руку.

— Вы помните, Павлик:

Чужое сердце — мир чужой, —
И нет к нему пути!
В него и любящей душой
Не можем мы войти. . .

Он вслушивался в эти стихи, пытаясь продолжить их музыку. . . Знал ли он их когда-то? Читал ей наизусть, или она ему читала?

— . . . Вы, Павлик, могли себя чувствовать счастливым, пока не знали. . . Теперь же, когда есть уравнение Кузьмина. . . Оно будет существовать независимо от вас. В этом отличие науки. А кто устанавливал выключатели. . . не все ли равно, никого это не интересует. . .

Положим, случись что, и весьма даже будут интересоваться. Поднимут документацию.

Она не понимает, что совсем это не все равно, кто устанавливал, кто монтировал. Вот муфты акимовские, кабель акимовский. . . Этого Акимова он застал уже в самые последние месяцы перед смертью: маленький, с перекошенным от пареза страшноватым лицом, на котором успокаивающе светились голубенькие добрые глаза. Кабель, проложенный Акимовым, муфты, смонтированные Акимовым, славились надежностью. При аварии смотрят по документам, кто делал муфту; сколько лет, как Акимов умер, а до сих пор всем известно: если муфта его — можно ручаться, что авария не в муфте. Даже сделанное им в блокаду стоит и работает. Десять лет пройдет, двадцать, и по-прежнему имя его будет жить в уважении. Вот тебе и загробная жизнь.

Но вообще-то. . .

В Горьком Кузьмина не хотели пускать в цех автоматов, который он монтировал. Никто тут не знал, не помнил, как монтажники там ползали под крышей, по чертовым ходам-переходам, волоча кабель, двести сорок квадрат, а попробуй обведи его нужным радиусом между балками, покорячишься, пока управишься с этой жесткой виниловой изоляцией, только через плечо ее угнешь. Как у него кружилась голова от тридцатиметровой высоты, с детства у него был страх высоты. . . «Что вам надо?» — спросил по телефону начальник цеха. «Посмотреть? Чего смотреть?» Разве объяснишь. И не доказать было, что именно он монтировал цех, никаких справок не дается. . . Потом, когда его наконец пропустили, он обнаружил, что цех уже не тот, аппаратуру заменили, поставили новые моторы, только крановое хозяйство осталось, на той же тридцатиметровой отметке.

Сколько было таких цехов. . . А в самом деле — сколько? Он даже приостановился. Штук двадцать наберется, плюс еще подстанции, распреустройства, пульта. . . Нет, нет, не так уж плохо это выглядит. Если еще нынешний объект вытолкнуть, то считай, второй завод целиком. . .

— . . .Что ж вы, Павлик, из-за того, что Корольков вам не так сказал, из-за этого вы закусили удила?

— Он сказал совершенно точно. Сказал то, что не принято говорить, но все думают: «Ни на что другое не способен».

— Обиделись?

— Нисколько. Я-то способен. Какая тут обида, ты не поняла. . .

Такое словами не передать. Это пережить надо, когда с нуля начинаешь. Все твое в пустом, чистом, пахнущем известью, краской зале. Ну, не совсем все. Машины, железо устанавливают другие. Но сила, то есть энергия, свет, тепло, движение, — это твое. Первооснова. Азбука. Потом можешь читать что угодно, но вначале кто-то должен выучить тебя азбуке. Об этом первом учителе забывают. У монтажника работа незаметная. Своего монтажники ничего не делают. Они готовое ставят на место. Исправляют чужие ошибки: проектировщиков,

строителей, поставщиков. Позавчера хватились — щиты привезли покореженные. Кому приводить в порядок? Монтажникам. Заказчик плохо хранил реле — монтажники очищают ржавчину, окислы, дряют, заменяют контакты. Работяги прекрасно знают, что они не обязаны. И в зароботке теряют, и не выведешь им. Чего проще — не годится реле — гони другое. Не дадите — стоим. Постоим, постоим — уйдем на другой объект. Но почему-то никогда этого права своего не удавалось осуществить! И работяги — эти шабашники, эти халтурщики, эти рвачи, молотки, эти хваты, которые умели качать права будь здоров, — помалкивали, чистили щиты от краски, исправляли реле. . . Понимали: они не сделают — все остановится, все сроки, планы полетят. . .

— . . . ежедневно я необходим. Без меня не обойтись. И ежедневно есть результат. Видно, сколько сделано. Не отвлеченные цифры, не научные отчеты, что гниют потом годами. Не проекты. И даже, скажу тебе, не то что на заводе: собираешь мотор, толком неизвестно, куда, для чего. А тут все понятно. Любому. Мы последняя инстанция. Финиш для каждой катушечки. Кончили — и пуск. И все заработало, закрутилось. . .

Нужен он, это точно, ничего не скажешь. Ежечасно. Для всяких okazji. Редко для хорошего. С утра сегодня — агрегат в последнюю минуту перед пуском сменили, и подводка оказалась не на месте. Нарастивать надо, а как ее нарастишь? Места нет, и шкафы силовые не вписываются. Куда их ставить? Подать сюда Кузьмина, пусть изобретает, пусть придумывает, он начальник, он голова. . .

— . . . Но это по мне. По мне. А у вас. . . Столько лет обходились без меня, и обойдутся. Я не хочу зависеть от своего таланта. Нет у меня таланта. . . — повторил он, с интересом прислушиваясь к своим словам. Как будто нацелился и выстрелил, ударил снарядом в свой сказочный мраморный город, с тихими улицами, высокими библиотечными залами, с памятниками, мемориальными досками, золотом по белому мрамору. . . Взрыв, дым,

поднимается белая пыль над руинами. Обломки. Развалины. Колонны Парфенона, камни дворца Диоклетиана в Сплите. . .

— Если бы ты видела, какую я капусту вырастил, ты бы не стала меня уговаривать.

— Какая капуста? — сухо сказала Аля. — При чем тут капуста?

— Так ответил Диоклетиан, экс-император, когда римские кесари уговаривали его вернуться к власти, — улыбаясь, он смотрел в темное небо. — Слыхала про такую историю?

Ему хотелось уязвить ее, пробить ее высокомерие, ее отвратительную уверенность.

— Почему ты знаешь, что мне надо? Кем я должен быть, по-твоему? Откуда тебе это известно? Ну да, тебе все известно, ты знаешь, как лучше жить. . . Почему ты не слушаешь, что я тебе говорю?

— Потому что я не верю вам, не верю, — она, поддразнивая, засматривала ему в лицо. — Ни одному слову не верю, все это притворство, все эти мысли, взятые напрокат. Римский император — это же пижонство, это не пример.

— Но почему ты не веришь? Странно. . . Какая мне корысть притворяться? У меня не будет второй жизни, чтобы говорить правду. И неизвестно, когда мы встретимся еще. . .

При свете фонаря он увидел, как она съежилась.

— Это. . . зачем. . . Какой вы жестокий. . . Опять вы делаете ужасную ошибку. . .

Он был доволен, хотя не понимал, что ее так подшибло.

— . . . Может, у вас, Павлик, какая-то перспектива? Какие-то планы? На что вы надеетесь? — настаивала она, в отчаянии недоумевая, почему он не раскаивается, почему не приходит в ужас, узнав, что всю жизнь занимался не своим делом, что потерял ее, ибо она была неотделима от его великих деяний.

«Не хочу», — отвечал он. «А я выше этого». «Все это уже было». «Пойми, мне неинтересно». Все эти ответы ничего не разъясняли. Поведение его выглядело загадочно. Или нелепо. Хуже всего, что от Алиной настойчивости решимость его возрастала. Он ничего не мог поделать с собой. Голос его звучал убежденно, как будто

много лет Кузьмин готовился к этому часу, к этому отпору.

— Помните, Павлик, вы уверяли меня, что перевернете горы? Где эти горы?

Наверняка он так говорил. Горы!.. Ах, чужак, — простые наконечники, которые он предложил десять лет назад, и те еще осваивают. Сейчас он мечтает изготавливать контакторы, маленькие, подобно японским, легкие и надежные, — вот какие у него остались горы, совсем не те голубые, сверкающие ледниками исполины, что виделись молодому Кузьмину на горизонте его жизни.

Слова Али все же причиняли боль. Не ту, какой она добивалась, но боль.

Аля судила его, каким знала его тогда. То есть не его, а того мальчишку, за то, что он не совпадает, не поступает так, как должен был бы поступать. . .

Они вышли к стоянке такси. Машин не было, и людей не было, и не было где укрыться от ветра и мороси.

Он заслонял Алю, она стояла неподатливо прямо. Кузьмин обнял ее за плечи, мягко прижал к себе, и она вдруг охватила его за шею, зацеловала его часто, быстро обегая теплыми губами его лицо.

— Павлик, если б вы знали, Павлик, кем вы были для меня все эти годы. Вы всегда присутствовали. Папа перед смертью тоже просил, чтобы я помогла вам. Я знаю, я недостойна, но я втайне верила, честное слово, я так ждала, что этот день придет. . .

Слова ее ударялись в его щеку, уходили вглубь сотрясением, болью. Было чувство полной власти над этой женщиной — как будто на миг она лишилась судьбы и очутилась на границе между привычным и неизвестным. Она жаждала самопожертвования, достаточно было одного движения, одного слова.

— . . . Мне от вас ничего не нужно, Павлик, не бойтесь, я не покушаюсь. . . Стыдно, что я так надеялась. . .

— На что?

— . . . И ничего не могу найти из того, что оставила.

— Но это же смешно, Аля, я не могу отвечать за твои детские фантазии.

— Вот именно — фантазии. Как просто вы разделились, Павлик.

— Посмотри: я другой, совсем другой человек. Того

уже нет, как ты не можешь этого понять. И Корольков другой, и Лаптев, мы все стали другие, не хуже, не лучше, а другие. Это получается незаметно. . .

«Пришла моя пора, прошла моя пора, — подумал он, — меняется всего одна буква. . .»

— Почему же, я поняла. Вы, Павлик, всегда были другой. Не тот, за кого вас принимали. Вы оказались куда меньше своего таланта, — при этом она не отстранилась, она продолжала все тем же ласково-льнувшим голосом, только плечи ее закаменели. — Не тому было отпущено. Ошиблись. И я ошиблась, я любила. . . ах, Павлик, если б вы знали, кого я любила все эти годы. Какой он был, ваш тезка. . . Талант у вас, Павлик, не стал призванием, вы нисколько не пожертвовали ради него. Вы доказали, что талант — это излишество, ненужный отросток. Избавились и счастливы. Все было правильно. За одним только исключением, Павлик: будущее-то ваше — оно позади. У вас впереди не остается ничего. Но это мелочь. Вы прекрасно обойдетесь своей капустой. Вместо будущего у вас перспективный план по капусте. — Она отстранилась и посмотрела на него, обнажив в улыбке белые чистые свои зубы. — Не надо делать такое лицо, ничего, ничего, переключите свою злость на производственные показатели. . .

Никакой злости он не чувствовал. Сырая одежда тяжело навалилась на плечи, тянула его к земле. Он закрыл глаза, асфальт мягко качнулся под ногами. Площадь могла опрокинуться на него вместе с фонарями, газонами и гранитным парапетом. Он крепко взял Алю под руку.

— Со мною надо постепенно. . . — сказал он, но слова были горькие, связывали рот, и Кузьмин замолчал.

Такси не было. Время тянулось без звуков, движения, тусклая пелена тумана поглощала все. Где-то неслышно, как стрелки часов, ползли тени машин, взбираясь на мост.

Какими извилистыми путями жизнь вывела его к этому вечеру. Он стоял на развилке судьбы. Аля, Лазарев, Корольков. . . Замкнулось в кольцо то, что он считал незначущим эпизодом своей юности, навсегда смытым, стертым. . . Ан нет, давние, казалось бы, случайные слова, встречи — все они жили, дожидаясь своего часа, разрослись. . .

— Что, по-твоему, выше, — вдруг спросил он, — жизнь или судьба?

Она равнодушно пожала плечами.

— Жизнь выше, — сам себе ответил Кузьмин.

— Вы что же, Павлик, окончательно простили Лаптева? — спросила Аля.

— Я его даже поблагодарил. Думаю, что так будет лучше.

— Кому лучше?

— Всем, нам всем, и тебе тоже, — предостерегающе сказал он. — Твой отец, несмотря ни на что, чтит Лаптева, он сам говорил мне.

Ничего подобного Лазарев не говорил. Но какое это имело значение? Не стоило Але копаться в прошлом, во всяком случае ни к чему ей сталкиваться с Лаптевым. Ради отца и ради Лаптева. Потому что Лаптев в этом вопросе фанатик, он может зайти и не пощадить ее чувств к отцу, и оба они затерзают друг друга. Ложь, правда — когда-то это было так ясно: ложь — дурно, правда — хорошо, всякая правда хороша, правда не может повредить, ложь не может быть оправдана. С годами судить людей стало труднее. Все перепуталось. А судить надо было. Он понимал одно — с демонами прошлого надо обращаться крайне осторожно.

Зайдя в номер, Аля скинула намокшие туфли, привела себя в порядок, надела лодочки, припудрилась и, как было условлено, спустилась в бар, где сидел Корольков с французскими гостями.

Привычные эти действия, привычная обстановка несколько успокоили ее. Французы шумно обрадовались ей, принесли коктейль, она выпила и даже закурила. За столиком обсуждали математиков Бурбаки, потом сравнивали красоту законов Эйлера и Гаусса, смеялись над шуточками Несвицкого. Он, щеголяя своим прононсом, расчесывал бородку, наслаждался всей этой французскостью.

Улучив минуту, Корольков вопросительно посмотрел на Алю, она ответила коротко, так, что он один понял. «Чудак», — определил он, повеселев, и стал показывать французам свои фотографии.

Если бы она могла вот так же легко и пренебрежи-

тельно поставить точку. Сырость и холод медленно покидали ее тело.

Какая-то женщина издали смотрела на нее взглядом, полным зависти. Аля увидела себя ее глазами: со вкусом одетая, окруженная интересными иностранцами, весельем... В молодости она сама завидовала таким женщинам, одетым в чернобурки, с генералами под руку.

Коктейль был густой, крепкий. Аля пила мелкими глотками и ждала, пока внутри отойдет. Общее внимание, милые эти приветливые люди должны были возбудить хорошее настроение. Отлаженный механизм такого настроения обычно заводился легко, однако сегодня что-то не срабатывало. Время шло, а она никак не могла включиться в разговор и видела этих людей отстраненно, как на сцене.

Ее сосед француз улыбнулся ей и под столом положил ей руку на колено. Она не удивилась, она смотрела на него и старалась понять, где же она ошиблась в разговоре с Кузьминым, на каком повороте. Поначалу реагировал Кузьмин вполне нормально, строил разные планы и радовался...

Француз считался одним из светил, за ним всячески ухаживали, но Королькову единственному удалось наладить с ним отношения. Корольков умел становиться нужным. Француз был развязан и бесцеремонен и наверняка полагал, что ей лестно такое внимание...

Неужто Кузьмин думал, что она хочет вернуться к тому, что было? Пожалуй, думал. И струхнул. Бедняга, он не понимал, что все давно кончилось. Женщина не может любить второй раз того, с кем рассталась. А может быть, она причинила ему боль? Может, ему что-то показалось? Она любила в нем первую свою любовь, не больше.

Корольков слушал французa, по-детски округлив глаза, замерев. Что-то он напоминал Але, его немигающий с металлическим холодком взгляд, сморщенная наготове к улыбке переносица. Не саму ли ее, Алю? А что, если она стала похожа на него, как становятся схожи с годами супруги? Подозрительно она вглядывалась в его лицо. Ужасно, если со временем она тоже станет вот так мелко кивать, искательно заглядывать в лицо собеседнику. И губы ее обвиснут. Корольков внезапно стал ей проти-

вен. «Что же это такое, за что я должна стать похожей на него?» Неотвратимость этого приводила ее в бешенство.

Неизвестно почему, мысль ее перекинулась на Надю, то есть можно объяснить почему, но Аля ни за что не стала бы объяснять, она думала о том, правильно ли она сделала, ничего не спросив про Надю, хотя Кузьмин ждал ее расспросов. Что-то ее удержало. Что же это было? Вроде следовало бы намекнуть, каким героем он предстанет перед своими домочадцами. Мужчина прежде всего рад возвыситься в глазах жены. Однако и сам Кузьмин не подумал о семейном честолюбии. И Аля не стала. . . Не потому ли, что Надя тогда первая уговаривала его выкинуть из головы «лазаревщину». Это она настояла уехать на Север, изображала из себя спасительницу, вылечила, мол, его от губительной страсти. Недаром он скрывал от нее, что останавливался у Лазаревых. С некоторым злорадством Аля вообразила, как Надя примет новость. Оказывается, она не спасла, а загубила талант своего мужа, увела от подлинного назначения. Из-за нее он потерял себя. Всю жизнь его пустила под откос. От такой вины можно руки на себя наложить.

Что же, Кузьмина остановила вот эта боязнь огорчить жену?

Какая заботливость. . . Аля даже усмехнулась, вспомнила Надю, которая была старше ее на четыре года, низкорослую, с большим круглым плоским лицом, ноги грубоватые. . .

Неприязненный ее взгляд смутил француза. Он убрал руку и сказал авторитетно:

— Одним людям, кроме таланта, нужен еще и покой, другим — успех у женщин, каждому чего-то не хватает.

Разговоры о таланте были привычны. Она росла в доме, где постоянно обсуждали чьи-то способности, где жгучая зависть к таланту не давала покоя отцу, швыряла его от ненависти к истерическим восторгам, талант считался решающей меркой каждого человека, открытие было оправданием любой жизни. Отец скорбел о том, что дьяволов и чертей истребили и некому запродать свою душу в обмен на талант, он и вправду готов был бы на такую сделку, ни минуты бы не сомневался. Он с силой дергал короткие свои седые лохмы, и Аля пугалась,

понимая, что никого, даже ее, отец не пощадил бы, чтобы достигнуть какого-нибудь открытия; ей вспомнилось (наверное, из-за слов Кузьмина), как отец неохотно, прямо-таки корчась, признавал, что Лаптев настоящий, не маргариновый профессор, при этом нос его бледнел и пальцы скрючивались.

Тайный счет, кто сколько стоит, вел даже Корольков, который обожал звания, должности, списки трудов, но при этом оказывал предпочтение, где только мог, «настоящим», опекал молодых гениев, того же Нурматова, какого-то Зубаткина.

Если бы Кузьмин отказался от должности, скажем от кафедры, от профессорства, это еще можно объяснить. Но то, что он в сущности отверг талант, то есть признание его таланта, это оскорбляло ее. При чем тут Надя, разве смогла бы Надя перевесить свалившийся на Кузьмина ни за что ни про что неслыханный подарок? Нет, тут таилось что-то другое, была у него какая-то тайна, какой-то иной, скрытый от нее смысл руководил им.

А может, Корольков прав: глуп Кузьмин, и ничего больше.

И в голову не могло ей прийти, что усилия ее кончатся провалом. Как ни верти, дело-то было верное, как дважды два. Ничего другого, кроме похвалы да спасибо, не ждала, и дальше все железно сцеплялось — Лаптев будет посрамлен, отец оправдан, а там пойдет, покатится, по колеям, своим ходом.

Слава богу, на доводы она не скупилась, со всех сторон заходила, Кузьмин же, как на невидимом поводке, шел, шел — и вдруг на дыбы и ни с места. Уперся в дурацком своем решении, хоть тресни. Ничем не взять. А ведь она умела своего добиваться, с мужиками особенно. Мужика на чем-то обязательно можно если не купить, так уломать, упросить. Сильные мужчины — это легенда, по крайней мере ей не попадались такие, сильные мужчины — девичий миф, сладкая мечта. Может, когда-то они существовали, но лично она убедилась, что мужчины охотнее подчиняются, чем верховодят, что, несмотря на их грозный вид и громкие слова, они слабы душою, они обидчивы, они упрямятся по мелочам, ими так легко управлять, они нуждаются в беспрестанной поддержке, в самоутверждении, в похвалах. И вовсе они не умны, и мужественность свою любят доказывать вы-

пивкой, ругательствами, или же гоняют на машине, как когда-то гоняли на лошадях. . .

У Кузьмина она натолкнулась на силу, с которой никак было не справиться. Не обойти, не перехитрить, все ее подступы не помогали, и она почувствовала себя слабой, беспомощной.

В гостинице, когда они распрощались и Кузьмин спускался по лестнице, она следила за ним сверху. Голова его поднялась, плечи раздвинулись, словно тяжесть какую сбросил, словно поднимался, взмывал, большой, свободный. Уходил на волю. Словно бы победитель.

Уязвило это ее чрезвычайно, но сейчас, стыдно признаться, смотрела она на этих французов с вызовом — никто из них не сумел бы так играючи перешагнуть, отринуть. . . И ведь не опомнится, не прибежит назад. . .

Французы ухватились бы руками и зубами, поведение Кузьмина сочли бы вздором, нелепицей. Они презирали нелепые поступки. Да и Корольков, и она сама не умели совершать ничего нелепого, они всегда спрашивали себя: зачем? для чего? что это дает? И Кузьмина она сейчас судит по принципу «зачем?».

Они все были разумные люди, знали, чего хотели, с ними было ясно и легко. Например, сейчас они жаловались, что ученых у них ценят по количеству печатных работ, чем больше, тем, значит, учение. Аля им сочувствовала, потому что и у нас творилось подобное. И ее все поняли, когда она сказала, что наряду с наукой растет ее тень — «научность». Получилось уместно и ловко, и все засмеялись, а Корольков с гордостью, и у Али в груди потеплело. Она была среди своих, милых ее сердцу людей. Мыслящих, преданных науке. Надо было знать их братство, чтобы любить их. Постороннему они казались чудаками, вздорными, тщеславными, а ведь все начиналось с них, они отдавали науке самое дорогое — мозг, математика требовала все силы их ума, души, и навсегда. Зато существование их в каждую частицу времени было насыщено. . . Когда-нибудь Кузьмин поймет, чего он лишился. И не то что когда-нибудь, а отныне он постоянно будет сравнивать. . . Нехорошо он поступил. Какие бы высокие мотивы он ни приводил, фактически он предал своего учителя. Никуда от этого ему не деться. Отрекся. Неблагодарный, бездушный, ограниченный

человек. Бездуховный — вот верное слово, — бездуховный. Из-за этого он такой чужой. . .

Она залпом допила коктейль, показала глазами Королькову, что он может оставаться, сколько ему надо.

В двухкомнатном люксе ее обступила ковровая тишина и тот прочный уют, какой исходит от старинной тяжелой мебели. С бронзовыми накладками, с мраморными досками. Горел не торшер, а массивная медная лампа под зеленым абажуром. Лампа была из детства, и шелковые шторы с бахромой тоже оттуда. Аля разделась, накинула халатик, прошла босиком по толстому ковру. Из окна была видна мокрая улица, заставленная машинами, напротив — книжный магазин с высокой железной лестницей, раньше тут был продуктовый, и она с Кузьминым за высокими круглыми столиками пили кофе. Кузьмин угощал ее — граненый стакан кофе и булочка с изюмом. Рядом с магазином — кассы Филармонии, дальше, в тумане, темнел памятник Пушкину, окруженный голыми деревьями сквера.

Мне все здесь
На память
Приводит былое.

Ей захотелось прочесть себе стихи Пушкина, печальные и тягучие, с мерцающим смыслом, от которого всегда сжимается сердце. На память не приходило ничего, кроме отрывков оперных арий. Она не поверила себе, она ведь хорошо знала Пушкина.

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний. . .

А дальше забыла, пусто, какие-то обрывки без конца и начала. Все куда-то провалилось. Как же это так, испугалась она, почему? . . Отец лежал обложенный подушками, а она вечерами читала ему стихи, он повторял отдельные строки, и оба они вздыхали, открывая вдруг секрет иного значения этих простых слов.

Щеки, шею ее защекотало, она почувствовала, как жжет глаза, и, поняв, что это слезы, заплакала сильнее. Она плакала горько и сладостно всхлипывая. Перед ней с обидным откровением открылась простая старенькая истина: времени не воротишь. И прошлого не повторить.

Вроде бы все повторилось — и эта улица, и Кузьмин, и она, Аля, а прошлого нет, никак его не составить. Печальные стога зябнут на скошенных полях. Стога сухого сена, что было недавно цветущим лугом.

Нельзя ни на один миг вернуть те вечера с отцом, сесть в ту качалку, нельзя было снова очутиться в той осени с Павликом Кузьминым, нельзя никаким образом передать отцу, что мечта его сбылась, хотя и не совсем, но что он был прав, прав. . .

Почему нельзя ничего вернуть, если она, Аля, та же? Почему так несправедливо устроено, так бессовестно? Зачем же все это было? Зачем сохранились чувства? — вытирая глаза, спрашивала она. — Есть ли какой-то смысл в том, что было и что сейчас ожило и снова исчезло? . . . Для чего оно появлялось?

Ей вдруг подумалось, как неправильно она живет, что хорошо было бы:

. . . чтобы он возвращался грузный, усталый, долго мылся в ванной, садился за стол и много ел.

. . . чтобы от него пахло железом, горелой изоляцией.

. . . чтобы он брал ребят с собою, показывал им свои подстанции, всякие машины, и в комнатах валялись бы провода, магнитики, катушки.

. . . чтобы все в доме беспокоились за план, аварии, премиальные.

. . . работать в школе учительницей.

. . . ехать за ним в Заполярье. Возиться с этими фундаментами на вечной мерзлоте.

Она готова была бросить все, и знала, что способна на это.

И знала, что приятно так воображать, потому что на самом деле все останется как было.

И Кузьмин тоже ничего своего привычного не в состоянии бросить. Они одинаково приговорены.

Разница в том, что, очевидно, он имеет нечто большее. Для него существовали какие-то соображения, которые были ему дороже, чем успех, дороже даже, чем талант. Какой-то был у него тайник, преимущество, секрет. . .

Постукивая кончиками пальцев, она наносила под глаза ночной крем. И вокруг рта. Новый французский крем. Душистый, пахнущий мятой. В полутьме зеркала

лицо ее выпукло заблестело, спокойное, словно отлитое из металла. Она сама не могла бы ничего прочесть по своему лицу. В зеркале отражалась полнеющая женщина с еще красивой грудью, с длинными крепкими ногами, складки на загорелом животе не портили ее фигуры, и талия у нее сохранилась. Она придиричиво разглядывала себя, проверяя, как она выглядела перед Кузьминым. Она должна была ему понравиться. Заплаканные глаза тоже шли ей, жаль, что Кузьмин не видел ее такой. Может, она была слишком уверенной в себе, весьма довольная собой супруга Королькова, занятая украшением своей биографии. Самолюбие его и выиграло, не хотел предстать неудачником, вот в чем фокус, именно перед ней, перед женщиной, которую он упустил, а теперь увидел во всей красе. Теперь приходится изображать, напускать спесь, — мужчины думают, что они сохраняют этим мужское достоинство.

Не упустил, а уступил, и теперь досадно, с досады и уперся.

Утешительная ее версия была сомнительна, зато приятна.

Аля легла, вытянулась между свежими простынями. Та женщина в зеркале еще стояла перед ее глазами, запомнилась, словно встречная незнакомка. Значит, все видит ее именно такой, но ведь это была совсем не та, что существовала внутри, перед умственным ее взором, слабая, одинокая, чего-то ждущая. . .

Смутные надежды, связанные с Кузьминым, долгое ожидание этого дня — все чувства, которые составляли не известную никому часть ее жизни, только ей принадлежащей, — кончились. Она должна была стать такой, как та, встречная незнакомка в зеркале. Вернуться. О, она отчетливо сознавала все выгоды жизни той незнакомки.

Комфорт этого номера, гостиничный быт, когда завтра не надо ничего готовить, прибирать. Имелось множество утешений. Утром она позвонит своему двоюродному брату, следователю, пусть посоветует, как действовать насчет отца, чтобы восстановить его имя, авторитет. Намеки Кузьмина — пустое, Лаптев чего-нибудь натрубил, все они не любили отца. Недаром он оказался прозорливей всех. За это и травили его. Провидцев боятся. Они чувствовали его дар, завидовали. . .

Добиваться справедливости придется самой. Рассчитывать на Кузьмина не приходилось. Одинокая это будет и долгая борьба за правду об отце. Ну что ж, не привыкать, она боец, она сильная, как нахваливал ее Корольков.

Если бы кто знал, как надоело ей быть сильной, добиваться своего, побеждать. Не хочет она побеждать, чего-то достигать, рассчитывать, предвидеть. Опять жить будущим. Она всегда жила либо прошлым, либо будущим. А существовало еще и настоящее. Не короткий миг, а долгое «сейчас», с которым она плыла сквозь этот родной ленинградский туман, в котором были эти жгучие, еще не утихшие слезы.

Завтра, в деловом, говорливом телефонном дне, все это исчезнет. Она сама не поверит, что плакала. Это уже исчезает, не удержать этой тоски, этих сомнений в правоте своей жизни. Было жаль, что она не может побыть еще вот такой же слабой, плачущей, чтобы не находить утешения, печалиться, почувствовать себя несчастной. Приоткроется ли еще когда-нибудь перед ней грусть накошенных стогов времени?

Слишком поздно, подумала она, слишком поздно, чтобы быть несчастной.

Медные светильники пылали, как факелы. Лестница спускалась полого, торжественно. Где-то с площадки Аля смотрела вслед. Кузьмин еще мог вернуться. Ковровая дорожка, зажата бронзовыми прутьями, падала со ступеньки на ступеньку, каждая ступень была как обрыв, как удар топора. Рубились якорные канаты, скрепы, тросы. . .

Император Диоклетиан покидал свой престол. Внизу застыли воины, склонив железные копья, у подножия стояли центурионы с белыми лентами, в начищенных панцирях. Его гвардия, где он начинал простым солдатом, прощалась с императором. Диоклетиан отрекался от власти над огромной империей, которую он создал и которую оставлял в зените ее могущества. Пурпурная мантия еще висела на его могучем плече, и диадема — символ властителя империи — сияла на лбу. Он покидал дворец. Он распрощался с преторами, жрецами, авгурами, генералами, префектами, со своими ставленниками Максимилианом, Констанцием и третьим... как его

звали? Ах да, Галерий, с гладким и нежным лицом, похожий на Алю. Кесарь Галерий был огорчен его решением больше других, а ведь Галерию он учинил немало позора, когда заставил его бежать целую милю за своей колесницей. И вот теперь Галерий стоял, кусая губы, не понимая, что случилось, почему император отрекается. Никто не понимал. Болезнь его прошла. Император выздоровел, он был богат, римляне восторженно приветствовали его на улицах, и тем не менее он удалялся. Он уплывал куда-то в жалкую провинцию на берег Адриатического моря. Что намерен искать он там, вдали от великого Рима? Для этих сенаторов, трибунов, властолюбцев, политиков, заговорщиков, — для них ничего не значили изъяснения старого философа: не ищи себя нигде, кроме как в себе самом.

Всякие слабаки, нищие, умники и неудачные полководцы придумали это себе в утешение, вместо того чтобы искать славы и власти.

Реальны только власть, деньги и слава. Но власть важнее денег и славы. Диоклетиан отказывался от высшей власти. Он так ничего и не разъяснил.

Диоклетиан уходил, он удалялся, не добиваясь, чтобы его поняли.

Ночью, среди подсвеченных развалин императорского дворца в Сплите, Кузьмин рассказывал Наде про добровольное отречение Диоклетиана. Кузьмин забрался по каменной кладке на теплые ноздреватые выступы аркад и громовым голосом бросал вызов богам. Лестница людской славы для императора кончилась. Он достиг высшей ступени. Дальше было небо. Он швырнул свою диадему в сонм богов.

«Получайте. Я достиг, по-вашему, всего, но есть больше, чем власть императора, — это презрение к власти!»

Внизу, на площади, сидели парочки за столиками кафе, брэнчала гитара, на рейде мигали огнями корабли польской эскадры, вспыхивал маяк.

Кесари прибыли во дворец уговаривать Диоклетиана вернуться в Рим. А он в ответ повел их в огород показать капушту, которую он выращивал! Кесари молчали. Презрение Диоклетиана оскорбляло их своей беспричинностью. . .

Надя смеялась, они вернулись на пароход поздно ночью и долго еще стояли на палубе.

Ему нравилась история Рима накануне падения, история России Ивана Грозного, периоды решающие и загадочные. История привлекала его неточностью. Там был простор домыслу.

Они карабкались по скалам, у Нади ноги еще были здоровые. Адриатика доводила ее до слез своей синевой, теплыню, прозрачными, дрожащими в густом воздухе берегами. . .

Лифт, как назло, не работал. Опираясь на железные перила, Кузьмин устало поднимался вместе с императором на пятый этаж. Лестница сборного железобетона гудела под их ногами. Пахло из люков мусоропровода, да еще из ведер для пищевых отходов. Какого черта ты покинул свою империю, Диоклетиан, что тебя ждет?

Ведь не хотел же ты начать сызнова. Восхождение не терпит срывов. Нет, тут что-то другое. Диоклетиан променял свою власть на. . . На что? Что он получил взамен? В истории цезарей, королей, тиранов редчайший, беспримерный поступок. И никаких объяснений.

В передней они скинули обувь и почувствовали, как отсырели ноги. Тапочек, конечно, на месте не было. Так и живем, дружище император. Ребята спали, Надя, наверное, тоже уснула, и никому не было до них дела. Никто не станет славить твоего отречения, Диоклетиан, бывший властелин, исключенный отныне из истории Древнего Рима. . . А может, наоборот, может, он выделился из всех императоров, цезарей и прочих владельцев власти и навечно озадачил всех. . . Но что, если ничего он не хотел — ни озадачивать, ни получать взамен? . .

Они развесили набрякшую влагой одежду, пустили горячую воду, заплескались в ванной, смывая с себя промозглость и чад ушедшего дня. Кузьмин докрасна растерся полотенцем, мысли его вернулись к следователю: надо бы рассказать ему про дальневосточную историю, когда этот прощелыга Голубев вкалывал со своими ребятами без роздыха, без жилья, в мороз, на голых сопках неделю, больше, полторы. Если бы он сумел изобразить следователю скрюченные, исковерканные металлические опоры, одну за другой по распадкам и вершинам сопки, — страшная картина, которую они увидели впервые в жизни. Ночью оборвалась линия передачи, одна,

затем втсрая. Города и поселки побережья остались без энергии. Под утро с вертолета Кузьмин увидел масштаб аварии. Гололед рвал тросы, сминал могучие стальные конструкции опор, сворачивал, скручивал их, словно провололочные игрушки. Кое-где высились уцелевшие мачты — обросшие льдом белые башни. Ничего подобного Кузьмин не представлял. А кругом тянулись мрачные черные сопки, поросшие бамбуком и стлаником. Гусеничные трактора, между прочим, и те не могли из-за этого бамбука взбираться на сопки, скользили вниз. В городах прекратилось отопление, лопались трубы, остались без света больницы, погасли печи хлебопекарен. Бедствие разрасталось. Партийные организации мобилизовали все средства, бросили в помощь моряков, учащихся, все передавалось в распоряжение энергетиков. Как они работали! . . . Как этот самый Голубев таскал на себе изоляторы, взбирался на четвереньках на сопку, волоча тяжелые фарфоровые тарелки. . . Ребята Кузьмина были там приезжие, командированные на монтаж линий к рыбозаводу. Они не знали ни этих поселков, ни городов, сидевших без света, никто не знал и их в этом краю. Когда аврал кончился, выяснилось, что некому оплачивать им за эти авральные дни, за неслыханную работу. . . И ведь никто и не шумел по этому поводу. А Голубев сказал: вот это и есть, ребята, потрудиться на благо родины в чистом виде! Вроде бы не всерьез сказал, но, когда Кузьмин выхлопотал им деньги, показалось, что они чуть разочарованы тем, что ту работу перевели на сверхурочные, аккордные, словом на обычные рублики. Сейчас звенья тех дней слились, и остались, и, видно, уж до конца останутся только заключительные минуты, когда по рации Кузьмин сообщил дежурному инженеру, что провода закреплены, и дежурный инженер сказал, что сейчас подадут напряжение. Под брезентовыми робами они стояли на голой, продуваемой, истоптанной до грязи сопке и смотрели вверх, на провода, как будто там можно было что-то увидеть кроме низкого тяжелого неба, где быстро меркнул последний свет и присвистывал ветер. Глаза слезились, словно песок был под веками. . . Ноги вросли в землю. Чего ждали все эти сонные, усталые, продрогшие линейщики, почему не спускались по гусеничному следу вниз, к машинам, чтобы завалиться спать на дно кузова?

...Это было как толчок, они услышали его, хотя ничего не произошло, они сперва почувствовали включенное напряжение, а потом уловили легкое гудение, но это зазвучало для них так, словно запели трубы над этими безлюдными, мерзлыми сопками. Праздничный оркестр шагал по дикому этому небу, гремели барабаны, играли фаготы, тромбоны, шел ток. Ток идет, ток идет! Где-то далеко, на побережье, в домах шелкали выключатели, сотни, тысячи маленьких выключателей, загорались телевизоры. Дети смеялись, прыгали, взрослые гасили свечи, коптилки, но ничего этого на сопке не было видно, и даже никто и не пытался представить, вообразить всю эту картину, а был только оркестр наверху, в темном холодном небе, в проводах, играли трубы, и чувство такого полного счастья и оправдания жизни, что даже спустя годы, когда вспоминаешь, теплеет в груди. Совсем не много таких минут набирается в биографии любого человека, зато и хранишь их, как говорится, на черный день. Если бы можно было как-то объяснить Але чувство это, то, может, она и не сочла бы его решение таким нелепым, но вся беда в том, что словами этого не передашь, такое пережить надо, даже не пережить, а прожить вместе с ним, как Надя, перемучиться. Поэтому Аля-то и не могла понять, а может, и Кузьмин тоже поэтому чего-то недопонял из Алиных доводов, может, и у нее есть какая-то своя нажитая правда.

Коридорчик с рваными понизу обоями.

Антресолы, где лежали чемоданы, сбоку кирзовые сапоги, в которых Кузьмин ездил на ильменские объекты. Потрепанный коричневый чемодан. На нем и сидеть было удобно, и класть под изголовье где-нибудь в бесплацкартном вагоне...

Внимательно оглядывал он свою квартиру, словно вернулся из дальнего путешествия.

На книжной полке стояли журналы «Юность», Короленко, сборники «Пути в незнаемое», Андрей Платонов — об этом авторе Кузьмин ничего не знал, — впервые он просматривал книги ребят, удивился, обнаружив здесь Тимирязева и Мечникова.

На кухне приготовлены были для него бутылка кефира и холодные голубцы.

Ничего, кажется, не изменилось, те же кастрюли, банки, ваза с бессмертниками, та же клеенка, стена, исчи-

канная карандашом, — давно он ее не замечал, пригляделась, — детские проделки младшего сына.

В буфете сердечные капли, наверное Надины. Кузьмин попробовал сообразить, давно ли они здесь. Он вспомнил, что у Нади несколько месяцев побаливает сердце и о чем-то ее предупреждал врач. Возле тарелки лежал истрепанный бюллетень техотдела с их коллективной статьей о монтаже шин. Кто-то его брал и, видно, вернул, принес.

Капала вода из крана. Пахло укропом и яблоками. Ночью каждая вещь жила для себя, становилась заметной. С высокой чашки улыбались пионеры. Чашку подарил Ленья Самойлов. На домашние вещи Кузьмин не обращал внимания, вещи появлялись и исчезали — случайные спутники бивачной его жизни. А вот, оказывается, чашка — не просто чашка, она еще память о Лене, и, глядя на нее, можно припомнить тот день, когда Ленья подарил ее, как принес, и какой он был, и где это было. Чашка хранила в себе, оказывается, массу воспоминаний, как живое существо. Без чашки ничего не сработало бы, не припомнилось.

Послышались шаги. Кузьмин подобрал босые ноги. Вошла Надя, заспанная, в халате, присела к столу, жмурясь от света. Зевая, рассказала, кто звонил, про ребят. Сама ни о чем не спрашивала. Смотрела, как ест. Глаза ее, даже заспанные, выделялись на лице резко и сильно. Еще раз зевнула недовольно и протяжно. Кузьмина взяла досада — могла бы поинтересоваться все же, где был так долго.

— Что же, до сих пор заседали? — спросила она равнодушно. — Что это за конференция?

— Математическая, — он достал программу. — Научная.

Она перелистала, скучая.

— Тебе-то там зачем?

— Пригласили.

— Время только терять, — категорично заключила Надя. — Дергают зазря.

Кузьмин не то чтоб улыбнулся, улыбка выскользнула, он не успел ее удержать.

— В самом деле, — она внимательно всмотрелась в него. — Ты-то какое отношение имеешь?

Капля звучно ударила в раковину, и снова, еще гром-

че. В самом деле, думал Кузьмин, какое я имею отношение, я, нынешний. . . Сон ушел из Надиных глаз. Она обеспокоенно выпрямилась, словно прислушиваясь.

— Это верно, — сказал Кузьмин. — Никакого отношения. Так. . . забавно было.

— Что забавно?

— Знаешь, кого я там встретил? Лаптева!

Выщипанные брови ее поднялись, кожа на левой, обмороженной щеке натянулась, покраснела. Это произошло в гололед, на Дальнем Востоке, когда Кузьмин заставил ее ждать на сопке вертолет с оборудованием.

— Лаптев. . . Лаптев. . . тот самый? Что долбал тебя? Он еще жив? — Она засмеялась, напряжение медленно покидало ее. — Узнал он тебя?

— Кажется.

Она вслушивалась не в слова, а в интонацию его голоса, и это беспокоило его. Он почувствовал, как трудно ему укрыться, она знала все его уловки и приемы.

— Узнал, узнал! Вот оно что. . . то-то, я вижу, ты не в себе. Ну и что он тебе сказал? Напомнил. . . И ты расстроился. До сих пор забыть не можешь. Не стыдно? — Она успокоенно зевнула, потянулась, халатик распахнулся, и Кузьмин увидел, как проигрывала она перед Алей. С оптическим увеличением проступили тонкие морщины на шее, блестя седых волос. Набегал второй подбородок. И ему было больно оттого, что она проигрывала перед Алей. Потому что эти морщины были его морщины, и ее тело, руки — все это было уже неотделимо от него самого.

«Как моя работа, как прожитая жизнь, или нет —житая жизнь. Сменить — значит, наверное — изменить. Как предательски схожи все эти слова. . .»

Зрение его чудесно обострилось — он увидел мелкие трещины на стене, распухшую больную ногу Нади, синие тромбы на икрах, и в то же время видел мелькающие ее молодые ноги в шиповках над гаревой дорожкой стадиона, он видел следы своих былых поцелуев на ее плечах, на груди, и шрам от грудницы, и следы беременностей и болезней. Ясновидение это было неприятно. Мучительно было видеть себя на коленях, когда он стоял, охватив ее ноги, и молил прощения, и когда она его простила, он нес ее на руках по упруго-дощатому тротуару под огромными морозными звездами и был так счастлив. . .

Куда ж это подевалось? За что, за что он ее так давно не целует?

Он чувствовал, как от этого странного видения все вокруг меняется, и понимал, что жизнь его тоже должна измениться. Это было странно, потому что он-то как раз старался оставить ее неизменной.

Он поднялся, расправив плечи до хруста, потер глаза, словно бы собираясь спать. Ему хотелось подойти к Наде, обнять ее, но подойти вот так, ни с того ни с сего, оказалось невозможно. С удивлением он обнаружил какое-то препятствие. Что-торосло за эти годы. Искоса он взглянул на Надю: она точно прислушивалась к недосказанным его словам, беспомощно и встревоженно. Но, странное дело, глядя на нее, Кузьмин думал не о том, от чего он заслонил Надю, а чего он лишил ее, — она и не подозревает, сколько бесплатных даров, какая красивая новая жизнь не досталась ей. . . В горле у него запершило, он заставил себя разгладить лоб, разжать губы, сделать веселое и сонное лицо, он поднял Надю со стула, притянул к себе, заново чувствуя ее мягкие груди, ее тело, знакомое каждым изгибом, осторожно поцеловал ее в щеку.

— Ты что? — почти испуганно спросила она.

— Да, да, все правильно, — ответил он невпопад.

Под утро он внезапно проснулся. Кто-то звал его тоненьким мальчишеским голоском: «Па-а-влик! Па-а-авлик!» Кузьмин улыбнулся. Он не знал, чему он улыбается, за окнами тьма чуть подтаяла, и можно было еще спать час-другой, тем более что день предстоял хлопотный, без особых радостей. Но он лежал и, улыбаясь, слушал, как босые мальчишеские ноги, шлепая, бегут по высокой траве все дальше и дальше, и детский голос зовет его, замирая в отдалении.

Выбор цели

Киноповесть

На основе киносценария, написанного совместно
с режиссером И. Таланкиным

В апрельский полдень 1945 года на берегу Эльбы встретились части нашей Пятой гвардейской армии с частями Первой американской армии.

Эльба напротив городка Торгау неширока. На пароме через реку, с торжественно развернутым американским знаменем, подплывают к нашему берегу американские офицеры. Пожилой американский генерал, с планками боевых орденов, берет звездное знамя и протягивает его советскому полковнику.

— Это знамя мы пронесли от Соединенных Штатов через Атлантический океан в Англию, через Ла-Манш, на берег Эльбы. Передавая вам знамя, я передаю вам и офицерам вашей Армии мою любовь и уважение.

На крутом «американском» берегу толпятся солдаты, машины, танки, и наш берег полон солдат, замерших в торжественном внимании к этому долгожданному и праздничному моменту войны.

Советский офицер принимает знамя, вручает американцам альбом с медалью «За оборону Сталинграда».

— Дружба наших народов, выкованная в огне войны, скрепленная кровью, должна остаться навеки!

Американский генерал взволнован:

— У меня не хватает слов... Эта дружба между нашими народами выльется в союз на долгие годы...

— А теперь прошу вас к нам обедать! — приглашает советский офицер.

Залпами из автоматов, винтовок солдаты на обоих берегах салютуют встрече. Приветствия на кумаче полыхают сквозь пороховой дым. Развеваются союзные фла-

ги. Солдаты обнимаются, угощают друг друга походным своим довольствием — сигаретами, махрой, водкой, виски. Обмениваются пуговицами с гимнастеров, дарят сувениры: звездочки, открытки, конверты — кто что может. Заиграл баян, зазвенела песня. Смешалась русская, английская речь, каким-то образом объясняются, понимая что к чему, а главным образом «по-немецки»: «Гитлер капут! Фашизм капут!» Обмениваются открытками — вот Кремль, а вот Капитолий, Белый дом. Огромный негр и наш мальчишечка-сержант отплясывают друг перед другом в полукруге у самой воды, кто кого перепляшет.

Внимание кого-то привлек плывущий по реке шар, довольно большой, величиной с хорошую тыкву.

— Мина!

Негр, в хмельной бравате, хватает автомат:

— Гитлер капут, мина капут!

Остановить, задержать его уже невозможно, единственное, что успевают крикнуть:

— Ложись!

И все привычно плюхаются на землю. Строчит очередь. Взрыва нет. Станный этот шар, мокро блистающий на солнце, крутится, прошитый пулями, и продолжает плыть, медленно погружаясь в воду, среди всеобщей тишины.

Русский сержант прыгает с берега, бежит по воде в своих высоких кирзовых сапогах, палкой подгребает шар.

— Мать честная, глобус! — восклицает он с жалостью.

Оказывается, это всего-навсего большой школьный глобус. Сержант поднимает его. Из пробоев тонкими струйками хлещет желтая вода. Сержант стоит, расставив ноги, и бережно держит над собой, на вытянутых руках этот израненный пулями, блистающий голубой шар, со всеми его океанами и материками.

Потсдам. Резиденция И. В. Сталина в Бабельсберге. Большая бильярдная. Играют Сталин и Жуков. Молотов видит, как Сталин прицеливается и мажет, подставляя шар. Молотов предостерегающе посматривает на Жукова. Сталин берет мел, натирает кий и как бы невзначай:

— Вячеслав Михайлович, маршал Жуков сам знает, что надо делать.

Жуков прицеливается, не может удержаться, кладет шар в лузу. Игра закончена.

— Что-то маршал Жуков стал часто побеждать, — хмуро произносит Сталин и направляется в столовую. Прохаживается вдоль стола, на котором расставлены супницы и стопки чистых тарелок. Поднимая крышки и заглядывая в супницы, приговаривает:

— Харчо... куриная лапша, нет... а вот и щи... нальем щей.

Жуков и Молотов тоже наливают себе щи, садятся за стол.

— Что произошло с Трумэнном? — говорит Молотов. — Его словно подменили. Стал вдруг заносчив. Вы обратили внимание — даже Черчилль поглядывал на него с удивлением. Похоже, что американцы готовы сорвать конференцию. Хотят, чтобы мы пошли на их требования насчет Болгарии и Румынии.

— Я знаю, почему Трумэн стал несговорчивым, — говорит Сталин. Он открывает бутылку вина, нюхает его, разливает не торопясь, поигрывая паузой.

— После заседания Трумэн, как бы невзначай, сказал мне, что у них появилось новое оружие. Бомба. Необычайной разрушительной силы. Черчилль стоял чуть в стороне, так он впился в меня глазами. Я сделал вид, что ничего особенного, пусть они подумают, что Сталин ничего не понял.

Молотов говорит:

— Цену себе набивают.

— Пусть набивают, — Сталин смеется. — Надо будет переговорить об этом с... как его, — в досаде щелкает пальцами, но никто не может подсказать. — С Курчатовым! — вспоминает он малознакомую ему фамилию. — Да, с Курчатовым!

На лодке, в конце жаркого августовского дня, возвращались по реке трое рыбаков. Курчатов в заплатанных брюках сидел на корме, выставив руку, по большой его ладони ползла божья коровка.

Божья коровка, улети на небо,
Принеси мне хлеба,

как в детстве, приговаривал он и осторожно дул ей под брюшко, пока она не выпустила из-под оранжевого своего панциря прозрачные крылышки, взлетела.

Вьется река. Мимо навесистого ивняка, мимо полей с высокими хлебами, серебристыми овсами и полей пустых, незасеянных. Откуда-то, из-за плеса, доносится песня, поют хором, весело и в то же время чуть надрывно. Рыбаки причаливают в заводи к берегу, поросшему ольшаником, берут снасти, кукан с уловом, поднимаются по обрыву.

Перед ними открылась сожженная, полуразрушенная подмосковная деревня. От колокольни остался разбитый снарядами каркас. На околице стоит заросший лопухами горелый немецкий танк. Торчат могучие остовы русских печей; между черными развалинами белеют подлатанные свежими досками, тесинами рамы, двери, флигеля. Кирпичи разобраны, сложены аккуратными грядками.

Рыбаки — Курчатов, работник ЦК Зубавин и Переверзев, помощник Курчатова, — подходят ближе.

Во дворе стоят столы, уставленные нехитрым угощением тех трудных лет. Идет гулянье. Вернулись с войны первые демобилизованные солдаты. Они, двое, сидят во главе стола при всех своих медалях и значках, окруженные радостью, заботой баб, инвалидов, детей, стариков.

Начинается мирная жизнь. И люди сегодня веселятся без тоски, без слез.

— Заходите, заходите, — приглашает рыбаков хозяйка. — У нас такой праздник. Вернулись наши! Живы, здоровы!

Переверзев и Зубавин смотрят на Курчатова.

К ним подходит старая женщина, на подносе три стакана с самогоном, половинки посоленных лепешек.

— Не неволь, Настя, может, им неинтересно с нами. А от угощения не отказывайтесь.

Курчатов кланяется ей, берет стакан, как положено, чокается с демобилизованными:

— С возвращением!

Они садятся за столы, сооруженные из досок, положенных на ножки из кирпичей. На скатертях печеная

картошка, капуста, огурцы, свиная тушенка из армейского пайка, выпивка. Их рассадили между женщинами, и сразу начались смешки, и «ах, пожалуйста», и «кушайте на здоровье».

Соседка спрашивает у Курчатова:

— А вы ведь молодой, почему вы, извиняюсь, с бородой? — И тут же прыскает: — Как складно получилось: молодой, молодой, зачем ходишь с бородой!

— Я зарок дал на фронте, — поясняет Курчатов. — До победы не бриться. А теперь привык. И скажу вам по секрету — нельзя мне ее снимать.

— Это почему?

— На работу не пустят. На пропуске-то я с бородой заснят.

Девушки смеются:

— Разыгрываете?

Зубавин спрашивает у хозяйки:

— Где тут есть телефон?

— В сельсовете, ребяташки проводят.

Он отдает ей улов:

— Вот, пожалуйста, присоедините. . .

И уходит. А за столом уже поют, выводят:

За Доном гуляет,
За Доном гуляет,
За Доном гуляет
Казак молодой. . .

Курчатов подпеваает, постепенно входя в широкий разлив этой старой песни.

Зубавин вернулся, подошел сзади к Курчатову, присел, будто помогая петь, и тихо на ухо:

— Американцы сегодня сбросили атомную бомбу. На Хиросиму. Город разрушен. Нас вызывают. Сюда выехала машина.

— Ах ты. . . Боже мой. . . — Курчатов обрывает себя, заметив устремленные на него взгляды. Но в это время вдруг частым перебором ударила гармонь, и все вскочили, закружились.

Поднимая пыль, потянулось стадо — несколько коровенок, которые возвращались с пастбища.

Курчатову припомнилось другое: огромное мычащее стадо измученных, недоеных коров, что шли мимо Эрми-

тажа, мимо могучих атлантов, мраморных портиков, мимо дворца, мимо Капеллы.

Июльский полдень сорок первого года, когда усталые, запыленные колхозники гнали эту процессию сквозь Ленинград. Прохожие молча стояли на тротуарах, глядя на необычное зрелище. Остановились трамваи, машины. Никогда еще Дворцовая площадь не знала такого. Курчатов на «эмке» напрасно пытался пробиться. В конце концов он тоже вынужден был остановиться, выйти из машины.

Идут, тянутся по набережной, протяжно, голодно мыча, коровы с запавшими боками, изможденные долгой дорогой.

В маленьком сквере Физико-технического института собирается отряд ополченцев. Свалены в кучу чемоданчики, рюкзаки. Люди на этой июльской жаре снимают пиджаки, пальто, плащи, сворачивают их в виде скаток.

Из подъезда института выносят ящики, грузят в машины. Часть института эвакуируется. В коридорах перестук молотков, стружка, сотрудники несут приборы, пакуют. Печальная эта картина пустеющих лабораторий почему-то мало трогает Курчатова. Он мчится, перепрыгивая через доски и коробки, взбудораженный радостью.

— Еду! — сообщает он каждому встречному. — Разрешили! Еду на флот, в Севастополь!

Заглядывает в непривычно просторные лаборатории, где стоят пустые длинные столы, высокие распахнутые шкафы, голые стеллажи.

— Абрама Федоровича не видели?

Иоффе в своем кабинете, тоже частью опустошенном, складывает в стопку какие-то оттиски, справочники — самое необходимое.

— Абрам Федорович, получил вызов! — с порога, ликуя, объявляет Курчатов. — Поздравьте, теперь все в порядке.

Иоффе смотрит на него с любовью и жалостью:

— Это вы называете «все в порядке»?

— Буду в Севастополе налаживать защиту кораблей от магнитных мин!

Иоффе слушает его пылкую речь без сочувствия.

И так нелегко видеть, что творится с институтом, а тут еще уходят, разъезжаются лучшие сотрудники, цвет института, руководители ведущих лабораторий.

— Абрам Федорович, дорогой, не могу я ехать с вами в Казань, не могу.

— Что ж останется от лаборатории... какая была тема, как все прекрасно шло...

Курчатов беспечно машет рукой:

— Кому это сейчас нужно, Абрам Федорович, все наши атомные исследования сейчас роскошь. Все для фронта! Верно? Воевать! Флеров ушел в армию, Петержак на фронте, Александров в Севастополе. Чем я хуже? Самое насущное надо делать, самое главное...

Зазвонил телефон, Иоффе слушает, кивает словно бы на слова Курчатова и вдруг, отложив трубку, говорит грустно:

— То, что нужно, мы знаем... А вот что окажется ненужным — это неизвестно.

Удивительное у него лицо, то старчески мудрое, то совершенно молодое.

Вырезки из разных газет, журналов: карикатуры на Рузвельта. Чьи-то руки подклеивают их в альбом, одну за другой, едкие и беззлобные, смешные и пошлые...

Большой письменный стол. Высокое до потолка окно выходит на зеленую лужайку. За столом, в кресле с двумя флагами по бокам, сам президент США, это он перебирает свежую партию карикатур на себя для своей лекции. Странное увлечение, которое развлекало Рузвельта в последние годы его жизни.

За кофейным столиком напротив президента Александр Сакс, плотный мужчина, примерно одних лет с президентом, продолжает устало и упрямо:

— ..Эйнштейн полагает, что, если найдут способ применения быстрых нейтронов, будет несложно создать опасные бомбы...

Рузвельт посасывает сигарету, зажатую в длинном мундштуке, и, усмешливо прищурясь, разглядывает очередную карикатуру.

— ..Правительство должно установить прямой контакт с физиками... — настаивает Сакс. — Эйнштейну можно верить.

Рузвельт демонстративно поднимает и откладывает в сторону письмо Эйнштейна.

— Вера. . . Нет, Алекс, вера — аргумент для постройки церквей, а не заводов. Все это интересно, но вмешательство правительства пока что преждевременно. — И Рузвельт в лупу разглядывает новую карикатуру: президент, беспечно смеясь, в своей коляске едет навстречу немецким танкам и беспечно смеется.

Но Сакс не хочет сдаваться.

— Дорогой президент, — говорит он, не скрывая возмущения, — я приехал в Вашингтон на собственные деньги, я не могу отнести расходы за счет правительства, поэтому прошу вас быть внимательнее.

Рузвельт, вздохнув, захлопывает альбом.

— Поймите, Фрэнк, немцы, очевидно, взяли старт. Когда бомба окажется у Гитлера, то человечеству будет угрожать смертельная опасность. Тогда карикатур у вас будет еще больше. У Гитлера есть выдающиеся физики, есть уран. Это все реально. Они начали работать. . .

Входит официант, забирает поднос с посудой, в приоткрытую дверь врывается черный шотландский пес Фал, бросается к хозяину.

Рузвельт достает мяч, бросает, Фал ловит мяч в прыжке, приносит в зубах, начинается привычная их игра.

Сакс, чувствуя безнадежность положения, встает, но задерживается, разглядывая развешанные по стенам гравюры старых кораблей. Взгляд его останавливается на изображении первого парохода Фултона.

— Будь я проклят, — кричит Рузвельт, — Алекс, посмотрите, что он наделал!

Фал замочил ковер и теперь виновато жметя под столом.

— Майк, Майк! — зовет Рузвельт; входит охранник, схватив Фала за ошейник, тычет его носом в мокрый ковер и выносит.

— До свидания, Фрэнк, — говорит Сакс.

— До свидания, Алекс, — весело отвечает Рузвельт. — Буду рад видеть вас снова!

Сакс подходит к дверям, но снова смотрит на гравюру с пароходом Фултона.

— Фрэнк, могу я отнять у вас еще минуту?

— Что у вас еще за блестящая идея?

Сакс постукивает пальцем по гравюре:

— Фрэнк, вы знаете, что здесь изображено?

— Разумеется. Это первый пароход Фултона.

Сакс молчит.

— Ну и что? — спрашивает Рузвельт.

— Хочу напомнить вам одну легенду, — говорит Сакс. — Во время наполеоновских войн к императору Франции явился молодой американский изобретатель и предложил ему построить паровой флот. Чтобы Наполеон мог пересечь Ла-Манш при любой погоде. И высадиться в Англии. Корабли без парусов? Тогда это тоже несколько дико звучало для уха политика. Великий корсиканец прогнал Фултона. По мнению историка Актона, это хороший пример того, как Англия была спасена... Прояви Наполеон больше воображения, история девятнадцатого века пошла бы иначе.

Некоторое время Рузвельт сидит молча, посасывает потухшую сигарету. Затем поднимает трубку:

— Генерала Уотсона.

Входит Пат Уотсон.

Рузвельт берет письмо Эйнштейна, протягивает генералу:

— Пат, разберитесь, это, кажется, требует действия.

Курчатов, ничего не слыша, не видя, встает из-за стола, тихо говорит и повторяет:

— Боже мой... значит, сделали... И сбросили... И сбросили.

Женщины смотрят на него, в это время гармонист прошелся по ладам и выкрикнул:

— Тустеп!

И, увлекая Курчатова, встает его соседка, рослая, красивая, протягивает ему руку с таким ожиданием, что Зубавин совсем неуверенно пробует помешать:

— Да он не танцует.

— Так ведь они обещали!

— Точно. Обещал. И буду, наперекор всему на свете, — объявляет Курчатов.

И началось... Знал ли Курчатов этот танец, неизвестно, но во всяком случае это не имело никакого значения для этой девушки. Важно было, что она танцует с муж-

чиной, а не как другие — «бабочка с бабочкой». Да и Курчатов хотел соответствовать. Танцевать так танцевать. Пропади они пропадом, американцы с их бомбами. Назло! Нарочно! И Переверзев не выдержал, пошел танцевать, и демобилизованные. Один Зубавин остался за столом. . .

А перед Курчатовым кружится разгоряченное счастливое лицо девушки, и кружение, и музыка напоминают ему тот вечер, когда он танцевал в последний раз. Как давно это было, словно в другой жизни. Хотя всего лишь пять лет назад.

Вместо травы был паркет, и вместо двора — зал физтеха, вместо этой незнакомой девушки с ним в вальсе кружилась Марина. Горела свечами высокая новогодняя елка. Висел транспарант: «С Новым годом! 1941-й!» Оркестр играл Штрауса, и «Дунайские волны», и румбу. . .

На верху лестницы появляется Абрам Федорович Иоффе, с ватной бородой, — Дед Мороз. За ним несут мешок с подарками. Каждому выдается подарок со значением: кому — рогатка, кому — кукла. По очереди один за другим подходят к Иоффе, вот и Курчатов, ему Иоффе достает голубой воздушный шарик с надписью «ядро атома». Курчатов протягивает руку, но в этот момент Иоффе нарочно отпускает ниточку, и шарик поднимается вверх. Курчатов прыгает за ним, не достает, шарик уплывает выше и выше. . .

Несутся звуки вальса, молодой безбородый Курчатов, молодая Марина Дмитриевна, все вокруг Иоффе молодые, веселые, и сам Иоффе еще не стар.

Поет, разливается гармонь, наигрывая тустеп. И этот деревенский танец долетает до английского замка Фэрм-Холл. Сельская подмосковная гармонь, она упорно возвращает нас в тот рубежный августовский день 1945 года. Здесь, в Англии, содержались в августе 1945 года пленные немецкие ученые-физики, цвет немецкой науки, захваченные, собранные специальной американской службой ОЛСОС.

Вдоль высокого забора прогуливается седой большоголовый человек. Багово-красного кирпича особняк

Фэрм-Холл, зеленые подстриженные лужайки, вечернее солнце, и тишина. Прочная мирно-сельская тишина. Ничто здесь не напоминает войну. И только из открытого окна, с хрипом и воем помех, взхлеб бормочет радиоприемник. Что-то особенное в голосе диктора. Мужчина прислушивается. В окно высовывается английский майор. Он прижимает к уху наушник, лицо его сияет.

— Ган! Мистер Ган! — зовет он и неистово машет рукой, показывая, чтобы Ган скорее поднялся к нему.

Голос по радио нарастает:

— . . .Через пять минут после сброса бомбы темно-серая туча диаметром пять километров повисла над Хиросимой. . . Город, имеющий более трехсот тысяч жителей, закрыт облаком дыма. . . Очевидно, уничтожен. . . Изготовление атомной бомбы обошлось союзникам в пять миллионов фунтов. . .

Майор Риттнер от восторга, от возбуждения все время чешется.

— Атомная! — кричит он. — Слыхали?! Мистер Ган, это по вашей части! Это что, бомбы из атомов?

Он весело хлопает Гана по плечу, исполненный гордости за своих.

— . . .Изготовление атомной бомбы — потрясающее достижение союзных ученых! — кричит диктор в полном упоении. — Взрывная сила ее эквивалентна двадцати тысячам тонн взрывчатки!

Ган затыкает уши, жмурится, чтобы не слышать, не видеть.

— Эй. . . что с вами? — встревожился майор.

Покачиваясь из стороны в сторону, Ган полубезумно твердит:

— Это я. . . Вот оно, боже мой, это я, я виноват, это мое открытие, вот оно к чему привело. . .

— Какое открытие, при чем тут вы? — не понимает майор.

Замутненные глаза Отто Гана невидяще смотрят на него:

— Это же я открыл расщепление урана!

— Ну и что?

Ган, не слушая его, кричит:

— Сотни тысяч людей. Я их убийца! Они, и я тоже, я, Отто Ган! Но ведь я не хотел. . . Я не имею к этому отношения! — Он хватается Риттнера за руки. — Знаете,

Риттнер, еще тогда у меня были предчувствия. Но я не думал. . . Не хочу!

— Бросьте, — говорит Риттнер. — Вы же в Германии работали над этой штукой. Ну ладно, не вы, так ваши дружки.

— Да, да, все равно — немцы, американцы, — они меня сделали соучастником, — с отчаянием соглашается Ган. — Я убийца! — Он бьет кулаком себя по лбу. — Я, я подтолкнул их!

Риттнер наливает ему стакан виски.

— Выпейте. Вот так. Вы хоть и пленные, но я отвечаю за вас. Чего вы мучаетесь? Это же война. А когда ваши летчики бомбили Лондон?

Стакан в руке Гана трясется, но он подставляет еще и еще: ему надо напиться. Мелкие слезы скатываются, застревая в морщинах его разом постаревшего лица.

Они пьют вместе.

— По мне, — говорит Риттнер, — лучше сто тысяч этих японцев, чем потерять хоть одного нашего английского парня.

Отто Гану шестьдесят шесть лет, пожалуй, он самый старый из собранных здесь немецких физиков. Кроме Макса фон Лауэ, его одноклассника, но который почему-то числился старше Гана, и выглядел старше, да и считался чуть ли не патриархом. А Ган, крепкий, широкоплечий, сильный, — никому и в голову не приходило называть его стариком.

Пинком ноги он распахивает дверь в столовую.

Кирпичные своды, длинный стол со скромной вечерней трапезой. Застывшие, оцепенелые фигуры ученых. Сразу ясно, что они уже знают, они слышали это известие.

Захмелевшему Гану что-то напоминают люди, сидящие за этим столом по обе стороны от Вернера Гейзенберга. Он во главе. Он — признанный авторитет, руководитель, гений, учитель. Ах, да — Учитель, а кругом апостолы, сколько их — девять? Десять? Двенадцать? Так вот оно что — это же Тайная вечеря!

Как они там вопрошали, апостолы: не я ли, господи? . . . Вот что их терзало.

— Не я ли, господи? — вслух произносит Ган. — Вот что надо спрашивать!

Все смотрят на Гейзенберга. Он сидит в торце стола, худощавый, подтянутый, гордость немецкой физики, уже двенадцать лет назад награжденный Нобелевской премией.

— Это блеф, — говорит он как можно уверенней. — Не может быть. Никакая это не атомная бомба. Разве в сообщении было слово «уран»?

— Нет, — говорит кто-то.

— Значит, это просто пропаганда. Нет, это не атомная бомба, — упрямо, как заклинание, повторяет он.

Хартек, что-то прикидывая карандашом на салфетке, сообщает негромко, ни к кому не обращаясь:

— Эквивалентно двадцати тысячам тонн взрывчатки. . . Похоже. . . — но не решается высказать до конца. — Что ж это, по-вашему?

Уставив руки в дверной проем, пьяно усмехается Ган. Он безжалостно разглядывает каждого.

— Эх вы. . . А если американцы ее сделали? Тогда что? Тогда вы все пос-сред-ственности! Бедный Гейзенберг, это именно атомная бомба. Значит, вы, Вернер, тоже посредственность. Зря вас тут держат. Всех нас — зря! Ха, они воображают, что захватили великих немецких физиков. Вы самозванцы! . .

Воцаряется тишина.

И словно бы перед глазами их всех возникает пятилетней давности картина — встреча Нового года, того самого 1941 года, который вспомнился Курчатову, но который встречали и в замке Гитлера, в Берхстегадене.

Огромная, отделанная зеленым мрамором столовая, где собрались близкие Гитлеру люди, не так уж много, человек пятнадцать. Гитлер необычайно любезен, весел, в черном фраке с цветком в петлице, он сидит между двумя дамами за празднично накрытым столом.

— С Новым годом!

Все встают.

— Наступает тысяча девятьсот сорок первый год! — возглашает Гитлер. — Год окончательной победы великой Германии! За счастливый год! За победу! Наши солдаты ее обеспечат!

В большом окне, которое тянется чуть ли не во всю стену, видны огни плошек на темных аллеях, светит близна альпийских снегов. А дальше при холодном свете луны угадываются лесистые горы. Расцветены лампочками иллюминации дороги, ведущие к Берхстенгаденскому замку.

Официанты обносят гостей огромными подносами с гусем, поросятиной. Гитлер, положив себе салата, овощей, вздыхает, глядя, как Геринг накладывает себе в тарелку мясо.

— Ах, Герман, Герман, — укоризненно замечает он, — если бы вы побывали на скотобойнях. . . несчастные животные. . . Эти жалобные, беспомощные крики. . .

Рядом, в гостиной, перед зажженным камином, идут последние приготовления к традиционному новогоднему гаданию, которое любил Гитлер. На огне греется тигель с расплавленным свинцом, и рядом большая медная чаша с водой.

Гитлер поднимается, неловко целует руки сидящих рядом дам, выходит из-за стола. Вслед за ним встают гости. Большинство из них, да и сам Гитлер, старательно изображают «высший свет», аристократов, поэтому одни держатся чересчур церемонно, другие слишком развязны, — все это достаточно напряженно. К Гитлеру подходят генералы, чиновники, поздравляют его с Новым годом, и затем все следом за хозяином направляются в холл. Гитлер идет, держа под руки двух дам. В большом зале люди кажутся маленькими, тени от камина колышутся на стенах, увешанных гобеленами.

Начинается гадание. Гитлеру подают ковш с расплавленным свинцом, Гитлер держит его за длинную ручку, сосредоточивается, чувствуется, что он серьезно относится к этому гаданию. Наклоняет ковш, струя свинца льется в воду. Шипение, брызги, пузыри, облака пара окутывают чашу. Наконец открывается медный блеск днища и на нем застылые извивы свинца, причудливые фигурки.

Наголо обритый гадалщик, опустив подведенные синью глаза, поясняет, истолковывает; слов не слышно, но слышно, как медовый голос его кое-где поскрипывает, обходя опасные места. Наклонясь над чашей, Гитлер подозрительно всматривается — там, среди изломанных веток, сучьев сухостоя, горелого леса, ему

чудится, а может, и впрямь что-то напоминает очертания черепа.

— Все равно мы будем... — ожесточенно бормочет Гитлер. — Меня не сбить... Больше самолетов... — Он отходит к окну, голос его поднимается, становится острым, почти кричащим: — Я знаю! Самолеты... Никто не знает... Только я... я!.. Строить самолеты... .

Трещат поленья в камине. Отсветы пламени выхватывают вынужденные улыбки, показную беззаботность гостей. Они делают вид, что ничто не может испортить их настроения. Впрочем, все они искренне хотят как-то утешить, отвлечь своего фюрера. Первым решается на это министр почтового ведомства генерал-полковник Онезарг. До сих пор он скромно держался позади, но тут он понял, что пробил его час, ему выпала миссия поддержать фюрера. Он спускается со ступеней и идет к окну, где одиноко стоит Гитлер.

— Мой фюрер, позвольте сообщить вам о новом оружии.

Гитлер рассеянно кивает.

— ...Группа немецких физиков, собранных по инициативе почтового ведомства, работает над получением взрывчатого вещества из урана. В принципе одна такая бомба сможет уничтожить целый город, несколько бомб — и с Англией будет кончено. А несколько десятков бомб — и... .

Гитлер поднимает палец, и Онезарг умолкает на полуслове. Отсутствующий взгляд Гитлера устремлен на его замершую фигуру.

— Полюбуйтесь, господа! В то время как мы ломаем себе голову, каким образом выиграть предстоящую войну, является наш почтмейстер и приносит готовое решение. А?

Гости облегченно и громко смеются. Все рады возможности отыгаться, как-то исправить положение, люди ожили, распрямляются. А Гитлер продолжает, нагнетая:

— ...Не нужно полководцев, не нужно усилий нации... Где же эта чудо-бомба?

От унижения и страха Онезарг мучительно заикается:

— Требуется ис-с-следования... нужны оп-пыты... чтобы сделать проект... .

Гитлер взрывается:

— Я запрещаю тратить деньги на исследования! Мне надо оружие, которое можно изготовить в течение трех месяцев. Полгода максимум! — Он потрясает кулаком. — У нас слишком развивается интеллект! Слишком много ученых. Наша военная техника обеспечит блицкриг без этих халдеев!

Гитлер, а за ним и вся его свита переходят к роялю. Все рассаживаются. Гитлер садится на ступеньку. Где-то в стороне Геринг отводит в сторону Онезарга, расспрашивает его, согласно кивает. . .

Выходит хор малышей — девочки в голубеньких платьицах с бантами, мальчики в коротких штанишках, с галстучками. Нежные детские голоса великолепно звучат в этом зале. Трогательная рождественская песня разгоняет мрачные мысли.

О Tannenbaum, о Tannenbaum,
Wie grün sind deine Zweige!
Du blühest nicht nur in Sommerzeit —
Und auch im Winter, wenn es schneit. . . *

А через несколько месяцев, в сентябре 1941 года, под неистовую дробь барабанов, сотни девочек и мальчиков, одетых в форму гитлерюгенда, самозабвенно маршируют на лейпцигской площади. Рослые унтеры командуют детьми. Чеканный прусский шаг отбивают подошвы по каменной брусчатке. Сухие листья несутся из-под ног. На детских лицах восторг. Сотни рук взлетают вверх в приветствии:

— Зиг-хайль! Зиг-хайль! Зиг-хайль!

Они надвигаются на Гейзенберга и Лауэ, которые пересекают площадь. С болью, с ужасом Лауэ вглядывается в эти пылающие счастьем лица марширующих детей.

— Боже мой, что с ними сделали. . .

Гейзенберг не замечает ничего, он увлечен сейчас своим, он только что из лаборатории, где, кажется, что-то начинает получаться.

— . . .Как только наш котел начнет действовать, я

* О елка, елка,
Как зелены твои ветки!
Ты цветешь не только летом,
Но и зимой, когда идет снег. . .

обойдусь и без урана-235. У нового элемента будет такая же взрывчатая сила. Я вам сейчас покажу.

Они заходят в пивную, тут же на площади, присаживаются у окна, за свободный столик.

У прилавка висит карта Восточного фронта. По флажкам видно, что линия фронта приближается к Москве, вплотную окружила Ленинград.

Максу фон Лауэ уже за шестьдесят, но в нем сохраняется детская голубоглазая наивность, то доверчивое прямотушие, про которое говорят: ну что с него спросишь...

И он действительно, пожалуй, единственный из немецких физиков продолжал держаться независимо, он позволял себе резко высказываться против антисемитизма, помогал преследуемым ученым. Он был в те годы нравственным примером...

Лауэ почти не смотрит на то, что пишет и рисует перед ним Гейзенберг, — пофыркивая, он вглядывается в его лицо.

Наконец Гейзенберг замечает это молчание.

— Что с вами?

Лауэ молчит.

— Вы что, не верите? Вы бы могли меня поздравить.

— Поздравляю.

— Я надеюсь, мы обставим всех.

— И что дальше, дружок?

Гейзенберг откидывается, быстро пьет пиво.

— Макс, согласитесь, это интереснейшая задача.

— Итак, господин лауреат, мы открываем путь к атомной бомбе для наших дорогих прохвостов. Они сразу станут хозяевами. Потом уже мы не сумеем остановить их.

Лауэ выразительно оглядывает пивную — сановную лейпцигскую пивную тех лет, с гравюрами старинных замков и рыцарей. За столиками пьют, курят офицеры, эсэсовцы, чиновники в мундирах.

— Теперь, когда следующий вариант твоего котла может стать успешным, не мешало бы спросить себя: имеем ли мы моральное право давать им в руки такое оружие? — откровенно формулирует Лауэ.

— Хорошо, а если американцы его сделают?

Лауэ задумывается.

— Это не довод... Вот что. Надо поехать в Копенгаген. Придумать какой-нибудь предлог...

— Предлог можно найти, там через две недели будет симпозиум.

— Ну и прекрасно... Пойми, Вернер, если бы я мог тебя заменить, я бы не раздумывал. Но ни с кем из нас Бор не станет говорить, кроме как с тобой. Ты его любимец.

— Был. Для них мы все теперь наци...

— Я тебя понимаю, это риск...

— Я связан с секретной работой.

— Учти, что и за ним наверняка следят...

— Господи, что за страна, в которой даже нельзя совершить геройство, — с тоской произносит Гейзенберг. — Тихо запрячут в концлагерь и запретят упоминать, как будто тебя и не было. Активное сопротивление, — это бессмыслица. Парадокс в том, что можно что-то сделать, лишь сотрудничая с ними... сопротивляться, помогая.

Он почти перешел на шепот. Лауэ соблюдает осторожность совершенно иначе: голос его не снижается, он разговаривает так, как будто они продолжают обсуждать свои дела.

— Я лично всегда держал военных в неведении относительно результатов работ. И тебе советую. Нельзя им давать никаких надежд. Я не хочу думать об американцах. Нам пора для самих себя определить нашу позицию. Чтобы говорить с Бором, надо понять, что мы предлагаем.

— Не знаю. Я хочу просто посоветоваться с ним. Пусть он скажет, что нам делать.

— Но для этого ты обязан ему все рассказать, все!

— Это нельзя... А если мы идем впереди американцев?

Они молчат. Лауэ допивает пиво, подходит кельнер, забирает стаканы, вытирает столешницу.

— Надо иметь мужество информировать его... полностью, — говорит Лауэ, не стесняясь кельнера.

Гейзенберг ждет, пока они останутся одни.

— Информировать его, а значит, и их, наших противников... то есть предать... совершить...

— Измену? Подумаешь. Меня эти слова не трогают. Кому измену?

— Макс, я не могу желать поражения своей стране. Мы с вами немцы. . . Я люблю Германию. Нильс поймет меня. Давайте рассуждать логически. Что реально в наших условиях? Для обеих сторон? Договориться, чтобы и мы и они затормозили изготовление бомб. . .

— Но как ему это сказать?

Звуки фанфар. По радио передают победную сводку.

Отряды гитлерюгенда на площади останавливаются. Кельнер подходит к карте, переставляет флажки ближе к Москве.

Военные, видимо фронтовики, встают, затягивают песню «Мы уходим на Восток». И вся площадь поет. Пьяный капитан с перевязанной рукой подходит к физикам с поднятым стаканом вина.

Они машинально приподнимаются, продолжая разговор.

— Нет, это невозможно. Ты должен с ним договориться, — настаивает Лауэ.

— Нельзя подвергать Бора опасности.

— Отставить разгозоры! — кричит капитан. — Петь! Всем петь!

Лауэ подзывает кельнера.

— Уберите его, — свирепея, кричит он. — Это невоспитанный человек!

Кельнер отводит капитана, что-то шепчет ему.

— С Бором надо быть откровенным, — продолжает Лауэ.

И тут капитан со своей компанией громко провозглашает:

— Великому ученому нашей великой Германии!

Они высоко поднимают кружки в честь Гейзенберга. Шипит, лопается пена. Гейзенберг кланяется, морщась, и все же слегка польщенный.

Все стоит на прежних местах в гостиной дома Нильса Бора. Так же горит камин, и так же дымится большой кофейник на столе. Но сместилось значение вещей. Одним из главных предметов стал телефон. На молчащий аппарат посматривают, к нему прислушиваются. Часы тикают встревоженно, и все слышат этот отсчет. Приемник дежурного бормочет в углу. И шторы плотно закрывают окна.

— Если он согласился возглавить Кайзер-Вильгельминститут, — говорит Розенталь, близкий друг и сотрудник Бора, — значит, он помогает фашистам.

— Он оправдывал оккупацию Польши, — говорит сын Бора. — Что можно ждать от него?

— Такие заявления бывают иногда вынужденными, — говорит Розенталь. — Мы знаем, как заставляют их делать.

— Что, его пытали? — спрашивает Нильс Бор. — Нет, я никогда не понимал двойной игры. И не желаю понимать.

Они трое ходят по гостиной, встречаясь и расходясь. Нильс останавливается у пианино, пробует пальцем начало той песенки, что когда-то пелась в этом доме.

— Ах, Вернер, Вернер... — говорит он. — Но для чего ему понадобилось это свидание? Чего он хочет?

— Может быть, он надеется что-то узнать, — говорит Розенталь.

— Во всяком случае, отец, ты должен быть крайне осторожен.

— А если его специально подослали? — спрашивает Розенталь.

— Послушайте, это же Гейзенберг! — с отчаянием восклицает Бор. — Это же не полицейский провокатор.

Он с треском захлопывает крышку пианино. Надевает пальто.

— Отец, проводить тебя?

— Нет, нет.

...Моросит дождь по набережной Ни-Карлсберга. У воды стоят, как всегда, рыболовы с удочками. Нильс Бор идет под зонтом, рядом с ним Гейзенберг. Он иногда оглядывается. Воротник его плаща поднят, шляпа плотно надвинута.

— ...Ничего особенного, я просто давно не видел вас. Я решил воспользоваться этой конференцией... — объясняет Гейзенберг.

— Благодарю вас, очень рад, — церемонно приговаривает Бор.

— Я представляю себе, как изменились ваши оценки немецкой физики, — говорит Гейзенберг. — Многие люди

связывают имена ученых Германии с нынешней государственной политикой. Но вы-то понимаете, что тут надо разделять... Власть — это одно, ученые — это другое, и вряд ли мы должны отвечать за их действия... — Он осторожно обрывает себя. — Нельзя не учитывать нажима, который оказывают на каждого ученого. Трудно даже передать атмосферу, в которой мы живем.

— Хм, не знаю, не знаю, — бурчит Бор.

— Иногда приходится заниматься вещами, которыми и не хотел бы.

— Хм...

— Например, урановой проблемой... — и Гейзенберг выжидательно замолкает.

— Что же тут такого неприятного?

— Нет, нет, ничего... Однако урановая проблема связана с проблемой атомного оружия.

— Хм...

— Вы думаете, атомное оружие практически невозможно создать?

— Не знаю. Я с начала прошлого года ничего не слышал о развитии атомных исследований, — официальным тоном отвечает Бор. — Ни в Англии, ни в Америке. Может быть, они держат их в секрете. А может, и бросили заниматься этими вещами.

— А если не бросили?

— Кого вы имеете в виду?

— Я хочу спросить вас напрямую, Нильс. Имеем ли мы вообще моральное право во время войны заниматься таким оружием, как атомная бомба?

Бор пытается вникнуть, разгадать шифр этого вопроса, — не замечая, он шагает по лужам. Весь разговор как шахматная партия, дебют разыгран, и теперь надо все тщательнее рассчитывать очередной ход.

— Раз вас интересует такой вопрос, — чутко и осторожно выводит Бор, — значит, вы уже не сомневаетесь, что расщепление атома можно использовать для военных целей?

— Теоретически — да.

— А практически?

— Не знаю, — тотчас замыкается Гейзенберг. — Думаю, что технически это слишком дорого и сложно.

— Ого, значит, уже технически...

— Я надеюсь, что никому не удастся это осуществить в ходе войны.

— Кто бы мог подумать, что дело у вас пойдет так далеко...

— Нет, нет, вы меня не так поняли, — страдальчески вырывается у Гейзенберга.

Они останавливаются. Бор ждет. Кажется, сейчас начнется то главное, ради чего приехал Гейзенберг. Где-то поблизости клацают солдатские сапоги — проходит патруль. Снова тихо. Каждый вглядывается в лицо другого, каждый неуступчиво ждет от другого первого шага, и оба молчат.

Гейзенберг протягивает руку и не решается прикоснуться к Бору, стряхивает намокший рукав. Они оба страдают от недоверия друг к другу и оттого, что не в силах преодолеть это недоверие.

— Я так надеялся получить от вас совет... помощь...

— Вы знаете, Вернер, все слишком круто изменилось, боюсь, что физики в этих условиях будут продолжать пачатое, как бы ни были опасны такие работы.

— Послушайте, Нильс, надо их остановить, пока не поздно. Мы должны договориться.

— О чем?

— Ученые не должны толкать свои правительства, чтобы... ну, словом, разворачивать эти работы.

— Вот как...

— Вы думаете, это нереально?

— Вы не могли бы, Вернер, несколько полнее сформулировать свою мысль?

— Нильс, вы пользуетесь достаточным влиянием в Англии и Америке. Вы единственный, с кем я могу говорить об этом. Скажите, как вы полагаете, пошли бы в Америке физики на то, чтобы не создавать бомбу? Если, конечно, и немецкие физики сделают то же. Возможно ли такое соглашение?

— Странно, — задумчиво говорит Бор. — Странное предложение, — при своем простодушии он не в состоянии скрыть внезапное подозрение. — Это же рискованный вариант. Какие у нас могут быть гарантии?

Гейзенберг не сразу понимает, в чем его заподозрили.

— Но если мы договоримся...

Бор берет его под руку.

— Дорогой Вернер, мало ли что мы... вы сами толковали мне про то, как заставляют немецких физиков. Согласитесь, что ваш фюрер в смысле коварства...

— Да при чем тут фюрер? — вырывается у Гейзенберга, он оскорбленно высвобождает свою руку.

— Все равно, Вернер, ваше предложение в условиях войны выглядит двусмысленно, — вежливо и твердо заканчивает Бор.

— Вы мне не доверяете?

Бор молчит.

— Когда-то вы считали меня своим любимым учеником. Вы не доверяете мне за то, что я остался в Германии. Но я немец.

— А я датчанин, и должен бежать из Дании.

— Это ужасно, что мы так разговариваем.

— Ах, Вернер, разговаривать можно как угодно. Трагично, что мы не в состоянии договориться, и что и вы, и американцы будут продолжать делать бомбу...

— Да, вы правы, Нильс. Прощайте, привет Маргарет и вашим ребятам. Да хранит вас бог.

Бор остается один. Дождь часто, все громче, стучит в зонт. Откуда-то из-за угла появляется Оге Бор. Он берет отца под руку.

— Они делают бомбу. Они занимаются всю атомной бомбой, — потрясенно повторяет Бор...

Они возвращаются домой узенькими улочками, и, проходя мимо кинотеатра, Бор почему-то вспоминает одну давнюю историю.

Это произошло в тридцатые годы, когда в очередной раз его мальчики съехались к нему.

Интересно, вспоминал ли эту историю Гейзенберг?

Или Оппенгеймер, ведь он тоже мог вспомнить ее?

...Из темноты кинозала доносится стрельба. На экране довоенный американский вестерн: шериф, невозмутимый и неуязвимый стрелок, спасает от бандитов бедную очаровательную красотку. Стоит кому-то из бандитов взяться за пистолет, как этот парень вскидывает свой кольт, и очередной злодей падает, сраженный пулей. Бар завален трупами бандитов...

Молодежь, которая затащила Нильса Бора в это

кино, хохочет, но сам Бор чем-то заинтересовался, он внимательно следит за действиями героя, за всей этой, казалось бы, чепуховой игрой в поддавки. И на улице, после картины, Бор отключен от общего веселья.

— Надо же нагородить такую безвкусицу...

— Оппи, и тебе не стыдно за твой Голливуд?

— Каков супермен! — Оппи наставляет вытянутые пальцы и палит из двух пистолетов. — Бах, бах, бах!..

Они потешаются и резвятся, пародируя неправдоподобные подвиги героя.

— Нильс, пожалуйста, простите нас, неразумных, — говорит Сциллард. — Это все Оппи, это его продукция.

Однако Бор не разделяет их иронии. Вполне серьезно, без улыбки он говорит:

— Мне думается, ситуация довольно реальная.

Несмотря на любовь и уважение к своему учителю, его спутники не могут скрыть веселого удивления.

— Господи, о чем вы, это же бред собачий, — не выдерживает Сциллард.

— Разве так бывает...

Бор берет Гейзенберга за пуговицу пиджака:

— А не кажется ли вам, Вернер, что тот, кто защищается, действует быстрее?

Гейзенберг недоверчиво пожимает плечами, да и остальные насмешливо переглядываются.

— Инстинкт самосохранения должен срабатывать быстрее... — упрямо продолжает Бор, теребя пуговицу.

— Давайте проверим, — предлагает Сциллард. С энтузиазмом экспериментатора он жаждет опыта, реальных доказательств и тут же организует этот опыт. — Купим пистолеты и сейчас все это выясним.

Сказано — сделано. Они направляются в ближайший магазинчик, выходят оттуда с парой детских пистонных пистолетов. Поединок решено провести безотлагательно, здесь, на улице.

— Кто будет гангстером? — распоряжается Сциллард. — То есть кто нападает?

— Я!.. Я!.. — одновременно выкрикивают Оппи и Теллер.

— Тогда я жертва, то есть благородный герой, — требует Гейзенберг.

— Нет уж, героем буду я, — простодушно просит Бор. — Все-таки это моя гипотеза.

— Прекрасно, я гангстер! Теоретик должен сражаться с теоретиком, — восклицает Гейзенберг. — И вообще, мы, немцы, любим стрелять, — он бесцеремонно забирает у Сцилларда пистолет.

Оппи недоволен.

— Силы неравны... Этот Вернер и не подумает уступить. Сейчас он укокошит своего учителя.

Бор и Гейзенберг становятся в позицию. Лео Сциллард помогает Бору зарядить пистолет.

— Итак, Вернер, ты начинаешь! — командует Лео.

«Враги» прячут пистолеты в карманы. Наблюдатели окружают их кольцом. Гейзенберг, уверенный в победе, не спешит. Бор немного смущен, доброе большое лицо его совершенно не соответствует происходящему и невольно вызывает улыбки.

Гейзенберг выхватывает пистолет, но, на какое-то мгновение опережая, весело хлопает пистон. Невероятно, что это успел выстрелить Бор, такой неуклюжий, сутулый, чем-то напоминающий медведя.

— Ого! Вот так штука! Еще, еще, снова! — требуют все.

Собираются прохожие, привлеченные шумным сборищем, необычным в этом респектабельном Копенгагене. Отворяются окна, останавливается возчик пива. Подходит полицейский:

— В чем дело, господа? Добрый вечер, господин Бор!

— Видите ли, мы проверяем одну психологическую теорию, как бы это выразиться...

— Судьба агрессора, — подсказывает Сциллард, он снова заряжает пистолет и подает сигнал.

— Всякое действие, — продолжает рассуждать Бор, засунув пистолет в карман, — которое требует решения, выполняется медленнее...

— Дайте я попробую, — просит Оппи.

Он отбирает пистолет у Гейзенберга, решив во что бы то ни стало опередить Бора. Закусив губу, он ждет, изготовился.

— Нильс, следи за ним, — предупреждает Сциллард.

— Он мне не мешает... Так вот, решение неизбежно выполняется медленнее, чем действие, вызванное внешним раздражителем...

Решившись, Оппи выхватывает пистолет, вкладывая в движение всю свою молодую стремительность, и снова Бор успевает выстрелить раньше.

Ему аплодируют.

— Это похоже на фокус, — досадливо бурчит Гейзенберг. — Я понимаю вашу теорию, но что же получается? Что же делать бедным бандитам?

— Если они хотят убить друг друга, — необычайно серьезно заключает Бор, — то им ничего не остается другого, как разговаривать. Ибо тот, кто решится стрелять, будет убит прежде, чем исполнит свое решение.

Маленькое зимнее солнце в морозном ореоле, и ветер. Тишина безлюдного заснеженного Ленинграда. Репродукторы на столбах гулко разносят тиканье метронома. Литейный мост через Неву. Отсюда открывается путаница тропинок по льду, бездымные заводские трубы, белый горд над белой рекой. У набережной клубится пар над прорубью, окруженной ледяными наростами, прорубленные ступеньки, редкие фигуры людей, тянущих ведра на саночках.

Молоденький воентехник Гуляев, в полушубке, с вещмешком, бредет по бесконечно длинному Лесному проспекту. Мимо разбитых домов и домов с замерзшими окнами — по ним видно, что там еще живут. Постукивает движок в какой-то мастерской. Закутанные, перевязанные платками люди, не поймешь, кто они — мужчины, женщины, разбирают крыльцо деревянного дома. Обвязав веревкой столб, тянут, пытаясь свалить его. Воентехник подходит, впрягается. Столб трещит, падает.

Снова даль проспекта, свистящий навстречу ветер, сугробы снега на путях, на мостовой, развалины, тропинки. Красный трамвай «девятка», воентехник читает привычную надпись: «Нарвские ворота — Политехнический институт». Провода давно оборваны, пути занесены, и уже трудно представить, как попали сюда эти два вагона. Воентехник поднимается в передний передохнуть,

укрыться от ветра. Нетронутый холм снега на открытой площадке. Дверь открывается с пронзительным вскриком стылого железа.

Воентехник садится, закрывает глаза. Тишина, ветер, удары метронома. Еле слышно возникают звуки движения колес, голоса людей, хранимые памятью тех мирных дней, когда он каждое утро ездил в институт этим трамваем и у Финляндского трамвай набивали приезжие, а у Флюгова шумно втискивались студенты Политехнического. Голос кондукторши, звон денег, гудки машин, и вдруг, обрывая эти воспоминания, резко и громко дзенькает трамвайный сигнал.

Заледенелый подъезд Физико-технического института. Напротив, в парке, зенитная батарея. Из вестибюля доносятся голоса. Воентехник открывает дверь...

На застекленной веранде дачи Сталина в Кунцево несколько человек сидят в ожидании. Сюда вызваны трое из ведущих физиков страны, причем каждый из них не случайно: Владимир Иванович Вернадский — как крупнейший специалист по радиоактивным материалам. Сергей Иванович Вавилов — как директор Физического института и Абрам Федорович Иоффе — как директор Ленинградского Физтеха и глава школы советских физиков.

На веранде кожаный учрежденческий диван, желтый канцелярский стол и желтые стулья, вся эта мебель какого-то обезличенно-казенного вида.

Входит Сталин, здоровается с ожидающими здесь Zubавиным и академиками.

— Здравствуйте, товарищ Сталин. Разрешите представить вам — Владимир Иванович Вернадский... Абрам Федорович Иоффе... Сергей Иванович...

— Мы знакомы, — говорит Сталин, обращаясь к Иоффе, затем к Вернадскому: — Здравствуйте, Владимир Иванович.

— Здравствуйте, здравствуйте, очень рад с вами встретиться, — добродушно и беззаботно отвечает Вернадский. Он здесь самый старший и обращается со всеми, включая Сталина, по-отечески покровительственно.

— Наверное, товарищ Zubавин рассказал, что нас интересует? Как вы полагаете, — говорит Сталин, — мо-

гут ли немцы изготовить бомбу такой силы? Реальна опасность того, что они ведут эти работы?

Вавилов решается ответить первым:

— У немцев, товарищ Сталин, для этого есть все, у них отличная химия. У них осталось немало крупных ученых, великолепные лаборатории... Что касается физики, то Абрам Федорович может подтвердить, он работал в Германии, там физика мирового класса...

— Так, так, — Сталин переводит взгляд на Иоффе.

— Теоретически не существует никаких препятствий, — начинает было Иоффе, но спохватывается: — Как практически сложится у них... у немцев... не знаю. Видите ли, слишком мало данных есть, чтобы судить...

— А вот некоторые ваши молодые сотрудники, Абрам Федорович, сообщают нам, что в западных журналах перестали печатать статьи по атомной физике, — не торопясь, рассказывает Сталин.

— Да. Сперва в английских прекратили, — подтверждает Иоффе, — а сейчас и в американских.

— На основании этого они делают вывод, что работы засекречены. Почему, спрашивается?

После некоторого молчания Вавилов отвечает:

— Возможно, чтобы не давать материала немцам. Они опасаются, что немцы развернули работы над бомбой.

— Так, так...

— А может, американцы с англичанами сами тоже приступили к работам, — добавляет Иоффе.

— И нам, товарищ Сталин, пора бы подумать об этом, — простодушно советует Вернадский.

— Почему же вы, академики, специалисты, сами не ставили об этом вопроса? — Голос Сталина становится жестко-угрожающим. — Почему вы ждете, когда вас вызовут? Почему, наконец, товарищ...

— Флеров, — подсказывает Зубавин, — младший лейтенант...

— Да, младший лейтенант, обыкновенный научный сотрудник, сопоставил факты и не постеснялся написать, предложить, а вы стесняетесь?

Молчание.

Сталин продолжает:

— Вот, например: союзники сейчас усиленно бомбят

завод тяжелой воды в Норвегии. Что это, по-вашему, значит?

— Тяжелая вода нужна для атомных исследований, — говорит Иоффе.

— Вот видите!

— Но можем ли мы сейчас, во время войны, позволить себе... — и Вавилов выразительно умолкает.

— Это уж мы сами будем решать, товарищ Вавилов. Речь ведь идет об оружии, не так ли?

— Да, товарищ Сталин.

— Не надо оправдываться войной, не стоит... Что нам надо для того, чтобы подготовить такое оружие?

— Это потребует огромных затрат. Трудно сразу определить.

— А может, вы все же попробуете, Владимир Иванович? — неожиданно обращается Сталин к Вернадскому.

Нисколько не смущаясь, Вернадский поясняет:

— Примерно это будет стоить столько, сколько стоит одна война.

— То есть?

— Очень просто. Весьма дорого и неопределенно. Смотря по тому, как будет уклоняться от нас истина. А кроме того... вот, например: наш маленький урановый рудник придется развернуть так, чтобы резко увеличить добычу. В сотни раз...

Сталин нетерпеливо постукивает по столу.

— Вы считаете — нам следует за это дело приниматься?

Все молчат. Никто не решается первым высказать свое мнение.

— Но если союзники занимаются атомной проблемой, — говорит Вернадский, — то зачем же нам тратить на это средства? Можно же договориться, я знаю там Комптона, и Лоуренса, и доктора Рабби. Это вполне порядочные люди...

Сталин недоверчиво приглядывается к Вернадскому, как бы раздумывая, потом вдруг начинает тихо смеяться.

— Политическая наивность, — говорит он, обрывая свой смех. — Они с нами делиться своими секретами не станут. Нам самим надо решать для себя... Как, товарищ Вавилов?

— Я думаю, что нам придется заниматься этим, и чем раньше, тем лучше, — говорит Вавилов.

— Вы полагаете, наши ученые смогут решить эту проблему?

— Думаю, да. Если организовать и дать средства...

— А кто, по-вашему, мог бы возглавить эту работу? Вавилов смотрит на Иоффе.

— Я думаю... Курчатов, — говорит Иоффе.

— Кто такой Курчатов? — спрашивает Сталин.

— Это физик, молодой, энергичный, отличный ученый. Он как раз перед войной руководил исследованиями по ядру...

Сталин поднимает руку, останавливая:

— Почему Курчатов, что у нас, мало академиков?

— Товарищ Сталин, Курчатов — профессор, доктор наук, и потом, это работа не на месяц... на годы...

— Совершенно верно, — подтверждает Вернадский.

— Курчатов совмещает в себе хорошего организатора и крупного ученого, специалиста именно в этой области, — настаивает Иоффе.

— Значит, вы рекомендуете Курчатова. Так? А вы? — обращается Сталин к Вавилову.

— Я поддерживаю.

— Где он?

— На фронте. В Севастополе, — отвечает Иоффе.

Сталин смотрит на Зубавина:

— Надо отозвать.

— Может быть, и еще несколько специалистов? — спрашивает Зубавин.

Сталин, не сразу, кивает.

...Постукивает, мотает ночной вагон. Раскинулись ноги в кирзе, валенках, обмотках. Проход забит спящими, прикорнувшими между скамеек, на мешках, чемоданах.

Старик и старуха развязывают торбу, достают хлеб, яйца.

— Угощайтесь, — говорит старуха Курчатову, который сидит напротив и смотрит за окно, в ночь... Он в матросском бушлате, вид у него больной. Лицо заросло, он недавно начал отращивать бороду.

— Спасибо. Не хочется что-то.

— Севастопольский?

— Да нет, из Ленинграда я, — говорит Курчатов.

— Семья там?

— Отец с матерью... остались.

— Господи, как подумаешь о них, ленинградцах, — говорит старик, — так наше горе не бедой кажется.

— Отец умер, — вдруг сообщает Курчатов, — не знаю, как мать. Может и она. А?

Привыкшие за эти месяцы ко всему, люди молчат, не сочувствуя, не утешая, потом деликатно переводят разговор:

— И куда ж ты сейчас?

— В Казань. Институт наш там. Жена там. Вот, вывали.

Вагон мотает, колышутся тени, где-то плачет ребенок. Душно, жарко, а Курчатов кутается, озноб бьет его... Он идет, перебирая рукой по стене и полкам вагона.

И улица Казани шатается, как вагон. Вздрагивают дома, лязгают сугробы. С трудом Курчатов находит дом, где живет Марина Дмитриевна, заходит во двор, присаживается на чурбан, уже не в силах подняться, сделать последние шаги до квартиры...

Марина Дмитриевна, которая шьет на машинке, вдруг поднимает голову и видит его, вернее узнает, еще вернее — угадывает, бежит во двор, поднимает его, тащит на себе...

Проходная комната Курчатовых в большой коммунальной квартире. Женщина-врач осматривает Курчатова. В коридоре за полуоткрытой дверью ждет Иоффе с пакетом в руках.

— Ваше сердце нуждается в полном покое, — гремит голос врача, — миленький, вы некультурный человек... Думаете, на войне можно не щадить здоровья... Извините. Жизни не щадить, это да, а здоровье извольте беречь.

В дверях она сталкивается с Иоффе, подозрительно оглядывает его и обращается к жене Курчатова:

— Марина Дмитриевна, и никаких серьезных разговоров. Хотя бы недельку — анекдоты, одни анекдоты.

Иоффе входит в комнату, кладет на стол пакет. Марина Дмитриевна провожает доктора через кухню, завешанную бельем и пеленками. За окном шумит крикливый казанский двор. Сквозь проходную комнату все время, бочком, деликатно, ходят какие-то люди.

— Абрам Федорович, почему вы меня рекомендовали? — тихо и быстро спрашивает Курчатов. — Как вы могли?

— А кого? Никто лучше вас не справится. Слава богу, я вас достаточно знаю.

— Вы говорите так, будто ясно, как решать эту задачу.

— От нас, специалистов, требовали сказать «да» или «нет». Простите, Игорь Васильевич, я не мог сказать «нет».

Разговор идет торопливый, приглушенный, и, когда в коридоре раздаются шаги Марины Дмитриевны и она входит в комнату с чайником, Курчатов внезапно начинает смеяться:

— Ох, утомили, Абрам Федорович, великолепно. Вот это анекдот!

— Расскажите, Абрам Федорович, — просит Марина Дмитриевна.

Абрам Федорович укоризненно смотрит на Курчатова.

— Маша, это не для дам, — выручает его Курчатов.

— Вот уж не знала за вами, Абрам Федорович!

— Огрубел, Марина Дмитриевна... Между прочим, тут сахар и даже некоторые лекарства.

Марина Дмитриевна накрывает на стол. Со двора доносится звук трубы. Она берет жестяную банку.

— Керосин привезли, я сейчас. Игорь, ты бы прилег.

Как только она выходит, Курчатов увлекает Иоффе в коридор:

— Тут нам никто не будет мешать.

Они укрываются за развешанными пеленками, в глухом полутемном тупичке, Курчатов с наслаждением закуривает.

— Судя по всем данным, — тотчас начинает Иоффе, — немцы занимаются ураном, и американцы, и англичане.

— Но, Абрам Федорович, вы представляете, чтобы начать — только для опытов — графит нужен, производ-

ство налаживать надо, тяжелая вода нужна, а уран? Тонны урана! Рудники необходимо переоборудовать. А измерительная аппаратура, где ее брать? Чистого изотопа ни столечко нет. Начинаешь думать, голова идет кругом. Я сейчас в Севастополе, Абрам Федорович, нахлебался — самолетов нет, снарядов в обрез. Какое же право мы имеем отвлекать огромные средства?! За счет крови наших людей? Я понимаю, если бы броню нам поручили усовершенствовать, это конкретное дело, а бомба — кот в мешке. Годы и годы нужны.

Марина Дмитриевна возвращается с керосином, заглядывает в комнату — никого нет, обеспокоенная, идет на кухню, спрашивает у мальчугана, восседающего на горшке:

— Дядю Игоря не видел?

— Там... они про бомбу говорят.

Из-за развешанного белья Марина Дмитриевна слышит голос Иоффе:

— ...Материальные трудности — полбеда. Образуется. Сложнее угадать правильный путь. С чего начинать...

Решившись, Марина Дмитриевна раздвигает белье:

— Хороши!

Курчатов виновато возвращается в комнату.

— Зачем вы его уговариваете, Абрам Федорович? — говорит Марина Дмитриевна. — Дайте ему другую работу. Почему именно он...

— Он лучше других сумеет воодушевить людей... — Иоффе разводит руками. — Но пусть он сам решает...

— Я боюсь, — говорит Марина Дмитриевна, — боюсь, боюсь...

С открытыми глазами Курчатов лежит в темноте. Стучит швейная машинка. Марина Дмитриевна съед тряпочных зайцев. Это работа, которую она берет на дом. Груды белых ушастых зайцев растут на столе.

Время от времени она поглядывает на мужа.

Он видит новогоднюю елку, летящий голубой шарик с надписью «ядро атома», вальс, и следом горящий Севастополь, себя на борту эсминца, раненых, которых несут по сходням на корабль, эвакуацию под бомбежкой, и снова бал в Физтехе, и снова обстрел Севастополя... Кружатся, сталкиваются эти две картины, нет, уже не картины, не воспоминания, а два направления жизни:

война, бой, его солдатский долг, и физика, атомное ядро, лаборатория — два, как ему кажется, разных, даже противоположных направления жизни. Потому что заняться атомными делами — это, как бы там ни было, оставить фронт, уйти с войны. . .

Голубой воздушный шарик поднимается все выше, выше и лопается страшным взрывом, кроваво-слепящим столбом, который медленно поднимается к небесам, растет, расплывается в атомный гриб.

В кабине пилота — веселые ребята команды самолета «Энола Гэй». Ведет свой репортаж американский журналист Лоуренс, который получит потом за это высшую журналистскую премию — Пулитцера:

— . . . Наш самолет «Энола Гэй», названный полковником Тибетсом по имени своей покойной матери, соответствует двум, а может, четырем тысячам «летающих крепостей». Впереди лежит Япония. В мгновение, которое нельзя измерить, небесный смерч превратит в прах ее обитателей. . . Столб фиолетового огня в пять тысяч метров высотой. Вот он уже на уровне самолета! . . . Это уже не дым, не огонь, а живое существо, рожденное человеком.

Души всех японцев поднимаются к небесам! О том, что здесь был город Хиросима, я могу судить лишь по тому, что минуту назад видел его собственными глазами. . . Мы передавали репортаж корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс» с театра военных действий. . .

Ужин закончен, скатерть снята, открылся черный дубовый стол, за которым восседали физики-апостолы. Теперь они бродят по этой большой столовой, не находя себе места, не в силах успокоиться. Сообщение о бомбе не сплотило, а разъединило их.

Большинство не могло поверить, они просто не хотели верить тому, что американцы сделали атомную бомбу.

Карл Виртц, например, был убежден, что он вместе с Гейзенбергом, точнее их группа, первая в истории осуществила цепную реакцию. Не совсем осуществила, не до конца, но это уже технические детали, а в принципе у них

уже получилось. Там, в пещере под скалой в Хайгерлохе, осталось совсем немного, чтобы разогнать котел. В самом начале марта они уже получили на сто нейтронов — семьсот, реакция вот-вот должна была пойти, еще немного — и возникли бы критические условия. Нужно было только добавить еще урана.

Не хватало еще хотя бы полтонны урана и меньше чем тонны тяжелой воды. Один грузовик. Тем более что все это было у группы физиков, возглавляемых Дибнером.

Поначалу хотели все оставить Дибнеру, весь уран, всю тяжелую воду, все вывезенное из Берлина оставить в той тюрингской деревушке, где этот ловкач Дибнер приспособил школьный подвал для нового реактора, и все машины, которые Виртц вел из Берлина, уже разгрузили там. Виртц поднял шум, накрутил Гейзенберга, надо было, чтобы тот дозвонился до начальства, чтобы как-то переиграть это решение. Гейзенберг сам с Вейцеккером приехали в Штадтильм к Герлаху и выхлопотали несколько грузовиков урана и тяжелой воды. В Штадтильме и во всех окрестных городках воздушная тревога не прерывалась. Сигналов отбоя почти не было. В небе одна за другой плыли эскадрильи союзных и красновоздушных бомбардировщиков. Был февраль сорок пятого года.

Если бы еще поднажать, можно было бы взять еще тонну урана. Виртц не мог простить себе... В который раз успех, удача в самую последнюю минуту ускользали от него. Так было и в Берлине. Он собрал последний реактор, самый большой реактор с тяжелой водой. Оставалось только залить тяжелую воду. Полторы тонны. И начинать пуск. Двадцать девятого января поздно вечером его группа кончила последние приготовления. А на следующий день пришел приказ демонтировать реактор и во двор института прибыли тяжелые крытые грузовики с охраной для эвакуации. Из Берлина уходили, уезжали, бежали. Свет в бункере то и дело меркнул, гас. Бомбежки усилились. Виртц был вне себя — ему не хватило двух-трех дней.

В пещере Хайгерлоха пахло винным спиртом, и на деревянных стеллажах кое-где лежали старые бутылки. Его люди работали не жалея себя, готовя котлован для реактора, монтировали контейнеры, баки, приборы.

Условия были здесь самые примитивные, никакого сравнения с берлинским бункером, где имелся кондиционер, а наверху ходил тельфер, люди были изолированы от реактора стальными дверями, специальными иллюминаторами. Котлом можно было управлять на расстоянии, из подземного пульта. Предусмотрено все для защиты людей от радиации.

Хайгерлох был дереvушкой, живописной и никак не приспособленной для исследований. Негде было даже расточить подшипник насоса. И все же они за неделю вручную подвесили к проволокам почти семьсот кубиков урана и к первому марта начали закачивать тяжелую воду в новый котел.

По дорогам тянулись потоки беженцев из Пруссии, из разбомбленного Дрездена, из Чехословакии. Воздушные налеты не прекращались. Однажды бомбы попали в тюрьму, что стояла на утесе, и в пещере все дрогнуло, бетон у контейнера треснул.

К этому времени и Виртц и Гейзенберг поняли, что можно было обойтись без тяжелой воды, без всей этой норвежской эпопеи, без жертв и боев за эту тяжелую воду. Графит вполне годился как замедлитель.

Безумная надежда подстегивала Виртца: может быть, им все же удастся опередить всех, не только своих немецких конкурентов, но и вообще всех в мире, он чувствовал, что они подошли вплотную к получению атомной энергии.

Они были совсем близко и невероятно далеко.

Они двигались быстро, но понимали, что советские войска приближаются еще быстрее.

Что подгоняло этих последних действующих физиков гитлеровского рейха? Любознательность? Тщеславие? Одна за другой опустели лаборатории Кайзер-Вильгельм-института в Берлине. Американские войска приближались к Штадтильму, работа там тоже прекратилась, эсэсовцы приказали всем атомщикам Дибнера эвакуироваться на юг. А в пещере Хайгерлоха все еще лихорадочно работали. Виртц пытался дозвониться в Штадтильм: один грузовик с брикетами урана — вот что ему надо было. Если бы они успели прислать всего один грузовик. . .

...Все сорвалось в последний момент. Опять не хва-

тило нескольких дней. Роковое стечение обстоятельств преследовало их неотступно уже второй год.

Со всех сторон Гейзенбергу твердили, что если реактор заработает, то немецкая наука обретет великое преимущество. Открытие поможет добиться приемлемых условий мира. Секрет этого открытия необходим для всех стран, можно будет спасти ученых Германии, сохранить ее науку. . .

И он, Гейзенберг, верил им всем, и этому хлопотуну Вальтеру Герлаху, который пытался быть хорошим для всех и всех выручить, и всем помочь, и мотался между Герингом и Борманом. Они и впрямь считали, что они откроют миру глаза, они, немецкие физики. . . И это в то время, когда, оказывается, давно уже в Штатах работали реакторы и бомбы были сделаны.

..Гейзенберг не ушел из столовой. Он решил испить чашу унижения до конца. Единственное, что он не мог себя заставить, — встретиться глазами с Отто Ганом. Почему-то перед ним было особенно стыдно. То ли потому, что Ган не постеснялся сказать им всем правду в глаза. То ли потому, что Ган один среди них всех чувствовал свою вину, взвалил ее на себя, мучился.

— А я рад, что бомба не у нас, — вдруг вскакивает Вейцеккер, с вызовом оглядывает всех. — Американцы совершили безумие.

Хартек останавливается перед ним:

— Все же они оказались способны сделать ее. А мы нет. Если бы не наша клика невежд и тупиц, мы были бы первыми.

— А может быть, все дело в том, что не они, не наши невежды, а мы сами не хотели успеха. Во всяком случае большая часть наших физиков. — Голос Вейцеккера крепнет, с каждым словом он обретает уверенность.

— То есть как?

— А так! Из принципиальных соображений! — со значением творит легенду Вейцеккер. — Если бы мы желали победы Германии, мы бы добились своего, но мы не хотели. Мы уклонялись. . .

Ган поднимает голову:

— Брехня! Не верю.

Скандал вот-вот разразится. Единственный, кто чувствует себя свободным, даже довольным этой напряженностью, это Лауэ. Он берет Гана за плечи, с помощью Карла Виртца усаживает в кресло.

— Вейцеккер, простите меня, это абсурд! — возмущается Эрих Багге. — Может, вы и не хотели успеха. Не знаю. Но остальные — вряд ли.

— Выходит, вы саботировали работы над бомбой. Допустим, — ядовито соглашается Хартек. — Но правильно ли это? Если б мы сделали такое оружие, наша наука не оказалась бы сегодня в этом положении, — он выразительно обводит руками их место заключения. — Что будет с Германией... Средневековье...

Гейзенберг ходит опустив голову, садится, встает.

— Как они это сумели? Мы ведь занимались тем же... Неужели они настолько обогнали... Непостижимо. — Гейзенберг не в силах скрыть свое расстройство, его самолюбие уязвлено. — Какой стыд!

— Вы считали себя первым, — не унимается Ган, — а вы второй... вы третий... а может быть, вы сотый...

Поздно вечером того же дня Лауэ и Гейзенберг стоят у дверей комнаты Гана. Из полуоткрытых дверей светит ночник. Ган мечется, стонет во сне.

— Я боюсь за Отто, — говорит Лауэ. — У него мания вины.

Он берет Гейзенберга под руку, они спускаются по скрипучей деревянной лестнице. Мимо проходит сержант английской охраны.

— Я всерьез занялся физикой в семнадцать лет, — говорит Лауэ, — я мечтал превратить ее в великую науку и быть свидетелем исторических событий. И то и другое осуществилось.

— Да, осуществилось... — удрученно повторяет Гейзенберг.

— Но как...

В Принстоне, в саду при доме Эйнштейна, они встретились весной 1945 года. Альберт Эйнштейн и Александр Сакс, приятель Лео Сцилларда, советник Рузвельта, тот самый Сакс, который уговаривал президента пять лет назад начать работы над бомбой.

Цветут яблони, вишни, белые лепестки осыпают седую голову Эйнштейна. Сандалии на босу ногу хлопают по гравию. Эйнштейн напоминает библейского старца. А может, и самого господя, идущего по райскому саду. Только бог этот не всемогущ, не грозен, а дряхл и печален.

— Стыдно... стыдно... — повторяет он слова Гейзенберга, но иначе, совсем иначе. — Вы знаете, Сакс, самое ужасное, что у нас нет оправдания, у всех этих военных и политиков есть оправдание, а у нас с вами нет...

Сакс отводит свисающие на их пути ветви.

— Откуда мы могли знать? — несогласно говорит он. — По всем данным, немцы работали над бомбой. Они не успели. Вернее, мы обогнали их. Это же все так и было. Разве мы виноваты, что теперь, когда немцы разбиты, бомба в руках таких, как Гровс, а Рузвельта уже нет? Послушайте, профессор, я понимаю, мы все влипли, но я сам ничего не могу исправить. Я могу только просить вас. Вы должны обратиться к президенту.

— Опять? Один раз я уже спасал человечество — я просил сделать бомбу. Теперь вам снова нужно мое имя. Чтобы спасти мир от бомбы...

К ним навстречу по аллейке спешит Сциллард. Это тот самый Сциллард, который пять лет назад приезжал к Эйнштейну организовать письмо Рузвельту. Сциллард, который работал над бомбой в Лос-Аламосе, Сциллард — любимый ученик Макса фон Лауэ.

— Простите, Сакс, я задержался. Профессор, я точно знаю: они хотят сбросить бомбу на Японию.

— При чем тут Япония? — удивляется Эйнштейн. — Германия капитулировала. Война окончена.

— Япония воюет. Гровс сказал, если у нас есть такое оружие, то мы должны применить его.

Они выходят на лужайку. Пять лет назад здесь Сциллард и Теллер обсуждали с ним текст письма к Рузвельту.

Эйнштейн подавил вздох.

— Я думаю о том, что подтолкнуть власти на новое сружие всегда легче, чем остановить...

— Мы были правы и тогда, мы правы и сейчас, — настаивает Сакс.

— Надо просить Трумэна воздержаться, — говорит Сциллард. — Какие могут быть колебания, если мы можем

спасти жизнь тысяч и тысяч людей. Мы сейчас единственные, кто понимает, что стоит взорвать бомбу — и русские поймут, что она реальность. Они ее сделают. Если успеют. Зачем им зависеть от милости всяких Гровсов.

Эйнштейн безнадежно кивает.

— ...Мы не могли предвидеть так далеко, — говорит Сакс. — Да, мы испугались чучела.

— Когда-то я предупреждал вас, что мы ходим возле самой субстанции. — Эйнштейн устало опускается на скамейку. — Дело сделано... Бомба у них... Что мы теперь...

— Именно теперь, — Сакс заставляет себя воодушевиться. — Авторитет и влияние науки поднялись как никогда...

Птица, покачиваясь на ветке, смотрит на Эйнштейна. Круглый глаз ее неподвижно и вдумчиво блестит.

Эйнштейн тоже смотрит на нее. Сакс и Сциллард стоят перед ним, ожидая ответа. Он говорит, глядя на эту птаху:

— Я не знаю, во что вы верите, но в науку верить нельзя. Она беспомощна и равнодушна... Видите, она позволяет пользоваться ею как угодно. Она может установить только то, что есть, а не то, что должно быть. — Он горько усмехается. — Грустно убеждаться, что есть вещи, куда более нужные людям, чем знания...

Птаху улетает, и Эйнштейн обрывает себя, как будто он говорил ей.

— Где ваше письмо? — устало спрашивает он.

Сакс достает письмо; не читая, Эйнштейн подписывает.

— А как же Оппенгеймер? — вспоминает он. — Ведь он может куда больше, чем я...

Сциллард молчит, и Сакс тоже молчит. Эйнштейн встает, направляется к дому.

Над старыми гравюрами пароходов и парусников, ближе к окну, висит большая фотография Рузвельта, увитая траурными лентами.

В кабинете президента за столом Гарри Трумэн. Перед ним сидят генерал Гровс и военный министр Стимсон.

— Что им не нравится, этим ученым? — спрашивает Трумэн, отодвигая прочитанное письмо. — Они ж сами ее делали. Чего они теперь боятся?

Отвечает Стимсон, он старается не смотреть на президента: трудно привыкнуть к тому, что за этим столом, в этом кабинете, на месте Рузвельта, хозяйничает этот маленький человек.

— Видите ли, атомная бомба — не просто новая бомба. Сила ее взрыва эквивалентна двадцати тысячам тонн тротила.

Трумэн вскакивает, снова садится.

— Ничего себе! А! Сколько ж она сама весит? — подозрительно спрашивает он.

— Взрывной заряд не больше апельсина, — поясняет Гровс.

Трумэн оценивающе взвешивает в руке круглую пельницу.

— А вы уверены, что у России нет такой штуки?

— Нет, и не скоро будет. У них на это не хватит ни промышленных мощностей, ни сырья.

— А у англичан?

Гровс пренебрежительно машет рукой.

— Атомная бомба обеспечит американской дипломатии большую силу, — говорит Стимсон. — Это козырная карта в политике.

— У вас остается единственная возможность продемонстрировать бомбу перед всем миром, — решительно говорит Гровс. — Сбросить ее, пока Япония еще не капитулировала. И все станет ясно. Всем станет ясно! Когда увидят действие атомной бомбы. Гарантирую, что Советский Союз станет более уступчивым в Восточной Европе. Да и вообще...

Трумэн поворачивается на своем вертящемся кресле к портрету Рузвельта, разглядывает его, тонкие губы его поджаты. Потом он весело раскручивается в обратную сторону.

— Послушайте, Стимсон, но это же меняет все дело. Тогда я смогу по-другому разговаривать с русскими. Я буду диктовать. Если они заартачатся — пусть убираются к черту... А она взорвется? — вдруг спрашивает он у Гровса.

— Разумеется, господин президент.

— Если она взорвется, у меня будет хорошая дубинка для русских парней.

— Но можем ли мы не считаться с протестами ученых? — Стимсон кивает на письмо. — Они отражают мнение влиятельных кругов.

— Не стоит преувеличивать. Среди ученых разные мнения, — Гровс замысловато вертит рукой. — Я изучил эту публику. Если они что-нибудь сделали, они обязательно хотят пустить это в ход, они все тщеславны.

Трумэн внимательно следит за его жестом.

— Я тоже думаю... но хорошо, если б они сами вынесли рекомендации.

— Господин президент, — говорит Гровс, — я надеюсь, что они дойдут до этого.

Гровс и Стимсон молча спускаются по лестнице.

— Господи, как он мог, как у него хватает духа, чтобы так легко согласиться на такое? — удрученно произносит Стимсон. — Сбросить бомбу...

Гровс неожиданно хохочет:

— Знаете, Стимсон, он не так уж много сделал, сказав «да». Сейчас надо иметь куда больше мужества, чтобы сказать «нет».

В другое время Стимсон оценил бы это замечание, но теперь победный вид Гровса раздражает его.

— Боюсь, что с учеными вам будет потруднее, чем с Трумэном, — едко замечает он. — Особенно с этим вашим Оппенгеймером. Вряд ли на него подействует ваша эрудиция...

...Черный лимузин, сигнала, пробивается через карнавальное шествие какого-то маленького американского городка. Взрываются петарды, сыплется конфетти, веселые маски заглядывают в окна машин. Тамбурмажор-девица вышагивает впереди женского оркестра.

За рулем машины Оппенгеймер, он в светлом костюме, в лихо сдвинутой шляпе. Рядом с ним Сциллард. Сквозь разряды и потрескивание включенного приемника доносится скрипичный концерт.

— ...Рвется крохотный сосуд в голове одного человека, и все... — говорит Сциллард. — Ход истории нарушается. Чего стоит этот мир, построенный на таких

случайностях? Если бы Рузвельт прожил еще несколько дней... всего несколько дней... А мы пытаемся установить какие-то законы развития. Ищем логику...

— Будь Рузвельт жив, он бы тоже не сумел остановить военных, — утешает его Оппенгеймер. — Ты идеалист, Лео. Вся разница в том, что Рузвельт сделал бы это нехотя, а Трумэн делает охотно.

— Я вижу, ты ловко устроился в этой разнице, — со злостью говорит Сциллард. — Ладно. Ясно, что надеяться нам не на кого. Только на себя. Пока эти упыри с нами считаются, мы должны их придержать.

Машина сворачивает в боковую улочку, где сидят на крылечках старые негритянки. Гирлянды бумажных цветов повисли между дощатыми лачугами, сколоченными из фруктовых ящиков. Ограда из колючей проволоки, пакгаузы, и там, в глубине складов, на открытых площадках пирамиды стальных солдатских касок. Они высятся, никому уже не нужные, до следующей войны, как курганы, как памятники...

— Отправить еще килограмм писем? — насмешливо спрашивает Оппенгеймер.

— Не валяй дурака. Ты руководитель проекта. Ты отец бомбы, ее папуля, папочка... кумир всех горилл в генеральских мундирах. От тебя зависит больше, чем от кого-либо из нас.

Перед ними расстилается безрадостная равнина. Прямое шоссе, размеченное рекламными щитами, бетонной стрелой воткнулось в горизонт. Шлейф пыли клубится за одинокой машиной.

— Ничего от меня не зависит, — говорит Оппенгеймер, — я технический советник.

— Оппи, ты начинаешь работать на дьявола, — предостерегает Сциллард.

— Дьявол... — Оппи кривится. — Не ты ли хлопотал, чтобы его выпустили из бутылки?

— Мы все ответственны за это, но ты, Оппи, ты обязан остановить их, тебя слушают. Если ты этого не сделаешь...

— Я не хочу вмешиваться в политику. Я ученый.

— А зачем же ты начинал работу над бомбой? Ну-ка потревожь свою знаменитую память. Мы делали бомбу против Гитлера, теперь он разгромлен. Зачем же сейчас ее сбрасывать? На кого?

— Лео, ты делал ее против Гитлера. Я тоже, но, кроме того, я делал ее для своей родины. Я — американец. . .

— Ага, а я — эмигрант. . . Вот до чего мы дошли. . . Ну конечно, ты политик, только ты плохой политик. Это оружие принесет твоей Америке больше вреда, чем пользы. Ах, Оппи, как разделила нас эта проклятая бомба. Гейзенберг, Ган. . . теперь ты. Мне кажется, что ты все время чего-то боишься.

— Чего мне бояться? — голос Оппи вдруг срывается на крик. — Я ничего не боюсь!

— Тебя окружает страх, — не слушая, продолжает Сциллард. — Ты не смеешь оглянуться. И боишься смотреть вперед. . .

Голос Сцилларда отдаляется, затихает. Машина мчится по бетонному шоссе. За рулем Оппи, и рядом уже нет никого. . .

По вечернему подмосковному шоссе с зажженными фарами мчится ЗИС-101.

В машине Курчатов, Зубавин, Переверзев, в рыбацких своих плащах и ватниках, они возвращаются с того колхозного застолья.

Затихают звуки гармонии, кончается вальс, отлетают все дальше за стеклом огни деревень. Курчатов смотрит в темноту.

— Игорь Васильевич, — оборачивается к нему Переверзев, сидящий рядом с шофером. — Для чего они? . . . Что теперь будет?

Курчатов молчит. Кончился вальс, кончился праздник, кончилась песня — для него все это мирное разом кончилось. Не успев по-настоящему начаться. Когда теперь ему придет случай вернуться к мирной жизни? Что проносится перед ним в зеркальной глубине стекла?

— Они метили не в Японию, — говорит Зубавин. — Она что. . . Она полигон.

— Хотят нас запугать?

Курчатов откидывается на сиденье, возвращается к своим спутникам.

— Итак, начинается новая эра — эра атома. Атомный век, — задумчиво говорит он.

— Ничего себе начало, — бурчит Зубавин.

— Да, кровавое начало... Боюсь, многое сейчас будет зависеть от того, успеем ли мы ее сделать.

Зубавин с особым вниманием посмотрел на Курчатова, словно бы увидел его иначе, совсем не так, как привык за эти два года.

— Да, все зависит от вас, — говорит он. — Впервые, наверное, в истории отвечать будут ученые.

Курчатов озабоченно кивает:

— По крайней мере ясно, что ее сделать можно.

Под утро Курчатов, Зубавин, несколько ответственных работников Совета Министров и генералов вышли из подъезда дома в Кремлевском переулке.

На свежеполитой площади их ждали машины.

Курчатов молча попрощался с товарищами, еще не замечая, как перед ним вытягиваются...

Пешком через площадь он направился к Троицким воротам. Его обгоняли автомобили. Позади, в отдалении, следовал Переверзев.

Вдруг Курчатов свернул на Соборную площадь. Одинокие шаги его гулко звучали в тишине раннего утра. Москва еще спала. А может, сюда не доносились ее шумы. Солнце только позолотило маковку колокольни Ивана Великого. Все было в тени, но там, наверху, полыхало. Сверкали золотые купола колокольни и Успенского собора. И такой покой, тишь царили кругом, что казалось, время спит, что его нет, а существует эта незыблемость, исчисляемая веками, нерушимость устоев... Вдруг Курчатову послышался свист, вой падающей бомбы. Ему увиделось небо, охваченное пламенем. Облака и весь небосвод горели, корчились в неистовой вспышке, чернели, прожигались насквозь. Колокольня Ивана Великого начала оседать, крениться, стали плавиться купола Успенского собора, потекли камни древних стен...

В кремлевском кабинете Сталина за длинным столом сидят Курчатов, Зубавин, работники Совета Министров.

Сам Сталин, как обычно, ходит по кабинету, то останавливаясь у письменного стола, то подходя к своему

креслу во главе стола заседаний. Идет одно из тех рабочих совещаний, на которых решались подробности достаточно серьезные и достаточно спорные. Зубавин, в защитной суконной гимнастерке, обычной для того времени, докладывает и, как видно, подводит первые итоги:

— ...Кабель, изоляторы обеспечиваем за счет фондов легкой промышленности. Стройматериалы, цемент, металл снимаем с южных районов — то, что было намечено для восстановления городов. Начатые там объекты придется заморозить, оставляя только Донбасс.

Его слушают хмуро. В сущности он забирает самое насущное, режет без ножа, потому что в 1945 году всего этого — и цемента, и металла — в стране, еще не оправившейся от войны, было в обрез, на счету была каждая тонна металла, каждый вагон цемента, надо было восстанавливать разрушенные заводы, шахты, города. Не мудрено, что предложения Зубавина, то есть проект приказа, хозяйственники встречают мрачным молчанием. Оно настолько явно, что Сталин вынужден спросить:

— Как, товарищ Сергеенко, обеспечите?

Сергеенко встает, он старается говорить бесстрастно, никак не выдавая своих чувств:

— Трудности в том, что многие предприятия с людьми выехали обратно. В Харькове одни развалины... — Он следит за выражением лица Сталина и заканчивает несколько иначе, четко и бодро: — Будем исходить из того, что нужно, товарищ Сталин, а не из того, что есть.

— Вот это правильно, — одобряет Сталин. — Продолжайте, продолжайте.

Зубавин отрывается от бумаг:

— Оба химвкомбината на Урале передать в распоряжение Александрова. Но, товарищ Сталин, приборостроителей нужно втрое больше, чем есть, — он выжидательно умолкает.

Мягко ступая, Сталин останавливается боком к столу и смотрит на министра, затем с легким нетерпением спрашивает:

— Ну, как же?

Министр поднимается, одергивает черный пиджак:

— Простите, я прошу два месяца, чтобы хоть как-то подготовить замены.

— Товарищ Зубавин? — вопросительно проверяет Сталин.

Зубавин покосился на Курчатова, но тот сидит, опираясь на палку, совершенно безучастно, никак не помогая Зубавину, не отзываясь на его призыв, он смотрит прямо перед собою, лицо его холодно и неподвижно.

— Месяц, — жестко говорит Зубавин.

— Ясно, — подчеркнуто по-военному, показывая, что это подчинение, а не согласие, чеканит министр.

А Зубавин дожимает, он учитывает растущую напряженность и торопится скорее выложить все конфликтные дела. Каждое слово у него продумано.

— Самое трудное, товарищ Сталин, с электроэнергией, — предупреждает он, давая тем самым некоторые возможности своим оппонентам. — Главный объект, как известно, весьма энергоемкий — потребуются две линии передач, и надо обеспечить мощностью.

Сталин повозился с трубкой, потом спрашивает:

— Как, товарищ министр?

Министр встает, докладывает почти ожесточенно:

— Линии протянем... Но вот насчет мощностей... в тех районах... — Он выразительно замолкает.

— Мощности нужны когда?

— К зиме, — чуть виновато отвечает Зубавин, потому что он-то понимает, как это плохо, что к зиме, то есть к максимуму, к самому тяжкому времени для энергетиков.

Министру все это уже известно из предварительных разговоров с Зубавиным, и Зубавину известна его позиция, но министр еще на что-то надеялся до этой последней минуты. Сейчас он говорит убито:

— Понятно.

— Это хорошо, что вам понятно, — говорит Сталин. Министр продолжает стоять, и Сталин, помедлив и подумав, спрашивает: — Ну? Вы, кажется, что-то хотите сказать?

— Нет, товарищ Сталин, — привычно отвечает министр, но, услышав себя, он неожиданно решается: — Да, товарищ Сталин. У меня нет мощностей в тех районах. Нет, — тверже повторил он. — И я не знаю, откуда их взять. Разве что отключить города, держать людей в потемках. Это ж невозможно, не война. Что я скажу людям? Первая зима. Хоть бы дали прийти в себя... — Он

спохватывается. Не принято говорить так в этом кабинете. — Простите, пожалуйста.

— Ничего, ничего, — успокаивает его Сталин, у него своя тактика в этом разговоре, его даже устраивает такой поворот. — Я вас понимаю. Что же мы будем делать, товарищ Зубавин?

Никто не обращается к Курчатову, его обходят, и тем не менее круги, которые все делают, сужаются.

— Товарищ Сталин, я думаю... — начинает было Зубавин.

Не доводы министра потрясли Зубавина, а его смелость. Чем-то она зацепила его, был в ней упрек, укор ему.

— Что вы думаете? — Взгляд Сталина становится тяжелым.

— Правильно он говорит. Там же люди. Если бы сроки первой очереди передвинуть, тогда мощности значительно сократятся. Надо искать какой-то выход.

Сталин раскуривает трубку, все смотрят на него, он долго прохаживается, потом садится рядом с Курчатовым.

— Товарищ Курчатов, может быть, вы в чем-то пойдете навстречу просьбам товарищей?

Настигла все же и его эта доля... Он поднимает голову и смотрит на Сталина, прищурясь, разгадав его маневр — переложить все на него, на Курчатова, и чтобы при этом еще и сам Курчатов лишний раз взял на себя ответственность.

— К сожалению, товарищ Сталин, мы не в состоянии ничего сократить против наших расчетов. Никаких сроков сдвигать не можем. Никаких, — еще раз подтверждает он.

Сталин доволен его ответом. Он разводит руками:

— Вот видите, товарищи. Ничем не могу вам помочь. Ничем, — он встает.

Ну что ж, все получилось как нельзя лучше, он ни при чем. Он подходит к окну, поднимает белую штору, — за окном рассвет, розовое небо полыхает, поднимается над Кремлем. Он смотрит на часы:

— Полпятого утра уже. Почему вы приуныли? — удивляется он. — Пойдемте, посмотрим хорошее кино.

И все за ним направляются в кинозал, маленький, на несколько человек, уставленный глубокими креслами.

Все рассаживаются, гаснет свет, и начинается «Большой вальс».

На экране едет, мчится под звуки штраусовского вальса карета, катит по солнечной аллее, несутся кони, счастливые лица Штрауса и его возлюбленной, они поют, и в лад им цокают копыта, и мелькают тени раскидистых яблонь, карета движется на нас, покачивается смеющийся кучер, сверкают зубы Милицы Корьюс.

А Курчатов видит на этом экране другое: как впряглись в плуг бабы, тащат на себе цугом, пробуя вспахать землю, как упираются грудью в жердину и босыми ногами в заросшую пашню...

Видит он русскую печь посредине поля — все, что осталось от сожженной деревушки, в этой печи пекут хлеб пополам с корой, голодные ребятишки в ватниках, в каких-то отцовских пиджаках вертятся тут же... Видит он разрушенные кварталы Харькова, обгорелые коробки каменных домов тянутся длинными улицами, переходят в развалины, уже поросшие крапивой.

Видит Курчатов подбитый фашистский самолет, где живут люди, военные землянки, тоже приспособленные под жилье, и даже в горелом танке живут, потому что надо же где-то жить.

Его воображение, как документы кинохроники, той, что он сам видел, той, что безыскусно снимали кинооператоры в те послевоенные месяцы.

А на экране под плавные звуки вальса мчится в венском лесу карета и молодой Штраус беззаботно напеваает свой вальс...

Висят карты, лежат папки с фотографиями. В кабинете Зубавина накурено, людно, за столом министры, генералы, хозяйственники. Совещание кончается. Несколько в стороне, скрытый тенью книжного шкафа, сидит Курчатов.

— Что же делать, — заключает Зубавин, — если другого выхода не найдете, будете лимитировать, даже отключать...

— Да ведь и так на голодном лимите держим, — с отчаянием восклицает молодой человек в очках.

К Курчатову доносятся голоса,

— ...Новороссийский цементный разбит... Минский тракторный... Кировский... Я буду жаловаться в Политбюро...

Зубавин подходит к пожилому усатому начальнику главка.

— Не надо жаловаться, — дружески и очень серьезно говорит он.

Начальник главка опускает голову.

— К сожалению, никаких сроков мы сдвигать не можем, — продолжает Зубавин, обращаясь ко всем. — Никому объяснить тоже не можем. Да, как на войне. — Зубавин идет вдоль стола, сочувственно оглядывая этих выдавших виды людей, переживших такую войну, сумевших эвакуировать промышленность, развернуть заводы, построить электростанции в Сибири за короткие сроки, но даже им нынешнее задание не в меру тяжело. — Может, и потруднее, чем на войне, — признается он. — Американцы считают, что атомную проблему мы решим раньше чем через десять лет. За это время они хотят диктовать нам... Да, они надеются многое успеть. Ну что ж, часы включены. Строительство объектов будем вести теми же темпами, как разворачивали эвакуированные заводы. Насчет кадров...

Курчатов горбится, пригнутый тяжестью, что все наваливается и наваливается на него. Пожалуй, даже этим людям, у которых отбирают последнее, им и то легче, — лишаться в этом положении легче, чем забирать.

— ...Обкомы партии обеспечат мобилизацию специалистов: строителей, химиков, электриков. Учтите, людей берем на длительный срок. Лучше холостых. Все. Прошу остаться вас и вас...

Люди молча расходятся. Многие из них еще не знают Курчатова, они проходят мимо, не обращая на него внимания, обмениваясь иногда короткими репликами в адрес Зубавина, на него направлено их возмущение.

Курчатов сидит все в той же позе, в опустевшем кабинете, где кроме Зубавина остались генерал и начальник геологического управления. Сцепив руки, он положил их на палку...

Зубавин отодвигает занавеску, открывая карту на стене.

— Прошу сюда, товарищ Николаев. Две танковые

части перебросить надо в Сибирь. Сюда. Точный пункт назначения вам дадут к вечеру.

— С боекомплектами? — спрашивает генерал.

Впервые короткая улыбка освещает изможденное лицо Зубавина:

— Нет, лучше с концентратами. Танки помогут расчистить площадки в тайге. После этого вашим ребятам придется остаться работать на стройке. — Он обращается к штатскому: — Твоим изыскателям сколько еще надо?

— Месяц. И не дави, — предупреждает геолог.

— У меня есть всего две недели, — говорит Зубавин. — Боря, прошу тебя, — неожиданно и устало обращается он.

Наконец кабинет опустел.

Зубавин идет вдоль стола, сваливает окурки в большую пепельницу.

— Бедняги... Ну, что, довольна твоя душенька? — осуждающе говорит он Курчатову. — Подчистую обираешь... — Он выходит выбросить окурки, но тотчас возвращается, распаленный собственными словами, накопленным гневом. — Ни задавиться, ни зарезаться нечем. Что делаем, что делаем... — Он ходит все быстрее по кабинету, наконец-то давая выход своим чувствам. — Все, что по сусекам, можно сказать, люди сгребли, все забрал. — Он подходит к дверям и говорит Курчатову со всей возможной едкостью: — Да, правду говорят: бог дает денежку, а черт дырочку... — И уходит к себе в закуток, с силой хлопнув дверью.

Курчатов встает, открывает захлопнутую дверь: в маленькой узкой комнатке — койка, тумбочка с телефоном; на койку, закинув руки за голову, прилег Зубавин. Огромная фигура Курчатова заполнила эту каморку, нависла над железной койкой.

— Не понимаю смысла этого разговора, — начинает Курчатов. — Если ты думаешь, что я запрашиваю лишку, пожалуйста, соберем экспертную комиссию, устроим проверку.

— Пользуешься?.. А смысл разговора моего тот, что не могу я... —

Курчатов поднимает палку, трясет ею:

— А зачем ты мне душу мотаешь? Я ничего этого слушать не желаю. Я беру необходимое и буду брать!

И избавьте меня, Виталий Петрович, от подобных совещаний!

— Нервы бережешь? — с вызовом спрашивает Зубавин.

— Да, берегу! — с еще большим вызовом отвечает Курчатов.

— Конечно, так оно поспокойнее. Только учтите, Игорь Васильевич... Вы хотите ваших людей вдоволь обеспечить. А может, зря? — с каждым словом Зубавин накаляется, он вынужден сидеть на своей койке, встать он не может, слишком мало места, все свободное пространство занял Курчатов. — Да, да, зря, от недостатка мозги заплывают. Голь-то, она подогадливей.

— Вот что, товарищ Зубавин, — яростно, подчеркивая официальный свой тон, выговаривает Курчатов. — Мне дело надо делать. Либо корма жалеть, либо лошадь. Давайте договоримся: то, что мне поручено, я буду делать так, как я это понимаю. — Каждое слово он загоняет молотком. — Устраивает вас — пожалуйста...

Зазвонил телефон, Курчатов в запале, чтоб не мешал, хлопает трубкой о рычаг. Тут Зубавин не выдерживает:

— Да ты что? Ты что хозяйничаешь?! — кричит он и, перейдя на непримиримую вежливость, сообщает: — Имейте в виду, Игорь Васильевич, отныне на поблажки не надейтесь. Ни одного дня, ни одной минуты!

— А я и не надеюсь!

— И не надейтесь!

— И вы не надейтесь!

Бессмысленно, не слыша друг друга, они со злостью твердят одно и то же. Опять звонит тот же телефон, и теперь уже Зубавин остервенело хлопает трубкой...

Пушки на башнях повернуты назад. Колонны тяжелых танков, развернувшись уступом, прокладывают дорогу в тайге. Ревут моторы. Облака снежной пыли взлетают от падающих елей. Стелется синий дым выхлопов, сквозь лязг гусениц слышен треск ломаемых стволов. От вывороченных корней летят комья мерзлой земли. Горят огромные костры, темнеют военные палатки.

Столик вкопан в снег. Тут же рации, полевые телефоны. Карты. Танкисты, вместе со штатскими, коман-

дуют этой операцией, похожей на сражение. Нежданно появляется Курчатов. В распахнутой шубе, с палкой, он нагрянул в сопровождении целой свиты. Не слышно, что он говорит, но заметно, как он недоволен. Резко указывает он палкой, куда направить машины, где ускорить работы. Кто-то из генералов пробует ему возражать, и вдруг оказывается, что этот академик, интеллигент, способен ставить генералов по стойке «смирно», что он умеет не только докладывать, но и приказывать. Стремительно шагает он через рытвины и завалы, танкисты из машин смотрят удивленно на эту странную фигуру, столь непохожую на привычных начальников, даже самых больших.

За ним еле поспевают.

У сопок, из передних машин, навстречу ему вылезают геодезисты с приборами. Вбивают колья, натягивают бечевки.

Раскидистый, опушенный снегом кедр вздрагивает под напором танка, но не поддается. Ствол обматывают тросом, танк, взревев, тянет, кедр трещит, рушится, открывая вывороченное нутро земли.

В этом снежно-земляном месиве только Курчатов может вообразить ряды однообразных глухих бетонных зданий, которые вскоре поднимутся здесь, окруженные высоким забором.

За окнами салон-вагона проплывают платформы, груженные станками, автомашинами, барабанами с кабелем. Повсюду на запломбированных вагонах размашисто написано: «В Сибирь». В тамбурах стоит военная охрана.

За большим столом в салон-вагоне идет утреннее чаепитие. Стаканы в подстаканниках, по-походному на бумаге лежат хлеб, сухари, нарезанная колбаса. Халипов пьет чай вприкуску, наслаждаясь, как истый чаевник.

— Что творится, а? — глядя в окно на эшелоны, говорит Таня. — Что творится? ..

Со стаканом чая в руке подходит Федя. Еще издали он возглашает:

— Грязный, грязный, как свинья. Я погибаю от грязи, а им и дела нет. . .

— Что случилось? — без интереса спрашивает Таня.

— Он опять грязный, этот уран. Что ни делаем, никак не избавиться. Примеси, примеси. В графите примеси, здесь примеси. Свинство! Я умру.

— Это по-мужски, — соглашается Таня. — Лучше умереть в грязи, чем жить в чистоте.

Опустошив очередной стакан и отдышавшись, Халипов продолжает, видимо, прерванный разговор с Изотовым:

— Не согласен. Послушайте, друзья, я считаю, что все же надо поговорить с Зубавиным. Иначе это черт знает чем может кончиться.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво повторяет Изотов. — Борода ничего не делает наобум.

Халипов отодвигает стакан, сахарницу, всю посуду, вытаскивает бумаги, раскладывает их.

— Поллюбитесь! Вы уж простите меня, я так не умею. Я всю жизнь привык сперва производить эксперимент, потом давать заключение. А сейчас надо наоборот. Мало того — посадили в поезд, везут черт знает куда и еще требуют рекомендации! Есть же в конце концов профессиональная репутация, честь... Мне моя честь дороже!

— Дороже чего? — задумчиво спрашивает Таня.

— Дороже всего. — Халипов поправил очки, вспомнив, усмехнулся: — Знаете выражение: «жизнь — родине, честь — никому»?

Вряд ли Таня знала это выражение, никто из них, молодых, его не знал, не мудрено, что они в первую минуту призадумались.

Федя вдруг стучит кулаком по столу:

— А меня никто не слушает! А почему? Потому что у меня нет бороды...

Увидев в дверях салона Зубавина, Халипов сразу же агрессивно обращается к нему:

— Вы хотите спросить, как у нас дела? Плохи у нас дела, плохи. Эксперименты еще не кончены. А мы уже заводы строим. Как лучше — не знаем, а строим. А если ошибемся? Где это видано — стрелять в цель, которая еще не появилась! Зачем вы толкаете на это Курчатова? С вас ведь тоже спросят!

Зубавин садится за стол, не спеша наливает чай.

— Хорошо, если спросят, а то и спрашивать не ста-

нут, — благодушно усмехается он, никак не затронутый насюками Халипова.

Тот недоумеваает:

— Тогда зачем же вы?.. Как же вы..

— А что я могу, если Игорь Васильевич сам предлагает!

— Сам? — Вот чего Халипов да и остальные не ожидали. — Сам?.. Надо отговорить!

Зубавину остается лишь вздохнуть над подобными советами, все это продумано им и так и этак, и он охотно поясняет:

— Речь, между прочим, идет о том, чтобы выиграть полгода. Полгода! При нынешнем международном положении кто меня слушать станет, всякие мои опасения?.. А представьте себе, что Курчатов прав? А?

— Физкультпривет!.. Федя, ну как, открытие есть? — С этими словами входит Курчатов, веселый, бодрый, потирающий руки от удовольствия энергично начатого дня. Ему освобождают место за столом, и он включается в чаепитие.

— Простите, — говорит Халипов Зубавину. — А если Курчатов не прав? Уж больно все это зыбко...

Пауза. Курчатов, улыбаясь, пьет чай.

— Ах, да! Чуть не забыл. У меня же для вас сюрприз, — громче обычного объявляет Зубавин и выкладывает на стол несколько фотоснимков. — Толя, и вы тут есть, — сообщает он Изотову.

— А, да... да, да, — приговаривает Изотов, рассматривая фотографии. — Это Бор... Это мы у него дома. А это Гейзенберг. Это Сциллард...

Это была юная счастливая пора физики, которая больше никогда не повторится. Изотова тогда направили работать в Копенгаген, к Бору, в институт, этот трехэтажный, похожий на школу дом под красной крышей, где играли в пинг-понг, пили без конца кофе и работали все время, даже во сне.

А Гейзенберг был тогда белокурым долговязым парнем, он любил щеголять в кожаных шортах, цитировать древних греков и без конца обсуждать с Бором свои идеи. А венгр Лео Сциллард, который был ассистентом Лауэ и работал у него в Берлине, тоже приезжал к Бору на его собеседования.

Они собирались сюда со всего света, гении и корифеи,

старики и мальчишки, путешественники и домоседы, — они все тогда знали друг друга. Мало кто из них еще был похож на свои будущие портреты. Всем им придется заниматься бомбой. Одни будут делать ее в Англии, в Америке, другие в Германии и третьи в Советском Союзе.

— А вот там Вейцеккер, — продолжает узнавать Изотов.

Карл фон Вейцеккер, сын германского статс-секретаря, был другом и в какой-то мере учеником Вернера Гейзенберга, получившего уже тогда Нобелевскую премию; он тоже работал тогда у Бора и сделал неплохую работу, кажется по изометрии.

— А это кто? — спрашивает Курчатов.

— Это? По-моему, Оппенгеймер, — говорит Изотов. — Оппи. . .

. . . Стройный, пижонистый, заядлый курильщик Оппи, который умел быть центром всякого так называемого физического трепа. Ему было за тридцать, он хорошо знал мифологию, но, кажется, по физике у него серьезных работ не было, во всяком случае Изотов не помнил.

— Да, это Оппенгеймер, — подтверждает Зубавин, — отец атомной бомбы, как его называют в Америке.

На фотографии он в компании других молодых физиков на какой-то улочке Копенгагена. Курчатов разглядывает его, пытаясь выделить, обособить, угадать в этих чертах будущего Оппи.

— И ты тут, Толенька! — восклицает Таня.

— А. . . это на конгрессе. Помните, вы тогда отказались ехать, Игорь Васильевич?

Да, это было, когда Курчатов только взялся за работу на циклотроне у Халипова. Ему надо было получить пучок, и пришлось отказаться от конгресса. Как давно это было. Кто мог знать, что пройдет много лет, прежде чем он встретится с этими физиками, знакомыми ему по работам, по статьям, по теориям, взглядам, ошибкам, пристрастиям. . . Тогда казалось, что не на этот конгресс, так на следующий, через год, он тоже поедет к Бору, или в Геттинген, или на Сольвеевский конгресс, да мало ли. . .

Изотов перебирает снимки с грустью и удивлением, Неужели это он был среди них? До чего ж быстро изменились судьбы и взгляды всех их. . .

— Эйнштейн. . . А это старик Лауэ! — узнает Изотов, и нежность произвольно прорывается в его голосе.

Эйнштейн — понятно, но Лауэ? На него смотрят недоуменно, и он смущается, хмурится, — конечно, в их глазах знаменитый физик Лауэ сейчас — физик гитлеровской Германии; для него же он прежде всего веселый, сердечный человек, тогда он считал его стариком, но вокруг этого старика постоянно звучал смех, он был первый лыжник, первый музыкант и первый автомобилист. И ученый он был первоклассный. Как объяснить им всем, что Лауэ не мог стать нацистом? Он так ненавидел расизм, он не побоялся выступить против избрания фашиста Штарка в Академию наук, он ни черта не боялся, — не может быть, чтобы за эти годы Лауэ изменил свои взгляды. Хотя, наверно, нельзя ручаться — чего только не происходило с людьми за годы войны. . .

— Да, Лауэ, — упрямо повторяет Изотов с нежностью.

— Фон Лауэ! — поправляет Курчатов.

Изотов ничего не может возразить: Курчатов ведь Лауэ не видел, и холодность и даже враждебность его понятны.

Все выяснится еще только через год-полтора, как достойно и мужественно держался Макс фон Лауэ все годы фашизма, вплоть до конца войны. Он был совестью и нравственным примером, доказывая всем, что даже под гнетом фашизма человек мог не согнуться, не сломаться.

— Это Ган. . . Это Гейзенберг, — показывает Изотов.

Какие они тут все беспечные, ничто еще не разделяет их.

И Гейзенберг, в свитере, в темных очках, и Отто Ган, в клетчатой рубаше, в тирольской шапочке с пером, над чем они хохочут? Отто Ган, неужели и он, этот благородный человек, тоже стал фашиствующим физиком? . .

— Так вот, — вдруг прерывает Курчатов. — Американская стратегия нам не подходит. Мы фронт исследований сужаем. Риск? В какой степени? Ну что ж, степень риска, осторожности — все это ведь тоже можно просчитать научно. — Он чертит в воздухе: — Вот выигрыш во времени. А вот степень риска. Наша задача: найти оптимальный вариант. . .

— Нашел! — вдруг завопил Федя. — Какая голова! Таня, погладите эту голову! Пощупайте ее, пожалуйста, разрешаю! Голова гения! Я гений! Я сделал великое открытие! . . Нет. . . Кажется, ерунда. Ерунда. . .

Курчатов не обращает внимания на его возгласы. Снова его привлекает к себе фотография Оппенгеймера.

— С кем это он?

Огромный, плечистый, грузный человек в форменной рубашке рядом с Оппенгеймером. Они стоят как приятели, позируя фотографу.

— С генералом Гровсом, — поясняет Зубавин. — Начальником Манхэттенского проекта. Снято это, если я не ошибаюсь, году в сорок втором, когда Оппенгеймера назначили руководителем Лос-Аламосской лаборатории.

Курчатов всматривается в фотографию, пытаясь разгадать, что же за человек этот Оппенгеймер.

За толстым стеклом вагонного окна заснеженные ели и кедры сибирских лесов, они сменяются жаркой аризонской равниной. Кое-где распаханное, засеянное кукурузой и маисом прерии тянутся вплоть до коричневатокрасных скал на горизонте. Проплывают редкие фермы — низкие белые постройки с рекламными щитами.

В купе входит Борис Паш — спортивный, всегда улыбочивый блондин, лишенный каких-либо примет, и тем не менее знакомый даже тому, кто видит его впервые. Именно такие лица постоянно улыбаются с рекламных объявлений. Он приятно безлик. Его трудно запомнить, но зато он хорошо запоминает.

— Ваш Оппи на подходе, генерал, — сообщает он Гровсу, сидящему у карты, разложенной на столе.

Дверь салона открывается. На пороге нерешительно останавливается Роберт Оппенгеймер. Он в пальто, с поднятым воротником. Гровс поднимается ему навстречу, огромный, полнеющий, в расстегнутой генеральской куртке.

— Рад вас видеть, мистер Оппенгеймер, могу сообщить приятную новость: вы утверждены руководителем проекта игрек.

И, отбросив торжественность, приятельски хлопает Оппенгеймера по плечу:

— Поздравляю, Оппи. Мне пришлось крепко повоевать за вас. Некоторым нашим бюрократам хотелось чего-то посolidнее, например Нобелевского лауреата!.. — Он смеется, с грубоватой прямотой добавляет: — Да и прошлое ваше не очень устраивало. Но я поручил-

ся... Ну, ладно, располагайтесь, и за работу. Мы поэтому и здесь. Пора решать — где разместить ваш атомный центр.

Оппенгеймер, сбросив пальто, садится к карте, они начинают работать.

— Да, да... Я думал... Лучше всего к Санта-Фе, там есть прекрасное плато, неподалеку от Лос-Анжелеса... У меня тут ранчо неподалеку, — поясняет Оппи. — Правда, в Санта-Фе я давно не бывал, лет восемь...

— Девять, — вдруг с улыбочкой поправляет Паш.

Оппи внимательно смотрит на него.

— Ну что ж, давайте сразу поедем туда, — решает Гровс, — дорог каждый день. У русских все трещит, Сталинград не сегодня-завтра падет. И тогда... — Гровс машет рукой.

— Вы так полагаете? — недоверчиво спрашивает Оппенгеймер.

— А вы? — с интересом проверяет Паш.

— Я думаю несколько иначе, — твердо говорит Оппенгеймер. — Я думаю, что русские удержат Сталинград.

— Вы высокого мнения о них, — вежливо говорит Паш и смотрит на Гровса с уличающей, не очень понятной Оппенгеймеру усмешкой.

Гровс хмуро прокладывает на карте трассу.

— У вас какой-то знакомый акцент, — задумчиво замечает Оппи.

Паш доволен:

— Знакомый, да? Я русский. Правда, не из тех, кто вам нравится.

— Простите, а кто же вы по профессии? — невозмутимо и как бы наивно спрашивает Оппенгеймер.

Паш, улыбаясь, молчит. Гровс громко смеется:

— Борис Паш — познакомьтесь! Кто он по профессии? Бейсбольный тренер! Спортивный авторитет! — чуть мстительно подкалывает этого приставленного к ним Паша и смеется, превращая все в шутку. — Вы должны понять, Оппи, эта штука не просто бомба. Вы думали об этом?

Оппи встает. За окном по красному от заката плато на лошади скачет мальчик.

— Я думал о другом: Вы никогда не задавались вопросом — почему Данте отправил Вергилия искать

истину в ад, а не в рай? — Голос Оппи становится опасно острым. — Может, мы берем на себя смертный грех. Никто не знает, чем это все кончится, но сегодня я не могу заботиться о своей душе. Для меня... для физика это единственная возможность воевать с фашизмом, не дожидаясь вашего фронта...

А за окном вагона смеркается, какой-то городок проносится, мелькая вспыхами цветных реклам, гудит под колесами мост, и снова огни прочерчивают широкое вагонное стекло.

Поезд, поскрипывая тормозами, останавливается на большой узловой станции.

Курчатов, стоя у окна, наблюдает привокзальную толчею тех лет. Пути забиты теплушками. Возвращаются домой реэвакуированные, с детьми, с чемоданами. Демобилизованные солдаты тоже возвращаются, но эти на Восток, хотя есть и такие, кто едет с японского фронта. И те, кто никуда не возвращаются, а ищут, куда бы податься. Вокзал забит спящими, ждущими поездов, люди обосновались в садике, вдоль стен, с ребятишками, со всем своим скарбом, тут же едят, меняют хлеб, консервы, махорку на белье, на подметки, кто на что. Вокзальная торговля идет быстро, без споров и сожалений. Стоят неубывающие очереди к ларькам, где дают по аттестатам, очередь с чайниками за кипятком.

Тянутся длинные дощатые прилавки, за которыми продают местные — кто вареную картошку, кто семечки, кто сухари.

Халипов с Изотовым прогуливаются по перрону. Толпа окружила сидящего на подстилке безногого. Идет игра в три листика. Вдруг Изотов кидается к однорукому солдату. Они обнимаются, в полном счастье трясут друг друга, и начинается неслышный Курчатову выразительный разговор фронтовых друзей, расспросы, ахи, вздохи...

Гудок, поезд трогается. Изотов все не может оторваться, бежит, оглядываясь на дружка, вскакивает на ходу, расстроенный, мрачный.

Проходит по тряскому коридору мимо строя полированных дверей, не отвечая на вопросительный взгляд Тани, идет к себе в купе, достает зеленую бутылку вод-

ки, наливает в стакан. Выпивает. Сидит, стиснув голову, глядя в мелькающую мимо лесную глушь.

Курчатов работает у себя в купе, пьет чай, синька разложена у него на коленях.

Стук в дверь, входит Изотов с шахматами в руках:

— Сыграем, Игорь Васильевич?

— Сыграем.

Изотов усаживается напротив, открывает доску, расставляет фигурки.

— Выпил? — спрашивает Курчатов.

— Выпил.

Они разыгрывают цвет и начинают партию. Изотов вслушивается в перестук колес и вдруг начинает читать Блока:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели,
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели. . .

Потом спрашивает:

— Помните эти стихи, Игорь Васильевич? Вот мы с вами в желтых или синих. . . едем. . . А куда едем? От кого? Лично я еду от своего фронтового дружка Васи Фролова. Тороплюсь. Некогда мне. Не до него. Что мне судьба Васи Фролова, с которым вместе в танке. . . Я ведь судьбы человечества решаю, бомбу делаю, это важнее, это высшая цель. Оправдание жизни. А если не оправдание? . . Не хочу! Не хочу!

— Чего не хочешь? — обдумывая ход, интересуется Курчатов.

— Ну, сделаем мы бомбу, сделаем. . . А потом нас спросят: а что кроме бомбы дает людям ваша наука? Или мы так и останемся: «люди, которые сделали бомбу»? Вот чего я не хочу.

Курчатова раздражают излияния Изотова, но он сдерживает себя, пытается притушить спор, свести на шутку:

— А знаешь, мы ведь еще ее не сделали.

— Сделаем, не беспокойтесь, сделаем, ничем не хуже Оппенгеймеров и прочих, таких же. . .

Вот тут Курчатова зацепляет:

— Нет, не такие же! Не желаю быть таким же.

— А-а-а. . . конечно, мы вынуждены делать, это нас оправдывает, — обрадовался Изотов. — Мы имеем право не терзаться сомнениями, ни о чем не думать. . . Лучше

ни о чем лишнем не думать, беречь рабочее настроение. Нам нельзя отвлекаться. Нильс Бор, тот пусть мучается, ему положено, буржуазный специалист, прослойка! . .

Наконец-то ему есть на кого взвалить свои сомнения, Курчатов силен, он выдержит, — Изотов не замечает, как жестока его откровенность, это жестокость любви — она безжалостна.

— Скажи, пожалуйста, в чем ты можешь упрекнуть себя? — говорит Курчатов. — Вот я тебя могу упрекнуть: дела не сделали, а ты уже в сторону глядишь, тебя на ускорители тянет, мирное использование. . . Между прочим, тебя не для этого с фронта отзывали. Небось когда с фронта писал: «надо работать над бомбой», тебе все ясно было, а теперь что же?

— А теперь не война, Игорь Васильевич. Можно думать о другом. Ведь я же совсем думать перестал. Кто я? Машина для производства опытов. А какие у машины угрызения? Ей, чем меньше угрызений, тем лучше. Считаешь, если мы бомбы не сбрасывали, значит, мы чистенькие? Я себе тоже так доказывал. Но совесть понятие не относительное. Или она есть, или ее нет.

Курчатов в гнев сгребает шахматы с доски, с грохотом укладывает их. Невозможно в этом тесном купе ему разрядиться в движении.

— Иди-ка ты со своими угрызениями знаешь куда. . . Думать стал! Вот и думай — какое мы имеем право ехать в комфорте, за чей счет это все? И ковыряешься в душе своей за чей счет? Ты мне все это говоришь почему? Потому что знаешь, что я себе такого позволить не могу. Я сомневаться не имею права. Да. Знаю — найдутся люди, которые будут считать, что мы и этот Оппенгеймер одним миром мазаны. Осудят нас. . . Я это не беру в расчет. И даже тех не беру в расчет, кто еще через годы поймет всю разницу между американцами и нами. Мне себя не жалко. Каким я буду выглядеть? Плевать мне на то, как меня будут расценивать в будущем! Я делаю дело не в расчете на место в истории. Мне важен суд моих соотечественников, моего народа, а в будущем. . . Если будущее будет и будут жить в нем потомки наши, самое главное, что они будут жить! Что хочешь мне говори, а я буду думать только одно: успеть, успеть! Мы успеть должны! — кричит он, и огромная ручища его трясет Изотова. — Вот вся моя нравственность! Они там, эти

американцы, создали себе эти проблемы, пусть и расхлебывают. А для меня нет этих проблем. Нет! Понятно? И для тебя нет, мир не обеспечишь призывами даже самых лучших людей, таких, как Бор. Это все слова! А вот когда у нас бомба будет — вот тогда можно будет и разговаривать и договариваться! . . . А у нас с тобой проблема, если хочешь знать, пострашнее, чем у них у всех, самое страшное. . . Это. . .

В последнюю минуту осаживает на полном ходу. Лицо его каменеет, сжимается, так что проступает широкая кость. Он выходит из купе, заставляя себя не хлопнуть дверь, а медленно с силой притворить ее.

Изотов сидит. Стучат колеса, все громче, громче.

Высокий, сияющий огнями зал. Между мрамором колонн течет разодетая толпа, снуют официанты с подносами. Идет какой-то официальный прием, один из бесчисленных приемов, какие задавались в конце войны, когда в единодушии близкой победы соединялись дипломаты с военными, негры с белыми, ученые с чиновниками. Мужчины сегодня во фраках, женщины в пышных туалетах того времени, блистают драгоценностями и ослепительными вырезами. Роберт Оппенгеймер чувствует себя в этом обществе великолепно, он весел, игрив, возбужден, зарницы восходящей славы сияют над его головой. Он знает, что здесь ловят каждое его слово, каждый жест.

Гровс проходит сквозь эту светскую толпу, небрежно раскланиваясь, грубовато-неуклюжий. Генеральский мундир его измятый, отнюдь не парадный. Только широкие полосы орденских планок украшают его. Прислонясь к колонне, Гровс свысока, и в смысле роста, и в смысле выражения лица, оглядывает, процеживает проходящих, пока не находит Оппенгеймера, и выходит ему навстречу.

— Хелло, Гровс! — замечает его Оппи без особой радости.

Безмятежно улыбаясь, Гровс берет его под руку. Вряд ли Оппенгеймеру приятна демонстрация этой близости, но он сохраняет беззаботность и даже улыбчивость воспитанного человека. Подозвав официанта, они берут по стакану виски и отходят в сторону, отыскав пустой столик. Оппенгеймер садится на диванчик, помешивает лед

в стакане. Голос Гровса доходит к нему обрывками фраз, то отчетливо громкий, то невнятно стихающий:

— . . . если проявить характер, Ферми вас поддержит. И Лоуренс . . . Комитет должен вынести рекомендацию. . . Это же ваше детище. . . Оппи, ради чего вы вкалывали четыре года. . . весь мир узнает и ахнет. . .

Оппенгеймер допивает виски, нетерпеливо бренчит льдом в пустом стакане, как в колокольчик.

— Когда-то, Гровс, мне хотелось самому довести эту штуку до конца, я благодарен за то, что вы позволили мне это сделать и даже защитили меня. — Фразы его отчетливы и вежливо-холодны, он отстраняет ласковые заходы Гровса и его грубую генеральскую лесть. Пришла пора поставить этого солдафона на место. — Наверное, после всего, что было, вы думаете, что я буду плясать под вашу дудку?

Он внимательно наблюдает за реакцией Гровса — сказано достаточно откровенно, однако Гровс делает вид, что ничего не произошло, он не обиделся, он неуязвимо добродушен.

— Эти битые горшки попросту завидуют вашей славе, — продолжает свое Гровс.

Оппи презрительно хмыкает на примитивную хитрость:

— Не воображайте, Гровс, что вы можете играть на моем тщеславии. Моя репутация в глазах этих битых горшков дороже мне, чем вы полагаете, и даже. . .

— Ах, ваша репутация! — с вызовом подхватывает Гровс. И умолкает, растягивая опасную, угрожающую паузу.

Но тут Оппи уклоняется, ему выгодно зайти с другого бока.

— Послушайте, Гровс, на кой черт вам приспичило сбрасывать бомбу?

— Чтобы ускорить мир, — Гровс откровенно посмеивается. — Чтобы показать, что мы не зря потратили деньги, чтобы утвердить наш приоритет.

Оппенгеймер доволен, он правильно рассчитал, с наслаждением он вытягивает ноги, берет у проходящего официанта еще виски.

— Не морочьте мне голову, Гровс, плевать вам на мир и на приоритет. Вы хотите запугать Россию. Запугать всех. Думаете, я не понимаю? Вы меня изучали, но и я

вас изучил. И хватит. Мы квиты. Я буду на комитете голосовать, как я хочу. И нечего меня обрабатывать.

Все, казалось бы, все, но Гровс спокойно пьет, разглядывая стакан на свет, ничего не дрогнуло в этой глыбе, затянутой в мундир, железная решимость Оппенгеймера нисколько не подействовала на него.

— Мы квиты, — повторяет Оппи, чтобы пробить толстокожесть этого кабана.

И тогда Гровс улыбается. Предостерегающе. Чуть приоткрывая свои козыри. И Оппенгеймер не выдерживает, срывается на крик:

— Мне надоело, не боюсь я вас, со всеми вашими агентами, микрофонами, кинокамерами. . . Убирайтесь отсюда!

А рядом, за колоннами, так же заманчиво струится нарядная веселая толпа, занятая светскими разговорами, шутками, мелькают обнаженные женские руки, слышен смех и звон бокалов.

— Убирайтесь отсюда!

Но Гровс и не думает уходить. От этого вскрика ему становится грустно. Утешая себя, он отпивает виски и говорит с жалостью:

— Бедный маленький Оппи, вы слишком многим пожертвовали — вот в чем была ваша ошибка. . . — Он кладет свою громадную руку на плечо Оппи, грубовато, бесцеремонно встряхивает его. — У вас нет своей репутации. Запомните это. Ваша репутация — вот она где. . . — Он чуть касается своего бокового кармана, набитого бумагами. — Хотите, я вам напомню, как вы продали своего друга Шевалье? — Гровс брезгливо морщится: этот Оппи сам напросился, идиот, честное слово, он изрядный идиот, этот великий и прославленный корифей. . . — Вас никто не тянул за язык. . . Ведь он был неплохой парень, этот Шевалье. Хотя и коммунист. А? . . . Думаете, нам неизвестно, отчего покончила с собой ваша любовница? Славная была девочка. Как ее звали? — Подождав, Гровс со вздохом напоминает: — Джейн? Знаете, Оппи, я солдат, и не очень мне приятно копаться в этой вашей грязи. Но типы, подобные Пашу, знают свое дело. . . — Он примиряюще накрывает своей рукой руку Оппенгеймера, но тот яростно сбрасывает ее.

— Ненавижу вас! Какой вы солдат. . . — гнев душит его, он сжимает стакан. — Ублюдок! — отчетливо произ-

носит он. — Не боюсь! Не боюсь вас! — Он встает и совершенно прямо, слишком прямо уходит с застывшей усмешкой.

Гровс провожает его глазами. Такой же огромный, невозмутимый. Пожалуй, он чуть погрустнел, сочувствуя этому естественному, но бесполезному трепыханию маленького Оппи.

У входа в свой номер Оппенгеймер сбрасывает черные лакированные туфли, в одних носках входит в темный холл. Там, у окна, в глубоком кресле, при неровном мигающем свете уличных реклам, сидит человек. Оппи оставивается, пальто на плече, туфли в руках.

— Шевалье? — в ужасе узнает он.

— . . . Все же я не понимаю, Оппи, почему вы скрываете свои работы от русских? — доносится в ответ давний вопрос Шевалье. Это его, его голос, мягкий, доверчивый. — Они же наши союзники, они воюют как никто. . .

Оппи зажигает свет: просторный холл пуст, в кресле никого, за окном вспыхивает и гаснет реклама.

Пошатываясь, он бредет к ванной комнате. Лицо его в поту, глаза блуждают. Из ванной слышится шум воды, он распахивает дверь. За занавеской под душем моется женщина. Это Джейн, очертания ее тела просвечивают, движутся. Он отшатывается, захлопывает дверь, но тут же снова распахивает ее, отдергивает занавеску. Никого. Он один в этой слепяще-белой холодно-кафельной ванне. Он сует голову под кран, пытаясь прийти в себя, освободиться от преследующих призраков.

Он садится на унитаз, вода с волос, с лица стекает на его накрахмаленную сорочку, на черный фрак. Мокрый, измученный, он, медленно трезвея, смотрит на белый ровный кафель, окруживший его со всех сторон.

— Господи, какой ты смешной, Оппи! — говорит Джейн, наклоняясь к нему: они сидят за стойкой какого-то бара, а может, ресторана, потому что кругом танцуют, и они тоже танцуют, и снова пьют за стойкой, Джейн водит пальцем по его щекам, разглаживает морщинки в углах губ, он любит ее, какая она красивая, и вдруг говорит:

— Джейн, мы больше не увидимся. Мы должны расстаться.

— Почему? — Она ничего не понимает. — Почему?

Щелкает затвор фотоаппарата. Короткий металлический звук — как звук взведенного курка. Перо в чьей-то руке обводит чернильным кругом лицо Джейн на фотографии.

Спина Паша, его круглый, ровно подстриженный затылок.

Он за канцелярским столом. Напротив на табурете сидит Джейн. Яркий белый свет лампы направлен ей в лицо.

— Выгораживаете своего дружка? Напрасно, — предупреждает Паш. Он допрашивает с удовольствием, и с еще большим удовольствием выкладывает ей в лицо про Оппенгеймера: — Он все рассказал нам, все... и как Шевалье подкатывался к нему, все вытряхнул... вы все одна шайка коммунистов. Ах ты простушка, ты поди считала его полубогом? А ты знаешь, что стоило чуть пригрозить, и он наложил полные штаны, твой святой Оппи? .. Он от всех вас готов отречься, плевать ему... .

Джейн бежит по ночной пустынной улице. Белые снопы света ловят ее, скрещиваются на ее фигуре, как лучи прожекторов, не отпуская следуют за ней, настигают ее в воздухе, когда тело ее летит с Бруклинского моста к застылой поблескивающей далеко внизу глади воды. — Оппи! Оппи! ..

Крик этот настигает его в кабинете военного министра США Стимсона.

Идет заседание комитета по выбору цели.

На стене карта Тихоокеанского театра военных действий на июнь 1945 года. Острова Японии окружены флажками.

— ...Атомный удар несомненно ускорит конец войны. Прежде всего мы должны побережь жизнь наших американских солдат, — говорит генерал Маршалл, начальник штаба сухопутных войск.

— Почему именно атомный? — не соглашается адмирал Леги, который был начальником штаба Верховного Главнокомандующего. — Японские города перенаселены. Там большая скученность. Это классический объект для самой обычной авиации.

— Да потому, что нам важен элемент психологиче-

ский, — настаивает Маршалл. — Удар будет такой сокрушительный, что любой дух будет сломлен. Все сразу решится. Никто и не подумает о продолжении войны.

— А вы уверены, что японцы еще хотят продолжать? — спрашивает Леги.

Стимсон, который сидит во главе стола и ведет заседание, примирительно стучит по столу.

Они сидят в высоких кожаных креслах, удобных для заседаний. Все они люди в возрасте и привыкли относиться к этим заседаниям достаточно цинично, но сегодня действительно кое-что решается. Стимсон понимает, что от них не зависит, сбрасывать бомбу или нет. От них зависит лишь куда сбросить. Он реалист и не хочет зря тратить время и возбуждать какие-то надежды у этого славного старика Леги.

— Господа! По поручению президента комитет ученых вынес рекомендации. Прошу вас, профессор Оппенгеймер.

Он допущен. Штатский. Его считают своим эти мундиры всех цветов, увешанные орденами, украшенные золотым шитьем. Точнее — почти своим.

— Я не знаю военного положения Японии, — начинает Оппенгеймер. — Если можно заставить ее капитулировать другими средствами. . .

Он ни на кого не смотрит, он смотрит в сырую ночь, где летит с моста Джейн. . .

Стимсон с усмешкой косится на Гровса. Не выдержав, Гровс перебивает Оппенгеймера:

— Простите, профессор, мы так никогда не доберемся до существа.

Оппенгеймер умолкает. Никто не вмешивается. Все ждут, что произойдет. Это не секунды, а миги последнего сопротивления Оппенгеймера, он все еще пытается удержаться. . . А потом что-то происходит. То есть в том-то и штука, что ничего, совсем ничего не происходит, если не считать возросшего до невыносимости напряжения.

— Для выявления максимального эффекта атомной бомбы, — начинает Оппенгеймер совершенно новым, бесцветно-ровным голосом, — избранные объекты должны представлять тесно застроенную площадь на равнине, желательны деревянные постройки. Они создадут дополнительный эффект из-за пожаров. Чтобы воздействие бом-

бы было достаточно наглядным, цель следует выбирать из объектов, которые еще не подверглись бомбардировке. . .

Леги с шумом отодвигает свое кресло. Чего угодно, но этого он не ожидал, и от кого, от этого шпака! . .

— Такая война не для моряка моего поколения.

Надо отдать должное Гровсу, мгновенно он срабатывает в защиту своего компаньона:

— Профессор Оппенгеймер докладывает техническое заключение, — подчеркивает он и, не дожидаясь предложения, кладет на стол фотографии намеченных к уничтожению городов. — Наш комитет по выбору цели должен на случай облачности предложить на выбор не менее трех-четырех городов-мишеней. Нам нужно визуальное бомбометание.

— Что выбрано конкретно? — спрашивает Стимсон.

— Хиросима, двести тысяч жителей, двадцать пять тысяч солдат, армейские склады, порты; Ниигата — порт, двести тысяч жителей, промышленность; Киото, миллион жителей, культурно-промышленный центр. . .

Поворачиваясь в вертящихся креслах, они передают друг другу большие фотографии — снимки городов сверху, снимки площадей, узких многолюдных улочек, парков, дворцов. Чья-то рука держит фотографию храма со сложным и тонким рисунком крыш и лакированными колоннами, длинная процессия паломников тянется к храму, где восседает гигантский Будда.

Но члены комитета выше Будды, они боги богов, они решают судьбы храмов и городов, сотен тысяч людей — кто из них останется на земле, а кто исчезнет, испарится вместе с дворцами, синтоистскими храмами и буддистскими храмами и школами. . .

— . . Нагасаки, порт, триста тысяч жителей.

— В Нагасаки лагерь наших военнопленных, — вспоминает адмирал Леги.

— Но там японские военные доки, — настаивает Гровс.

— Вот в них-то и работают военнопленные.

Гровс идет на уступку:

— Тогда есть Киото. Прекрасная цель. Большая площадь застройки. Можно точно определить радиус разрушения.

Стимсон рассматривает фотопанораму Киото с его

пагодами, садами, с золотыми павильонами, великолепный замок Нидзе, императорскую виллу Капура, ярко-красный лакированный храм. . .

— Киото. . . невозможно, — говорит Стимсон, — немыслимо, это же древняя столица Японии. Я там был. Боже, какие там дивные памятники старины! . . Нет, лучше пусть останется Нагасаки.

— Думаю все же, что наше дело заботиться не о памятниках, — твердо возражает Гровс. — Киото имеет наибольшую площадь, и для меня, как для военного человека, это лучшая цель.

Стимсон покачивается в кресле, сохраняя внушительность и уверенность министра, ему надо осадить этого генерала, который сейчас чувствует себя хозяином положения: он владелец нового оружия. И кажется, такого оружия, которое сделает все их штабы, и корабли, и военных, и академии — ненужными. . . Отныне и во веки веков? . . Война кончена, но война начинается.

— К счастью, Гровс, нам приходится думать не только о наших интересах.

В одной руке фотография Киото, в другой — Нагасаки. Они решают, они делают выбор, кому остаться на этой земле. . .

Последний взгляд на Нагасаки, и на месте города разливается море огня. Пламенные смерчи поднимают в небо крыши домов. Плавится железо, течет камень, все превращается в прах, в летучий смертоносный пепел.

На бетонном полу котлована с помощью мостового крана физики выкладывают графитовые и урановые блоки. Растет основание реактора, диаметр его около восьми метров. Блоки урана и графита складываются специальной решеткой. Тянутся провода от счетчиков нейтронов, от неоновых сигнальных ламп. Каждый слой укладывается с величайшей предосторожностью. Восемнадцатый. . . двадцать первый. . .

Сколько намучились с этим графитом, пока стали получать от заводов вот эти чистые плотные бруски. А урановые блоки кругленькие, с тусклым желтоватым блеском.

Гуляев наносит точки на график. Кривая должна показать, как возрастает плотность нейтронов с каждым законченным слоем. На схеме реактора каждая ступенька — слой — отмечена номером. Всего их семьдесят. Гуляев обводит кружком тридцатку. Уложен тридцатый слой.

Курчатов вычисляет с логарифмической линейкой в руках.

— Теперь каждый слой стройте с вдвинутыми предохранительными стержнями.

Три кадмиевых стержня спущены в каналы.

— Вот сюда. . . Аккуратнее. Ими регулировать и останавливать. Иначе. . .

Над котлованом в дюралевах трубах висят кадмиевые стержни. В любой момент по сигналу они падают в каналы реактора. Это надо, чтобы быстро погасить цепную реакцию. На аварийный случай. Потому что всякое могло быть.

Курчатов возвращается к себе, у дверей кабинета его поджидает Федя.

— Волнуетесь, Игорь Васильевич?

Подчеркнутая деловитость Курчатова как бы спотыкается. И вдруг, неожиданно для себя, доверчиво решается:

— Я? Очень.

— Я тоже, — с облегчением и даже радостно признается Федя. И обоим от этого признания становится спокойнее.

Все с большей осторожностью идет укладка блоков. Плотность нейтронов растет. Уже вспыхивают неоновые лампы на пульте управления. Раздаются щелчки нейтронных датчиков.

Пятьдесят восьмой слой. Быстро поднимаются стержни. На короткое время слышны щелчки.

— Все в порядке. Приближаемся, — говорит Гуляев. Он звонит по телефону:

— Игорь Васильевич, уложили шестидесятый слой. . . Хорошо. . . Ждем. . .

— Придется всем уйти, — говорит Гуляев.

Курчатов приходит, осматривает пульт, оглядывает график, проверяет приборы радиационной опасности.

— Игорь Васильевич, ну как, попробуем?

— Рано.

— Я знаю, что рано, а все же. . .

Курчатов почесывает бороду:

— Мне самому не терпится. Ладно. Давай. Поднять стержни, — командует он.

Гуляев нажимает кнопку управления, поднимая предохранительные стержни. Громкоговорители отщелкивают редкие удары. Вяло вспыхивают и гаснут неоновые лампы.

— Маловато. . . — Гуляев разочарованно смотрит на счетчики. — Что-то не того.

Перо самописца еще немного ползет вверх и переходит на горизонтальную линию.

— Почему нет нейтронов? — спрашивает Гуляев.

— А может, опять где-нибудь грязь? — говорит Федя.

— У тебя одна надежда на грязь. Тысячу раз проверили. Самые чистые блоки отбирали. — Гуляев потирает щеку, оставляя черноту графита на и без того уже измазанной физиономии.

Не обращая на них внимания, Курчатов разглядывает графики.

— Прекрасно, идем дальше, — решает он.

Гуляев молча опускает стержни. Смолкают громкоговорители, гаснут лампы. Федя и Гуляев недоверчиво следят за Курчатовым, но он, не отвечая, уходит.

Белые стены котлована почернели. Пыль, как сажа, покрывает пол, который стал скользким, — люди в халатах, в защитных очках ступают осторожно. Лица их тоже черны, блестят лишь зубы и белки глаз.

Черная громада реактора растет.

Кладка идет уже на лесах.

На пульте Гуляев обводит кружком цифру 60. Осторожно, рывками, Курчатов сам поднимает предохранительные стержни. Дробь в громкоговорителях нарастает. Учащенно вспыхивают неоновые лампы.

Курчатов неотрывно следит за круглым пятнышком — зайчиком гальванометра. Кажется, что вот-вот зайчик дрогнет, двинется. Но идут минуты, зайчик остается на месте. И частота щелчков больше не увеличивается.

Волнение людей спадает. Наваливается разочарование, усталость.

Курчатов опускает стержни. Лампы гаснут.

Курчатов, Гуляев, Федя садятся за графики, проверяя расчеты.

Пользуясь перерывом, люди дремлют, некоторые от усталости засыпают тут же на стульях.

— Реакция может вот-вот начаться, — бормочет Курчатов, работая линейкой и нанося на график последние точки. — Ну, что у тебя, Федя?

Кривая, которую вычерчивает Федя, пересекается с линией графика на уровне шестьдесят второго слоя.

— Еще бы сантиметров на десять поднять стержень.

Курчатов молча разглядывает график.

— Кто его знает, может, десять, а может, двадцать, — нервничает Гуляев.

Раздается чей-то могучий всхрип. Гуляев вздрагивает.

— Фу, черт.

— Это Павлов храпит, — смеется Курчатов, — а ты думал, начался разгон реактора. . .

— Хуже нет работать вслепую.

Все ждут от Курчатова ответа. Он должен знать. Он должен принять решение. В эту минуту никто не думает — откуда ему знать.

Помедлив, Курчатов подытоживает:

— Будем пробовать при шестидесяти двух слоях!

— А ведь может и фукнуть! — мрачно заявляет Гуляев.

— Не должно, — Федя задумывается. — А впрочем. . .

— Ну и хай поднимется. . . — Гуляев вздыхает.

— Тебя это уже не будет касаться, — утешает его Курчатов.

— Обидно что? Что не узнаем, в чем была ошибка.

— Кроме того, он может расплавиться, — меланхолично отмечает Федя. — Управлять мы еще не умеем. Как-никак это первый реактор. Бог знает, что мы рождем — беспомощное дите или дракона. . .

— Понесло.

Но Курчатов слушает Федю с удовольствием.

— А что, в каком-то высшем смысле он прав? А? — поддразнивает он Гуляева.

Идет кладка следующего слоя.

Часы показывают час ночи.

Павлов, что стоит наверху, подстраховывая аварийный сброс стержней, жалуется:

— Неужели Новый год будем тут встречать?

Гуляев обводит кружком цифру 62.

— Начинаем?

Курчатов оглядывает помещение.

— Выйдите, Федя.

— Игорь Васильевич, ни за что. Теоретики тоже люди.

Курчатов, пожав плечами, нажимает кнопку. Медленно поднимаются стержни. Дробь усиливается, неоновые вспышки учащаются. Перо самописца идет вверх. Гуляев и Федя сияют, но тут Гуляев подталкивает Федю локтем, они видят, как Курчатов напряженно вслушивается.

— Что-то учуял, — говорит Гуляев.

— Где?

— Не знаю.

Перо самописца замирает и переходит на горизонтальную линию. Щелчки обретают определенный ритм. — Стоп! — командует Курчатов.

Гуляев опускает стержни. Становится темно и тихо.

— Реакция не самоподдерживающаяся, — произносит Курчатов.

На него смотрят с надеждой. В эти решающие минуты все доверилось ему, они хотят видеть в нем всезнающего, всеведущего. Они убеждены, что он догадается, что происходит в реакторе.

— Может, отложим? .. — нерешительно предлагает Федя. — Соснем?

Курчатов встряхивается, встает, расправляя плечи.

— Неужели вы могли бы уснуть, Федя? .. Я — нет. — Азарт охватывает его, он снова свеж, бодр, полон вызова. — Мы кто? Мы солдаты. А солдаты себя не должны. .. Что?

— Жалеть! — отвечают все хором.

— Верно. Отдохнем и поднимем еще. Это вам не теория, а техника, со всеми последствиями, — подмигивает он своим помощникам.

Часы показывают пять.

В дверях Таня, за ней теснятся еще несколько сотрудников.

— Игорь Васильевич... разрешите нам присутствовать... Мы поможем.

— Нет, спасибо, — холодно отказывает Курчатов, — я сказал: всем удалиться.

Таня вспыхивает от возмущения:

— Господи, одни герои вокруг, ни одного нормального

человека! Скоро у них над головами нимбы появятся! . . . — Она в сердцах хлопает дверью.

Раздаются краткие команды Курчатова:

— Чуть выше. . . Еще. . . Еще. . .

Щелкают громкоговорители. Поднимаются стержни. Реакция нарастает. Курчатов следит за пером самописца, щелчки убыстряются.

Федя, не выдержав, отворачивается от приборов.

— Еще немного, — командует Курчатов.

И вдруг репродуктор захлебывается пулеметной дробью, дробь переходит в слитный, сплошной вой. Линия самописца безостановочно ползет вверх. Неоновые вспышки сливаются в ало-желтое сияние. И хотя все понимают, что произошло, секунду-другую еще слушают, не решаясь поверить, смотрят на Курчатова. Зайчик гальванометра отклоняется все быстрее и быстрее.

— Заговорил! — кричит Курчатов и смеется от счастья, потирает красные глаза. — Поздравляю! Вот они, первые сто ватт от реакции деления!

Гремит общее «Урра!».

Гуляев обнимает Федю:

— Варит котелок! . .

— Стоп! — командует Курчатов и нажимает кнопку аварийного сброса стержней. Все смолкает, гаснут лампы, щелчки раздаются все реже. Реакция погашена. Эта покорность реактора тоже вызвала радость.

— Игорь Васильевич, — умоляет Гуляев, — попробуем еще разогнать? Поднимем?

Курчатов покачивает головой.

— Нельзя. Слыхал? — Он показывает на импульсную установку. — Она пощелкивала. Значит, уже сюда попадает. Мы не знаем, какое излучение мы получим.

— Двадцать шестое декабря тысяча девятьсот сорок шестого года, — торжественно провозглашает Федя. — Шесть часов вечера. Атомная энергия у нас в руках!

— Тьфу, тьфу, тьфу, — сплевывает через плечо Гуляев.

— Митинги отменяются, — говорит Курчатов, — вот теперь пора и над собой поработать!

— Игорь Васильевич, неужели вы сможете заснуть? — спрашивает Федя.

— Еще как!

Они выходят грязные, потные, счастливые. Скрипит

снег. Земля гулко звенит под ногами, словно полая, словно они шагают по упругому настилу — легкие, не знающие земного притяжения.

В окнах домов светятся цветные огни елок. Где-то рядом обтесывают комель елки, и звук топора звучит после сухих щелчков сочно и весело.

Они неузнаваемо нарядны: впервые перед всеми Зубавин в черном костюме, при галстуке, а кто-то даже с бабочкой-«кисой», мужчины начищены, наглажены, женщины в вечерних туалетах. Впрочем, все относительно, — какие вечерние туалеты могли быть под Новый, 1947 год, первый полностью мирный год? У кого черная юбка с белой кофточкой, у кого шерстяное платье, украшенное бусами. Ах, да в этом ли дело, главное, что в углу сияет елка, пахнет духами, хвоей, главное, что весело, как давно уже не было весело.

Встречают у Курчатовых. Приехал Абрам Федорович Иоффе. Его усадили в центре самодеятельного оркестра, и он до того «разошелся», что играет на барабанчике. Тут же играют на гребенке, на дудке и прочих «инструментах». Не просто играют, а аккомпанируют хору, составленному из трех бородачей. У них нацеплены длинные «курчатовские» бородки, все они одеты «под него», и держатся «под него», и поют его голосом:

Академик я молодой,
А хожу все с бородой.
Я не беспокоюсь —
Пусть растет до пояса.
Вот как только с бомбой сладим,
Буду бриться, как все дяди,
Бриться, стричься, умываться,
Атомными электростанциями
В мирных целях
За-а-ниматься!

В этот час их смешит и радует любая малость. Шутка ли — пущен реактор, работает, ведь начинали когда, еще в 1943 году, в самую войну, в Москве, и все было по-военному: пульт в землянке, нейтронная пушка в палатке, кругом пустынное ветренное поле, и круглые сутки тикают часовые механизмы приборов и не гаснет свет в землянке.

Первый реактор, на котором можно получить плутоний, столько измерить. . .

Три «Курчатова», три бородача — Изотов, Федя, Гуляев — изображают своего шефа без всякого трепета, вышучивая солидность, и величественность, и гнев, и прочие «устрашения». Почему-то на них широченные кепки блином, пестрые кашне. . .

Кто-то садится за рояль, и Зубавин, не выдержав, вне программы, пускается в пляс, отбивает дробь перед женщинами. Они принимают вызов, выходят в круг. . .

Никто не заметил, как исчез Курчатов. Когда танцы кончились, он появляется из столовой — неизвестно откуда раздобытый цилиндр блестит на его голове, белый шелковый шарф развевается, палка в его руках превратилась в чаплинскую тросточку. Под песенку из фильма «Огни большого города» он пританцовывает, утино растопырив башмаки, и все больше становится похожим на Чаплина. Борода нисколько не мешает, она даже кажется приклеенной и делает его смешнее. . . Даже эти близкие ему люди не ожидали, что он способен выкинуть такое. Ах, как он отплясывает и как хохочет!

Горят свечи на елке. Наступает 1947 год. Голубой недоступный шарик, запущенный Абрамом Федоровичем Иоффе в новогоднюю ночь сорок первого года, наконец-то пойман, схвачен.

Тот самый, с надписью «ядро атома», уплывающий вверх, который столько раз вспоминался, снился Курчатову. . .

Играют Моцарта. Старый приемник в деревянном футляре освещивает зеленым глазком из темного угла рядом с письменным столом. Курчатov протягивает руку, чтобы выключить музыку, но, передумав, слушает, поглядывая на лежащий перед ним снимок взрывного устройства.

От удара ногой дверь распахивается, показывается Гуляев, на руках он держит Федю.

— Игорь Васильевич, вы просили — получайте. — Гуляев кладет Федю на диванчик. — Замучился я с ним. Не хочет пересчитать диффузионный метод.

— Да, не хочу, — немедленно подхватывает Федя. Он худенький, маленький и свободно умещается на этой невесте откуда попавшей сюда софе. — Некрасивый этот

метод, Игорь Васильевич, неинтересный, такой же занудный, как сам Гуляев, — лежа, не стесняясь своей позы, рассуждает он.

Курчатов прячет фотографию в стол, мысли его еще далеко.

— Зато надежный, — рассеянно говорит он. — Мы ведь уже обсуждали.

Федя мрачно садится, подобрав ноги.

— Отпустите меня, Игорь Васильевич!

— То есть как?

— А так. . . отпустите, вообще отпустите.

— Ладно, в следующий раз, — отмахивается Курчатов. Ему не терпится остаться одному.

— Нет, я серьезно. Я сделал все, что мог. Теперь пошла техника. Эра инженерных дел.

— Эта эра не для него, — иронизирует Гуляев. — Он рожден для иной жизни. Его узкая специальность — тайны мироздания.

— Представь себе! — Федя вскакивает, мечется по комнате. — Мы. . . мы все дальше уходим от общего к частностям. А мне интересно наоборот, от частного к общему.

— Все туда, а он оттуда, — приговаривает Гуляев, засунув кулаки в карманы халата.

— Рассчитывать прочность труб? Усовершенствовать чайники? И ты будешь уверять, что это твое призвание? — набрасывается Федя на Гуляева. — Думаешь, это и есть геройство?

— Видите, Игорь Васильевич, какой законченный себлюбиец, обыватель от науки.

Перепалка их начинается чем-то задевать Курчатова. Он стоит, расставив ноги, посреди своего кабинета, изпод хмуро сведенных бровей следит за их поединком.

— Ты просто не хочешь честно подумать, — продолжает Федя. — Это и есть обывательщина. Вам легче понять меня, Игорь Васильевич, вы сами. . .

— А кто меня отпустит? — вдруг спрашивает Курчатов.

От неожиданности, от серьезности этого вопроса Федя не сразу может найтись.

— Вы другое дело, — уклоняется он.

— Почему же другое, — спокойно настаивает Курчатов. — Вы хотите сказать, что я теперь стал администра-

тором. Променил физику на администрирование. Такова суть?

Жестокая его прямота, как ни странно, подстегивает Федю.

— Ага, признаетесь. Вас тоже это мучает. А уж меня-то давно, я теоретик. Вас хоть как-то масштабы вознаграждают. Вы свой талант в руководстве реализуете. А мне чем утешиться? Я в журналах почти не успел появиться. . . Никто не знает про мои главные работы. Печатаю. . . так. . . отходы. Фактически я не существую как физик. Речь идет не о славе, а о науке. Пока мы не можем открыто публиковать свои работы. . .

— Наука, наука, — повторяет Курчатов. — Вы твердите, как заклинание. . . Все для науки, все ради науки. . . А не кажется ли вам, что наука не должна быть самым главным в жизни человека? Есть нечто важнее науки. — Обняв Федю за плечи, он усаживает его рядом с собою на этот диванчик. — Знаете, Федя, новые законы откроют и без вас. . .

— Бомбу тоже сделают без меня.

— Сделают. И без меня сделают. Но без нас позже. На неделю. Или месяц. И эта неделя для меня больше значит, чем вся моя личная. . . — Он ищет слово и не находит, или не хочет произносить. — Вы хороший теоретик, Федя, но вы не умеете думать о смысле собственной жизни. Или боитесь подумать. А иногда надо думать — ради чего ты живешь. . .

От этих слов они оба призадумываются. И даже Гуляев молчит, глядя в зеленый глазок приемника.

. . . Накинув на плечи белый халат, Курчатов идет за медсестрой по светлому больничному коридору.

Их останавливает врач.

— Я к Халипову, — говорит Курчатов. — К Дмитрию Евгеньевичу. Как он?

— Без сознания.

За стеклянной дверью видна длинная одиночная палата. На высокой кровати в забытьи лежит Халипов. Глаза закрыты, бескровно-костяное лицо уже неизгладимо измучено долгими страданиями. Со всех сторон тянутся к нему шланги, трубки, на высоких штативах реторты, по которым поднимаются пузырьки. Живет не он,

а эта аппаратура. Прислонясь к дверному косяку, Курчатов вглядывается сквозь стекло в умирающего, в жизнь, которая вот-вот оборвется. . .

«Дорогой ты мой, Игорь Васильевич. . . ну дай же на тебя посмотреть. . .»

«Наконец-то, Дмитрий Евгеньевич. . . как долетели?»

Невнятно-тихие голоса эти возникают в памяти Курчатова откуда-то из прошлого. Чьи-то сильные руки обнимают его сзади, он поворачивается и видит Халипова. Они в духомнатном номере гостиницы «Москва». Переверзев вносит чемоданчик Халипова.

— Дорогой мой. . . ну-ка, дай тебя обозреть! — громыкает в полный голос Халипов, могучий, костистый старик.

— Наконец-то, Дмитрий Евгеньевич. . . как долетели?

— Палили в нас, как положено. Да мы ведь в Ленинграде к этому привычны. Каждый божий день обстрел.

Они садятся за круглый столик, с удовольствием оглядывая друг друга.

— А твои препараты целы. Дожидаются. Не велю трогать.

— Дмитрий Евгеньевич, хочу просить вас, — начинает Курчатов, доставая бумагу с программой исследований. — Вы, один, можете помочь нам. Взять на себя радиохимию. Вот эту программу.

Переверзев тем временем в уголке на плитке сооружает чай. Халипов, нацепив очки, внимательно читает программу. Курчатов в другой комнате подбирает еще бумаги для Халипова.

— В этом-то номере до войны, говорят, артисты оставались. Народные! — доносится веселый голос Курчатова. — Пианино есть! — Он выходит и видит Халипова, стоящего спиной к нему. Тяжкое его молчание, опущенная голова — пугают Курчатова.

— Дмитрий Евгеньевич. . . — робко произносит он.

Халипов вытягивает платок, шумно сморкается, утирает слезы.

— Ты уж прости, нелегко так. . . сразу. . . — сдавленным голосом, не оборачиваясь, говорит он. — Хоть и стар я, а цепляюсь. . . Песецкий. . . знал его? Он от этой самой химии загнулся. Второй месяц как слег и уже не встанет.

Курчатов садится, смотрит себе в стакан.

— Что же, защиты нет? — спрашивает он бесчувственно-спокойным голосом.

— То-то и оно-то, что пока не получается. Не умеем. Надо нащупать, а при таких сроках, да такой объем. . .

— Но почему вы все на себя берете? У вас большой институт.

— А ты не понимаешь? Потому и беру, что не могу других подставлять. Да никто так, как я и мои помощники, не разбирается.

Курчатов берет программу, складывает ее.

— Тогда и говорить нечего, — и рвет бумаги.

Халипов поворачивается к нему, вытирает рукой глаза.

— Ну и дурак. Разве это решение? Кто ж тебе делает в такие сроки? Кто, если не я? . . . То-то и оно. . .

— Давайте все же подумаем, как выбраться из этого, — выдавливает Курчатов, не поднимая головы. — Можно ли как-то обойти. . . Я не представлял.

— Знаю. Теперь представляешь, и что? — с каким-то ожесточением допытывается Халипов. — Что изменилось? Ничего. Тут уж мы с тобой ни при чем. Все равно надо. Схитрить тут не удастся. И не будем в жмурки играть. Не пристало нам. — Он берет обрывки программы, бережно составляет, расправляет их. — Давай лучше обговорим, сколько сырья ты даешь.

Зябко съезжившись, Курчатов обхватил себя руками: — Не могу я. . .

Допив чай, Халипов, прищурясь, деловито водит пальцем по строчкам:

— Это не сумеем, а под это дело усиленный паек сотрудникам я выцыганю, уж тебе придется раскошелиться. . . — Но, не выдержав, он срывается: — Ну что ты на себя наворачиваешь?! Ты иначе не мог, и я не могу. Война же идет! Война. Конечно, от пули или там бомбы оно полегче. Знаешь: «Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить». А впрочем. . . откажись я, так ведь еще хуже, совесть бы заела. — Он снимает очки, подойдя к Курчатову, утешающе кладет руку на плечо: — Ну, брось, может, чего успеем придумать. А нет — тоже не беда. По крайней мере не зазря. . .

Голос его стихает, слов уже не разобрать, губы шевелятся все медленнее, застывают, сложенные в хитрую усмешку, и живое лицо его вдруг обретает черты портре-

та. На портрете он чуть величественнее, чуть пронизательнее, чем был, появилась суровость, которой никогда не было.

Портрет этот укреплен на пирамидке могилы, заваленной цветами. Небольшое подмосковное кладбище пустынно. Курчатов один здесь. Похоже, что он остался после похорон. Стоит с непокрытой головой на осеннем ветру, снова — в который раз — допрашивая себя. . .

В зеленом, неверном свете луны — спальня, открытая дверь на лестницу. Курчатов лежит не в силах заснуть, потом осторожно, чтобы не разбудить жену, встает с кровати, спускается на первый этаж. Проходит через холл в кабинет, освещенный луной из большого окна. За крестовиной переплета — сад, теплая рассветная тишь, первые нерешительные вскрики птиц.

Курчатов стоит, подняв голову. Слезы катятся по его щекам. Он оттирает их рукавом пижамы, они опять набегают, ему никак не справиться с собою.

Сзади неслышно подошла Марина Дмитриевна, тронула его за плечо. С неожиданной злостью он оттолкнул ее, отошел, стиснув зубы.

Она снова подошла.

— Уйди. . . уйди, — бросил он.

И вдруг не выдержал, разрыдался, стыдясь себя, стискивая кулаки, уткнулся ей в плечо. Она ровно и быстро гладит его по голове.

— Боюсь. . . я боюсь. . . — вырывается у него. — А что, если не так. . . У меня голова раскалывается. . . Я не могу больше. . . Не могу. . . Я же не бог. . . Они думают, что я знаю. . . что я знаю все, до конца. . . а я не могу все рассчитать. . . ведь все может быть. . . А если пшик? А? А если все напрасно. . . — Слова его неразборчиво сливаются, да Марина Дмитриевна и не слушает его, лицо ее закаменело, впервые она видит его рыдающим, ее бьет озноб. У нее хватает лишь сил гладить его, пока он не затихает на ее плече.

Сквозь анфилады лабораторных комнат, где работают люди в халатах, идут Зубавин и Переверзев. В каждой комнате Зубавин спрашивает:

— Курчатова не видели? Курчатов не заходил?

— Не видели. . . не был, — отвечают всюду.

С Зубавиным здороваются, его тут знают.

— Ну как, получил? — спрашивает он кого-то на ходу.

— Спасибо, все в порядке.

Под тиканье счетчиков мечется рыба в аквариумах у биологов.

В теплицах поникшие цветы, люди здесь работают в защитных костюмах.

Механики испытывают манипулятор.

В затененных комнатах на экранах вспыхивают бледные треки разрядов.

Воспаленные до красноты глаза просматривают бесчисленные рулоны фотопленок, тысячи снимков. Зажигаются надписи: «Не входить», «Идет опыт», «Опасно».

Тесно от приборов, пультов, стендов.

Лаборатории выползают на лестничные площадки.

Потрескивают разряды, звякает посуда, постукивают насосы, завывают центрифуги, вентиляторы, моторчики. Среди этого звукового хаоса все явственнее приближается звонкое цоканье целлулоидного шарика.

Зубавин сворачивает на этот звук и видит: в тупике коридора играют в пинг-понг Федя и еще один молодой теоретик с бородкой «а-ля Курчатов».

На стене висит грифельная доска, исписанная, исчерканная формулами, схемками.

Появление Зубавина никак не смущает игроков, по крайней мере Федю. Он режет, нападает, крутит с таким азартом, что Зубавин непроизвольно начинает следить глазами за ходом поединка. Федя выигрывает подачу. Зубавин встряхивает головой, как бы освобождаясь от этого гипноза, спрашивает:

— У вас что, обеденный перерыв?

— Не обеденный, а умственный, — отвечает Федя и начинает новую партию.

У Зубавина выпячивается было челюсть — признак гнева, — но тут же он усмехается над самим собой, над привычным своим представлением о работе, которое здесь явно не подходит. Да ведь и достаточно он узнал уже этих теоретиков и особенности их работы, когда в самые напряженные, мучительные часы человек с виду бездельничает, валяется на диване, стоит, прижавшись головой к стеклу.

По коридору мимо играющих спокойно проходят ла-

боранты, сотрудники, никто не обращает внимания на эту игру в разгаре рабочего дня, все считают ее в порядке вещей, естественной частью изнуряющей работы. . .

. . . Пустой кабинет Курчатова, отделенный стеклянной перегородкой от соседних рабочих комнат. Этот кабинет не приспособлен для совещаний, но он и не для академической работы. Кабинет очень рабочий, рациональный, скорее напоминает конторку мастера, помещение начальника цеха, во всяком случае это продолжение лаборатории.

Звонит телефон. Умолкает. Вспыхивают лампочки на коммутаторе. Гаснут.

Из раскрытого окна весеннее солнце, ветер. Распахивается дверь, входит Зубавин, за ним Переверзев. Быстрым взглядом Зубавин окидывает стол, бумаги.

— Где он может быть?

— Не знаю, — отвечает Переверзев.

— Кто же знает? Вы для чего здесь?

— Виноват, Виталий Петрович.

Чем-то подозрителен Зубавину этот смиренный тон. Зубавин внимательно приглядывается к Переверзеву:

— Что-то у вас не очень виноватый вид. . .

Переверзев молчит, вытянувшись по-военному.

Звонит отдельно стоящий белый телефон. Зубавин берет трубку.

— Зубавин слушает. . . Здравствуйте. . . Его здесь нет. Я только что вошел. . . Сейчас выясню. . . Минуточку, — он зажимает микрофон рукою. — Ну, что будем делать?

— Виталий Петрович, разыщем, — тихо обещает Переверзев. — Не беспокойтесь.

— Ты меня не успокаивай. Где он?

— Уехал подумать.

— Почему один? Что он, тут думать не может? Какого черта. . .

— Виталий Петрович, поймите, надо ему иногда выключиться, побыть без всего этого. . .

— Блажь, капризы. Понимать не желаю. Вы имейте в виду, Переверзев! — Забывшись, он стучит трубкой по столу. — А, черт. . . — Он прикладывает трубку к уху. — Извините. . . Алло. . . Курчатов уехал, к сожалению связаться нельзя. . . Просто поехал подумать. . .

Некоторое время он слушает сердитое клокотание трубки, шея его вздувается. Он встает, вытягивается, отвечает как можно сдержаннее:

— Почему же расхлябанность... У него все же несколько иная работа, чем у нас с вами. Ему не всегда нужны телефоны, ему нужно и так, чтобы без всяких телефонов... Простите, товарищ министр, я вас не учу, я просто возражаю... — Гудки, он медленно опускает трубку на рычаг, стоит, опираясь на аппарат, лицо его постепенно отходит, снова обретает свое хмуровато-спокойное выражение. Впервые, может быть, приоткрылось Переверзеву, сколько приходится принимать на себя этому человеку.

Окраина Москвы, на горе старый Коломенский дворец, колокольня, на свежем зеленом откосе нежатся на солнышке мамыши с детьми, компания студентов перекидывается мячом, носятся ребяташки. Но это там, внизу, а здесь, на скамейке, в пятнистой подлиственной тени, тихо, спокойно. Длинно поблескивает река, пересвистываются птицы.

Откинувшись на ребристую спинку скамьи, Курчатов словно растворился в этом солнечном покое молодого лета. Глаза его уставлены в одну невидимую точку. Он сидит неподвижно, весь уйдя в размышление. Это не задумчивость, это именно размышление, работа. Иногда он хмурится, иногда недоуменно морщится, а бывает, что лицо его разгладится в довольной ухмылке. Конечно, со стороны он выглядит отдыхающим, надо внимательно приглядеться, чтобы понять внутреннюю напряженную работу, которая происходит сейчас.

Кто-то трогает его за плечо:

— Папаша, не найдется закурить?

Не оборачиваясь, Курчатов вынимает коробку «Казбека».

— Ого, красиво живете! — Парень не торопясь берет папироску, сигналил кому-то.

Появляются еще двое ребят. Это все студенты. Студенты сороковых годов: демобилизованные парни или же недавние школьники, отошальные, одетые в отцовские кители, в гимнастерки, в солдатские ботинки; учебники, перевязанные ремешками, вечные ручки торчат из кармашков. . .

— Налетели на дармовщинку, — выговаривает первый, — нахальная молодежь пошла.

— Берите, берите, — угощает Курчатов, не замечая розыгрыша. И они берут, и еще берут про запас, закладывают за ухо, закуривают, смакуя, растягиваются тут же рядышком, на скамейке, расстегивают воротнички, подставляя солнцу грудь, любуясь на реку.

— Да, жизнь прекрасна, как сказал поэт, но удивительно.

— Никаких «но». Жизнь прекрасна, что удивительно.

— Солнышко-то... И почему это говорят, что неученье — тьма?

— Ле-на-а-а! Ползи сюда! — кричит один из них.

Две девушки на берегу собирают портфели.

— Если бы не зачет, мужики... Полного счастья не бывает.

— Не ной... Не порти картины.

— Поставят трояк.

— Ну и что, тройка — это удовлетворительно. Понимаешь — государство удовлетворено. А мне главное — удовлетворить государство. Пятерка — это для себя. Это эгоизм.

Внизу речная волна колышет траву, лодки. Слепящее солнце дробится на воде. Курчатов закрывает глаза, и желтые круги несутся, сталкиваются, разлетаются осколками, напоминая фотографии, снятые в ионизационных камерах.

Девушка режет толсто хлеб, накладывает по кусочку колбасы, раздает ребятам, подумав, безмолвно показывает на сидящего рядом с ними этого странного бородача, который, как ей кажется, из деликатности отвернулся.

— Феликс...

Феликс с набитым ртом мычит, протягивая Курчатову бутерброд.

— Угощайтесь, папаша.

Курчатов оборачивается, досадливо отмахивается:

— Спасибо, не хочу.

— Да вы не стесняйтесь.

— Ладно, не приставай, — говорит Лена.

— Сачки вы, — неожиданно сердито определяет Курчатов.

На него смотрят удивленно и заинтересованно.

— Однако, жаргон у вас, папаша, — усмехается Феликс. — Вы, очевидно, лицо духовное, а выражаетесь. . .

Этого «духовного лица» Курчатов никак не ожидал. Но в то же время он сразу соображает, в чем дело: церковь, он тут же сидит, опершись на палку, с бородой, столь редкой тогда. . .

— Витя, нас обидели. Ты, можно сказать, мучаешься, изучая на себе солнечную радиацию. . .

— И космические ливни, — гудит Витя.

— Между прочим, это не молебен служить. Если вы служитель культа, вы должны радоваться.

— Чему?

— Тому, что физика благодаря нам развивается медленно.

— А что, если действительно податься в астрофизику? — мечтательно рассуждает третий.

— Не перспективно, — говорит Феликс, — сейчас решать будут ядерщики. Все условия. Оборудование, оклады, звания. . .

— Это за что же? — любопытствует Курчатов.

О нем уже забыли, и опять вопрос его удивляет.

— О, господи, темнота наша, — вздыхает Феликс. — Про бомбу вы слышали? Так вот, мы делаем бомбу.

— Вы?

— Конечно, мы, кому еще. . . У нас дипломный проект. Слабая улыбка освещает лицо Курчатова.

— Не верите. . . — снисходительно говорит Феликс и начинает «травить»: — Лена, у тебя с собой опытный образец?

Лена отрывается от конспекта:

— Ребята, а кто знает, на что расщепляется уран?

— На барий. . . — вспоминает Вася.

— А еще?

Они неприятно озадачены, листают тетрадки, ищут, бормочут, повторяя.

— Слышали, у Бора сейчас конгресс по слабым взаимодействиям, — мечтательно говорит кто-то.

— То у Бора. . .

— А у нас? — спрашивает Курчатов.

— А что у нас? — Феликс потягивается, делает несколько приседаний. — У нас пока антракт. Вся надежда на нас.

— Ну, не вся. . . — примирительно гудит Витя.

— Ну кто еще? Старики, конечно, еще трепыхаются, а весь цвет-то где?

— А перед войной, помните? Как Флеров и Петержак рванули! А?

— А Александров? — напоминает Лена. — А Алихановы? Это же первоклассные работы были!

Они загораются, щеголяя друг перед другом своими знаниями, оказывается, что они действительно кое-что знают, читали.

— А Курчатов, Курчатов! По сегнетоэлектрикам, по циклотронам...

— А Харитон... Изотов. Да, были люди...

— Может, живы... — сомневается Вася.

— Эти мужики могли бы соответствовать. Они тянули.

Донесся колокольный звон с церкви. Все примолкли, слушают, погрузнев.

— А может... — говорит Вася. — Кто-то же делает бомбу.

Лена хозяйственно свертывает остатки продуктов.

— Все равно мы обгоним американцев.

— Это почему же? — интересуется Курчатов.

Феликс пренебрежительно фыркает:

— Настоящие физики, отец, всегда против невежества и реакции. Еще со времен Галилея, когда ваша церковь мучила его.

— Между прочим, не наша, — поправляет Курчатов, — но неважно.

— Сейчас все зависит от физиков, вся судьба человечества.

— Почему же не от химиков, не от врачей? — говорит Курчатов.

— Да, Феликс, ты тут подзагнул! — басит Вася.

— Нисколько!..

Тем временем поверху к ним подъезжает «ЗИС-101». Резко тормозит. Из машины выскакивает Переверзев.

— Игорь Васильевич! — кричит он.

Курчатов, который внимательно слушал Феликса, неохотно поднимает голову, кивая: сейчас, мол. Феликс умолкает.

— Давай, давай... — приглашает Курчатов, но Феликс уже настороженно замкнулся.

— Неважно... это так... — бормочет он.

Курчатов надевает накиннутый на плечи пиджак. Прощально оглядывает высокое небо, речную даль и этих ребят.

— Между прочим, кроме бария, — говорит он, — получается еще криптон, это очень просто. Атомный номер урана девяносто два. Бария — пятьдесят шесть. Значит, остается тридцать шесть. Верно? Это и есть криптон. Ну, счастливо. . .

И уходит к машине. Лихо развернувшись, она взлетает по косогору. . .

— . . . Пятьдесят два. . . Пятьдесят один. . . — ровно и бесстрастно звучит команда отсчета.

Парусники скользят по бухте мимо Инкермана, Константиновского равелина. Бьется волна о теплые щербатые камни Приморского бульвара тех дореволюционных времен, когда Курчатов, гимназистом, наезжал с отцом в Севастополь. Прыгают в воду мальчишки и тут же карабкаются обратно по каменной кладке, блестя коричневыми телами. А по бульвару шагает военный духовой оркестр, и повсюду сверкает море — детская мечта Курчатова, извечная его мечта.

— . . . Сорок восемь. . . Сорок семь. . .

Красное знамя развевается над головами красноармейцев. Впереди командир с шашкой, перепоясанный ремнями, за ним кавалеристы с карабинами в буденовских шлемах. Горнист поднимает трубу, цокают подковы по булыжной мостовой.

Лесной проспект Петрограда, и в конце его сквозь сосны белеет колоннада Политехнического института.

У доски приказов — толпа. Курчатов, совсем молодой, высокий, худой, поверх голов всматривается в плохо отпечатанный листок:

«Курчатова И. В., студента кораблестроительного факультета, — отчислить за академическую задолженность».

Всплывает голос неумолимого отсчета:

— . . . Тридцать пять. . . Тридцать четыре. . .

Поеживаясь на холодном ветру, в своей потрепанной куртке Курчатов шагает, размахивая связкой книг,

по Николаевскому мосту через Неву. Обгоняя его, трусят извозчики, бежит красный трамвай с открытыми площадками, с громкими звонками. Еще на вывесках: «Булочная Филиппова», «Рыбачий кооператив». Это Петроград 1924 года, нет, уже Ленинград, потому что май месяц и по Неве плывет ладожский лед.

Под плакатом «Долой неграмотность!» сидит укутанная в платок торговка семечками и маковками.

На набережной можно было еще встретить точильщиков с точилом на плече, маляров с кистями, трубочистов; еще путейцы носят фуражки с инженерным значком, а служащие идут с портфелями; много людей еще в шинелях и кожанках.

Вдали видны стапеля и краны Балтийского завода. Там ремонтируют пароходы с высокими трубами, а по Неве шлепают старенькие колесные пароходики.

Курчатов спускается по гранитной лестнице к воде, смотрит на этот морской Ленинград, с бескозырками, верфями, памятником Крузенштерну, с бухтами каната, лежащими здесь на набережной, и разбитыми миноносками, что ржавеют у пирсов.

— Ну и черт с вами, займусь физикой! — объявляет он громогласно всем кораблям и причалам.

— ...Пятнадцать... Четырнадцать! .. — перебивая его, звучит голос отсчета.

И снова порт — горящий Севастополь. Немцы обстреливают пристань, где идет погрузка раненых. По сходням поднимают носилки. Курчатов в мокром бушлате работает на палубе, проверяя размагниченность корабля перед выходом в море.

— ...Семь! ..

В бетонированном бункере наблюдения собрались члены государственной комиссии. Тут же Курчатов, Зубавин, Изотов, Таня.

Щелкает, прыгая, огромная секундная стрелка на большом циферблате, горят сигнальные лампочки пульта.

Федя вынимает конфетку.

— Не хочешь? «Взлетная»... Помогает от неприятных ощущений.

Таня внимательно смотрит на себя в карманное зеркальце, медленно подкрашивает губы. Каждый здесь старается выглядеть спокойным и успокаивает себя привычным ему способом.

— ...Шесть!

Неподвижное лицо Курчатова. Набережная нынешнего Приморского бульвара Севастополя. Из-под аркады, от моря бегут дети. В шортах, майках, они бегут на Курчатова, как в массовом забеге, сотни мальчишек.

— ...Пять!

Все взгляды сходятся к Курчатову. На него смотрят с надеждой, страхом, испытующе, недоверчиво. Увидим, мол, что это еще за бомба.

— ...Один!

Курчатов на мгновение прикрывает глаза: голубой новогодний шарик с надписью «ядро атома» медленно поднимается над украшенной елкой.

В окулярах стереотрубы ему видна пустыня, черные контуры вышки и висящая в ней бомба — итог всех усилий, надежд и сомнений. Последний раз он как бы проверяет себя.

— ..Ноль!

Наступает тишина. Теперь только удары сердца отсчитывают время. Палец Курчатова ложится на кнопку «Пуск». Какие-то миги он еще медлит.

В нестерпимо белом свете отчетливо, до малейших подробностей, проступает отстроенный жилой кирпичный дом, он стоит одиноко среди барханов, непонятный еще до этого последнего момента в своей бесприютности и ненужности; виден железобетонный дот, танки, расставленные на разных расстояниях, самолеты, клетки с кроликами, радиологические пункты, артиллерийские орудия, мастерские, заставленные станками, — все это расположено вокруг вышки по каким-то вычисленным радиусам. И все это предстает в последний раз перед взором в немыслимой четкости, со всеми подробностями.

Беззвучно и неторопливо начинает расти столб огня, белый шар поднимается, разбухает, он ярче солнца, больше его, и все растет и растет. Грохот вселенского обвала обрушивается с неба. Люди в траншеях лежат ниц. . . Осыпается песок, колышется земля.

От мгновенно представшей картины с домом, мастер-

скими, танками ничего не осталось, все исчезло, есть лишь гладко поблескивающая поверхность спекшегося песка. Где-то вдаль дымятся остатки паровоза, каких-то станков. . .

В Вашингтоне, в скучной комнате с голыми стенами, за простыми канцелярскими столами заседает административная комиссия Комитета по делам кадров.

Выбрана ли специально эта неудобная, душно прокуренная комната для такого разбирательства, или же это получилось случайно, трудно сказать. Скорее всего, эти судьбы вряд ли были способны на такие тонкости.

Показания дает Борис Паш. Он все так же жизнерадостен, уверен в себе, спортивен.

— . . . Мы поставили Оппенгеймера перед выбором между дружбой и карьерой. Он выбрал карьеру и выдал Шевалье. Мы не ошиблись.

Он оглядывается на сидящего посреди комнаты Оппенгеймера, готовый к его возражениям.

— Вы уверены, мистер Паш, что Оппенгеймер остался в душе коммунистом? — спрашивает председатель Гордон Грей.

— Может, его и мучили сомнения, но мы должны судить о нем по его поступкам.

— Какие поступки убеждают вас в этом?

— Из-за него Штаты потеряли три с лишним года, не приступая к работе над термоядерной бомбой. Он нанес нам вред.

— Вы думаете, что слава и любовь, какими его окружала страна, не изменили его взглядов?

— Нет. Я сужу по его действиям. Он виновен. Более того, мы постараемся, чтобы двери наших лабораторий были для него закрыты.

Председатель:

— Адмирал Льюис Страус!

С кожаной кушетки, на которой сидят свидетели, поднимается адмирал Страус, маленький, ловкий, на вид веселый, этакий округлый, приветливый старичок-бодрячок.

— Я думаю, мистер Паш ошибается. Оппенгеймер давно не коммунист, он хочет другого — видеть мир у своих ног. У него неограниченное самомнение и мессианство, Я обратил на это внимание еще в 1949 году, когда нам

стало ясно, что русские взорвали атомную бомбу, уже тогда русские развили бóльшую скорость, чем мы, бомбто у нас было больше, но, несмотря на это, русская бомба за одну ночь изменила соотношение сил, разрушив нашу стратегию. Не стоит лгать, мы не предполагали такого темпа. Наши ученые в эти критические минуты оказались не на высоте. Некоторые вообще не признавали русской бомбы, другие же истерически требовали от нас компромиссов, и в этом виноват Оппенгеймер. Мне сразу же стало ясно: спасти нас может только водородная бомба. А Оппенгеймер не соглашался... Но я надеюсь, что у Америки есть, кроме Оппенгеймера, люди, которые понимают веление времени...

Роджер Робб, советник Комитета по атомной энергии, восклицает с места:

— У Америки есть вы!!! И есть Теллер!

Председатель, Гордон Грей, обращается к Оппенгеймеру:

— Господин профессор, вы были убеждены, что водородную бомбу не нужно было делать?

Как он изменился, этот уверенный в себе, блестящий, привыкший к славе, почету Роберт Оппенгеймер. Даже на заседании Комитета по выбору цели даже после смерти Джейн не было в нем такой горечи и разочарования.

Прошло девять лет. Сейчас апрель 1954 года. Точнее, 22 апреля, день рождения Роберта Юлиуса Оппенгеймера, которому исполнилось пятьдесят лет. Вот он где встречается его — в сущности, на скамье подсудимых. Процесс шел уже десять дней и должен был продлиться еще столько же. На скамье подсудимых сидел один Оппенгеймер, но вместе с ним, незримо, все его поколение молодых американских атомщиков. Тех, кто вместе с ним начинал у Резерфорда, занимался в Геттингене, — судили их вольнолюбивую юность, отвращение к фашизму, то, что было, а теперь ушло, отодвинулось перед могущественным взлетом физики, славой, почестями, деньгами. Они решили, что они-то и есть властители и творители судеб истории. Кончилось это быстро. Ответственность придавила их, сломала, оказалось, что они беспомощны и не приспособлены к такой роли.

Высохшее обтянутое лицо Оппенгеймера застыло. Он не пытается блеснуть красноречием, острым ответом. Он

не изображает героя, несправедливо судимого, он не жертва, но он и не кающийся грешник, он не преступник, он слушает судей и свидетелей крайне рассеянно. Похоже, что существенно для него не происходящее, не вся эта процедура, а совсем иное. Сейчас он, вместе со своими судьями, судит себя.

— Это имело бы смысл, — отвечает Оппенгеймер, — если бы мы достигли такого военного преимущества, что без войны принудили бы противника признать наши требования... Однако русские создали свою бомбу в такой невероятно короткий срок, что стало ясно: нам не удержать преимущества. Русские шли за нами вплотную, в затылок. Никакой безопасности не получилось. Над всем миром нависла угроза уничтожения. Мы потратили миллиарды долларов. И что? Мы ничего не получили. Мы не сильнее, чем русские. Мы не имеем ни уважения, ни признания от стран свободного мира.

— Это вы сейчас так рассуждаете, — с чувством и значительностью говорит Робб. — А когда-то вы вместе с другими убедили наших государственных деятелей, что у нас есть преимущество в десять, а то и в двадцать лет. Если бы вы правильно информировали правительство, оно бы не допустило этой опасности — конкуренции русских.

— Каким образом не допустило... — не спрашивает, а усмехается Оппенгеймер. — Вы несколько преувеличиваете мою роль. У правительства было много информаторов.

— Доктор Теллер, — спрашивает председатель, вы согласны с подобной оценкой?

Теллер хочет говорить сдержанно, но с первой же фразы срывается. Враждебность его к Оппенгеймеру смешана с честолюбием, с жадной прослыть единственным автором водородной бомбы, защитником американской науки от красных.

— Не согласен, во всяком случае не совсем. Получилось так, что ради работы над атомной бомбой Оппенгеймер пожертвовал чистой наукой. Бомба стала как бы его личной собственностью. Он считал ее своим достоянием. Он ревниво оберегал ее. Идея же термоядерного оружия была не его, она принадлежала мне. А это означало, что слава Оппенгеймера быстро поблекнет. Отва-

жусь сказать, что это чувство и является причиной того, что Оппенгеймер боролся с нами.

— Что сделали бы вы, профессор Оппенгеймер, — спрашивает Роджер Робб, — если бы перед вами поставили задачу создать водородную бомбу?

После некоторого колебания Оппенгеймер неуверенно признается:

— Это трудно сказать.

— Вы были бы с нами или вышли бы из наших рядов? — допытывается Робб. — Да или нет?

— Думаю, я выполнил бы возложенную на меня задачу. . . — с трудом произносит Оппенгеймер.

— Считаете ли вы, что правительство вас обидело?

— Нисколько. — Оппенгеймер медленно усмехается. — Я согласен с Макиавелли, что неблагодарность — основная обязанность государя.

— У меня нет вопросов.

Комната быстро пустеет.

К Оппенгеймеру подходит один из судей, старый профессор-химик Ивенс.

— Имейте в виду, Оппи, я решительно против этих взбесившихся кресел. Жаль, что я тут в меньшинстве. Но я уверен, что это им так не пройдет. Они хотят объявить вас подозрительной личностью.

Оппи продолжает сидеть на стуле посередине комнаты, сосредоточенно глядя прямо перед собой.

— Представляете, — продолжает Ивенс, — любого из нас, ученых, правительство запрашивает о чем-то, и если, допустим, мой ответ, то есть мое мнение, не понравится этим болванам, они начинают рассматривать меня как подозрительного. Хороши порядки. Этот Маккарти окончательно спятил. Нет, это касается не одного вас, это на нас всех покушаются. Вы слышите, Оппи?

— Не знаю, Ивенс, не знаю. . . — говорит Оппи. — Мне хочется понять свою собственную ответственность. В чем я виноват. Сейчас мне важно не оправдаться, а выяснить. . .

Он остается один. Пустые обшарпанные канцелярские столы стоят перед ним, пустые кресла, лежат папки донесений, досье, показаний. Коробки с магнитофонными

лентами записей. Фотографии с рулонами пленок-негативов. Протоколы опросов. . .

В доме Курчатовых, внизу, в холле, у деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, одевается старый доктор. Марина Дмитриевна, зябко стягивая на груди плавок, допытывается:

— Ну что, профессор?

— Второй инсульт, он и есть второй инсульт, — ворчливо отвечает профессор. — Он это знает. Сейчас состояние. . . — Марина Дмитриевна подает ему шубу. — Спасибо. . . Состояние несколько лучше, но по-прежнему строжайший постельный режим. Никаких резких движений, никаких деловых разговоров. Никаких волнений. . . Никаких посетителей. Покой, покой и покой. . . Вот главное его лекарство.

Он застегивает свою старомодную шубу, целует Марине Дмитриевне руку, смотрит на нее из-под мохнатых своих седых бровей, стараясь быть как можно строже и суровой:

— Марина Дмитриевна, вы сами должны понимать, второй удар, тут можно всего ждать.

Нахлобучив меховую шапку, он уходит. Марина Дмитриевна, прикрыв дверь, стоит, держа руку на холодном замке, собираясь с силами.

А наверху, в спальне, высоко на подушках, лежит Курчатов. За стеклянной перегородкой кипятит шприц медицинская сестра. Курчатов, прикрыв микрофон рукою, тихо и весело говорит в трубку:

— Николай Васильевич? Вас приветствует дважды ударник Курчатов, да, дважды ударник, — подмигивает он и сразу переходит на серьезный тон: — Задерживаете, задерживаете рабочие чертежи ОГРы. . . Но этот фантазер Головин хочет закончить ОГРу в конце года. И дай ему бог. . . Что? Не согласен. Воронежская атомная уже строится. Белоярская тоже. . . Судовые реакторы прошли испытания. . . А сейчас самое главное. . . Одну минуточку. . .

Тем временем входит со шприцем сестра. Курчатов, не прерывая разговора, поворачивается на бок, откидывает одеяло, подставляя для укола ягодицу.

— Хм. . . — крикает он от укола и тотчас повторяет: — Сейчас самое главное. . . Спасибо. Да нет, это не вам. Вас благодарить рано, рано, да. . .

Сестра выходит, а Курчатов, изучая развернутый чертеж, уже говорит по телефону с другим:

— Привет, Анатолий Петрович, нет, нет, ни о каких делах я разговаривать не собираюсь. Просто я придумал название для импульсного реактора. ДООД-три. Что это значит? А значит, что я хочу увидеть его в действии до того, как меня хватит третий удар. До удара три. Физкульт-привет! — Он кладет трубку как превеликую тяжесть, бледный, потный; бодрый его голос никак не вяжется с его изнуренным, больным видом.

Блестит мокрая брусчатка. Постукивает палка. В шляпе, в тяжелом пальто, опираясь на палку, по Кремлю идет Курчатов. Весна, орут воробьи, синее небо омыто и туго натянуто над Москвой. Пальто на Курчатове кажется тяжелым в этой солнечной теплыни, а может, еще и потому, что он исхудал и вид у него не очень здорового человека. Борода его поседела и стала жидкой. Его обгоняют депутаты, все направляются на сессию.

У Царь-пушки, как обычно, толкуются любопытные, особенно мальчишки. Они забираются на огромные ядра, на самую пушку, бесстрашно заглядывают в ее черный зев. И гомон сливается с воробьиным щебетом. Курчатов останавливается, наблюдая за этой детской игрой с такой древней, такой грозной на вид и совсем безобидной пушкой.

— Дед, а она стреляет?

— Наверное, — отвечает старый казах, с такой же длинной, висячей, тонкой бородой, как у Курчатова.

Курчатов сворачивает на Соборную площадь, поднимает голову и видит горящие на солнце маковки колокольни Ивана Великого, стоящей в белой своей нетронутой красе незыблемо и прочно, во веки веков. И все эти соборы, и могучие кремлевские стены, и маленькие ели, и дальше московские крыши. . . А в воздухе слышится звон колоколов, не набатный, не праздничный, а памятный с детства — музыка, которую вызванивали мастера-звонари на колоколах звонницы, как на гигантском органе. . .

Георгиевский зал сверкает белым мрамором, золотом. Многие депутаты так или иначе знают друг друга, хотя бы в лицо. Они здороваются, издали раскланиваются. Генералы, маршалы, знатные сталевары, чабаны — пиджаки увешаны орденами, медалями, звездами — этим здесь никого не удивишь. И все же фигура Курчатова привлекает общее внимание. Не только три Золотые Звезды Героя Социалистического Труда и лауреатские медали выделяют его. Что-то иное, необычное есть в этом богатырски сложенном человеке с интеллигентным лицом, с длинной редкой бородой. И взгляд его, сосредоточенный, ушедший в себя.

Перед ним расступаются, смотрят вслед, припоминая или спрашивая «кто это?». Кто-то радостно здоровается с ним. Но таких мало, его еще знают немногие. Постукивая палкой, он проходит в Грановитую палату, разглядывая картинки из библейских сюжетов, расписанные на стенах, и бога Саваофа, парящего на потолке: румяного старичка среди пухлых облаков.

Не обращая внимания на устремленные к нему взгляды, с той же сосредоточенностью направляется он к трибуне, когда председатель объявляет:

— Слово имеет депутат Курчатов.

Гремят аплодисменты, из задних рядов кто-то приподнимается, всматриваясь в этого человека. С любопытством, почтением, с тем чувством, которое так свежо было тогда перед всемогущей и таинственной атомной силой. Может, от этого Курчатов чуть опечален, встревожен. Ему кажется, что шум аплодисментов не имеет отношения к нему, поэтому-то и доносится отдаленно.

Он надевает очки, раскрывает папку:

— ...С этой высокой трибуны я обращаюсь к ученым всего мира с призывом направить и соединить усилия для того, чтобы в кратчайший срок осуществить управляемую термоядерную реакцию и превратить энергию синтеза ядер водорода из оружия уничтожения, разрушения в могучий живительный источник энергии, несущий благосостояние и радость всем людям на земле...

Он к чему-то прислушивается, словно бы цокают копыта, нет, показалось. Он снимает очки, глядя вдаль, говорит:

— Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов... Я глу-

боко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только на благо человечества отдадут достижения этой науки. . .

Снова слышится цоканье копыт. Курчатов умолкает, всматривается, видит, как далеко отсюда, где-то в 1924 году, вдоль гранитной набережной Невы едет молодой красноармеец с карабином за плечом, в буденовском шлеме. Подковы цокают по торцовой мостовой. Опустив поводья, он едет мимо дворцов и узорчатых решеток, мимо рыбаков, лодочников, красный цветок торчит у него в петлице. Куда он смотрит? В какое будущее? Что он там видит? Эту ли трибуну, этот зал, этих людей? . . . Куда он держит свой путь, этот парнишка двадцатых годов? И почему он явился сейчас перед Курчатовым? Молодость? . . . Может, не только он слышит этот далекий цокот копыт, такой непривычный ныне, даже неизвестный для молодых. Может быть, и другие в зале услышали, поэтому они не удивляются внезапному молчанию Курчатова и ждут.

А он все всматривается, с нежностью и грустью следя за этим пареньком, едущим вдоль невской набережной. . .

Содержание

ИДУ НА ГРОЗУ	7
ЭТА СТРАННАЯ ЖИЗНЬ	357
ОДНОФАМИЛЕЦ	479
ВЫБОР ЦЕЛИ	609

Даниил Александрович
Гранин

ИДУ НА ГРОЗУ
ЭТА СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ОДНОФАМИЛЕЦ
ВЫБОР ЦЕЛИ

*

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1976, 712 стр. План выпуска 1977 г. № 12. Редактор Ф. Г. Кацас. Художник М. Е. Нозиков. Худож. редактор А. Ф. Третьякова. Техн. редактор М. А. Ульянова. Корректор Е. Д. Довлатова. Сдано в набор 5/IV 1976 г. Подписано к печати 6/IX 1976 г. М 19217. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 22¹/₄. Усл. печ. л. 37,38. Уч.-изд. л. 37,59. Тираж 150 000 экз. Заказ № 491. Цена 1 р. 42 к. Изд-во «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.